This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

БИБЛІОТЕКА
ИМПЕРАТОРСКАГО
Археологическаго Института.
Шкафъ 12
Полка 3
Книга 197

The Joseph R. Braden
Memorial Fund

Stanford University Libraries

1950

Haiti

Н II 1413 (Ас 1413. III)

ИНСТИТУТЪ
ВЪ С.ПЕТЕРБУРГѢ

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ

М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіе и рѣчи
Ужъ замолкшія давно.
Князь Вяземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси
И въ немъ сокрытаго глубоко
Ты духа жизни допроси!
Хомяковъ.

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ!
В. Истоминъ.

«Не извращай описанія событій. Побѣду изображай какъ побѣду, а пораженіе описывай какъ пораженіе».
(Наказъ Персидскаго Государя Наср-эддинъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и всельможи! Покровительствуйте Музамъ: онѣ благодарны».
Погодинъ.

«Пою... доидеже есмь».

25 ИЮН 1933

Николая Барсукова

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Библиотека Ленинградского Университета
Библиотека Ленинградского Университета
РСФСР

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.
1897

3
U4.
Barsukov, N. P.

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ

М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіе и рѣчи
Ужь замолкшія давно.
Князь Вяземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси
И въ немъ сокрытаго глубоко
Ты духа жизни допроси!
Хомяковъ.

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ!
В. Истоминъ.

«Не извращай описанія событій. Побѣду изображай какъ побѣду, а пораженіе описывай какъ пораженіе».
(Наказъ Персидскаго Государя Наср-эддинъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и вельможи! Покровительствуйте Музамъ: онѣ благодарны».
Погодинъ.

«Пою... дондеже есмь».

Николая Варсукова

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.
1897

DK 38.7
P56 B3
v. 11

ИЗДАНІЕ

Потомственнаго Почетнаго Гражданина

Александра Николаевича

МАМОНТОВА.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

ГЛАВА I (1850). Пріѣздъ въ Москву князя Б. Д. Голицына съ извѣстіемъ о рожденіи великаго князя Алексѣя Александровича . . . . . 1— 6

ГЛАВА II. Празднованіе Татьянина дня въ Московскомъ Университетѣ. Мысли Погодина. Переписка его съ В. И. Назимовымъ. Студенческій концертъ въ залѣ Московскаго Университета. Замѣчанія Погодина по поводу этого концерта. . 6—18

ГЛАВА III. Кончина бывшаго инспектора студентовъ Московскаго Университета П. С. Нахимова. Назначеніе князя П. А. Ширинскаго-Шихматова министромъ Народнаго Просвѣщенія и товарищемъ его—А. С. Норова. Ограниченіе преподаванія Философіи въ Университетахъ . . . . . 18—24

ГЛАВА IV. М. Н. Катковъ лишается каѳедры Философіи въ Московскомъ Университетѣ. Министръ Народнаго Просвѣщенія принимаетъ участіе въ его служебной судьбѣ. Посѣщеніе Москвы новымъ министромъ Народнаго Просвѣщенія. Цензура. Фанни Эльснеръ. М. Н. Катковъ вступаетъ въ должность редактора *Московскихъ Вѣдомостей*. Диспутъ П. Н. Кудрявцева *(Судьбы Италіи)*. Замѣчанія Н. И. Крылова, Т. Н. Грановскаго и М. П. Погодина о диссертаціи Кудрявцева. Письмо В. П. Боткина о той же диссертаціи . . . . . 24—35

ГЛАВА V. Полемика М. М. Стасюлевича съ П. М. Леонтьевымъ. по поводу *Аббата Сугерія* Грановскаго . . . . . 35—46

ГЛАВА VI. Графъ С. С. Уваровъ по выходѣ въ отставку. Лѣтнее пребываніе его въ Порѣчьѣ. Посѣщеніе Порѣчья Погодинымъ, Грефе, Леонтьевымъ и графомъ Д. А. Толстымъ. Занятія Уварова литературою. Его Записка объ исторической достовѣрности. Пребываніе Уварова въ Москвѣ. Получаетъ Андрея Первозваннаго. Поздравительное письмо Погодина. . 46—51

ГЛАВА VII. *Москвитянинъ* въ 1850 году. Разрывъ Погодина съ А. Ѳ. Вельтманомъ. Возникшая между ними полемика, по поводу сочиненія графа С. Г. Строганова о *Дмитріевскомъ*

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

ГЛАВА I (1850). Пріѣздъ въ Москву князя Б. Д. Голицына съ извѣстіемъ о рожденіи великаго князя Алексѣя Александровича . . . . . 1— 6

ГЛАВА II. Празднованіе Татьянина дня въ Московскомъ Университетѣ. Мысли Погодина. Переписка его съ В. И. Назимовымъ. Студенческій концертъ въ залѣ Московскаго Университета. Замѣчанія Погодина по поводу этого концерта. . 6—18

ГЛАВА III. Кончина бывшаго инспектора студентовъ Московскаго Университета П. С. Нахимова. Назначеніе князя П. А. Ширинскаго-Шихматова министромъ Народнаго Просвѣщенія и товарищемъ его—А. С. Норова. Ограниченіе преподаванія Философіи въ Университетахъ . . . . . 18—24

ГЛАВА IV. М. Н. Катковъ лишается каѳедры Философіи въ Московскомъ Университетѣ. Министръ Народнаго Просвѣщенія принимаетъ участіе въ его служебной судьбѣ. Посѣщеніе Москвы новымъ министромъ Народнаго Просвѣщенія. Цензура. Фанни Эльснеръ. М. Н. Катковъ вступаетъ въ должность редактора *Московскихъ Вѣдомостей*. Диспутъ П. Н. Кудрявцева *(Судьбы Италіи)*. Замѣчанія Н. И. Крылова, Т. Н. Грановскаго и М. П. Погодина о диссертаціи Кудрявцева. Письмо В. П. Боткина о той же диссертаціи . . . . . 24—35

ГЛАВА V. Полемика М. М. Стасюлевича съ П. М. Леонтьевымъ, по поводу *Аббата Сугерія* Грановскаго . . . . . 35—46

ГЛАВА VI. Графъ С. С. Уваровъ по выходѣ въ отставку. Лѣтнее пребываніе его въ Порѣчьѣ. Посѣщеніе Порѣчья Погодинымъ, Грефе, Леонтьевымъ и графомъ Д. А. Толстымъ. Занятія Уварова литературою. Его Записка объ исторической достовѣрности. Пребываніе Уварова въ Москвѣ. Получаетъ Андрея Первозваннаго. Поздравительное письмо Погодина. . 46—51

ГЛАВА VII. *Москвитянинъ* въ 1850 году. Разрывъ Погодина съ А. Ѳ. Вельтманомъ. Возникшая между ними полемика, по поводу сочиненія графа С. Г. Строганова о *Дмитріевскомъ*

СТРАН.

соборѣ во Владимірѣ. Ироническое письмо М. А. Дмитріева о Библіографіи, веденной Вельтманомъ въ *Москвитянинѣ*. Столкновеніе Погодина съ Шевыревымъ . . . . . 51— 58

ГЛАВА VIII. Молодая Редакція Москвитянина. Духовная атмосфера, въ которой образовался этотъ литературный кружокъ . . . . . 58— 64

ГЛАВА IX. А. Н. Островскій. Начальная литературная дѣятельность. Знакомство его съ Т. И. Филипповымъ. Міровоззрѣніе А. Н. Островскаго. Его комедія *Свои люди сочтемся*. 64— 68

ГЛАВА X. Чтеніе комедіи Островскаго въ разныхъ кругахъ Московскаго общества. Пущенная въ ходъ клевета на автора комедіи. Появленіе комедіи въ печати. Отрывокъ изъ письма А. Н. Островскаго къ В. И. Назимову . . . . . 68— 78

ГЛАВА XI. Т. И. Филипповъ. Знакомство его съ пѣсеннымъ богатствомъ Русскаго народа. Рѣчь его *О Началахъ Русскаго воспитанія*. Отзывъ П. А. Плетнева о литературной дѣятельности Т. И. Филиппова. . . . . 79— 83

ГЛАВА XII. Е. Н. Эдельсонъ. Б. Н. Алмазовъ. А. А. Григорьевъ. А. Ѳ. Писемскій . . . . . 84— 90

ГЛАВА XIII. Отношеніе членовъ *Молодаго Москвитянина*, какъ къ самому Погодину, такъ и вообще къ Московскому обществу. Субботніе вечера графини Е. П. Ростопчиной. Ю. Н. Бартеневъ. Графиня Е. В. Саліасъ. С. П. Шевыревъ. И. В. Кирѣевскій. . . . . 90— 98

ГЛАВА XIV. Непріятное столкновеніе Погодина съ графинею Е. П. Ростопчиной, по поводу *Нелюдимки*. Дружескія сношенія Погодина съ Д. В. Григоровичемъ. Неудавшееся привлеченіе А. И. Кронеберга къ сотрудничеству въ *Москвитянинѣ*. И. С. Тургеневъ . . . . . 98—108

ГЛАВА XV. Автобіографическія показанія Погодина, находящіяся въ повѣсти *Дочь Матроса* . . . . . 108—114

ГЛАВА XVI. Славянофилы. Письмо И. В. Кирѣевскаго къ А. В. Веневитинову. А. С. Хомяковъ изобрѣтаетъ машину. Рожденіе у него сына Николая. Дружескія отношенія А. С. Хомякова къ Погодину . . . . . 114—118

ГЛАВА XVII. Занятія К. С. Аксакова Русскою Грамматикою. Путешествія его въ Ростовъ и Кіевъ . . . . . 119—123

ГЛАВА XVIII. Міросозерцаніе И. С. Аксакова. Отношенія А. С. Хомякова къ Русскимъ обычаямъ. Занятія И. С. Аксакова Русскою Исторіею. Примиреніе Погодина съ Аксаковыми. Ю. Ѳ. Самаринъ . . . . . 123—133

ГЛАВА XIX. Пребываніе Гоголя и М. А. Максимовича въ Москвѣ. Празднованіе именинъ Гоголя въ Погодинскомъ саду. *Кіевлянинъ*. Письмо Ѳ. В. Чижова къ М. А. Максимовичу. Свиданіе М. А. Максимовича съ преосвященнымъ Иннокентіемъ . . . . . 133—142

ГЛАВА XX. Кончина Н. Н. Шереметевой. Совмѣстное путешествіе Гоголя съ М. А. Максимовичемъ изъ Москвы въ

СТРАН.

Малороссію. Поѣздка М. А. Максимовича въ Васильевку, къ Гоголю . . . . . 142—150

ГЛАВА XXI. Пребываніе Гоголя въ Васильевкѣ. Письменныя сношенія его съ А. О. Смирновою. Семейныя утраты М. А. Максимовича и Погодина . . . . . 150—155

ГЛАВА XXII. Мирное пребываніе князя П. А. Вяземскаго въ Константинополѣ нарушаетъ дошедшее до него извѣстіе о предпріятіи книгопродавца Смирдина издать сочиненія императрицы Екатерины. Возвращеніе князя П. А. Вяземскаго изъ его путешествія по Востоку въ Москву. Чествованіе его въ Москвѣ. Рѣчь его. Списокъ лицъ, принявшихъ участіе въ обѣдѣ, данномъ князю П. А. Вяземскому. Замѣчанія Погодина объ этомъ обѣдѣ . . . . . 156—167

ГЛАВА XXIII. Погодинъ выпускаетъ въ свѣтъ четвертый томъ своихъ *Изслѣдованій, Замѣчаній и Лекцій о Русской Исторіи*. Замѣчаніе Погодина на *Свидѣтельство о походѣ Святослава на Кавказъ. Архивъ Историко-Юридическихъ свѣдѣній* Н. В. Калачова. Стремленіе Калачова привлечь къ участію въ Архивѣ К. Д. Кавелина. Замѣчаніе Погодина объ *Очеркѣ нравовъ, обычаевъ и религіи Славянъ* С. М. Соловьева. Несторъ и Карамзинъ . . . . . 167—177

ГЛАВА XXIV. Изгои. Статьи И. Д. Бѣляева о Монгольскихъ чиновникахъ на Руси. Разсужденія Погодина: о наслѣдственности древнихъ сановъ и о Русской торговлѣ въ удѣльномъ періодѣ. Замѣчанія Погодина о сочиненіи профессора В. Я. Шульгина о состояніи женщинъ въ Россіи до Петра Великаго. Библіографическое обозрѣніе Д. В. Полѣнова Русскихъ Лѣтописей. Описаніе И. П. Хрущова Библіотеки Д. В. Полѣнова. Библіотека восточныхъ историковъ. Письменные труды Св. Іоны, митрополита Московскаго и всея Русіи . . . . 177—190

ГЛАВА XXV. Погодинъ обнаруживаетъ анахронизмы рукописи старицы Маріи, урожденной княжны Одоевской. Жизнь князя Андрея Михайловича Курбскаго въ Литвѣ и на Волыни. П. В. Павловъ защищаетъ въ Московскомъ Университетѣ свою диссертацію объ историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова. Мнѣніе Погодина объ этой диссертаціи . . . . 190—199

ГЛАВЫ XXVI—XXVII. Диссертація Павлова возбуждаетъ полемику между Погодинымъ и Кавелинымъ. Выходки противъ Погодина *Отечественныхъ Записокъ* . . . . . 199—217

ГЛАВА XXVIII. Дворцовые Разряды. Замѣчаніе Погодина объ ихъ изданіи. Слова императора Николая I-го. Памятники дипломатическихъ сношеній Древней Россіи съ державами иностранными. Письмо А. С. Хомякова. Исторія царствованія Петра Великаго. Письма царевича Алексѣя Петровича. Изслѣдованіе о Св. Димитріѣ Ростовскомъ. Оды Хераскова на вступленіе на престолъ императора Петра III и императрицы Екатерины II. Ода Кострова. Окрестности Новгорода. Описа-

СТРАН.

ніе Музея П. В. Карабанова, составленное Г. Д. Филимоновымъ. Ростопчинская Галлерея . . . . . 217—232

ГЛАВА XXIX (1851). Празднованіе пятидесятилѣтняго юбилея графа Д. Н. Блудова . . . . . 232—238

ГЛАВА XXX. Пребываніе Блудовыхъ въ Москвѣ. Сближеніе Погодина съ графинею А. Д. Блудовою. Живущіе въ Москвѣ Словене. Обще-Словенскій литературный языкъ. Графъ Алексѣй Сенъ-При. Кончина его . . . . . 238—245

ГЛАВА XXXI. Празднованіе Московскимъ Университетомъ Татьянина дня. Слово Филарета о мученичествѣ и мудрости. Публичныя лекціи. . . . . 245—251

ГЛАВА XXXII. Чтенія Т. Н. Грановскаго. Замѣчеціе Погодина. Деканство С. П. Шевырева. Замѣчаніе Погодина на лекцію Т. Н. Грановскаго о Баконѣ. Отзывъ В. П. Боткина о чтеніяхъ Т. Н. Грановскаго . . . . . 251—256

ГЛАВА XXXIII. Чествованіе въ Москвѣ Ѳ. И. Іордана и И. К. Айвазовскаго . . . . . 257—269

ГЛАВА XXXIV. С. П. Шевыревъ читаетъ публичныя лекціи объ Искусствѣ. Статья Погодина объ этихъ лекціяхъ даетъ поводъ къ непріятной перепискѣ между нимъ и Шевыревымъ. Примиреніе. Письмо А. С. Хомякова. Стихи на Московское общество, появившіеся въ *Сѣверной Пчелѣ*. Переписка по поводу ихъ Погодина съ В. И. Назимовымъ . . . . . 269—283

ГЛАВА XXXV. И. К. Бабстъ защищаетъ въ Московскомъ Университетѣ свою диссертацію: *Государственные мужи Древней Греціи*. Замѣчаніе Погодина объ этой диссертаціи. *Пропилеи*. Погодинъ останавливаетъ свое вниманіе на сочиненіи М. Н. Каткова: *О Греческой философіи до Сократа*. Мнѣніе В. П. Боткина о *Пропилеяхъ* . . . . . 283—289

ГЛАВА XXXVI. *Московскія Вѣдомости* подъ управленіемъ М. Н. Каткова. Письмо Т. Н. Грановскаго по поводу помѣщенной въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* статьи *Старое и Новое поколѣніе*. Посѣщеніе Москвы министромъ Народнаго Просвѣщенія. Исторія Московскаго Университета . . . . 289—295

ГЛАВЫ XXXVII—XXXVIII. Полемика С. П. Шевырева съ графомъ С. Г. Строгановымъ и другими о подлинности Рафаэлевскихъ картоновъ, принадлежащихъ А. Д. Лухманову . . 295—304

ГЛАВЫ XXXIX—XLII. Вступленіе на поприще словесной дѣятельности людей *пятидесятыхъ* годовъ: А. Е. Викторова, П. А. Лавровскаго, П. И. Бартенева, А. И. Георгіевскаго. Обновленіе въ душѣ Погодина памяти о Знаменскомъ. Кончины: князя Ю. И. Трубецкаго и В. Д. Корнильева. Полемическая переписка Погодина съ И. Е. Бецкимъ . . . . . 305—329

ГЛАВА XLIII. Начало литературной дѣятельности Н. С. Тихонравова . . . . . 329—334

ГЛАВА XLIV. Роль Погодина среди старой и молодой Редакцій *Москвитянина*. Утро, проведенное Погодинымъ въ пересыльномъ замкѣ. Погодинскіе вечера . . . . . 334—340

СТРАН.

ГЛАВА XLV. Участіе въ *Москвитянинѣ* князя П. А. Вяземскаго: Неизданное сочиненіе К. Н. Батюшкова и статья архимандрита Софронія. Защита Погодина. Сочиненіе князя Вяземскаго о Фонъ-Визинѣ. Болѣзнь князя П. А. Вяземскаго. Отъѣздъ его за границу. Его *Молитва Ангелу Хранителю* . 340—347

ГЛАВА XLVI. Дѣятельность въ *Москвитянинѣ* М. А. Дмитріева. Схватка его съ Н. В. Сушковымъ. Жалоба послѣдняго Московскому Попечителю. Оправданіе Погодина. Домашнія распри М. А. Дмитріева съ Погодинымъ. Примиреніе . . . 347—357

ГЛАВА XLVII. *Таинственная Капля* Ѳ. Н. Глинки. Впечатлѣніе, произведенное этимъ произведеніемъ на графиню Е. П. Ростопчину. Замѣчанія Погодина и М. А. Дмитріева. Слухъ о мнимой кончинѣ А. С. Стурдзы. Письмо послѣдняго къ Погодину. Мысли А. С. Стурдзы о Лондонской выставкѣ. Глумленіе надъ ними *Отечественныхъ Записокъ*. Замѣчаніе Погодина . . . . . 357—361

ГЛАВА XLVIII. К. К. Герцъ и его *Вильма*. Народный мѣсяцесловъ В. И. Даля, и постигшая его судьба . . . . 361—365

ГЛАВЫ XLIX—LVI. Литературная дѣятельность: графини Е. П. Ростопчиной, А. Ѳ. Писемскаго, Б. Н. Алмазова, А. Н. Островскаго, А. А. Григорьева. П. М. Садовскій въ роли короля Лира. Апологія Т. И. Филиппова. . . . . 365—403

ГЛАВА LVII. Литературная дѣятельность: Л. А. Мея, Н. Ѳ. Щербины, М. Л. Михайлова, Г. П. Данилевскаго. . . 403—409

ГЛАВА LVIII. Любезныя качества Погодина. Начинающая писательница Варвара Лебедева. Двойственность Редакціи *Москвитянина*. Стремленіе *молодой Редакціи* къ независимости отъ принципала. Предположеніе о передачѣ *Москвитянина* А. Н. Островскому. Письмо Т. Н. Грановскаго къ А. А. Краевскому и Погодина къ князю П. А. Вяземскому . . . . . 409—413

ГЛАВА LIX. Переселеніе семейства Майковыхъ изъ Москвы въ С.-Петербургъ. Просвѣтительное вліяніе этого дома. Литературная дѣятельность А. Н. Майкова и Я. П. Полонскаго. . . . . 413—418

ГЛАВА LX. Сношенія Погодина съ И. С. Тургеневымъ и Д. В. Григоровичемъ . . . . . 418—422

ГЛАВА LXI. Критика ученыхъ сочиненій въ *Москвитянинѣ*: М. М. Стасюлевичъ. Ѳ. И. Буслаевъ. Сочиненіе протоіерея Г. П. Смирнова-Платонова о *Преждеосвященной Литургіи*. И. В. Сабуровъ . . . . . 422—428

ГЛАВА LXII. Старанія Погодина знакомить Русскихъ съ Россіею. Отдѣлъ Внутреннихъ Извѣстій въ *Москвитянинѣ*. 428—436

ГЛАВА LXIII. Причины неуспѣха *Москвитянина*. . . 436—440

ГЛАВА LXIV. Способъ распространенія *Москвитянина*. Погодинъ интересуется отзывами публики о своемъ журналѣ. Письмо Д. В. Григоровича . . . . . 441—446

ГЛАВЫ LXV—LXVI. Кончина Е. А. Карамзиной. Выходъ перваго тома *Исторіи Россіи* С. М. Соловьева . . . 447—460

СТРАН.

ГЛАВА LXVII. Продолженіе борьбы Погодина съ послѣдователями теоріи *родоваго быта*. Благотворительность въ Древней Россіи. Древній списокъ Нестора, открытый К. А. Коссовичемъ въ Британскомъ Музеѣ. Наставленіе, преподанное Погодинымъ молодымъ людямъ касательно ссылокъ на Лѣтописи. Обработанные отрывки изъ Древней Русской Исторіи Погодина. Замѣтка Погодина о достовѣрности Исторіи, по поводу письма маршала Бюжо. Приближающееся тысячелѣтіе существованія Россійской Имперіи. Воззваніе А. А. Куника. Труды П. В. Хавскаго. Головинъ издаетъ *Родословную Роспись потомковъ Рюрика*. Родословное древо фамиліи Чуди (изъ Гларуса) . . 460—467

ГЛАВА LXVIII. Мѣстоположеніе Древняго Новгорода. Число концовъ Древняго Новгорода. Пермскія Древности. Грамматика и Словарь Зырянскаго языка. Письмо П. И. Савваитова. В. Пв. Васильевъ . . . . . 467—472

ГЛАВА LXIX. Диссертація В. И. Вешнякова: Причины возвышенія Московскаго княжества. Замѣчаніе Погодина о Московскихъ князьяхъ. Соборная грамота духовенства Православнаго, утверждающая санъ царя за в. кн. Іоанномъ IV. Отношеніе Погодина къ ревнителямъ старины изъ народа. Свѣдѣнія о Ростригѣ. . . . . 472—482

ГЛАВА LXX. Ботикъ Петра Великаго. Проектъ о завоеваніи Америки, поданный Петру Великому. Просьба Тредьяковскаго въ Сенатъ. Замѣчаніе Погодина о Тредьяковскомъ. Сношенія графа Д. А. Толстого съ Погодинымъ, по поводу матеріаловъ для Исторіи Католичества въ Россіи. Сочиненіе П. Д. Калмыкова о литературной собственности. Письмо П. А. Плетнева къ Погодину . . . . . 482—487

ГЛАВА LXXI. Отъѣздъ в. кн. Константина Николаевича въ Венецію. Переписка великаго князя съ Погодинымъ . . 487—494

ГЛАВА LXXII. Отношенія Погодина къ Словенофиламъ. А. С. Хомяковъ. Аристотель и Всемірная выставка. Письмо Погодина къ М. А. Максимовичу. Свиданіе Погодина съ Н. И. Надеждинымъ. . . . . 494—497

ГЛАВА LXXIII. Пребываніе графа С. С. Уварова въ Порѣчьѣ, Москвѣ и С.-Петербургѣ. Предсѣдательство И. И. Давыдова въ Отдѣленіи Русскаго языка и Словесности. . . . 497—502

ГЛАВА LXXIV. Двадцатипятилѣтіе царствованія императора Николая. Пребываніе государя съ августѣйшимъ семействомъ въ Москвѣ. Златая дарохранительница въ образѣ голубя. Пребываніе въ Москвѣ царской фамиліи имѣло благодѣтельное вліяніе на судьбу Погодинскаго Древлехранилища. Письмо Погодина къ М. А. Максимовичу. Проектъ обѣтной надписи, предложенный И. Е. Забѣлинымъ В. Д. Олсуфьеву къ священнымъ сосудамъ, устроеннымъ въ Даниловъ монастырь . . . . . 502—508

ГЛАВА LXXV. Письмо Погодина къ графу Д. Н. Блудову съ приложеніемъ проекта письма своего къ государю. Замѣ-

СТРАН.

чаніе графа Д. Н. Блудова на этотъ проектъ. Замѣчаніе С. А. Соболевскаго касательно рукописи о Потемкинѣ. Переписка Погодина съ в. кн. Константиномъ Николаевичемъ. Отрывокъ изъ *Дневника* барона М. А. Корфа. . . . . 508—515

ГЛАВА LXXVI. Пребываніе Гоголя въ Одессѣ. Часть весны проводитъ въ с. Васильевкѣ. Возвращеніе Гоголя въ Москву. Поѣздки его въ Абрамцово къ Аксаковымъ и въ Спасское къ А. О. Смирновой. Вмѣстѣ съ Погодинымъ Гоголь посѣщаетъ Преображенское кладбище въ Москвѣ. Неудавшееся путешествіе Гоголя въ Малороссію на свадьбу сестры. Вторичная поѣздка въ Абрамцово. Литературныя занятія Гоголя. Читаетъ *Ревизора* для актеровъ. Мѣсто жительства Гоголя въ Москвѣ. Тревожные слухи о здоровьѣ Гоголя. . . . . 515—524

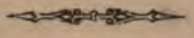
ГЛАВА LXXVII. Послѣдніе дни жизни Гоголя. Свиданіе съ нимъ О. М. Бодянскаго. Кончина Е. М. Хомяковой. Протоіерей Ѳ. А. Голубинскій. А. С. Хомяковъ послѣ кончины жены. Стихотвореніе его *Лазарь* . . . . . 524—530

ГЛАВА LXXVIII, Кончина Е. М. Хомяковой имѣла разрушительное дѣйствіе на Гоголя. Страстные дни Гоголя. Его кончина. Письмо А. С. Хомякова. Погребеніе Гоголя. Цвѣты изъ гроба его, подаренные мнѣ Г. А. Эзовымъ . . . 530—539

ГЛАВА LXXIX. Письма М. И. Гоголь къ Погодину. Письма С. Т. Аксакова къ сыновьямъ, а также къ Погодину и Шевыреву, по поводу кончины Гоголя. Примирительное вліяніе его кончины. . . . . 539—544

ГЛАВА LXXX. Впечатлѣніе, произведенное на П. А. Плетнева кончиною Гоголя. Переписка Плетнева съ Жуковскимъ. Словесныя поминки князя П. А. Вяземскаго по Гоголѣ . . . . . 544—548

ГЛАВА LXXXI. Сорочины по Гоголѣ въ Даниловомъ монастырѣ, совпавшія съ Святою и Великою Недѣлею Пасхи. 548—552



I.

Въ 1850 году, въ Москвѣ обновилась любезная для Москвичей память о князѣ Дмитріѣ Владиміровичѣ Голицынѣ, въ лицѣ его сына князя Бориса Дмитріевича, прибывшаго изъ Петербурга государевымъ вѣстникомъ о рожденіи, 2-го января того года, великаго князя Алексѣя Александровича.

„Богъ благословилъ Царскій Домъ", — повѣствуетъ С. П. Шевыревъ,—„новыми отраслями". Въ семействѣ сына Царева, за Владиміромъ, нареченнымъ во имя крестителя Русской Земли, послѣдовалъ Алексѣй, нареченный въ честь Московскаго Чудотворца митрополита Алексія и въ память того, что отецъ его родился въ Москвѣ и крещенъ въ Чудовѣ монастырѣ, подъ сѣнію Мощей Святителя.

Князь Б. Д. Голицынъ пробудилъ въ Москвѣ благодарныя воспоминанія всѣхъ тѣхъ, которые, какъ пишетъ Шевыревъ, „имѣли счастіе окружать близко свѣтлѣйшаго князя Дмитрія Владиміровича Голицына,—и вотъ устроенъ прекрасный пиръ, съ тѣмъ, чтобы угостить милаго гостя, поднять вмѣстѣ съ нимъ заздравный кубокъ по случаю радостной вѣсти, которую привезъ онъ, и въ сынѣ, расцвѣтшемъ прекрасною надеждой, почтить память родителя".

Въ домѣ А. С. Талызина происходилъ этотъ „добрый Русскій пиръ", внушенный чувствомъ самымъ чистымъ. „Его учредила неостывшая черезъ столько лѣтъ преданность къ усопшему начальнику и любовь къ незабвенному человѣку".

Хозяевами пира были нѣкоторые сослуживцы князя Дмитрія Владиміровича и прежніе его адъютанты: гостями тѣ, которыхъ могла соединить въ одну мысль и въ одно чувство память о почившемъ. „Когда всѣ увидѣли себя опять вмѣстѣ, когда явился въ этомъ кругу царскій вѣстникъ и гость, чертами лица и характеромъ возобновившій живую память своихъ добрыхъ родителей,—о! тогда заговорило въ душахъ все милое прошлое. всѣ перенеслись за десять. за двадцать лѣтъ назадъ. всѣ почувствовали. что умершіе еще живы духомъ въ каждомъ изъ тѣхъ. которые ихъ знали и любили".

Князь Б. Д. Голицынъ сидѣлъ за столомъ между двумя старѣйшими сослуживцами покойнаго отца своего, графомъ А. И. Гудовичемъ и Московскимъ комендантомъ К. Г. Сталемъ. котораго твердый духъ и характеръ князь Д. В. Голицынъ узналъ во время первой холеры.

Послѣ тостовъ за Государя. Наслѣдника Цесаревича и его семейства. Г. М. Безобразовъ, обратясь къ царскому вѣстнику. сказалъ: „Князь Борисъ Дмитріевичъ! Вы видите предъ вами нѣкоторыхъ сотрудниковъ незабвеннаго вашего родителя. свѣтлѣйшаго князя Дмитрія Владиміровича Голицына. которые собрались здѣсь почтить память его свѣтлости, бывшаго ихъ начальника и благодѣтеля. радушнымъ пріемомъ его сына. Да послужитъ нынѣшнее наше дѣйствіе, какъ вамъ и всему почтенному семейству его свѣтлости, такъ всѣмъ нашимъ современникамъ и потомству, доказательствомъ безпредѣльной нашей къ нему преданности и любви, которыя сохранились въ сердцахъ нашихъ за предѣломъ его гроба; и если хладная могила сокрыла отъ насъ его останки, то дѣла, имъ оставленныя. являютъ намъ его живымъ и чувство сіе пребудетъ въ насъ неизмѣннымъ, доколѣ кровь въ насъ не охладѣетъ. Примите, любезнѣйшій князь Борисъ Дмитріевичъ, наше привѣтствіе съ тою же ангельскою улыбкою, съ какою нѣкогда принималъ насъ вашъ родитель".

За тѣмъ. М. Н. Загоскинъ „голосомъ. въ которомъ отзывалось Русское сердце". произнесъ стихи:

За память вѣчную мы пьемъ теперь того,
Кого Москва во вѣки не забудетъ.
Кто сердце чистое, кто душу зналъ его,
Тотъ вѣчно вспоминать о немъ съ слезами будетъ.
Изъ Русскихъ всѣхъ бояръ, изъ Царскихъ вѣрныхъ слугъ,
Кто больше былъ его, любви Царя достоинъ?
Въ совѣтѣ Царскомъ—правды другъ,
На полѣ чести—храбрый воинъ.
За вѣру и Царя онъ жизни не щадилъ,
Готовъ былъ умереть за родину святую,
И, словно мать свою родную,
Москву державную любилъ.

Всеобщій восторгъ былъ отвѣтомъ на этотъ благозвучный голосъ сердца.

Непремѣнный секретарь Общества Сельскаго Хозяйства, учрежденнаго при покойномъ князѣ Д. В. Голицынѣ, С. А. Масловъ, живымъ словомъ сосредоточилъ опять всеобщее вниманіе: „Мм. Гг.! Еслибы одни чувства любви и благодарности къ незабвенному князю Дмитрію Владиміровичу давали первенство праву на выраженіе ихъ словомъ, то конечно никто изъ насъ не уступилъ бы этого права другому, потому что каждый изъ присутствующихъ здѣсь чтитъ память князя Дмитрія Владиміровича, какъ благодушнаго начальника, многіе какъ благодѣтеля, и всѣ помнятъ его какъ возвышенно благороднаго человѣка. Но, мм. гг., мы не можемъ думать, чтобы эти чувства благодарности ограничивались только въ кругу нашемъ. Нѣтъ! Учрежденіемъ въ Москвѣ Общества Сельскаго Хозяйства, князь Дмитрій Владиміровичъ снискалъ право на признательность всѣхъ Русскихъ хозяевъ. Онъ водворилъ въ Россіи науку Сельскаго Хозяйства, онъ былъ виновникомъ развитія въ ней многихъ новыхъ вѣтвей земледѣльческой промышленности, составляющихъ благосостояніе сельскимъ хозяевамъ, и въ числѣ ихъ отъ Москвы до Камчатки и Варшавы, до Архангельска и Тифлиса, найдется много отцевъ семействъ, которые, узнавши объ этомъ праздникѣ изъявленія любви и признательности къ князю Дмитрію Владиміровичу, въ присутствіи его сына князя Бориса Дмитріевича, конечно соединятъ съ нашими и свои благодарныя

чувства къ незабвенному основателю Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Въ этомъ я увѣренъ".

Упоминаніе въ этой рѣчи о наукѣ вызвало С. П. Шевырева сказать слѣдующее:

„Если дѣло коснулось науки, позвольте и мнѣ, мм. гг. сказать слово. Не одно Сельское Хозяйство, всѣ науки и Словесность въ особенности имѣли счастіе видѣть въ незабвенномъ князѣ Дмитріѣ Владиміровичѣ и покровителя и цѣнителя. Да, онъ любилъ, онъ уважалъ науку. Многіе здѣсь, вмѣстѣ со мною, конечно, вспомнятъ о тѣхъ одушевленныхъ вечерахъ, которые мы проводили у него, когда онъ, отдыхая отъ заботъ государственныхъ, соединялъ около себя ученыхъ и литераторовъ, дарилъ вниманіе нашему слову, оживлялъ насъ привѣтомъ рѣчей и тою улыбкой, о которой такъ прекрасно выразился одинъ изъ почтенныхъ учредителей пира. То, что я теперь думаю, что̀ говорю, то конечно думаютъ и скажутъ всѣ тѣ, которыхъ въ эту минуту я осмѣлюсь назвать себя представителемъ. Въ вашей мысли, въ вашихъ чувствахъ и рѣчахъ, мм. гг., во всемъ, что касается памяти незабвеннаго князя, участвуютъ многіе, многіе, невидимо присутствуя здѣсь на этомъ прекрасномъ пирѣ, которымъ почтили вы его сына".

П. П. Новосильцевъ, которому принадлежитъ мысль объ учрежденіи пира, обратился къ князю Борису Дмитріевичу съ слѣдующими словами: „Милость Царя избрала васъ радостнымъ вѣстникомъ для Москвы рожденія сына Государя Наслѣдника Цесаревича. Его Императорское Высочество—самъ уроженецъ Москвы: она справедливо гордится и радуется симъ драгоцѣннымъ залогомъ ея неизмѣнной преданности и любви ея Царямъ и всегдашняго милостиваго благоволенія къ ней Государя Императора. — Прибытіе ваше въ Москву доставляетъ намъ утѣшеніе угостить васъ, и какъ радостнаго вѣстника, и какъ сына того незабвеннаго начальника и градоправителя, который, велѣніемъ Царя, созидалъ изъ-подъ пепла Москву, и въ продолженіе двадцати четырехъ лѣтъ берегъ,

устроилъ и украсилъ сію столицу въ томъ блистательномъ видѣ, въ коемъ она еще недавно, какъ и прежде, заслужила милостивый и лестный отзывъ Государя Императора. Кто изъ жителей Москвы, встрѣчая на каждомъ шагу слѣды сего мудраго управленія, не вспоминаетъ съ умиленіемъ и признательностью о его высокомъ, благородномъ характерѣ, о его кротости, о его неусыпныхъ попеченіяхъ объ общемъ благѣ, о пользѣ и благодѣяніяхъ, коими ознаменовалъ онъ управленіе столицею? Но если князь Дмитрій Владиміровичъ успѣлъ привлечь любовь и признательность всѣхъ жителей Москвы, что же должны чувствовать тѣ, кои пользовались его дружбою, и особенно тѣ, кои имѣли счастіе служить при немъ и подъ его благодѣтельнымъ начальствомъ. Чувства сіи, какъ молитва, вознесутся къ Богу и испросятъ вамъ и брату вашему счастія и всѣхъ благъ, которыхъ всѣ, окружающіе васъ, отъ души вамъ желаютъ".

Выслушавъ всѣ эти рѣчи, князь Б. Д. Голицынъ въ свою очередь сказалъ: „Счастливъ я, что мнѣ дарована высокая честь быть передъ вами, мм. гг., вѣстникомъ событія, радостнаго для всей Россіи. Позвольте принести вамъ отъ искренняго сердца душевную мою благодарность за память, сохраненную вами о покойномъ отцѣ моемъ, который до послѣдняго часа своей жизни пекся о благосостояніи Москвы. Воспоминаніе о семъ обѣдѣ, какъ о самыхъ счастливыхъ минутахъ моей жизни, сохранится неизгладимо въ сердцѣ моемъ".

„Если бы дать волю слову",—повѣствуетъ Шевыревъ,—„не было бы конца рѣчамъ. Одинъ могъ бы говорить про него во время первой холеры; тѣ сказали бы, какъ онъ прилагалъ попеченіе о бѣдныхъ, объ увѣчныхъ, о больныхъ; тотъ видѣлъ его въ тюрьмѣ, въ горнилѣ закоснѣлаго преступленія, когда онъ произносилъ эти золотыя слова: *безъ воспитанія, можетъ быть, и насъ постигла бы та же участь; мы должны быть благодарны ему*. У каждаго изъ гостей, тутъ бывшихъ, было свое слово объ немъ, свой анекдотъ, своя черта, свой памятникъ, оставленный усопшимъ въ умѣ, въ сердцѣ, въ дѣлѣ, въ

словѣ,—и все это, послѣ обѣда, сдѣлалось предметомъ почти всеобщей бесѣды. Всѣ невольно памятью соединились около одного. Онъ былъ тутъ со всѣми и съ каждымъ. Онъ оживлялъ всѣхъ невидимо и всѣ эти воспоминанія, прекрасныя и чистыя, падали на чистую и прекрасную душу его достойнаго сына, какъ добрыя сѣмена на добрую почву.

Вотъ одна изъ тѣхъ вдохновенныхъ минутъ, которыя записывать надобно у насъ въ Москвѣ, какъ внутреннюю исторію сердца Россіи, гдѣ всегда готова общественная радость откликнуться на семейную радость нашихъ Царей и гдѣ не забывается добро, однажды намъ сдѣланное".

II.

Черезъ два дня послѣ описаннаго нами пира въ честь князя Б. Д. Голицына, наступилъ Татьянинъ день, который въ 1850 году Московскій Университетъ отпраздновалъ особенно торжественно. „12-го января",—свидѣтельствуетъ Погодинъ,—„есть день незабвенный въ Исторіи Москвы, въ Исторіи Русскаго просвѣщенія, въ Исторіи Отечества. 12 Января, 1755 года, по мысли Ломоносова, поднесенной къ Престолу Шуваловымъ, основано было въ Москвѣ, средоточіи Россіи, первое Русское Всеучилище (Университетъ); поставленъ былъ самодержавною рукою Императрицы Елизаветы на семи холмахъ первопрестольнаго града высокій свѣщникъ, да разливаютъ возженные на немъ свѣтильники благодатный свѣтъ знанія по всѣмъ странамъ неизмѣримаго Царства до крайнихъ предѣловъ обитанія.

Ломоносовъ, крестьянинъ, сынъ бѣднаго Архангельскаго рыболова, отецъ Русской словесности и науки, академикъ, и одинъ изъ первыхъ ученыхъ во всей Европѣ.

Шуваловъ, дворянинъ, знаменитый вельможа, образованнѣйшій человѣкъ своего времени, ревностный ходатай науки и благоразумный представитель ученаго сословія предъ Престоломъ.

Императрица Елизавета, благосердная дочь и исполнительница мыслей Великаго Петра, у котораго главною темою всѣхъ дѣйствій, на морѣ и сушѣ, во дворцѣ и Сенатѣ, на Полтавскомъ полѣ и въ Сардамской хижинѣ, была славная Русская пословица, ученье свѣтъ, а неученье тьма.

И этого гласа вдохновенной мудрости слушались всѣ его приснопамятные преемники:

Императрица Елизавета основала университетъ.

Императрица Екатерина присоединила къ нему народныя училища и гимназіи.

Императоръ Александръ дарованными университетамъ преимуществами привлекъ новыхъ учащихся.

Императоръ Николай утвердилъ существованіе ученаго сословія, успокоивъ профессоровъ и учителей на время ихъ старости, болѣзни и смерти, обезпечивъ судьбу ихъ дѣтей и семействъ.

Кто смѣетъ сказать, кто можетъ подумать что-либо противъ сихъ истинъ, осязательныхъ, историческихъ!

И прильпни языкъ къ гортани того профессора, того учителя, который забылъ бы эти жизненныя благодѣянія Правительства для просвѣщенія!

Профессоры обязаны, они должны, они будутъ всѣми своими силами, всѣми своими дѣйствіями, всѣми своими помышленіями, стараться о водвореніи въ юношествѣ понятій истинныхъ о человѣческомъ и гражданскомъ назначеніи, о распространеніи свѣдѣній вѣрныхъ и полезныхъ, о внушеніи въ сердца своихъ воспитанниковъ преданности къ Престолу, Отечеству, порядку, закону, справедливости.

И наши отцы исполняли свято эти обязанности: Поповскій, Барсовъ, Чеботаревъ, Сохацкій, Страховъ, Мерзляковъ, Цвѣтаевъ, Тимковскій, Двигубскій, Каченовскій, Мудровъ, Сандуновъ, Дядьковскій, Щепкинъ, Павловъ.

Настоящіе ихъ преемники, при видѣ страшныхъ и вмѣстѣ поучительныхъ явленій въ жизни гражданскихъ обществъ, потрясенныхъ въ Европѣ на своихъ основаніяхъ, чему при-

велось намъ быть свидѣтелями, должны увеличить свои старанія, должны усугубить свое вниманіе, чтобъ не вылетало изъ устъ ихъ ни одного неосторожнаго или легкомысленнаго слова, которое, какъ искра, можетъ запасть въ горючее сердце юности и произвести въ немъ пожаръ.

Половинное знаніе ведетъ къ невѣрію, полное знаніе производитъ вѣру, сказалъ первый изъ учителей Европы, изъ основателей новой науки, Баконъ.

Осмѣлюся присоединить къ изреченію его мудрости, оправданному примѣрами всѣхъ великихъ мыслителей, осмѣлюся присоединить, въ отвѣтъ слѣпымъ поклонникамъ тьмы и близорукимъ противникамъ свѣта, что половинное образованіе, злоупотребленное знаніе ведетъ къ буйству, мятежу, безпорядку; полное истинное образованіе, благоупотребленное знаніе утверждаетъ спокойствіе и миръ.

Слово есть мечъ обоюдоострый; познаніе добра и зла произрастало и въ первомъ раю на одномъ деревѣ; нужна бдительность, осторожность, мудрость, чтобъ пользоваться добромъ и избѣгать зла.

Всѣ эти размышленія занимали мою душу въ университетской церкви, въ день храмового праздника Великомученицы Татіаны, за литургіей, которую совершалъ Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Филаретъ.

Университетское Начальство пригласило къ своему торжеству друзей просвѣщенія, и они собрались со всѣхъ сторонъ, воспитанники всѣхъ поколѣній, старые и молодые, сенаторы и студенты, въ университетскую церковь, которая наполнилась народомъ, не смотря на то, что день былъ нетабельный, чиновники должны были находиться на своихъ мѣстахъ, а дворяне присутствовать на выборахъ. Царскій намѣстникъ, неутомимый нашъ градоначальникъ, успѣлъ изъ судебныхъ палатъ явиться и здѣсь на ученомъ торжествѣ.

По окончаніи литургіи, митрополитъ произнесъ поученіе... Онъ говорилъ не больше четверти часа; но мнѣ показалось, что я прослушалъ, употреблю учебное выраженіе, цѣлый се-

местръ божественной науки въ какомъ-то высшемъ университетѣ, на горѣ Хоривѣ или Сіонѣ. Отходя отъ каѳедры златоустовой, тяжело было головѣ отъ возбужденныхъ мыслей, и легко было сердцу отъ сладкихъ чувствованій.

Благочестіе—вотъ условіе мудрости. Избѣгайте зла, и вы достигнете просвѣщенія! Видите, какъ это просто, сказалъ нашъ великій учитель, и сказалъ со властію, какъ говоритъ всегда, но не потому ли оно мудрено, что просто, прибавилъ въ немъ русскій человѣкъ и вмѣстѣ ученый, прошедшій все поприще науки, вкусившій, по позднимъ ночамъ, за тусклой лампадой, и раннимъ утрамъ, при свѣтѣ восходящаго солнца, всю ея горечь, всю ея сладость, прибавилъ, говорю, для ученыхъ своихъ слушателей, у которыхъ по необходимости, вслѣдствіе ихъ занятій, напряженнаго вниманія, умъ заходитъ иногда за разумъ, и для которыхъ тогда ничто не бываетъ такъ мудрено, какъ простое. Не въ укоръ будь это сказано ученому сословію, къ которому имѣю счастіе принадлежать, а въ искреннее сознаніе недостатковъ науки, на извѣстныхъ ея степеняхъ и въ извѣстныхъ обстоятельствахъ.

По совершеніи церковнаго торжества, заключеннаго провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, какъ Августѣйшему Покровителю просвѣщенія и всему Императорскому Дому, посѣтители отправились въ старое зданіе университета, гдѣ въ обширной залѣ приготовленъ былъ обильный завтракъ.

Опять Русское явленіе! *Хлѣбъ-соль*. О, вы, западные мудрецы, и вы, восточные ихъ поклонники, переведите мнѣ это выраженіе на какой угодно изъ вашихъ вавилонскихъ діалектовъ! Объясните мнѣ то чувство, которое наполняетъ сердце у всякаго чисто русскаго человѣка, при этомъ благословенномъ наслѣдствѣ его древняго патріархальнаго быта. *Хлѣбъ-соль*! Нѣтъ, вы не переведете и не объясните его. Повѣрьте же мнѣ, изучающему тридцать лѣтъ Русскую Исторію, что это дѣдовское выраженіе принадлежитъ къ числу драгоцѣннѣйшихъ регалій и клейнодовъ Отечества, повѣрьте мнѣ, что

велось намъ быть свидѣтелями, должны увеличить свои старанія, должны усугубить свое вниманіе, чтобъ не вылетало изъ устъ ихъ ни одного неосторожнаго или легкомысленнаго слова, которое, какъ искра, можетъ запасть въ горючее сердце юности и произвести въ немъ пожаръ.

Половинное знаніе ведетъ къ невѣрію, полное знаніе производитъ вѣру, сказалъ первый изъ учителей Европы, изъ основателей новой науки, Баконъ.

Осмѣлюся присоединить къ изреченію его мудрости, оправданному примѣрами всѣхъ великихъ мыслителей, осмѣлюся присоединить, въ отвѣтъ слѣпымъ поклонникамъ тьмы и близорукимъ противникамъ свѣта, что половинное образованіе, злоупотребленное знаніе ведетъ къ буйству, мятежу, безпорядку; полное истинное образованіе, благоупотребленное знаніе утверждаетъ спокойствіе и миръ.

Слово есть мечъ обоюдоострый; познаніе добра и зла произрастало и въ первомъ раю на одномъ деревѣ; нужна бдительность, осторожность, мудрость, чтобъ пользоваться добромъ и избѣгать зла.

Всѣ эти размышленія занимали мою душу въ университетской церкви, въ день храмового праздника Великомученицы Татіаны, за литургіей, которую совершалъ Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Филаретъ.

Университетское Начальство пригласило къ своему торжеству друзей просвѣщенія, и они собрались со всѣхъ сторонъ, воспитанники всѣхъ поколѣній, старые и молодые, сенаторы и студенты, въ университетскую церковь, которая наполнилась народомъ, не смотря на то, что день былъ нетабельный, чиновники должны были находиться на своихъ мѣстахъ, а дворяне присутствовать на выборахъ. Царскій намѣстникъ, неутомимый нашъ градоначальникъ, успѣлъ изъ судебныхъ палатъ явиться и здѣсь на ученомъ торжествѣ.

По окончаніи литургіи, митрополитъ произнесъ поученіе... Онъ говорилъ не больше четверти часа; но мнѣ показалось, что я прослушалъ, употреблю учебное выраженіе, цѣлый се-

местръ божественной науки въ какомъ-то высшемъ университетѣ, на горѣ Хоривѣ или Сіонѣ. Отходя отъ каѳедры златоустовой, тяжело было головѣ отъ возбужденныхъ мыслей, и легко было сердцу отъ сладкихъ чувствованій.

Благочестіе—вотъ условіе мудрости. Избѣгайте зла, и вы достигнете просвѣщенія! Видите, какъ это просто, сказалъ нашъ великій учитель, и сказалъ со властію, какъ говоритъ всегда, но не потому ли оно мудрено, что просто, прибавилъ въ немъ русскій человѣкъ и вмѣстѣ ученый, прошедшій все поприще науки, вкусившій, по позднимъ ночамъ, за тусклой лампадой, и раннимъ утрамъ, при свѣтѣ восходящаго солнца, всю ея горечь, всю ея сладость, прибавилъ, говорю, для ученыхъ своихъ слушателей, у которыхъ по необходимости, вслѣдствіе ихъ занятій, напряженнаго вниманія, умъ заходитъ иногда за разумъ, и для которыхъ тогда ничто не бываетъ такъ мудрено, какъ простое. Не въ укоръ будь это сказано ученому сословію, къ которому имѣю счастіе принадлежать, а въ искреннее сознаніе недостатковъ науки, на извѣстныхъ ея степеняхъ и въ извѣстныхъ обстоятельствахъ.

По совершеніи церковнаго торжества, заключеннаго провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, какъ Августѣйшему Покровителю просвѣщенія и всему Императорскому Дому, посѣтители отправились въ старое зданіе университета, гдѣ въ обширной залѣ приготовленъ былъ обильный завтракъ.

Опять Русское явленіе! *Хлѣбъ-соль*. О, вы, западные мудрецы, и вы, восточные ихъ поклонники, переведите мнѣ это выраженіе на какой угодно изъ вашихъ вавилонскихъ діалектовъ! Объясните мнѣ то чувство, которое наполняетъ сердце у всякаго чисто русскаго человѣка, при этомъ благословенномъ наслѣдствѣ его древняго патріархальнаго быта. *Хлѣбъ-соль*! Нѣтъ, вы не переведете и не объясните его. Повѣрьте же мнѣ, изучающему тридцать лѣтъ Русскую Исторію, что это дѣдовское выраженіе принадлежитъ къ числу драгоцѣннѣйшихъ регалій и клейнодовъ Отечества, повѣрьте мнѣ, что

въ немъ больше нравственной силы, чѣмъ въ иномъ заморскомъ курсѣ.

И мы всѣ, вслѣдъ за митрополитомъ, благословившимъ „яства сія“, вкусили съ удовольствіемъ русской хлѣба-соли, предложенной отъ добраго сердца.

А когда новый попечитель, съ бокаломъ въ рукѣ, обратился къ профессорамъ и, поздравивъ ихъ съ праздникомъ, произнесъ желаніе благоденствія и процвѣтанія Императорскому Московскому Университету, когда пошелъ онъ, сопровождаемый деканомъ и многими гостями, къ студентамъ, обѣдавшимъ въ сосѣднихъ залахъ, и, повторивъ свое желаніе, выпилъ и за ихъ здоровье, то всѣ лица просіяли, на многихъ глазахъ блеснули слезы, какъ будто гора недоумѣнія или сомнѣнія свалилась съ сердца. Всѣ присутствовавшіе съ искреннею благодарностью обратились къ попечителю, начавшему свое знакомство съ университетомъ такъ просто, искренно, такъ радушно и любовно.

Повторимъ здѣсь и мы завѣтный тостъ, или, какъ называютъ Славяне, здравицу:

Да здравствуетъ Московскій Университетъ! Да цвѣтетъ въ немъ Русское слово, да укрѣпляется въ немъ Русская наука! Да утверждается онъ и младшіе его братья, университеты: Харьковскій, Казанскій, Кіевскій, Петербургскій и Дерптскій, на двухъ спасительныхъ, историческихъ якоряхъ— благоговѣніи къ вѣрѣ и преданности Престолу, да распространяются изъ университетовъ знанія на общую пользу Отечества, къ радости Августѣйшаго ихъ Покровителя и Его Наслѣдника. Дальше и дальше всѣ обаянія, всѣ искушенія, всѣ мечты! Да станутъ Русскіе университеты непреоборимыми крѣпостями порядка и закона, спокойствія и мира. Гдѣ любовь, тамъ сила, власть, тамъ могущество, тамъ всемогущество! *Идѣже Духъ Господень, ту и свобода!*“

Статьею этою остался доволенъ и самъ Погодинъ. Подъ 13 января 1850 года онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Написалъ статью я прекрасно. Послалъ къ Попечителю“

Судя по отвѣту Погодина, этою статьею его остался доволенъ и Попечитель. „Радъ“,—писалъ ему Погодинъ,—„что, выразивъ свои мысли, я угадалъ вмѣстѣ и образъ мыслей Правительства. А признаюсь, со страхомъ я ожидалъ вашего отвѣта: не за свою статью, ибо она для меня собственно ничего не значитъ, а за ея смыслъ. Изъ отвѣта вашего превосходительства я увидѣлъ, въ подтвержденіе вашего тоста, что просвѣщеніе у Правительства не въ опалѣ, о чемъ было общее сомнѣніе не только въ университетѣ, но и въ городѣ. Вы не можете вообразить, что произвелъ вашъ тостъ о процвѣтаніи университета? Что я сказалъ въ статьѣ, то не фигура риторическая: всѣ оживились и за столомъ мнѣ наливали бокалъ люди даже противной мнѣ партіи“!...

Въ февралѣ того же года, въ Московскомъ университетѣ давался концертъ, и подъ 25 февраля въ *Дневникѣ* Погодина находимъ слѣдующую запись: „Въ университетскій концертъ съ удовольствіемъ. Назимовъ осыпаетъ ласками“; а во время концерта у Погодина, какъ онъ самъ выразился, „шевелилась статья“. И дѣйствительно, своими впечатлѣніями, вынесенными изъ концерта, онъ подѣлился съ читателями *Москвитянина*. „Университетъ“,—писалъ Погодинъ,—„такая существенная часть Москвы, все происходящее въ немъ такъ близко къ сердцу всякаго образованнаго Московскаго жителя, и возбуждаетъ до такой степени общее участіе, что я не сомнѣваюсь во вниманіи и къ слѣдующимъ строкамъ.

О музыкѣ и исполненіи говорить не нужно: все, что можно и должно было сказать, то сказано какъ нельзя лучше достойнымъ профессоромъ, котораго труды равно приносятъ честь университету, какъ и литературѣ, С. П. Шевыревымъ. Я скажу нѣсколько словъ о праздникѣ въ другихъ отношеніяхъ.

Концертъ давался въ старой университетской залѣ, съ коей должно познакомить читателей потому, что вѣрно многіе уже не знаютъ ея. Эта зала—одна изъ великолѣпнѣйшихъ въ Москвѣ, лѣтъ пятнадцать была совершено оставлена, и почти

никакого собранія въ ней не происходило. Въ послѣднее время она нѣсколько преобразована, и, кажется, къ лучшему. Нельзя и не должно быть безусловно противъ нововведеній: пусть исправляется старое, но оно не должно быть пренебрегаемо, презираемо, оставляемо безъ вниманія, потому только, что оно старое.

Посрединѣ залы въ полукругѣ возвышается изображеніе царствующаго Государя Императора.

По обѣимъ сторанамъ его висятъ двѣ огромныя доски, на коихъ въ золотыхъ буквахъ сіяютъ имена благотворителей университета, принесшихъ значительныя пожертвованія на пользу наукъ и для содержанія бѣдныхъ студентовъ: Демидова, Соколовскаго, Есимантовскаго и проч.

Священны эти имена! Кто знаетъ жизнь нашего студента, *особенно въ прежнее время*, лѣтъ за тридцать, къ коему относятся всѣ сіи пожертвованія, тотъ и можетъ только оцѣнить ихъ по достоинству. Позволю себѣ эпизодъ.

Представьте себѣ молодого человѣка, который приходитъ иногда пѣшкомъ изъ Перми, Саратова или Чернигова. Онъ добрался кое-какъ до Москвы, почти Христовымъ именемъ, а жить ему въ Москвѣ нечѣмъ, и учиться не на что; нѣтъ у него денегъ, да нѣтъ и познаній: только что загорѣлся внутри огонекъ, запала святая искра любознательности; онъ что-то прочелъ, что-то услышалъ, и захотѣлось ему учиться въ университетѣ, о которомъ, слѣдовательно, понятіе имѣетъ самое смутное. Останавливается онъ на постояломъ дворѣ, знакомится съ кѣмъ-нибудь на клиросѣ въ приходской церкви, разспрашиваетъ, достаетъ работишку — переписывать бумаги или учитъ дѣтей грамотѣ. Онъ пишетъ домой, чтобъ ему прислали что-нибудь, хоть взявши взаемъ, на обзаведеніе, а тамъ уже, говоритъ, буду въ университетѣ, такъ ворочу вамъ все, и больше, и вы не будете ни въ чемъ имѣть недостатка. Перетерпимъ только годокъ! И вотъ, кое-какъ онъ водворяется въ своемъ уголку, и принимается за книги, ходитъ за ними во всѣ стороны: за Латинской Грамматикой—въ Лефортово,

за Риторикой—на Прѣсню, а Физика-то въ Мѣщанской. Сидитъ онъ, читаетъ, пишетъ, переписываетъ, „зубритъ“, и наконецъ, наступаетъ экзаменъ. Страшныя минуты! Большая зала, собраніе незнакомыхъ профессоровъ, столы, усыпанные кучами билетовъ,—у страха глаза велики, и все представляется бѣдняку въ огромныхъ размѣрахъ, свѣдѣнія (да и сколько ихъ успѣлъ онъ нахвататься въ годъ?) перемѣшиваются въ головѣ у него самымъ страннымъ образомъ. Онъ подходитъ къ столу, ни живой, ни мертвый, беретъ билетъ. Ахъ! попадется роковой, такой, о которомъ онъ и слыхомъ не слыхалъ никогда—о Ріо-Жанейро, или какомъ-то углѣ отраженія. Беретъ другой—другого лучше уже и не брать: въ глазахъ у него потемнѣло, онъ прочесть не можетъ вопроса, а отвѣтъ составляетъ уже изъ всѣхъ наукъ, такъ что самъ экзаменаторъ приходитъ въ недоумѣніе.

Множество анекдотовъ знаю я объ этихъ экзаменахъ. Разскажу одинъ: случилось мнѣ экзаменовать изъ Русской Словесности: я задалъ написать о Кремлѣ. Черезъ часъ подходитъ ко мнѣ одинъ молодой человѣкъ, весь красный,—въ сюртукѣ изъ толстаго сукна,—потъ каплями лился у него со лба,—онъ проситъ, чтобъ я перемѣнилъ ему предметъ: этотъ очень труденъ. Чего же вамъ легче, отвѣчалъ я, напишите только, что вы увидѣли, пришедши въ Кремль, въ первый разъ. — Нѣтъ, это для меня трудно, — продолжалъ онъ просить трепетнымъ голосомъ, — пожалуйте что-нибудь полегче.—Ну, выберите сами.—Позвольте мнѣ написать о безсмертіи души.

Бѣднякъ не выдерживаетъ, разумѣется, экзамена, но по крайней мѣрѣ онъ былъ въ университетѣ, увидѣлъ мѣсто, людей, познакомился съ требованіями, узналъ ходъ дѣла. Онъ принимается за работу съ новымъ жаромъ, и на слѣдующій годъ, благодаря снисходительности, коею отличались всегда профессоры, онъ попадаетъ въ число студентовъ.

Начинается новый періодъ въ жизни студента, но и съ новыми нуждами: ему надо одѣться прилично, — сапоги на

ходу топчутся безпрестанно,—и мало ли что оказывается необходимымъ въ общественной жизни, чего прежде онъ и не подозрѣвалъ. Повѣрятъ ли читатели, что у многихъ студентовъ бывало по одной шинели, по одной парѣ сапоговъ на двоихъ и троихъ, которые и одѣвались по очереди, ходили на лекціи, пока наконецъ соединенными силами удавалось завестись сапогами, а потомъ и шинелями порознь. А что они ѣли? Про то знаетъ Богъ, питавшій ихъ вмѣстѣ съ птицами небесными. Все это говорю не по слуху, а по собственному опыту, —и я былъ бѣденъ, и я вставалъ иногда голодный изъ-за обѣда, не только что садился голодный за обѣдъ; каково же было ожидать ужина?

Наконецъ студентъ получаетъ *кондицію*. Мнѣ досталась одна черезъ шесть мѣсяцевъ по вступленіи въ университетъ, и я записалъ у себя въ тетрадяхъ: 18-го ноября, 1818 года, сладостныя надежды! Въ чемъ же состояли эти надежды? Одинъ товарищъ доставилъ мнѣ случай переписывать Механику студенту Кеку, и обѣщался достать урокъ у своей родни, по три руб. ассигн. за билетъ, за что ему я долженъ былъ впрочемъ подарить каленкору на брюки изъ перваго полученія.

Но вотъ приближается лѣтняя вакація. Счастливцы получаютъ кондиціи въ деревни. Студентъ заводитъ себѣ фрачекъ, пеструю жилеточку, пару манишекъ, шляпу. Лѣто рѣшаетъ его судьбу. Если онъ понравился въ домѣ, онъ удерживаетъ кондицію на зиму, и получаетъ рекомендаціи въ другіе дома, обзаводится къ зимѣ ваточною шинелью или даже шубою; отличась успѣхами, попадаетъ „на благотворительное содержаніе“. Это счастливецъ, а счастливцевъ бываетъ не по многу. Другой, достойнѣйшій, долженъ отправляться на простянкахъ домой, къ отцу дьячку или регистратору, косить сѣно, работать, а третьему такъ и совсѣмъ некуда дѣться. Слабодушные унываютъ, теряютъ терпѣніе и происходитъ переворотъ въ судьбѣ.

Къ чему же всѣ эти подробности? А вотъ къ чему, мои

добрые читатели! Для такого-то случая хоть их теперь гораздо меньше, и бывшие той, что была вскоре послѣ Французовъ, и много описана рѣчь и въ помѣщ., въ прочимъ мѣрамъ благодѣтельнаго Правительства присоединились нынѣ публичные банкеты. Читатели! рубли, взысканные вами за ваше благородное умовольствие можно сказать за вознагражденіе, употребятся на то, чтобъ прибавить кусокъ жаркого къ умѣренной трапезѣ математика, чтобъ купить новый Corpus juris, чтобъ поставить возможность ученому послать безцѣлицу къ праздному для бѣдной его матери, чтобъ избавить мелка отъ уроковъ, которые отнимали его драгоцѣнное время. Какое употребленіе сдѣлать лучше изъ лишнихъ рублей!

Это вновь. Я началъ описывать залу. За столами съ именами благотворителей красуются портреты благодѣтелей университета и министровъ: Шувалова, Дашкова, Муравьева, Шишкова....

Но вотъ собираются гуськи многочисленныя почтенныя. Имѣть заслуги, слава, красота, умъ, полезность, учность — всѣ всѣ собираются на университетскій праздникъ. Не стану называть никого по именамъ. Мнѣ довольно думать, что угадывая, никто не ошибется, кому принадлежитъ то и другое.

Молодые распорядители летаютъ по рядамъ, показываютъ мѣста, усаживаютъ гостей, разглашаются, получаютъ привѣтныя улыбки, обмѣниваются взорами, вздыхаютъ, если еще остаются свободныя мѣста, сообщаются знакомы между собою, и въ полномъ удовольствіи, становятся въ свои мѣста, кланяются и сѣдаютъ.

Подан знакъ. Начинается увертюра. Какой-нибудь стоитъ въ средѣ, въ рукахъ у него какой-то инструментъ, но онъ управляетъ всѣмъ оркестромъ. Обернется направо — ударитъ тритъ; сдѣлаетъ шагъ налѣво — раздадутся фаготы; подъ знакъ рукою — заиграетъ флейта; взглянетъ — и скрипки отозвались; пошевелитъ бровью — и свой отличный голосъ подаетъ. Наконецъ, кончилась эта увертюра. Вновь стоитъ въ одной въ

нему, всѣ ловятъ малѣйшее его движеніе, повинуются немедленно, съ точностью,—потому и выходитъ все стройно, правильно, благозвучно. Великое дѣло въ большомъ оркестрѣ одинъ человѣкъ, знающій капельмейстеръ; никакой отличный музыкантъ замѣнить его не можетъ. Весь оркестръ кажется однимъ инструментомъ, и гармонія торжествуетъ.

Изъ студентовъ явился первый князь Радзивиллъ. Онъ былъ встрѣченъ и провоженъ громкими рукоплесканіями. Потому ли, что молодой человѣкъ былъ недовольнѣе своей игрою, чѣмъ слушатели, или по другой какой причинѣ, но намъ показалось (можетъ быть, мы ошибаемся), что онъ отвѣчалъ на привѣтствіе публики слишкомъ застѣнчиво. Скромность — великое достоинство въ молодомъ человѣкѣ, но не излишняя: публика одобрила—чего же болѣе! Лучше повѣрить ей, чѣмъ своему, хотя и похвальному чувству. Замѣчаю это движеніе потому, что князю Радзивиллу случилось первому предстать предъ публикой и подать примѣръ какъ бы прочимъ.

Вторымъ явился г. Воскресенскій. При этомъ имени послышался шепотъ въ рядахъ: одни слушатели изъявляли свое удовольствіе, что искусство распространяется у насъ и становится общимъ удѣломъ, а другіе какъ будто опасались, выдержитъ ли г. Воскресенскій состязаніе съ громкими именами, которыя, разумѣется, имѣютъ больше средствъ воздѣлывать свои таланты. Тѣ и другіе встрѣтили юношу громкими рукоплесканіями. Онъ раскланялся не такъ ловко, но тихое смиреніе обнаружилось ясно въ его движеніяхъ. Онъ началъ водить смычкомъ, первое впечатлѣніе говорило уже въ его пользу; дальше и дальше — опасенія разсѣялись. На всѣхъ лицахъ показалось удовольствіе. Раздалось браво. Музыкантъ одушевился. Смычекъ пошелъ живѣе, вдохновеніемъ загорѣлись глаза.... О, святое ободреніе! какъ ты бываешь иногда нужно молодому человѣку, и благо тому, кто любитъ и кто умѣетъ ободрять во время! Торжество было полное! Раза три

вызываемъ былъ артистъ, и долго послѣ раздавались еще рукоплесканія въ его честь.

Г. Мамоновъ долженъ былъ повторить два раза свой прелестный романсъ.

Гг. Марковъ и Фоглеръ собрали также принадлежащую имъ дань. То же должно сказать и о гг. Губерѣ и Іогелѣ, прежнихъ воспитанникахъ Московскаго Университета. О постороннихъ любителяхъ, которые имѣли любезность принять участіе въ концертѣ, мы говорить не будемъ: таланты ихъ оцѣнены уже публикою.

Но мы должны воздать честь тѣмъ студентамъ, которые участвовали въ оркестрѣ, и такъ мастерски исполняли свое дѣло. Имена ихъ остались неизвѣстными, но собственное чувство, собственное сознаніе вознаградило ихъ, можетъ быть, даже больше всѣхъ удовольствій самолюбія. Въ неизвѣстномъ подвигѣ на общую пользу есть что-то особенно благородное, есть что-то поэтическое. Дѣйствіе великаго цѣлаго зависитъ отъ всякаго инструмента, даже самаго ничтожнаго, отъ всякой струны, отъ всякой минуты, и тогда только идетъ все хорошо, тогда только есть гармонія, когда всякій знаетъ свое дѣло, большое и малое, исполняетъ его усердно, не заботясь о своемъ имени, и повинуется разумно одному голосу, голосу закона. Мысль о такомъ скромномъ, добросовѣстномъ содѣйствіи въ чистомъ сердцѣ юности производитъ ни съ чѣмъ несравненное удовольствіе!

И такъ, признательность всѣмъ, извѣстнымъ и неизвѣстнымъ участникамъ, принявшимъ на себя прекрасный трудъ пособить своими талантами неимущимъ; а вы, мои друзья, вы, для которыхъ составленъ былъ концертъ, поблагодарите усердно своихъ товарищей за дружескую помощь, не ревнуйте ихъ успѣхамъ,—ревность и зависть—не Русское православное чувство; дары различны,—кому Богъ дастъ сначала веселую пѣсню, кому мудреную задачу,—и я не знаю, не принадлежитъ ли нужда даже къ самымъ драгоцѣннымъ благодѣяніямъ Промысла. *Шиллеръ* благословлялъ нужду, и

народная Русская пословица подтверждаетъ его мысль. Прибавимъ и Латинскую: per augusta ad augusta.

Но вотъ раздается общій гимнъ. Пѣвцы и слушатели встаютъ и гремятъ въ одинъ голосъ:

Боже, ЦАРЯ храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
. . . . . .
Царствуй на славу намъ,
Царствуй на страхъ врагамъ!

Пріятное утро, какого давно не было въ Университетѣ Пожалѣемъ только, что не было Русскихъ звуковъ. Неужели изъ сочиненій Верстовскаго, Алябьева, Глинки, Варламова нельзя было выбрать чего-нибудь замѣчательнаго! Пожелаемъ, чтобъ прекрасный концертъ 25-го февраля былъ первымъ въ числѣ прекрасныхъ благородныхъ праздниковъ искусства въ Университетѣ. Можетъ быть, къ нему присоединятся чтенія, сцены, спектакли. Искусство должно оживлять науку, и умъ безъ сердца ничего не значитъ. Конечно, въ Университетѣ первое мѣсто наукѣ, но наука всегда предоставляла у себя почетное мѣсто искусству. Благодарность начальству, которое благожелательствуетъ наукѣ и воздаетъ должную честь искусству".

Написавъ эту статью, Погодинъ, подъ 28 февраля 1850 г., записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Будутъ смѣяться".

III.

Строгоновскій періодъ Московскаго Университета завершился кончиною, 24 іюля 1850 года, бывшаго инспектора студентовъ Московскаго Университета Платона Степановича Нахимова. Этотъ почтенный и любезный человѣкъ началъ свою службу въ скромный должности инспектора студентовъ Московскаго Университета съ 1834 года. По свидѣтельству А. И. Полунина, Нахимовъ отправляя многотрудныя обязан-

ности инспектора, умѣлъ заслужить особое благоволеніе начальства и сыновнюю привязанность и благодарность студентовъ... Постоянно слѣдя за ихъ поведеніемъ и успѣхами въ наукахъ, онъ особенно благосклоненъ былъ къ отличившимся и давалъ имъ знать, что ихъ благонравіе и прилежаніе не ускользали отъ его вниманія. Свойство чрезвычайно важное въ начальникѣ студентовъ. Безъ сомнѣнія, ученый студентъ трудится для науки, изъ любви къ наукѣ; но всякій трудъ много поощряется вниманіемъ и особенно это вниманіе нужно для поощренія прилежнаго студента въ многотрудныхъ занятіяхъ, которымъ онъ съ своей молодости предается не безъ самопожертвованія... Нахимовъ всѣми силами старался помогать студентамъ бѣднымъ... Онъ отечески заботился о чести и доброй славѣ учащихся... Въ обращеніи съ виновными онъ умѣлъ соединять справедливость съ снисходительностью—и сбившихся съ настоящаго пути легко и вѣрно направлялъ снова на этотъ путь... Я не зналъ ни одного студента, и до сихъ поръ не встрѣтилъ никого изъ питомцевъ Университета, который не вспомнилъ бы о немъ съ благодарностью. Кротость, правдивость, необыкновенное доброжелательство отличали характеръ Нахимова. Служба его въ Университетѣ продолжалась до начала 1848 года, т.-е. до оставленія графомъ С. Г. Строгоновымъ должности попечителя Московскаго учебнаго Округа. Московское дворянство, обращаясь съ Нахимовымъ въ теченіе почти пятнадцати лѣтъ, и узнавши чрезъ дѣтей о его рѣдкомъ добродушіи, умѣло вполнѣ оцѣнить достоинство этого человѣка: оно почтило его лестнымъ выборомъ въ главные смотрители Страннопріимнаго въ Москвѣ дома графа Шереметева. Въ этой должности онъ и скончался [1]).

27 января 1850 года, въ С.-Петербургѣ послѣдовалъ Высочайшій указъ о назначеніи князя Платона Александровича Ширинскаго-Шихматова министромъ Народнаго Просвѣщенія; а 11 февраля того же года товарищемъ министра Народнаго Просвѣщенія назначенъ Авраамъ Сергѣе-

вичъ Норовъ. Вступленіе этихъ сановниковъ на поприще народнаго просвѣщенія привѣтствовалъ самъ митрополитъ Филаретъ. Въ письмѣ его, отъ 1 марта 1850 года, онъ писалъ А. Н. Муравьеву: „Князь Ширинскій-Шихматовъ министръ Просвѣщенія; Норовъ его товарищъ. Сіи конечно пожелаютъ просвѣщать восточнымъ свѣтомъ: да поможетъ имъ Востокъ свыше“ [2]).

На другой день по назначеніи Норова товарищемъ министра Народнаго Просвѣщенія, его посѣтилъ А. В. Никитенко и въ *Дневникѣ* его находимъ слѣдующую запись: „Норовъ очень доволенъ. Меня встрѣтилъ съ распростертыми объятіями и просьбами быть ему помощникомъ. Всѣ ожидали, что товарищемъ новаго министра будетъ М. Н. Мусинъ-Пушкинъ,—кажется, и онъ самъ,—съ оставленіемъ въ должности попечителя. Но Ширинскій-Шихматовъ ловко обошелъ его. Норовъ утвержденъ по его ходатайству [3]).

Лично Шевыревъ и Погодинъ были довольны назначеніемъ князя Ширинскаго министромъ Народнаго Просвѣщенія. Шевыревъ, представляя новому министру свою книгу *Поѣздка въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь*, (18 апрѣля 1850 года) писалъ ему: „Другой экземпляръ этой книги имѣю честь черезъ ваше посредство представить Отдѣленію Русскаго языка и Словесности и просить васъ покорнѣйше, чтобы вы благоволили предстательствомъ вашимъ назначить мнѣ вспомогательную сумму для дальнѣйшаго печатанія лекцій моихъ по Исторіи Русской Словесности. И прежде я имѣлъ счастіе находить въ васъ сочувствіе къ трудамъ моимъ и ободреніе въ нихъ, теперь же, обремененный многообразными занятіями по Университету, видя возростающія вокругъ себя нужды семейныя для воспитанія дѣтей моихъ и желая довершить дѣло полезное, начатое мною, я беру смѣлость искренно высказать передъ вами мою сердечную просьбу, въ полной надеждѣ, что вы не оставите меня безъ вашей опоры... Примите чувства моей искренней признательности... за ту бодрость духа, которою вы оживляете всѣхъ насъ въ дѣлѣ

столь высокой пользы для Отечества". Съ своей стороны и Погодинъ писалъ Шевыреву: „Министру спасибо. А отъ умнаго нашего и просвѣщеннаго графа С. С. Уварова государь вѣрно не услыхалъ въ двадцать лѣтъ ни одного собственнаго имени"! Но вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ писалъ и слѣдующее: „Шихматовъ формалистъ—и я предвижу разныя недоумѣнія и непріятности. Дай Богъ, чтобы все уладилось, и, главное, чтобъ ты былъ спокоенъ".

Вскорѣ по назначенія князя Ширинскаго министромъ Народнаго Просвѣщенія, въ *Дневникѣ* Погодина мы находимъ слѣдующую запись: „Непріятныя извѣстія о просвѣщеніи" [4]). Запись эту разъясняетъ А. В. Никитенко. „Опять гоненіе на Философію", читаемъ въ его *Дневникѣ*. „Предположено преподаваніе ея въ университетахъ ограничить Логикою и Психологіею, поручивъ и то и другое духовнымъ лицамъ. Говорятъ, Блудовъ настаиваетъ, чтобы въ программу была включена и Исторія Философіи. Министръ не соглашается. Профессору Философіи Фишеру онъ сказалъ, что *польза Философіи не доказана, а вредъ отъ нея возможенъ* [5]). И дѣйствительно, при назначеніи князя Ширинскаго министромъ, императору Николаю I благоугодно было повелѣть ему представить свои соображенія о томъ, полезно ли преподаваніе Философіи при „предосудительномъ" развитіи этой науки Германскими учеными, и не слѣдуетъ ли принять мѣры къ огражденію нашего юношества „отъ обольстительныхъ мудрованій новѣйшихъ философскихъ системъ".

Повергая на высочайшее воззрѣніе свое мнѣніе по этому предмету, князь Ширинскій писалъ: „для соблюденія въ столь важномъ дѣлѣ возможнаго безпристрастія, я принялъ въ основаніе моихъ соображеній изложеніе преподаванія Философіи въ С.-Петербургскомъ Университетѣ профессоромъ Фишеромъ, который читаетъ эту же науку въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ и въ Духовной Академіи, профессоромъ, безъ сомнѣнія, самымъ благонамѣреннымъ изъ всѣхъ преподавателей

Философіи, который не щадитъ усилій къ сближенію Философіи съ ученіемъ Христіанской вѣры".

Разсмотрѣвъ предметы, входящіе въ объемъ преподаванія Философіи: Логику, Опытную Психологію, Теорію познанія, Метафизику, Нравоучительную философію, князь Ширинскій говоритъ: „Вотъ образъ воззрѣнія моего на преподаваніе Философіи однимъ изъ самыхъ благонадежнѣйшихъ профессоровъ *), который очевидно старается примирить эту науку съ Христіанствомъ. Не знаю, всегда ли это похвальное стремленіе его сопровождается полнымъ успѣхомъ. Но не такъ дѣйствовали Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель; не такъ дѣйствуютъ и нынѣ ихъ послѣдователи. Они въ философскихъ изслѣдованіяхъ своихъ не замѣчаютъ даже, существуетъ ли вѣра христіанская, а сами, съ помощію одного только ума, дерзновенно мечтаютъ познать *начало*. Конечно, ожиданіе ихъ не исполнится, потому что ограниченному и конечному уму человѣческому не дано познаніе безконечнаго и безпредѣльнаго, и новое философское ученіе, такъ же какъ и древнее, въ разнорѣчивомъ своемъ направленіи не представитъ намъ ничего опредѣленнаго и твердаго; не менѣе того самыя вредныя системы Нѣмецкихъ философовъ пріобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе приверженцевъ и почитателей. Снимая съ человѣка обязанность, налагаемую на него вѣрою, нравственностью, законами, и предоставляя все ослѣпленному страстями разуму, онѣ подрываютъ основанія всякаго благоустроеннаго общества. Нельзя также не сознаться, что въ настоящее время и къ намъ насильственно вторгается Философія Германская, и что дальнѣйшее распространеніе обольстительныхъ ея мудрствованій должно неизбѣжно усилить въ возростающемъ поколѣніи, уже и теперь замѣтное, охлажденіе къ вѣрѣ, съ которою неразлучно соединена у насъ, основанная на религіозномъ убѣжденіи, преданность престолу. Хотя въ послѣднее время приняты дѣятельныя мѣры къ наблюденію за духомъ

*) Фишеръ.

и направленіемъ преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, при всемъ томъ, если сама наука по шаткости своихъ началъ и по неудовлетворительности своихъ результатовъ, не имѣя притомъ опредѣлительнаго объема и положительныхъ границъ, всегда представляетъ случаи къ поползновенію и всегда болѣе или менѣе зависитъ отъ произвола преподавателя, въ такомъ случаѣ и самый строгій надзоръ за лекціями едва ли можетъ достаточно обезпечить правительство".

Въ концѣ концовъ, князь Ширинскій призналъ необходимымъ изъять изъ преподаванія Философіи слѣдующія ея части: 1) Теорію познаній, 2) Метафизику, 3) Нравственную Философію; первую между прочимъ и потому, что она безъ высшихъ частей Философіи не имѣла бы достаточнаго приложенія къ употребленію, а третью—по практической безполезности ея для молодыхъ людей, ознакомленныхъ съ нравоученіемъ христіанскимъ.

Признавая затѣмъ преподаваніе Философіи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ Логики и Психологіи, „несоотвѣтствующимъ видамъ правительства и не обѣщающимъ благопріятныхъ послѣдствій", князь Ширинскій испрашивалъ высочайшаго соизволенія на то, чтобы во всѣхъ университетахъ, въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ и въ Ришельевскомъ Лицеѣ „ограничить преподаваніе Философіи Логикою и Психологіей".

26 января 1850 года, въ С.-Петербургѣ, этотъ докладъ министра Народнаго Просвѣщенія государь императоръ высочайше утвердить соизволилъ, удостоивъ притомъ выразить мысль свою о возложеніи преподаванія Опытной Психологіи на профессоровъ Богословія, и повелѣлъ снестись о семъ съ оберъ-прокуроромъ Св. Сѵнода.

Но Св. Сѵнодъ, принимая въ соображеніе, что „преподаваніе Психологіи, особенно въ нынѣшнее время, требуетъ весьма многихъ занятій и постояннаго упражненія, полагалъ бы не совмѣщать въ одномъ лицѣ преподаванія Богословія и

Философіи, который не щадитъ усилій къ сближенію Философіи съ ученіемъ Христіанской вѣры".

Разсмотрѣвъ предметы, входящіе въ объемъ преподаванія Философіи: Логику, Опытную Психологію, Теорію познанія, Метафизику, Нравоучительную философію, князь Ширинскій говоритъ: „Вотъ образъ воззрѣнія моего на преподаваніе Философіи однимъ изъ самыхъ благонадежнѣйшихъ профессоровъ *), который очевидно старается примирить эту науку съ Христіанствомъ. Не знаю, всегда ли это похвальное стремленіе его сопровождается полнымъ успѣхомъ. Но не такъ дѣйствовали Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель; не такъ дѣйствуютъ и нынѣ ихъ послѣдователи. Они въ философскихъ изслѣдованіяхъ своихъ не замѣчаютъ даже, существуетъ ли вѣра христіанская, а сами, съ помощію одного только ума, дерзновенно мечтаютъ познать *начало*. Конечно, ожиданіе ихъ не исполнится, потому что ограниченному и конечному уму человѣческому не дано познаніе безконечнаго и безпредѣльнаго, и новое философское ученіе, такъ же какъ и древнее, въ разнорѣчивомъ своемъ направленіи не представитъ намъ ничего опредѣленнаго и твердаго; не менѣе того самыя вредныя системы Нѣмецкихъ философовъ пріобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе приверженцевъ и почитателей. Снимая съ человѣка обязанность, налагаемую на него вѣрою, нравственностью, законами, и предоставляя все ослѣпленному страстями разуму, онѣ подрываютъ основанія всякаго благоустроеннаго общества. Нельзя также не сознаться, что въ настоящее время и къ намъ насильственно вторгается Философія Германская, и что дальнѣйшее распространеніе обольстительныхъ ея мудрствованій должно неизбѣжно усилить въ возростающемъ поколѣніи, уже и теперь замѣтное, охлажденіе къ вѣрѣ, съ которою неразлучно соединена у насъ, основанная на религіозномъ убѣжденіи, преданность престолу. Хотя въ послѣднее время приняты дѣятельныя мѣры къ наблюденію за духомъ

*) Фишеръ.

и направленіемъ преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, при всемъ томъ, если сама наука по шаткости своихъ началъ и по неудовлетворительности своихъ результатовъ, не имѣя притомъ опредѣлительнаго объема и положительныхъ границъ, всегда представляетъ случаи къ поползновенію и всегда болѣе или менѣе зависитъ отъ произвола преподавателя, въ такомъ случаѣ и самый строгій надзоръ за лекціями едва ли можетъ достаточно обезпечить правительство".

Въ концѣ концовъ, князь Ширинскій призналъ необходимымъ изъять изъ преподаванія Философіи слѣдующія ея части: 1) Теорію познаній, 2) Метафизику, 3) Нравственную Философію; первую между прочимъ и потому, что она безъ высшихъ частей Философіи не имѣла бы достаточнаго приложенія къ употребленію, а третью—по практической безполезности ея для молодыхъ людей, ознакомленныхъ съ нравоученіемъ христіанскимъ.

Признавая затѣмъ преподаваніе Философіи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ Логики и Психологіи, „несоотвѣтствующимъ видамъ правительства и не обѣщающимъ благопріятныхъ послѣдствій", князь Ширинскій испрашивалъ высочайшаго соизволенія на то, чтобы во всѣхъ университетахъ, въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ и въ Ришельевскомъ Лицеѣ „ограничить преподаваніе Философіи Логикою и Психологіей".

26 января 1850 года, въ С.-Петербургѣ, этотъ докладъ министра Народнаго Просвѣщенія государь императоръ высочайше утвердить соизволилъ, удостоивъ притомъ выразить мысль свою о возложеніи преподаванія Опытной Психологіи на профессоровъ Богословія, и повелѣлъ снестись о семъ съ оберъ-прокуроромъ Св. Сѵнода.

Но Св. Сѵнодъ, принимая въ соображеніе, что „преподаваніе Психологіи, особенно въ нынѣшнее время, требуетъ весьма многихъ занятій и постояннаго упражненія, полагалъ бы не совмѣщать въ одномъ лицѣ преподаванія Богословія и

Психологіи, но для послѣдней науки имѣть особаго профессора духовного сана". Императору же Николаю I благоугодно было остаться при прежней мысли своей на счетъ соединенія въ одномъ лицѣ, духовнаго сана, преподаванія богословскаго и философскаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Св. Сѵнодъ поручилъ правленіямъ Духовныхъ академій составить программы для преподаванія Логики и Опытной Психологіи въ университетахъ и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, а для разсмотрѣнія этихъ программъ учрежденъ былъ въ Петербургѣ особый комитетъ подъ предсѣдательствомъ присутствовавшаго въ Св. Сѵнодѣ преосвященнаго Николая, епископа Тамбовскаго и Шацкаго, бакалавра С.-Петербургской Духовной Академіи архимандрита Іоанна, протоіереевъ: Андрея Райковскаго, Андрея Окунева и Михаила Богословскаго и профессора А. А. Фишера.

IV.

26 сентября 1850 года, В. П. Боткинъ писалъ П. В. Анненкову: „Каѳедру Философіи или Психологіи теперь будетъ занимать тотъ же профессоръ, который читаетъ Богословіе. Катковъ, читавшій здѣсь Психологію, уже не занимаетъ болѣе этой каѳедры" [6]). Лишившись каѳедры, М. Н. Катковъ, по свидѣтельству его слушателя П. И. Бартенева, „держалъ себя съ великимъ достоинствомъ и никогда, даже намеками, не питалъ въ студентахъ раздраженія противъ властей и студенты усердно посѣщали его".

„Какое множество у васъ слушателей"!—сказалъ однажды С. М. Соловьевъ Каткову, выходившему съ лекціи—„пріятно видѣть такое сочувствіе къ философскимъ лекціямъ".

— Что тутъ пріятнаго! — отвѣчалъ Соловьеву съ сердцемъ Катковъ;—вся эта толпа ничего не понимаетъ изъ моихъ лекцій, а ждетъ, не ругну ли я Бога.

Какъ бы то ни было, лишеніе каѳедры оставило Каткова

безъ средствъ къ существованію и онъ принужденъ былъ искать себѣ другого мѣста.

Осенью того же 1850 года, посѣтилъ Москву новый министръ Народнаго Просвѣщенія. Повидимому, министръ принялъ участіе въ судьбѣ нашего философа. Въ письмѣ его, отъ 28 октября, къ А. Н. Попову, мы читаемъ: „Въ Москвѣ былъ министръ Просвѣщенія, которому я былъ какъ слѣдуетъ представленъ. Онъ самъ очень хорошо видѣлъ невыгоды моего настоящаго положенія и далъ мнѣ слово, что будетъ имѣть меня постоянно въ виду, а по возвращеніи въ Петербургъ непремѣнно постарается найти мнѣ такое мѣсто, которое и удовлетворитъ и вознаградитъ меня, и что я могу оставаться спокойнымъ и съ терпѣніемъ ожидать его рѣшенія. Нашъ Университетъ выразилъ мнѣ свое полное сочувствіе и желалъ всячески удержать меня при себѣ... Между тѣмъ, мнѣ было сдѣлано отъ ректора Петербургскаго Университета П. А. Плетнева предложеніе: не захочу ли я принять мѣсто адъюнкта по Русской Словесности? Признаюсь вамъ откровенно, что профессорствовать во всякомъ другомъ Университетѣ, кромѣ Московскаго, мнѣ рѣшительно не хочется, и тѣмъ болѣе когда, вмѣсто нѣкотораго вознагражденія, я подвергаюсь деградаціи... Пока все мною описанное происходило, въ Москвѣ не было графа Строганова, который, принимая во мнѣ постоянное участіе, могъ бы пособить мнѣ тутъ и совѣтомъ, и дѣломъ; онъ уѣзжалъ на свои заводы и воротился очень недавно. При первомъ свиданіи со мною, онъ возбудилъ во мнѣ мысль искать мѣсто цензора... Онъ совѣтовалъ мнѣ объ этомъ подумать и извѣстить его о моемъ рѣшеніи. Онъ обѣщалъ мнѣ хлопотать за меня. Въ самомъ дѣлѣ, я думаю, едва ли это не лучшее, за что я долженъ схватиться. Какъ ни расположенъ ко мнѣ министръ, но если не указать ему рѣшительно, какое мѣсто можетъ онъ мнѣ дать, не просить его объ опредѣленномъ мѣстѣ, то онъ можетъ мнѣ сдѣлать такое предложеніе, отъ котораго, можетъ быть, я долженъ буду отказаться... и тогда

остаться заштатнымъ и быть въ весьма непріятномъ положеніи искать мѣста не отъ мѣста".

Но въ Москвѣ мѣсто цензора, В. И. Назимовъ обѣщалъ одному учителю Математики, зятю Перевощикова и по этому поводу (1 ноября 1850 г.) Катковъ писалъ Попову: „Можно помириться съ неуспѣхомъ, когда успѣхъ достанется достойнѣйшему... Всѣ друзья и знакомые теперь еще сильнѣе побуждаютъ меня искать этого мѣста, чтобы спасти нашу бѣдную Московскую Литературу". Въ то же время и самъ графъ С. Г. Строгановъ ходатайствовалъ предъ министромъ о доставленіи Каткову цензорскаго мѣста; а между тѣмъ, на мѣсто цензора явились новые претенденты: Хавскій и Ржевскій. Къ счастію или несчастію для Каткова, Строгановъ былъ въ разладѣ съ своимъ преемникомъ Назимовымъ и „прямо на него дѣйствовать не могъ", и по этому поводу Катковъ писалъ Попову: „какъ ни мало я придаю себѣ значенія, однакоже, говоря откровенно, не могу не признаться, что при сколько нибудь безпристрастной оцѣнкѣ подобные соперники не могли бы быть мнѣ страшны" [7]).

Но судьба берегла Каткова для болѣе согласной съ его дарованіями дѣятельности. Въ то время цензура представляла довольно странное явленіе и трудно было лицамъ подобнымъ Каткову дѣйствовать на этомъ поприщѣ.

О первомъ посѣщеніи Москвы новаго министра Народнаго Просвѣщенія, въ Запискахъ С. М. Соловьева мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія: По пріѣздѣ въ Москву, „министръ прежде всего, разумѣется, началъ осматривать Университетъ, ходить по лекціямъ. Пришелъ ко мнѣ; лекція была первая въ курсѣ; я говорилъ объ источникахъ Русской Исторіи, о лѣтописи, утверждалъ ея достовѣрность, опровергалъ скептиковъ, но заключилъ тѣмъ, что она дошла до насъ въ формѣ сборника, при чемъ первоначальный текстъ, приписываемый Нестору, возстановить трудно.

Что же? На другой день Ширинскій призываетъ меня къ себѣ и дѣлаетъ сильный начальническій выговоръ за

мое скептическое направленіе, за то, что я слѣдую Каченовскому.

— Правительство не этого хочетъ! Правительство этого не хочетъ!—кричалъ онъ, не слушая никакихъ объясненій съ моей стороны. Погодинъ,—продолжаетъ Соловьевъ,—могъ радоваться выговору, полученному мною отъ министра; но радовался не долго: тотъ же Ширинскій выхлопоталъ высочайшее повелѣніе—не подвергать критикѣ лѣтописнаго извѣстія о смерти Димитрія Царевича, слѣдовательно, волею-неволею, нужно было утверждать, что Дмитрій убитъ Годуновымъ".

По смерти Д. П. Бутурлина, предсѣдателемъ негласнаго Комитета 2 апрѣля былъ назначенъ генералъ-адъютантъ Николай Николаевичъ Анненковъ и по свидѣтельству Никитенко, „въ какихъ-то книжкахъ и журнальныхъ статьяхъ, набралъ шестнадцать обвинительныхъ пунктовъ противъ ихъ и приготовилъ докладъ. Баронъ М. А. Корфъ успѣлъ доказать нелѣпость этихъ придирокъ, но принужденъ былъ уступить въ двухъ пунктахъ. Корфъ говорилъ своему брату, что все, что̀ дѣлается въ негласномъ Комитетѣ, приводитъ его въ омерзеніе, и что онъ давно бѣжалъ бы оттуда, еслибъ не надежда иногда что-нибудь устраивать въ пользу преслѣдуемыхъ". Въ это время, т.-е. въ 1850 году, по свидѣтельству того же Никитенко, учреждено новое цензурное вѣдомство для учебныхъ книгъ. Это Комитетъ, состоящій изъ директоровъ здѣшнихъ гимназій, изъ инспектора казенныхъ училищъ, подъ предсѣдательствомъ И. И. Давыдова. И такъ, говоритъ Никитенко, „вотъ сколько у насъ нынѣ цензуръ: общая при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, Главное управленіе цензуры, верховный негласный Комитетъ, духовная цензура, военная, цензура при Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, театральная при Министерствѣ Императорскаго Двора, газетная при Почтовомъ Департаментѣ, цензура при Третьемъ Отдѣленіи и новая Педагогическая. И того, десять цензурныхъ вѣдомствъ. Если сосчитать всѣхъ лицъ, завѣдывающихъ цен-

зурою, ихъ окажется больше, чѣмъ книгъ, печатаемыхъ въ теченіе года. Я ошибся: больше. Еще цензура по части сочиненій юридическихъ при Второмъ Отдѣленіи и цензура иностранныхъ книгъ; всего двѣнадцать". Правитель Канцеляріи министра Народнаго Просвѣщенія В. Д. Комовскій всѣмъ этимъ былъ сильно огорченъ, „и съ жаромъ выражалъ свое негодованіе Никитенкѣ, говоря: *въ Европѣ напроказятъ, а Русскихъ бьютъ по спинѣ*".

Огонь ли дальній домъ затронетъ,
У нихъ ужъ дѣйствуетъ труба,
И, какъ во дни потопа, тонетъ
Ихъ неповинная изба!

Сказалъ князь П. А. Вяземскій.

Предсѣдательство И. И. Давыдова въ Цензурномъ Комитетѣ учебныхъ книгъ причинило ему какія-то непріятности. Объ оныхъ мы имѣемъ неясныя свѣдѣнія въ слѣдующемъ письмѣ Давыдова къ Погодину: „Вы спрашиваете о какихъ-то непріятностяхъ; благодареніе Богу, ихъ не было. Если вы разумѣете подъ этимъ человѣческую злобу, зависть, коварство, то этого не избѣгнешь, пока дѣло дѣлаешь. Хочешь ли попасть въ добрые люди? Надѣнь колпакъ и молчи—вотъ и будешь добрымъ человѣкомъ. Вѣроятно, вы разумѣете комитетскія дѣла по разсмотрѣнію учебныхъ книгъ: то было недоразумѣніе; но это недоразумѣніе и кончилось проясненіемъ обстоятельствъ. Самое недоразумѣніе относилось не къ предсѣдателю Комитета разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ, а къ предсѣдателю С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета, здѣшнему Попечителю. Вѣдь часто стрѣляютъ въ одного, а попадаютъ въ другого.

Что касается до того, будто мы смотримъ не тѣми глазами, какими теперь другіе смотрятъ, то вы говорите противъ себя и противъ началъ истины. Развѣ умное, честное и прекрасное измѣняется когда либо? Развѣ мы съ вами негодуемъ на все низкое и пошлое не потому, что сочувствуемъ Гомеру, Шекспиру, Жуковскому? И могутъ ли тѣ смотрѣть

иначе, въ которыхъ горитъ огонь Промеѳеевъ? До сихъ поръ никого изъ соотечественныхъ писателей не вижу выше и лучше Карамзина: покажите мнѣ смотрящаго другими глазами, какъ вы говорили, ктобъ превзошелъ его. Перестаньте увлекаться ничтожною мишурою, оставайтесь въ прежнихъ убѣжденіяхъ истины, блага и красоты: онѣ вѣчны и прекрасны; кто имъ слѣдуетъ, тотъ всегда впереди другихъ, и того взглядъ всегда свѣжъ и новъ. Съ этими чувствованіями *пою—дондеже есмь*". [8])

Провести Каткова на его настоящую дорогу выпало на долю, посѣтившей въ 1850 году Москву, знаменитой танцовщицы Фанни Эльснеръ, появленіе которой въ православной столицѣ съ восторгомъ привѣтствовалъ даже самъ степенный *Москвитянинъ*! [9])

Даже самъ Погодинъ разстался съ своими древними князьями и отправился вечеромъ въ театръ смотрѣть Фанни Эльснеръ [10]).

Жертвою этой артистки сдѣлался чиновникъ Канцеляріи Московскаго генералъ - губернатора, Владиміръ Хлоповъ, почти одновременно съ пріѣздомъ ея въ Москву вступившій въ должность редактора *Московскихъ Вѣдомостей*. Дѣло въ томъ, что поклонники Фанни Эльснеръ, не довольствуясь расточеніемъ ей цвѣтовъ, бриліантовъ, однажды послѣ даннаго съ ея участіемъ балета Эсмеральда, запряглись въ ея карету, и еслибы не помѣшалъ графъ Закревскій, то и довезли бы балетчицу до гостинницы. На козлахъ же помѣстился редакторъ *Московскихъ Вѣдомостей* Владиміръ Хлоповъ. „Онъ",— пишетъ П. И. Бартеневъ,—„поплатился за это увлеченіе мѣстомъ редактора, и попечитель В. И. Назимовъ уволилъ его въ отставку, несмотря на то, что Хлоповъ находился въ родствѣ съ ректоромъ Университета А. А. Альфонскимъ" [11]).

Кромѣ того, Хлоповъ успѣлъ навлечь на себя неудовольствіе помѣщеніемъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* какой-то бранный статьи противъ Академическаго Календаря. „Выходка въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*",—писалъ Погодину И. И. Давыдовъ,—„противъ Календаря неблагонамѣренная; потому

что правительственныя мѣста, къ каковымъ принадлежатъ Академія и Университетъ, не должны издѣваться одно надъ другимъ, въ особенности когда глумленіе еще несправедливо. Г. Вернадскому должно быть извѣстно, что Календарь издаетъ не Академія, а редакторъ, равно какъ *Московскія Вѣдомости* издаются не Университетомъ, а Хлоповымъ. А все это происходитъ отъ того, что caput almae Universitatis—сѣнная труха" [12]).

И такъ, Хлоповъ очистилъ мѣсто Каткову. Событіе это было тогда же воспѣто:

Въ тѣ дни, когда Владиміръ Хлоповъ
Вѣдомостями заправлялъ,
Онъ не щадя фигуръ и троповъ,
Въ нихъ вздоръ частенько помѣщалъ.
Молчалъ Назимовъ и крѣпился;
Когда жъ узналъ, что онъ влюбился
Въ Иродіаду нашихъ дней:
Онъ былъ ужасно озадаченъ
И больше вытерпѣть не могъ.
Тутъ имъ въ редакторы назначенъ
Санскритологъ и филологъ,
И онъ газету поднялъ славно.

Такимъ образомъ, съ 1851 года редакторомъ *Московскихъ Вѣдомостей* сталъ М. Н. Катковъ „Съ той поры",—говоритъ П. И. Бартеневъ,—„зажилъ онъ на Страстномъ бульварѣ и совершенно обновилъ *Московскія Вѣдомости*" [13]).

Въ это время въ мірѣ Московскаго Университета совершилось важное событіе, о которомъ В. П. Боткинъ писалъ П. В. Анненкову (13 декабря 1850): „Наконецъ отпечаталась диссертація Кудрявцева. Представьте 720 страницъ! Трудъ бенедиктинца! Бѣдный Кудрявцевъ просто разоренъ печатаніемъ этого Левіаѳана" [14]).

21 декабря 1850 года, П. Н. Кудрявцевъ защищалъ въ Московскомъ Университетѣ свою диссертацію *о Судьбахъ Италіи*. По сказанію современниковъ, диспутъ Кудрявцева былъ однимъ изъ самыхъ примѣчательныхъ диспутовъ, бывшихъ въ послѣднее время въ Московскомъ Университетѣ. Уже

своею вступительною рѣчью Кудрявцевъ успѣлъ возбудить особенное вниманіе въ своихъ многочисленныхъ слушателяхъ. Онъ говорилъ съ увлеченіемъ сначала вообще объ Исторіи, ея интересныхъ задачахъ, потомъ, и можетъ быть, еще съ бо́льшимъ увлеченіемъ, о той странѣ, исторію которой онъ избралъ предметомъ своихъ занятій. Любовь къ дѣлу дала ему обиліе словъ, и слушатели, въ мысляхъ объ Италіи и ея необыкновенно-даровитомъ народѣ, стали уже забывать о спеціальной цѣли дня, какъ диспутантъ неожиданнымъ и ловкимъ поворотомъ привелъ ихъ къ главному вопросу своихъ изслѣдованій и своей книги. Ежели Итальянскій народъ, спросилъ онъ своихъ слушателей, такъ необыкновенно даровитъ, такъ богато надѣленъ и физическими средствами, и историческими воспоминаніями и жилъ такою обильною умственною жизнью, какъ же объяснить его слабость и ничтожество въ политическомъ отношеніи, какъ объяснить, что въ новой исторіи онъ никогда не могъ достигнуть политической самостоятельности и всегда оставался подъ чуждымъ вліяніемъ? Эта великая проблема исторіи Италіи была выставлена Кудрявцевымъ во всемъ ея интересѣ. Въ разрѣшеніи ея онъ встрѣтился съ мнѣніемъ Маккіавелли. Начало раздробленія Италіи Кудрявцевъ видитъ въ паденіи Лонгобардскаго государства, произведенномъ папами, и не можетъ съ точки зрѣнія Итальянской Исторіи не принимать особеннаго участія въ судьбахъ Лонгобардовъ. На этотъ пунктъ, какъ на самый важный и центральный, и было сдѣлано первое нападеніе Т. Н. Грановскимъ. Вообще возраженія касались самыхъ главныхъ и интересныхъ вопросовъ разсужденія, и слушатели, что не всегда бываетъ, получили изъ диспута нѣкоторое понятіе о сочиненіи Кудрявцева. Диспутъ вообще удался вполнѣ. На возраженія Грановскаго, Соловьева, Вернадскаго и декана Шевырева, Кудрявцевъ отвѣчалъ безъ уступчивости, но не теряя ни на минуту совершеннаго спокойствія; его рѣдкая легкость рѣчи и находчивость выказывались все болѣе и болѣе съ теченіемъ диспута. Слушатели съ удовольствіемъ слѣдили

за оживленной бесѣдой ученыхъ, знающихъ каждый свои силы, и вполнѣ владѣющихъ собой. Число посѣтителей было довольно значительно, а дамъ еще ни на одномъ диспутѣ столько не было. С. П. Шевыревъ, какъ деканъ, объявилъ въ своемъ заключеніи, что факультетъ такъ доволенъ важнымъ трудомъ Кудрявцева, что не усумнился бы облечь его званіемъ доктора, еслибъ позволили то законныя формы".

По семейнымъ обстоятельствамъ, Погодинъ не присутствовалъ на этомъ диспутѣ. „Нѣтъ, любезный другъ",—писалъ онъ Шевыреву,—„маменькѣ не лучше. Она слабѣетъ и гаснетъ постепенно. Утѣшаюсь ея спокойствіемъ и любовію. Не могу отлучиться никуда, не пріѣду на диспутъ. Благодари отъ меня В. П. Назимова за его любезность, и объясни, почему я не самъ исполняю эту пріятную обязанность". Кромѣ того, Погодинъ писалъ Шевыреву и слѣдующее: „За билетъ благодарю. Я не поѣду, чтобъ частыми появленіями не подать повода къ злонамѣреннымъ толкамъ. Притомъ я не читалъ диссертаціи".

По поводу диссертаціи П. Н. Кудрявцева, Погодинъ получилъ отъ Н. И. Крылова письмо:

„Препровождаю къ вамъ *для оправы* (а у васъ вѣдь издавна заведена плавильная машина) нѣсколько замѣтокъ о сочиненіи г. Кудрявцева: когда я читалъ эту книгу, припоминаю, приходило въ голову много, а теперь все забылъ. Такъ уже устроена голова Русская. Замѣтки безъ всякаго порядка, обработки, накиданы. Въ этомъ родѣ вы и просили меня начеркнуть кой что. А вы, прочитавши, прибавьте свое—въ началѣ, срединѣ и концѣ, наложите свой глянецъ, да и въ цензуру. Такъ и будетъ это вашей статьей, а мое имя прошу и заклинаю не упоминать, даже и во снѣ. Еще я никогда не выступалъ на поприще литературное: робость одолѣла". Въ томъ же письмѣ Крылова читаемъ и слѣдующее:

„Когда вы попрежнему будете добры ко мнѣ, сирѣчь пришлете билетикъ на *Москвитянина* (въ огромныхъ полкахъ, наполненныхъ непрерывнымъ рядомъ *Москвитянина*, *gratis*

получаемаго нѣсколько лѣтъ, стоитъ въ нынѣшнемъ году—великой *пробѣлъ*, какъ въ послужномъ спискѣ у Студитскаго), тогда я не откажусь сообщать вамъ и другія замѣточки въ такомъ же родѣ. Вѣдь голова-то у меня сторублевая, да счастья ей нѣтъ. А между тѣмъ, не благоволите ли прислать круглому Казанскому сиротѣ—*25 р. сер.*, издавна числящихся по книгѣ за вами" [15]).

Къ сожалѣнію, этой статьи, отъ которой можно было бы ожидать большого интереса, въ *Москвитянинѣ* не появилось.

Трудъ своего любезнаго ученика, Т. Н. Грановскій удостоилъ обширной рецензіей, въ которой между прочимъ читаемъ: „Надобно желать, чтобы *Судьбы Италіи* вышли въ переводѣ на одинъ изъ иностранныхъ языковъ: это доставило бы ей болѣе обширный кругъ читателей и образованныхъ цѣнителей и сверхъ того, показало бы заграничнымъ ученымъ съ самой выгодной стороны научную дѣятельность въ нашемъ отечествѣ. Да будетъ намъ, однако, позволено обратиться съ послѣднимъ упрекомъ къ автору: форма у него не вездѣ удовлетворяетъ справедливымъ требованіямъ. Рядомъ съ превосходными, рукою мастера написанными страницами, встрѣчаются другія, въ которыхъ мысль затемнена небрежнымъ и растянутымъ изложеніемъ. Непріятно также бросаются въ глаза иностранныя, безъ надобности внесенныя въ нашъ языкъ, слова. Къ чему, напримѣръ, писать: шефъ, фортуна, традиція и т. д.? Такія заимствованія ничего не прибавляютъ къ дѣйствительному богатству языка и производятъ вдвойнѣ непріятное впечатлѣніе при чтеніи такого даровитаго и блестящаго писателя, какъ Кудрявцевъ" [16]).

Къ этой рецензіи Грановскаго, Погодинъ отнесся съ полнымъ сочувствіемъ и съ своей стороны замѣтилъ: „А *Судьбы Италіи* я все еще не кончилъ: хороши, но утомительно растянуты. Ахъ, еслибъ авторъ не печаталъ этого сочиненія, а перечелъ его сполна въ рукописи; онъ вѣрно вмѣсто 700 страницъ оставилъ бы только 500, и рукопись сдѣлалась бы значительно лучше. Но я не посовѣтовалъ бы ему печатать

за оживленной бесѣдой ученыхъ, знающихъ каждый свои силы, и вполнѣ владѣющихъ собой. Число посѣтителей было довольно значительно, а дамъ еще ни на одномъ диспутѣ столько не было. С. П. Шевыревъ, какъ деканъ, объявилъ въ своемъ заключеніи, что факультетъ такъ доволенъ важнымъ трудомъ Кудрявцева, что не усумнился бы облечь его званіемъ доктора, еслибъ позволили то законныя формы".

По семейнымъ обстоятельствамъ, Погодинъ не присутствовалъ на этомъ диспутѣ. „Нѣтъ, любезный другъ",—писалъ онъ Шевыреву,—„маменькѣ не лучше. Она слабѣетъ и гаснетъ постепенно. Утѣшаюсь ея спокойствіемъ и любовію. Не могу отлучиться никуда, не пріѣду на диспутъ. Благодари отъ меня В. И. Назимова за его любезность, и объясни, почему я не самъ исполняю эту пріятную обязанность". Кромѣ того, Погодинъ писалъ Шевыреву и слѣдующее: „За билетъ благодарю. Я не поѣду, чтобъ частыми появленіями не подать повода къ злонамѣреннымъ толкамъ. Притомъ я не читалъ диссертаціи".

По поводу диссертаціи П. Н. Кудрявцева, Погодинъ получилъ отъ Н. И. Крылова письмо:

„Препровождаю къ вамъ *для оправы* (а у васъ вѣдь издавна заведена плавильная машина) нѣсколько замѣтокъ о сочиненіи г. Кудрявцева; когда я читалъ эту книгу, припоминаю, приходило въ голову много, а теперь все забылъ. Такъ уже устроена голова Русская. Замѣтки безъ всякаго порядка, обработки, накиданы. Въ этомъ родѣ вы и просили меня начеркнуть кой что. А вы, прочитавши, прибавьте свое—въ началѣ, срединѣ и концѣ, наложите свой глянецъ, да и въ цензуру. Такъ и будетъ это вашей статьей, а мое имя прошу и заклинаю не упоминать, даже и во снѣ. Еще я никогда не выступалъ на поприще литературное: робость одолѣла". Въ томъ же письмѣ Крылова читаемъ и слѣдующее:

„Когда вы попрежнему будете добры ко мнѣ, сирѣчь пришлете билетикъ на *Москвитянина* (въ огромныхъ полкахъ, наполненныхъ непрерывнымъ рядомъ *Москвитянина*, *gratis*

получаемаго нѣсколько лѣтъ, стоитъ въ нынѣшнемъ году—великой *пробѣлъ*, какъ въ послужномъ спискѣ у Студитскаго), тогда я не откажусь сообщать вамъ и другія замѣточки въ такомъ же родѣ. Вѣдь голова-то у меня сторублевая, да счастья ей нѣтъ. А между тѣмъ, не благоволите ли прислать круглому Казанскому сиротѣ—*25 р. сер.*, издавна числящихся по книгѣ за вами" [15]).

Къ сожалѣнію, этой статьи, отъ которой можно было бы ожидать большого интереса, въ *Москвитянинѣ* не появилось.

Трудъ своего любезнаго ученика, Т. Н. Грановскій удостоилъ обширной рецензіей, въ которой между прочимъ читаемъ: „Надобно желать, чтобы *Судьбы Италіи* вышли въ переводѣ на одинъ изъ иностранныхъ языковъ: это доставило бы ей болѣе обширный кругъ читателей и образованныхъ цѣнителей и сверхъ того, показало бы заграничнымъ ученымъ съ самой выгодной стороны научную дѣятельность въ нашемъ отечествѣ. Да будетъ намъ, однако, позволено обратиться съ послѣднимъ упрекомъ къ автору: форма у него не вездѣ удовлетворяетъ справедливымъ требованіямъ. Рядомъ съ превосходными, рукою мастера написанными страницами, встрѣчаются другія, въ которыхъ мысль затемнена небрежнымъ и растянутымъ изложеніемъ. Непріятно также бросаются въ глаза иностранныя, безъ надобности внесенныя въ нашъ языкъ, слова. Къ чему, напримѣръ, писать: шефъ, фортуна, традиція и т. д.? Такія заимствованія ничего не прибавляютъ къ дѣйствительному богатству языка и производятъ вдвойнѣ непріятное впечатлѣніе при чтеніи такого даровитаго и блестящаго писателя, какъ Кудрявцевъ" .[16]).

Къ этой рецензіи Грановскаго, Погодинъ отнесся съ полнымъ сочувствіемъ и съ своей стороны замѣтилъ: „А *Судьбы Италіи* я все еще не кончилъ: хороши, но утомительно растянуты. Ахъ, еслибъ авторъ не печаталъ этого сочиненія, а перечелъ его сполна въ рукописи; онъ вѣрно вмѣсто 700 страницъ оставилъ бы только 500, и рукопись сдѣлалась бы значительно лучше. Но я не посовѣтовалъ бы ему печатать

и пять-сотъ, а перечесть еще разъ. Тогда изъ 500 составилось бы, безъ сомнѣнія, 300, да за то какихъ страницъ! Тогда вышла бы прекрасная настоящая диссертація, а не записки по источникамъ умнаго, талантливаго, молодого ученаго, какъ будто литографированныя учениками, по выпускамъ (да и прославляемыя по преимуществу ими же)—не собраніе, нѣсколько обработанное, прекрасныхъ матеріаловъ для диссертаціи, какъ книга мнѣ *до сихъ поръ* представляется. Вотъ почему я не печатаю полученныхъ рецензій, не зная, до какой степени я буду согласенъ съ ними по прочтеніи всей книги, безъ сомнѣнія, очень примѣчательной, полезной и достойной".

Между тѣмъ, А. А. Григорьевъ писалъ Погодину: „Былъ у Валентина Корша на счетъ статьи о Кудрявцевѣ. Сократить онъ не соглашается потому, что, какъ онъ говоритъ, онъ и такъ уже ее сократилъ. На счетъ *цѣны* затрудненія не будетъ. Гуртомъ, онъ за *шесть* листовъ возьметъ 50 цѣлковыхъ (почти по 9 р. сер. за листъ). Видя такую уступчивость, я разумѣется не могъ настаивать на сокращеніи, — да и вообще-то мое положеніе было очень ложное. Въ воскресенье вечеромъ я къ вамъ приведу его лично".

Съ своей стороны и М. М. Стасюлевичъ писалъ Погодину: „Я слышалъ, что въ Москвѣ недавно была защищаема диссертація по Всеобщей Исторіи. Когда вы объявите въ своемъ журналѣ о выходѣ этой диссертаціи, тогда я вамъ не замедлю прислать ея разборъ".

Между тѣмъ, Валентинъ Коршъ заявлялъ: „Спѣшу увѣдомить васъ, что статья моя о книгѣ П. Н. Кудрявцева запоздала въ *Современникѣ*, потому что уже больше недѣли тому назадъ началъ писать о ней для *Современника* нѣкто Ешевскій. Такъ какъ мнѣ отъ вашего имени поручено было составить рецензію, то я считаю себя нѣкоторымъ образомъ вправѣ желать, чтобы она была напечатана въ вашемъ журналѣ. Пересматривая ее, я нашелъ, что можно кое-что выбросить изъ ея первой половины; но что касается до второй, то она написана какъ нельзя болѣе просто. Потрудитесь увѣ-

домить меня о вашемъ согласіи или несогласіи помѣстить въ *Москвитянинѣ* на этихъ условіяхъ".

Упрекъ, обращенный къ книгѣ Кудрявцева, Грановскимъ и Погодинымъ, раздѣлялся также и В. П. Боткинымъ: „Я теперь читаю"—писалъ онъ къ Анненкову—„и уже прочелъ болѣе четырехсотъ страницъ. Странное дѣло: вѣдь ужъ какъ мастерски умѣлъ писать онъ, когда писалъ повѣсти, а въ книгѣ его языкъ болѣе нежели слабъ, книга просто дурнымъ языкомъ написана, и сильно растянутымъ. Но сочиненіе отличное, расположенное съ мастерствомъ и оставляющее за собою по своей значительности всѣ диссертаціи, какія явились послѣ диссертаціи Соловьева. Лучшее достоинство ея—что это есть *книга*, а не диссертація. Читая ее, чувствуешь, что авторъ до многаго не могъ коснуться, какъ, напримѣръ, религіозное движеніе въ Византійской Имперіи, и какъ не жалѣть, когда читаешь такое умное, обстоятельное изложеніе событій!"

Въ концѣ концовъ, В. П. Боткинъ о диссертаціи Кудрявцева писалъ (7 марта 1851 г.): „Надо желать, чтобы въ слѣдующихъ трудахъ, Кудрявцевъ пріобрѣлъ болѣе историческаго стиля и опредѣленности въ историческихъ представленіяхъ. Замѣтьте, какой мастеръ въ этихъ отношеніяхъ Грановскій. Разумѣется, Кудрявцевъ ученѣе и трудолюбивѣе его и оставитъ по себѣ болѣе прочные слѣды; но въ нѣсколькихъ страничкахъ, изъ которыхъ состоитъ ученая дѣятельность Грановскаго, будетъ больше таланта, чѣмъ во всѣхъ книгахъ Кудрявцева, хотя книги его будутъ несравненно полезнѣе... Въ книгѣ Кудрявцева не чувствуется Русскаго ума и Русской манеры — такъ, какъ, напримѣръ, чувствуется Англійскій умъ и Англійская манера въ Маколеѣ... Я думаю, что надо стремиться къ національности и въ наукѣ; замѣтьте: книга *О поклоненіи Зевсу* Леонтьева неудовлетворительна только отъ Нѣмецкой манеры автора" [17]).

и пять-сотъ, а перечесть еще разъ. Тогда изъ 500 составилось бы, безъ сомнѣнія, 300, да за то какихъ страницъ! Тогда вышла бы прекрасная настоящая диссертація, а не записки по источникамъ умнаго, талантливаго, молодого ученаго, какъ будто литографированныя учениками, по выпускамъ (да и прославляемыя по преимуществу ими же)—не собраніе, нѣсколько обработанное, прекрасныхъ матеріаловъ для диссертаціи, какъ книга мнѣ *до сихъ поръ* представляется. Вотъ почему я не печатаю полученныхъ рецензій, не зная, до какой степени я буду согласенъ съ ними по прочтеніи всей книги, безъ сомнѣнія, очень примѣчательной, полезной и достойной".

Между тѣмъ, А. А. Григорьевъ писалъ Погодину: „Былъ у Валентина Корша на счетъ статьи о Кудрявцевѣ. Сократить онъ не соглашается потому, что, какъ онъ говоритъ, онъ и такъ уже ее сократилъ. На счетъ *цѣны* затрудненія не будетъ. Гуртомъ, онъ за *шесть* листовъ возьметъ 50 цѣлковыхъ (почти по 9 р. сер. за листъ). Видя такую уступчивость, я разумѣется не могъ настаивать на сокращеніи, — да и вообще-то мое положеніе было очень ложное. Въ воскресенье вечеромъ я къ вамъ приведу его лично".

Съ своей стороны и М. М. Стасюлевичъ писалъ Погодину: „Я слышалъ, что въ Москвѣ недавно была защищаема диссертація по Всеобщей Исторіи. Когда вы объявите въ своемъ журналѣ о выходѣ этой диссертаціи, тогда я вамъ не замедлю прислать ея разборъ".

Между тѣмъ, Валентинъ Коршъ заявлялъ: „Спѣшу увѣдомить васъ, что статья моя о книгѣ П. Н. Кудрявцева запоздала въ *Современникъ*, потому что уже больше недѣли тому назадъ началъ писать о ней для *Современника* нѣкто Ешевскій. Такъ какъ мнѣ отъ вашего имени поручено было составить рецензію, то я считаю себя нѣкоторымъ образомъ вправѣ желать, чтобы она была напечатана въ вашемъ журналѣ. Пересматривая ее, я нашелъ, что можно кое-что выбросить изъ ея первой половины; но что касается до второй, то она написана какъ нельзя болѣе просто. Потрудитесь увѣ-

домить меня о вашемъ согласіи или несогласіи помѣстить въ *Москвитянинѣ* на этихъ условіяхъ".

Упрекъ, обращенный къ книгѣ Кудрявцева, Грановскимъ и Погодинымъ, раздѣлялся также и В. П. Боткинымъ: „Я теперь читаю"—писалъ онъ къ Анненкову—„и уже прочелъ болѣе четырехсотъ страницъ. Странное дѣло: вѣдь ужъ какъ мастерски умѣлъ писать онъ, когда писалъ повѣсти, а въ книгѣ его языкъ болѣе нежели слабъ, книга просто дурнымъ языкомъ написана, и сильно растянутымъ. Но сочиненіе отличное, расположенное съ мастерствомъ и оставляющее за собою по своей значительности всѣ диссертаціи, какія явились послѣ диссертаціи Соловьева. Лучшее достоинство ея—что это есть *книга*, а не диссертація. Читая ее, чувствуешь, что авторъ до многаго не могъ коснуться, какъ, напримѣръ, религіозное движеніе въ Византійской Имперіи, и какъ не жалѣть, когда читаешь такое умное, обстоятельное изложеніе событій!"

Въ концѣ концовъ, В. П. Боткинъ о диссертаціи Кудрявцева писалъ (7 марта 1851 г.): „Надо желать, чтобы въ слѣдующихъ трудахъ, Кудрявцевъ пріобрѣлъ болѣе историческаго стиля и опредѣленности въ историческихъ представленіяхъ. Замѣтьте, какой мастеръ въ этихъ отношеніяхъ Грановскій. Разумѣется, Кудрявцевъ ученѣе и трудолюбивѣе его и оставитъ по себѣ болѣе прочные слѣды; но въ нѣсколькихъ страничкахъ, изъ которыхъ состоитъ ученая дѣятельность Грановскаго, будетъ больше таланта, чѣмъ во всѣхъ книгахъ Кудрявцева, хотя книги его будутъ несравненно полезнѣе... Въ книгѣ Кудрявцева не чувствуется Русскаго ума и Русской манеры — такъ, какъ, напримѣръ, чувствуется Англійскій умъ и Англійская манера въ Маколеѣ... Я думаю, что надо стремиться къ національности и въ наукѣ; замѣтьте: книга *О поклоненіи Зевсу* Леонтьева неудовлетворительна только отъ Нѣмецкой манеры автора" [17]).

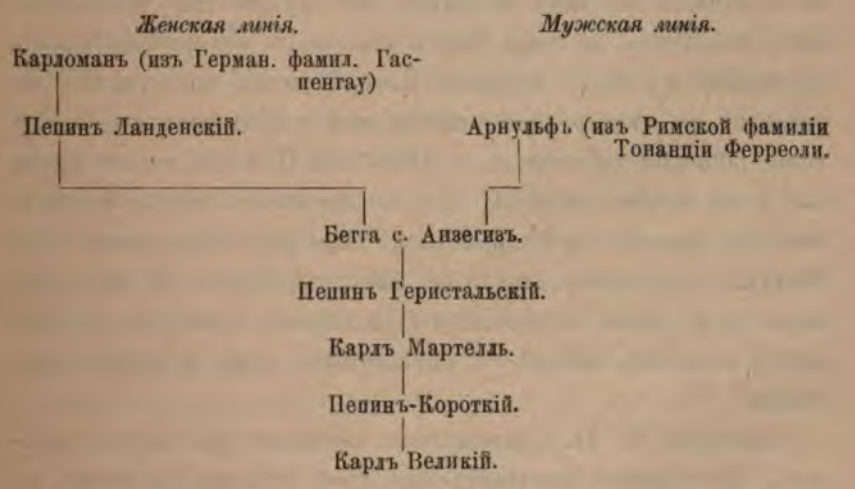
V.

П. М. Леонтьевъ, защитивъ, въ 1850 году, свою диссертацію *О поклоненіи Зевсу въ Древней Греціи*, вступилъ въ острую полемику съ ученикомъ профессора Всеобщей Исторіи М. С. Куторги, М. М. Стасюлевичемъ, который незадолго предъ тѣмъ кончилъ курсъ кандидатомъ С.-Петербургскаго Университета *). Поводомъ къ полемикѣ былъ „Аббатъ Сугерій“ Т. Н. Грановскаго. Въ *Москвитянинѣ* 1850 года, М. М. Стасюлевичъ напечаталъ обширный критическій разборъ сего сочиненія. Статья эта весьма понравилась Погодину и онъ подѣлился своими впечатлѣніями съ критикомъ, еще до напечатаніи самой статьи. Это дало М. М. Стасюлевичу поводъ написать Погодину слѣдующее письмо (28 апрѣля 1850 года):

„Вашъ отзывъ о моей статьѣ былъ такъ для меня лестенъ, что я съ нетерпѣніемъ дожидался выхода моей статьи изъ печати, чтобы, не утруждая васъ двумя письмами, поблагодарить васъ вмѣстѣ и за ваше вниманіе, и за вашъ дорогой для меня подарокъ, который вы обѣщаетесь мнѣ впослѣдствіи выслать. Но вотъ уже вышелъ и второй апрѣльскій нумеръ, а моя статья все остается еще непомѣщенною. Мнѣ и пришло потому на мысль, не дожидаетесь ли вы отвѣта на сдѣланныя вами мнѣ возраженія, и тогда я рѣшился немедленно писать вамъ. По вашему мнѣнію, лучше назвать послѣднихъ Карловинговъ „тунеядцами“, нежели „лѣнивыми“. Современники не давали имъ никакого опредѣленнаго титула, но только при описаніи ихъ царствованій часто говорили о многихъ изъ нихъ одно: nihil fecit. Изъ этого краткаго выраженія лѣтописей позднѣйшіе историки составили и самое

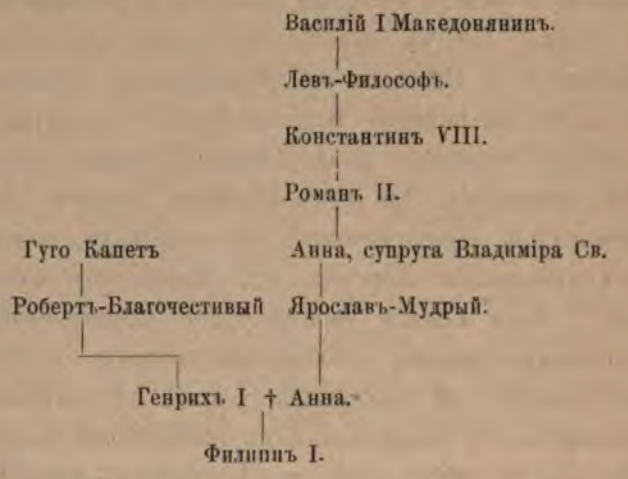
*) М. М. Стасюлевичъ кончилъ курсъ 20-ти лѣтъ, въ 1847 г., по философскому (нынѣ историко-филологическому) факультету и былъ оставленъ при Университетѣ на одинъ годъ для приготовленія къ экзамену на степень магистра, которую и получилъ въ 1849 г.

названіе Карловинговъ: Французы составили слово le fainéant, а Нѣмцы der Faule. Конечно мы, Русскіе, имѣемъ теперь право составить третье названіе, которое выражало бы мысль лѣтописей и вмѣстѣ съ тѣмъ было бы заимствовано изъ нашего языка. Но не будетъ ли лучше перевесть названіе Карловинговъ у Нѣмцевъ или Французовъ, которые имѣютъ болѣе права на исторію Карловинговъ? Съ другой стороны, при выборѣ подобнаго рода названій вообще, кажется, выгоднѣе оставаться при томъ названіи, которое употреблено въ лучшихъ и общепринятыхъ руководствахъ, каково, напр., у насъ руководство Лоренца, гдѣ Карловинги названы „лѣнивыми". Если каждый ученый будетъ давать свои названія историческимъ лицамъ и событіямъ, то чрезъ это затруднится техника науки,—не маловажное условіе ея успѣховъ. Далѣе, вы полагаете, не ошибся ли я въ родословной Карловинговъ, выводя ихъ женскую линію изъ Германской фамиліи Пепина Ланденскаго, а мужскую изъ Римской фамиліи Тонанціи Ферреоли. Здѣсь я былъ совершенно справедливъ, какъ это видно и изъ самой родословной:



Съ послѣднимъ вашимъ замѣчаніемъ я совершенно согласенъ: родство Капетинговъ съ Греческими императорами чрезъ родство съ Русскими князьями должно было объяснить

въ примѣчаніи, и если моя статья не печаталась, то будьте такъ добры, присоедините эту краткую таблицу, а если вы сочтете нужнымъ, то и предъидущую:



Далѣе, въ томъ же письмѣ читаемъ: „Ваше порученіе относительно просьбы къ Ивану Яковлевичу Горлову, о составленіи разбора статьи г. Небольсина, я ему передалъ, и вѣрно вы получили отъ него и отвѣтъ. Но другого порученія я не могъ исполнить, не имѣя такого знакомаго, который бы взялся доставлять въ вашъ журналъ Петербургскія новости. Что же касается до вашего приглашенія мнѣ участвовать въ составленіи рецензіи на статьи по Всеобщей Исторіи, то это трудъ для меня весьма лестный, и я не пропущу случая воспользоваться вашимъ приглашеніемъ. Еще разъ благодарю васъ, Михаилъ Петровичъ, за ваше снисходительное ко мнѣ вниманіе и за вашъ обязательный подарокъ, который я и надѣюсь получить вмѣстѣ съ обѣщанными вами оттисками моей статьи“ [18]).

Критика М. М. Стасюлевича состоитъ изъ двухъ отдѣловъ. Въ первомъ излагаетъ онъ свой взглядъ на науку, во второмъ разбираетъ дисертацію Грановскаго. Первый отдѣлъ вызванъ словами Грановскаго въ предисловіи къ *Аббату Суперію*, что „сухое, не приложенное къ пользѣ общества зна-

ніе, въ наше время не высоко цѣнится. Оно слишкомъ легко достается Если увеличился матеріалъ науки, то съ другой стороны и еще въ большей степени усилились средства, которыми его можно себѣ усвоить. Современниковъ Гримма, Неандра, Шлоссера трудно удивить одною ученостью".

Оскорбленный такимъ взглядомъ на науку, Стасюлевичъ выступилъ на защиту ея противъ мысли — требовать отъ науки практической пользы, примѣняемости къ жизни и занимательности. „Мнѣ кажется",—говоритъ онъ,—„не наука должна спускаться съ своей высоты, чтобы доставить занимательность возможно большей массѣ общества, а скорѣе само общество должно стараться о своемъ возвышеніи, чтобы умѣть понимать занимательность науки. И, наконецъ, къ чему бы послужило такое униженіе науки для занимательности? Сдѣлавшись занимательною, она утратила бы свой характеръ, и слѣдовательно перестала бы быть наукой... мы смѣемъ утверждать, что если наука и должна быть занимательна, то только для немногихъ, какъ и всѣ другіе предметы имѣютъ каждый свою занимательность. Ученый, заботящійся о всеобщей занимательности своихъ ученыхъ трудовъ, подвергается опасности измѣнить наукѣ и впасть въ беллетристику. Еще менѣе должна, кажется, наука заботиться о пользѣ, или, какъ выразился точнѣе Грановскій, о приложимости своего знанія къ пользамъ общества... Кто изъ насъ, бывъ еще дитятею, при познаніи того или другого предмета имѣлъ въ виду пользу?... Если же такъ безкорыстенъ источникъ познанія въ ребенкѣ, то неужели наука должна ему уступить въ своей безкорыстности?.. Къ наукѣ лучше всего можно примѣнить извѣстное выраженіе: fiat justicia, pereat mundus. Притомъ мы совершенно понимаемъ, откуда является упрекъ истинно научнымъ занятіямъ въ ихъ безплодности и безполезности. Все происходитъ отъ того односторонняго матеріальнаго понятія о пользѣ, которое можно назвать даже меркантилизмомъ... Въ прошедшемъ столѣтіи энциклопедисты поставили себѣ задачею сдѣлать науку примѣняемою къ практической

жизни. Всякій знаетъ, къ чему это повело. О наукѣ справедливо можно сказать: имѣй въ виду въ наукѣ науку, а остальное приложится".

Несмотря на сдержанность, съ какою написанъ былъ этотъ критическій разборъ, противъ критика ополчились поклонники Грановскаго и одинъ изъ нихъ, а именно П. М. Леонтьевъ, воспользовавшись выходомъ въ свѣтъ магистерской диссертаціи М. М. Стасюлевича, подъ заглавіемъ *Аѳинская Иѳемонія*, напечаталъ въ *Москвитянинѣ* же ѣдкую противъ нея критику. Надо замѣтить, что въ той же книжкѣ *Москвитянина*, гдѣ былъ напечатанъ критическій разборъ Стасюлевича, была напечатана анонимная статья самого Леонтьева, подъ заглавіемъ: *Эстетическое кое-что по поводу картинъ и эскизовъ г. Ѳедотова*, но подъ которою Погодинъ, вопреки желанію автора, выставилъ инициалы: *П. Л.* [13]).

Статья эта обратила на себя вниманіе цензуры и В. Н. Лешковъ выразилъ свои опасенія Погодину: „Статья эстетическая кое что о картинахъ Ѳедотова не навлекла бы непріятности, по толкованіямъ, которыя дѣлаетъ этимъ картинамъ и эскизамъ. Языкъ красокъ и цвѣтовъ можетъ подать поводъ къ такимъ соображеніямъ... и моральнымъ, и политическимъ, что можно допечь и самого живописца. — Какъ думаете?"

Все это раздражило Леонтьева и онъ написалъ Погодину рѣзкое письмо: „Помѣщеніе неблагонамѣренной статьи Стасюлевича, равнымъ образомъ, помѣщеніе моей статьи съ искаженіями и съ приставкою, противъ прямого моего желанія, начальныхъ буквъ имени,—вынуждаютъ меня, къ крайнему моему прискорбію, прекратить совершенно дружественныя отношенія съ вашимъ журналомъ, если вамъ не будетъ угодно согласиться на слѣдующія условія: 1) Помѣстить въ слѣдующей книжкѣ мою рецензію диссертаціи г. Стасюлевича, которую я напишу значительно строже, нежели какъ я думалъ, хоть въ умѣренномъ тонѣ, со всѣмъ приличіемъ и совершенно безъ неосновательныхъ обвиненій и намековъ. Диссер-

тація такъ слаба, что, безъ снисхожденія говоря, надобно о ней говорить очень невыгодно. Снисхожденія же авторъ не заслуживаетъ послѣ своей выходки. 2) Помѣстить въ слѣдующей же книжкѣ въ концѣ отдѣла смѣси слѣдующее извиненіе: *Редакція Москвитянина извиняется передъ авторомъ статьи: Эстетическое кое что, въ томъ, что внизу ея, противъ его желанія, были проставлены буквы: П. Л.* Сколько права я имѣю требовать отъ *Москвитянина* такого извиненія, вы знаете столько же *хорошо*, какъ и я, и потому я покорнѣйше прошу, чтобы въ случаѣ вашего согласія, извиненіе редакціи было напечатано въ *тѣхъ самыхъ словахъ*, какъ я его написалъ. Вы необходимо должны сознаться, что, несмотря на недоброжелательство ко мнѣ *Москвитянина*, я сдѣлалъ съ своей стороны всевозможное, чтобы съ нимъ сблизиться. Я искренно желалъ и теперь еще желаю ему процвѣтанія. Готовность мою содѣйствовать тому, по мѣрѣ моихъ силъ, я началъ-было показывать на дѣлѣ. Но теперь самъ *Москвитянинъ* насильственно принуждаетъ меня обратиться къ вамъ съ этимъ письмомъ, крайне для меня непріятнымъ."

Вслѣдъ за симъ, Леонтьевъ, отправляя свою критическую статью на диссертацію Стасюлевича, писалъ Погодину: „Доставляя къ вамъ рецензію на Стасюлевича, я покорно прошу васъ, согласно обѣщанію, напечатать ее въ первой іюньской книжкѣ. Чтобы отклонить отъ *Москвитянина* всякое обвиненіе въ нападеніи на сего господина, я почелъ приличнымъ подписать свое имя. Поэтому я просилъ бы васъ напечатать ее безъ примѣчаній и приказать корректуру доставить мнѣ, а равно и подписной листъ въ случаѣ ежели В. Н. Лешковъ что-нибудь вычеркнетъ." Вмѣстѣ съ тѣмъ Леонтьевъ настаивалъ, чтобы статья его противъ Стасюлевича была напечатана скорѣе, ибо „черезъ мѣсяцъ", —писалъ онъ Погодину,— „говорить о такой дряни не стоитъ, а мнѣ, признаюсь, не хотѣлось бы, чтобъ мой трудъ, хотя и небольшой, пропалъ даромъ. Къ тому же помѣщеніемъ *Москвитянинъ* очистился бы отъ тѣхъ нападеній, которыя сыплются на него со всѣхъ

сторонъ, и показалъ бы, по крайней мѣрѣ, что онѣ относятся не къ нему. Впрочемъ, это только мое желаніе и мнѣніе. Что касается до исполненія, какъ вамъ угодно. Возможность же исполненія, кажется, не совсѣмъ прошла, потому что еще остается цѣлая недѣля, а въ статейкѣ не будетъ далеко листа“ [20]).

Но Погодинъ исполнилъ желаніе Леонтьева неохотно. Подъ 30 мая 1850 года, онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Рецензіи Леонтьева не должно бы помѣщать“. Однако она была помѣщена въ *Москвитянинѣ*, и съ такимъ примѣчаніемъ Погодина: „Вѣрные правилу о свободѣ ученыхъ и литературныхъ мнѣній, подъ коимъ подписывается имя, мы помѣщаемъ эту рецензію, хотя почитаемъ ее слишкомъ строгою. Критикъ опустилъ изъ виду различіе между диссертаціею ученою, литературною и диссертаціею обязанною. Эта рецензія вызвана, кажется, рецензіей самого Стасюлевича, которую мы помѣстили въ послѣднемъ нумерѣ, также въ исполненіе нашего правила. Гораздо лучше, еслибъ сія послѣдняя была опровергнута положительно. Само собою разумѣется, что мы готовы помѣщать такіе отвѣты“.

Леонтьевъ свою рецензію на магистерскую диссертацію Стасюлевича начинаетъ такими словами: „Обязанность рецензента, особенно въ нашей еще довольно юной литературѣ, состоитъ въ томъ, чтобы, мягко и правдиво указывая на недостатки каждаго сочиненія, выставлять съ участіемъ хорошія его стороны, ободрять и поддерживать автора на томъ пути, который ему особенно свойственъ, и доброжелательнымъ сужденіемъ способствовать ему употреблять свои силы на такія работы, въ которыхъ его трудъ можетъ быть наиболѣе производителенъ. Еще болѣе доброжелательности и осмотрительности долженъ показывать рецензентъ, когда имѣетъ дѣло съ первыми учеными или литературными опытами. Слишкомъ строгій отзывъ можетъ привести въ отчаяніе и отбить охоту, слишкомъ снисходительный — возбудить ошибочныя понятія объ успѣхѣ: и въ томъ и другомъ случаѣ, рецензія не бу-

детъ имѣть добрыхъ послѣдствій, скорѣе ослабитъ энергію автора или приведетъ его въ болѣзненную раздражительность, нежели напряжетъ его силы. Поэтому-то, когда еще вскорѣ послѣ диссертаціи Стасюлевича, мы прочли ее и увидѣли, что отыскивать въ ней хорошія стороны стоитъ гораздо большаго труда, нежели указать на недостатки, мы отложили намѣреніе писать на нее рецензію, и остались бы при этомъ, даже послѣ того, какъ эта диссертація была совершенно не по достоинству расхвалена рецензентомъ одного Петербургскаго журнала *), очевидно нисколько незнакомымъ съ предметомъ. Приглашенные недавно редакціею *Москвитянина*, мы были въ затрудненіи и вѣроятно, не иначе сказали бы наше мнѣніе о диссертаціи Стасюлевича, какъ при отчетѣ о какой нибудь другой книгѣ, занимающейся родственнымъ предметомъ. Но теперь авторъ значительно облегчилъ наше дѣло, выступивъ самъ рецензентомъ, тѣмъ болѣе, что книга, имъ рецензированная, есть также ученая диссертація. Поэтому-то, при ея рецензіи Стасюлевичъ имѣлъ случай высказать нѣсколько мыслей и требованій относительно ученыхъ диссертацій вообще,—и намъ остается только легкій трудъ приложить его требованія къ его собственному произведенію. При этомъ дѣлѣ мы совершенно свободны отъ опасенія быть несправедливыми: мы будемъ его судить по его собственной формулѣ; если мы возьмемъ на себя обязанность судьи, то на его сторонѣ будетъ выгода, что онъ будетъ и подсудимымъ и преторомъ. Произнесеніе приговора мы также предоставимъ ему самому. Сужденіемъ нашимъ онъ, конечно, не оскорбится, какъ оно ни будетъ невыгодно: какъ писатель не начинающій, а уже судящій и рядящій въ литературѣ, онъ, навѣрное, не потребуетъ отъ насъ снисходительности. Мы же кромѣ того будемъ благонамѣренны, будемъ говорить прямо и безъ *заднихъ мыслей*".

Но М. М. Стасюлевичъ не сдавался и прислалъ Погодину

---

*) „*Современникъ*", май, 1849 г.

обширный *Отвѣтъ П. М. Леонтьеву на его историческія и филологическія замѣчанія къ разсужденію Аѳинская Игемонія.* Въ началѣ своего отвѣта М. М. Стасюлевичъ между прочимъ замѣчаетъ: „Г. Леонтьевъ въ своей рецензіи занимается не только главнымъ своимъ предметомъ, но также косвенно защищаетъ, какъ то справедливо замѣтилъ и Погодинъ, автора *Аббата Сугерія.* Мы въ своей рецензіи на сочиненіе Грановскаго думали исполнить только одну изъ самыхъ простыхъ обязанностей рецензента; внести ее въ протоколъ науки. На недостатки и промахи мы совсѣмъ почти не указывали и даже извиняли ихъ, какъ необходимое слѣдствіе положенія науки о Средней Исторіи. Леонтьевъ въ своемъ косвенномъ защищеніи *Аббата Сугерія* ничего не приводитъ въ опроверженіе высказанной нами главной мысли о сочиненіи Грановскаго, и какъ будто бы tacile соглашается съ нами, потому что сущность его защищенія состоитъ въ слѣдующемъ: если авторъ *Аѳинской Игемоніи* — предмета Древней Исторіи, гдѣ всѣ источники хорошо обработаны и приготовлены,—былъ въ своей магистерской диссертаціи такъ неоснователенъ и ошибоченъ, то тѣмъ болѣе все это извинительно автору докторской диссертаціи, предметъ которой заимствованъ изъ Средней Исторіи, и потому не имѣетъ такихъ обширныхъ пріуготовительныхъ средствъ. Мы отказываемся рѣшительно отъ чести выдавать себя за мѣрило достоинства чужихъ трудовъ: недостатки магистерской диссертаціи не могутъ оправдывать недостатковъ диссертаціи докторской. Но мы не будемъ болѣе говорить объ этой сторонѣ рецензіи Леонтьева, а потому оставимъ безъ вниманія и всѣ тѣ личности, на которыя авторъ былъ вызванъ невольно своей косвенной апологіей. Наша рецензія на *Аббата Сугерія* немного потеряетъ отъ того, что кто-нибудь будетъ видѣть въ ней одну нашу склонность къ *процессу писанія*, по крайней мѣрѣ она потеряетъ столько, сколько можетъ выиграть отъ подобнаго голословнаго обвиненія самъ авторъ *Аббата Сугерія.* Мы писали не ex officio и обращались не къ мелочамъ, какъ то дѣлаютъ другіе рецензенты“...

Полемика М. М. Стасюлевича съ П. М. Леонтьевымъ заключилась антикритикою послѣдняго: *Еще о разсужденіи г. Стасюлевича Аѳинская Игемонія.* Въ своей антикритикѣ Леонтьевъ прежде всего останавливается на примѣчаніи Погодина и пишетъ: „Редакція обвиняла меня въ слишкомъ большой строгости и утверждала, что я опустилъ изъ вида различіе между диссертаціею ученою, литературною и диссертаціею обязанною. Но я просилъ бы позволенія у редакціи, пользуясь правами отдѣла антикритики, спросить ее, въ чемъ же я могъ быть *слишкомъ* строгимъ?.. Ежели рецензія показалась редакціи слишкомъ неблагопріятною, то это впечатлѣніе произошло не отъ моей строгости, а отъ числа недостатковъ, мною указанныхъ. Полагала ли редакція, что я ихъ выдумалъ?.. Наконецъ, ежели я упустилъ изъ виду, что диссертація Стасюлевича не ученое и не литературное сочиненіе... то что же она такое..?“ На эти вопросы Погодинъ отвѣтилъ: „Отвѣчать на эти вопросы очень легко: стоитъ только напомнить антикритику, что понятіе о строгости отнюдь не исключаетъ понятія о справедливости и наоборотъ... а что касается до понятія объ обязанныхъ диссертаціяхъ, то оно высказано было уже нѣсколько разъ въ *Москвитянинѣ*: обязанная диссертація есть часть экзамена, производимаго въ опредѣленный срокъ, а именно черезъ годъ послѣ послѣдняго“.

На замѣчаніе Стасюлевича, что Леонтьевъ въ своей рецензіи косвенно защищалъ *Аббата Суперія*, антикритикъ отвѣчалъ: „Это утвержденіе меня не только удивило, но и оскорбило до послѣдней степени. Мнѣ не могло придти въ голову защищать Т. Н. Грановскаго, потому что это было бы съ моей стороны по меньшей мѣрѣ страннымъ притязаніемъ... Я же имѣлъ въ своей рецензіи цѣлью характеризовать рецензента *Аббата Суперія* по его сочиненію объ *Аѳинской Игемоніи*“... [21])

Кромѣ Леонтьева, на Стасюлевича ополчились *Отечественныя Записки* и тамъ появился цѣлый рядъ статей противъ него и между ними статья И. К. Бабста, подъ слѣдующимъ

обширный *Отвѣтъ П. М. Леонтьеву на его историческія и филологическія замѣчанія къ разсужденію Аѳинская Игемонія.* Въ началѣ своего отвѣта М. М. Стасюлевичъ между прочимъ замѣчаетъ: „Г. Леонтьевъ въ своей рецензіи занимается не только главнымъ своимъ предметомъ, но также косвенно защищаетъ, какъ то справедливо замѣтилъ и Погодинъ, автора *Аббата Сугерія.* Мы въ своей рецензіи на сочиненіе Грановскаго думали исполнить только одну изъ самыхъ простыхъ обязанностей рецензента; внести ее въ протоколъ науки. На недостатки и промахи мы совсѣмъ почти не указывали и даже извиняли ихъ, какъ необходимое слѣдствіе положенія науки о Средней Исторіи. Леонтьевъ въ своемъ косвенномъ защищеніи *Аббата Сугерія* ничего не приводитъ въ опроверженіе высказанной нами главной мысли о сочиненіи Грановскаго, и какъ будто бы tacile соглашается съ нами, потому что сущность его защищенія состоитъ въ слѣдующемъ: если авторъ *Аѳинской Игемоніи* — предмета Древней Исторіи, гдѣ всѣ источники хорошо обработаны и приготовлены,—былъ въ своей магистерской диссертаціи такъ неоснователенъ и ошибоченъ, то тѣмъ болѣе все это извинительно автору докторской диссертаціи, предметъ которой заимствованъ изъ Средней Исторіи, и потому не имѣетъ такихъ обширныхъ пріуготовительныхъ средствъ. Мы отказываемся рѣшительно отъ чести выдавать себя за мѣрило достоинства чужихъ трудовъ: недостатки магистерской диссертаціи не могутъ оправдывать недостатковъ диссертаціи докторской. Но мы не будемъ болѣе говорить объ этой сторонѣ рецензіи Леонтьева, а потому оставимъ безъ вниманія и всѣ тѣ личности, на которыя авторъ былъ вызванъ невольно своей косвенной апологіей. Наша рецензія на *Аббата Сугерія* немного потеряетъ отъ того, что кто-нибудь будетъ видѣть въ ней одну нашу склонность къ *процессу писанія*, по крайней мѣрѣ она потеряетъ столько, сколько можетъ выиграть отъ подобнаго голословнаго обвиненія самъ авторъ *Аббата Сугерія.* Мы писали не ex officio и обращались не къ мелочамъ, какъ то дѣлаютъ другіе рецензенты“...

Полемика М. М. Стасюлевича съ П. М. Леонтьевымъ заключилась антикритикою послѣдняго: *Еще о разсужденіи г. Стасюлевича Аѳинская Игемонія.* Въ своей антикритикѣ Леонтьевъ прежде всего останавливается на примѣчаніи Погодина и пишетъ: „Редакція обвиняла меня въ слишкомъ большой строгости и утверждала, что я опустилъ изъ вида различіе между диссертаціею ученою, литературною и диссертаціею обязанною. Но я просилъ бы позволенія у редакціи, пользуясь правами отдѣла антикритики, спросить ее, въ чемъ же я могъ быть *слишкомъ* строгимъ?.. Ежели рецензія показалась редакціи слишкомъ неблагопріятною, то это впечатлѣніе произошло не отъ моей строгости, а отъ числа недостатковъ, мною указанныхъ. Полагала ли редакція, что я ихъ выдумалъ?.. Наконецъ, ежели я упустилъ изъ виду, что диссертація Стасюлевича не ученое и не литературное сочиненіе... то что же она такое..?“ На эти вопросы Погодинъ отвѣтилъ: „Отвѣчать на эти вопросы очень легко: стоитъ только напомнить антикритику, что понятіе о строгости отнюдь не исключаетъ понятія о справедливости и наоборотъ... а что касается до понятія объ обязанныхъ диссертаціяхъ, то оно высказано было уже нѣсколько разъ въ *Москвитянинѣ*: обязанная диссертація есть часть экзамена, производимаго въ опредѣленный срокъ, а именно черезъ годъ послѣ послѣдняго“.

На замѣчаніе Стасюлевича, что Леонтьевъ въ своей рецензіи косвенно защищалъ *Аббата Суперія*, антикритикъ отвѣчалъ: „Это утвержденіе меня не только удивило, но и оскорбило до послѣдней степени. Мнѣ не могло придти въ голову защищать Т. Н. Грановскаго, потому что это было бы съ моей стороны по меньшей мѣрѣ страннымъ притязаніемъ... Я же имѣлъ въ своей рецензіи цѣлью характеризовать рецензента *Аббата Суперія* по его сочиненію объ *Аѳинской Игемоніи*“... [21])

Кромѣ Леонтьева, на Стасюлевича ополчились *Отечественныя Записки* и тамъ появился цѣлый рядъ статей противъ него и между ними статья И. К. Бабста, подъ слѣдующимъ

заглавіемъ: *Нѣсколько замѣчаній по поводу критики г. Стасюлевича на книгу Аббатъ Суперій Т. Н. Грановскаго.* Замѣчанія свои Бабстъ начинаетъ ироническимъ отзывомъ о *Москвитянинѣ*: „Нельзя не отдать справедливости *Москвитянину*, критика его своимъ тономъ и своей оригинальностью обратила на себя должное вниманіе. Оригинальностью отличался этотъ журналъ всегда, оригинальность за нимъ и теперь, когда этотъ новый фениксъ возникъ изъ своего пепла“ [22]). Но къ замѣчаніямъ Бабста Стасюлевичъ отнесся безпристрастно и даже замѣтилъ, что въ нихъ помѣщенъ „хотя краткій, но мастерски изложенный очеркъ постепеннаго развитія феодальной системы“ [23]).

VI.

Обратимся теперь къ графу С. С. Уварову, уступившему волею судебъ, свое курульное кресло князю Ширинскому—Шихматову. Послѣ своей отставки, графъ Уваровъ первое время проживалъ въ Петербургѣ. 28 марта 1850 года, Плетневъ писалъ Жуковскому: „Вчера, графъ Уваровъ, онъ теперь очень часто приглашаетъ меня къ себѣ обѣдать, говоря, какъ будетъ онъ доволенъ своимъ лѣтнимъ пребываніемъ въ Подмосковной своей, прибавилъ: тамъ нельзя не чувствовать, до какой степени пріятно быть богатымъ. Эти слова сжали мое сердце. И онъ еще не почувствовалъ, что не только сокровища, имъ свезенныя въ Порѣчье, да и сокровище всѣхъ Разумовскихъ изъ Батурина, Яготина, изъ Москвы и Петербурга, не въ состояніи прибавить капли того тихаго наслажденія, въ которомъ одномъ нуждается душа наша! Онъ ни картинами, ни книгами, ни мраморами своими до сихъ поръ не хотѣлъ, или не умѣлъ пользоваться, только цѣлую жизнь продолжалъ собирать; а надѣется вдругъ вкусить удовольствіе цѣлой жизни наканунѣ смерти своей, явившись туда чѣмъ-то въ родѣ развалины. Вотъ чѣмъ оканчивается привычка откладывать жить сообразно

истиннымъ потребностямъ своимъ и воображать, что намъ необходима бездна вещей".

Въ маѣ того года, графъ Уваровъ отправился въ Порѣчье и по дорогѣ прожилъ нѣкоторое время въ Москвѣ. Увидавши его, Шевыревъ писалъ Погодину: „Сейчасъ видѣлъ Сергія Семеновича. Ахъ! Какъ его жаль! Какъ онъ измѣнился! Въ Порѣчье непремѣнно поѣдемъ, разумѣется вмѣстѣ. Мнѣ же по дорогѣ въ Вяземы". На другой день (28 мая 1850 г.), Погодинъ увидѣлъ Уварова,, и записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Обѣдалъ у Уварова. Развалина, но духъ еще бодръ".

По приглашенію Уварова, Погодинъ прожилъ три недѣли въ Порѣчьѣ. Изъ *Дневника* его видно, что онъ проводилъ тамъ время не совсѣмъ праздно и трудился надъ Русскою Исторіею. Тамъ, между прочимъ, онъ написалъ *о Св. Игуменѣ Печерскомъ Ѳеодосіѣ*, бесѣдовалъ съ хозяиномъ Порѣчья „о просвѣщеніи нашего времени", купался, гулялъ, а по вечерамъ „игралъ въ преферансъ съ больнымъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ прочелъ въ Порѣчьѣ какую-то лекцію, содержаніе которой намъ неизвѣсто, но о которой сохранился весьма нелестный отзывъ Шевырева: „Лекцію у Уварова ты просто мямлилъ и Богъ знаетъ, что изъ нея вышло". Въ это же лѣто посѣтилъ Порѣчье учитель Уварова, знаменитый академикъ Грефе. Гуляя въ одно великолѣпное іюльское утро съ хозяиномъ Порѣчья по аллеямъ рощи, академикъ вдругъ воскликнулъ съ восторгомъ: „Ахъ, Боже мой! Какъ это жаль, что вы были министромъ"!—Что вы хотите этимъ сказать? спросилъ Уваровъ, улыбаясь.—„То",—отвѣчалъ онъ,—„что безъ этого вы, право, были бы превосходнымъ елленистомъ". Затѣмъ, понизивъ голосъ, онъ прибавилъ: „еслибы впрочемъ вы захотѣли побольше заняться изученіемъ грамматики, которую вы не довольно уважаете" [24]).

Въ началѣ августа, Погодинъ ѣздилъ въ Москву и оттуда привезъ въ Порѣчье П. М. Леонтьева. 6 августа 1850 г., нашъ герой писалъ Шевыреву: „Безъ четверти въ часъ я пріѣхалъ въ Вяземы, во вторникъ; постоялъ противъ дома.

Въ крайнемъ окошкѣ свѣтился только огонекъ. Вы всѣ почивали. Да почіетъ на нихъ и благословеніе Божіе, подумалъ я, и поѣхалъ далѣе. Въ этой минутѣ было для меня что-то поэтическое. А опоздалъ я потому, что Леонтьевъ, котораго пригласилъ въ Порѣчье, пріѣхалъ ко мнѣ въ 7 часовъ, вмѣсто 5-ти. Графа — порядочно здоровье. Я принялся за работу ретиво. Думаю пробыть здѣсь до 13-го августа. Увѣдомь меня, что привезъ новаго и утѣшительнаго попечитель? Когда будетъ министръ, наслѣдникъ, великіе князья. Сообразно съ этими свѣдѣніями я остался бы здѣсь, можетъ быть, дольше, потому что мнѣ хочется кончить одно важное отдѣленіе, которое не хотѣлось бы прерывать... Сейчасъ увѣдомляютъ меня объ оказіи, и я прерываю письмо, и самъ иду къ обѣднѣ помолиться, *о еже книги читати въ любезномъ отечествѣ было можно*".

Цѣлью поѣздки П. М. Леонтьева въ Порѣчье было изученіе находящейся тамъ знаменитой овальной урны или саркофага Альтемсіанскаго, которому, по замѣчанію его, и въ Ватиканѣ было бы дано почетное мѣсто [25]). Впослѣдствіи Леонтьевъ посвятилъ особую статью этому помятнику, и подъ заглавіемъ: *Бакхическій памятникъ графа С. С. Уварова*, напечаталъ ее въ своихъ *Пропилеяхъ*. Статью свою Леонтьевъ начинаетъ такими словами: „Немного еще до сихъ поръ на свѣтѣ такихъ прекрасныхъ, такое гармоническое впечатлѣніе производящихъ комнатъ, какъ средній залъ верхняго этажа въ Порѣцкомъ замкѣ, принадлежащемъ графу С. С. Уварову. Это не музей, въ томъ смыслѣ, какъ мы теперь обыкновенно употребляемъ это слово,—не комната, загроможденная художественными произведеніями и подобная болѣе магазину, нежели храму искусства. Ежели это музей, то только въ древнемъ смыслѣ, μουσεῖον, обитель музъ. Войдя въ этотъ залъ, вы не запутаетесь въ разнообразномъ множествѣ художественныхъ произведеній; однимъ взглядомъ вы окините все и тотъ часъ же почувствуете, что вы находитесь не между художественными произведеніями, а въ *самомъ* произведеніи художествен-

номъ. Этотъ залъ оставляетъ впечатлѣніе общее; вспоминая о немъ, вы будете всегда представлять его себѣ, какъ одно цѣлое... Въ немъ ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, ни что въ немъ не подавляется другимъ. Ни архитектура не принесена здѣсь въ жертву произведеніямъ ваянія, ни изваянія— архитектурѣ... Дневной свѣтъ равномѣрно разливается въ залѣ черезъ огромное отверстіе, устроенное въ куполѣ"... [26]).

Одновременно съ Погодинымъ, Грефе, Леонтьевымъ, гостилъ тогда въ Порѣчьѣ и будущій министръ Народнаго Просвѣщенія графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой. Тамъ Погодинъ впервые познакомился и сблизился съ этимъ государственнымъ человѣкомъ и, по возвращеніи въ Москву, оба они вспоминали о Порѣчьѣ [27]). Но дружба ихъ пресѣклась тогда, когда графъ Толстой, сдѣлавшись министромъ Просвѣщенія, сталъ обновлять память графа С. С. Уварова введеніемъ классическаго образованія въ учебныя заведенія Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Самъ хозяинъ Порѣчья, не смотря на удручающія его болѣзни, продолжалъ заниматься литературою и сочинилъ на Французскомъ языкѣ академическую записку: *Объ исторической достовѣрности*, которую отправилъ въ Академію Наукъ, при слѣдующемъ письмѣ къ непремѣнному секретарю: „Во время пребыванія моего въ деревнѣ, посреди отдохновенія, необходимаго для разстроеннаго моего здоровья, я искалъ отрады въ забавахъ ума. Вслѣдствіе того составилась небольшая записка о вопросѣ, занимающемъ всѣхъ. Я прошу васъ представить въ общее собраніе этотъ трудъ, какъ слабую дань всегдашней моей привязанности къ Академіи и неизмѣнной преданности умственнымъ занятіямъ, которыя то веселили, то утѣшали меня въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, не утративъ ничего изъ благотворнаго своего вліянія". По всей вѣроятности переводъ съ этой статьи предположено было напечатать въ *Москвитянинѣ*, ибо въ *Дневникѣ* Погодина, подъ 8 декабря 1850 года, мы находимъ слѣдующую запись: „Исправлялъ переводную статью Уварова". Кромѣ того, По-

годинъ писалъ Шевыреву: „Перечти хоть слегка статью Уварова въ типографіи. Не имѣю силъ. Не замѣтишь ли чего, разумѣется, безъ малѣйшей отвѣтственности съ твоей стороны. Я исправилъ прежде переводъ, но можетъ быть, что-нибудь не такъ; ты знаешь его щекотливость“?

Въ сентябрѣ 1850 года, графъ С. С. Уваровъ оставилъ свое Порѣчье, переселился въ Москву и прогостилъ тамъ нѣкоторое время. О сношеніяхъ Погодина съ бывшимъ министромъ, во время пребыванія его въ Москвѣ, мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія въ его *Дневникѣ*:

Подъ *16 сентября 1850 г.*: „Къ Уварову. Все министръ“.

— *17* — —: „Вечеръ у Уварова. Смѣшная сцена Шевырева съ Уваровымъ, по поводу статьи о саркофагѣ. Игралъ“.

— *19* — —: „Обѣдалъ у Уварова. Спалъ. Игралъ въ преферансъ“.

— *21* — —: „Вечеръ у Уварова“.

— *22* — —: „Вечеромъ у Уварова, который считаетъ меня, какъ будто обязаннымъ пріѣзжать къ нему. Рѣшился переждать“.

— *25* — —: „Обѣдъ у Грудева и спалъ. Вечеръ у Уварова“.

— *26* — —: „Обѣдъ у Уварова. Вечеромъ игралъ въ карты. Досада отъ Грудева, мое самоотверженіе даже смѣшно. Я жертвую временемъ и пр. для удовольствія Уварова и получаю еще непріятности“.

— *30* — —: „Обѣдалъ у Уварова“.

— *3 октября* —: „Пѣшкомъ къ Уварову. Вечеромъ пріѣхалъ молодой Уваровъ: bonjours papà. Игралъ въ карты и радъ что отыгралъ половину“.

— *4* — —: „У Уварова игралъ въ карты“.

— *6* — —: „Вечеръ у Уварова и простился. Долгъ свой я заплатилъ съ лихвой“.

Въ Петербургѣ Уварова ожидало великое утѣшеніе: императоръ Николай I еще разъ удостоилъ, въ день своего тезоименитства, торжественно изъявить ему благоволеніе свое за

прежнюю службу: 6 декабря 1850 года графу С. С. Уварову пожалованъ былъ орденъ св. апостола Андрея Первозваннаго. „Это лестное вниманіе монарха“,—повѣствуетъ П. А. Плетневъ,—„видимо оживило исчезавшія силы страждущаго. Онъ какъ будто располагался воспротивиться вліянію климата, и занялся устроеніемъ для себя дома въ Санкт-Петербургѣ“.

Погодинъ восторженно привѣтствовалъ Уварова съ этимъ пожалованіемъ: „Спѣшу поздравить ваше сіятельство“,—писалъ онъ, — „съ первою въ Россіи гражданскою наградою. Честь и слава государю! Я всегда былъ увѣренъ, что онъ знаетъ, любитъ Россію больше всѣхъ его окружающихъ. Предъ славнымъ своимъ юбилеемъ, послѣ слышанныхъ клеветъ и напраслинъ, онъ увидѣлъ, что отказываться ему отъ многихъ блистательныхъ страницъ царствованія никакъ нельзя. Сводъ законовъ, Унія, Варшава, Араратъ, дороги, мосты, дворцы, храмы—безъ университетовъ, безъ образованія, безъ словесности не могутъ блистать вполнѣ. Словами рескрипта: „отличное состояніе, въ какомъ вы оставили учебныя заведенія“, Русское ученое сословіе ободрится и вздохнетъ въ первый разъ свободно послѣ прошедшихъ невзгодъ, увидѣвъ, что оно не въ опалѣ у государя, которому всегда было предано. А оно можетъ принести Отечеству и Престолу много пользы, не меньше крѣпостей и армій. Всякій вѣкъ имѣетъ свое оружіе. Повторю: честь и слава государю! Я обрадовался за него еще больше, чѣмъ за васъ, хотя и очень радъ, что вы утѣшены такимъ знакомъ его благоволенія, столько для васъ дорогого“ [28]).

VII.

Главнымъ поприщемъ дѣятельности Погодина и въ 1850 г. оставался *Москвитянинъ*. Но не было ладу между нимъ и главнымъ тогдашнимъ сотрудникомъ его А. Ѳ. Вельтманомъ, о чемъ свидѣтельствуютъ нижеслѣдующія записи *Дневника* Погодина:

годинъ писалъ Шевыреву: „Перечти хоть слегка статью Уварова въ типографіи. Не имѣю силъ. Не замѣтишь ли чего, разумѣется, безъ малѣйшей отвѣтственности съ твоей стороны. Я исправилъ прежде переводъ, но можетъ быть, что-нибудь не такъ; ты знаешь его щекотливость“?

Въ сентябрѣ 1850 года, графъ С. С. Уваровъ оставилъ свое Порѣчье, переселился въ Москву и прогостилъ тамъ нѣкоторое время. О сношеніяхъ Погодина съ бывшимъ министромъ, во время пребыванія его въ Москвѣ, мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія въ его *Дневникѣ*:

Подъ *16 сентября 1850 г.*: „Къ Уварову. Все министръ“.

— *17* — —: „Вечеръ у Уварова. Смѣшная сцена Шевырева съ Уваровымъ, по поводу статьи о саркофагѣ. Игралъ“.

— *19* — —: „Обѣдалъ у Уварова. Спалъ. Игралъ въ преферансъ“.

— *21* — —: „Вечеръ у Уварова“.

— *22* — —: „Вечеромъ у Уварова, который считаетъ меня, какъ будто обязаннымъ пріѣзжать къ нему. Рѣшился переждать“.

— *25* — —: „Обѣдъ у Грудева и спалъ. Вечеръ у Уварова“.

— *26* — —: „Обѣдъ у Уварова. Вечеромъ игралъ въ карты. Досада отъ Грудева, мое самоотверженіе даже смѣшно. Я жертвую временемъ и пр. для удовольствія Уварова и получаю еще непріятности“.

— *30* — —: „Обѣдалъ у Уварова“.

— *3 октября* —: „Пѣшкомъ къ Уварову. Вечеромъ пріѣхалъ молодой Уваровъ: bonjours papà. Игралъ въ карты и радъ что отыгралъ половину“.

— *4* — —: „У Уварова игралъ въ карты“.

— *6* — —: „Вечеръ у Уварова и простился. Долгъ свой я заплатилъ съ лихвой“.

Въ Петербургѣ Уварова ожидало великое утѣшеніе: императоръ Николай I еще разъ удостоилъ, въ день своего тезоименитства, торжественно изъявить ему благоволеніе свое за

прежнюю службу: 6 декабря 1850 года графу С. С. Уварову пожалованъ былъ орденъ св. апостола Андрея Первозваннаго. „Это лестное вниманіе монарха“,—повѣствуетъ П. А. Плетневъ,—„видимо оживило исчезавшія силы страждущаго. Онъ какъ будто располагался воспротивиться вліянію климата, и занялся устроеніемъ для себя дома въ Санкт-Петербургѣ“.

Погодинъ восторженно привѣтствовалъ Уварова съ этимъ пожалованіемъ: „Спѣшу поздравить ваше сіятельство“,—писалъ онъ, — „съ первою въ Россіи гражданскою наградою. Честь и слава государю! Я всегда былъ увѣренъ, что онъ знаетъ, любитъ Россію больше всѣхъ его окружающихъ. Предъ славнымъ своимъ юбилеемъ, послѣ слышанныхъ клеветъ и напраслинъ, онъ увидѣлъ, что отказываться ему отъ многихъ блистательныхъ страницъ царствованія никакъ нельзя. Сводъ законовъ, Унія, Варшава, Араратъ, дороги, мосты, дворцы, храмы—безъ университетовъ, безъ образованія, безъ словесности не могутъ блистать вполнѣ. Словами рескрипта: „отличное состояніе, въ какомъ вы оставили учебныя заведенія“, Русское ученое сословіе ободрится и вздохнетъ въ первый разъ свободно послѣ прошедшихъ невзгодъ, увидѣвъ, что оно не въ опалѣ у государя, которому всегда было предано. А оно можетъ принести Отечеству и Престолу много пользы, не меньше крѣпостей и армій. Всякій вѣкъ имѣетъ свое оружіе. Повторю: честь и слава государю! Я обрадовался за него еще больше, чѣмъ за васъ, хотя и очень радъ, что вы утѣшены такимъ знакомъ его благоволенія, столько для васъ дорогого“ [28]).

VII.

Главнымъ поприщемъ дѣятельности Погодина и въ 1850 г. оставался *Москвитянинъ*. Но не было ладу между нимъ и главнымъ тогдашнимъ сотрудникомъ его А. Ѳ. Вельтманомъ, о чемъ свидѣтельствуютъ нижеслѣдующія записи *Дневника* Погодина:

Подъ *2 февраля 1850 г*: „Къ Горчакову, чтобъ посовѣтоваться о Вельтманѣ“.

— *5* — —: „Получилъ письмо отъ Вельтмана: *лучше разойтиться вмѣсто споровъ*. Отвѣчалъ“.

— *7* — —: „Вечеръ у Вельтмана. Несетъ свое, а сердиться на него нельзя“.

— *9* — —: „Ультиматумъ Вельтману, все еще это заноза мнѣ“.

— *10* — —: „Досадное письмо отъ Вельтмана, котораго долго не читалъ. Попадись-ка къ этимъ добрымъ людямъ“.

— *4 марта* —: „Новая досада отъ Горчакова, который несетъ другое, чѣмъ Вельтманъ. Чортъ ихъ разберетъ. А мнѣ просто мочи нѣтъ“.

Къ довершенію всего, въ это время между Погодинымъ и Вельтманомъ возникла ученая полемика, поводомъ которой былъ Дмитріевскій соборъ во Владимірѣ на Клязьмѣ.

Въ 1849 году, графъ С. Г. Строгоновъ издалъ въ Москвѣ свою археологическую монографію, подъ заглавіемъ: *Димитріевскій соборъ во Владимірѣ на Клязьмѣ*, съ многочисленными снимками внутреннихъ и наружныхъ частей этого зданія, барельефовъ и орнаментовъ, а также и стѣнной иконописи. Въ этомъ сочиненіи графъ Строгоновъ, по свидѣтельству Ѳ. И. Буслаева, обнаруживъ обширныя свѣдѣнія въ Исторіи Византійскаго и Романскаго стиля, не ограничился только техническою стороною предмета, но вошелъ въ историческія изслѣдованія о сооруженіи храма, пользуясь свидѣтельствами нашихъ лѣтописей. Погодинъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* на это сочиненіе рецензію, которая начинается похвалою изданія, за ея археологическую часть. „Исторія искусствъ въ Россіи“,—говоритъ рецензентъ,—„получаетъ себѣ превосходный запасъ въ этомъ богатомъ изданіи: кажется, ни одно произведеніе зодчества не было у насъ изображено въ такихъ подробностяхъ, какъ теперь Дмитріевскій соборъ во Владимірѣ. Нельзя довольно возблагодарить автора за его выборъ, за его вниманіе и отчетливость, за его трудъ. Въ объяснительномъ

текстѣ предложено множество любопытныхъ замѣчаній, догадокъ и указаній, общихъ и частныхъ, о сродствѣ этого памятника съ другими, и различіи съ прочими, объ отличіяхъ архитектуры Ломбардской, сравнительно съ Византійскою, о происхожденіи разныхъ изображеній въ украшеніяхъ, о значеніи луны подъ крестомъ, встрѣчаемой на нашихъ церквахъ, о значеніи голубя на нѣкоторыхъ древнихъ церквахъ епископскихъ, объ употребленіи орла на стѣнахъ собора. Многія догадки очень остроумны и сдѣлаютъ честь не только любителю, но и знатоку, напримѣръ, объ отношеніи наружныхъ фигуръ къ событіямъ изъ жизни Димитрія Солунскаго въ Македоніи и проч. Текстъ снабженъ историческими примѣчаніями; призваны въ помощь древнія монеты, образа, классическія сочиненія, многія рѣдкія изданія. Однимъ словомъ, критика должна отдать полную справедливость книгѣ, что относится до Археологіи". Но что относится до Русской Исторіи, рецензентъ проситъ позволенія у автора, вступить съ нимъ въ споръ, замѣтивъ при этомъ, что авторъ не обратилъ на нее должнаго вниманія и отнесся къ ней, какъ къ дѣлу, почти постороннему.

Замѣчанія рицензента прежде всего касаются невѣрностей, допущенныхъ графомъ Строгоновымъ на первыхъ страницахъ сочиненія, гдѣ говорится почему великій князь Андрей Боголюбскій облюбовалъ окрестности Владиміра. Другое возраженіе Погодина относится къ замѣчанію графа Строгонова объ обращеніи великаго князя Андрея Георгіевича къ западнымъ художникамъ: „Андрей не любилъ южной Россіи; не удивительно, что не слѣдуя принятымъ многимъ обычаямъ, онъ не прибѣгнулъ къ украсившимъ Кіевъ Византійскимъ художникамъ и обратился къ западу". Противъ этихъ словъ Погодинъ возражаетъ: „Нелюбви Андрея предполагать не изъ чего: за что ему было не любить? А предполагать, что вслѣдствіе нелюбви къ Кіеву онъ не хотѣлъ обращаться и къ Греческимъ художникамъ,—это уже слишкомъ натянуто. *Утверждать*, чтобъ Андрей хотѣлъ основать во Владимірѣ особую митрополію—

нѣтъ причинъ твердыхъ (хоть это весьма бы шло къ моему воззрѣнію на Андрея)".

На эту рецензію отвѣчалъ не авторъ, но въ защиту его противъ Погодина выступилъ А. Ѳ. Вельтманъ, и какъ это ни странно, помѣстилъ въ самомъ *Москвитянинѣ* нѣсколько колкихъ замѣчаній противъ самого же редактора журнала— Погодина. Домашнія полемики, критики, антикритики и рекретики издавна были въ обычаяхъ, чуть не въ преданіяхъ Погодинскаго журнала. Такъ и на этотъ разъ Погодинъ не затруднился дать мѣсто возраженіямъ Вельтмана въ *Москвитянинѣ*, а съ своей стороны противопоставилъ имъ подстрочные отвѣты. Въ этихъ отвѣтахъ Погодинъ указывалъ на незнакомство Вельтмана съ вновь изданными источниками и намекалъ на склонность своего противника къ фантастическимъ заключеніямъ: по землѣ прямо ходить мудренѣе, говорилъ Погодинъ, „чѣмъ летать по воздуху". Вельтманъ въ концѣ своей антикритики счелъ умѣстнымъ упомянуть объ „излишней самоувѣренности и наклонности къ опрометчивымъ приговорамъ г. Историка", на это Погодинъ отвѣчалъ: „Это уже обвиненіе не шуточное. Я могъ бы подать также нѣсколько совѣтовъ, и не безъ *основаній*, антикритику; но, уважая правила гостепріимства, удержусь отъ нихъ, и хотя хозяинъ, но не буду подражать гостю. Сколько въ приговорѣ есть справедливаго, предоставляю судить читателямъ. Удивляюсь только, что антикритикъ, произнося такой жестокій приговоръ, скрылъ свое имя. Бросать камень изъ-за угла не годится" [29]).

Этихъ примѣчаній Погодина Вельтманъ тоже не могъ оставить безъ отвѣта; но отвѣчалъ уже не въ Москвитянинѣ, а въ *Сѣверной Пчелѣ*, подъ заглавіемъ: *Время построенія Владиміра на Клязьмѣ, отвѣтъ г. Погодину, на примѣчанія къ антикритикѣ.* Отвѣтъ своей Вельтманъ начинаетъ такими словами: „Сочинитель антикритики послалъ къ Погодину статью свою отъ собственнаго своего имени, и

потому удивляется словамъ его, будто бы „антикритикъ скрылъ отъ него свое имя“ [30]).

Погодинъ еще разъ отвѣчалъ Вельтману въ *Москвитянинѣ* и воспользовался этимъ случаемъ, чтобы сдѣлать слѣдующую характеристику своего противника: „Г. Вельтманъ пріятный повѣствователь, воображеніе у него живое, игривое, языкъ легкій: вотъ его достоинства. Всякую его пьеску, страничку, сцену, прочтешь на досугѣ съ удовольствіемъ, но науки строгія, Исторія, Филологія, особенно нынѣ, имѣютъ иныя требованія... Соблюденія этихъ-то строгихъ требованій Погодинъ и не находилъ въ ученыхъ изысканіяхъ Вельтмана. Подтвердивъ еще разъ справедливость своихъ объясненій, Погодинъ спрашивалъ: „Для чего же написаны двѣ статьи, употреблено столько неблагодарнаго труда и отнято столько времени отъ забавныхъ приключеній Чудодѣя, коихъ мы рады прочесть хоть въ тысячѣ и одной главахъ!

Короче сказать, Погодинъ безъ взякихъ церемоній совѣтовалъ Вельтману оставить скользкое поприще историческихъ изысканій и отдаться вполнѣ своей фантазіи [31]).

Въ *Москвитянинѣ* А. Ѳ. Вельтманъ завѣдывалъ между прочимъ и Библіографіею. Послѣ стычки съ Погодинымъ по исторической части, на Вельтмана именно за библіографію напалъ М. А. Дмитріевъ, и въ декабрѣ 1850 года, писалъ Погодину: „Я къ вамъ писалъ и еще пишу о библіографіи Вельтмана: она никуда не годится!—Читатель хочетъ знать о книгѣ *двѣ* вещи: *что въ ней и хороша ли она*; а главное *первое*. Теперь я прочиталъ о сочиненіяхъ императрицы Екатерины, и ничего не узналъ, что̀ въ нихъ. Затѣмъ и не покупаю. Комедіи ли въ нихъ, или статьи изъ *Собесѣдника*, или тутъ же и Наказъ. Какая же польза для иногородныхъ, которые хотѣли бы выписать книгу? Онъ отбиваетъ покупщиковъ отъ книжной лавки *Москвитянина!* Его библіографія—это ничего больше, какъ печатная бумага! А что за пошлыя и мутныя разсужденія объ отеческихъ отношеніяхъ,

нѣтъ причинъ твердыхъ (хоть это весьма бы шло къ моему воззрѣнію на Андрея)".

На эту рецензію отвѣчалъ не авторъ, но въ защиту его противъ Погодина выступилъ А. Ѳ. Вельтманъ, и какъ это ни странно, помѣстилъ въ самомъ *Москвитянинѣ* нѣсколько колкихъ замѣчаній противъ самого же редактора журнала— Погодина. Домашнія полемики, критики, антикритики и рекретики издавна были въ обычаяхъ, чуть не въ преданіяхъ Погодинскаго журнала. Такъ и на этотъ разъ Погодинъ не затруднился дать мѣсто возраженіямъ Вельтмана въ *Москвитянинѣ*, а съ своей стороны противопоставилъ имъ подстрочные отвѣты. Въ этихъ отвѣтахъ Погодинъ указывалъ на незнакомство Вельтмана съ вновь изданными источниками и намекалъ на склонность своего противника къ фантастическимъ заключеніямъ: по землѣ прямо ходить мудренѣе, говорилъ Погодинъ, „чѣмъ летать по воздуху". Вельтманъ въ концѣ своей антикритики счелъ умѣстнымъ упомянуть объ „излишней самоувѣренности и наклонности къ опрометчивымъ приговорамъ г. Историка", на это Погодинъ отвѣчалъ: „Это уже обвиненіе не шуточное. Я могъ бы подать также нѣсколько совѣтовъ, и не безъ *основаній*, антикритику; но, уважая правила гостепріимства, удержусь отъ нихъ, и хотя хозяинъ, но не буду подражать гостю. Сколько въ приговорѣ есть справедливаго, предоставляю судить читателямъ. Удивляюсь только, что антикритикъ, произнося такой жестокій приговоръ, скрылъ свое имя. Бросать камень изъ-за угла не годится" [29]).

Этихъ примѣчаній Погодина Вельтманъ тоже не могъ оставить безъ отвѣта; но отвѣчалъ уже не въ Москвитянинѣ, а въ *Сѣверной Пчелѣ*, подъ заглавіемъ: *Время построенія Владиміра на Клязьмѣ, отвѣтъ г. Погодину, на примѣчанія къ антикритикѣ*. Отвѣтъ своей Вельтманъ начинаетъ такими словами: „Сочинитель антикритики послалъ къ Погодину статью свою отъ собственнаго своего имени, и

потому удивляется словамъ его, будто бы „антикритикъ скрылъ отъ него свое имя“ [30]).

Погодинъ еще разъ отвѣчалъ Вельтману въ *Москвитянинѣ* и воспользовался этимъ случаемъ, чтобы сдѣлать слѣдующую характеристику своего противника: „Г. Вельтманъ пріятный повѣствователь, воображеніе у него живое, игривое, языкъ легкій: вотъ его достоинства. Всякую его пьеску, страничку, сцену, прочтешь на досугѣ съ удовольствіемъ, но науки строгія, Исторія, Филологія, особенно нынѣ, имѣютъ иныя требованія... Соблюденія этихъ-то строгихъ требованій Погодинъ и не находилъ въ ученыхъ изысканіяхъ Вельтмана. Подтвердивъ еще разъ справедливость своихъ объясненій, Погодинъ спрашивалъ: „Для чего же написаны двѣ статьи, употреблено столько неблагодарнаго труда и отнято столько времени отъ забавныхъ приключеній Чудодѣя, коихъ мы рады прочесть хоть въ тысячѣ и одной главахъ!

Короче сказать, Погодинъ безъ взякихъ церемоній совѣтовалъ Вельтману оставить скользкое поприще историческихъ изысканій и отдаться вполнѣ своей фантазіи [31]).

Въ *Москвитянинѣ* А. Ѳ. Вельтманъ завѣдывалъ между прочимъ и Библіографіею. Послѣ стычки съ Погодинымъ по исторической части, на Вельтмана именно за библіографію напалъ М. А. Дмитріевъ, и въ декабрѣ 1850 года, писалъ Погодину: „Я къ вамъ писалъ и еще пишу о библіографіи Вельтмана: она никуда не годится!—Читатель хочетъ знать о книгѣ *двѣ* вещи: *что въ ней и хороша ли она*; а главное *первое*. Теперь я прочиталъ о сочиненіяхъ императрицы Екатерины, и ничего не узналъ, что̀ въ нихъ. Затѣмъ и не покупаю. Комедіи ли въ нихъ, или статьи изъ *Собесѣдника*, или тутъ же и Наказъ. Какая же польза для иногородныхъ, которые хотѣли бы выписать книгу? Онъ отбиваетъ покупщиковъ отъ книжной лавки *Москвитянина!* Его библіографія—это ничего больше, какъ печатная бумага! А что за пошлыя и мутныя разсужденія объ отеческихъ отношеніяхъ,

о какихъ-то завѣтахъ!—и что за вздоръ, что *Федулъ* писанъ для Эрмитажнаго театра: онъ игранъ былъ на вольномъ театрѣ. До Екатерины впускались въ театръ только знатныя особы и гвардейскіе чины и занимали мѣста по чинамъ же; а при ней учрежденъ вольный театръ за умѣренную плату, и именно изъ видовъ просвѣщенія. Для Эрмитажа особенно писались піесы ею и особами ея общества, и больше по-Французски: онѣ всѣ напечатаны и по-Русски. Да отучите его ходить *около* книги, и нести *околесную*, ни къ селу, ни къ городу; научите его глядѣть на книгу *прямо* и говорить что въ ней есть!—Всѣ другія библіографическія статьи у васъ прекрасны: кратки, полны и толковы. Напримѣръ, о двухъ богословіяхъ Макарія и Антонія, я тотчасъ понялъ, и теперь отъ меня зависитъ которую изъ нихъ выбрать и выписать; а сочиненія Екатерины попроще и полегче Богословіи, но я и теперь не знаю, что въ нихъ содержится.

Не хотите ли, для смѣха, я вамъ напишу примѣръ библіографіи Вельтмана?—Читайте:

Путешествіе Гумбольта. 1850 года, Типогр. NN и проч. и проч.

„Самое первое путешествіе намъ извѣстное, это переселеніе Авраама въ землю Ханаанскую; а второе—путешествіе Іакова въ Египтѣ. Самое же послѣднее Салтыкова въ Индію. Между этими лицами путешествій было множество! А было время, когда и цѣлые народы пускались путешествовать: напримѣръ—Израильтяне изъ Египта; или великое переселеніе народовъ. Но гораздо прежде ихъ перешли въ Европу, коротко извѣстные только мнѣ одному: *Асы.* Что они были чистые Славяне, а пришли изъ Индіи въ Норвегію, и что они были точно путешественники, это доказываетъ ихъ имя, потому что куда они ни появлялись въ Европѣ, туземцы дѣлали тамъ вопросы, а они, не понимая, отвѣчали по-Русски *асъ*? Почему ихъ и прозвали *Аси* или Азы. Они еще до Кирилла и Меѳодія составили азбуку Славянскую. Какъ ихъ прозвали: *асъ*? — *Асы*;

такъ и буквы прозвали: *азы*. Путешествій много: есть voyage autour de ma chambre, voyage dans mes poches, послѣднее нынче больше всего въ модѣ". И конецъ!.. А гдѣ же тутъ о путешествіи Гумбольта? Извините мою шутку; но это точное изображеніе безсмысленной и безтолковой библіографіи Вельтмана! Вы сами написали презабавнымъ образомъ, въ вашей сборной повѣсти о Хомяковѣ; потому и этотъ портретъ примите благосклонно. Но, не шутя скажу, что ни объ одной книгѣ не получишь никакого понятія! А это что за офицерская шуточка о Милоновѣ? „Ты, Нина, будешь читать мои стихи"? А Нина говоритъ: „не хочу". Ну такъ публика прочитаетъ, и публика говоритъ: „не стану". Это уже значитъ давать совершенно превратное понятіе о нашей литературѣ! Всякій подумаетъ, что Милоновъ былъ чувствительный стихотворецъ; а Милоновъ отличался въ свое время сатирами, въ которыхъ узнавались сильныя лица того времени. А гдѣ взялъ Вельтманъ, что Карамзинъ сказалъ о Капнистѣ:

Капниста я прочелъ, и сердцемъ сокрушился.
Зачѣмъ читать учился!

Это эпиграмма *самого Капниста*, и *напечатана* въ первомъ изданіи его сочиненій, гдѣ помѣщена и его сатира на нравы. А эта сатира и эпиграммы не вошли во второе изданіе потому что во второй разъ были изданы только лирическія его стихотворенія. Это первое изданіе есть въ моей Московской библіотекѣ: если хотите, сынъ мой можетъ достать изъ шкафа. Заключеніе: Вельтманъ не знаетъ совсѣмъ литературы, и можетъ писать только свои безконечные романы, которые я читалъ бы съ удовольствіемъ, еслибы имъ былъ конецъ".

Такъ закончилась дѣятельность А. Ѳ. Вельтмана въ *Москвитянинѣ*.

У Шевырева съ Погодинымъ продолжали быть постоянныя столкновенія. Подъ 9 января 1850 года, въ *Дневникѣ* Погодина мы читаемъ: „Въ типографіи сквернѣйшее письмо отъ Шевырева, котораго хорошія внутреннія качества по-

крываются такой мелкой гадостью, что мочи нѣтъ. И отъ того провелъ день очень непріятно". Самому же Шевыреву Погодинъ писалъ: Хорошо что я увѣренъ, что это волны пѣнистыя сверху, а что подъ ними у тебя все то же доброе и любящее сердце, но я тебѣ говорю торжественно, любовно и искренно, что верхнія волны, особенно въ первую минуту горячности, у тебя бываютъ прескверныя, и что тебѣ надобно воздержаться, особенно при твоихъ теперешнихъ оффиціальныхъ отношеніяхъ, гдѣ часто бываетъ всякое лыко въ строку".

VIII *).

Въ 1850 году, *Москвитянинъ* вступилъ въ новую эру своего существованія. Въ его изданіи принялъ энергичное участіе кружокъ литературный, кружокъ, получившій впослѣдствіи названіе *Молодого Москвитянина*, и который, „подъ предводительствомъ Погодина", состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: А. Н. Островскаго, Т. И. Филиппова, Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, А. А. Григорьева и другихъ. Своимъ былъ въ этомъ кружкѣ и А. Ѳ. Писемскій. Съ дѣятельностью этого кружка близко связана дѣятельность графини Е. П. Ростопчиной, у которой поименованныя лица собирались еженедѣльно, по субботамъ. Съ ними неразлученъ былъ знаменитый актеръ Московской сцены П. М. Садовскій. Позднѣе, къ нимъ примкнулъ и И. Ѳ. Горбуновъ.

Первымъ познакомился съ Погодинымъ и вступилъ въ число сотрудниковъ *Москвитянина* А. Н. Островскій, передавшій приглашеніе къ сотрудничеству и другимъ членамъ дружественнаго кружка. Приглашеніе это на первыхъ порахъ встрѣчено было не вполнѣ сочувственно. Членамъ кружка Погодинъ былъ извѣстенъ тогда преимущественно по отри-

---

*) Главы VIII—X, XII—XIII написаны, главнымъ образомъ, на основаніи свѣдѣній, сообщенныхъ Тертіемъ Ивановичемъ Филипповымъ.

цательнымъ сторонамъ своей природы, по угловатостямъ и крайностямъ, о которыхъ ходили преувеличенные разсказы, доставлявшіе богатую пищу для личныхъ враговъ его и враговъ его направленія. Положительныя его достоинства, самостоятельныя его стороны,—все, что составляло главную сущность его и главное его достоинство, было сокрыто подъ каррикатурнымъ изображеніемъ, которымъ награждала его интеллигентная молва. Островскому стоило вслѣдствіе того нѣкоторыхъ трудовъ убѣдить своихъ сотоварищей, что Погодинъ вовсе не таковъ, какимъ они себѣ воображаютъ его, смѣло довѣряясь господствующимъ толкамъ; что онъ изъ личнаго ознакомленія вынесъ совершенно иное, несравненно болѣе благопріятное впечатлѣніе. Направились молодые люди на назначенное свиданіе, и Погодинъ очаровалъ ихъ своими бесѣдами, увлекъ ихъ своими разсказами, носившими яркій характеръ живой лѣтописи. Подъ такого-то рода благимъ впечатлѣніемъ и началось дѣятельное сотрудничество молодыхъ людей. Съ полною вѣрою въ Погодина, началась дѣятельность *Молодого Москвитянина*.

Еще до вступленія въ сотрудники *Москвитянина*, А. Н. Островскій, Т. И. Филипповъ, Е. Н. Эдельсонъ и Б. Н. Алмазовъ образовали тѣсный, дружескій кружокъ. „Необходимо принять во вниманіе“,—свидѣтельствуетъ Т. И. Филипповъ,— „что въ тѣ времена не только Петербургъ, но и Москва— сердце Россіи, отличались преклоненіемъ предъ началомъ западной цивилизаціи. Западничество являлось господствующимъ, преобладающимъ направленіемъ. Кромѣ славныхъ именъ Хомякова, Кирѣевскихъ, Шевырева, Погодина и другихъ представителей старшаго славянофильства, все остальное Московское образованное общество тяготѣло къ Западу и къ идеаламъ, провозглашаемымъ западниками того времени. Молодежь и старые люди были одинаково заражены господствующимъ, властно заявляющимъ о себѣ направленіемъ. *Отечественныя Записки*, Бѣлинскій, Герценъ были на верху могущественности своего вліянія. Съ одной стороны, самоувѣренная наглость са-

крываются такой мелкой гадостью, что мочи нѣтъ. И отъ того провелъ день очень непріятно". Самому же Шевыреву Погодинъ писалъ: Хорошо что я увѣренъ, что это волны пѣнистыя сверху, а что подъ ними у тебя все то же доброе и любящее сердце, но я тебѣ говорю торжественно, любовно и искренно, что верхнія волны, особенно въ первую минуту горячности, у тебя бываютъ прескверныя, и что тебѣ надобно воздержаться, особенно при твоихъ теперешнихъ оффиціальныхъ отношеніяхъ, гдѣ часто бываетъ всякое лыко въ строку".

VIII *).

Въ 1850 году, *Москвитянинъ* вступилъ въ новую эру своего существованія. Въ его изданіи принялъ энергичное участіе кружокъ литературный, кружокъ, получившій впослѣдствіи названіе *Молодого Москвитянина*, и который, „подъ предводительствомъ Погодина", состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: А. Н. Островскаго, Т. И. Филиппова, Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, А. А. Григорьева и другихъ. Своимъ былъ въ этомъ кружкѣ и А. Ѳ. Писемскій. Съ дѣятельностью этого кружка близко связана дѣятельность графини Е. П. Ростопчиной, у которой поименованныя лица собирались еженедѣльно, по субботамъ. Съ ними неразлученъ былъ знаменитый актеръ Московской сцены П. М. Садовскій. Позднѣе, къ нимъ примкнулъ и И. Ѳ. Горбуновъ.

Первымъ познакомился съ Погодинымъ и вступилъ въ число сотрудниковъ *Москвитянина* А. Н. Островскій, передавшій приглашеніе къ сотрудничеству и другимъ членамъ дружественнаго кружка. Приглашеніе это на первыхъ порахъ встрѣчено было не вполнѣ сочувственно. Членамъ кружка Погодинъ былъ извѣстенъ тогда преимущественно по отри-

---

*) Главы VIII—X, XII—XIII написаны, главнымъ образомъ, на основаніи свѣдѣній, сообщенныхъ Тертіемъ Ивановичемъ Филипповымъ.

цательнымъ сторонамъ своей природы, по угловатостямъ и крайностямъ, о которыхъ ходили преувеличенные разсказы, доставлявшіе богатую пищу для личныхъ враговъ его и враговъ его направленія. Положительныя его достоинства, самостоятельныя его стороны,—все, что составляло главную сущность его и главное его достоинство, было сокрыто подъ карикатурнымъ изображеніемъ, которымъ награждала его интеллигентная молва. Островскому стоило вслѣдствіе того нѣкоторыхъ трудовъ убѣдить своихъ сотоварищей, что Погодинъ вовсе не таковъ, какимъ они себѣ воображаютъ его, смѣло довѣряясь господствующимъ толкамъ; что онъ изъ личнаго ознакомленія вынесъ совершенно иное, несравненно болѣе благопріятное впечатлѣніе. Направились молодые люди на назначенное свиданіе, и Погодинъ очаровалъ ихъ своими бесѣдами, увлекъ ихъ своими разсказами, носившими яркій характеръ живой лѣтописи. Подъ такого-то рода благимъ впечатлѣніемъ и началось дѣятельное сотрудничество молодыхъ людей. Съ полною вѣрою въ Погодина, началась дѣятельность *Молодого Москвитянина*.

Еще до вступленія въ сотрудники *Москвитянина*, А. Н. Островскій, Т. И. Филипповъ, Е. Н. Эдельсонъ и Б. Н. Алмазовъ образовали тѣсный, дружескій кружокъ. „Необходимо принять во вниманіе“,—свидѣтельствуетъ Т. И. Филипповъ,— „что въ тѣ времена не только Петербургъ, но и Москва— сердце Россіи, отличались преклоненіемъ предъ началомъ западной цивилизаціи. Западничество являлось господствующимъ, преобладающимъ направленіемъ. Кромѣ славныхъ именъ Хомякова, Кирѣевскихъ, Шевырева, Погодина и другихъ представителей старшаго славянофильства, все остальное Московское образованное общество тяготѣло къ Западу и къ идеаламъ, провозглашаемымъ западниками того времени. Молодежь и старые люди были одинаково заражены господствующимъ, властно заявляющимъ о себѣ направленіемъ. *Отечественныя Записки*, Бѣлинскій, Герценъ были на верху могущественности своего вліянія. Съ одной стороны, самоувѣренная наглость са-

михъ западниковъ и разрѣшеніе на вся, какъ провозглашеніе освобожденія плоти отъ сдерживающихъ ее нравственныхъ и религіозныхъ оковъ, легко привлекало къ такого рода проповѣди сердца молодежи. Бывали случаи, когда молодые люди грубили родителямъ или ударялись въ развратъ, только изъ желанія слѣдовать принципу. Съ другой стороны, суровая правительственная и полицейская система того времени, подвергавшая преслѣдованію доброе вмѣстѣ съ злымъ, придавала особую прелесть всѣмъ противуправительственнымъ движеніямъ мысли. Съ неистовою ненавистью относились западники того времени ко всему, что̀ носило печать Русскаго направленія и „Русской Народности". Для примѣра, Т. И. Филипповъ приводитъ слѣдующее: Валентинъ Ѳедоровичъ Коршъ, еще будучи студентомъ, ожидалъ однажды передъ большою аудиторіей прихода С. М. Соловьева, читавшаго тогда древній періодъ Русской Исторіи.

„Чортъ знаетъ, что такое? громогласно разсуждалъ Коршъ въ ожиданіи. — Куда это мы идемъ? Слушать древнюю Русскую Исторію! Какъ будто у Русскаго народа существуетъ какая либо Древняя, до-петровская Исторія".

Эта „студенческая болтовня", по словамъ Т. И. Филиппова, отнюдь не представлялась выводомъ изъ какихъ либо собственныхъ соображеній Корша, а составляла только отголосокъ всѣхъ разсужденій западническаго стана, стояла въ полной гармоніи съ господствующимъ тогда западническимъ камертономъ, которому только подчинялся Коршъ наравнѣ съ значительнымъ большинствомъ молодежи. Не иначе мыслили и всѣ вообще западники; не иначе витійствовалъ Бѣлинскій съ трибуны *Отечественныхъ Записокъ*.

Къ пѣснямъ и преданіямъ Русскаго народа западники относились также отрицательно.

Если подъ вліяніемъ Запада и признавалось уже нѣкоторыми научное значеніе народныхъ преданій и пѣсенъ, то въ художественномъ отношеніи онѣ представлялись, тѣмъ не менѣе, образованному большинству едва ли заслуживающими

уваженія. Литературные журналы того времени не рѣшались напечатать интересную статью Снегирева о *народныхъ картинкахъ*, именно въ виду *народнаго* значенія этихъ картинъ. Статья эта, съ указаніемъ на эту нерѣшительность, появилась только въ *Сборникѣ* Валуева. Въ критической замѣткѣ *Отечественныхъ Записокъ* говорилось, что художественность народной поэзіи не поднимается выше стиховъ:

Танцовала рыба съ ракомъ
А петрушка съ пастернакомъ и т. д.

Съ пѣсеннымъ богатствомъ Русскаго народа, членовъ кружка *Молодого Москвитянина* познакомилъ Т. И. Филипповъ. Собственно говоря, она, эта пѣсня, и была главною силою, постепенно слагавшею, выработывавшею и выяснявшею основное міровоззрѣніе кружка. Открывая, и бытовыя особенности, и историческій складъ, и вѣковѣчные идеалы Русскаго народа, таже пѣсня побудила членовъ кружка основательнѣе вглядѣться въ значеніе Петровской реформы, какъ бы разрѣзавшей всю историческую Русь пополамъ. Отвлеченному мышленію или отвлеченному небреженію западниковъ такое разсѣченіе историческаго тѣла представлялось въ высшей степени простымъ и естественнымъ; для нихъ до Петра и не существовало исторической Руси, а было только наводящее тоску и скуку на образованное общество хаотическое броженіе, которое и надо было отсѣчь, создавая по отвлеченнымъ или наскоро прихваченнымъ чуждымъ началамъ, и которое надо было скорѣе забыть, посвятивъ ему и въ исторической наукѣ развѣ только нѣсколько страничекъ. То была только колыбельная жизнь младенца, все содержаніе которой исчерпывалось, по словамъ Бѣлинскаго, только выраженіями: спалъ, пилъ, ѣлъ и т. д. Но не о томъ свидѣтельствовала и свидѣтельствуетъ народная пѣсня, бывшая, какъ уже сказано, живою силою противящагося западникамъ молодого кружка. До-петровская Русь, еще живущая въ этой пѣсни, какъ бы сама вызывала на сравненіе, какъ бы требовала критическаго отношенія къ противуположному ей строю,

созданному всѣмъ Петербургскимъ періодомъ Русской Исторіи, оторвавшимъ отъ народа правящіе и вообще образованные классы и между прочимъ наградившимъ насъ тою *мыслящею частью публики*, для которой, по словамъ Бѣлинскаго, и Русское Государство, и Русская Исторія начинаются съ Петра и на которую „имена Рюриковъ, Олеговъ, Игорей и подобныхъ имъ героевъ наводятъ скуку и грусть". Подъ вліяніемъ народной пѣсни, возникло и выработалось среди кружка и критическое отношеніе къ самому Петру, къ которому западники относились безъ всякой критики, не только оправдывая проявленія его жестокости и любуясь деспотизмомъ его, но чуть ли не обоготворяя прежде всего именно отрицательныя стороны его характера и его дѣла. А что это было такъ, — свидѣтель тому тотъ же Бѣлинскій. „Новый Навинъ, онъ, т.-е. Петръ, останавливалъ солнце на пути его, онъ у моря отторгалъ его довременныя владѣнія, онъ изъ болота вывелъ чудный городъ... Передъ битвою подъ Лѣснымъ онъ позади своихъ войскъ поставилъ казаковъ съ строгимъ приказаніемъ убивать безъ милосердія всякаго, кто побѣжитъ вспять, даже и его самого, если онъ это сдѣлаетъ. Такъ точно поступилъ онъ и въ войнѣ съ невѣжествомъ: выстроивъ противъ него весь народъ свой, онъ отрѣзалъ ему всякій путь къ отступленію и бѣгству. Будь полезенъ государству, учись,—или умирай; вотъ что было написано кровью на знамени его борьбы съ варварствомъ. И потому все старое должно было уступить мѣсто новому: и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и служба. Говорятъ, дѣло въ дѣлѣ, а не въ бородѣ; но что же дѣлать, если борода мѣшала дѣлу? Такъ вонъ же ее, если сама не хочетъ валиться... Наша Исторія шла иначе, чѣмъ исторія Европы, и наше *очеловѣченіе* должно было совершиться также иначе. Нецивилизованные народы образуются безусловнымъ подражаніемъ цивилизованнымъ. Сама Европа доказываетъ это: Италія называла остальную Европу варварами, и эти варвары безусловно подражали ей во всемъ, даже въ порокахъ... Что касается до жертвъ, съ какими по-

строенъ Петербургъ, онѣ искупаются необходимостью и результатомъ. Петръ своими дѣлами писалъ исторію, а не романъ; онъ дѣйствовалъ, какъ царь, а не какъ семьянинъ".

Религіозныя убѣжденія старшихъ славянофиловъ, членамъ кружка (кромѣ Садовскаго) были тогда чужды, а потому имъ нельзя еще было сознательно говорить о церкви, униженной и попранной Петромъ, но ими уже отчасти чувствовалось, что именно путемъ этого униженія, какъ бы вынутъ изъ машины главный рычагъ, какъ бы расшатанъ и обезсиленъ одинъ изъ вѣковыхъ устоевъ народной жизни. Присоединенный къ кружку Б. Н. Алмазовымъ, товарищъ его по пансіону Зедергольмъ, впослѣдствіи о. Климентъ Оптинскій, а тогда еще протестантъ, сынъ протестантскаго пастора, подъ вліяніемъ одной изъ бесѣдъ, вдругъ объявилъ, что для того, чтобы стать вполнѣ Русскимъ, онъ непремѣнно приметъ православіе, если только Филипповъ согласится быть его воспріемникомъ. Въ этомъ нельзя еще усматривать религіознаго переворота въ душѣ самого говорившаго, ибо сказано это было полушутливо; но это указываетъ на то, что въ средѣ кружка исподволь выяснялось уже сознаніе тѣсной связи Русской народности съ православіемъ. Во всякомъ случаѣ отношенія къ Петру и къ Петровскому перевороту были уже вполнѣ установившимися. Тотъ же Зедергольмъ, подъ вліяніемъ случайной рюмки вина, котораго онъ вообще никогда не пилъ, такъ увлекся въ одномъ разговорѣ негодованіемъ на Петра, что объявилъ, что убьетъ его, и притомъ разорвалъ свою студенческую фуражку.

Между тѣмъ, объ отцѣ Зедергольмѣ въ *Дневникѣ* Погодина, подъ 17 марта 1850 года, мы находимъ слѣдующую запись: „Зедергольмъ вотъ какъ выразился въ Тулѣ о мнимыхъ обращеніяхъ въ Остзейскихъ губерніяхъ: arme Christen in fremden Lande, а эта *fremdes Land* воспитала десять сыновъ и дала мѣста и кормила его двадцать лѣтъ. Christen, а мы язычники! А прочія бестіи берутъ разумѣется его сторону".

„Однажды",—повѣствуетъ Т. И. Филипповъ,—„Островскій

за пріятельской пирушкой, почувствовавъ, вѣроятно, въ себѣ притокъ силъ богатыря художника и увѣренность въ этихъ силахъ, проговорилъ даже, обращаясь къ друзьямъ: *Съ Тертіемъ да съ Провомъ мы все Петрово дѣло назадъ повернемъ.*

IX.

Описавъ духовную атмосферу, въ которой образовался новый литературный кружокъ, именуемый *Молодой Москвитянинъ*, познакомимся теперь съ каждымъ изъ его членовъ.

1849-й годъ, былъ годомъ расцвѣта поэтическаго дарованія Александра Николаевича Островскаго. Онъ родился въ Москвѣ, 31 марта 1823 года. Воспитаніе свое началъ въ родительскомъ домѣ, продолжалъ въ первой Московской Гимназіи и поступилъ въ Московскій Университетъ, въ которомъ не окончилъ курса.

Литературная дѣятельность А. Н. Островскаго начинается въ 1846 году. Въ это время, по собственному его свидѣтельству, имъ было написано много сценъ изъ купеческаго быта, въ числѣ которыхъ была сцена, названная впослѣдствіи— *Семейная картина.*

Въ 1847 году, въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ*, появились въ печати его *Сцены изъ Замоскворѣцкой жизни* и *Очерки Замоскворѣчья.*

Въ это-то время, Островскій познакомился и сблизился съ Т. И. Филипповымъ. Знакомство это началось съ того, что обоимъ имъ случайно подали чай на одномъ столикѣ, въ знаменитомъ тогда Желѣзномъ трактирѣ Печкина. Пришедшій ранѣе Филипповъ, углубился, едва усѣвшись за столъ, за чтеніе печатавшагося тогда романа Жоржъ-Занда: *Проступокъ г. Антуана*, а потому, за чтеніемъ, и не замѣтилъ появившагося сосѣда. Но въ это время къ столику подошелъ знакомый Филиппова, студентъ А. И. Забѣлинъ *) и спросилъ:

*) Служившій потомъ директоромъ Молодеченской Семинаріи при графѣ М. Н. Муравьевѣ и И. П. Корниловѣ, а затѣмъ по тому же Министерству Народнаго Просвѣщенія—въ Туркестанскомъ краѣ.

— Что вы читаете?

На отвѣтъ Филиппова, что онъ читаетъ *Проступокъ г. Антуана*, Забѣлинъ сказалъ:

— Это что! А вотъ вы бы прочли *Мартына Найденыша* Евгенія Сю (который печатали въ то же время въ тѣхъ же *Отечественныхъ Запискахъ*).

По лицу Филиппова скользнула легкая, ироническая улыбка, при чемъ онъ замѣтилъ, что такая же улыбка отразилась и на лицѣ случайнаго его сосѣда. Это совпаденіе улыбокъ, обоими замѣченное, послужило поводомъ къ началу разговора, который продолжался вплоть до ночи, принимая все болѣе и болѣе оживленный характеръ. Разставаясь, молодые люди порѣшили видаться и продолжать случайно начатое знакомство.

Т. И. Филипповъ велъ тогда совершенно одинокую жизнь, а Островскій жилъ въ домѣ отца своего, у Николы въ Воробьинѣ, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, мачихою, братьями отъ одной матери съ нимъ и дѣтьми отъ второго брака отца. Въ этомъ то домѣ Филипповъ и сдѣлался частымъ гостемъ, все болѣе и болѣе сближаясь съ Островскимъ, который и тогда уже былъ авторомъ повѣсти и только что закончилъ первое свое драматическое произведеніе. Повѣсть почти не представляла никакого значенія; драматическое же произведеніе, *Семейная Картина*, уже носило несомнѣнные признаки сильнаго таланта и между прочимъ произвело большое впечатлѣніе на Гоголя. Филипповъ сразу позналъ размѣры огромнаго дарованія начинающаго писателя, а Островскій, съ своей стороны, пріобрѣлъ въ Филипповѣ тонкаго цѣнителя, отъ котораго не могъ укрыться ни одинъ едва замѣтный, а для иныхъ можетъ быть вовсе незамѣтный оттѣнокъ живаго, своеобразнаго языка.

Въ пору первой встрѣчи съ Филипповымъ, Островскій всецѣло принадлежалъ къ такъ называемому западническому направленію, подъ обаяніемъ котораго находился. Онъ весьма часто ссылался въ разговорахъ на мнѣнія *Отечественныхъ Записокъ*, являвшіяся для него авторитетомъ, и нисходилъ даже

до цитированія статей Галахова. Однажды подобное цитированіе до такой степени разсердило Филиппова, что у него вырвались слова: „Можно ли съ такимъ черепомъ ссылаться на Галахова? Вѣдь это ужъ слишкомъ обидно“.

Увлекаясь вышеуказаннымъ направленіемъ, Островскій доходилъ иногда до странныхъ, почти невѣроятныхъ крайностей. Такъ, завѣрялъ онъ, что ему противенъ видъ самого Кремля съ соборами. Онъ изумилъ однажды Филиппова, сказавъ: „Для чего здѣсь настроены эти пагоды“?

Этою подчиненностью Островскаго господствующему направленію объясняется между прочимъ и то, что первая его крупная піеса *Свои люди сочтемся* состоитъ изъ цѣлаго ряда темныхъ, отталкивающихъ, чисто отрицательныхъ типовъ Русскаго народа, такъ что смягчающими впечатлѣніе являются Аграфена Кондратьевна и плутъ Ризположенскій. Любопытно, что впослѣдствіи западники, доказывая отрицательныя качества Русскаго народа, ссылались на туже, подъ ихъ вліяніемъ созданную піесу Островскаго и на избранные подъ гнетомъ ихъ же направленія типы. Разъ, какъ-то на вечерѣ у М. С. Щепкина, одинъ изъ ученыхъ западниковъ, поддерживаемый единомышленниками, проповѣдывалъ, что народная Русь и состоитъ исключительно только изъ такихъ типовъ, что людей иного закала въ ней нѣтъ и не можетъ быть: все мошенники. „Ну, прощайте же, мошенники“,—сказалъ, прощаясь послѣ долгихъ споровъ, Провъ Садовскій.

Со времени знакомства съ Филипповымъ, это острое отношеніе къ народной жизни мало по малу смягчилось, чему способствовали и особенный взглядъ Филиппова на народную жизнь, и прежде всего, разумѣется, жившая въ устахъ Филиппова народная пѣсня, въ которой и Русскій народный характеръ, и особенности души Русской раскрывались въ привлекательномъ, чарующемъ видѣ.

Въ томъ же направленіи подѣйствовало на Островскаго и на весь кружокъ и знакомство съ П. М. Садовскимъ, который тогда былъ уже по своимъ убѣжденіямъ всесовершен-

нымъ славянофиломъ, раздѣлявшимъ, и религіозныя убѣжденія, и вѣрованія старшихъ славянофиловъ, еще чуждыя членамъ кружка *Молодого Москвитянина*. Съ этимъ великимъ художникомъ Островскій сблизился въ 1850 году, и въ тоже время П. М. Садовскій вошелъ въ особую близость съ Филипповымъ, Эдельсономъ и Алмазовымъ. Какую цѣну имѣло это сближеніе, можетъ понять всякій. Такого исполнителя типовъ, созданныхъ Островскимъ, можно видѣть только во снѣ. Этотъ писатель и этотъ актеръ были буквально созданы другъ для друга и представляли идеальное сочетаніе. Много позднѣе въ тотъ же литературный кружокъ явился другой неподражаемый художникъ Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ *), который и былъ тотчасъ же принятъ кружкомъ, какъ присный. Воспитаніемъ таланта его въ такой средѣ, на ряду съ художественною природою самого дарованія, объясняется отчасти то обстоятельство, что И. Ѳ. Горбуновъ избѣгъ навсегда, столь опаснаго для всякаго комическаго писателя, шаржа.

Начальныя произведенія А. Н. Островскаго не ускользнули отъ вниманія Погодина, и онъ писалъ Шевыреву:

„Есть какой-то г. Островскій, который хорошо пишетъ въ *легкомъ родѣ*, какъ я слышалъ. Спроси г. Попова **). И не можетъ ли онъ спросить у него его трудовъ. Я посмотрѣлъ бы ихъ и потомъ объявилъ бы свои условія“.

Но вскорѣ Островскій изъ *легкаго рода* перешелъ на *серьезный*, и въ 1849 году окончилъ писаніе своей замѣчательной комедіи, подъ заглавіемъ *Свои люди сочтемся*, которую тогда называли *Банкротомъ*. Произведеніе это обратило на себя всеобщее вниманіе, и Шевыревъ писалъ Погодину: „Съ Островскимъ я знакомъ. Онъ бывалъ у меня. Это другъ Попова. Я надѣюсь отъ него *Банкрота*“.

По мнѣнію Т. И. Филиппова, комедія *Банкрутъ* (или *Свои люди сочтемся*), „по совершенству своихъ формъ пре-

*) Скончался 24 декабря 1895 года.

**) М. Г. Поповъ училъ дѣтей у Шевырева и былъ товарищемъ по Гимназіи А. Н. Островскаго

восходитъ все, что Островскій писалъ послѣ. Это объясняется тѣмъ, что Островскій трудился надъ нею болѣе четырехъ лѣтъ". Въ 1846 г., когда началось знакомство Островскаго съ Филипповымъ, „у него было готово только нѣсколько явленій изъ разныхъ дѣйствій, хотя планъ уже былъ вполнѣ начертанъ и нить дѣйствія проведена уже отъ начала до конца. На исполненіе уже піесы, на окончаніе ея отдѣльныхъ подробностей употреблено было, какъ сказано, болѣе четырехъ лѣтъ".

X.

Московское общество выразило нетерпѣливое желаніе прослушать комедію Островскаго до выхода ея въ свѣтъ. Возникло это желаніе по почину М. Н. Каткова: въ скромной тогда квартирѣ его состоялось первое чтеніе *Банкрота*. Съ Катковымъ члены кружка *Молодого Москвитянина* были знакомы уже нѣсколько лѣтъ и часто посѣщали его. Члены этого кружка ранѣе другихъ замѣтили размѣры его дарованій, заслоненные отъ единомышленниковъ его западниковъ преклоненіемъ передъ Грановскимъ, какъ своего рода идоломъ. Катковъ жилъ тогда въ Мерзляковскомъ переулкѣ, близъ церкви Большого Вознесенія. Впечатлѣніе, произведенное на новыхъ слушателей (присутствовали: И. В. Бѣляевъ *) и братъ Каткова Меѳодій), было необыкновенное. Независимо отъ красотъ самаго произведенія, впечатлѣніе это увеличивалось и тѣмъ, что Островскій былъ необыкновенно искуснымъ чтецомъ своихъ произведеній.

Съ этого времени началось частое чтеніе этой піесы въ разныхъ мѣстахъ и быстро по Москвѣ разнеслась ея слава. Островскаго стали просить читать ее въ знакомыхъ и незнакомыхъ домахъ. Онъ направлялся съ своими товарищами.

*) Рано умершій Илья Васильевичъ Бѣляевъ приходился двоюроднымъ братомъ извѣстному профессору, состоялъ преподавателемъ Московской Семинаріи и обратилъ на себя всеобщее вниманіе своими статьями въ *Русской Бесѣдѣ* и *Лѣт.*

всегда имѣя съ собою, какъ непремѣннаго члена, П. М. Садовскаго, который и читалъ съ нимъ попеременно.

„Сегодня“,—писала графиня Ростопчина Погодину,—„Садовскій для меня читаетъ *Банкротство*, у Новосильцовыхъ, а потому хотя я очень нездорова, но встала съ постели, чтобы не прогулять этого занимательнаго вечера“. Чтеніе это произвело сильное впечатлѣніе на графиню Ростопчину и она писала: „Что за прелесть *Банкротство!* Это нашъ Русскій Тартюфъ, и онъ не уступитъ своему старшему брату въ достоинствѣ правды, силы и энергіи. Ура! у насъ рождается *своя* театральная Литература, и нынѣшній годъ былъ для нея благодатно-плодовитъ“.

Вслѣдъ за симъ, комедію Островскаго, П. М. Садовскій читалъ въ домѣ Н. Ф. Павлова.

Наконецъ, и самъ Погодинъ рѣшился сдѣлать у себя литературный вечеръ, на которомъ читались *Нелюдимка* и *Свои люди сочтемся*. О первомъ чтеніи мы уже знаемъ. Вечеръ этотъ состоялся 3 декабря 1849 года.

Пригласить Островскаго къ себѣ на вечеръ Погодинъ поручилъ Н. В. Бергу, который писалъ: „Непремѣнно явлюсь къ вамъ въ субботу, но не знаю, можно ли будетъ привесть Островскаго. Я знакомъ съ нимъ, но не такъ коротко“. Но тѣмъ не менѣе Бергъ принялъ мѣры къ приглашенію Островскаго и наканунѣ чтенія писалъ Погодину: „Какъ я сказалъ вамъ, такъ и сдѣлалъ: на другой день по полученіи вашего письма я написалъ къ общему нашему съ Островскимъ знакомому, прося его или свести меня съ Островскимъ поближе, или пригласить его прямо къ вамъ. Вчера я получилъ отвѣтъ, но самый неопредѣленный. Господинъ, къ которому я писалъ, увѣдомляетъ меня, что Островскій по чему-то дома почти никогда не бываетъ, а тамъ, гдѣ его можно найти въ настоящее время, онъ былъ два раза и не нашелъ его. Я писалъ снова къ этому господину, чтобъ онъ хоть запиской увѣдомилъ Островскаго, или отыскалъ его, какъ хочетъ. Не знаю, что̀ будетъ. Завтра напишу снова и упомяну о желаніи графини Ростоп-

чиной съ нимъ познакомиться. Еслибъ я зналъ, гдѣ онъ живетъ, я давно бы съѣздилъ къ нему самъ и не прибѣгалъ бы къ такому невѣрному и скучному посредству. Вотъ причины почему я васъ не увѣдомлялъ до сихъ поръ. Просто не о чемъ было писать".

Пригласить же Щепкина на свой вечеръ Погодинъ поручилъ Гоголю, который по этому поводу писалъ ему: „Когда увижусь съ Щепкинымъ, передамъ ему это и отвѣтъ привезу самъ".

Какъ бы то ни было, Островскій былъ на вечерѣ у Погодина и своимъ произведеніемъ произвелъ сильное впечатлѣніе, о чемъ единогласно свидѣтельствуютъ участники этого вечера.

„Комедія *Банкротъ* удивительная",—отмѣчаетъ хозяинъ въ своемъ *Дневникѣ*,—„ее прочелъ Садовскій и авторъ". Прослушавъ во второй разъ эту комедію, графиня Ростопчина писала Погодину: „*Банкрота* слушала я, отъ души радуясь замѣчательному произведенію и замѣчательному таланту, озарившимъ нашу немощность и нашъ застой. Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts de ses qualités, поэтому нельзя, чтобъ немного грязнаго не примѣшалось въ олицетвореніи типовъ, взятыхъ живьемъ и цѣликомъ изъ низшихъ слоевъ общества".

Болѣе подробное описаніе этого вечера мы находимъ въ воспоминаніи Н. В. Берга: „На вечерѣ Погодина, Островскій читалъ свою комедію *Свои люди сочтемся* (Банкротъ). Слушающихъ собралось довольно: актеры, молодые и старые литераторы, между прочимъ графиня Ростопчина. Гоголь былъ званъ также, но пріѣхалъ среди чтенія; тихо подошелъ къ двери и сталъ у притолки. Такъ и простоялъ до конца, слушая повидимому внимательно. Послѣ чтенія онъ не проронилъ ни слова. Графиня Ростопчина подошла къ Гоголю и спросила: „Что вы скажете Николай Васильевичъ"?—Хорошо, но видна нѣкоторая неопытность въ пріемахъ. Вотъ этотъ актъ нужно бы подлиннѣе, а этотъ покороче. Эти законы узнаются послѣ и въ непреложность ихъ не сейчасъ начинаешь вѣрить. Больше ничего онъ не говорилъ, кажется, ни

съ кѣмъ, во весь тотъ вечеръ. Къ Островскому, сколько могу припомнить, не подходилъ ни разу".

Не смотря на это видимое равнодушіе, и на Гоголя комедія Островскаго, кажется, произвела впечатлѣніе. Подтвержденіемъ этого предположенія могутъ служить слѣдующія строки Погодина: „Бѣляевъ сказывалъ, что онъ хочетъ печатать статьи историческія. Онъ тоже подвигнетъ все-таки меня, какъ Островскій Гоголя".

„Какъ чтецъ", — свидѣтельствуетъ Т. И. Филипповъ, — „Островскій далеко превосходилъ Садовскаго; но когда черезъ нѣсколько времени имъ привелось совмѣстно играть сцены изъ той же піесы въ домѣ С. А. Пановой (на Собачьей площадкѣ), превосходство Садовскаго оказалось во всей своей силѣ".

Въ чтеніяхъ піесы Островскаго прошла цѣлая зима. Читали піесу и въ литературныхъ, и въ купеческихъ, и въ аристократическихъ домахъ, какъ напримѣръ, у Мещерскихъ и Шереметевыхъ. Въ оба эти дома ввелъ Островскаго и другихъ членовъ кружка *Молодого Москвитянина* Филипповъ. Князь А. В. Мещерскій, бывшій впослѣдствіи Московскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, а тогда еще только что женившійся на графинѣ Строгоновой, дочери графа Сергія Григорьевича, былъ уже и ранѣе въ дружескихъ отношеніяхъ съ Филипповымъ. Съ Шереметевыми познакомилъ Филиппова Николай Петровичъ Алмазовъ, братъ Варвары Петровны Шереметевой и отецъ поэта Бориса Николаевича.

На вечерахъ, гдѣ читалась піеса Островскаго, ярко высказывалось Русское направленіе, какъ его самого, такъ и другихъ членовъ кружка. Народная пѣсня, художественно исполняемая Филипповымъ, неоднократно раздавалась въ такихъ залахъ, въ которыхъ и пѣніе ея вообще, да еще въ особенности человѣкомъ образованнаго общества, представлялось явленіемъ необычайнымъ. И хозяева, и гости всякій разъ восхищались, и словами пѣсни, и напѣвомъ; на всѣхъ производили они сильно-потрясающее впечатлѣніе. Прислуга, прислушивавшаяся изъ-за дверей, приходила въ неописуемый восторгъ и зачастую пла-

кала, какъ плакали всегда и половые, когда Филипповъ пѣвалъ въ студенческихъ и дружескихъ кружкахъ, въ знаменитомъ тогда студенческомъ трактирѣ „Британія", помѣщавшемся бокъ-о-бокъ съ Университетомъ. „Пораженная строгою простотой пѣнія Филиппова, Е. С. Шеремстева разъ спросила у своего двоюроднаго брата Алмазова: „Скажи, пожалуйста, Борисъ, что Филипповъ благородный?" — „Даже *великодушный*", — отвѣчалъ и тогда уже отличавшійся остроуміемъ Алмазовъ.

О пѣніи Т. И. Филиппова вспоминаетъ Писемскій въ своемъ романѣ *Взбаломученное Море*:

Въ студенческомъ трактирѣ Британія „мгновенно все смолкло.

— Тертіевъ поетъ!—воскликнулъ Венявинъ и, перескочивъ почти черезъ голову Ковальскаго, убѣжалъ.

Баклановъ пошелъ за нимъ же.

Въ билліардной они увидѣли молодого бѣлокураго студента, который, опершись на кій и подобравъ высоко грудь, пѣлъ чистымъ теноромъ:

Кто бы кто бы моему горю-горюшку помогъ.

Слушали его нѣсколько студентовъ. Венявинъ шмыгнулъ съ ногами на диванъ и превратился въ олицетворенное блаженство.

Въ сосѣдней комнатѣ Кузьма (знакомый намъ половой), прислонившись къ притолкѣ, погрузился въ глубокую задумчивость. Прочіе половые также слушали. Многіе изъ гостей купцовъ, не безъ удовольствія, повернули свои уши къ дверямъ. Не слушали только Проскритскій, сидѣвшій уткнувъ глаза въ книгу, и двое изъ почитателей, которые вѣроятно изъ подражанія ему, вели между собою довольно громкій разговоръ.

Начали наконецъ засвѣчивать огни.

Баклановъ пошелъ домой и на лѣстницѣ встрѣтился съ Проскритскимъ.

— И вы уходите?—проговорилъ было онъ ему довольно вѣжливо.

— Да, ухожу-съ!—отвѣчалъ тотъ обыкновеннымъ своимъ смѣшкомъ.

Сойдя съ лѣстницы, они разошлись:

Баклановъ пошелъ къ Кремлевскому саду, а Проскритскій на Арбатъ.

— Кутейникъ!—проговорилъ себѣ подъ носъ Баклановъ.

— Барченокъ!—прошепталъ Проскритскій.

А изъ трактира между тѣмъ слышалось пѣніе Тертіева:

Ужъ ведутъ ведутъ Ванюшу: руки—ноги скованы
Буйная его головка да вся испроломана".

Русское направленіе, — замѣчаетъ Т. И. Филипповъ, — „воспринятое Островскимъ, доходило у него иногда даже до крайностей, что, разумѣется, только увеличивало нерасположеніе къ кружку со стороны западниковъ, не понимавшихъ, что можно уважать и чужое мнѣніе. Отзывы и толки доходящіе изъ этого лагеря, неоднократно оскорбляли самолюбіе Островскаго, въ особенности же, если онъ оказывался гдѣ-либо одинокимъ. Недружелюбное отношеніе западниковъ подготовляло ему въ будущемъ еще большую непріятность".

Отдавая отчетъ о литературной дѣятельности Москвы въ 1849 году, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: „Ученость дремлетъ, словесность пишетъ дребедень, за исключеніемъ комедіи Островскаго, которая, говорятъ, превосходное твореніе, и продолженіе *Бродяги*, неуступающаго началу, да Гоголя, который очень веселъ и слѣдовательно трудится". Въ письмѣ же къ графинѣ А. Д. Блудовой, Хомяковъ писалъ: „Грустное явленіе эта комедія Островскаго, но она имѣетъ свою утѣшительную сторону. Сильная сатира, рѣзкая комедія свидѣтельствуетъ еще о внутренней жизни, которая когда нибудь еще можетъ устроиться и развиться въ формахъ болѣе изящныхъ и благородныхъ. А покуда что"?

Когда комедія была напечатана въ *Москвитянинѣ*, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Въ Островскомъ признаю помазаніе; но нынѣшній трудъ его, грѣшный я человѣкъ, мнѣ

не правится. Въ немъ нѣтъ дѣйствія, а одинъ разсказъ, и разсказъ хорошій. Будь это повѣсть, а не драматическое представленіе, я назвалъ бы повѣсть прекрасною. Для драматическаго представленія нужна жизнь, которой тутъ не достаетъ".

А вотъ что́ писалъ князь В. Ѳ. Одоевскій къ одному своему пріятелю — помѣщику: „Читалъ ли ты комедію или, лучше, трагедію Островскаго: *Свои люди сочтемся*, и которой настоящее названіе *Банкрутъ*? Пора было вывести на свѣжую воду самый развращенный духомъ классъ людей. Если это не минутная вспышка, не грибъ, выдавившійся самъ собою изъ земли, просоченной всякою гнилью, то этотъ человѣкъ есть талантъ огромный. Я считаю на Руси три трагедіи: *Недоросль*, *Горе отъ ума*, *Ревизоръ*. На *Банкротъ* я поставилъ нумеръ четвертый. Эта комедія напечатана въ *Москвитянинѣ*".

„Громадный успѣхъ все еще продолжавшихся чтеній комедіи Островскаго",—пишетъ Т. И. Филипповъ,—„и расходящаяся молва о ней скоро создали автору ея крупную непріятность, о которой было уже вскользь упомянуто и которую, такъ сказать, взлелѣяло и вскормило враждебное настроеніе представителей западнаго направленія. Дѣло въ томъ, что Островскій еще смолоду любилъ дѣлить съ кѣмъ-либо художественную работу, творить въ товариществѣ съ кѣмъ-либо. Если въ зрѣлыхъ годахъ уже работалъ онъ съ Соловьевымъ и другими, то и въ молодости онъ неоднократно приглашалъ Филиппова къ совмѣстному художественному труду, отъ котораго Филипповъ, однако, отказывался, не чувствуя въ себѣ къ тому призванія. На бѣду такого же рода разговоры, еще до знакомства съ Филипповымъ, велъ Островскій и съ нѣкіимъ прогорѣвшимъ купцомъ Тарасенковымъ, впослѣдствіи провинціальнымъ актеромъ Горевымъ, и велъ именно тогда, когда піеса *Свои люди сочтемся* только еще замышлялась имъ. Этотъ-то Тарасенковъ и пустилъ впослѣдствіи слухъ, что производящая столько шуму комедія писана вовсе не однимъ Островскимъ, что въ сущности она принадлежитъ

ему, Тарасенкову, и что Островскій напрасно приписываетъ себѣ всю честь ея созданія. Нерасположенные къ Островскому и его кружку западники радостно ухватились за этотъ слухъ и распространяли его вездѣ, гдѣ только было возможно. Москва заговорила. Слухъ пронесся въ Петербургѣ, и тамъ встрѣтилъ готовность вѣрить и распространять. Особенно порадѣлъ дѣлу распространенія Краевскій. Положеніе Островскаго стало чрезвычайно тягостнымъ, въ виду полнѣйшей невозможности опровергнуть клевету, положить предѣлъ оскорбительнымъ толкамъ. Свидѣтельство самого автора, разумѣется, ничего не значило. Филипповъ засталъ наброски комедіи въ началѣ своего знакомства съ Островскимъ, и вся комедія по частямъ разработывалась на его глазахъ; ложь была для него вполнѣ очевидною. Но онъ былъ слишкомъ близокъ и слишкомъ объединенъ въ общемъ мнѣніи съ Островскимъ, чтобы свидѣтельство его могло положить конецъ клеветѣ. По неволѣ приходилось молчать, и ложь гуляла свободно. По счастію, на улаженіе и исправленіе всего дѣла выступилъ самъ Горевъ-Тарасенковъ, написавъ и напечатавъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* новую, вполнѣ бездарную комедію, которая сдѣлала очевиднымъ для всѣхъ, чего можно ожидать отъ его таланта, чего немыслимо ожидать отъ него. Клевета по неволѣ должна была навсегда замолкнуть".

26 Декабря 1851 года, Г. П. Данилевскій писалъ Погодину изъ Петербурга: „Вы вѣроятно уже знаете о тѣхъ нелѣпыхъ, гнусныхъ толкахъ, которые здѣсь распространили о томъ, что комедія А. Н. Островскаго написана не имъ, а какимъ-то купцомъ-актеромъ. Когда я пріѣхалъ въ Петербургъ, меня закидали вопросами объ этомъ, и я, сколько возможно, старался объяснить у разныхъ достойныхъ людей причину, почему нѣкоторые люди, уличенные въ *Москвитянинѣ* въ плагіатахъ и дендизмѣ, распространяли эти слухи... Теперь эти господа называютъ чистое и возвышенное произведеніе Майкова дѣтскою нелѣпостью! О, счастливы вы, Михаилъ Петровичъ, что не слышите изъ первыхъ устъ всей этой

бѣшеной и безсовѣстной демонщины! Но, Богъ съ ними! Усиливайте вы только матеріальныя рядомъ съ духовными средства *Москвитянина*, усиливайте еще строгій и несуемудрый литературный голосъ, и пусть подъ его будущими громами падетъ гнусный кумиръ холода и безочарованія, передъ которыми нынѣ пляшетъ наша отсталая и бездушная пропаганда комфорта и невѣжества! Богъ съ ними!..“

По свидѣтельству Т. И. Филиппова, „весьма немаловажное пріобрѣтеніе получилъ кружокъ *Молодого Москвитянина* въ лицѣ молодого купца Ивана Ивановича Шанина. Крайне-характерныя выраженія, которыми всегда полна была рѣчь Ивана Ивановича, тотчасъ привлекла къ нему вниманіе Островскаго и Филиппова. Разсказы Ивана Ивановича заключали въ себѣ также весьма цѣнный матеріалъ, какъ сообщающіе весьма типическія черты изъ того своеобразнаго міра, къ которому принадлежалъ разсказчикъ и среди котораго приходилось ему вращаться. Множество особенно характерныхъ выраженій Ивана Ивановича заняло свое мѣсто въ произведеніяхъ Островскаго, а типъ Любима Торцова, такъ сказать, цѣликомъ вылился изъ его разсказовъ. Понятно, что Иванъ Ивановичъ былъ тотчасъ же усвоенъ кружкомъ и сдѣлался дорогимъ его членомъ“.

Наконецъ, обратившая на себя всеобщее вниманіе комедія А. Н. Островскаго была напечатана въ мартовской книжкѣ *Москвитянина* 1850 года, подъ заглавіемъ: *Свои люди сочтемся*. Первоначально комедія эта называлась *Банкрутъ*, но по распоряженію цензуры, боявшейся оскорбить купцовъ, пришлось переименовать эту піесу въ *Свои люди сочтемся*.

Съ нерѣшительностью согласился Островскій напечатать свою комедію. Когда же это произведеніе поступило въ цензуру, то начальникъ Московской цензуры, В. И. Назимовъ, „зная, что сочиненіе подобнаго рода требуетъ бдительнаго и строгаго разбора цензуры, не ограничился тѣмъ, что поручилъ его разсматривать одному изъ цензоровъ, но предварительно самъ прочелъ его сполна, и притомъ, желая узнать

мнѣніе другихъ, читалъ графу А. А. Закревскому, которому, какъ начальнику столицы, должно быть извѣстнѣе, какъ сословіе, представленное въ этой комедіи, такъ и впечатлѣніе, которое она производила въ обществѣ, при чтеніи ея въ рукописи. Такимъ образомъ, „по тщательномъ наблюденіи, Назимовъ не могъ не усмотрѣть, что въ комедіи хотя и представлены люди порочные, впрочемъ не всѣ; однако, порокъ не только не *торжествуетъ*, но наказывается самою жестокою *на землѣ* карою". На таковыхъ основаніяхъ Назимовъ „не усомнился разрѣшить напечатать эту комедію". По свидѣтельству Погодина, Назимовъ, только положась на него, рѣшился дозволить напечатать комедію Островскаго. Но по свѣдѣніямъ Т. И. Филиппова, разрѣшеніе напечатать комедію Островскаго послѣдовало по ходатайству Д. П. Скуратова, владѣльца Нара-Ѳоминской фабрики.

Между тѣмъ, когда комедія Островскаго явилась въ печати, Негласный Комитетъ 2 апрѣля 1848 года, „въ тѣхъ высшихъ видахъ, въ которыхъ ввѣренъ Комитету надзоръ за нашимъ книгопечатаніемъ, въ той нравственной, такъ сказать, цензурѣ, которая на него возложена", не могъ не обратить вниманія на эту піесу и заключеніе, свое сообщилъ министру Народнаго Просвѣщенія. Въ свою очередь, министръ предписалъ попечителю Московскаго Учебнаго Округа пригласить къ себѣ автора комедіи и „вразумить его, что благородная и полезная цѣль таланта, должна состоять не только въ живомъ изображеніи смѣшнаго и дурнаго, но и въ справедливомъ его порицаніи, не только въ каррикатурѣ, но и въ распространеніи высшаго нравственнаго чувства: слѣдовательно, въ противопоставленіи пороку добродѣтели, а картинамъ смѣшнаго и преступнаго, такихъ помысловъ и дѣяній, которыя возвышаютъ душу; наконецъ въ утвержденіи того, столь важнаго для жизни общественной и частной вѣрованія, что злодѣяніе находитъ достойную кару *еще на землѣ*".

А. Н. Островскій, выслушавъ этотъ курсъ Эстетики Негласнаго Комитета 2 апрѣля, написалъ (28 апрѣля

1850 г.) В. И. Назимову письмо, въ которомъ между прочимъ читаемъ:

„Трудъ мой, еще неоконченный, возбудилъ одинаковое сочувствіе и производилъ самыя отрадныя впечатлѣнія во всѣхъ слояхъ Московскаго общества, болѣе же всего между купечествомъ. Лучшія купеческія фамиліи единодушно, гласно изъявляли желаніе видѣть мою комедію въ печати и на сценѣ. Я самъ нѣсколько разъ читалъ эту комедію передъ многочисленнымъ обществомъ, состоящимъ исключительно изъ Московскихъ купцовъ, и, благодаря Русской, правдолюбивой натурѣ, они не только не оскорблялись этимъ произведеніемъ, но въ самыхъ обязательныхъ выраженіяхъ изъявили мнѣ свою признательность за вѣрное воспроизведеніе современныхъ недостатковъ и пороковъ ихъ сословія, и горячо высказывали необходимость дѣльнаго и правильнаго обличенія этихъ пороковъ (въ особенности превратнаго воспитанія) на пользу своего круга. Въ глазахъ этихъ почтенныхъ людей правда и польза, коей они отъ нея надѣялись, исключала всякую мысль объ оскорбленіи мелочного самолюбія. Все это побудило меня представить мою комедію въ Цензурный Комитетъ, и это же, осмѣливаюсь думать, обратило и ваше вниманіе на мой трудъ. Согласно понятіямъ моимъ объ изящномъ, считая комедію лучшею формою къ достиженію нравственныхъ цѣлей и признавая въ себѣ способность воспроизводить жизнь преимущественно въ этой формѣ, я долженъ былъ написать комедію или ничего не написать. Твердо убѣжденный, что всякій талантъ дается Богомъ для извѣстнаго служенія, что всякій талантъ налагаетъ обязанности, которыя честно и прилежно долженъ исполнять человѣкъ, я не смѣлъ оставаться въ бездѣйствіи. Будетъ часъ, когда спросится у каждаго: гдѣ талантъ твой?“

XI.

Изъ всѣхъ членовъ *Молодого Москвитянина*, Тертій Ивановичъ Филипповъ, по своему міросозерцанію, всѣхъ ближе подходилъ къ воззрѣніямъ *Стараго Москвитянина*, т.-е. къ воззрѣніямъ Погодина и Шевырева. Раньше указано уже было на то громадное вліяніе, которое имѣло на Островскаго и на весь кружокъ *Молодого Москвитянина* пѣсенное богатство Русскаго народа, съ которымъ впервые познакомилъ ихъ Филипповъ, присоединивши къ прелести пѣсни еще и художественность музыкальнаго исполненія. Говорено было и о томъ переворотѣ, который именно подъ вліяніемъ этой пѣсни совершился во всемъ міровоззрѣніи Островскаго. Начавъ съ презрѣнія къ *пагодамъ* Кремля, Островскій постепенно, исподоволь дошелъ даже до крайностей истинно Русскаго направленія".

Подъ *7 мая 1850 г.*, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Вечеръ у Ростопчиной. Прекрасно пѣлъ Филипповъ". Цѣнность и значеніе Филиппова для всего кружка вообще не исчерпывались, по свидѣтельству лицъ, знавшихъ его за это время, тѣмъ, что онъ былъ для нихъ, какъ и для многихъ, представителемъ пѣсеннаго богатства и пѣсенныхъ даровъ Русскаго народа; что пѣснопѣніями онъ увлекалъ слушателей въ полузабытый или совершенно даже невѣдомый міръ, пробуждалъ новыя или по крайней мѣрѣ долго дремавшія чувства. Выше говорено уже было о томъ, что Островскій, при первомъ уже знакомствѣ, пріобрѣлъ въ Филипповѣ слушателя, отъ котораго не могъ ускользнуть ни одинъ едва замѣтный, а для иныхъ, можетъ быть, и вовсе незамѣтный оттѣнокъ своеобразнаго, живого Русскаго языка, что, благодаря этой-то именно особенности, Островскій и подбивалъ Филиппова къ художественному творчеству вообще и въ частности къ совмѣстному творчеству съ нимъ. Филипповъ обладалъ еще знаніемъ бытовыхъ особенностей Русскаго народа,

въ чемъ былъ достойнымъ товарищемъ А. Н. Островскому, зналъ громадное количество пословицъ, присловій, разсказовъ изъ народнаго и вообще Русскаго быта, а притомъ обладалъ еще и изящнымъ вкусомъ и даромъ художественной критики, которые и проявилъ скоро въ статьяхъ своихъ. Пламенная любовь къ богатству формъ и реченій Русскаго языка, подкрѣпляемая еще и филологическимъ образованіемъ и филологическими трудами, постоянно останавливала его вниманіе, то на художественныхъ оборотахъ народной рѣчи, еще чуждыхъ или оставшихся чуждыми для литературнаго языка, то на не менѣе художественныхъ жемчужинахъ древней письменности Русской. Все это дѣлало его неоцѣнимымъ по своему вліянію членомъ кружка, расширяющимъ кругозоръ его и укрѣпляющимъ духовныя его силы.

Господствовавшіе тогда въ значительнѣйшей части молодой интеллигенціи отсутствіе религіозныхъ началъ, разрывъ съ религіознымъ прошлымъ, составлявшіе своего рода гордость западническаго мірка и выражавшіеся у него съ циническою эффектностью, распространяли власть свою и на членовъ описываемаго кружка. Но въ Филиппове прежде другихъ сверстниковъ и сотоварищей совершился переворотъ, сдѣлавшій его вполнѣ вѣрующимъ, глубоконравственнымъ человѣкомъ и по вѣрѣ стоящимъ въ общеніи съ незатронутыми переломомъ слоями Русскаго народа и со всѣмъ историческимъ его прошлымъ. Вліянію этого переворота исподволь послѣдовали и нѣкоторые члены молодого кружка, какъ, напримѣръ, Бедергольмъ и Алмазовъ, для которыхъ обращеніе и религіозность Филиппова являлись только своего рода первымъ толчкомъ; другіе оставались невѣрующими до самаго конца жизни. Но отъ прежней кичливости невѣріемъ въ кружкѣ не оставалось больше и слѣдовъ: его смѣнило мягкое отношеніе къ народной святынѣ и народнымъ вѣрованіямъ. Къ религіи, къ православію, къ церкви стали относиться безъ вражды и не безъ уваженія даже и тѣ изъ членовъ кружка, которые сами не чувствовали благодатнаго ихъ вліянія. Уже и это было

шагомъ впередъ. Уже и въ этомъ сказывалась нѣкоторая польза для всего Русскаго общества.

Извѣстный впослѣдствіи авторъ *Современныхъ Церковныхъ вопросовъ*, исповѣданіе своей вѣры выразилъ публично въ своей рѣчи *О началахъ Русскаго воспитанія*, произнесенной въ присутствіи митрополита Московскаго Филарета, предъ учащимся юношествомъ, на торжественномъ собраніи Первой Московской Гимназіи:

„Многообразная духовная жизнь нашего народа, выразившаяся въ его Словесности, раскроетъ здѣсь воспитаннику свой смыслъ, поскольку онъ можетъ воспринять его, и обойметъ его могуществомъ своего вліянія. И древній періодъ нашей Исторіи, въ теченіе котораго возрастали коренныя начала Русской жизни, явится ему во всемъ величіи и святыни. Тамъ пройдутъ предъ нимъ и глубокомысленные церковные витіи первыхъ трехъ вѣковъ нашего христіанства, Иларіонъ, Кириллъ и Серапіонъ; тамъ онъ услышитъ правдивыя сказанія нашего честнаго Нестора о первыхъ временахъ нашего государства и чудную повѣсть о подвижникахъ Печерскихъ, основателяхъ народнаго благочестія; тамъ разскажетъ ему игуменъ Даніилъ о своемъ благочестивомъ посѣщеніи святыхъ мѣстъ, столь вожделѣнныхъ для сердца христіанина; тамъ прочтетъ ему благовѣрный Мономахъ свое Поученіе, повергающее мысль въ прахъ предъ величіемъ древняго Русскаго христіанина, и митрополитъ Никифоръ своимъ Посланіемъ укажетъ на любовныя отношенія Церкви Русской къ Верховной власти, чуждыя даже тѣни совмѣстничества или соперничества; тамъ прозвучитъ предъ нимъ скорбная пѣснь о плѣненіи Игоря и радостная повѣсть о Куликовской битвѣ, предтечѣ освобожденія нашего Отечества; тамъ услышитъ онъ стихи нашей нищей братіи, въ которыхъ выразилось глубокое сочувствіе Русскаго человѣка къ богоугодному житію праведниковъ, и пѣснь нашего народа, какой нѣтъ другой въ мірѣ, ибо по народу и пѣснь, откликающуюся, и на важныя событія нашей Исторіи, и на кра-

въ чемъ былъ достойнымъ товарищемъ А. Н. Островскому, зналъ громадное количество пословицъ, присловій, разсказовъ изъ народнаго и вообще Русскаго быта, а притомъ обладалъ еще и изящнымъ вкусомъ и даромъ художественной критики, которые и проявилъ скоро въ статьяхъ своихъ. Пламенная любовь къ богатству формъ и реченій Русскаго языка, подкрѣпляемая еще и филологическимъ образованіемъ и филологическими трудами, постоянно останавливала его вниманіе, то на художественныхъ оборотахъ народной рѣчи, еще чуждыхъ или оставшихся чуждыми для литературнаго языка, то на не менѣе художественныхъ жемчужинахъ древней письменности Русской. Все это дѣлало его неоцѣнимымъ по своему вліянію членомъ кружка, расширяющимъ кругозоръ его и укрѣпляющимъ духовныя его силы.

Господствовавшіе тогда въ значительнѣйшей части молодой интеллигенціи отсутствіе религіозныхъ началъ, разрывъ съ религіознымъ прошлымъ, составлявшіе своего рода гордость западническаго мірка и выражавшіеся у него съ циническою эффектностью, распространяли власть свою и на членовъ описываемаго кружка. Но въ Филиппові прежде другихъ сверстниковъ и сотоварищей совершился переворотъ, сдѣлавшій его вполнѣ вѣрующимъ, глубокоправственнымъ человѣкомъ и по вѣрѣ стоящимъ въ общеніи съ незатронутыми переломомъ слоями Русскаго народа и со всѣмъ историческимъ его прошлымъ. Вліянію этого переворота исподволь послѣдовали и нѣкоторые члены молодого кружка, какъ, напримѣръ, Зедергольмъ и Алмазовъ, для которыхъ обращеніе и религіозность Филиппова являлись только своего рода первымъ толчкомъ; другіе оставались невѣрующими до самаго конца жизни. Но отъ прежней кичливости невѣріемъ въ кружкѣ не оставалось больше и слѣдовъ; его смѣнило мягкое отношеніе къ народной святынѣ и народнымъ вѣрованіямъ. Къ религіи, къ православію, къ церкви стали относиться безъ вражды и не безъ уваженія даже и тѣ изъ членовъ кружка, которые сами не чувствовали благодатнаго ихъ вліянія. Уже и это было

шагомъ впередъ. Уже и въ этомъ сказывалась нѣкоторая польза для всего Русскаго общества.

Извѣстный впослѣдствіи авторъ *Современныхъ Церковныхъ вопросовъ*, исповѣданіе своей вѣры выразилъ публично въ своей рѣчи *О началахъ Русскаго воспитанія*, произнесенной въ присутствіи митрополита Московскаго Филарета, предъ учащимся юношествомъ, на торжественномъ собраніи Первой Московской Гимназіи:

„Многообразная духовная жизнь нашего народа, выразившаяся въ его Словесности, раскроетъ здѣсь воспитаннику свой смыслъ, поскольку онъ можетъ воспринять его, и обойметъ его могуществомъ своего вліянія. И древній періодъ нашей Исторіи, въ теченіе котораго возрастали коренныя начала Русской жизни, явится ему во всемъ величіи и святыни. Тамъ пройдутъ предъ нимъ и глубокомысленные церковные витіи первыхъ трехъ вѣковъ нашего христіанства, Иларіонъ, Кириллъ и Серапіонъ; тамъ онъ услышитъ правдивыя сказанія нашего честнаго Нестора о первыхъ временахъ нашего государства и чудную повѣсть о подвижникахъ Печерскихъ, основателяхъ народнаго благочестія; тамъ разскажетъ ему игуменъ Даніилъ о своемъ благочестивомъ посѣщеніи святыхъ мѣстъ, столь вожделѣнныхъ для сердца христіанина; тамъ прочтетъ ему благовѣрный Мономахъ свое Поученіе, повергающее мысль въ прахъ предъ величіемъ древняго Русскаго христіанина, и митрополитъ Никифоръ своимъ Посланіемъ укажетъ на любовныя отношенія Церкви Русской къ Верховной власти, чуждыя даже тѣни совмѣстничества или соперничества; тамъ прозвучитъ предъ нимъ скорбная пѣснь о плѣненіи Игоря и радостная повѣсть о Куликовской битвѣ, предтечѣ освобожденія нашего Отечества; тамъ услышитъ онъ стихи нашей нищей братіи, въ которыхъ выразилось глубокое сочувствіе Русскаго человѣка къ богоугодному житію праведниковъ, и пѣснь нашего народа, какой нѣтъ другой въ мірѣ, ибо по народу и пѣснь, откликающуюся, и на важныя событія нашей Исторіи, и на кра-

соты внѣшней природы, и на живыя ощущенія внутренняго міра души; тамъ услышитъ онъ священный призывъ духовнаго пастыря, спасающаго отчизну въ дни безначалія, и отвѣтный гласъ истинныхъ сыновъ и спасителей отечества; тамъ наконецъ онъ возблагоговѣетъ передъ ревностію св. отцевъ нашихъ, Іосифа Волоколамскаго, Геннадія, Максима Грека, Димитрія Ростовскаго и иныхъ, которые охранили святую Православную Церковь нашу отъ всѣхъ опасностей, грозившихъ ей со стороны стригольниковъ, жидовъ, раскольниковъ и другихъ враговъ ея, и которые завѣщали намъ оружіе для ея защиты, какъ бы предчувствуя, что жизни Русской предстоятъ новыя и сильнѣйшія искушенія. При такомъ дѣйствіи на воспитанника нашей Древней Словесности, можно ожидать, что въ произведеніяхъ новаго ея періода онъ сумѣетъ отличить существенныя явленія отъ несущественныхъ. Ничто не воспрепятствуетъ въ такомъ случаѣ духу великихъ нашихъ писателей обнять его умъ своимъ благотворнымъ вліяніемъ и уберечь его отъ насилія бѣглыхъ современныхъ мнѣній.

На этихъ двухъ началахъ нашей жизни, т.-е., на Православіи и Народности, созидается третіе ея основаніе — Самодержавіе, которое отъ Православія заимствуетъ свое освященіе, а въ Исторіи нашего народа находитъ блистательное подтвержденіе своей истинѣ".

Въ заключеніи своей рѣчи, Тертій Ивановичъ обратился къ своимъ ученикамъ съ такимъ словомъ назиданія: „Вамъ, юные друзья мои, хочу сказать нѣсколько словъ въ напутствіе вашего новаго поприща; въ послѣдній разъ обращаю къ вамъ слово свое съ правомъ, ибо вижу васъ въ стѣнахъ того заведенія, въ которомъ столько лѣтъ вы слушали мои наставленія. Вы вступаете въ ту прекрасную пору жизни, которая обыкновенно почитается лучшею и счастливѣйшею. Я очень хорошо знаю и живо чувствую всѣ привлекательныя свойства юности, тѣмъ болѣе, что самъ едва переступаю за ея черту; но не хочу скрыть отъ васъ и опасностей этого

возраста. Чистота побужденій еще не ручательство за чистоту умствованій и дѣйствій: не много такихъ сердецъ, которыя, предваряя опытъ, отвращались бы отъ всего того, что содержитъ въ себѣ примѣсь порока; рѣдко встрѣчается такой чистый смыслъ, который, при первой встрѣчѣ съ вещію, еще до внимательнаго разбора ея, отдѣлилъ бы въ ней отъ истины ложь. Большая часть людей, можно сказать, всѣ идутъ путемъ опыта и проходятъ, одинъ болѣе, другой менѣе, искушеніе зла; а потому необходимо строгое и постоянное вниманіе къ себѣ. Берегитесь самонадѣянности, которая такъ тѣсно связана съ неопытностью и незнаніемъ мѣры своихъ средствъ; не почитайте всего себѣ извѣстнымъ и охотнѣе преклоняйте слухъ свой къ указаніямъ воздерживающей васъ любви, нежели къ обаянію на все соизволяющей лести. Воспитывайте въ себѣ строгое понятіе о своихъ обязанностяхъ къ обществу, которое отнынѣ будетъ смотрѣть на васъ уже не какъ на безотвѣтственныхъ дѣтей, а какъ на юношей, способныхъ давать себѣ разумный отчетъ во всемъ. Болѣе же всего храните чистоту сердца и совѣсти и не уступайте ея никакимъ внушеніямъ и требованіямъ лжеименнаго разума. Кончу словами великаго вселенскаго учителя:

Возвышайся болѣе жизнію, нежели мыслію: ибо жизнь можетъ сдѣлать тебя богоподобнымъ, а мысль довести до великаго паденія".

П. А. Плетневъ, въ письмѣ къ князю П. А. Вяземскому, такъ отзывается о литературной дѣятельности этого сотрудника *Молодого Москвитянина*: „Г. Филипповъ принадлежитъ къ небольшому числу такихъ молодыхъ людей, которые еще отстаиваютъ все чистое, доброе и прекрасное въ литературѣ. Статьи его въ *Москвитянинѣ* по части критики, всегда казались мнѣ какимъ-то отраднымъ оазисомъ посреди ужасной степи современныхъ поколѣній".

XII.

Самымъ близкимъ человѣкомъ для Т. И. Филиппова былъ Евгеній Николаевичъ Эдельсонъ, котораго онъ и сблизилъ съ Островскимъ. Е. Н. Эдельсонъ родился въ 1824 году и первоначальное образованіе получилъ въ Касимовскомъ уѣздномъ училищѣ, при обозрѣніи котораго профессоромъ Н. И. Надеждинымъ, онъ своими исполненными смысла и остроумія отвѣтами успѣлъ обратить на себя особенное вниманіе ученаго визитатора. По переходѣ въ Рязанскую Гимназію, Эдельсонъ сразу и безъ всякаго спора занялъ между своими товарищами первенствующее мѣсто. Бывшій въ то время попечитель Московскаго учебнаго округа, графъ С. Г. Строгановъ, отъ внимательнаго взора котораго не укрывалось никакое сколько-нибудь замѣтное проявленіе дарованій во ввѣренныхъ его попеченію воспитанникахъ, очень скоро замѣтилъ столь щедро надѣленнаго умственными дарами мальчика и при каждомъ посѣщеніи Рязанской Гимназіи удостоивалъ его своимъ вниманіемъ. Въ 1842 году, Эдельсонъ поступилъ въ Московскій Университетъ на математическій факультетъ по отдѣленію естественныхъ наукъ, но скоро почти совсѣмъ покинулъ занятія обязательными для него предметами и съ юношескою страстію предался изученію философской системы Гегеля... Изъ всѣхъ частей этой системы Эдельсонъ съ особеннымъ усердіемъ изучалъ феноменологію духа и эстетику. Обличенія крайностей и несостоятельности началъ Гегелевой системы, появлявшіяся нерѣдко въ *Москвитянинѣ* сороковыхъ годовъ, не имѣли на Эдельсона никакого вліянія, и онъ оставался подъ безусловнымъ владычествомъ Гегеля до появленія на каѳедрѣ Философіи въ Московскомъ Университетѣ М. Н. Каткова, котораго лекціи онъ посѣщалъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ... Подъ вліяніемъ чтеній и частыхъ личныхъ бесѣдъ съ этимъ замѣчательнымъ дѣятелемъ, котораго необычайныя дарованія цѣнились тогда, во всю ихъ мѣру, только

немногими близкими къ нему людьми, въ томъ числѣ и Эдельсономъ, онъ обратился къ изученію Психологіи Бенеке, точный и строгій методъ которой имѣлъ на его умъ весьма благотворное вліяніе. Въ 1847 году, Эдельсонъ собрался за границу и, простившись съ друзьями, отправился уже въ Петербургъ, чтобы, получивъ заграничный паспортъ, слѣдовать далѣе; но правительство, встревоженное тогдашнимъ революціоннымъ настроеніемъ почти всей Западной Европы, нашло нужнымъ воспретить молодымъ людямъ, стремившимся довершать въ Европейскихъ университетахъ свое образованіе, посѣщеніе Западной Европы, и Эдельсонъ долженъ былъ возвратиться въ Москву, гдѣ, при посредствѣ Т. И. Филиппова, „познакомился и вскорѣ дружески сблизился съ А. Н. Островскимъ". Какъ выше упомянуто, одновременно съ *Москвитяниномъ*, Эдельсонъ „принималъ участіе въ изданіи *Московскихъ Вѣдомостей*, въ качествѣ помощника редактора, и здѣсь вновь встрѣтился съ М. Н. Катковымъ, который, вскорѣ по вступленіи въ редакцію Эдельсона, назначенъ былъ редакторомъ *Московскихъ Вѣдомостей*... Но, при существенномъ различіи въ направленіи *Москвитянина* и *Московскихъ Вѣдомостей*, которыхъ онъ очутился одновременно сотрудникомъ, положеніе Эдельсона въ редакціи *Московскихъ Вѣдомостей* сдѣлалось затруднительнымъ, благодаря исключительности Каткова. При появленіи въ *Москвитянинѣ* „Сна Эраста Благонравова", авторомъ котораго былъ Алмазовъ, Катковъ прямо заявилъ Эдельсону, что онъ въ редакціи *Московскихъ Вѣдомостей* оставаться не можетъ. На мѣсто его былъ тотчасъ же приглашенъ Катковымъ В. Ѳ. Коршъ, котораго впослѣдствіи провелъ онъ и въ редакторы *Московскихъ Вѣдомостей*. Литературная дѣятельность Эдельсона была посвящена почти исключительно критикѣ, и въ этой области онъ являлся неизмѣннымъ поборникомъ чистаго искусства. Т. И. Филипповъ дѣлаетъ слѣдующую характеристику Эдельсона, какъ писателя. „Самостоятельная литературная дѣятельность Эдельсона, говоритъ онъ, была посвящена почти исключительно критикѣ,

и въ этой области онъ являлся неизмѣннымъ поборникомъ чистаго искусства и защитникомъ его отъ тѣхъ неистовыхъ поруганій, которымъ оно подвергалось въ послѣдніе годы во многихъ изъ Петербургскихъ изданій. И хотя его имя не будетъ числиться между именами замѣчательныхъ дѣятелей отечественной литературы, тѣмъ не менѣе всякій безпристрастный читатель не откажется признать въ его трудахъ полную самостоятельность мысли, весьма тонкое художественное чувство и замѣчательно изящное изложеніе. Тонъ его критическихъ статей былъ всегда спокоенъ и въ высшей степени деликатенъ, даже тогда, когда ему приходилось опровергать ученія и мнѣнія самаго непривлекательнаго свойства. Инымъ въ этой чертѣ его дѣятельности представлялась нѣкоторая робость пріемовъ и не совсѣмъ похвальная терпимость къ такимъ явленіямъ, которыя требовали бы, вмѣсто спокойнаго и безстрастнаго обличенія, рѣзкихъ и безусловныхъ порицаній. Но знавшіе ближе Эдельсона видѣли, что опровергаемыя имъ доктрины были ему въ такой же мѣрѣ противны, какъ и всякому здравомыслящему человѣку, и что спокойствіе и невозмутимое приличіе его тона, при публичной встрѣчѣ съ этими ученіями, проистекали вовсе не отъ робости передъ самодѣльными авторитетами, но изъ глубокаго уваженія къ достоинству литературы, на аренѣ которой онъ съ ними встрѣчался. Онъ чувствовалъ себя и былъ на самомъ дѣлѣ въ такой степени самостоятельно мыслящимъ человѣкомъ, что не имѣлъ никакой нужды заявлять о своей самостоятельности какими либо рѣзкими выходками и постыдной перебранкой, въ коихъ состоитъ вся слава многихъ изъ его литературныхъ противниковъ".

Въ Погодинскомъ Архивѣ сохранился автографическій лоскутокъ, въ которомъ читаемъ: „Господинъ Эдельсонъ есть критикъ идей, какого у насъ еще не бывало, послѣ опытовъ Шевырева; но языкъ у него—такая туча, что мочи нѣтъ. Кажется везется возъ въ гору, въ полуденную пору, крехтя и пр.".

Почтенный потомокъ знаменитаго предка думнаго дьяка Алмаза Иванова, Борисъ Николаевичъ Алмазовъ, родился 27 октября 1827 года, въ городѣ Вязьмѣ, Смоленской губерніи, а дѣтство провелъ въ родовомъ селѣ Караваевѣ, Сычевскаго уѣзда. Отецъ его, Николай Петровичъ, по рожденію и состоянію принадлежалъ къ высшему Московскому обществу и въ 1812 году вступилъ въ гусарскій полкъ графа П. И. Салтыкова, гдѣ служилъ вмѣстѣ съ А. С. Грибоѣдовымъ, съ которымъ былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ, а затѣмъ участвовалъ въ кампаніяхъ 1813—1814 г. Сестра Н. П. Алмазова, Варвара Петровна, была замужемъ за Сергѣемъ Васильевичемъ Шереметевымъ, а самъ Н. П. Алмазовъ былъ женатъ на Евдокіѣ Петровнѣ Зубковой. Въ дѣтскомъ воспитаніи ихъ сына, Бориса, важную роль играла нянька Анна Максимова, по происхожденію турчанка, и дядька Василій Архиповъ. По свидѣтельству Т. И. Филиппова, оставивши по непріятности пансіонъ Эннеса, Алмазовъ въ качествѣ вольнаго слушателя посѣщалъ Московскій Университетъ, гдѣ онъ встрѣтился съ Филипповымъ, который зналъ его и раньше, а теперь возобновилъ съ нимъ знакомство. Филипповъ былъ уже старымъ студентомъ, находился на послѣднемъ курсѣ, а потому имѣлъ уже нѣкоторое положеніе. Алмазовъ, не смотря на совершенно юношескій еще свой возрастъ, показывалъ уже признаки крупнаго литературнаго таланта, вслѣдствіе чего Филипповъ и познакомилъ его скоро съ Островскимъ и Эдельсономъ. Островскимъ введенъ былъ Алмазовъ и въ составъ *Молодого Москвитянина*. Черезъ Алмазова познакомились съ кружкомъ и бывшіе товарищи его по пансіону — Тепферъ и Зедергольмъ, впослѣдствіи отецъ Климентъ Оптинскій.

Дѣятельность же Б. Н. Алмазова въ *Москвитянинѣ* началась съ 1851 года. Одинъ изъ современныхъ историковъ Русской литературы замѣчаетъ: „Не будь молодежи въ составѣ редакціи *Москвитянина*, развѣ осмѣлился бы Алмазовъ явиться къ надутому Шевыреву и чопорному, строгому Погодину со своими веселыми остроумными пародіями на Некра-

сова и Панаева, которыми онъ, подъ псевдонимомъ *Эраста Благонравова*, съ такимъ успѣхомъ дебютировалъ въ *Москвитянинѣ*? Съ основанія *Москвитянина*, въ немъ было изгнано все, что отзывалось фельетономъ—легкомысліемъ, и недаромъ вся журналистика ахнула отъ удивленія, когда мрачные своды Погодинскаго sui generis *древлехранилища* вдругъ огласились взрывами молодого смѣха и юношеской задорной веселости".

Давній сотрудникъ *Стараго Москвитянина*, А. А. Григорьевъ, по свидѣтельству Т. И. Филиппова, въ 1851 году поступилъ преподавателемъ юридическихъ наукъ въ Московскую Первую Гимназію, гдѣ встрѣтился онъ съ Филипповымъ, который читалъ тамъ Русскую Словесность и Церковно-Славянскій языкъ. Въ ту пору Григорьевъ не имѣлъ умственнаго пріюта и послѣ многихъ умственныхъ скитаній сталъ приглядываться къ *Молодому Москвитянину*, куда и введенъ былъ тѣмъ же Филипповымъ. Однажды, у Островскаго былъ громадный литературный вечеръ, на которомъ присутствовали представители всѣхъ литературныхъ направленій того времени. Когда большая часть гостей разошлась и остались только близкіе Островскому люди, Филиппова просили спѣть. Послѣ одушевленно пропѣтой имъ пѣсни, которая на всѣхъ произвела впечатлѣніе, Григорьевъ упалъ на колѣни и просилъ кружокъ усвоить его себѣ, такъ какъ въ его направленіи онъ видитъ правду, которой искалъ въ другихъ мѣстахъ и не находилъ, а потому былъ бы счастливъ, еслибы ему позволили здѣсь бросить якорь". Самъ же Погодинъ аттестовалъ своего давняго сотрудника такимъ образомъ: „Господинъ Григорьевъ—золотой сотрудникъ, борзописецъ, много хорошаго вездѣ скажетъ онъ и съ чувствомъ, но не знаетъ, ни гдѣ ему в.....я, ни гдѣ молитву прочесть. Первое исполнитъ онъ всегда въ переднемъ углу, а второе—подъ лѣстницею".

Въ 1850 году, выступилъ въ *Москвитянинѣ* на литературное поприще Алексѣй Ѳеофилактовичъ Писемскій. Онъ родился 10 марта 1820 года, въ сельцѣ Раменьѣ, Костромской губерніи, Чухломскаго уѣзда. Учился въ Костромской

Гимназіи, а потомъ поступилъ въ Московскій Университетъ, гдѣ и окончилъ курсъ по второму отдѣленію философскаго факультета. Онъ еще „со временъ студенчества былъ друженъ съ Т. И. Филипповымъ и зналъ Эдельсона". Филипповъ впослѣдствіи и познакомилъ его съ другими членами *Молодого Москвитянина*.

Литературная дѣятельность Писемскаго началась въ Москвѣ еще съ 1846 года романомъ *Боярщина*, ходившимъ въ то время по рукамъ, въ рукописи, и только въ 1858 году, романъ сей появился въ *Библіотекѣ для Чтенія*.

4 сентября 1850 года, А. Н. Островскій привезъ къ Погодину повѣсть Писемскаго, и эта повѣсть, подъ заглавіемъ *Тюфякъ*, была напечатана въ октябрьской книжкѣ *Москвитянина* 1850 года.

Вскорѣ послѣ того, осторожный Писемскій заключилъ съ Погодинымъ слѣдующее условіе: „1851 года, февраля дня: Мы нижеподписавшіеся, статскій совѣтникъ Михаилъ Петровичъ Погодинъ и коллежскій секретарь Алексѣй Ѳеофилактовичъ Писемскій, заключили сіе условіе въ нижеслѣдующемъ: 1) Я, Писемскій, отдалъ г. Погодину въ издаваемый имъ журналъ *Москвитянинъ* окончательно мною написанную повѣсть *Сергѣй Петровичъ Хазаровъ* и *Мари Ступицына*. 2) Сверхъ того, обязуюсь я, Писемскій, доставить въ издаваемый г. Погодинымъ журналъ въ продолженіе 1851 года комедію мою *Ипохондрикъ* и разсказъ *Комикъ* и два разсказа X и У, менѣе десяти печатныхъ листовъ въ обоихъ. 3) Всѣ вышесказанные труды мои, Писемскаго, включительно съ романомъ *Тюфякъ*, предоставляю я г. Погодину въ свою пользу напечатать въ какомъ угодно количествѣ, предоставя въ мою пользу только пятьдесятъ экземпляровъ для подарковъ. 4) За все это г. Погодинъ обязанъ мнѣ, Писемскому, заплатить въ продолженіе 1851 года тысячу пятьсотъ руб. сер. или *пять тысячъ двѣсти пятьдесятъ* руб. ассигнаціями. Сроки на уплату нижеслѣдующіе: а) по отдачѣ романа моего *Сергѣй Петровичъ Хазаровъ* и *Мари Ступицына*, получаю я, Писем-

скій, отъ г. Погодина двѣсти пятьдесятъ рублей серебромъ; по окончательному напечатанію этого романа, двѣсти пятьдесятъ руб. сер.; по присылкѣ комедіи *Ипохондрикъ* пятьсотъ руб. сер., къ 1-му сентября сего 1851 года; по доставкѣ разсказа *Комикъ*, къ 1-му іюня, двѣсти пятьдесятъ р. с., по доставленному мною заглавію по два разсказа X и У двѣсти пятьдесятъ р. с., каковые я, Писемскій, обязуюсь доставить безотлагательно въ началѣ 1852 года. 5) Въ случаѣ смерти г. Погодина или передачи издаваемаго имъ журнала въ вѣдомство другихъ лицъ, вышеозначенныя условія должны быть выполнены ненарушимо; на случай же моей смерти, Писемскаго, г. Погодинъ или преемникъ его должны уплатить моему семейству сообразно съ высланными мною произведеніями. 6) Поставку на сцену піесы моей: *Ипохондрикъ* оставляю за собой я, Писемскій, и только самъ лично могу входить въ сношенія съ дирекціями Императорскихъ театровъ и продать эту комедію въ мою пользу. Условіе сіе исполнять съ обѣихъ сторонъ свято и ненарушимо". Подлинное подписали: „Статскій совѣтникъ Михаилъ Петровъ сынъ Погодинъ. Коллежскій секретарь Алексѣй Ѳеофилактовъ сынъ Писемскій". Въ концѣ же находимъ слѣдующую подпись: „Двѣсти пятьдесятъ рублей получилъ Писемскій".

XIII.

Взглянемъ теперь на отношеніе членовъ *Молодого Москвитянина*, какъ къ самому Погодину, такъ и вообще къ Московскому обществу. Члены кружка помѣщали свои мелкія и крупныя литературныя произведенія въ Погодинскомъ *Москвитянинѣ*. Дѣятельность ихъ для успѣховъ журнала оказывалось далеко не безплодною. Къ концу перваго же года подписка увеличилась болѣе, чѣмъ вдвое: вмѣсто пяти сотъ явилось тысяча сто подписчиковъ. Это не ускользнуло отъ наблюдательнаго П. А. Плетнева, и Шевыревъ писалъ Погодину: „Отъ Плетнева я получилъ письмо, въ которомъ онъ

пишетъ: „*Москвитянинъ* достигъ теперь блестящей эпохи. Скажите Погодину, что если онъ хоть три года выдержитъ такъ свое изданіе, то оно обратитъ къ нему всю Россію. Вотъ средство обратить умы на прямой путь науки и вкуса. Молчаніе о недостойныхъ поступкахъ промышленниковъ литераторовъ и богатство чистыхъ, незыблемыхъ идей это, по моему убѣжденію, единственное средство поднять упадшую литературу". Литература, по его мнѣнію, теперь опять только въ Москвѣ.

Съ своей стороны, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „*Москвитянинъ* шелъ очень хорошо. Почему вы мало помѣщали своихъ историческихъ статей? Въ этихъ статьяхъ однако не слишкомъ говорите языкомъ лѣтописей: для большей части читателей нужно толкованіе. Въ критикѣ нужно болѣе единства и ровности, отъ чего она получаетъ *личность* и *цвѣтъ*. Въ каждой книжкѣ надо бы помѣщать что-нибудь о Москвѣ. Такъ напримѣръ, можно бы приняться за Исторію Московскаго Университета, хоть по частямъ."

Между тѣмъ, „матеріальное положеніе членовъ кружка *Молодого Москвитянина* было вполнѣ бѣдственнымъ. Плата за литературный трудъ у Погодина была ничтожная. Семейные люди, какъ Эдельсонъ и Григорьевъ, получали по 15 р. за печатный листъ. Филипповъ не бралъ ничего. Одинъ только Алмазовъ, вообще крайне небрежный и безпорядочный въ денежномъ отношеніи, съумѣлъ получить въ этомъ случаѣ какую-то особенную власть надъ Погодинымъ, а потому и оказывался счастливѣе своихъ товарищей. Въ любую почти минуту ему удавалось получать съ Погодина 20 или 30 р. изъ своего заработка. Погодинъ впрочемъ имѣлъ тогда въ виду продажу своего Древлехранилища, малые платежи объяснялъ отсутствіемъ средствъ, но за то обнадеживалъ въ будущемъ, говоря, что, какъ только получены будутъ деньги, онъ будетъ платить и по 50 и по 100 рублей за листъ и вообще вознаградитъ тружениковъ, теперь въ бѣдности поддерживающихъ его дѣло.

скій, отъ г. Погодина двѣсти пятьдесятъ рублей серебромъ; по окончательному напечатанію этого романа, двѣсти пятьдесятъ руб. сер.; по присылкѣ комедіи *Ипохондрикъ* пятьсотъ руб. сер., къ 1-му сентября сего 1851 года; по доставкѣ разсказа *Комикъ*, къ 1-му іюня, двѣсти пятьдесятъ р. с., по доставленному мною заглавію по два разсказа X и У двѣсти пятьдесятъ р. с., каковые я, Писемскій, обязуюсь доставить безотлагательно въ началѣ 1852 года. 5) Въ случаѣ смерти г. Погодина или передачи издаваемаго имъ журнала въ вѣдомство другихъ лицъ, вышеозначенныя условія должны быть выполнены ненарушимо; на случай же моей смерти, Писемскаго, г. Погодинъ или преемникъ его должны уплатить моему семейству сообразно съ высланными мною произведеніями. 6) Поставку на сцену піесы моей: *Ипохондрикъ* оставляю за собой я, Писемскій, и только самъ лично могу входить въ сношенія съ дирекціями Императорскихъ театровъ и продать эту комедію въ мою пользу. Условіе сіе исполнять съ обѣихъ сторонъ свято и ненарушимо". Подлинное подписали: „Статскій совѣтникъ Михаилъ Петровъ сынъ Погодинъ. Коллежскій секретарь Алексѣй Ѳеофилактовъ сынъ Писемскій". Въ концѣ же находимъ слѣдующую подпись: „Двѣсти пятьдесятъ рублей получилъ Писемскій".

XIII.

Взглянемъ теперь на отношеніе членовъ *Молодого Москвитянина*, какъ къ самому Погодину, такъ и вообще къ Московскому обществу. Члены кружка помѣщали свои мелкія и крупныя литературныя произведенія въ Погодинскомъ *Москвитянинѣ*. Дѣятельность ихъ для успѣховъ журнала оказывалось далеко не безплодною. Къ концу перваго же года подписка увеличилась болѣе, чѣмъ вдвое: вмѣсто пяти сотъ явилось тысяча сто подписчиковъ. Это не ускользнуло отъ наблюдательнаго П. А. Плетнева, и Шевыревъ писалъ Погодину: „Отъ Плетнева я получилъ письмо, въ которомъ онъ

пишетъ: „*Москвитянинъ* достигъ теперь блестящей эпохи. Скажите Погодину, что если онъ хоть три года выдержитъ такъ свое изданіе, то оно обратитъ къ нему всю Россію. Вотъ средство обратить умы на прямой путь науки и вкуса. Молчаніе о недостойныхъ поступкахъ промышленниковъ литераторовъ и богатство чистыхъ, незыблемыхъ идей это, по моему убѣжденію, единственное средство поднять упадшую литературу". Литература, по его мнѣнію, теперь опять только въ Москвѣ.

Съ своей стороны, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „*Москвитянинъ* шелъ очень хорошо. Почему вы мало помѣщали своихъ историческихъ статей? Въ этихъ статьяхъ однако не слишкомъ говорите языкомъ лѣтописей: для большей части читателей нужно толкованіе. Въ критикѣ нужно болѣе единства и ровности, отъ чего она получаетъ *личность* и *цвѣтъ*. Въ каждой книжкѣ надо бы помѣщать что-нибудь о Москвѣ. Такъ напримѣръ, можно бы приняться за Исторію Московскаго Университета, хоть по частямъ."

Между тѣмъ, „матеріальное положеніе членовъ кружка *Молодого Москвитянина* было вполнѣ бѣдственнымъ. Плата за литературный трудъ у Погодина была ничтожная. Семейные люди, какъ Эдельсонъ и Григорьевъ, получали по 15 р. за печатный листъ. Филиповъ не бралъ ничего. Одинъ только Алмазовъ, вообще крайне небрежный и безпорядочный въ денежномъ отношеніи, съумѣлъ получить въ этомъ случаѣ какую-то особенную власть надъ Погодинымъ, а потому и оказывался счастливѣе своихъ товарищей. Въ любую почти минуту ему удавалось получать съ Погодина 20 или 30 р. изъ своего заработка. Погодинъ впрочемъ имѣлъ тогда въ виду продажу своего Древлехранилища, малые платежи объяснялъ отсутствіемъ средствъ, но за то обнадеживалъ въ будущемъ, говоря, что, какъ только получены будутъ деньги, онъ будетъ платить и по 50 и по 100 рублей за листъ и вообще вознаградитъ тружениковъ, теперь въ бѣдности поддерживающихъ его дѣло.

— „Вы, мои друзья въ несчастіи, будете друзьями и въ счастіи“,—говаривалъ онъ.

Здѣсь будетъ кстати привести слѣдующее письмо А. А. Григорьева къ Погодину (30 Ноября 1851 года): „Посылаю вамъ *Вильгельма Мейстера* и съ величайшей радостью отдаю его *Москвитянину*, гдѣ для него приличнѣе мѣсто, чѣмъ въ *Запискахъ*. Хотя, работая прежде Краевскому такъ же усердно и честно, какъ вамъ, я выполнилъ дѣло по крайнему разумѣнію, но не откажусь просмотрѣть переводъ мой и, какъ говорится, mettre la derniere main. Условія, разумѣется, обыкновенныя: при настоящемъ положеніи *Москвитянина* я больше *шести* цѣлковыхъ за листъ считаю не честнымъ и требовать. Завтра утромъ я къ вамъ заѣду и— ради Бога—достаньте еще *пятьдесятъ* цѣлковыхъ для удовлетворенія моего кредитора — ракаліи... Вы видите сами, что *гарантіи* за себя я могу представить“.

Преобладающее въ Московскомъ образованномъ обществѣ“ поклоненіе западу не препятствовало, однако, кружку *Молодого Москвитянина* встрѣчать радушный пріютъ въ нѣкоторыхъ литературныхъ домахъ, разумѣется, такихъ, гдѣ господствовало родственное имъ направленіе. Само собою разумѣется, что члены кружка нерѣдко сходились у М. П. Погодина, съ которымъ соединяло ихъ и журнальное дѣло. Здѣсь встрѣчали они многихъ молодыхъ и немолодыхъ уже литераторовъ. Встрѣчали они между прочимъ и Гоголя, доживавшаго свои послѣдніе годы. Но великій писатель до того уже былъ сосредоточенъ въ самомъ себѣ и до того погруженъ во внутреннюю свою работу, что никакое сближеніе съ нимъ новыхъ людей не могло уже въ то время воспослѣдовать.

Радушно принимала у себя молодыхъ людей и извѣстная тогда писательница графиня Ростопчина. Субботніе вечера графини проходили всегда чрезвычайно оживленно. Привѣтливая хозяйка разсказывала много о жизни Петербургскаго высшаго круга, въ которомъ имѣла обширныя знакомства,

благодаря и положенію своему въ свѣтѣ и своей удивительной когда-то красотѣ. Разсказы эти возбуждали любопытство молодыхъ слушателей, имѣвшихъ объ открываемомъ передъ ними мірѣ только самыя смутныя представленія. Но несравненно болѣе значенія имѣла для нихъ графиня своими воспоминаніями о Пушкинѣ и Лермонтовѣ, которыхъ она лично знала, съ которыми была близка... Въ этомъ отношеніи представлялась она для нихъ, какъ бы явившеюся изъ другой сферы, чѣмъ окружающая реальная жизнь,—изъ художественнаго рая, въ который переносила она и воображеніе слушателей. Этому способствовало и совершенно особенное, почти исключительное положеніе Пушкина и Лермонтова среди всякихъ другихъ литературныхъ явленій тогда еще ощущаемое со всею живостью непосредственнаго впечатлѣнія. Какъ занесшіе нѣсколько пѣсень райскихъ, по выраженію Пушкинскаго Гомера, а занесшіе именно какъ бы для того, чтобы послѣ улетѣть, по его же предсказанію, они казались какъ бы сошедшими съ неба, подаренными небомъ, а не выработавшимися и сложившимися на землѣ, подобно всему строю явившихся имъ на смѣну писателей, высокой даровитости которыхъ нельзя отрицать. На ряду, на уровнѣ съ этими „улетѣвшими“ и Жуковскимъ стоялъ и стоитъ только Гоголь, доживавшій тогда, какъ было сказано, свое послѣднее время. За ними пролегала тотчасъ же межа или своего рода пограничная черта, отдѣлявшая ихъ отъ новаго художественнаго міра. Реализмъ, отмѣчавшій и удручавшій художественное творчество не только Писемскаго, но и безмѣрно превосходящаго его талантомъ Толстого и даже Достоевскаго, заставлялъ и заставляетъ предполагать невольно и въ нихъ такихъ же реальныхъ, обыкновенныхъ людей, какъ и ихъ герои, какъ и все остальное человѣчество, какъ и вся окружающая жизнь... Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь, для истинно ихъ понимающихъ, невольно представлялись дышащими воздухомъ какой-то иной атмосферы, стоящими надъ міромъ и надъ вѣкомъ, а не на уровнѣ съ ними. Савельичъ, Василиса Егоровна и Пугачевъ

Пушкина, Максимъ Максимовичъ и Бэлла Лермонтова, Гоголевскіе Коробочка, Собакевичъ и Плюшкинъ ничуть не менѣе реальны героевъ, созданныхъ позднѣйшимъ періодомъ Русской Литературы, но они, такъ сказать, прозрачнѣе, ибо въ нихъ менѣе заслоненъ и подавленъ внѣшнею реальностью внутренній человѣкъ. Подобно Пушкину и Лермонтову, Гоголь творилъ только изъ глубины души своей, пользуясь вещественною реальностью, только какъ покорнымъ и послушнымъ ему матеріаломъ, и пользуясь въ мѣру, на сколько находилъ нужнымъ, не допуская заслоненія внѣшнею реальностью внутренняго міра людей имъ изображаемыхъ.

Вотъ почему разсказы графини Ростопчиной о Пушкинѣ и Лермонтовѣ производили на слушателей обаятельное впечатлѣніе, переносили ихъ въ иной, отличный отъ непосредственно близкаго міра, въ художественный рай.

Какъ бы подтвержденіемъ всего сказаннаго, служитъ нижеслѣдующее письмо (23 мая 1852 г.) самой графини Е. П. Ростопчиной къ Погодину: „Не сержусь я на васъ,—да и не за что: доброе слово отъ души меня никогда не сердитъ, —но поймите же меня, наконецъ, и знайте, что мнѣ несродно, невозможно идти въ ногу съ общимъ мнѣніемъ, а скорѣе всегда приходится слѣдовать по своей собственной стезѣ, наперекоръ ему, потому что оно, это знаменитое общее мнѣніе, всегда составлено изъ личной придури какихъ-нибудь водителей, которымъ безмолвно и глупо повинуется толпа, не имѣющая своего сужденія. Оно-то теперь и вздумало превозносить уродство паче прекраснаго,—грязь и бѣдность душевную выше генія и любви, прозу надъ идеаломъ; она-то, неспособная сочувствовать ничему великому, обрадовалась произведенію новѣйшей литературы, представившему ей картину посредственности, обыденности и обыкновенности, гдѣ она съ наслажденіемъ узнаетъ и называетъ *знакомыя все лица*... Оставьте Гоголя! Развѣ я когда-нибудь думала, могла думать его тревожить и оскорблять?.. Развѣ я не изъ первыхъ, едва ли не искреннѣе и смѣлѣе всѣхъ прочихъ, отозвалась воплемъ дружбы

и уваженія надъ его прахомъ и памятью, мнѣ дорогими?.. Не путайте дѣла! Оно не между Гоголемъ и Жуковскимъ,—эти два великіе любили и понимали другъ-друга! Да Гоголь-то, что̀ онъ самъ, какъ не сильнѣйшій изъ поэтовъ?.. Не клеймилъ ли онъ своимъ презрѣньемъ и своим *горькимъ смѣхомъ* все низкое и презрѣнное въ *любимомъ или уважаемомъ человѣчествѣ. Этотъ горькій смѣхъ* не есть ли въ немъ болѣзненная, но трепещущая поэзія... Гоголь описывалъ смѣшное и отвратительное,—да человѣкъ-то въ немъ всегда оставался неприкосновененъ, личность его осталась на высотѣ своей геніальности.— Нѣтъ,—борьба между бездарными подражателями непризванными творителями, которые, раскусивъ что имъ на поприщѣ поэзіи нѣтъ мѣста и дѣла, обрадовались возможности дѣйствовать въ прозѣ,—и принялись наперерывъ утучнѣвать навозомъ своимъ широкое поле осиротѣвшей литературы... Легко, удобно, выгодно! Вотъ они и хвалятъ этотъ родъ литературы, единый который имъ по плечу. *Гоголь* у нихъ знамя, украденное знамя, которымъ они прикрываютъ свою нищету и наготу! Гоголь у нихъ камень, которымъ они хотятъ уничтожить и раздавить ненавистную имъ поэзію!.. *Die Ideale sind zerronen*! А за нихъ-то, за идеалы, кумиры моей молодости, заступаюсь я, и смѣло выхожу и ополчаюсь при каждомъ случаѣ противъ *реалистовъ, германистовъ, грязистовъ* и всей пресмыкающейся пишущей братіи!

Покажите эту записку и первую Шевыреву: я увѣрена что онъ меня пойметъ и оправдаетъ! Вы видите себя въ древле-хранилищѣ, откапываете Пожарскаго и не слышите, что̀ и какъ говорится въ молодомъ поколѣніи, — а у меня такъ уши вянутъ, душа возмущается. На пятьдесятъ лѣтъ пошли мы назадъ, вкусъ портится... а вы, потакаете, и сердитесь когда вступится кто-нибудь безстрашный и неподкупный!.. А вы гладите по головкѣ, разбивающихъ въ дребезги, что мы привыкли почитать великимъ и прекраснымъ, посмотримъ, куда это все поведетъ!"

Въ числѣ постоянныхъ посѣтителей вечеровъ графини

Пушкина, Максимъ Максимовичъ и Бэлла Лермонтова, Гоголевскіе Коробочка, Собакевичъ и Плюшкинъ ничуть не менѣе реальны героевъ, созданныхъ позднѣйшимъ періодомъ Русской Литературы, но они, такъ сказать, прозрачнѣе, ибо въ нихъ менѣе заслоненъ и подавленъ внѣшнею реальностью внутренній человѣкъ. Подобно Пушкину и Лермонтову, Гоголь творилъ только изъ глубины души своей, пользуясь вещественною реальностью, только какъ покорнымъ и послушнымъ ему матеріаломъ, и пользуясь въ мѣру, на сколько находилъ нужнымъ, не допуская заслоненія внѣшнею реальностью внутренняго міра людей имъ изображаемыхъ.

Вотъ почему разсказы графини Ростопчиной о Пушкинѣ и Лермонтовѣ производили на слушателей обаятельное впечатлѣніе, переносили ихъ въ иной, отличный отъ непосредственно близкаго міра, въ художественный рай.

Какъ бы подтвержденіемъ всего сказаннаго, служитъ нижеслѣдующее письмо (23 мая 1852 г.) самой графини Е. П. Ростопчиной къ Погодину: „Не сержусь я на васъ,—да и не за что: доброе слово отъ души меня никогда не сердитъ, —но поймите же меня, наконецъ, и знайте, что мнѣ несродно, невозможно идти въ ногу съ общимъ мнѣніемъ, а скорѣе всегда приходится слѣдовать по своей собственной стезѣ, наперекоръ ему, потому что оно, это знаменитое общее мнѣніе, всегда составлено изъ личной придури какихъ-нибудь водителей, которымъ безмолвно и глупо повинуется толпа, не имѣющая своего сужденія. Оно-то теперь и вздумало превозносить уродство паче прекраснаго,—грязь и бѣдность душевную выше генія и любви, прозу надъ идеаломъ; она-то, неспособная сочувствовать ничему великому, обрадовалась произведенію новѣйшей литературы, представившему ей картину посредственности, обыденности и обыкновенности, гдѣ она съ наслажденіемъ узнаетъ и называетъ *знакомыя все лица*... Оставьте Гоголя! Развѣ я когда-нибудь думала, могла думать его тревожить и оскорблять?.. Развѣ я не изъ первыхъ, едва ли не искреннѣе и смѣлѣе всѣхъ прочихъ, отозвалась воплемъ дружбы

и уваженія надъ его прахомъ и памятью, мнѣ дорогими?.. Не путайте дѣла! Оно не между Гоголемъ и Жуковскимъ,—эти два великіе любили и понимали другъ-друга! Да Гоголь-то, что̀ онъ самъ, какъ не сильнѣйшій изъ поэтовъ?.. Не клеймилъ ли онъ своимъ презрѣньемъ и своим *горькимъ смѣхомъ* все низкое и презрѣнное въ *любимомъ или уважаемомъ человѣчествѣ. Этотъ горькій смѣхъ* не есть ли въ немъ болѣзненная, но трепещущая поэзія... Гоголь описывалъ смѣшное и отвратительное,—да человѣкъ-то въ немъ всегда оставался неприкосновененъ, личность его осталась на высотѣ своей геніальности.— Нѣтъ,—борьба между бездарными подражателями непризванными творителями, которые, раскусивъ что имъ на поприщѣ поэзіи нѣтъ мѣста и дѣла, обрадовались возможности дѣйствовать въ прозѣ,—и принялись наперерывъ утучнѣвать навозомъ своимъ широкое поле осиротѣвшей литературы... Легко, удобно, выгодно! Вотъ они и хвалятъ этотъ родъ литературы, единый который имъ по плечу. *Гоголь* у нихъ знамя, украденное знамя, которымъ они прикрываютъ свою нищету и наготу! Гоголь у нихъ камень, которымъ они хотятъ уничтожить и раздавить ненавистную имъ поэзію!.. *Die Ideale sind zerronen*! А за нихъ-то, за идеалы, кумиры моей молодости, заступаюсь я, и смѣло выхожу и ополчаюсь при каждомъ случаѣ противъ *реалистовъ, германистовъ, грязистовъ* и всей пресмыкающейся пишущей братіи!

Покажите эту записку и первую Шевыреву: я увѣрена что онъ меня пойметъ и оправдаетъ! Вы видите себя въ древле-хранилищѣ, откапываете Пожарскаго и не слышите, что̀ и какъ говорится въ молодомъ поколѣніи, — а у меня такъ уши вянутъ, душа возмущается. На пятьдесятъ лѣтъ пошли мы назадъ, вкусъ портится... а вы, потакаете, и сердитесь когда вступится кто-нибудь безстрашный и неподкупный!.. А вы гладите по головкѣ, разбивающихъ въ дребезги, что мы привыкли почитать великимъ и прекраснымъ, посмотримъ, куда это все поведетъ!"

Въ числѣ постоянныхъ посѣтителей вечеровъ графини

Ростопчиной былъ старый массонъ Юрій Никитичъ Бартеневъ, дядя Писемскаго, не особенно впрочемъ его долюбливавшій. Близко знавшій Бартенева, Т. И. Филипповъ такъ описываетъ намъ этого оригиналѣнаго человѣка: Еще въ бытность свою директоромъ Костромской Гимназіи, Юрій Никитичъ, черезъ посредство особенно расположеннаго къ нему князя С. М. Голицына, бывшаго тогда попечителемъ Московскаго учебнаго округа, сблизился съ знаменитымъ мистикомъ и массономъ же княземъ А. Н. Голицынымъ, полюбившимъ его и впослѣдствіи ему покровительствовавшимъ. Юрій Никитичъ на всѣхъ производилъ впечатлѣніе своею удивительною своеобразностью. Всѣмъ безъ исключенія, мужчинамъ и женщинамъ, молодымъ и старымъ, Юрій Никитичъ всегда говорилъ „ты". Мѣстоименія „вы" для него не существовало, когда рѣчь обращалась къ одному лицу. Къ этому всѣ уже давно привыкли и никто этимъ не обижался. Наряду съ этою странностью, Юрій Никитичъ имѣлъ и свой особенный, совершенно своеобразный языкъ съ Костромскимъ произношеніемъ на *о*, съ примѣсью множества церковно-славянскихъ, иностранныхъ и чисто-народныхъ выраженій. На этомъ-то вполнѣ своеобразномъ языкѣ произносилъ онъ длинныя рѣчи о религіозныхъ матеріяхъ, вступалъ въ диспуты, разсказывалъ анектоды, любезничалъ съ дамами. Писемскій, и тогда уже мастерски подражавшій его рѣчи и его произношенію, отчасти воспроизвелъ его впослѣдствіи въ своихъ *Массонахъ*. Юрій Никитичъ очень любилъ разговоры съ дамами, посѣщавшими вечера графини Ростопчиной. Къ самымъ частымъ посѣтительницамъ этихъ вечеровъ принадлежали М. А. Новосильцова, С. В. Энгельгардтъ и С. А. Рябинина, сестра князя Владиміра Александровича Черкасскаго, обладавшая почти-что басомъ и весьма хорошо пѣвавшая. Къ нимъ-то обращаясь, позволялъ себѣ иногда Юрій Никитичъ такіе разсказы и такія выходки, которые ему одному можно было прощать. Но онѣ даже любили его. Молодыхъ сотрудниковъ *Москвитянина*, особенно Т. И. Филиппова,

Юрій Никитичъ очень полюбилъ и поддерживалъ съ ними самыя дружескія отношенія".

Не смотря на западническое свое направленіе, графиня Е. В. Саліасъ, сочувственно относилась къ членамъ кружка *Молодого Москвитянина* и приглашала ихъ на свои вечера. Но на вечерахъ этихъ собирались ярые западники, что и побудило членовъ кружка, во избѣжаніе непріятныхъ столкновеній, уклониться отъ посѣщеній, что и навлекло на нихъ гнѣвъ графини. Островскій, впрочемъ, бывалъ на ея вечерахъ, и своими сообщеніями подтверждалъ, что осторожность другихъ членовъ кружка была далеко нелишнею и имѣла свои основанія.

Особенно близкимъ по духу и особенно дорогимъ для молодыхъ людей былъ гостепріимно-открытый имъ домъ С. П. Шевырева. Степанъ Петровичъ былъ въ то время, какъ свидѣтельствуетъ Т. И. Филипповъ, „въ стѣнахъ Московскаго Университета явленіемъ единственнымъ, исключительнымъ. Онъ одинъ среди профессоровъ держалъ то знамя Православія и Народности, отъ котораго чурались или которое дико ненавидѣли всѣ остальные. Торжествующіе западники всячески старались тормозить успѣхъ его лекцій, его проповѣдей, его оживленныхъ бесѣдъ. Особенно опасенъ могъ онъ быть для нихъ и громадною своею начитанностью, и живостью своего отношенія къ міру науки и искусства, и обширными связями на томъ самомъ Западѣ, изъ котораго дѣлали они боевое знамя свое и который понимали, только вполнѣ односторонне. Для противодѣйствія Шевыреву и для борьбы съ нимъ, сочинялись всяческія насмѣшки и сплетни. Особенною лютостью по отношенію къ Шевыреву отличался тогда П. М. Леонтьевъ. И Катковъ и Леонтьевъ были тогда еще западниками, съ нетерпимостью относившимися ко всему несогласному съ ихъ образомъ мыслей.

Однажды, явившись къ Шевыреву раньше обыкновеннаго, и заставъ его еще не вставшимъ отъ послѣобѣденнаго сна, члены *Молодого Москвитянина* встрѣтили въ его гостиной

незнакомаго имъ пожилого уже человѣка, котораго сначала по внѣшнему виду приняли за какого-нибудь заѣхавшаго въ Москву провинціала. Завязался разговоръ, въ которомъ незнакомецъ поразилъ ихъ сперва необыкновеннымъ изяществомъ рѣчи, а потомъ и удивительною глубиною мыслей и обширностью многостороннихъ познаній. Загадка разъяснилась приходомъ Шевырева. Мнимый провинціалъ былъ не кто иной, какъ И. В. Кирѣевскій. Впечатлѣніе, произведенное имъ на членовъ кружка, было въ высшей степени сильно. Онъ какъ бы совершенно не входилъ въ обыкновенныя рамы. Всѣмъ существомъ своимъ и всѣми рѣчами онъ какъ бы вносилъ тепло и прелесть духовной атмосферы" [32]).

XIV.

Мы уже привели свидѣтельство Т. И. Филиппова, что члены *Молодого Москвитянина* были тѣсно связаны съ дѣятельностью графини Е. П. Ростопчиной. Въ первой же книжкѣ *Москвитянина* 1850 года, она напечатала свою драму, подъ заглавіемъ *Нелюдимка*.

„Въ Москвѣ,—писалъ Плетневъ Жуковскому,—„Необыкновенная литературная дѣятельность... Ростопчина расписалась. Недавно напечатана ея драма: *Нелюдимка*. Тутъ много хорошихъ мѣстъ, но драмы совсѣмъ нѣтъ!" [33]).

Сначала отношенія автора драмы къ Погодину продолжали быть дружелюбны; но потомъ, по поводу *Нелюдимки*, возникло нѣкое недоразумѣніе. Но обратимся къ *Дневнику* Погодина:

Подъ *5 февраля 1850 г.*: „Къ Ростопчиной. Это женщина милая".

— *9* — —: „Къ Ростопчиной. Свѣтскій разговоръ и мнѣ стало досадно на нее".

— *10* — —: „Малую записочку написалъ къ Ростопчиной, такъ что самому любо, и получилъ отъ нея извѣстіе, что моя запись въ альбомъ производитъ fourore".

— *11* — —: „Вечеръ у Ростопчиной съ удовольствіемъ. Пріятные разговоры“.

— *14* — —: „Къ Ростопчиной. Пріятно, но не углублялись. О субботѣ и музѣ ея и пр.“.

— *14 марта* —: „Къ Ростопчиной. Не принимаетъ; ибо одѣвается ѣхать. Я къ графу. Пробылъ четверть часа, иду по лѣстницѣ, а тамъ гусаръ, ожидающій пріема. Что̀ будетъ? Чрезъ минуту швейцаръ отворяетъ ему дверь. Вотъ тебѣ разъ!“

— *28* — —: „Графиня Ростопчина. Потолковали. Все говоритъ, что должна была ѣхать съ визитомъ и потому не могла принять меня въ прошедшій вторникъ. О воспитаніи. О дѣтяхъ. Умна“.

Такъ продолжалось до апрѣля, а подъ *4-мъ* числомъ сего мѣсяца въ *Дневникѣ* Погодина читаемъ: „Вечеромъ, по приглашенію Ростопчиной слушать прекрасную комедію Сушкова добраго. Ужинъ у нея. По утру досада отъ недоразумѣнія Конторы“.

Это такъ-называемое *недоразумѣніе* произошло отъ того, что Погодинъ, безъ вѣдома и согласія сочинительницы, отпечаталъ отдѣльные экземпляры ея драмы *Нелюдимка* и пустилъ ихъ въ продажу.

Обратимся опять къ *Дневнику* Погодина:

Подъ *19 апрѣля 1850 г.*: „Записка предосадная отъ графини Ростопчиной, вслѣдствіе продажи экземпляровъ, коихъ она не предполагала, а я съ тѣмъ условіемъ“.

— *22* — —: „Продолженіе и возобновленіе досады отъ Ростопчиной“.

Не смотря, однако, на все это, Погодинъ, встрѣтившись съ Ростопчиною на свадьбѣ Мея, подъ 30 апрѣля 1850 года, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Графиня Ростопчина очень любезна. Я сказалъ, что похожъ на marechal Bugeau, который женитъ своихъ lieutenants, а она ни съ того ни съ сего: а сами-то вы что? Вы женитесь сами? Не отрекайтесь. Судьба неизвѣстна и т. подобн. Я принимаю эти слова за halucination... Не говорила же она никогда прежде“.

Возвратившись домой, Погодинъ написалъ о „князьяхъ, гулялъ“ и сталъ думать опять „о невѣстѣ“.

Между тѣмъ, 27 мая 1850 года, къ Погодину является братъ графини Ростопчиной, Сергѣй Петровичъ Сушковъ, и о посѣщеніи этого гостя Погодинъ записалъ слѣдующее въ своемъ *Дневникѣ*: „Только-что хотѣлъ съ удовольствіемъ приняться за дѣло, какъ Сушковъ съ ножемъ къ горлу, чтобы я купилъ двѣсти пятьдесятъ экземпляровъ *Нелюдимки*, а иначе бумагу въ Цензурный Комитетъ и слѣдствіе. Каковы! Не могъ ни за что приняться. Вечеромъ къ дядѣ Сушкова, разсказать ему, чтобы онъ убѣдилъ сорванца подлаго, брата взбалмошной, если не подлой, которую я имѣлъ легковѣріе полюбить искренно, постыдиться своего подлаго акта... Ахъ, подлецы! Вотъ тебѣ дружба! Я думалъ, что забулдыга хочетъ сорвать съ меня деньги, а Н. В. Сушковъ говоритъ, что онъ пошлетъ деньги къ сестрѣ“.

Въ тотъ же день и сама графиня Ростопчина писала Погодину: „Знаете ли, Михаилъ Петровичъ, что я наконецъ рѣшила, посовѣтовавшись и потолковавши съ умными людьми? Я сбираюсь васъ просить, велѣть *сжечь* или *уничтожить* всѣ эти несчастныя незаконнорожденныя *Нелюдимки*, такъ чтобъ онѣ никогда ужъ не могли, какъ и гдѣ-нибудь вынырнуть на свѣтъ Божій, безъ моего спроса и вѣдома; но вотъ что придумано: я хочу пожертвовать всѣмъ этимъ хламомъ въ пользу Петербургскаго Общества посѣщенія бѣдныхъ, и писала уже объ этомъ Одоевскому, его учредителю. Прошу васъ передать доставителю сего письма ваше *письменное* разрѣшеніе и приказаніе на полученіе изъ конторы, или отъ кого слѣдуетъ, всѣхъ трехсотъ экземпляровъ этого изданія самозванца. Это единственное средство *обнародовать* его, по вашему желанью; *я могу подарить* брошюру для богоугоднаго дѣла, но ни сама продавать, ни дозволить кому бы ни было ее продавать, не могу, и никогда не соглашусь. Я ѣду въ субботу, рано утромъ, и потому спѣшу покончить это дѣло до отъѣзда, чтобы послѣ меня не вышло опять какихъ бы то ни было недоразумѣній; если вамъ можно, то буду васъ ждать завтра,

въ четвергъ, ровно въ полдень, ибо потомъ уѣзжаю въ Кунцово на цѣлый день. Пожалуйста, заверните со мною проститься, а покуда примите искренній поклонъ".

Изъ письма графини Ростопчиной къ Н. В. Сушкову мы узнаемъ объ отвѣтѣ Погодина на письмо ея, отъ 27 мая 1850 г., изъ Москвы: „Сейчасъ получила ваше письмецо, добрый и любезный дядюшка, и спѣшу отвѣчать, благодарить васъ и извиниться передъ вами въ безпокойствахъ и хлопотахъ, причиненныхъ вамъ продолженіемъ моихъ словесныхъ и журнальныхъ дѣлъ. Вы понимаете, конечно, что мнѣ тутъ главное прекращеніе *несправедливости и неправды*, и необходимость показать характеръ, чтобъ избѣжать впредь всякихъ подобныхъ *такъ называемыхъ недоразумѣній*. Изданіе, возникшее не только безъ вѣдома и согласія моего, но даже *вопреки меня*, я имѣла, кажется, право остановить и уничтожить. Я предлагала Михаилу Петровичу, показывая ему на эти, какъ я называю ихъ, *незаконнорожденныя* Нелюдимки, сжечь *всѣ* экземпляры; онъ писалъ, что это лишнее и просилъ меня *повременить* такою разрушительною мѣрою. Я хотѣла, какъ вамъ извѣстно, пожертвовать *всѣми ими* въ Общество *посѣщенія бѣдныхъ;* Михаилъ Петровичъ *упросилъ* меня и этого не дѣлать, говоря, что это будетъ *для него собственно и обидно и предосудительно* тѣмъ, что подастъ поводъ къ разнымъ толкамъ и пересудамъ. А между тѣмъ, контора *Москвитянина не хотѣла или не могла* дать отчета (вы читали ея странный мнѣ отвѣтъ?) въ судьбѣ остальныхъ пятидесяти экземпляровъ... Стало быть, или они *уже разошлись*, или могли впослѣдствіи разойтись... А для меня совершенно все равно, три ли тысячи или пятьдесятъ экземпляровъ разойдутся отдѣльно. Это мнѣ *равно непріятно* и равно *противно* всѣмъ моимъ распоряженіямъ! Надобно, уѣзжая на все лѣто, положить преграду *этимъ страннымъ недоразумѣніямъ*; еще болѣе, потому что меня пугала и участь романа: Михаилъ Петровичъ объявилъ мнѣ *что и его печаталось отдѣльно восемьсотъ экземпляровъ* .. вѣдь все по тому же недоразумѣнію, писалъ, что и романъ *пріобрѣ-*

БИБЛИОТЕКА М. Горького Р.С.Ф.С.Р.

тенъ имъ въ полное и вѣчное владѣнье! Въ жизни моей впервые слышу чтобъ рукописи, отдаваемыя въ журналъ, становились его собственностью, безъ особеннаго формальнаго договора! Повторяю, — надо было разъ навсегда прекратить всякія тому подобныя попытки и случайные сюрпризы; вотъ почему я и поручила Сережѣ дохлопотаться до всесожженія въ его глазахъ *всѣхъ возможныхъ переплетенныхъ и прочихъ Нелюдимокъ*, или *до обращенія ихъ въ пользу бѣдныхъ*. Сожалѣю, что онъ не посовѣтовался съ вами передъ разговоромъ его съ Михаиломъ Петровичемъ, я его просила *обо всемъ* съ вами переговорить; вѣдь я къ вамъ писала наканунѣ отъѣзда, что *не хочу смерти грѣшника, а еже ему обратитися и живу быти*: не хочу никого обижать, тѣмъ болѣе человѣка, въ которомъ уважаю ученаго и многія важныя заслуги. Но вѣдь и онъ, какъ мнѣ хорошо извѣстно, не вникаетъ въ дѣла свои самъ, и его иногда въ конторѣ плохо слушаются; а потому и положиться нельзя было на *точное исполненіе моего желанія объ уничтоженіи всего изданія*. Вотъ и теперь: хотя Михаилъ Петровичъ и *обѣщалъ мнѣ, что особое печатаніе романа прекратится вовсе*, но, пожалуй, контора опять не пойметъ и опять будетъ продолжать отпечатывать; что мнѣ съ нею дѣлать?.. Для этого я и прибѣгнула къ помощи брата, посовѣтовавшись и съ вами и съ другими. Если будете толковать съ Михаиломъ Петровичемъ, пожалуйста, *настойте на истребленіи всѣхъ начатыхъ оттисковъ моего романа*, исключая *двухъ, которые мнѣ необходимы*, ибо рукописи я не сохраняю. Кстати, Михаилъ Петровичъ пишетъ Сережѣ, *что редакція не получила и половины того, что ей слѣдуетъ отъ меня*. Проданы ей драма и романъ: драму она, кажется, получила сполна, а *изъ 18-ти главъ романа у Михаила Петровича ровно восемь* конченныхъ и отданныхъ мною; двѣ я переправила здѣсь, и *вышлю ему немедленно*; я и то все жду отъ него своихъ прежде напечатанныхъ піесъ, которыхъ рукописи мнѣ не были возвращены, и *которыхъ у меня совсѣмъ нѣтъ*, хотя мнѣ онѣ очень нужны. Вотъ и вамъ замѣчаніе: говоря все о *Нелюдимкѣ*, даже и

въ послѣдней своей запискѣ ко мнѣ, ваше превосходительство и стихотворство все изволите забывать, что *вы съ него спустили не спросясь меня и весь романъ*, который лучше ея, *длиннѣе и болѣе стоитъ мнѣ труда и времени*. Подарить такъ подарить: это можно, но не люблю *присвоеваній и завоеваній*, особенно когда я не Наполеонъ, а какой-нибудь общипанный членъ покойной конфедераціи Германской! За свое стою... И простите, и прощайте любезный дядюшка, обнимаю васъ отъ души и желаю вамъ здоровья, вдохновенья и всего хорошаго".

Еще прежде этого письма, самъ Погодинъ писалъ С. П. Сушкову: „По случайнымъ обстоятельствамъ, я не могу быть у васъ въ назначенномъ часу, въ чемъ и прошу покорнѣйше извинить меня. Но вашъ дядя, Николай Васильевичъ, былъ столько добръ, что взялся вмѣсто меня кончить дѣло, имъ начатое, и получилъ отъ меня вчера вечеромъ деньги, сколько я собрать могъ, для доставленія вамъ, за экземпляры *Нелюдимки*. Впрочемъ, обдумавъ, я самъ теперь готовъ просить начальство, чтобы оно велѣло произвести слѣдствіе въ типографіи, точно ли напечатано триста особыхъ оттисковъ *Нелюдимки*, а не болѣе, вслѣдствіе вашего сомнѣнія. Ибо отъ толковъ о недоумѣніи, коимъ повода я старался избѣгать всего болѣе, при настоящемъ неопредѣленномъ положеніи *Москвитянина*, послѣ развода съ Вельтманомъ, что уже подало поводъ къ толкамъ, нельзя избѣгнуть и теперь по поводу нашихъ однихъ разговоровъ. Послѣ свиданія съ вами я успѣлъ отыскать нѣсколько записокъ къ поясненію вопроса, но считаю ихъ уже не нужными, въ надеждѣ, что третье окончаніе, съ Николаемъ Васильевичемъ, будетъ счастливѣе двухъ первыхъ. Прибавлю только, что пріобрѣтенныхъ сочиненій отъ графини, редакція не получила до сихъ поръ и половины; прибавлю только въ доказательство, что все дѣло было ведено, какъ дѣла ведутся обыкновенно, при извѣстныхъ отношеніяхъ, безъ всякихъ формальностей, что и подало поводъ къ непріятнымъ недоразумѣніямъ съ обѣихъ сторонъ: или Николай Васильевичъ

тенъ имъ въ полное и вѣчное владѣнье! Въ жизни моей впервые слышу чтобъ рукописи, отдаваемыя въ журналъ, становились его собственностью, безъ особеннаго формальнаго договора! Повторяю, — надо было разъ навсегда прекратить всякія тому подобныя попытки и случайные сюрпризы; вотъ почему я и поручила Сережѣ дохлопотаться до всесожженія въ его глазахъ *всѣхъ возможныхъ переплетенныхъ и прочихъ Нелюдимокъ*, или *до обращенія ихъ въ пользу бѣдныхъ*. Сожалѣю, что онъ не посовѣтовался съ вами передъ разговоромъ его съ Михаиломъ Петровичемъ, я его просила *обо всемъ* съ вами переговорить; вѣдь я къ вамъ писала наканунѣ отъѣзда, что *не хочу смерти грѣшника, а еже ему обратитися и живу быти*: не хочу никого обижать, тѣмъ болѣе человѣка, въ которомъ уважаю ученаго и многія важныя заслуги. Но вѣдь и онъ, какъ мнѣ хорошо извѣстно, не вникаетъ въ дѣла свои самъ, и его иногда въ конторѣ плохо слушаются; а потому и положиться нельзя было на *точное исполненіе моего желанія объ уничтоженіи всего изданія*. Вотъ и теперь: хотя Михаилъ Петровичъ и *обѣщалъ мнѣ, что особое печатаніе романа прекратится вовсе*, но, пожалуй, контора опять не пойметъ и опять будетъ продолжать отпечатывать; что мнѣ съ нею дѣлать?.. Для этого я и прибѣгнула къ помощи брата, посовѣтовавшись и съ вами и съ другими. Если будете толковать съ Михаиломъ Петровичемъ, пожалуйста, *настойте на истребленіи всѣхъ начатыхъ оттисковъ моего романа*, исключая *двухъ, которые мнѣ необходимы*, ибо рукописи я не сохраняю. Кстати, Михаилъ Петровичъ пишетъ Сережѣ, *что редакція не получила и половины того, что ей слѣдуетъ отъ меня*. Проданы ей драма и романъ: драму она, кажется, получила сполна, а *изъ 18-ти главъ романа у Михаила Петровича ровно восемь* конченныхъ и отданныхъ мною; двѣ я переправила здѣсь, и *вышлю ему немедленно*; я и то все жду отъ него своихъ прежде напечатанныхъ піесъ, которыхъ рукописи мнѣ не были возвращены, и *которыхъ у меня совсѣмъ нѣтъ*, хотя мнѣ онѣ очень нужны. Вотъ и вамъ замѣчаніе: говоря все о *Нелюдимкѣ*, даже и

въ послѣдней своей запискѣ ко мнѣ, ваше превосходительство и стихотворство все изволите забывать, что *вы съ него спустили не спросясь меня и весь романъ*, который лучше ея, *длиннѣе и болѣе стоитъ мнѣ труда и времени* Подарить такъ подарить: это можно, но не люблю *присвоеваній и завоеваній*, особенно когда я не Наполеонъ, а какой-нибудь общипанный членъ покойной конфедераціи Германской! За свое стою... И простите, и прощайте любезный дядюшка, обнимаю васъ отъ души и желаю вамъ здоровья, вдохновенья и всего хорошаго".

Еще прежде этого письма, самъ Погодинъ писалъ С. П. Сушкову: „По случайнымъ обстоятельствамъ, я не могу быть у васъ въ назначенномъ часу, въ чемъ и прошу покорнѣйше извинить меня. Но вашъ дядя, Николай Васильевичъ, былъ столько добръ, что взялся вмѣсто меня кончить дѣло, имъ начатое, и получилъ отъ меня вчера вечеромъ деньги, сколько я собрать могъ, для доставленія вамъ, за экземпляры *Нелюдимки*. Впрочемъ, обдумавъ, я самъ теперь готовъ просить начальство, чтобы оно велѣло произвести слѣдствіе въ типографіи, точно ли напечатано триста особыхъ оттисковъ *Нелюдимки*, а не болѣе, вслѣдствіе вашего сомнѣнія. Ибо отъ толковъ о недоумѣніи, коимъ повода я старался избѣгать всего болѣе, при настоящемъ неопредѣленномъ положеніи *Москвитянина*, послѣ развода съ Вельтманомъ, что уже подало поводъ къ толкамъ, нельзя избѣгнуть и теперь по поводу нашихъ однихъ разговоровъ. Послѣ свиданія съ вами я успѣлъ отыскать нѣсколько записокъ къ поясненію вопроса, но считаю ихъ уже не нужными, въ надеждѣ, что третье окончаніе, съ Николаемъ Васильевичемъ, будетъ счастливѣе двухъ первыхъ. Прибавлю только, что пріобрѣтенныхъ сочиненій отъ графини, редакція не получила до сихъ поръ и половины; прибавлю только въ доказательство, что все дѣло было ведено, какъ дѣла ведутся обыкновенно, при извѣстныхъ отношеніяхъ, безъ всякихъ формальностей, что и подало поводъ къ непріятнымъ недоразумѣніямъ съ обѣихъ сторонъ: или Николай Васильевичъ

первоначально не дослышалъ, или Вельтманъ не досказалъ, или я не доспросилъ. Это такая бездѣлица, о которой не стоило бы труда говорить, ибо желаніе графини немедленно исполнено, а я отъ всѣхъ мнимыхъ правъ немедленно отказался".

Прочитавъ же письмо графини Ростопчиной къ Н. В. Сушкову, Погодинъ счелъ нужнымъ написать къ первой слѣдующее:

„Между нами пробѣжала черная кошка, графиня! Кто подпустилъ ее, я не знаю, но отогналъ ее добрый Николай Васильевичъ, хоть я и отказывался сначала отъ его посредничества (благодарность ему!). Онъ прочелъ мнѣ ваше письмо; въ немъ очень много *Поэзіи* (отъ Наполеона завоевывающаго и просвѣщающаго до Нѣмецкой конфедераціи). Но меня, я надѣюсь, выручитъ *Исторія*. Хоть дѣло конечно матеріально и для нравственной *сатисфакціи* я соберу къ вашему возращенію всѣ pièces justificatives и вы удостовѣритесь, что вы огорчили меня, если *не идеей, то формой*, понапрасну..... Стихи ваши для меня дороги, но дороже гораздо ваши отношенія. Уничтожить экземпляры, напечатанные вслѣдствіе недоразумѣнія, вы имѣли полное право; потребовать отчета въ трехстахъ экземплярахъ вы имѣли полное право,—но вотъ и все! Что въ остальныхъ пятидесяти экземплярахъ должно было получить отчетъ отъ переплетчика, нѣтъ ничего *страннаго*. Это явленіе типографское, ежедневное. Я получилъ этотъ отчетъ тогда же, и, кажется, передалъ вамъ на словахъ наканунѣ вашего отъѣзда: изъ пятидесяти, переплетчикъ представилъ *по закону* въ цензуру двѣнадцать, а изъ остальныхъ тридцати-восьми нѣсколько отдано вамъ, продано было въ конторѣ три, а прочіе мнѣ. Я раздарилъ пять (дѣвушкамъ-сосѣдкамъ и своимъ, кои переписывали *Нелюдимку*), а прочіе у меня. О вѣчномъ владѣніи я никогда и не думалъ. Если уже считаете невыгоднымъ, а готовъ, такъ и быть, отъ него совсѣмъ отказаться [34]).

Но Погодинъ не избѣжалъ толковъ, которыхъ опасался.

Въ *Дневникѣ* Бодянскаго мы читаемъ: „Родной братъ графини Ростопчиной разсказывалъ за обѣдомъ у дяди своего Н. В. Сушкова, что онъ былъ надняхъ у М. П. Погодина отъ сестры своей съ запросомъ, по какому праву послѣдній продаетъ отдѣльно отпечатанные экземпляры *Нелюдимки* безъ вѣдома и согласія сочинительницы?—*Я купилъ у нея это сочиненіе.*—Правда, но только для журнала, а не для того, что вы съ нимъ теперь дѣлаете. Послѣ многихъ преній, истецъ истребовалъ либо уплаты за всѣ экземпляры, либо же самихъ экземпляровъ. Журналистъ до того былъ смѣшанъ, что долго не могъ опомниться; на другой день онъ прислалъ часть денегъ и часть экземпляровъ, которые я и видѣлъ, къ посреднику между нимъ и графинею, Н. В. Сушкову. Это не столько карманное, сколько нравственное наказаніе для него, прибавилъ молодой Сушковъ, чтобы онъ впередъ былъ осторожнѣе. Что не деньги здѣсь важны, доказательствомъ то обстоятельство, сказалъ Н. В. Сушковъ, что племянница писала ко мнѣ сегодня, простить ему остальную часть долга“.

Повидимому, графиня Ростопчина не успокоилась вышеприведеннымъ письмомъ Погодина и написала къ Н. В. Сушкову такое письмо, прочитавъ которое Погодинъ, возвратясь домой, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*, подъ 15 іюня 1850 года: „Блажная бабенка! Надо бы ей отпѣть, но неловко ссориться теперь. А стоитъ пощечины“!

Въ концѣ концовъ, между Погодинымъ и графиней Ростопчиной возстановились прежнія добрыя отношенія и 5 декабря 1850 года, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Графинѣ Ростопчиной, которая осыпала ласками, какъ ни въ чемъ не бывало!

Погодинъ не чуждался также писателей и западнаго лагеря. Такъ, съ Д. В. Григоровичемъ онъ продолжалъ состоять въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ. Въ *Дневникѣ* его мы читаемъ слѣдующія записи:

Подъ *21 февраля 1850 года:* „Рѣшился съ Григоровичемъ и отдалъ ему денегъ пятьсотъ. Малый хорошій.

— *27 апрѣля* — : „Григоровичъ изъ деревни.

— *28* — — : „Григоровичъ благодарилъ безъ памяти за одолженіе и разсказывалъ о Петербургѣ“.

Предъ отъѣздомъ Григоровича въ Петербургъ, Погодинъ, по обычаю, далъ ему множество порученій, и въ числѣ ихъ, привлечь къ участію въ *Москвитянинѣ* Андрея Ивановича Кронеберга, который, какъ извѣстно, былъ сотрудникомъ *Современника*. Григоровичъ съ аккуратностью исполнилъ всѣ возложенныя на него порученія, и 7 мая писалъ Погодину: „Я не могъ исполнить раньше своего обѣщанія, потому что засталъ всѣхъ своихъ на дачѣ, верстъ за двѣнадцать отъ города. Кромѣ того, Петербуржцы, отъ которыхъ я могъ бы узнать кое что о цензурѣ, въ страшной суматохѣ. Панаевъ ѣдетъ въ *деревню*, въ Казань, Некрасовъ въ Токсово, жена Панаева—за границу. Къ кому не заѣдешь, всѣ укладываются и собираются на дачу. Цензурныя дѣла такъ плохи, Михаилъ Петровичъ, какъ никогда еще не бывало, все это по поводу романа Фурмана *Добро и зло*, въ которомъ нашли что-то неблагопріятное. Пока не остынетъ негодованіе господъ цензоровъ, издавать мои повѣсти не совсѣмъ безопасно. Въ Москвѣ дѣло обойдется, я увѣренъ, гораздо покойнѣе, такъ по крайней мѣрѣ увѣряютъ меня многіе и, кажется, не безъ основанія. Черезъ недѣлю я буду у васъ и переговорю лично объ этомъ. Повѣсть свою я продалъ не Панаеву, ибо денегъ ни гроша, а Краевскому. Справлялся на счетъ иностранной цензуры. Вотъ ходъ дѣла: Сначала слѣдуетъ обратиться частнымъ письмомъ къ иностранному цензору, и спросить: можно ли перевести такой-то романъ или повѣсть? Онъ дастъ записку, буде можно, къ *Комовскому*, директору Канцеляріи министра Просвѣщенія, а тотъ въ свой чередъ дастъ записку въ Русскую цензуру, какъ въ удостовѣреніе, что романъ или повѣсть можно перевести. Какъ видите, дѣло очень простое въ Петербургѣ, но для Московскаго жителя переписка замедлитъ ходъ порядка. У Кронеберга еще не былъ. Отправлюсь завтра и кромѣ предложенія писать рецензіи въ

Москвитянинъ, попрошу его слѣдить за новыми романами, повѣщать о нихъ въ *Москвитянинѣ* и хлопотать подлѣ Комовскаго и комп. Обо всемъ этомъ потолкую съ вами черезъ недѣлю". Въ концѣ письма Григоровичъ сообщаетъ и слѣдующее: „У меня случилось горе. Я потерялъ трехлѣтняго ребенка и вотъ причина, по которой я не получалъ писемъ изъ Петербурга. Одоевскій и его жена вамъ кланяются. Прощайте, Михаилъ Петровичъ, будьте здоровы, до свиданія".

Вслѣдъ за симъ, и самъ А. И. Кронебергъ (23 мая 1850 г.) писалъ Погодину: „Г. Григоровичъ предложилъ мнѣ отъ вашего имени писать для *Москвитянина* библіографію Русскихъ и иностранныхъ книгъ, выходящихъ въ Петербургѣ. Я охотно готовъ взяться за это дѣло и потому безъ дальнихъ фразъ сообщаю вамъ мои условія. Я буду присылать вамъ статьи къ условленному числу мѣсяца, въ каждый номеръ листа по два печатныхъ. Случится больше, случится и меньше, но въ годъ все же наберется не меньше двадцати четырехъ листовъ. За это я желаю получать по сту рублей въ мѣсяцъ. Я еще не знаю, какъ можно будетъ доставить всѣ выходящія здѣсь книги. Можно ли будетъ брать ихъ изъ цензуры или надо пріобрѣтать, хоть на время, отъ книгопродавцевъ; но во всякомъ случаѣ, издержки по этому предмету будутъ на вашъ счетъ. Если вы согласны на эти условія, то извѣстите. Мнѣ пріятно было бы получить вашъ отвѣтъ не позже 1-го іюня, потому что я имѣю въ виду еще другія занятія, отъ которыхъ откажусь, если мы сойдемся. Начавши въ первыхъ числахъ іюня, я могу прислать вамъ половину рукописи къ 15-му числу, а остальное къ 22-му. Деньги же вы потрудитесь прислать мнѣ половину теперь, половину по полученіи рукописи. Этихъ сроковъ въ платежѣ и доставкѣ статей желалъ бы я держаться и впредь".

Но Погодинъ, очевидно, убоялся такого дорогого сотрудника и притомъ еще западнаго лагеря. Дѣло, кажется, этимъ письмомъ и кончилось.

Въ декабрѣ 1850 г., Погодинъ имѣлъ вторичное свиданіе

съ Д. В. Григоровичемъ, который читалъ ему свою повѣсть и потомъ „толковали о журналѣ, литературѣ“ и при этомъ присутствовалъ Иноземцевъ.

Въ концѣ ноября 1850 года, прибылъ въ Москву И. С. Тургеневъ. 24 ноября того года, В. П. Боткинъ писалъ П. В. Анненкову: „Мать Ивана Сергѣевича отдала Богу душу, и онъ на дняхъ пріѣхалъ сюда и пробудетъ съ мѣсяцъ или недѣль шесть“. Въ это то время, 9 декабря 1850 года, на вечерѣ у графинѣ Е. П. Ростопчиной, Погодинъ познакомился съ Тургеневымъ [35]).

XV.

Вспоминая старину двадцатыхъ, тридцатыхъ годовъ, Погодину вздумалось издать альманахъ *на новый* (1850) *годъ*: *Въ подарокъ читателямъ Москвитянина*. Шевыревъ напечаталъ въ этомъ альманахѣ *Прогулку по Аппеннинамъ, въ окрестностяхъ Рима, въ 1830 году*.

Для насъ же особенно любопытна, напечатанная въ этомъ альманахѣ повѣсть, подъ заглавіемъ: *Дочь матроса*, подъ которою не подписано имени автора. Но въ срединѣ повѣсти, мы совершенно неожиданно нашли весьма цѣнныя автобіографическія показанія самого Погодина. „Честь имѣю рекомендоваться“,—читаемъ мы, — „по силѣ обстоятельствъ, съ которыми извѣстно, никто сладить не можетъ, хоть будь семи пядей во лбу, по порядку вещей, который въ нашей журнальной области, какъ и въ прочихъ, также долженъ бы называться часто, гораздо вѣрнѣе, безпорядкомъ вещей, пришлось мнѣ, антикварію, оканчивать повѣсть, которой начало до сихъ поръ имѣли вы удовольствіе прочесть, почтенные читатели, пришлось мнѣ отъ разсужденій о боярствѣ, вѣчахъ и дружинѣ въ предъ-татарскомъ періодѣ, изъ Володиміра, съ Углича-Поля, отъ несчастной для Русскихъ рѣки Сити, перенестися вдругъ на коврикѣ-самолетѣ къ берегамъ Чернаго моря,—и тамъ, гдѣ передъ глазами моими ходятъ тѣни Пе-

ченѣговъ, Половцевъ, Ясовъ, Косоговъ, подъ своими войлочными вѣжами, гдѣ высоко поднимаются хоть и покрытые мглою бойницы Тмутораканскія, никакъ не сбитыя хлопотами Спасскаго, — описывать происшествія изъ миѳологическаго вѣка Екатерины, Потемкина, Суворова и Орлова. Вы удивляетесь?—Благоволите выслушать сперва быль въ объясненіе этой повѣсти.

Въ прошломъ году, въ селѣ Порѣчьѣ, гдѣ гостилъ я вмѣстѣ съ нѣкоторыми нашими учеными и литераторами, — въ гостяхъ у благосклоннаго къ музамъ хозяина, графа С. С. Уварова, послѣ утреннихъ бесѣдъ и лекцій объ Исторіи Русской и Европейской, объ искусствѣ, и филологіи, о критикѣ, о церкви, одинъ изъ нашихъ собесѣдниковъ, самый веселый, М. А. Окуловъ (который для какого-нибудь Дюма, Бальзака или Сю могъ бы замѣнить рудникъ Калифорнскій,—по своему неистощимому запасу анекдотовъ, комедій, трагедій, романовъ и повѣстей), разсказалъ намъ любопытное истинное происшествіе, случившееся въ 80-хъ годахъ, въ какой-то Черноморской гавани. Это происшествіе мнѣ очень понравилось, и запало въ памяти по одной чертѣ, принадлежащей къ отличіямъ Русскаго человѣка отъ прочихъ его Европейскихъ братій.

Въ нынѣшнемъ году, редакція *Москвитянина*, которая всѣми силами старается угождать публикѣ, и при содѣйствіи всѣхъ почти нашихъ знаменитостей, поддержать чисто-Русскій литературный и ученый журналъ, на Русскихъ началахъ, въ Русскомъ духѣ, съ Русскими принадлежностями, составить средоточіе текущей Русской словесности, сколько по нашимъ силамъ, средствамъ и обстоятельствамъ можно, редакція, говорю, вздумала подарить читателямъ альманахъ.

Для альманаха всего нужнѣе повѣсть. Карамзинъ, въ осьмисотыхъ годахъ, говорилъ въ статьѣ о нашей книжной торговлѣ, радуясь распространенію грамотности и любви къ словесности: хорошо, что наша публика и романы читаетъ. Рѣчь шла о несчастномъ Никанорѣ, чувствительномъ романѣ. Пуш-

кинъ, въ двадцатыхъ годахъ, при изданіи *Московскаго Вѣстника*, въ которомъ принималъ онъ искреннее и живое участіе, писалъ мнѣ, чтобъ больше всего старался я о повѣстяхъ. Прошло пятьдесятъ лѣтъ съ первыхъ словъ Карамзина, — публика наша все еще сидитъ за *повѣстями*—понравились! Никакія Исторіи, никакія Біографіи, никакія разсужденія, не привлекаютъ ея вниманія. И только на дняхъ Аббатъ Сугерій (который по Бланшардову Плутарху звучитъ мнѣ все Аббе Сюжеромъ) возстаетъ изъ мрака феодальнаго, на мрачномъ горизонтѣ нашей ученой литературы, и призываетъ публику къ произведеніямъ изъ міра Исторіи, изъ міра жизни прошедшей и настоящей. Въ самомъ дѣлѣ, долго ли же намъ сидѣть, за докучными сказками! А въ ожиданіи —

Къ чему напрасно спорить съ вѣкомъ!
Обычай-деспотъ межъ людей. —

И редакція озаботилась пріисканіемъ средствъ къ снабженію задуманнаго альманаха приличными повѣстями. На общемъ совѣтѣ я передалъ слышанное содержаніе (канву для повѣсти, какъ говорятъ нынче,—полотно для шоссе,—слово котораго я терпѣть не могу, скажу мимоходомъ, наравнѣ съ „развитіемъ“ и „убѣжденіями“ и проч.). Не угодно ли кому написать, спросилъ я присутствующихъ. Куда! Московскіе литераторы, отличаются, извѣстно, своею самостоятельностію (самостоятельностію—это слово очень хорошо!). Точно — они стоятъ сами о себѣ, но отнюдь не шествуютъ, и напоминаютъ мнѣ живо рѣку Вологду, которую жители называютъ быстростоячею Вологдою. На иного взглянешь лѣтъ черезъ десять, черезъ двадцать,—стоитъ себѣ голубчикъ какъ вкопанный, а за то, какъ вѣрно, какъ умно, какъ рѣзко судитъ онъ проходящихъ! Глубокій умъ! Высокіе взгляды! Мыслящій человѣкъ! А какой горизонтъ обширный! У, какой обширный горизонтъ! Вотъ, напримѣръ, прибавлю здѣсь еще объ изслѣдователяхъ! Исторія—наука старая, пріемы всѣ извѣстны, испытаны! Проложите дорогу, по извѣстнымъ правиламъ, на какомъ-нибудь

полѣ, Кіевскомъ, Черниговскомъ или Новгородскомъ, докажите какъ дважды два-четыре, что эта дорога самая краткая, самая удобная, самая надежная — нѣтъ! мы пойдемъ колесить, каждый по своему, кто направо, кто налѣво, черезъ рвы и овраги, по кочкамъ и тундрамъ, лишь бы не по тому пути, что указанъ другимъ!.. Нужды нѣтъ, что долго не придемъ къ цѣли, что̀ истощимъ силы понапрасну, что заблудимся и попадемъ въ яму,—за то мы самостоятельные изслѣдователи!

Да Богъ съ вами, съ вашими намеками и съ вашими изслѣдованіями: они надоѣли намъ и въ прежнемъ *Москвитянинѣ*,— ворчатъ читатели. Разскажите намъ, что сдѣлалось съ Спярскимъ *), съ его женою, съ его невѣстою, и намъ больше ничего не надо.

Подождите, господа, вы узнаете все досконально; а между тѣмъ, для вашего успокоенія, думайте пока, что вы читаете статью Хомякова (только безъ его мыслей, слышится въ ближнемъ приходѣ. Точно такъ—но я вѣдь первый отдаю справедливость этимъ прекраснымъ мыслямъ), и такъ думайте, что вы читаете статью Хомякова, который всегда, отправляясь въ Филадельфію, побываетъ въ Калькуттѣ, объѣдетъ всѣ факторіи на Коромандельскомъ берегу, и наконецъ уже, найдя, что въ Японіи всѣхъ лучше понимается Гегелева философія и сохраняются древнѣйшіе обороты Славянскаго языка, пустится въ обратный путь, исправитъ еще по дорогѣ ошибку Араго въ аннюерѣ, издаваемомъ отъ Bureau des Longitudes о времени экиноксіальныхъ вѣтровъ, и потомъ, привезя васъ въ Европу, поставитъ преблагополучно между Чехи и Ляхи, по толкованію Сенковскаго, на ночлегъ до новой статьи.

И такъ, Московскіе литераторы отказались тратить свои благородныя силы на сочиненіе о чужомъ предметѣ, полученномъ извнѣ, а не извнутри.

Такъ вотъ что̀ сдѣлаемъ, господа,—предложилъ я,—со-

---

*) Герой вышеупомянутой повѣсти.

чинимъ повѣсть въ нѣсколько рукъ. Вы, хорошо знакомые съ Чернымъ моремъ, приготовите намъ вступленіе, опишите сцену дѣйствія; Вельтманъ разскажетъ офицерскую попойку — помните, какъ описалъ онъ круговую чашу съ пуншемъ въ *Двухъ Маіорахъ*, одной изъ лучшихъ своихъ повѣстей *), гдѣ онъ недалеко отлетаетъ отъ дѣйствительности, — и наконецъ сыграетъ свадьбу взбалмошнаго офицера съ дочерью матроса; это почти эпизодъ изъ *Чудодѣя*...

Начались, какъ обыкновенно, возраженія: скажутъ, что это подражаніе Французскимъ сочиненіямъ компаніями. Какое намъ дѣло, что̀ будутъ говорить,—отвѣчали другіе. Лишь бы написалось живо, пріятно и занимательно, лишь бы читатели не зѣвали. Чего больше для альманаха? Отъ разговоровъ нигдѣ и никогда не оберешься. Чѣмъ лучше будетъ какое изданіе, тѣмъ больше будутъ находить въ немъ дурного и самостоятельные литераторы и литераторы-скороходы, то-есть прогрессисты. О журналистахъ и говорить нечего. Ихъ брань доказываетъ всего яснѣе успѣхъ, который задѣваетъ за живое.

Потолковали, поспорили и наконецъ рѣшились, въ крайнихъ обстоятельствахъ, исполнить эту мысль.

Крайнія обстоятельства, извѣстно, не замедляютъ никогда случиться, и вотъ авторъ *Лидіи, Маркизы Луиджи* и *Алкивіада* изобразилъ сцену дѣйствія, Севастополь; авторъ *Чудодѣя* описалъ свадьбу офицера съ дочерью матроса, — а мнѣ далъ продолжать...

Какъ я прочелъ его главу, у меня волосы стали дыбомъ. Столько навелъ онъ новыхъ лицъ, столько выдумалъ небывалыхъ происшествій, навязалъ такое множество затѣйливыхъ узловъ... Помилуйте, сказалъ я ему,—что мнѣ дѣлать съ Гиреневой, невѣстой Снярскаго, которой никогда не бывало? что мнѣ дѣлать съ Гиреневымъ, о которомъ я не слыхалъ ни слова, куда дѣвать мнѣ незванаго тестя и сварливую тещю?

---

*) *Москвитянинъ*, 1848 г.

— Куда! мало ли куда дѣвать ихъ можно, — отвѣчалъ авторъ *Чудодѣя*.

— Можно вамъ, а не мнѣ. Что я слышалъ, то разскажу какъ-нибудь, если уже никакъ нельзя избавиться мнѣ отъ этой литературной экскурсіи, а чего не слыхалъ... Размѣщайте этихъ героевъ сами.

— Радъ бы, но ей-Богу мнѣ некогда. Я долженъ оканчивать *Чудодѣя* для читателей *Москвитянина*, сказалъ — и шаркнулъ за Уралъ.

Отъ Вельтмана я обратился къ Загоскину, отъ котораго редакція надѣялась получить описаніе сельской жизни для этой повѣсти. Не могу, получилъ я отвѣтъ: мнѣ надо непремѣнно начинать съ начала, надо сродниться съ дѣйствующими лицами, чтобъ написать о нихъ что-нибудь порядочное. А если описывать ихъ въ данный моментъ, выйдетъ вялый эпизодъ въ вашей повѣсти, плохая заплата на нарядномъ платьѣ, — отвѣчалъ заслуженный романистъ, съ скромностію писателей стараго поколѣнія.

Отказались и прочіе: одинъ оканчиваетъ романъ, другой начинаетъ трагедію, третій задумываетъ комедію; у кого разсужденіе, у кого изысканіе—словомъ сказать, такая литературная дѣятельностъ въ Москвѣ, что любо! Дай Богъ всѣмъ вамъ кончить по добру по здорову, думалъ я, а между тѣмъ я остался одинъ, какъ ракъ на мели: повѣсть объявлена, новый годъ на дворѣ, типографія требуетъ оригинала для альманаховъ *Москвитянина*. Я принимаю въ изданіи мало дѣятельнаго участія, что доказывается быстрымъ его успѣхомъ; но все-таки я издатель отвѣтственный, и долженъ, во что бы то ни стало, кончить обѣщанную повѣсть, и рѣшать судьбу дочери матроса. И такъ, прощайте на два вечера лѣтописи и грамоты, рукописи и книги: назвался груздемъ, полѣзай въ кузовъ. На чемъ остановился г. Вельтманъ?...

Окончивъ начатую другими повѣсть *Дочь матроса*, Погодинъ, обращаясь къ читателямъ, сказалъ: „Я кончилъ, почтенные читатели! Вы меня извините, если я, попавъ поневолѣ

въ разсказчики, чрезъ двадцать лѣтъ молчанія, не умѣлъ лучше, въ короткое мнѣ данное время, свести всѣхъ концовъ, и примите снисходительно, по Русской пословицѣ, подарокъ Москвитянина

на новый годъ.

XVI.

Благодаря, конечно, цензурнымъ строгостямъ, словенофилы въ то время почти совершенно замолкли. 26 января 1850 года, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Взглянулъ я бѣглю на разные обзоры литературы, помѣщенные въ первыхъ нумерахъ журналовъ. Нападокъ на славянофильское и Московское направленіе уже нѣтъ, но нѣтъ даже никакого упоминанія о немъ, не говорится ни объ одномъ изъ литераторовъ нашего круга. Между тѣмъ, Петербургскіе журналы, принявъ это направленіе отчасти, помѣщая постоянно разные труды по части Русской Исторіи и изслѣдованій быта, берутъ перевѣсъ и въ этомъ отношеніи... Все это для насъ очень невыгодно. Своего журнала нѣтъ, въ чужихъ писать не хотимъ и ничего не пишемъ и отвыкаемъ отъ писанья, теряемъ вліяніе, предаемъ себя забвенію... Можетъ быть, дѣломъ Москвы будутъ труды серьезные. Но и ихъ нѣтъ, Богъ знаетъ еще, когда они появятся при Московской комфортабельности въ трудѣ"...[36]). Старѣйшій изъ словенофиловъ, И. В. Кирѣевскій, поздравляя своего друга А. В. Веневитинова съ новымъ 1850 годомъ, писалъ ему: „Обнимаю тебя, милый другъ мой Веневитиновъ, и поздравляю съ новымъ полувѣковымъ, юбилейнымъ годомъ. Столѣтіе преломилось съ трескомъ. Авось либо другая половина его будетъ непохожа на первую. Въ этомъ желаніи, я думаю, со мной будутъ сочувствовать всѣ, самыя различныя мнѣнія. Но это желаніе мое не тебѣ, не мнѣ, и не человѣку какому-нибудь, а вѣку, т.-е. существу, которое отъ человѣка отличается недостаткомъ головы. А тебѣ, другъ мой, желаю чтобы все вокругъ тебя и внутри тебя остава-

лось какъ было, кромѣ болѣзни и того, что тревожитъ душу. Это пускай останется въ старомъ полустолѣтіи“ [37]).

Хомяковъ въ то время отъ литературы обратился къ механикѣ и изобрѣлъ какую-то удивительную машину, которая оказалась у него, по выраженію Погодина, съ какимъ-то „сугубымъ давленіемъ“. Всего поразительнѣе, что эту машину Хомякову вздумалось поручить санскритологу Коссовичу свезти въ Лондонъ, на всемірную выставку.

Надо замѣтить, что К. А. Коссовичъ въ Петербургѣ, благодаря Хомякову, встрѣтилъ радушный пріемъ въ домѣ графа Д. Н. Блудова, расположенію котораго и обязанъ былъ преимущественно дальнѣйшимъ устройствомъ своей судьбы. Графъ Блудовъ обратилъ на нашего ученаго вниманіе барона М. А. Корфа и онъ, тотчасъ же оцѣнившій Коссовича, пріютилъ его у себя въ Императорской Публичной Библіотекѣ. По ходатайству Хомякова же, Коссовичъ былъ командированъ въ Лондонъ для усовершенствованія въ Санскритѣ. Сохранилось письмо Хомякова, отъ 1 декабря 1850 года, къ человѣку близкому къ Блудову, А. Н. Попову, въ которомъ читаемъ: „Къ Коссовичу писалъ я на дняхъ. Мнѣ и досадно на него потому, что чувствуется, что онъ могъ бы дѣло отъѣзда своего уладить, и жаль его потому, что вижу, что у него не охоты не достанетъ, а ловкости и практическаго толка. Не знаю, съумѣетъ ли онъ наконецъ доѣхать до Англіи. Кажется, онъ даже не рѣшился еще объяснить Корфу, чего именно онъ желаетъ. Ужъ я хочу писать Боппу или Лассену, чтобы они вступились и по Санскритски написали пояснительное письмо къ барону“ [38]).

Когда же командировка Коссовича состоялась, Хомяковъ писалъ А. В. Веневитинову: „Ты уже получилъ, вѣроятно, отъ Кошелева посланныя мною четыре тысячи серебромъ и удивился не мало. Вотъ объясненіе дѣла. Я вообразилъ себѣ, что выдумалъ великолѣпную паровую машину и что она приведетъ въ изумленіе всю Англію, Европу и значительную часть Америки. Для достиженія этой цѣли надобно мнѣ по-

слать планы и описаніе машины въ Лондонъ и получить привилегію, на что, разумѣется, потребны деньги. Самому мнѣ по этому дѣлу ѣхать нельзя; я и выбралъ посланникомъ отъ себя Коссовича, во-первыхъ, потому, что вѣрю его дружбѣ и заботливости, во-вторыхъ, потому, что это ему полезно; въ третьихъ потому, что Англичане посовѣстятся обманывать такого почтеннаго брахмана. Замѣчательно, что въ одно время со мною раджа Непаульской тоже прислалъ въ Англію посланника брахмана. Не знаю, выдумалъ ли раджа тоже какую-нибудь машину, но съѣздъ брахмановъ въ Лондонѣ — вещь любопытная. Для успѣшнаго исполненія порученія дается мною Коссовичу довѣренность, которую надобно будетъ заявить съ переводомъ, или въ посольствѣ, или въ Консульствѣ Англійскомъ, а ты, какъ слышу, съ этими Англичанами знакомъ, пожалуйста устрой это. Но вотъ что еще важнѣе. Слухъ есть будто бы привилегіи за границею нельзя брать безъ позволенія отъ нашего правительства. Я думаю, что это вздоръ. Кажется, какое дѣло правительству до того, беру ли я привилегію въ Англіи, Франціи и Бельгіи или нѣтъ. Дѣло денежное: убытокъ мой при неудачѣ и незначительный; барышъ, если удастся машина, значительный и слѣдовательно, выгода для самой Россіи. Однакоже, Богъ знаетъ: можетъ быть и есть какое-нибудь положеніе. Если есть, сдѣлай одолженіе похлопочи, чтобы Коссовичъ получилъ такое позволеніе. Представь главное, что я въ Россіи не прошу привилегіи изъ чистаго патріотизма, дабы мои соотечественники даромъ могли пользоваться моимъ изобрѣтеніемъ; а между нами, причина та, что дѣланіе машинъ паровыхъ еще слишкомъ ничтожно въ Россіи и что игра не стоитъ свѣчъ. Устрой это пожалуйста. Если нужна подписка, что въ случаѣ удачи я сообщу планъ машины нашимъ строителямъ безвозмездно, дай ее смѣло вмѣсто меня. Надѣюсь на твою дружбу, а если дружбы недостаточно, то прибавлю и подкупъ слѣдующій. Машина должна дать мнѣ немаловажный барышъ. Скажемъ примѣрно и умѣренно: милліоновъ

двѣсти хоть серебромъ. Я себѣ покуда назначаю только сто пятнадцать милліоновъ. Сто шестнадцатымъ тебѣ кланяюсь. Видишь ли, что это дѣло выгодное. Не могу однакоже тебѣ не признаться, что этомъ самый милліонъ обѣщанъ уже троимъ, а ты все-таки похлопочи. Я вижу тебя отсюда помахивающимъ главою и говорящимъ Аполлинѣ Михайловнѣ: „Жаль друга Хомякова; онъ немного въ головѣ нездоровъ; даромъ деньги бросаетъ, что̀ при его извѣстной скупости представляетъ признакъ неутѣшительный". Надѣюсь, что Аполлина Михайловна за меня заступается; а на всякій случай вотъ мое объясненіе. Надѣяться на успѣхъ, когда имѣешь десятки тысячъ опытнѣйшихъ и хитрѣйшихъ соперниковъ, было бы безуміемъ; но, съ другой стороны, не только собственное мое соображеніе, но и отзывъ машинистовъ практиковъ и теоретиковъ весьма выгоденъ: не рисковать было бы глупостью. Зачѣмъ же я у себя не сдѣлалъ опыта? Отвѣтъ: три года сряду заказывалъ модель первой моей паровой машины и три года меня обманывали; наконецъ Девисъ въ Англіи выдумалъ точно ту же машину двумя годами послѣ меня и она удалась, и онъ взялъ патентъ. Повторять ту же исторію не хочется, особенно теперь, когда съѣздъ на всемірную выставку обѣщаетъ оборотовъ весьма сильныхъ. Рискъ тотъ же, но при удачѣ выгодъ несравненно болѣе; надобно рискнуть (и вѣроятно закаяться)".

Въ томъ же письмѣ Хомяковъ извѣщаетъ Веневитинова о рожденіи сына Николая. „Смѣшное дѣло",—писалъ отецъ его, — „что я тебѣ всегда пишу по дѣламъ. А подумаешь, что̀ кромѣ дѣлъ и написать? что новаго? Только и могу сообщить: такого-то числа далъ мнѣ Богъ дочь имрекъ, или сына имрекъ. Кстати, точно нынѣшній годъ родился у меня сынъ Николай. Названъ по Языкову, крестный отецъ Гоголь (тоже Николай), родился въ именины Жуковскаго. Если малый не будетъ литераторомъ, не вѣрь ужъ ни въ какія примѣты. Судя по физіономіи юноши, полагаю, что онъ больше будетъ писателемъ въ родѣ юмористическомъ".

Въ концѣ письма Хомяковъ упрекаетъ своего друга. „Какъ

я на тебя сердитъ", — пишетъ онъ, — „или лучше сказать, на васъ сердитъ! Какъ таки ты, въ душѣ Москвичъ, не умудришься посѣтить Москву? Скажешь, что Аполлина Михайловна была зимою нездорова. Знаю, и много-много объ этомъ жалѣлъ, но тѣмъ паче надобно было пріѣхать. Я бы ее вылечилъ такъ вѣрно и такъ скоро. А какъ бы мнѣ хотѣлось на васъ взглянуть! и на тебя съ лентою поперекъ абдоминальной выпуклости. Я все бы глядѣлъ на тебя и думалъ бы объ Сокольникахъ. Ты, покойный Дмитрій и я, прыгаемъ черезъ старые рвы, а братъ философски созерцаетъ. Сколько улетѣло, но ни ты, ни я, не можемъ роптать на жизнь".

Между тѣмъ, графиня А. Д. Блудова, въ ноябрѣ 1851 года, писала Погодину: „Знаете ли, что машина Хомякова, кажется, удалась въ Лондонѣ? Теперь ее уже готовятъ въ настоящемъ видѣ, а модель имѣла большой успѣхъ".

Личныя отношенія Хомякова къ Погодину продолжали быть дружескія. Сохранилось черновое письмо къ нему Погодина, отъ 20 февраля 1850 г., въ которомъ читаемъ: „Пріѣхавъ въ Москву, ты не далъ мнѣ знать, любезнѣйшій Алексѣй Степановичъ, и я заключилъ, что въ тебѣ нѣтъ особеннаго желанія видѣть меня, а потому и не поѣхалъ къ тебѣ. Написавъ въ прошломъ году стихотвореніе, ты даже не далъ мнѣ прочесть его, и я заключилъ, что *Москвитянинъ* сдѣлался тебѣ непріятенъ, а потому и не послалъ билета къ тебѣ. Нѣкоторымъ сказалъ я, грѣшенъ, — чортъ съ ними, а тебѣ все-таки и въ сердцахъ промолвилъ: Богъ съ нимъ! Но увидясь у Шевырева, ты встрѣтилъ меня дружелюбно, попрежнему, и я усумнился, не ошибся ли я въ первыхъ своихъ заключеніяхъ, и потому прошу у тебя поясненія. Если отношенія наши прежнія, то благоволи пожаловать ко мнѣ на блины въ пятницу, т.-е., завтра во 2 часу. Если отношенія наши не прежнія, то я буду имѣть *тя отреченна*, и повторю съ сожалѣніемъ, но спокойно: Богъ съ нимъ. Впрочемъ, да будетъ Онъ съ тобою и во всякомъ случаѣ" [39]).

XVII.

К. С. Аксаковъ въ то время погрузился въ таинство Русской Грамматики. „Ну что, какъ понравилась Грамматика дамамъ“,—писалъ иронически братъ его Иванъ отцу своему (15 января 1850 г.),—„или, лучше сказать, понятною ли она имъ показалась? Я не говорю про К. А. Свербееву. Я думаю, что она скоро будетъ писать къ Константину записки: *и ты бы, государь, мнѣ отписалъ какъ тебя Богъ милуетъ* и проч. и проч. Не пришли на память выраженія поэффектнѣе. За чтеніемъ Грамматики, вѣроятно, послѣдуетъ чтеніе грамотъ, лѣтописей и писемъ царя Василія Ивановича къ женѣ его Оленѣ. Я бы желалъ, впрочемъ, чтобы Константинъ преимущественно занимался Грамматикою, а не статьями о литературѣ, которую цензура не пропуститъ, которая, мнѣ кажется, немножко опоздала и несвоевременна“.

Въ томъ же 1850 году, К. С. Аксаковъ совершилъ два необычныя для него путешествія въ Ростовъ и Кіевъ, къ великому безпокойству и огорченію его родителей, такъ какъ они ни на минуту не желали разставаться съ своимъ возлюбленнымъ первенцемъ. Путешествіе въ Ростовъ К. С. Аксаковъ предпринялъ для свиданія съ своимъ братомъ Иваномъ.

20 марта 1850 года, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Вотъ и Константинъ здѣсь! Я очень радъ, что онъ пріѣхалъ, такъ радъ, что даже балую его, т.-е., угощаю его обществомъ лучшихъ людей всей Ярославской губерніи. По случаю ярмарки сюда собрались разные мои хорошіе и короткіе пріятели, пріобрѣтенные мною во время моего пребыванія въ разныхъ уѣздахъ этой губерніи. Всѣхъ ихъ я уже предупредилъ о Константинѣ, всѣ они уже знакомы черезъ меня съ нашимъ образомъ мыслей, такъ что Константинъ пріѣхалъ какъ бы къ давно знакомымъ людямъ. Съ одной стороны, это ему пріятно, съ другой—я бы желалъ, чтобы онъ лицомъ къ лицу встрѣтился съ дѣйствительностью. До сихъ поръ это не со-

всѣмъ удавалось; къ тому же я теряю надежду, чтобы когда либо онъ былъ способенъ ее увидать. Этотъ человѣкъ никогда не смущался, не сомнѣвался въ своихъ убѣжденіяхъ,—и мы во многихъ взглядахъ по этому случаю съ нимъ расходимся. Осматривали нынче древности Ростова, находящіяся въ жалкомъ видѣ разрушенія. Но какъ хороши онѣ! Особенно внутренность двухъ церквей, въ которыхъ уже не служатъ. Осматривали мы съ здѣшнимъ протопопомъ и съ цѣлой компаніей купцовъ. Бритые лучше и благонадежнѣе небритыхъ; въ этомъ принужденъ былъ сознаться самъ Константинъ! По случаю его пребыванія, у насъ почти каждый часъ гости и, если Константинъ останется дольше, чего я очень желаю, то я ему отведу особую комнату и распредѣлю время — и его заставлю заниматься — и мои занятія пойдутъ своимъ чередомъ. Отслужили молебный, въ первый же день пріѣзда, Димитрію Ростовскому; прикладывались ко всѣмъ мощамъ и вчера слушали нарочно для насъ заказанный звонъ на соборной колокольнѣ. Здѣсь колокола подобраны по нотамъ, и существуютъ три разные звона, которые всѣ были для насъ съиграны. Во всякомъ случаѣ, я думаю, что это путешествіе будетъ не только пріятно Константину (и послужитъ для него источникомъ разсказовъ и доказательствъ), но и весьма полезно".

Получивъ это письмо, С. Т. Аксаковъ писалъ своимъ сыновьямъ: „Милые друзья мои, Константинъ и Иванъ! Въ первый разъ это случилось въ моей жизни, что я пишу къ вамъ общее письмо. Къ Ваничкѣ вмѣстѣ съ Гришей писывалъ часто. Все это время всякій день, и не одинъ разъ, воображаемъ мы, какъ вы вмѣстѣ ходите по ярмаркѣ, разговариваете съ купцами, мѣщанами и народомъ; какъ вы сидите другъ противъ друга, перестрѣливаясь облаками дыма и мало-по-малу начинаете спорить, какъ нетерпѣливо морщится мой Иванъ и какъ горячо развиваетъ Константинъ свои неизмѣнныя убѣжденія, непреложныя и святыя истины, въ сущности и не прилагаемыя ни къ какому обществу, даже къ православной Русской общинѣ".

По поводу полученнаго изъ Ростова письма К. С. Аксакова, отецъ его писалъ его брату: „Ты совершенно правъ, предполагая, что Константинъ никогда не узнаетъ дѣйствительности. Если ты читалъ его письмо къ намъ, то конечно и смѣялся и досадовалъ. Хомяковъ наслаждался, читая его неожиданные выводы. Кажется, остается желать, чтобъ онъ на всю жизнь оставался въ своемъ пріятномъ заблужденіи: ибо прозрѣніе невозможно безъ тяжкихъ и горькихъ опытовъ.

Такъ пусть его живетъ,
Да вѣритъ Руси совершенству.

Я считаю не только безполезными, но даже вредными такія маленькія путешествія относительно его ошибочныхъ убѣжденій. Время такъ коротко, что запасъ радужныхъ цвѣтовъ, которыми онъ облекаетъ всѣ встрѣчающіеся ему предметы, не успѣетъ истощиться, и онъ только коснѣетъ въ своихъ мечтательныхъ вѣрованіяхъ“.

Въ день отъѣзда изъ Ростова своего брата Константина, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу (25 марта 1850 г.): „Сейчасъ провожаю Константина... Я хотѣлъ познакомить его съ разными новыми сторонами жизни и съ нѣкоторыми совершенно оригинальными лицами, что̀ мнѣ и удалось. Я считаю его пребываніе здѣсь ему очень полезнымъ... Кажется, онъ призналъ нѣсколько важность практическихъ вопросовъ и сторонъ жизни и просто при моей помощи познакомится съ нѣкоторыми учрежденіями правительственными обширнѣе, чѣмъ прежде. Ну, да онъ самъ вамъ все разскажетъ. Посылается съ просфорой, кромѣ другихъ образовъ, образокъ, лежавшій на самыхъ мощахъ св. Авраамія, что̀ было сдѣлано нарочно для насъ“.

Въ другомъ письмѣ (14 апрѣля 1850 года), И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Послѣ отъѣзда Константина, принявшись дѣятельно за работу по Ростову, я далъ себя узнать ближе, самъ сблизился короче съ гражданами, сдѣлалъ много новыхъ знакомствъ, и, могу сказать, нигдѣ, ни въ какомъ городѣ мой характеръ, мои стремленія не были такъ поняты,

какъ въ Ростовѣ. Хлѣбниковъ оцѣнилъ мое безпристрастіе и не можетъ безъ слезъ со мною разставаться, и всѣ они полны уваженія и любви, что̀ мнѣ гораздо пріятнѣе всякихъ дворянскихъ отзывовъ“ [40]).

По приказанію Овера, К. С. Аксаковъ съ своими больными сестрами предпринялъ путешествіе въ Кіевъ. 11 сентября 1850 года А. О. Смирнова писала Гоголю: „Скажу вамъ чудо: К. С. Аксаковъ поѣхалъ въ Кіевъ“ [41]). Гоголь весьма сочувственно отнесся къ этому путешествію и писалъ К. С. Аксакову: „Оказывается, что вамъ очень недурно съѣздить въ Кіевъ. Во-первыхъ, чтобы не обидѣть первопрестольной столицы, а во-вторыхъ, чтобы, задавши работу ногамъ, освѣжить голову, совершая путь пополамъ съ подсѣдомъ на телѣгу и съ напускомъ пѣхандочка, совокупно съ ними оттоптавши дорогу до Глухова, откуда Кіевъ уже подъ носомъ“ [42]).

На обратномъ пути съ Востока, князь П. А. Вяземскій посѣтилъ Кіевъ и тамъ встрѣтился съ К. С. Аксаковымъ, который, 31 августа 1850 года, писалъ М. А. Максимовичу, уже возвратившемуся изъ Москвы на свою Михайлову Гору:

„Любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ! мы въ *Кіевѣ!*.. Каково! Извѣщаемъ васъ объ этомъ, какъ обѣщали мы вамъ въ Москвѣ. Очень жалѣемъ, что васъ нѣтъ здѣсь. Вы бы показали намъ Кіевъ со всѣхъ возможныхъ сторонъ. Еслибъ мы поѣхали ранѣе, мы бы поѣхали на Переяславль непремѣнно. Теперь, когда дорога становится уже такъ дурна, что мы спѣшимъ обратно къ Москву. Сестра вамъ кланяется и очень жалѣетъ, что васъ нѣтъ здѣсь. Что̀ вы и Николай Васильевичъ Гоголь не дали извѣстія о себѣ? Кіевъ всѣхъ насъ привелъ въ восхищеніе. Но Малороссія вздумала угостить насъ морозомъ и холодной погодой... Мы остановились въ гостинницѣ Лондонъ, близъ Печерска. Вяземскій здѣсь и также очень желаетъ васъ видѣть“.

По мѣткому выраженію С. И. Пономарева, „Кіевъ проглядѣлъ нашего знаменатаго паломника“ [43]).

По дорогѣ въ Москву, К. С. Аксаковъ посѣтилъ подъ Тулою Хомяковское село Богучарово и владѣлецъ его, 6 ноября 1850 года, писалъ А. Н. Попову: „Здѣсь безъ меня былъ у насъ Аксаковъ. Жена говоритъ, что Малороссію бранитъ. Я этого ждалъ“ [44]).

XVIII.

По сложившимся обстоятельствамъ, К. С. Аксаковъ былъ что-называется неисправимымъ идеалистомъ и таковымъ пребывалъ до конца своей жизни. Нѣчто другое представляетъ собою братъ его Иванъ. Воспитаніе въ Училищѣ Правовѣдѣнія и послѣдующая затѣмъ служебная и общественная дѣятельность, сразу поставили его лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью, а потому міросозерцаніе двухъ братьевъ было далеко не одинаково. „Я не могу“,—писалъ И. С. Аксаковъ своему отцу (13 марта 1850 года),—„подобно Константину, утѣшаться такими фразами: *главное—принципъ, остальное—случайность*, или: *что Русскій народъ ищетъ царствія Божія!..* и т. д. Равнодушіе къ пользамъ общимъ, лѣнь, апатія и предпочитаніе собственныхъ выгодъ—признаются за исканіе царства Божія! Что касается до *принципа*, то, признаюсь, это выраженіе Константина заставило меня улыбнуться. Это все равно, что говорить голодному: другъ мой, ты будешь сытъ на томъ свѣтѣ, а теперь голодай, это случайность; намажь хлѣбъ принципомъ, вмѣсто масла, посыпай принципомъ — и вкусно; нужды нѣтъ, что сотни тысячъ умрутъ, другія сотни уйдутъ,—это случайность. Легкое утѣшеніе. Еслибы я такъ вѣрилъ въ принципъ и въ жизненность этого принципа въ Русскомъ народѣ, то, право, и горевать бы не сталъ. Возмущаютъ меня факты, — ничего, вынулъ изъ кармана табакерку, понюхалъ принципа—и счастливъ! Гдѣ онъ — этотъ принципъ? Куда затесался? Поди, Константинъ, достань пыльную лѣтопись, поищи его въ XII и XIII вѣкѣ, когда князья

терзали Русскую Землю, воюя другъ у друга удѣлы... Поздравляю съ этой находкой".

Отъ путешествія К. С. Аксакова въ Ростовъ братъ его, какъ мы уже знаемъ, ожидалъ большой пользы и онъ (10-го апрѣля 1850 года) писалъ ему:

„Я радъ, что ты призналъ важность значенія купцовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣроятно, важность практическихъ вопросовъ жизни. Но странны мнѣ слова, гдѣ ты предлагаешь мнѣ согласиться, что купецъ не чуждъ народу... Развѣ и это отрицалъ когда-нибудь? Я говорилъ только, что этотъ близкій народу человѣкъ, не вооруженный сознаніемъ, податливѣе на обольщенія Петровскаго переворота, менѣе благонадеженъ, чѣмъ тотъ, кто уже совершилъ путь отрицанія. Ив. Ал. Куликовъ, менѣе Русскій, не такъ проченъ, какъ Поповъ, Серебренниковъ и другіе. Кстати, ты не увѣряешь ли другихъ, что Поповъ ходитъ въ Русской одеждѣ, не заказываетъ платья у Французскаго портного? Поповъ совершилъ точно такой путь отрицанія, какъ и мы; къ тому же онъ человѣкъ съ образованіемъ, читающій всѣ журналы и Англійскіе романы, а непредоставленный собственнымъ силамъ. Слѣдовательно, приведенный тобою примѣръ сюда не идетъ, а доказываетъ только мою мысль о томъ, что необходимо и необходимо образованіе и что оно только, вооружая человѣка мыслью и сознаніемъ, способно и исправить человѣка и остановить его на полу-горѣ... Послѣ твоего отъѣзда я познакомился еще съ нѣкоторыми купцами. Все бритые, но очень умные и хорошіе люди. Всѣ они интересны своими практическими познаніями и стремленіями. Всѣ они — какъ мы, и что замѣчательно, что ни въ одномъ городѣ, кромѣ Ростова, я не встрѣчалъ, — съ совершеннѣйшею свободою, независимостью, самостоятельностью, безо всякихъ претензій и чопорности. Здѣсь также та особенность, что купцы съ женами посѣщаютъ другъ-друга по вечерамъ, собираются вмѣстѣ большими обществами, тогда какъ въ Ярославлѣ и въ Рыбинскѣ жены вѣчно дома, и собранія бываютъ только въ торжествен-

ныхъ случаяхъ, сопровождаемыя убійственнымъ молчаніемъ. Правда и то, что здѣсь, собравшись, дамы, если не танцуютъ, такъ играютъ въ карты; дома же, кромѣ хозяйства, занимаются чтеніемъ, музыкой.—Нынче опять общественное собраніе, только не по моимъ предложеніямъ, а потому я и ѣду посмотрѣть. Хлѣбниковъ и вся его партія также ѣдетъ, и я вчера на купеческомъ вечерѣ у Маракуева слышалъ уже серьезные толки по этому случаю между умнѣйшими града. Тутъ безпрестанно снуютъ слова: общество, мы, выбранный, довѣріе и проч. Пріѣхавъ, я разскажу цѣль собранія. Эхъ! Не мѣшало бы тебѣ поучиться дѣйствующему Русскому праву и узнать существующія учрежденія. Тогда бы ты понималъ ближе, гдѣ опасность, гдѣ ея нѣтъ и чего можно ожидать... Я и такъ уже поучилъ тебя здѣсь; буду учить въ Москвѣ. Хлѣбниковъ получилъ твое письмо, весьма оттого счастливъ и уже началъ писать отвѣтъ. Мы съ нимъ почти каждый день видаемся. Онъ недавно сдѣлалъ ссылку на твою драму, но такъ, что ты бы поморщился. Говоря о томъ, что на общественныя собранія не надо пускать всѣхъ, а только выбранныхъ, высказывая свое нѣкоторое подозрѣніе къ народу, который кричитъ вслѣдъ за тѣмъ, кто побойчѣе и поумнѣе, и что у толпы всегда есть коноводъ, онъ сослался на твою драму, гдѣ народъ хоромъ повторяетъ то, что скажетъ Мининъ или другой кто... Вотъ неожиданный репримандъ! Я такъ и расхохотался отъ мысли, что глупость люда народнаго доказываетъ твоею драмою!.. Нашелъ я здѣсь еще двухъ крестьянъ-стихотворцевъ, пишущихъ риѳмами; достоинства въ стихахъ ихъ мало; стихи, какъ стихи, преплохи, однако все это замѣчательно и доказываетъ, что не одни духовныя книги читаетъ народъ. Впрочемъ, они оба крѣпкіе православные и нравственные люди. Одинъ изъ нихъ мучится желаніемъ, совершенно безкорыстнымъ, выразить преданность „престолу“.

Религіозныя и бытовыя воззрѣнія И. С. Аксакова также не раздѣлялись его семействомъ. Въ одномъ письмѣ онъ писалъ своему отцу: „Христіанское ученіе, приказывающее любить ближ-

няго и ненавидѣть жизнь и миръ и все земное, разрушаетъ жизнь, и эту разрушающую силу сознаю я ежеминутно, не имѣя силъ для зиждительной вѣры... Ну, да что объ этомъ говорить...“ На это С. Т. Аксаковъ съ горячностью отвѣчалъ своему сыну: „Письмо твое, милый другъ, написано въ раздраженномъ состояніи духа. Неужели ты постоянно въ немъ находишься? Боже сохрани! Думая видѣть ясно, ты доходишь до слѣпоты: гдѣ же Христіанское ученіе приказываетъ ненавидѣть жизнь? Нетерпѣливо станемъ ждать отъ тебя стиховъ: содержаніе ихъ будетъ горько, но человѣку отрадно услышать сильное выраженіе общаго намъ безотраднаго чувства“.

Не могли также произвести пріятное впечатлѣніе и слѣдующія строки И. С. Аксакова къ своей матери: „Вамъ, милая маминька, нужнымъ считаю доложить, что отслужилъ молебенъ Димитрію Ростовскому, который высокаго роста, и у раки котораго есть серебряная доска съ надписью и стихами, сочиненія Ломоносова. У Ростова, кажется, своихъ собственныхъ святынь будетъ съ десятокъ: мощей открытыхъ и подъ спудомъ премного. Я съ удовольствіемъ отслужилъ молебенъ Димитрію, котораго уважаю больше другихъ святыхъ и къ которому имѣешь сочувствіе, какъ къ литератору“. Или: „Прошу сестеръ не слишкомъ усердствовать въ постѣ и въ хожденіи въ церковь. Я самъ постничаю; впрочемъ, ѣмъ рыбу, и, признаюсь, вовсе не сталъ бы постничать, ибо круглый годъ ѣмъ умѣренно и не чувствую никакой въ постѣ потребности; да совѣстно предъ Аѳанасіемъ и купцами“.

А вотъ воззрѣніе И. С. Аксакова на *Русскій бракъ*: „Еслибы Константина“,—писалъ онъ,—„поймать на словѣ въ его толкованіяхъ о бракѣ и въ его оправданіяхъ *Русскаго брака*, какимъ онъ былъ въ старину и теперь существуетъ, такъ я бы его давно женилъ. Вотъ Мологскій голова выдалъ дочь свою замужъ за сына Мышкинскаго головы, по уговору съ отцомъ, а молодые люди другъ друга и въ глаза не видали и не слыхали другъ о другѣ. И живутъ счастливо, т.-е., какое жъ это счастье, это покойное прозябаніе, — живутъ хорошо, потому

что нѣтъ большихъ требованій: сала не ѣстъ, чернилъ не пьетъ, какъ говорится по-Нѣмецки, дѣти являются въ срокъ, выторговать копейку на рынкѣ умѣетъ, набожна по заведенію... Ничего другого не спрашивается... Оно и лучше: мужья большею частью въ отлучкахъ и въ разъѣздахъ по торговлѣ, и разлука эта не тяжела, тѣмъ болѣе, что дома жены подъ надзоромъ свекровей, да и по образу ихъ жизни не встрѣчается искушеній... Безспорно, что все это очень хорошо, и нравственный домашній бытъ нашихъ купцовъ заслуживаетъ похвалы; но нельзя не сознаться, что эта нравственность безъ борьбы, вѣра безъ сомнѣній, жизнь безъ стремленій. Борьба, стремленія, сомнѣнія, вопросы, старыя, но живущія слова— вы ничего не разрѣшаете, ни къ чему не приводите, развѣ только къ горю и разладу,—но да пусть будетъ такъ. Все это такъ пришлось къ слову, тѣмъ болѣе, что упомянувъ о Русскомъ бракѣ, я вспомнилъ, что видѣлъ вчера у головы эту молодую и прекрасную собой женщину, которая такъ безцеремонно (по моимъ, а не по ихъ понятіямъ) выдана. Вспомнилъ я также про другую молодую купчиху, зачахшую отъ немилаго брака... но этотъ послѣдній случай—такая неслыханная рѣдкость, что не образумилъ купцовъ. Нельзя себѣ представить, до какого страшнаго деспотизма доходитъ власть отца въ купеческомъ быту и не только отца, но вообще старшаго въ семьѣ! Имъ большею частію и не приходитъ въ голову, чтобъ у младшихъ могли быть свои хотѣнія и взгляды, а младшимъ не приходитъ въ голову и мысль о возможности сопротивленія. Все это, разумѣется, переходитъ даже границы, назначенныя церковью, которая при бракѣ спрашиваетъ о согласіи самихъ вѣнчающихся. Все это мнѣ разсказывалъ очень подробно одинъ купецъ въ Москвѣ. Въ то же время И. С. Аксаковъ доказывалъ весь вредъ отъ „исключительнаго чтенія народомъ церковныхъ книгъ“.

Холодно и иронически относился И. С. Аксаковъ и къ церковнымъ и народнымъ обычаямъ. Такъ, въ письмѣ его, отъ 5-го февраля 1850 года, мы читаемъ: „Вчера

няго и ненавидѣть жизнь и миръ и все земное, разрушаетъ жизнь, и эту разрушающую силу сознаю я ежеминутно, не имѣя силъ для зиждительной вѣры... Ну, да что объ этомъ говорить..." На это С. Т. Аксаковъ съ горячностью отвѣчалъ своему сыну: „Письмо твое, милый другъ, написано въ раздраженномъ состояніи духа. Неужели ты постоянно въ немъ находишься? Боже сохрани! Думая видѣть ясно, ты доходишь до слѣпоты: гдѣ же Христіанское ученіе приказываетъ ненавидѣть жизнь? Нетерпѣливо станемъ ждать отъ тебя стиховъ: содержаніе ихъ будетъ горько, но человѣку отрадно услышать сильное выраженіе общаго намъ безотраднаго чувства".

Не могли также произвести пріятное впечатлѣніе и слѣдующія строки И. С. Аксакова къ своей матери: „Вамъ, милая маминька, нужнымъ считаю доложить, что отслужилъ молебенъ Димитрію Ростовскому, который высокаго роста, и у раки котораго есть серебряная доска съ надписью и стихами, сочиненія Ломоносова. У Ростова, кажется, своихъ собственныхъ святынь будетъ съ десятокъ: мощей открытыхъ и подъ спудомъ премного. Я съ удовольствіемъ отслужилъ молебенъ Димитрію, котораго уважаю больше другихъ святыхъ и къ которому имѣешь сочувствіе, какъ къ литератору". Или: „Прошу сестеръ не слишкомъ усердствовать въ постѣ и въ хожденіи въ церковь. Я самъ постничаю; впрочемъ, ѣмъ рыбу, и, признаюсь, вовсе не сталъ бы постничать, ибо круглый годъ ѣмъ умѣренно и не чувствую никакой въ постѣ потребности; да совѣстно предъ Аѳанасіемъ и купцами".

А вотъ воззрѣніе И. С. Аксакова на *Русскій бракъ*: „Еслибы Константина",—писалъ онъ,—„поймать на словѣ въ его толкованіяхъ о бракѣ и въ его оправданіяхъ *Русскаго брака*, какимъ онъ былъ въ старину и теперь существуетъ, такъ я бы его давно женилъ. Вотъ Мологскій голова выдалъ дочь свою замужъ за сына Мышкинскаго головы, по уговору съ отцомъ, а молодые люди другъ друга и въ глаза не видали и не слыхали другъ о другѣ. И живутъ счастливо, т.-е., какое жъ это счастье, это покойное прозябаніе, — живутъ хорошо, потому

что нѣтъ большихъ требованій: сала не ѣстъ, чернилъ не пьетъ, какъ говорится по-Нѣмецки, дѣти являются въ срокъ, выторговать копейку на рынкѣ умѣетъ, набожна по заведенію... Ничего другого не спрашивается... Оно и лучше: мужья большею частью въ отлучкахъ и въ разъѣздахъ по торговлѣ, и разлука эта не тяжела, тѣмъ болѣе, что дома жены подъ надзоромъ свекровей, да и по образу ихъ жизни не встрѣчается искушеній... Безспорно, что все это очень хорошо, и нравственный домашній бытъ нашихъ купцовъ заслуживаетъ похвалы; но нельзя не сознаться, что эта нравственность безъ борьбы, вѣра безъ сомнѣній, жизнь безъ стремленій. Борьба, стремленія, сомнѣнія, вопросы, старыя, но живущія слова— вы ничего не разрѣшаете, ни къ чему не приводите, развѣ только къ горю и разладу,—но да пусть будетъ такъ. Все это такъ пришлось къ слову, тѣмъ болѣе, что упомянувъ о Русскомъ бракѣ, я вспомнилъ, что видѣлъ вчера у головы эту молодую и прекрасную собой женщину, которая такъ безцеремонно (по моимъ, а не по ихъ понятіямъ) выдана. Вспомнилъ я также про другую молодую купчиху, зачахшую отъ немилаго брака... но этотъ послѣдній случай—такая неслыханная рѣдкость, что не образумилъ купцовъ. Нельзя себѣ представить, до какого страшнаго деспотизма доходитъ власть отца въ купеческомъ быту и не только отца, но вообще старшаго въ семьѣ! Имъ большею частію и не приходитъ въ голову, чтобъ у младшихъ могли быть свои хотѣнія и взгляды, а младшимъ не приходитъ въ голову и мысль о возможности сопротивленія. Все это, разумѣется, переходитъ даже границы, назначенныя церковью, которая при бракѣ спрашиваетъ о согласіи самихъ вѣнчающихся. Все это мнѣ разсказывалъ очень подробно одинъ купецъ въ Москвѣ. Въ то же время И. С. Аксаковъ доказывалъ весь вредъ отъ „исключительнаго чтенія народомъ церковныхъ книгъ“.

Холодно и иронически относился И. С. Аксаковъ и къ церковнымъ и народнымъ обычаямъ. Такъ, въ письмѣ его, отъ 5-го февраля 1850 года, мы читаемъ: „Вчера

былъ я у купца Серебренникова на поминальномъ обѣдѣ, по случаю истеченія сорока дней отъ смерти его матери. Хотя церковь и освящаетъ этотъ обычай, но онъ постоянно сохраняетъ характеръ языческій. Передъ обѣдомъ была панихида съ кутьей; за обѣдомъ, передъ киселемъ (здѣсь употребляютъ въ подобныхъ случаяхъ кисель), попы пропѣли заупокойную и пропѣли полупьяно, потому что это было въ концѣ обѣда. Послѣ этого сейчасъ подали вмѣсто шампанскаго красное церковное вино, которое было выпито въ память покойницы. Наконецъ, послѣ обѣда подавалась, какъ говорятъ, заупокойная чаша. Попы вновь отслужили что слѣдуетъ, а затѣмъ каждый выпивалъ стаканъ меду или пива, обращаясь къ хозяину, крестясь и желая покойницѣ царства небеснаго. Самый обѣдъ происходилъ шумно и довольно весело" [45]).

Иначе относился Хомяковъ къ этимъ явленіямъ нашей народной жизни. „Въ Ростовѣ на ярмаркѣ", — писалъ онъ (2 апрѣля 1850 г.) къ графинѣ А. Д. Блудовой, — „дѣлается большой торгъ колоколами. Повѣренный отъ какого-нибудь бѣднаго прихода даетъ задатокъ за колоколъ и вывѣшиваетъ свою покупку на площади. Подъ колоколомъ блюдечко; подлѣ колокола сторожъ, объявляющій цѣну его и состояніе прихода. Въ блюдечко падаютъ гроши и гривенники, а иногда и тысячи рублей. За каждое приношеніе, будь оно грошъ или тысяча, колоколъ, слегка тронутый сторожемъ, отзывается благодарнымъ звономъ... Вотъ простые обычаи Московской земли" [46]).

Живо интересуясь самъ Русскою Исторіею, И. С. Аксаковъ, во время пребыванія своего въ Ярославской губерніи, стремился заинтересовать ею и другихъ. „Мнѣ бы хотѣлось", — писалъ онъ изъ Любима, 1 іюля 1850 г., своему отцу, — „по окончаніи своего порученія написать большую статью или записку о современномъ положеніи и значеніи городскихъ общинъ въ Россіи и ихъ отношеніяхъ къ правительству, но не знаю, успѣю ли. Необходимымъ дополненіемъ къ этому труду было бы изложеніе исторіи внутренней жизни и администраціи городовъ, хоть съ XVI вѣка, да гдѣ

ее взять. Я начинаю думать, что у насъ съ XVI вѣка до Екатерины городскихъ общинъ не существовало; если вѣчевой колоколъ и висѣлъ въ Москвѣ до чумы, такъ за то и молчалъ по цѣлымъ вѣкамъ или же исправлялъ должность обыкновеннаго набата. Кромѣ историческихъ доказательствъ, я беру доказательства изъ современнаго характера старыхъ и новыхъ городовъ. Впрочемъ, это вопросы серьезные, о нихъ при свиданіи. Жалѣю только, что не имѣю ни времени, ни матеріаловъ для подробнѣйшихъ изслѣдованій,—а никто другой этимъ порядочно не займется, да и занимаясь, не пойметъ такъ, какъ пойметъ человѣкъ служащій. Если ученые, живя въ отвлеченномъ мірѣ, вѣчно въ своемъ кабинетѣ, не могутъ понять практической, живой стороны административныхъ вопросовъ, то какъ имъ понять эту сторону темныхъ административныхъ вопросовъ старины! Отъ этого и кажется Константину, что старинная администрація была превосходна, что внутреннія таможни между городами — прелесть, верхъ финансовыхъ соображеній, что кормленіе воеводъ—идеалъ справедливости!"

Въ другомъ письмѣ, изъ Мышкина, И. С. Аксаковъ сообщалъ своему отцу: „Въ Мологѣ отыскалъ я одного мѣщанина, Финютина, который любитъ занятія письменныя, собираетъ старинныя грамоты и намѣревается писать исторію своего города. Я сейчасъ поставилъ его въ сношенія съ Ярославскими любителями старины и далъ ему нѣкоторые способы, напримѣръ, открылъ для него мѣстные архивы и т. п. Такимъ образомъ, отыскивая по всѣмъ городамъ и уѣздамъ людей любознательныхъ и пишущихъ, я завожу между ними взаимную связь съ цѣлью, чтобы они могли другъ другу помогать сообщать открытія и дружнѣе работать. Еслибъ я дольше оставался въ Ярославской губерніи, то непремѣнно учредилъ бы въ Ярославлѣ Статистическій Комитетъ, членами котораго были бы всѣ эти разбросанные въ разныхъ углахъ господа. Такимъ способомъ можно было бы много сдѣлать для разработки мѣстной исторіи и статистики. Признаюсь, весело мнѣ видѣть, что и те-

былъ я у купца Серебренникова на поминальномъ обѣдѣ, по случаю истеченія сорока дней отъ смерти его матери. Хотя церковь и освящаетъ этотъ обычай, но онъ постоянно сохраняетъ характеръ языческій. Передъ обѣдомъ была панихида съ кутьей; за обѣдомъ, передъ киселемъ (здѣсь употребляютъ въ подобныхъ случаяхъ кисель), попы пропѣли заупокойную и пропѣли полупьяно, потому что это было въ концѣ обѣда. Послѣ этого сейчасъ подали вмѣсто шампанскаго красное церковное вино, которое было выпито въ память покойницы. Наконецъ, послѣ обѣда подавалась, какъ говорятъ, заупокойная чаша. Попы вновь отслужили что слѣдуетъ, а затѣмъ каждый выпивалъ стаканъ меду или пива, обращаясь къ хозяину, крестясь и желая покойницѣ царства небеснаго. Самый обѣдъ происходилъ шумно и довольно весело" [45]).

Иначе относился Хомяковъ къ этимъ явленіямъ нашей народной жизни. „Въ Ростовѣ на ярмаркѣ", — писалъ онъ (2 апрѣля 1850 г.) къ графинѣ А. Д. Блудовой, — „дѣлается большой торгъ колоколами. Повѣренный отъ какого-нибудь бѣднаго прихода даетъ задатокъ за колоколъ и вывѣшиваетъ свою покупку на площади. Подъ колоколомъ блюдечко; подлѣ колокола сторожъ, объявляющій цѣну его и состояніе прихода. Въ блюдечко падаютъ гроши и гривенники, а иногда и тысячи рублей. За каждое приношеніе, будь оно грошъ или тысяча, колоколъ, слегка тронутый сторожемъ, отзывается благодарнымъ звономъ... Вотъ простые обычаи Московской земли" [46]).

Живо интересуясь самъ Русскою Исторіею, И. С. Аксаковъ, во время пребыванія своего въ Ярославской губерніи, стремился заинтересовать ею и другихъ. „Мнѣ бы хотѣлось", — писалъ онъ изъ Любима, 1 іюля 1850 г., своему отцу, — „по окончаніи своего порученія написать большую статью или записку о современномъ положеніи и значеніи городскихъ общинъ въ Россіи и ихъ отношеніяхъ къ правительству, но не знаю, успѣю ли. Необходимымъ дополненіемъ къ этому труду было бы изложеніе исторіи внутренней жизни и администраціи городовъ, хоть съ XVI вѣка, да гдѣ

ее взять. Я начинаю думать, что у насъ съ XVI вѣка до Екатерины городскихъ общинъ не существовало; если вѣчевой колоколъ и висѣлъ въ Москвѣ до чумы, такъ за то и молчалъ по цѣлымъ вѣкамъ или же исправлялъ должность обыкновеннаго набата. Кромѣ историческихъ доказательствъ, я беру доказательства изъ современнаго характера старыхъ и новыхъ городовъ. Впрочемъ, это вопросы серьезные, о нихъ при свиданіи. Жалѣю только, что не имѣю ни времени, ни матеріаловъ для подробнѣйшихъ изслѣдованій,—а никто другой этимъ порядочно не займется, да и занимаясь, не пойметъ такъ, какъ пойметъ человѣкъ служащій. Если ученые, живя въ отвлеченномъ мірѣ, вѣчно въ своемъ кабинетѣ, не могутъ понять практической, живой стороны административныхъ вопросовъ, то какъ имъ понять эту сторону темныхъ административныхъ вопросовъ старины! Отъ этого и кажется Константину, что старинная администрація была превосходна, что внутреннія таможни между городами — прелесть, верхъ финансовыхъ соображеній, что кормленіе воеводъ—идеалъ справедливости!"

Въ другомъ письмѣ, изъ Мышкина, И. С. Аксаковъ сообщалъ своему отцу: „Въ Мологѣ отыскалъ я одного мѣщанина, Финютина, который любитъ занятія письменныя, собираетъ старинныя грамоты и намѣревается писать исторію своего города. Я сейчасъ поставилъ его въ сношенія съ Ярославскими любителями старины и далъ ему нѣкоторые способы, напримѣръ, открылъ для него мѣстные архивы и т. п. Такимъ образомъ, отыскивая по всѣмъ городамъ и уѣздамъ людей любознательныхъ и пишущихъ, я завожу между ними взаимную связь съ цѣлью, чтобы они могли другъ другу помогать сообщать открытія и дружнѣе работать. Еслибъ я дольше оставался въ Ярославской губерніи, то непремѣнно учредилъ бы въ Ярославлѣ Статистическій Комитетъ, членами котораго были бы всѣ эти разбросанные въ разныхъ углахъ господа. Такимъ способомъ можно было бы много сдѣлать для разработки мѣстной исторіи и статистики. Признаюсь, весело мнѣ видѣть, что и те-

перь моими стараніями эта часть довольно таки оживилась. *Губернскія Вѣдомости* стали лучше и безпрерывно наполняются статьями крестьянъ, купцовъ и мѣщанъ, большею частію мною вызванныхъ и поощренныхъ. Угличскіе Серебренниковы усердно трудятся надъ архивомъ, въ которомъ находятъ любопытнѣйшіе документы, и который открытъ для нихъ по моимъ оффиціальнымъ (безо всякаго, впрочемъ, съ моей стороны права) требованіямъ. Въ послѣднемъ нумерѣ *Губернскихъ Вѣдомостей* напечатана съ моихъ словъ покорнѣйшая просьба редакціи ко всѣмъ грамотнымъ крестьянамъ, трудиться надъ мѣстными изслѣдованіями и присылать свои труды въ редакцію. И особенно пріятно было мнѣ видѣть, что обстоятельство это, дѣлаясь извѣстнымъ, пріобрѣтаетъ читателей между крестьянами и возбуждаетъ во многихъ охоту къ этимъ занятіямъ, даже родъ соревнованія".

Въ то время произошло, кажется, примиреніе Погодина съ Аксаковыми. Въ этомъ же удостовѣряетъ сохранившаяся записочка К. С. Аксакова къ Погодину: „Почтеннѣйшій и добрѣйшій Михаилъ Петровичъ! Отесенька съ маменькой и мы всѣ поздравляемъ васъ со днемъ вашихъ имянинъ и пр." Въ *Дневникѣ* же Погодина, подъ 6 декабря 1850 года, встрѣчаемъ слѣдующую запись: „Завтракъ у Павловыхъ. Искреннія изліянія съ Константиномъ Аксаковымъ... Радъ былъ, что не нашлось ни малѣйшаго зла противъ него и вспомнилъ старое время. Грановскому сказалъ глупца и онъ выслушалъ съ удовольствіемъ. Съ Глинкою о прошедшемъ, а Каролина Карловна несносная".

Мы уже знаемъ, что по освобожденіи, въ 1849 году, изъ-подъ ареста, Ю. Ѳ. Самаринъ былъ отпущенъ императоромъ Николаемъ I-мъ въ Москву, для успокоенія отца. Знаемъ также, что въ политическомъ отношеніи положеніе Самарина въ Москвѣ „было незавидное". Изъ писемъ же И. С. Аксакова къ А. О. Смирновой мы узнаемъ о частной жизни освобожденнаго, за это время. „Самаринъ",—пишетъ И. С. Аксаковъ, — „почти черезъ день является къ намъ вечеромъ и

почти всегда садится играть въ карты съ батюшкой, съ Чижовымъ и съ Загоскинымъ. Самаринъ играетъ съ пресмѣшною важностью. Онъ довольно добръ и веселъ, но жестоко скучаетъ, что̀ очень понятно... Москва можетъ быть освѣжительнымъ отдыхомъ и развлеченіемъ на весьма недолгое время. Я, впрочемъ, не признаю Самарина очень практическимъ человѣкомъ; но здѣсь, со своими пріятелями, онъ является самымъ практическимъ изъ нихъ, вслѣдствіе чего возникаютъ разные споры, обыкновенно оканчивающіеся картами. Здѣсь Самаринъ защищаетъ взгляды Ханыкова, съ которымъ однако самъ споритъ въ Петербургѣ. Несмотря на дружескія отношенія, мнѣ кажется, что связь его съ Московскими теоретиками видимо слабѣетъ, и если онъ сейчасъ воротится въ Петербургъ, то она почти совсѣмъ подорвется. Лучше ли это будетъ, не знаю; думаю—напротивъ... Если Самаринъ оторвется самостоятельно отъ Москвы, то онъ, будучи неумолимо-строгимъ логикомъ (даже до absurdum, въ чемъ я и вижу его непрактичность), доведетъ свое теперешнее воззрѣніе до вредныхъ крайностей. До сихъ поръ онъ жилъ въ Петербургѣ недовольный имъ. Теперь, недовольный Москвою, онъ примирится съ Петербургомъ, признавъ его законнымъ, необходимымъ фактомъ, и постепенно подчинится его вліянію. Сочувствуя здѣсь болѣе другихъ съ Самаринымъ, какъ съ чиновникомъ, я однако разошелся съ нимъ въ нѣкоторыхъ существенныхъ и практическихъ взглядахъ. Споря, онъ логически дошелъ до того, что говоритъ: что государство само по себѣ, а религія сама по себѣ, что правительство должно устроивать, заводить и принять въ свое попеченіе... какъ бы вамъ сказать это? Ну, просто развратные дома, для предупрежденія однихъ физически-вредныхъ послѣдствій и т. п. Я съ этимъ несогласенъ и считаю, что гораздо болѣе нравственнаго вреда въ признаніи разврата, въ примиреніи съ нимъ, въ снабженіи его комфортомъ, нежели во всѣхъ послѣдствіяхъ, происходящихъ отъ непризнаванія. Развратъ будетъ всегда, но узаконять его не должно; а всякое дѣйствіе правительства имѣетъ авторитетъ

перь моими стараніями эта часть довольно таки оживилась. *Губернскія Вѣдомости* стали лучше и безпрерывно наполняются статьями крестьянъ, купцовъ и мѣщанъ, большею частію мною вызванныхъ и поощренныхъ. Угличскіе Серебренниковы усердно трудятся надъ архивомъ, въ которомъ находятъ любопытнѣйшіе документы, и который открытъ для нихъ по моимъ оффиціальнымъ (безо всякаго, впрочемъ, съ моей стороны права) требованіямъ. Въ послѣднемъ нумерѣ *Губернскихъ Вѣдомостей* напечатана съ моихъ словъ покорнѣйшая просьба редакціи ко всѣмъ грамотнымъ крестьянамъ, трудиться надъ мѣстными изслѣдованіями и присылать свои труды въ редакцію. И особенно пріятно было мнѣ видѣть, что обстоятельство это, дѣлаясь извѣстнымъ, пріобрѣтаетъ читателей между крестьянами и возбуждаетъ во многихъ охоту къ этимъ занятіямъ, даже родъ соревнованія".

Въ то время произошло, кажется, примиреніе Погодина съ Аксаковыми. Въ этомъ же удостовѣряетъ сохранившаяся записочка К. С. Аксакова къ Погодину: „Почтеннѣйшій и добрѣйшій Михаилъ Петровичъ! Отесенька съ маменькой и мы всѣ поздравляемъ васъ со днемъ вашихъ имянинъ и пр." Въ *Дневникѣ* же Погодина, подъ 6 декабря 1850 года, встрѣчаемъ слѣдующую запись: „Завтракъ у Павловыхъ. Искреннія изліянія съ Константиномъ Аксаковымъ... Радъ былъ, что не нашлось ни малѣйшаго зла противъ него и вспомнилъ старое время. Грановскому сказалъ глупца и онъ выслушалъ съ удовольствіемъ. Съ Глинкою о прошедшемъ, а Каролина Карловна несносная".

Мы уже знаемъ, что по освобожденіи, въ 1849 году, изъ-подъ ареста, Ю. Ѳ. Самаринъ былъ отпущенъ императоромъ Николаемъ I-мъ въ Москву, для успокоенія отца. Знаемъ также, что въ политическомъ отношеніи положеніе Самарина въ Москвѣ „было незавидное". Изъ писемъ же И. С. Аксакова къ А. О. Смирновой мы узнаемъ о частной жизни освобожденнаго, за это время. „Самаринъ",—пишетъ И. С. Аксаковъ, — „почти черезъ день является къ намъ вечеромъ и

почти всегда садится играть въ карты съ батюшкой, съ Чижовымъ и съ Загоскинымъ. Самаринъ играетъ съ пресмѣшною важностью. Онъ довольно добръ и веселъ, но жестоко скучаетъ, что̀ очень понятно... Москва можетъ быть освѣжительнымъ отдыхомъ и развлеченіемъ на весьма недолгое время. Я, впрочемъ, не признаю Самарина очень практическимъ человѣкомъ; но здѣсь, со своими пріятелями, онъ является самымъ практическимъ изъ нихъ, вслѣдствіе чего возникаютъ разные споры, обыкновенно оканчивающіеся картами. Здѣсь Самаринъ защищаетъ взгляды Ханыкова, съ которымъ однако самъ споритъ въ Петербургѣ. Несмотря на дружескія отношенія, мнѣ кажется, что связь его съ Московскими теоретиками видимо слабѣетъ, и если онъ сейчасъ воротится въ Петербургъ, то она почти совсѣмъ подорвется. Лучше ли это будетъ, не знаю; думаю—напротивъ... Если Самаринъ оторвется самостоятельно отъ Москвы, то онъ, будучи неумолимо-строгимъ логикомъ (даже до absurdum, въ чемъ я и вижу его непрактичность), доведетъ свое теперешнее воззрѣніе до вредныхъ крайностей. До сихъ поръ онъ жилъ въ Петербургѣ недовольный имъ. Теперь, недовольный Москвою, онъ примирится съ Петербургомъ, признавъ его законнымъ, необходимымъ фактомъ, и постепенно подчинится его вліянію. Сочувствуя здѣсь болѣе другихъ съ Самаринымъ, какъ съ чиновникомъ, я однако разошелся съ нимъ въ нѣкоторыхъ существенныхъ и практическихъ взглядахъ. Споря, онъ логически дошелъ до того, что говоритъ: что государство само по себѣ, а религія сама по себѣ, что правительство должно устроивать, заводить и принять въ свое попеченіе... какъ бы вамъ сказать это? Ну, просто развратные дома, для предупрежденія однихъ физически-вредныхъ послѣдствій и т. п. Я съ этимъ несогласенъ и считаю, что гораздо болѣе нравственнаго вреда въ признаніи разврата, въ примиреніи съ нимъ, въ снабженіи его комфортомъ, нежели во всѣхъ послѣдствіяхъ, происходящихъ отъ непризнаванія. Развратъ будетъ всегда, но узаконять его не должно; а всякое дѣйствіе правительства имѣетъ авторитетъ

нравственный и для совѣсти гражданина. Впрочемъ, Самаринъ часто споритъ для уясненія себѣ вопроса. „Если же Самаринъ“,—продолжаетъ Аксаковъ,—„останется здѣсь долго, то онъ обратится къ трудамъ ученымъ и отвлеченнымъ и сдѣлается, пожалуй, отвлеченнымъ человѣкомъ, примирится съ Московскою отвлеченностью, чего бы я также не желалъ. Самое лучшее было бы, еслибъ онъ занялся вопросомъ теоретическимъ и практическимъ вмѣстѣ, вопросомъ объ эмансипаціи крестьянъ“.

Но Самаринъ не остался долго въ Москвѣ, и въ концѣ 1849 года, какъ мы уже знаемъ, поступилъ на службу въ Симбирскъ, гдѣ въ то время былъ губернаторомъ князь Петръ Дмитріевичъ Черкасскій, женатый на Марьѣ Семеновнѣ Аладиной. Самаринъ, по свидѣтельству А. О. Смирновой, „зажилъ губернской жизнью, танцовалъ на балахъ въ вицъ-мундирѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, даже приволакивался кое за кѣмъ, но никогда не приглашалъ жандармской полковницы, сантиментальной дамы. Съ Черкасскимъ Самаринъ ладилъ: рыбакъ рыбака видитъ издалека, а Москвичъ—Москвича. Черкасскій говорилъ и писалъ округленныя фразы въ такомъ родѣ: надобно, чтобы все населеніе исполнялось не рабской, а дѣтской любовью къ царю, чтобы поняло законность требованій правительства“. Однимъ словомъ, это былъ человѣкъ съ новыми тенденціями“.

Въ Симбирскѣ Самаринъ оставался не долго и черезъ два съ половиною мѣсяца, по распоряженію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, онъ былъ переведенъ въ Кіевъ, къ тамошнему генералъ-губернатору Д. Г. Бибикову, и занялся инвентарнымъ крестьянскимъ вопросомъ. Бибиковъ отнесся къ молодому человѣку съ большимъ вниманіемъ и сдѣлалъ его правителемъ своей канцеляріи. О Кіевскомъ житьѣ Самарина, А. О. Смирнова свидѣтельствуетъ: Въ Кіевѣ Самаринъ не ѣздилъ къ Полякамъ. А. Е. Тимашевъ командовалъ кавалеріей, и онъ проводилъ всѣ вечера у Тимашевыхъ. Его жена, Пашкова, милое и кроткое существо, занималась дѣтьми и

хозяйствомъ. Изъ Кіева Самаринъ писалъ часто, то комическія письма, то серьезныя, рисовалъ каррикатуры. Самаринъ часто посѣщалъ Кіевскаго митрополита Филарета, который былъ совершенно какъ невинное дитя. Самаринъ написалъ мнѣ длинное письмо или вѣрнѣе диссертацію о нашихъ Кіевскихъ отшельникахъ, Ѳеодосіѣ Печерскомъ и пещерахъ [47]).

XIX.

Зиму, весну и часть лѣта 1850 года, оба друга, Гоголь и Максимовичъ, провели въ Москвѣ и потомъ обоихъ ихъ потянуло на родину, въ Малороссію, куда они вмѣстѣ и отправились.

Въ это время Гоголь усердно писалъ вторую часть *Мертвыхъ Душъ*. Отдѣланныя главы онъ читалъ близкимъ ему людямъ. Изъ *Дневника* Погодина мы узнаемъ, что 19 января 1850 года, читалъ онъ ихъ Погодину и Максимовичу. 20 января того же года, С. Т. Аксаковъ пишетъ сыну своему Ивану: „До сихъ поръ не могу еще придти въ себя: Гоголь прочелъ намъ съ Константиномъ вторую главу. Вотъ какъ было дѣло. Пришелъ онъ къ намъ вчера обѣдать. Зная, что онъ неохотно сидитъ за столомъ безъ меня, я велѣлъ накрыть въ маленькой гостиной и Гоголь былъ очень доволенъ. Послѣ обѣда напала на меня дремота. Гоголь употребилъ разныя штуки, чтобъ меня разгулять, въ чемъ и успѣлъ. Часу въ 7-мъ, вдругъ говоритъ: „а чтобы *Куличка* *) прочесть?“ Я отвѣчалъ, что если онъ хочетъ, то Константинъ принесетъ всѣ мои записки и прочтетъ ихъ въ гостиной. Гоголь сказалъ, что лучше пойти наверхъ. Я, ничего не подозрѣвая, согласился; но Вѣра догадалась и, провожая меня, сказала: „онъ будетъ вамъ непремѣнно читать“. Мы пришли наверхъ. Я выбралъ маленькаго *Куличка* и заставилъ Костю читать.

---

*) *Записки Ружейнаго Охотника Оренбургской губерніи.* С. Аксакова. Изд. 4-е. М. 1861, стр. 79—84.

Гоголь рѣшительно ничего не слушалъ, и едва Константинъ дочиталъ, какъ онъ выхватилъ тетрадь изъ кармана, которую давно держалъ въ рукѣ, и сказалъ: „ну, а теперь я вамъ прочту“.—Что тебѣ сказать? Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не могъ удержаться отъ слезъ. Разсказывать содержаніе, въ которомъ ничего нѣтъ особенно интереснаго для тебя, мнѣ не хочется; даже какъ-то совѣстно, потому что въ голомъ разсказѣ анекдота ничего не передается. Впрочемъ, если ты захочешь, то напиши: я разскажу его со всею возможною подробностью. Такого высокаго искусства, показывать въ человѣкѣ пошломъ высокую человѣческую сторону, нигдѣ нельзя найти, кромѣ Гомера. Такъ раскрывается духовная внутренность человѣка, что для всякаго изъ насъ, способнаго что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убѣдился вполнѣ, что Гоголь можетъ выполнить свою задачу, о которой такъ самонадѣянно и дерзко повидимому говоритъ въ первомъ томѣ. Я сказалъ Гоголю и повторю тебѣ, что теперь для насъ остается только одно: молитва къ Богу, чтобъ Онъ далъ ему здоровья и силъ окончательно обработать и напечатать свое высокое твореніе. Гоголь былъ увлеченъ искренностью моихъ словъ и сказалъ о себѣ, какъ бы говорилъ о другомъ: „Да, дай только Богъ здоровья и силъ! Благо должно произойти изъ этого, ибо человѣкъ не можетъ видѣть себя безъ помощи другаго“... Что за образы, что за картина природы безъ малѣйшей картинности!.. Нѣтъ, я ужъ не стану описывать всего такъ, какъ хотѣлъ было, а разскажу просто, словами охотника непоэта. Гоголю хотѣлось прочесть третью главу, ибо, по его словамъ, нужно было прочесть ее немедленно, но у него недостало силъ. Да, много должно сгорать жизни въ горнилѣ, изъ котораго истекаетъ чистое золото. Вѣроятно на дняхъ выйдетъ какой-нибудь Куличекъ-зуекъ и вслѣдъ за нимъ прочтется третья глава. Я сегодня же хочу написать Гоголю письмо съ моими замѣчаніями. Вчера я ничего не могъ вспо-

мнить и сказалъ ему, что завтра, можетъ быть, что-нибудь увижу. Больно, что ты не слыхалъ; но еще больнѣе, что всѣ наши просидѣли въ это время одни въ гостиной. Теперь очевидно, что всѣ главы будутъ читаться только мнѣ и Константину. Я примиряюсь съ этою мыслію только однимъ, что это нужно, полезно самому Гоголю".

На это И. С. Аксаковъ отвѣчалъ:

„И такъ, Гоголь прочелъ вамъ и вторую главу, а теперь, можетъ быть и третью. Вы спрашиваете меня, разсказывать ли мнѣ содержаніе?.. Анекдотическій интересъ для меня, какъ и для васъ, въ произведеніяхъ Гоголя не важенъ. Придется разсказывать, или почти ничего, или слишкомъ много, т.-е. его же рѣчами, изъ которыхъ мудрено выкинуть слово: такъ каждая нота состоитъ въ соотношеніи съ общимъ аккордомъ! А потому, зная, что послѣднее невозможно, я и не слишкомъ хлопочу знать внѣшнюю связь содержанія... Я думаю, что у Гоголя все написано, что онъ уже далъ полежать своей рукописи и потомъ вновь обратился къ ней для исправленія и оцѣнки, словомъ, поступаетъ такъ, какъ самъ совѣтуетъ другимъ. Въ противномъ случаѣ, онъ не сталъ бы читать и заниматься отдѣлкою подробностей и частностей..."

Въ тоже время С. Т. Аксаковъ передаетъ своему сыну отзывъ Гоголя объ его *Бродягѣ*. „Вчера", — писалъ онъ,— „прочли Гоголю также и твои письма. Послѣ твоего отзыва о *Бродягѣ*, онъ сказалъ: „отъ него самого зависитъ, чтобы *Бродяга* имѣлъ не временное и не мѣстное значеніе. Всѣ подробности, вся природа, однимъ словомъ все, что окружаетъ *Бродягу*, у него сдѣлано превосходно. Если въ *Бродягѣ* будетъ захваченъ человѣкъ, то онъ будетъ имѣть не временное и не мѣстное значеніе. Надобно показать, какъ этотъ человѣкъ, пройдя все и ни въ чемъ не найдя себѣ никакого удовлетворенія, возвратится, къ матери земли. Иванъ Сергѣевичъ именно это и хочетъ сдѣлать и вѣрно сдѣлаетъ хорошо".

Иное впечатлѣніе произвелъ *Бродяга* на достопочтеннаго старца, архіепископа Ярославскаго и Ростовскаго Евгенія, о

чемъ не безъ горечи писалъ отцу своему авторъ *Бродяги*. „Евгеній“,—писалъ онъ,—„часъ отъ часу слабѣетъ отъ монашеской жизни и старости и нерѣдко становится скученъ своею болтовнею. О *Бродягѣ* онъ, воспитанный въ старыхъ схоластическихъ понятіяхъ, сказалъ мнѣ, что не видитъ цѣли сочиненія“ [48]).

Именины свои, 9 мая 1850 года, Гоголь, по обычаю, отпраздновалъ обѣдомъ въ саду Погодина. Въ этотъ день землякъ его Бодянскій явился, совершенно неожиданно, въ обѣденное время къ Аксаковымъ. Объ этомъ посѣщеніи мы находимъ въ *Дневникѣ* самого Бодянскаго, подъ 9 мая 1850 г., слѣдующую запись: „Обѣдъ у С. Т. Аксакова. Появленіе мое изумило семейство его, сидѣвшее уже за обѣдомъ, потому что всѣ они не ждали меня къ себѣ, полагая, что я отправился на обѣдъ къ Н. В. Гоголю, по случаю его именинъ, на каковый звалъ онъ всѣхъ бывшихъ у него съ поздравленіемъ, именно въ садъ къ Погодину. Я сказалъ, что я не могъ быть тамъ уже потому одному, что никогда и никого не поздравляю ни съ чѣмъ нарочно, а еслибы видѣлся, какъ съ именинникомъ, и получилъ приглашеніе, то не пошелъ бы никоимъ образомъ въ такое мѣсто. Въ разговорѣ послѣ обѣда о прежнихъ попечителяхъ Московскаго Университета, С. Т. Аксаковъ разсказалъ мнѣ одинъ случай, какъ А. А. Писаревъ сказалъ: „Лучше во сто разъ командовать пятью, шестью полками, чѣмъ однимъ Университетомъ“.

Одинъ изъ участниковъ этого имениннаго обѣда Гоголя, такъ описываетъ оный: „Именины, 9 мая 1850 года, Гоголь справлялъ у Погодина въ саду,—ѣхали мы съ Островскимъ откуда-то вмѣстѣ на дрожкахъ и встрѣтили Гоголя, направлявшагося къ Дѣвичьему Полю. Онъ соскочилъ съ дрожекъ и пригласилъ насъ къ себѣ на именины. Обѣдъ, можно сказать, въ *исторической аллеѣ* прошелъ самымъ обыкновеннымъ образомъ. Гоголь былъ ни веселъ, ни скученъ. Говорилъ и хохоталъ болѣе всѣхъ Хомяковъ, читавшій намъ, между прочимъ, знаменитое объявленіе въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*

о волкахъ съ бѣлыми лапами. Были: молодой Аксаковъ, Кошелевъ, Максимовивчъ“ [49]). На этомъ обѣдѣ присутствовалъ также и хозяинъ сада, на которомъ „христосовался съ Аксаковымъ“ [50]); но отсутствовалъ, по домашнимъ обстоятельствамъ, Шевыревъ. „Къ Гоголю я писалъ записку“,—читаемъ въ его письмѣ къ Погодину,—„но оно доѣхало только до его городскаго дома. Хотѣлъ послать къ тебѣ, да кучеръ Исая сошелся съ Николаемъ и праздновалъ свои именины мертвецки пьяный“ [51]).

Другъ и землякъ Гоголя, М. А. Максимовичъ, какъ говорится, катался въ Москвѣ, какъ сыръ въ маслѣ. Особенно его холили и нѣжили въ домѣ Аксаковыхъ. „Пишу, лежа въ постели“,—писалъ ему С. Т. Аксаковъ,—„сыновья обѣдаютъ сегодня у дяди, а Гоголь будетъ у насъ въ среду; но если вамъ не скучно будетъ, любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ, отобѣдать со мной наединѣ — почти, то я буду очень радъ. Пріѣзжайте, и сегодня, и въ среду“.

Но и самъ Максимовичъ въ это время былъ нездоровъ и О. С. Аксакова писала ему: „Что съ вами дѣлается, любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ? Я слышу, вы больны... Пріѣхала бы сама навѣстить васъ, но не могу отлучиться отъ Сергѣя Тимоѳеевича. Посылаю вамъ сушеной клубники отъ ревматизма; настойте ее какъ чай, и кушайте съ сахаромъ; еще баночку варенья изъ клубники же полевой [52]).

Мы уже знаемъ, что въ Древлехранилищѣ своего друга Погодина, Максимовичъ проводилъ по цѣлымъ днямъ и оно вдохновило его. Калачовъ писалъ Кавелину: „Въ Москвѣ Максимовичъ издаетъ третій томъ своего *Кіевлянина*. Статей у него собрано много, а нѣкоторыя любопытныя. Это будетъ, кажется, нѣчто въ родѣ моего *Архива*. Между прочимъ, статья Соловьева о правительственныхъ распоряженіяхъ Ольги. Я обѣщалъ статью о *смердахъ*, только не знаю, поспѣетъ ли она. Не знаете ли вы какихъ особыхъ источниковъ, которые бы сюда относились, т.-е. прямо или косвенно указывали на значеніе смердовъ (кромѣ *Русской Правды* и Лѣтописей)?“ [53]).

Къ участію въ *Кіевлянинѣ* Максимовичъ пытался привлечь и Ѳ. В. Чижова, жившаго въ то время въ Малороссіи. На этотъ призывъ Чижовъ отвѣчалъ: „Радъ душевно, почтеннѣйшій, многоуважаемый и душевно-любимый мною Михаилъ Александровичъ, что наконецъ я пишу къ вамъ... Съ радостію узналъ изъ письма вашего, что Москва вызвала васъ снова на литературную дѣятельность; вѣрьте слову человѣка, не имѣющаго нужды ни льстить, ни угождать, вѣрьте, что ваша дѣятельность для насъ нужна. День-ото-дня болѣе и болѣе теряемъ мы изъ немногаго числа тѣхъ писателей, которые еще по преданію сохранили художественность языка. Вы изъ нихъ на первомъ планѣ, и потому ваше молчаніе вредно. Мы можемъ писать дѣльно, умно, положимъ—занимательно; но не знаю, чѣмъ объяснить то, что мы совершенно какъ будто бы потеряли художественное чувство и забыли, что идея являясь на свѣтъ, требуетъ тѣла, проситъ художественнаго слова, какъ своего непремѣннаго выраженія, а безъ его цѣлости органической она сама дѣлается неполною. У васъ эта гармонія мысли со словомъ является сама собою. Радуюсь искренно вашей дѣятельности; разумѣется, я не отказался бы способствовать ея обстановкѣ моими посильными трудами, и благодарю васъ за честь, участвовать въ вашемъ изданіи. Но есть препятствіе, вотъ оно: я обязанъ, во-первыхъ, устнымъ приказаніемъ, во-вторыхъ, подпискою: все, что ни напишу, представлять на цензуру въ Собственную Его Величества Канцелярію; это можетъ весьма много задержать мою статью... Если я успѣю скоро написать, тогда я пришлю къ вамъ для переписки и отсылки при моемъ письмѣ къ генералу Дубельту. Отвѣтьте на это письмо поскорѣе, тогда быть можетъ я еще успѣю написать о Софійскомъ соборѣ и объ иконостасѣ церкви села Романовки, Черниговской губерніи, Мглинскаго уѣзда, написанномъ Боровиковскимъ. Жаль, что вы не написали раньше, а то я только сегодня возвратился изъ Мглинскаго уѣзда, куда я ѣздилъ къ сильно больному графу Гудовичу; только-что воз-

вратился и уже собираюсь въ Одессу для занятія шелководствомъ. Все это время я прожилъ въ Братскомъ монастырѣ, гдѣ занимался чтеніемъ церковныхъ писателей, то-есть, всего относящагося къ иконописи. Сказать правду, я пріобрѣлъ немного; но не виню въ этомъ прочитанныхъ мною писателей, а возлагаю всю вину на мою глупую голову; самъ не понимаю, отчего она отказывается глубоко входить въ смыслъ прошедшаго, между тѣмъ какъ чувствуетъ присутствіе этого смысла. Иконописаніе одно изъ такихъ явленій церковной, а слѣдовательно и народной нашей жизни, которое передаетъ многое, указываетъ на то, какъ нашему племени Богъ судилъ принимать неискаженную чистоту священныхъ преданій, точно также, какъ нѣкогда избранному народу Божію далъ обѣтованіе провести во всей чистотѣ преданіе о своемъ существѣ и довести его до минуты воплощенія Своего въ Спасителя міра... Если увидите общихъ нашихъ пріятелей, всѣмъ по низкому поклону, особенно Хомякову, Гоголю и почтеннѣйшей, благословенной семьѣ Аксаковыхъ" [54]).

Наконецъ, *Кіевлянинъ* въ Москвѣ явился въ свѣтъ. „И друзья Исторіи",—какъ писалъ Погодинъ,—„и друзья Поэзіи должны быть очень благодарны издателю". Въ заключеніе своей рецензіи на *Кіевлянина*, Погодинъ говоритъ: „*Москвитянинъ* представляетъ *Кіевлянина*, хотя и сердитъ на него за холодное и недостаточное поминовеніе объ его Древлехранилищѣ, своимъ читателямъ. Первыя двѣ книги его были расхватаны. Вѣрно и третьей скоро не останется въ продажѣ: столько въ ней новаго, любопытнаго, прекраснаго!" [55]).

Кіевлянинъ вызвалъ слѣдующее любопытное замѣчаніе Н. Н. Мурзакевича, о древнихъ нашихъ путяхъ, упоминаемыхъ Несторомъ. „Въ *Кіевлянинѣ* (III, 71)"—пишетъ онъ Погодину,—„толкуется о путяхъ торговыхъ: *Греческомъ*, *Соляномъ* и *Залозномъ*. Это себѣ я такъ толкую: Греческій—Днѣпръ; Соляной — дорога на Перекопъ, на Соляныя озера; а Залозный—за-лòзье (лозà, вербà, коею изобилуютъ плавни Днѣпровскіе) долженъ быть тамъ, гдѣ теперь переправа чрезъ

Днѣпръ,—у Херсона на г. Алешки,—древнее *Олешье*, которое не иначе могло здѣсь учредиться, какъ въ перевозномъ пунктѣ. Да и слово Олешье я произвожу отъ по-лѣсье т.-е. сельтьба подъ лѣсами. Кустарный лѣсокъ и теперь тянется отъ Алешекъ до Кинбурнской косы. Тутъ по мѣстамъ и теперь попадаются дубовыя купы деревъ" [56]).

Отечественныя Записки, разбирая *Кіевлянинъ* сообщаютъ объ издателѣ его слѣдующія біографическія данныя: „Можетъ быть, не всѣ, даже и ученые, знаютъ, что Максимовичъ, кромѣ богатаго знакомства съ Русской Филологіей и Литературой, владѣетъ еще основательнымъ знакомствомъ, съ науками естественными (преимущественно съ Ботаникой). Рѣдко соединяются въ одномъ и томъ же лицѣ, два эти знанія, относящіяся къ разнымъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія" [57]).

Замѣчательно, что на нижеслѣдующее мѣсто *Сказанія* Максимовича, *о гетманѣ Петрѣ Сагайдачномъ*, напали какъ Погодинъ, такъ и рецензентъ *Современника*. Мѣсто это относится къ осадѣ Москвы въ 1618 году, которая королевичемъ Владиславомъ была поручена Петру Сагайдачному. „Судьба Москвы", — повѣствуетъ Максимовичъ, — „была въ опасности; ибо войско въ ней было малочисленно. Къ полуночи Сагайдачный со всѣмъ своимъ войскомъ былъ уже у Арбатскихъ воротъ и уже выломаны были петардою ворота Острожные. Но при первой стычкѣ съ Москвитянами гетманъ прекратилъ осаду... Отъ чего же? Отъ того, я думаю, что осада Москвы была ему не по мысли; въ противномъ случаѣ, какъ ни любилъ онъ сберегать своихъ казаковъ и какъ ни силенъ могъ быть первый отпоръ ему отъ Москвитянъ, но привыкшій къ побѣдамъ и взятію городовъ, имѣя у себя подъ рукою надежное и многочисленное войско, грозный гетманъ не покинулъ бы такъ скоро начатаго дѣла. Его казацкое сердце могло смутиться отъ той мысли, что онъ началъ крушить единовѣрную ему Русскую столицу для того, чтобъ отдать ее въ руки иновѣрца. И можетъ быть, такое раздумье пришло къ нему въ тотъ самый часъ, когда Москва,

звономъ колоколовъ своихъ, позвала православный народъ къ заутрени на праздникъ Покрова, и руки осаждавшихъ ея казаковъ невольно поднялись на крестное знаменіе. Въ тотъ часъ благочестивый гетманъ, уже исполнивъ свой подданническій долгъ взятіемъ меньшихъ городовъ и приступомъ къ самой столицѣ, могъ безукоризненно отойти отъ молящейся Москвы. Впрочемъ, это мое личное мнѣніе".

„Нѣтъ",—возражаетъ Погодинъ,—„я никакъ не согласенъ съ этимъ мнѣніемъ, хотя оно очень остроумно и исполнено поэзіи: я никакъ не могу приписать Петру Кононовичу подобной нѣжности въ чувствѣ и деликатности въ дѣйствіи, а просто принимаю сказаніе нашихъ лѣтописей" [58]).

Рецензентъ же *Современника*, относящійся несочувственно вообще къ *Кіевлянину*, пишетъ: „Странно, ради чего авторъ вообразилъ, будто Сагайдачный потому прекратилъ осаду Москвы, что услышалъ звонъ колоколовъ. Конечно, онъ говоритъ: *это мое личное мнѣніе*; но зачѣмъ вносить это въ область науки: факта нѣтъ, а сочинять можно все" [59]).

Въ Москвѣ Максимовичъ провелъ и день памяти Д. В. Веневитинова, 15 марта 1850 года. Объ этомъ днѣ Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Максимовичу доставилъ книги. Снарядилъ ему *Кіевлянина*... Къ Хомякову, но Шевыревъ перепуталъ и не поѣхалъ обѣдать въ Троицкое. На двадцать лѣтъ видно достанетъ только людской памяти. Вечеромъ у меня и читалъ *Петра*. Въ восторгѣ. Потомъ Островскій читалъ сцены. Хохотали. Отъ Хомякова получилъ собраніе стихотвореній. Титовъ прекрасенъ. Ужинало человѣкъ двѣнадцать".

Предъ отъѣздомъ изъ Москвы, М. А. Максимовичу удалось еще разъ повидаться съ преосвященнымъ Иннокентіемъ. Объ этомъ свиданіи Максимовичъ вспоминалъ въ позднѣйшемъ письмѣ своемъ къ Погодину: „Мнѣ памятно еще одно 15 мая, надъ Москвой-рѣкой, когда мы съ тобою, помнишь, въ 1850 году, поспѣшали въ Симоновъ. Въ тотъ день былъ у Мельхиседека *обѣдъ силенъ*, ради дорогаго гостя его, возвращавшагося изъ Петербурга въ Одессу. И какъ доволенъ

Днѣпръ,—у Херсона на г. Алешки,—древнее *Олешье*, которое не иначе могло здѣсь учредиться, какъ въ перевозномъ пунктѣ. Да и слово Олешье я произвожу отъ по-лѣсье т.-е. сельтьба подъ лѣсами. Кустарный лѣсокъ и теперь тянется отъ Алешекъ до Кинбурнской косы. Тутъ по мѣстамъ и теперь попадаются дубовыя купы деревъ" [56]).

Отечественныя Записки, разбирая *Кіевлянинъ* сообщаютъ объ издателѣ его слѣдующія біографическія данныя: „Можетъ быть, не всѣ, даже и ученые, знаютъ, что Максимовичъ, кромѣ богатаго знакомства съ Русской Филологіей и Литературой, владѣетъ еще основательнымъ знакомствомъ, съ науками естественными (преимущественно съ Ботаникой). Рѣдко соединяются въ одномъ и томъ же лицѣ, два эти знанія, относящіяся къ разнымъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія" [57]).

Замѣчательно, что на нижеслѣдующее мѣсто *Сказанія* Максимовича, *о гетманѣ Петрѣ Сагайдачномъ*, напали какъ Погодинъ, такъ и рецензентъ *Современника*. Мѣсто это относится къ осадѣ Москвы въ 1618 году, которая королевичемъ Владиславомъ была поручена Петру Сагайдачному. „Судьба Москвы", — повѣствуетъ Максимовичъ, — „была въ опасности; ибо войско въ ней было малочисленно. Къ полуночи Сагайдачный со всѣмъ своимъ войскомъ былъ уже у Арбатскихъ воротъ и уже выломаны были петардою ворота Острожные. Но при первой стычкѣ съ Москвитянами гетманъ прекратилъ осаду... Отъ чего же? Отъ того, я думаю, что осада Москвы была ему не по мысли; въ противномъ случаѣ, какъ ни любилъ онъ сберегать своихъ казаковъ и какъ ни силенъ могъ быть первый отпоръ ему отъ Москвитянъ, но привыкшій къ побѣдамъ и взятію городовъ, имѣя у себя подъ рукою надежное и многочисленное войско, грозный гетманъ не покинулъ бы такъ скоро начатаго дѣла. Его казацкое сердце могло смутиться отъ той мысли, что онъ началъ крушить единовѣрную ему Русскую столицу для того, чтобъ отдать ее въ руки иновѣрца. И можетъ быть, такое раздумье пришло къ нему въ тотъ самый часъ, когда Москва,

звономъ колоколовъ своихъ, позвала православный народъ къ заутрени на праздникъ Покрова, и руки осаждавшихъ ея казаковъ невольно поднялись на крестное знаменіе. Въ тотъ часъ благочестивый гетманъ, уже исполнивъ свой подданническій долгъ взятіемъ меньшихъ городовъ и приступомъ къ самой столицѣ, могъ безукоризненно отойти отъ молящейся Москвы. Впрочемъ, это мое личное мнѣніе".

„Нѣтъ",—возражаетъ Погодинъ,—„я никакъ не согласенъ съ этимъ мнѣніемъ, хотя оно очень остроумно и исполнено поэзіи: я никакъ не могу приписать Петру Кононовичу подобной нѣжности въ чувствѣ и деликатности въ дѣйствіи, а просто принимаю сказаніе нашихъ лѣтописей" [58]).

Рецензентъ же *Современника*, относящійся несочувственно вообще къ *Кіевлянину*, пишетъ: „Странно, ради чего авторъ вообразилъ, будто Сагайдачный потому прекратилъ осаду Москвы, что услышалъ звонъ колоколовъ. Конечно, онъ говоритъ: *это мое личное мнѣніе*; но зачѣмъ вносить это въ область науки: факта нѣтъ, а сочинять можно все" [59]).

Въ Москвѣ Максимовичъ провелъ и день памяти Д. В. Веневитинова, 15 марта 1850 года. Объ этомъ днѣ Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Максимовичу доставилъ книги. Снарядилъ ему *Кіевлянина*... Къ Хомякову, но Шевыревъ перепуталъ и не поѣхалъ обѣдать въ Троицкое. На двадцать лѣтъ видно достанетъ только людской памяти. Вечеромъ у меня и читалъ *Петра*. Въ восторгѣ. Потомъ Островскій читалъ сцены. Хохотали. Отъ Хомякова получилъ собраніе стихотвореній. Титовъ прекрасенъ. Ужинало человѣкъ двѣнадцать".

Предъ отъѣздомъ изъ Москвы, М. А. Максимовичу удалось еще разъ повидаться съ преосвященнымъ Иннокентіемъ. Объ этомъ свиданіи Максимовичъ вспоминалъ въ позднѣйшемъ письмѣ своемъ къ Погодину: „Мнѣ памятно еще одно 15 мая, надъ Москвой-рѣкой, когда мы съ тобою, помнишь, въ 1850 году, поспѣшали въ Симоновъ. Въ тотъ день былъ у Мельхиседека *обѣдъ силенъ*, ради дорогаго гостя его, возвращавшагося изъ Петербурга въ Одессу. И какъ доволенъ

былъ тогда Иннокентій, что наконецъ вырвался изъ Петербурга! Тогда, между прочимъ, онъ сказалъ намъ на единѣ: *novus ordo* зачинается въ мірѣ,—и это было послѣднее изреченіе, слышанное мною изъ устъ его... Я видѣлъ его тогда въ послѣдній разъ" [60]).

XX.

Предъ отъѣздомъ въ Малороссію, въ 1850 году, Гоголь былъ очень огорченъ кончиною Надежды Николаевны Шереметевой и свою скорбь излилъ въ письмѣ къ о. Матвѣю: „Къ вамъ моя сильная просьба, безцѣннѣйшій Матвѣй Александровичъ; добрая старушка Надежда Николаевна Шереметева, которую вы встрѣтили у меня и которая съ такою готовностью бросилась исполнить просьбу вашу о помѣщеніи дѣвочки въ Шереметевское заведеніе, послѣ семидесяти четырехъ лѣтъ жизни, исполненной добрыхъ дѣлъ, скончалась 11 мая 1850 года. Она меня любила, какъ сына, хотя я не сдѣлалъ ничего достойнаго любви ея, и не былъ къ ней даже вполовину такъ внимателенъ, какъ она ко мнѣ. Помолитесь о ней, добрѣйшая душа, и за себя, и за меня. Отслужите по ней панихиду и не позабывайте упомянуть ея имя въ то время, когда поминаете усопшихъ рабовъ Божіихъ, вами чаще поминаемыхъ" [61]).

13 іюня 1850 года, Гоголь, вмѣстѣ съ М. А. Максимовичемъ, выѣхали изъ Москвы. Въ день отъѣзда, Гоголь писалъ С. Т. Аксакову: „Мы съ Максимовичемъ заѣдемъ къ вамъ по дорогѣ, т.-е., передъ самымъ отъѣздомъ, часу во второмъ; стало быть, во время вашего завтрака, чтобы и самимъ у васъ чего-нибудь перехватить: одного блюда, не больше, или котлетъ, или, пожалуй, вареников, и запить бульенцемъ" [62]).

Одновременно съ Гоголемъ и Максимовичемъ изъ Москвы выѣхалъ и Хомяковъ, въ свое Богучарово, подъ Тулою. Дружеское общество остановилось на ночлегъ въ Подольскѣ и вечеръ былъ проведенъ въ оживленной бесѣдѣ. На утро наши

путешественники разстались съ Хомяковымъ. Путешествіе Гоголя и Максимовича совершалось на долгихъ; друзья ѣхали съ полною свободою, останавливались тамъ, гдѣ хотѣлось, избирали живописныя мѣста и отдыхали или шли, любуясь природою и видами. Гоголь бралъ у Максимовича уроки по Ботаникѣ, срывая по дорогѣ цвѣты, вкладывалъ ихъ въ книжку и записывалъ Русскія и Латинскія названія. Мечтая совершить путешествіе въ Грецію и Константинополь, Гоголь во время этого переѣзда упражнялся въ Греческомъ языкѣ по Молитвеннику, который читалъ онъ по утрамъ, вмѣсто молитвы. 14 іюня они ночевали въ Маломъ Ярославцѣ и на другой день утромъ посѣтили монастырь св. Николая [63]).

Позволимъ себѣ небольшое отступленіе. Двадцать лѣтъ спустя послѣ посѣщенія названной обители, М. А. Максимовичъ, въ день моихъ именинъ, прислалъ мнѣ финифтяный образокъ св. Николая, при слѣдующемъ письмѣ: „Сегодня именникъ (sic) вы, возлюбленный и добрѣйшій Николай Платоновичъ, и я обращаюсь къ вамъ мысленно и вседушевно съ своимъ привѣтомъ. А во знаменье того, я послалъ вамъ финифтяный образокъ *Св. Николая*, бывшій со мною неразлучно слишкомъ двадцать лѣтъ — здѣсь, и въ Москвѣ, и въ Кіевѣ,—и не менѣе семи тысячъ разъ зрѣвшій меня передъ нимъ молящагося. Примите его отъ меня радушно, какъ дружескую память и Михайлогорское вамъ благословеніе. Меня же благословилъ *Имъ*, и такимъ же другимъ образкомъ спутника и друга моего Гоголя, въ *1850* году, когда мы вдвоемъ ѣхали изъ Москвы, и въ Маломъ Ярославцѣ, отслуживъ молебенъ въ монастырѣ св. Николая, посѣтили тогдашняго тамъ игумена Антонія, младенца о Христѣ, который, напоивъ насъ чаемъ, благословилъ оными образками“ [64]).

На 16-е іюня наши путешественники ночевали въ Калугѣ и 16-го обѣдали у А. О. Смирновой. У Смирновыхъ они встрѣтились съ графомъ А. К. Толстымъ, который издавна былъ знакомъ съ Гоголемъ. Свое путешествіе на долгихъ Гоголь объяснялъ Калужскому обществу тѣмъ, что оно было

„началомъ плана, который онъ предполагалъ осуществить впослѣдствіи. Ему хотѣлось совершить путешествіе по всей Россіи, отъ монастыря къ монастырю, ѣздя по проселочнымъ дорогамъ и останавливаясь отдыхать у помѣщиковъ. Это ему было нужно, во-первыхъ, для того, чтобы видѣть живописнѣйшія мѣста въ государствѣ, которыя большею частію были избираемы старинными Русскими людьми для основанія монастырей; во-вторыхъ, для того, чтобы изучить проселки Русскаго Царства и жизнь крестьянъ и помѣщиковъ во всемъ ея разнообразіи; въ-третьихъ, наконецъ, для того, чтобы написать географическое сочиненіе о Россіи самымъ увлекательнымъ образомъ. Онъ хотѣлъ написать его такъ, *чтобъ была слышна связь человѣка съ той почвой, на которой онъ родился*".

Въ Гоголѣ графъ А. К. Толстой нашелъ большую перемѣну. Прежде Гоголь, въ бесѣдѣ съ близкими знакомыми, выражалъ много добродушія и охотно вдавался во всѣ капризы своего юмора и воображенія; теперь онъ былъ очень скупъ на слова, и все, что ни говорилъ, говорилъ, какъ человѣкъ, у котораго неотступно пребывала въ головѣ мысль, что *съ словомъ надобно обращаться честно*, или который исполненъ самъ къ себѣ глубокаго почтенія. Въ тонѣ его рѣчи отзывалось что-то догматическое... Тѣмъ не менѣе, однакожъ, бесѣда его была исполнена души и эстетическаго чувства". Въ то же время Гоголь прочиталъ графу Толстому двѣ Малороссійскія колыбельныя пѣсни и вслѣдъ за тѣмъ продекламировалъ, съ свойственнымъ ему искусствомъ, Великорусскую пѣсню, выражая голосомъ, мимикою патріархальную величавость Русскаго характера, которой исполнена эта пѣсня:

Павтелей государь ходитъ по двору,
Кузьмичъ гуляетъ по широкому и пр.

Разставшись съ Смирновыми, путешественники подвигались впередъ довольно медленно. Изъ Калуги они отправились въ село Долбино, для посѣщенія И. В. Кирѣевскаго,

куда прибыли только 19-го іюня. Въ дорогѣ Гоголь „постоянно обнаруживалъ самое спокойное состояніе души, какъ во время ѣзды, такъ и на постоялыхъ дворахъ. Его все занимало, какъ ребенка.“ Шутливость также не оставляла его. „Такъ, напримѣръ, ложась спать, онъ *отправлялся къ Храповицкому*, а когда желалъ только отдохнуть, то говаривалъ своему спутнику: *Не пойти ли къ Полежаеву?* Хаживалъ онъ также къ *Обѣдову* и къ другимъ господамъ. Когда надоѣдало ему сидѣть или лежать въ бричкѣ, онъ предлагалъ товарищу *пройти пѣхандачка*“. М. А. Максимовичъ, какъ мы знаемъ, пріѣхалъ въ Москву на собственныхъ лошадяхъ и тамъ сбылъ ихъ, однакожъ не могъ разстаться съ старымъ конемъ, который служилъ ему усердно нѣсколько лѣтъ. Конь этотъ шелъ сзади брички на свободѣ и былъ во всю дорогу предметомъ наблюденія Гоголя. *Да твой старикъ просто жуируетъ*! говорилъ онъ. Потомъ Гоголь дивился, что лишь только извощикъ двигался въ путь, ветеранъ Максимовича покидалъ свое стойло, или зеленую лужайку, и слѣдовалъ за ихъ экипажемъ всегда на одномъ и томъ же разстояніи. Гоголь подмѣчалъ, не увлечетъ ли его какая-нибудь конская страстишка съ прямого пути его обязанностей: нѣтъ, конь былъ истинный стоикъ и оставался вѣренъ своимъ правиламъ до конца путешествія“.

Изъ Долбина съѣздили они въ сосѣднюю обитель Оптину. За двѣ версты, Гоголь съ своимъ спутникомъ вышли изъ экипажа и пошли пѣшкомъ до самой обители. На дорогѣ встрѣтили они дѣвочку, съ мисочкой земляники, и хотѣли купить у нея землянику; но дѣвочка, видя, что они люди дорожные, не захотѣла взять отъ нихъ денегъ и отдала имъ свои ягоды даромъ, отговариваясь тѣмъ, что *какъ можно брать съ странныхъ людей?* — Пустынь эта распространяетъ благочестіе въ народѣ, замѣтилъ Гоголь, умиленный этимъ трогательнымъ проявленіемъ ребенка. „И я не разъ“, — говорилъ Гоголь, — „замѣчалъ подобное вліяніе такихъ обителей“ [65]).

О посѣщеніи своемъ Оптиной пустыни вотъ что писалъ Гоголь графу А. П. Толстому: „Я заѣзжалъ по дорогѣ въ

Оптинскую пустынь и навсегда унесъ о ней воспоминанье. Я думаю, на самой Аѳонской горѣ не лучше. Благодать видимо тамъ присутствуетъ. Это слышится въ самомъ наружномъ служеніи... Нигдѣ не видалъ я такихъ монаховъ. Съ каждымъ изъ нихъ, мнѣ казалось, бесѣдуетъ все небесное. Я не разспрашивалъ кто изъ нихъ какъ живетъ: ихъ лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили свѣтлой ласковостью ангеловъ, лучезарной простотой обхожденья; самые работники въ монастырѣ, самые крестьяне и жители окрестностей. За нѣсколько верстъ, подъѣзжая къ обители, уже слышишь ея благоуханіе: все становится привѣтливѣе, поклоны ниже и участіе къ человѣку больше. Вы постарайтесь побывать въ этой обители; не позабудьте также заглянуть въ Маломъ Ярославцѣ къ тамошнему игумену, который родной братъ Оптинскому игумену и славится также своею жизнію; третій же ихъ братъ игуменомъ Саровской обители и тоже, говорятъ, очень достойный настоятель" [66]).

Въ Петрищевѣ путники наши посѣтили А. П. Елагину. По свидѣтельству М. А. Максимовича, „Гоголь во время дороги, кромѣ обычныхъ своихъ шуточекъ, вообще говорилъ мало, и въ этомъ маломъ мысли его обращались преимущественно къ предметамъ практической жизни. Такъ напримѣръ, онъ разсуждалъ о современной страсти къ комфорту и роскоши и приходилъ къ такому заключенію, что намъ *необходимо пріучать себя къ суровости жизни; это комфортъ и роскошь заводятъ насъ такъ далеко, что мы проматываемся часъ отъ часу болѣе, и наконецъ намъ нечѣмъ жить*. На этомъ основаніи, онъ отвергалъ употребленіе въ сельскомъ быту рессорныхъ экипажей, особенно для людей его состоянія...".

Въ Сѣвскѣ наши путешественники услышали неподалеку отъ постоялаго двора какой-то странный напѣвъ, звонко раздававшійся въ свѣжемъ утреннемъ воздухѣ. *Поди послушай, что это такое*, просилъ Гоголь своего друга: *не купаловыя ли пѣсни? Я бы самъ пошелъ, но ты знаешь, что я немножко изъ подъ Глухова*. Максимовичъ подошелъ къ сосѣднему дому и

узналъ, что тамъ умерла старушка, которую оплакиваютъ по очереди три дочери. Дѣвушки причитывали ей импровизированныя жалобы съ рѣдкимъ искусствомъ и вдохновлялись собственнымъ своимъ плачемъ... Проплакавъ всю ночь, онѣ до такой степени наэлектризовались поэтически-горестными выраженіями своихъ чувствъ, что начали думать вслухъ тоническими стихами. Раза два появлялись онѣ, то та, то другая, на галерейкѣ второго этажа и, опершись на перила, продолжали свои вопли и жалобы, и обращаясь къ утреннему солнцу, вопили: „Солнышко ты мое красное!". Максимовичу это живо напомнило Ярославну, *плакавшую рано, Путивлю городу на заборолѣ.*

Когда Максимовичъ разсказалъ обо всемъ видѣнномъ и слышанномъ Гоголю, то онъ былъ пораженъ поэтичностью этого явленія и выразилъ намѣреніе воспользоваться имъ, при случаѣ, въ *Мертвыхъ Душахъ.*

Наконецъ послѣ двѣнадцатидневнаго путешествія, друзья прибыли, 25 іюня, въ Глуховъ. Здѣсь они разстались. Максимовичъ своротилъ въ Турановку, къ дядѣ И. Ѳ. Тимковскому, а Гоголь уѣхалъ къ себѣ, въ Васильевку, въ коляскѣ А. М. Маркевича. При прощаніи, Максимовичъ далъ слово Гоголю посѣтить его въ Васильевкѣ [67]).

Изъ Сорочинецъ Гоголь писалъ своей сестрѣ: „Я пріѣхалъ въ Сорочинцы благополучно, но въ чужомъ экипажѣ. Пожалуйста, не сказывай матушкѣ, вели заложить коляску, и завтра же по-раньше, прежде чѣмъ станетъ свѣтать, выѣхать за мною. Матушкѣ можешь сказать на другой день поутру: иначе она не будетъ спать" [68]).

Въ сочиненіяхъ М. А. Максимовича сохранилось прекрасное описаніе его поѣздки въ Васильевку. „Я",—пишетъ Максимовичъ, — „не спросилъ Гоголя, гдѣ его Васильевка, въ полной увѣренности, что она должна быть возлѣ Миргорода.

Къ Спасову дню отправился я на храмъ въ Мгарскій Лубенскій монастырь, и провелъ тамъ два пріятныхъ дня. Оз-

накомясь подробно съ монастыремъ, основаннымъ Исаіей Копинскимъ, въ концѣ 1622 года, я былъ 8-го августа въ Лубнахъ. При выѣздѣ изъ города черезъ Сулу, я нашелъ наконецъ памятную въ исторіи Солоницу. Это слобода за селомъ Засульемъ, окруженная солонцами, но тамъ нѣтъ уже тѣхъ окоповъ, въ которыхъ отчаянно защищался и былъ взятъ гетманъ Наливайко.

Заночевалъ я на Ромоданѣ, т.-е., на дорогѣ изъ Лохвицы въ Кременчугъ, проторенной въ XVII-мъ вѣкѣ княземъ Ромодановскимъ. Восходъ солнца встрѣтилъ я въ Кибинцахъ, у церкви, въ которой погребенъ знаменитый владѣлецъ этого села Трощинскій. Здѣсь часто бывалъ въ дѣтскіе годы Гоголь, по родству съ Трощинскими. Въ Миргородѣ остановился я покормить лошадей и напиться чаю; но я не могъ здѣсь дознаться, гдѣ Васильевка? даже и по картѣ Миргородскаго уѣзда, висѣвшей въ Окружномъ Правленіи. Причиною тому было, что Васильевка зовется въ народѣ Яновщиною, и что она Полтавскаго, а не Миргородскаго уѣзда.

Какъ любителю старины, мнѣ нечего было дѣлать въ бѣдномъ, недавно еще погорѣвшемъ, Миръ-городкѣ (такъ онъ написанъ въ книгѣ *Большого Чертежа*). Хотя и считался онъ однимъ изъ старшихъ полковыхъ городовъ Украинскихъ, и славенъ былъ своими полковниками, но резиденція Миргородскаго полка находилась долго въ Сорочинцахъ, на рѣкѣ Пслѣ. Туда и поспѣшилъ я, съ вязкою Миргородскихъ бубликовъ, для Гоголя, и пріѣхалъ въ полдень невыносимо знойный. Прежде всего я пошелъ взглянуть на домъ, въ которомъ жилъ памятный на Украйнѣ цѣлебникъ Трофимовскій. Привѣтная хозяйка дома разсказала мнѣ о покойномъ свекрѣ своемъ, передъ его портретомъ. Отъ нея же узналъ я, что Сорочинцы родина Гоголя, что онъ и самъ пріѣхалъ сюда изъ Обуховки. Это извѣстіе и нежданная встрѣча съ Гоголемъ на мѣстѣ его рожденія, весьма обрадовали меня, и мы весело провели этотъ день вмѣстѣ, у А. С. Данилевскаго.

Мѣстечко Сорочинцы до 1782 года было сотеннымъ городомъ

Миргородскаго полка. Встарину оно звалось Краснополемъ. Въ гетманство Хмѣльницкаго Краснопольскимъ сотникомъ былъ Муха. Но за гетмана Многогрѣшнаго, когда сотникомъ здѣсь былъ Борисенко, Краснопольская сотня называлась уже Сорочинскою. Къ ней принадлежали десять селъ: знаменитая Обуховка Капнистова, малая Обуховка, Савинцы, Опанасовка, Олферовка, Семеренька, Матяшовка, Портянки, Перевозцы и Барановка, да семидесяти хуторовъ.

Цвѣтущее состояніе города настало при Данилѣ Павловичѣ Апостолѣ, бывшемъ сорокъ пять лѣтъ Миргородскимъ полковникомъ, и съ небольшимъ шесть лѣтъ гетманомъ. Памятникомъ его гетманства осталась въ Сорочинцахъ сооруженная имъ красивая каменная церковь, во имя Преображенія съ двумя придѣлами. Тутъ и погребенъ предпослѣдній Малороссійскій гетманъ, 28-го января 1734 года, въ склепу подъ амвономъ. На правой стѣнѣ виситъ изображеніе герба его съ надписью: „За труды и отечество". Въ алтарѣ видѣлъ я напрестольный крестъ съ тѣмъ же гербомъ, и Евангеліе (Московской печати 1735 г.) съ окладными изображеніями Даніила и Уліаніи. Въ этой церкви погребенъ еще генералъ-маіоръ Георгій Лесли. Въ первую четверть нынѣшняго столѣтія, искусство и слава Михаила Яковлевича Трофимовскаго привлекали въ Сорочинцы недужныхъ всей Малороссіи. Въ началѣ 1810 года, пріѣхала къ нему Марья Ивановна Гоголева, опасаясь трудныхъ родовъ.

Ободряя больную, Трофимовскій говорилъ, что у нея скоро будетъ „славный сынокъ": и она дала обѣщаніе, если родится сынъ, назвать его во имя Николы Диканьскаго. Квартира ея была въ домикѣ генеральши Дмитріевой, въ которомъ и родился 19-го марта Николай Васильевичъ Гоголь. Воспріемниками его были: молодой Трофимовскій Михайло Михайловичъ, и Дмитріева. Домикъ тотъ недавно разобранъ новой владѣлицей по незнанію, что въ немъ родился Гоголь.

Мы переѣхали черезъ Псёлъ и ѣхали въ Васильевку ночью, при свѣтѣ полнаго мѣсяца. Наслажденіемъ для меня было

промчаться вмѣстѣ съ Гоголемъ по степямъ, лелѣявшимъ его съ дѣтства. И никогда я не видалъ его такимъ одушевленнымъ, какъ въ эту Украинскую ночь....

Съ грустью вспоминаю теперь, и эту ночь, и день моей послѣдней встрѣчи съ Гоголемъ на его родинѣ.

„Степъ широкій, всюды видно, милого не бачу“ [69]).

XXI.

Проживая въ Васильевкѣ, Гоголь не прерывалъ письменныхъ сношеній съ А. О. Смирновой. Въ одномъ изъ своихъ писемъ (отъ 11-го сентября 1850 года), она сообщаетъ Гоголю: „Императрица уѣхала въ Варшаву, гдѣ предполагаетъ провести зиму; Государь уѣхалъ въ Чугуевъ; Наслѣдникъ—на Кавказъ; молодые Великіе Князья ѣздятъ по Россіи, воображаю, какъ милъ Петербургъ! Онъ тѣмъ только и хорошъ, что тамъ Царское семейство, а когда ихъ нѣтъ, скука его еще ощутительнѣе. Все равно, что господская усадьба, въ которой остались одни дворовые“ [70]).

Узнавъ изъ письма А. О. Смирновой о стремленіи Гоголя на Аѳонъ, чтобы тамъ оканчивать второй томъ *Мертвыхъ Душъ*, И. С. Аксаковъ писалъ къ своему отцу: „въ Даниловѣ я нашелъ къ себѣ письмо отъ А. О. Смирновой. Она пишетъ, что Гоголь, вѣроятно, поселится на Аѳонской горѣ и тамъ будетъ кончать *Мертвыя Души* (какъ ни подымайте высоко значеніе искусства, а все-таки это нелѣпость по моему: среди строгихъ подвиговъ аскетовъ онъ будетъ изображать ощущенія Селифона въ хороводѣ и грезы о бѣлыхъ и полныхъ рукахъ и проч.). Пишетъ она также, что собирается съѣздить къ Троицѣ и заѣхать къ намъ въ Радонежье и къ Путятамъ; что Константинъ монахъ безъ подвиговъ монашеской жизни, и что ему некуда дѣвать своихъ физическихъ и нравственныхъ силъ. Кажется, съ Самаринымъ она примирилась, по крайней мѣрѣ она излагаетъ свое письмо къ нему... Вообще же письмо ея мѣстами очень умно, мѣстами очень скучно право-

учительнымъ резонерствомъ и текстами изъ Священнаго Писанія“ [71]).

Самъ же Гоголь, 20 августа 1850, писалъ къ Смирновой изъ Васильевки: „Мнѣ нужно непремѣнно эту зиму хорошенько поработать въ ненатопленномъ теплѣ, съ благодатными прогулками на воздухѣ благорастворенпаго юга; и если только милосердный Богъ приведетъ мои силы въ состоянье полнаго вдохновенья, то второй томъ эту же зиму будетъ готовъ. Еслибы Одесса сдѣлалась хоть на этотъ годъ Коринѳомъ, или Бейрутомъ, съ какою бы я радостью остался въ Россіи!“ Не смотря на то, что „климатъ Одессы“ оказался „мало чѣмъ лучше Московскаго“, Гоголь прожилъ въ ней осень, всю зиму и часть весны, и только въ маѣ 1851 года, мы его видимъ опять въ Малороссіи [72]).

Водворившись снова на своей Михайловѣ Горѣ, М. А. Максимовичъ, 23 декабря 1850 года, писалъ Погодину: „Ты все сердишься, мой любезный другъ Михайло Петровичъ. Но, пожалуста, не сердись на меня за это все время, въ которое я былъ *никчемный* человѣкъ: ничего не сочинялъ, ни къ кому не писалъ, скучалъ, томился, тратился,—словомъ сказать—былъ въ убытокъ себѣ, и не знаю какъ еще выйду изъ своего настоящаго положенія. Праздникъ и новый годъ встрѣчаю истомленный душою и тѣломъ: 15 декабря я похоронилъ отца; болѣе недѣли хожу, не выходя изъ комнатъ, за больною сестрою. Какъ только успокоюсь и оправлюсь, примусь для развлеченія разбирать свои скрыньи, еще не тронутыя съ самаго пріѣзда, и тогда кое-что, конечно, отберу для твоего Древлехранилища“ [73]).

Почти въ тоже время какъ Максимовичъ лишился своего отца, Погодинъ утратилъ свою мать.

Обратимся къ *Дневнику* Погодина, записи котораго показываютъ его тогдашнее душевное настроеніе:

Подъ *1 ноября 1850 года*: „Тяжелый мѣсяцъ, хотя и мѣсяцъ моего рожденія... Маменька, что-то плоха! Не придется ли мнѣ похоронить ее въ роковое число“.

— *15 декабря* —: „Плоха маменька. Думалъ о ней и молился. Исповѣдана, пріобщена и соборована. Очень радъ, что все это совершилось. А какъ она любитъ меня: *голубчикъ мой, батюшка... разстаюсь я съ вами*“.

— *20* — —: „Маменька очень слаба“.

— *21* — —: „Видѣлъ во снѣ: прихожу къ Филарету, цѣлую у него обѣ руки, сажусь подлѣ него съ А. В. Горскимъ. Филаретъ, или лучше другой архіерей на его мѣстѣ сидящій, беретъ у Горскаго руку и разсматриваетъ ее, а потомъ мою: *ну, вотъ такъ, эта и эта, но не надолго.* Я понялъ, что мнѣ умереть скоро и отвѣчалъ: лишь бы не въ праздности. Послѣ очутился я въ домѣ Попова, противъ стараго нашего дома, въ Казенномъ переулкѣ и разсказалъ имъ объ этомъ предреченіи. Но мужъ давалъ ему какой-то другой смыслъ. А можетъ быть въ самомъ дѣлѣ мнѣ умереть скоро. Буди воля Божія, но надо пріуготовливаться и устраивать сколько можно судьбу дѣтей и поспѣшать приведеніемъ въ порядокъ сочиненій недоконченныхъ. Къ новому году, послѣ подписки, я надѣюсь устроить счетныя свои дѣла и расплатиться съ неопредѣленными долгами“.

Но послѣ этого соннаго видѣнія, Богъ благословилъ прожить Погодину еще цѣлую четверть столѣтія.

Наконецъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* того времени было объявлено: „Михаилъ Петровичъ Погодинъ и Аграфена Петровна Мессингъ, урожденная Погодина, съ глубочайшимъ прискорбіемъ извѣщаютъ о кончинѣ родительницы своей, Аграфены Михайловны Погодиной, послѣдовавшей декабря 31-го числа, въ полночь. Выносъ имѣетъ быть въ четвергъ сего января 4-го числа, 1851 года, отпѣваніе въ приходской церкви Св. Саввы Освященнаго, а погребеніе въ Дѣвичьемъ монастырѣ“.

Сдѣлавши это объявленіе, Погодинъ, подъ 1-е января 1850 года, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Первое время грустно по милой, доброй маменькѣ, но какъ-то легко, какъ будто она кончила свое дѣло, какъ должно, и отправилась

спокойно домой. Поговорятъ ли они съ Лизой, и помогутъ ли мнѣ сирому".

Послѣ похоронъ, Погодинъ писалъ Максимовичу: „Ты лишился отца; я лишился матери, которая, ты знаешь, какъ любила меня горячо. Тяжело было разставаться съ нею. Грустно одиночество, все болѣе и болѣе охватывающее. Только утѣшаетъ меня Древлехранилище. Обогащается безпрестанно, и что за рѣдкости".

Дѣйствительно, Древлехранилище не могло не утѣшать Погодина. „Я того мнѣнія",—писалъ ему въ то время В. И. Григоровичъ,—„что старословянскія рукописи до XIV вѣка, если будутъ предметомъ не только Библіографіи, но и сплошнаго чтенія, надолго могутъ занять очень полезно вниманіе ученыхъ. Въ такомъ случаѣ библіотека ваша превратится въ Калифорнію, куда навѣрно золотопромышленники филологическіе могутъ для поисковъ отправляться. — Дай Богъ ученымъ самоотверженія и добраго случая для такихъ поисковъ".

Несчастіе, постигшее Погодина, возбудило къ нему сочувственное участіе многихъ. Прежде всѣхъ откликнулась Наталья Петровна Кирѣевская и написала ему изъ села Долбина замѣчательное письмо (13 января 1851 г.): „Горе, поразившее васъ въ полночь на новый годъ, не чуждо душѣ моей. Вы не усомнитесь въ искреннемъ участіи моемъ, и потому не могу не сказать вамъ нѣсколько словъ по сердцу. Въ мірскомъ смыслѣ разлука — горе. И какое-то *суевѣріе*, которое примѣшивается къ полуночной минутѣ 1-го января, увеличиваетъ печаль и какъ будто усиливаетъ несчастіе, не столько самымъ чувствомъ несчастія, сколько попущеніемъ себѣ горькихъ, предрекательныхъ мнѣній, отъ которыхъ человѣку христіанину необходимо себя удерживать—какъ отъ яда, дѣйствующаго разрушительно на душу. Нашъ настоящій новый годъ, христіанскій, начинается не съ 1-го января, а 25-го декабря, со дня Рождества Христова. И такъ, это первое мнѣніе о минутѣ, въ которую поразило Васъ несча-

стіе, пресѣките чувствомъ милости къ вамъ Христа Спасителя! Покойная матушка ваша начала съ вами Новый годъ, и еще нѣсколько дней его провела на землѣ, благословляя васъ. Потомъ, переселилась душа ея въ вѣчность къ Отцу Щедротъ, на вѣчное, безпечальное, безболѣзненное успокоеніе, радость и счастье!—Ужели вы рѣшитесь сказать сердцемъ, что такая съ нею разлука — вамъ горе?! Нѣтъ, возлюбленный Михаилъ Петровичъ! Отдавши ее Милосердому Господу, вы должны быть спокойны, мирны духомъ; молитва ея и благословеніе неразлучны съ вами, и благодарная и безпечальная покорность ваша волѣ Божіей будетъ вамъ источникомъ сладкихъ утѣшеній!.. —Во Христѣ любовію прошу васъ, не предавайтесь грусти! Она для души вредна, какъ ропотъ на Создателя, и отравляетъ здоровье. Поберегите себя, у васъ цѣлая семья милыхъ дѣтей, вамъ нужна жизнь для нихъ, а вы ее утрачиваете, не сберегая здоровье. Поберегите себя! Извините мнѣ мои вамъ увѣщанія; я холодно любить не умѣю, а это чувство даетъ мнѣ право говорить вамъ по сердцу, какъ брату, и потому не сѣтуйте на меня; мнѣ грустна—грусть ваша. Иванъ Васильевичъ также съ искреннимъ участіемъ поручаетъ мнѣ передать вамъ его дружеское рукожатіе. Простите! отъ всего сердца желаю вамъ милости Божіей, утѣшенія и силы душевной. Вспомните о насъ добрымъ чувствомъ и дружескимъ словомъ".

„Душевно скорблю о скорби вашей",—писалъ Даль Погодину (12 февраля 1851 г.),—„но всѣ мы тамъ будемъ, кто прежде, кто послѣ. Чудаки люди: въ рай просятся, а смерти боятся. Умереть сегодня—страшно; а когда-нибудь—ничего".

Историкъ Нижегородской церкви архимандритъ Макарій (впослѣдствіи архіепископъ Донской и Новочеркасскій) назидалъ Погодина (17 февраля 1851 г.) такимъ словомъ: „Поздравляю васъ съ наступающею Св. Четыредесятницею. Да утѣшитъ васъ Богъ во дни духовнаго плача отъ скорби тѣлесной! Кончина любимой вами матери есть путь обыкновенный, которымъ шли прежде и будутъ идти послѣ насъ. Узы

любви, связующей насъ на землѣ, могилою не прекращаются. Продолжайте любить почившую, какъ любили ее здѣсь. А эта любовь внушитъ вамъ, что нужно для умершихъ и подастъ вамъ и усопшей веліе утѣшеніе".

Въ томъ же духѣ писалъ Погодину и И. И. Давыдовъ (3 марта 1851 г.): „Вы грустите о послѣдней утратѣ вашей: ахъ, Боже мой, кто не испытывалъ этого горя? Не смѣя утѣшать въ безутѣшномъ никого, я самъ по крайней мѣрѣ нахожу отраду всѣмъ утратамъ близкихъ въ той мысли, что скоро свижусь съ ними—и уже навсегда... Эти утраты своихъ, друзей, товарищей, приводятъ насъ къ какому-то безчувствію: видишь вокругъ непостоянство, тлѣнность, измѣняемость. Но какъ вспомнишь, *яко грядетъ часъ, въ онъ же вси сущіи во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія*, то съ души какъ бремя скатится, и такъ легко становится, легко".

Остался не безучастенъ къ Погодину и В. Д. Олсуфьевъ. „Душевно соболѣзную о вашемъ горѣ",—писалъ онъ,—„и постигаю вполнѣ грусть вашу. Тяжело лишаться милыхъ сердцу и въ одной лишь вѣрѣ можно находить утѣшеніе".

Наконецъ, Погодинъ получаетъ слѣдующее письмо отъ Гоголя, изъ Одессы (отъ 7-го марта 1851 года): „Благодарю тебя, другъ, за доброе твое письмо. Прискорбно было узнать изъ него объ утратѣ твоей. Добрая мать, такъ тебя любившая, уже теперь не молится за тебя здѣсь на землѣ, она уже тамъ... она завѣщала теперь тебѣ молиться о ней. Не позабывай по ней панихидъ. Панихиды по близкимъ душамъ успокоиваютъ много нашу собственную душу. Да и самимъ мыслямъ становится послѣ того какъ-то и способнѣе и удобнѣе стремиться туда, куда имъ предписанъ законъ стремиться и самые кандалы на ногахъ, на которые ты жалуешься, и которые у всякаго человѣка на землѣ, становятся тогда неслышнѣй и легче. Прощай! Если дастъ Богъ, увидимся въ маѣ" [74]).

XXII.

Мирное пребываніе князя П. А. Вяземскаго въ Константинополѣ было нарушено извѣстіемъ, что книгопродавецъ Смирдинъ объявилъ объ изданіи сочиненій Екатерины Великой. „Это“,—писалъ Плетневъ Жуковскому,—„возмутило Вяземскаго. Онъ негодуетъ на Академію Наукъ, какъ она могла допустить подобное посрамленіе великаго имени Екатерины, упоминая во сколько насъ выше Берлинцы, со всею роскошью издавшіе творенія Фридриха Великаго, не смотря, что онъ плюнулъ на Нѣмецкій языкъ и писалъ по-Французски. Мысль Вяземскаго объ изданіи Екатерины II съ такимъ предисловіемъ, или жизнеописаніемъ, которое бы представило во всемъ блескѣ *вѣкъ* и *умъ* ея, меня очень занимаетъ. Еслибы мы трое, сосредоточившись въ Петербургѣ и раздѣливъ межъ собой работу по этому изданію, бодро и усердно просидѣли годокъ за дѣломъ, каждый за своимъ по указанію сообща, я увѣренъ, что изъ этого вышло бы что-нибудь очень путное. Екатерина конечно не важна, какъ авторъ, но она чудныя рождаетъ въ душѣ идеи, какъ человѣкъ своей эпохи и своей націи. Всякая пьеса ея послужила бы темою для такой главы, въ которой разгулялось бы перо вдохновеннаго историка. А кто не вдохновится, принявшись говорить о ней?“

Самому же князю Вяземскому Плетневъ писалъ: „Все, что ни говорите вы касательно изданія сочиненій Екатерины II, совершенно справедливо. Но я увѣренъ, что гораздо скорѣе и гораздо лучше воздвигнетъ ей литературный памятникъ кто-нибудь изъ частныхъ людей (разумѣется не Смирдинъ). Съ княземъ Шихматовымъ я не буду и говорить о вашемъ предположеніи, потому что онъ, хотя и полный теперь министръ Народнаго Просвѣщенія, вообще не предпріимчивъ, робокъ и на нештатныя издержки вообще нерѣшителенъ. Графу Уварову, сохранившему за собою президентскія кресла въ Академіи и такимъ образомъ подчинившемуся приговорамъ

прежняго подчиненнаго своего, я прочиталъ ваше письмо. Какъ человѣкъ, утратившій вмѣстѣ съ здоровьемъ своимъ и всякую энергію, онъ нисколько не одушевился и отдѣлался замѣчаніемъ, что Великая Екатерина литературными своими произведеніями гораздо у насъ ниже своей славы, а Фридрихъ Великій знаменитъ и по сочиненіямъ своимъ. Можно было бы сказать, что для дополненія славы, пріобрѣтенной Екатериною, совсѣмъ нѣтъ въ чемъ-либо надобности, а тѣмъ менѣе въ образцовыхъ сочиненіяхъ, но потомство заслужитъ честь и общую признательность, украсивъ литературу свою изданіемъ сочиненій Государыни, достойнымъ славнаго ея имени... Но чтобы ваша прекрасная мысль не погибла, не попробуете ли вы, если знакомы, написать объ этомъ А. С. Норову: на дняхъ онъ сдѣланъ товарищемъ министра Народнаго Просвѣщенія. Онъ не безъ энтузіазма и патріотъ. Подстрекните самолюбіе его тѣмъ, что, можетъ быть, на новомъ его поприщѣ никогда не представится болѣе благопріятнаго случая заставить почувствовать въ себѣ не по имени только товарища министра Народнаго Просвѣщенія, но и по незабвенному дѣлу. Вызоветесь, буде это будетъ поручено вамъ, приготовить къ великолѣпному изданію сочиненій Екатерины II предисловіе, или жизнеописаніе автора, достойное знаменитаго имени. Полагаю, что Норовъ способенъ сильно дѣйствовать на Шихматова: они такъ сильно слиты чувствомъ набожности. Затрудненіе все въ деньгахъ. Но въ нашемъ Министерствѣ есть большіе запасные капиталы. Стòитъ только министру сослаться на этотъ источникъ издержекъ,—и Государь охотно разрѣшитъ. А какая бы прекрасная представилась работа перу вашему? Никто лучше васъ не знаетъ Екатерининской эпохи. Вы, и для фонъ-Визина, порывшись, столько набрались по этой части, которую давно знали какъ фамильное преданіе“ [75]).

Къ стыду нашему, творенія Екатерины Великой и доселѣ имѣются въ Русской Литературѣ только въ изданіи Смирдина!

Между тѣмъ, князь П. А. Вяземскій, послѣ своего пребы-

XXII.

Мирное пребываніе князя П. А. Вяземскаго въ Константинополѣ было нарушено извѣстіемъ, что книгопродавецъ Смирдинъ объявилъ объ изданіи сочиненій Екатерины Великой. „Это“,—писалъ Плетневъ Жуковскому,—„возмутило Вяземскаго. Онъ негодуетъ на Академію Наукъ, какъ она могла допустить подобное посрамленіе великаго имени Екатерины, упоминая во сколько насъ выше Берлинцы, со всею роскошью издавшіе творенія Фридриха Великаго, не смотря, что онъ плюнулъ на Нѣмецкій языкъ и писалъ по-Французски. Мысль Вяземскаго объ изданіи Екатерины II съ такимъ предисловіемъ, или жизнеописаніемъ, которое бы представило во всемъ блескѣ *вѣкъ* и *умъ* ея, меня очень занимаетъ. Еслибы мы трое, сосредоточившись въ Петербургѣ и раздѣливъ межъ собой работу по этому изданію, бодро и усердно просидѣли годокъ за дѣломъ, каждый за своимъ по указанію сообща, я увѣренъ, что изъ этого вышло бы что-нибудь очень путное. Екатерина конечно не важна, какъ авторъ, но она чудныя рождаетъ въ душѣ идеи, какъ человѣкъ своей эпохи и своей націи. Всякая пьеса ея послужила бы темою для такой главы, въ которой разгулялось бы перо вдохновеннаго историка. А кто не вдохновится, принявшись говорить о ней?“

Самому же князю Вяземскому Плетневъ писалъ: „Все, что ни говорите вы касательно изданія сочиненій Екатерины II, совершенно справедливо. Но я увѣренъ, что гораздо скорѣе и гораздо лучше воздвигнетъ ей литературный памятникъ кто-нибудь изъ частныхъ людей (разумѣется не Смирдинъ). Съ княземъ Шихматовымъ я не буду и говорить о вашемъ предположеніи, потому что онъ, хотя и полный теперь министръ Народнаго Просвѣщенія, вообще не предпріимчивъ, робокъ и на нештатныя издержки вообще нерѣшителенъ. Графу Уварову, сохранившему за собою президентскія кресла въ Академіи и такимъ образомъ подчинившемуся приговорамъ

прежняго подчиненнаго своего, я прочиталъ ваше письмо. Какъ человѣкъ, утратившій вмѣстѣ съ здоровьемъ своимъ и всякую энергію, онъ нисколько не одушевился и отдѣлался замѣчаніемъ, что Великая Екатерина литературными своими произведеніями гораздо у насъ ниже своей славы, а Фридрихъ Великій знаменитъ и по сочиненіямъ своимъ. Можно было бы сказать, что для дополненія славы, пріобрѣтенной Екатериною, совсѣмъ нѣтъ въ чемъ-либо надобности, а тѣмъ менѣе въ образцовыхъ сочиненіяхъ, но потомство заслужитъ честь и общую признательность, украсивъ литературу свою изданіемъ сочиненій Государыни, достойнымъ славнаго ея имени... Но чтобы ваша прекрасная мысль не погибла, не попробуете ли вы, если знакомы, написать объ этомъ А. С. Норову: на дняхъ онъ сдѣланъ товарищемъ министра Народнаго Просвѣщенія. Онъ не безъ энтузіазма и патріотъ. Подстрекните самолюбіе его тѣмъ, что, можетъ быть, на новомъ его поприщѣ никогда не представится болѣе благопріятнаго случая заставить почувствовать въ себѣ не по имени только товарища министра Народнаго Просвѣщенія, но и по незабвенному дѣлу. Вызоветесь, буде это будетъ поручено вамъ, приготовить къ великолѣпному изданію сочиненій Екатерины II предисловіе, или жизнеописаніе автора, достойное знаменитаго имени. Полагаю, что Норовъ способенъ сильно дѣйствовать на Шихматова: они такъ сильно слиты чувствомъ набожности. Затрудненіе все въ деньгахъ. Но въ нашемъ Министерствѣ есть большіе запасные капиталы. Стоитъ только министру сослаться на этотъ источникъ издержекъ,—и Государь охотно разрѣшитъ. А какая бы прекрасная представилась работа перу вашему? Никто лучше васъ не знаетъ Екатерининской эпохи. Вы, и для фонъ-Визина, порывшись, столько набрались по этой части, которую давно знали какъ фамильное преданіе“ [75]).

Къ стыду нашему, творенія Екатерины Великой и доселѣ имѣются въ Русской Литературѣ только въ изданіи Смирдина!

Между тѣмъ, князь П. А. Вяземскій, послѣ своего пребы-

ванія въ Константинополѣ, посѣтилъ Малую Азію и поля Трои, поклонился Гробу Господню и въ концѣ 1850 года, возвратился въ Отечество.

11 сентября 1850 года, А. О. Смирнова писала Гоголю: „Вотъ Вяземскій съѣздилъ въ Іерусалимъ; теперь его ждутъ въ Остафьево. Говорятъ, что это путешествіе его очень успокоило. Вяземскій еще человѣкъ прошлаго столѣтія, и развлеченія, какого бы они роду ни были, очень могущественны для него. Какія-нибудь иллюзіи были еще у людей прошлаго вѣка, мы не можемъ имѣть никакихъ“ [76]). Въ *Дневникѣ* же Погодина, подъ 29 сентября, того же года читаемъ: „Вечеръ у Уварова, гдѣ встрѣтилъ Вяземскаго. Шевыревъ предлагаетъ дать обѣдъ Вяземскому. Думалъ о рѣчи“.

Предложеніе Шевырева встрѣтило въ Москвѣ полное сочувствіе. По свидѣтельству Московскаго лѣтописца, „мысль угостить нашего писателя и паломника *Русскимъ радушнымъ пиромъ* приходила еще и тогда, когда онъ проѣзжалъ черезъ Москву на Востокъ. Но іюнь мѣсяцъ неблагопріятенъ въ Москвѣ для прекрасныхъ явленій общественной жизни. Да и душа путника, собиравшагося на Востокъ, еще болѣвшая свѣжими ранами грусти, не была настроена для веселыхъ впечатлѣній. Теперь другое дѣло; онъ возвращался болѣе свѣтлый и успокоенный, возвращался оттуда, гдѣ если не заживаютъ совсѣмъ глубокія раны души, то находятъ отрадное успокоеніе“.

Въ устройствѣ обѣда принималъ и Погодинъ горячее участіе. Вотъ что, между прочимъ, писалъ онъ къ Шевыреву: „Мнѣ все хочется, чтобъ литераторовъ было побольше, а то характеръ обѣда другой. И забавляется грѣшная мысль—пригласить даромъ нѣкоторыхъ молодыхъ людей: пакостите-де, сколько хотите, а покормить-то все-таки мы васъ покормимъ. Въ такомъ случаѣ, радъ бы и прибавить. Ты этого не говори никому. А послѣ по сбору увидимъ, что можно будетъ сдѣлать. Во всякомъ случаѣ надо бы пригласить: Островскаго, Мея, Берга, Миллера, Колошина, какъ надежду Русской Ли-

тературы, — съ уступкою. А что Ѳ. Н. Глинка? Напустите кого-нибудь на Загоскина. Ему надо быть! Скажи ему серьезно, что безъ него нельзя: онъ старшій. Богатый человѣкъ! Тридцать лѣтъ въ Москвѣ, по тридцати разъ обѣдалъ у всякаго почти изъ насъ и не хочетъ разу дать такую бездѣлицу. Удивительный человѣкъ! Мещерскій адъютантъ долженъ быть въ Москвѣ. Къ Бецкому все-таки пошлите: онъ даже чѣмъ-то обязанъ князю Вяземскому, — Ласковымъ пріемомъ и проч.".

Въ это время только-что вернулся въ Москву изъ своей деревни М. А. Дмитріевъ и, не смотря на свою давнюю литературную непріязнь съ княземъ Вяземскимъ, пожелалъ участвовать на его праздникѣ. „Дмитріевъ—все-таки истинный литераторъ",—писалъ Погодинъ къ Шевыреву,—„онъ очень радъ, и даетъ деньги, хотя можетъ быть и не пріѣдетъ, ибо нѣтъ фрака: обозъ не пріѣхалъ.

Наконецъ, въ субботу, 21 Октября, 1850 г., состоялся обѣдъ въ честь князя П. А. Вяземскаго, въ залахъ Училища Живописи и Ваянія. По свидѣтельству Московскаго лѣтописца, „старѣйшины изъ Московскихъ литераторовъ: М. Н. Загоскинъ, Д. Н. Бѣгичевъ, Ѳ. Н. Глинка, М. П. Погодинъ, Н. В. Сушковъ, А. Ѳ. Вельтманъ, встрѣтили гостя радушнымъ привѣтомъ. Объятія дружбы и многолѣтней пріязни здѣсь также ожидали его. Многіе члены Университета, первенствующій въ Москвѣ художникъ музыки, ветеранъ и слава нашей сцены, живописцы, писатели молодого поколѣнія, — все соединилось здѣсь для того, чтобы этому празднику быть вполнѣ праздникомъ мысли. Сколько встрѣчь! Сколько возобновленныхъ рукожатій! Сколько новыхъ знакомствъ для сѣвернаго гостя, который такъ давно не посѣщалъ Москву! Съ той поры,—какъ онъ ее на долго покинулъ, успѣло воспитаться и созрѣть для дѣятельности новое поколѣніе литераторовъ!".

Звуки музыки подали знакъ къ обѣду. Первый мастеръ своего дѣла въ Москвѣ, Русскій наслѣдникъ славы Вателей и Каремовъ, знаменитый Порфирій, изготовилъ обѣдъ... Когда

салимѣ, съ радостнымъ сыновнимъ чувствомъ отыскивалъ я черты, мѣстности, краски, напоминавшія мнѣ картины и святыни нашей живописной, православной и святой Москвы. При нихъ сердце мое билось сильнѣе, и прелесть воспоминанья удвоивала цѣну настоящихъ впечатлѣній.

Въ области литературы я также для васъ живое преданіе. Не даромъ Н. Ф. Павловъ въ своемъ привѣтствіи упомянулъ о моихъ литературныхъ связяхъ. Незначительное имя мое богато обставлено именами, дорогими вашему сердцу и славѣ народной. Чувствую, что привѣтствуете вы во мнѣ не столько мои литературныя заслуги, сколько мои литературныя связи. Я былъ питомцемъ Карамзина: тѣснѣйшія узы родства и сердца связывали меня съ нимъ. У меня въ подмосковной, и на глазахъ моихъ, написалъ онъ нѣсколько томовъ своего безсмертнаго творенія. Нелединскій, Дмитріевъ также ласкали меня отрокомъ, въ домѣ отца моего. Послѣ, когда я возмужалъ, они удостоивали меня своей особенной пріязни. На дружескихъ и веселыхъ пирахъ обмѣнивались мы съ Денисомъ Давыдовымъ, риѳмами и бокалами. Я не дожилъ еще до глубокой старости, но грустно уже пережилъ многихъ друзей, многія литературныя поколѣнія. Пушкинъ, Баратынскій, Языковъ, возросли, созрѣли, прославились и сошли въ могилу при мнѣ. Во мнѣ привѣтствуете вы старѣйшаго друга нашего перваго современнаго поэта Жуковскаго, и другаго поэта, еще живаго, но къ сожалѣнію давно умолкшаго, Батюшкова! Созвѣздіе этихъ блестящихъ именъ проливаетъ нѣкоторый блескъ и на меня. Вотъ лучшія права мои на вниманіе и любовь вашу. Вотъ что особенно любите вы во мнѣ и чему хотѣли вы изъявить ваше теплое сочувствіе. Еще разъ, отъ полноты души, благодарю васъ за все, за себя и за ту старину, и за тѣхъ, которыхъ вы почтили во мнѣ.

Въ заключеніе, позвольте мнѣ предложить тостъ за благосостояніе Москвы, и въ особенности благодарный тостъ за здоровье Московскихъ дамъ, которыя насъ удостоили присутствіемъ своимъ".

По свидѣтельству очевидцевъ, рѣчь эта, въ которой „слышались слезы“, произвела на слушателей умилительное впечатлѣніе.

Послѣ нѣкотораго промежутка, къ собранію обратился С. П. Шевыревъ и сказалъ слѣдующеее: „Мысль и чувство невольно просятся въ слово, при видѣ такого прекраснаго пира. Позвольте мнѣ, Мм. Гг., отвлечь вниманіе ваше отъ живой, разрозненной бесѣды и сосредоточить его еще разъ на виновникѣ нашего собранія. Русское смиреніе ваше, Князь Петръ Андреевичъ, только увеличиваетъ ваши достоинства; но позвольте же тѣмъ, которые изучаютъ Исторію Русской Словесности, не щадя вашей скромности, выразить, какъ понимаютъ они значеніе ваше литературное, въ настоящую минуту нашей жизни. Въ эту эпоху, когда разрывъ ума и сердца довелъ человѣка до самыхъ тяжкихъ страданій, и такими сильными вздохами отзывается онъ въ лучшихъ твореніяхъ современнаго слова,—намъ пріятно радушнымъ привѣтомъ встрѣтить Русскаго писателя, который, въ жизни какъ и въ словѣ, умѣлъ согласовать умъ и сердце. Въ то время, когда Литература запуталась въ общественныхъ отношеніяхъ, намъ пріятно отдать справедливость тому, кто всегда благоразумно признавалъ эти отношенія и постигалъ, что Словесность должна быть столько же живымъ отголоскомъ общества, сколько и разумнымъ его руководителемъ. Въ это время, когда мыслящіе люди, въ произведеніяхъ современныхъ, нерѣдко съ благороднымъ сокрушеніемъ видятъ жалкую ссору писателя съ человѣкомъ, намъ пріятно поднять кубокъ въ честь того, въ комъ мы привыкли чтить и любить писателя съ человѣкомъ вмѣстѣ“. (Эти слова возбудили сильное сочувствіе, которое выразилось единогласнымъ одобреніемъ).—„Наконецъ, въ этомъ кипѣніи текущей жизни, гдѣ поколѣнія бѣгутъ черезъ поколѣнія, какъ волны черезъ волны, по праву принадлежитъ сочувствіе тому, кто простиралъ его дружелюбно на всѣ поколѣнія, начиная отъ старшихъ до самыхъ младшихъ.

Въ вашемъ Фонъ-Визинѣ вы простерли его на самыхъ

древнихъ поэтовъ нашихъ, на этихъ бардовъ Русскаго народа, какъ вы ихъ назвали. Но особенное вниманіе и трудъ посвятили вы изученію того писателя, на дѣятельности котораго, ярче чѣмъ на другихъ, обозначалась любимая ваша мысль — связь Русской жизни съ Русскимъ словомъ, на Фонъ-Визинѣ, который своею прозою предсказалъ Карамзина. Вы были біографомъ Озерова и Дмитріева. Судьба доставила вамъ счастливый случай — родство съ Карамзинымъ, но васъ соединяло съ нимъ еще болѣе родство духовное, нежели кровное. Вамъ досталось быть дружкою и пропѣть счастливую пѣсню на золотой свадьбѣ съ Музою у дѣдушки Крылова. Ваше теплое слово участвовало въ сооруженіи ему памятника.

Выражая сочувствіе другимъ, вы сами въ замѣну были предметомъ сочувствія вашихъ современниковъ, старшихъ и младшихъ. Пріятно мнѣ, ихъ же словами, высказывать вамъ его теперь. Вы съ грустью помните, какъ Батюшковъ, заживо умершій, въ порѣ своей и вашей молодости, васъ призывалъ, „вѣнчать друзей цвѣтами". Вы, съ самыхъ первыхъ лѣтъ литературнаго поприща, были другомъ и братомъ названнымъ Жуковскому, по его же слову. Васъ видимъ мы въ *Евгеніѣ Онѣгинѣ* Пушкина, какъ на свѣтскомъ балѣ, вы успѣли занять душу прекрасной его Тани *). Вамъ посвятилъ свои *Сумерки* Баратынскій. Васъ искалъ онъ, когда душа его изъ тѣснаго міра жизни стремилась въ міръ высшій; къ вамъ простиралъ онъ эти слова:

Вы озарявшіе меня
И дружбы кроткими лучами,
И свѣтомъ высшаго огня.

---

*) *Къ ней какъ-то Вяземскій подсѣлъ*
И душу ей занять успѣлъ.

Впослѣдствіи, по поводу этого стиха, Князь П. А. Вяземскій замѣтилъ: „Эта шутка Пушкина очень меня порадовала". Далѣе идутъ стихи:

И близъ него ея замѣтя
Объ ней, поправя свой парикъ,
Освѣдомляется старикъ.

„Пушкинъ",—замѣчаетъ Князь Вяземскій,—„вѣроятно, имѣлъ здѣсь въ виду И. И. Дмитріева". *Н. Б.*

Вамъ посылалъ Русское „спасибо“ болѣзненный страдалецъ Языковъ, когда на дальней сторонѣ,

Его тоску вы разгоняли,
Вы утѣшительно заботились о немъ.

Живо всегда было сочувствіе къ вамъ въ томъ поколѣніи, которому принадлежу я. Молчу о присутствующихъ: они здѣсь сами лично вамъ выражаютъ его.

Но какой же былъ источникъ этому сочувствію? Гдѣ оправданіе и настоящей минутѣ? Въ томъ, что чисто поняли вы славу, когда благородный лучъ ея коснулся вашего юнаго сердца и призвалъ васъ на служеніе Русскому слову. Скажу вамъ тоже вашими же стихами:

И не вотще она вамъ голосъ подала,
Она вдохнула вамъ свободную отвагу,
Святую ненависть къ безчестному зажгла
И чистую любовь къ изяществу и благу.

Что же касается до тѣхъ чувствъ дружбы, которыя связывали васъ съ лучшими нашими поэтами, которыя участвуютъ такъ много въ этомъ пиру, которымъ обязаны мы и этимъ новымъ общественнымъ явленіемъ, что и дамы украшаютъ подобное собраніе, то разгадка ихъ силы и прочности въ вашемъ же словѣ, которое вы умѣли жизнію обратить въ дѣло. Ими заключу теперь и мое слово. Вы сказали:

Что чувство, брошенное скрытно
Залогомъ жизни въ нашу грудь,
Всегда одно и первобытно;
Чѣмъ было, тѣмъ оно и будь.

Эти стихи, въ которыхъ такъ вѣрно выражена тайна дружбы постоянной, были, по свидѣтельству очевидцевъ, причиною новыхъ, громкихъ и общихъ изліяній сочувствія къ виновнику праздника“ [77]).

Въ Погодинскомъ Архивѣ сохранился слѣдующій печатный листокъ:

ОБѢДЪ,

данный Князю Петру Андреевичу Вяземскому, 21 октября 1850 года, въ Москвѣ, для празднованія благополучнаго его возвращенія изъ чужихъ краевъ, состоялъ изъ нижеслѣдующихъ собственноручно - подписавшихся, душевно преданныхъ ему особъ: Марья Ховрина, Елизавета Горсткина, Меропа Новосильцова, Княгиня Надежда Четвертинская, Софія Ладомирская, Зинаида Ладомирская, Княгиня Надежда Трубецкая, Каролина Павлова, Дарья Сушкова, Евгенія Танненбергъ, Графиня Елизавета Сальясъ - Турнемиръ, Авдотья Глинка, Прасковья Бакунина, Иванъ Лужинъ, Степанъ Шевыревъ, Александръ Булгаковъ, Константинъ Булгаковъ, Князь Николай Трубецкой, М. Н. Загоскинъ, Н. Сушковъ, Ѳедоръ Глинка, Кн. Александръ Ухтомскій, Кн. Ѳедоръ Гагаринъ, Николай Павловъ, Николай Боборыкинъ, Сергѣй Полторацкій, Гр. Н. В. Орловъ-Денисовъ, Алексѣй Мельгуновъ, Николай Мухановъ, Михаилъ Погодинъ, Александръ Армфельдъ, Михалъ Гульковскій, Дмитрій Столыпинъ, Гр. Василій Бобринскій, Александръ Вельтманъ, Александръ Плещеевъ, Владиміръ Драшусовъ, Петръ Перевлѣсскій, Василій Корнильевъ, Алексѣй Верстовскій, Павелъ Нащокинъ, Ѳедоръ Буслаевъ, Тимоѳей Грановскій, Сергѣй Соловьевъ, Левъ Мей, Графъ Дмитрій (Андреевичъ) Толстой, Николай Билевичъ, Петръ Новосильцовъ, Князь М. А. Оболенскій, Михаилъ Скотти, Василій Добровольскій, Петръ Чаадаевъ, Дмитрій Бегичевъ, Ѳедоръ Иноземцовъ, Иванъ Горсткинъ, Михаилъ Щепкинъ, Князь В. С. Голицынъ.

Возвратясь съ обѣда, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Обѣдъ. Не совсѣмъ хорошо устроено. Острилъ съ К. К. Павловой. Разсказы Щепкина. Новосильцовъ не могъ разобрать слова въ своемъ спичѣ. Павловъ позабылъ стихи Вяземскаго и очень надувался. И у Шевырева не слышится душа въ словахъ хотя и хорошихъ. Грановскій послѣ обѣда съ объясненіемъ, что напрасно я считаю его нераспо-

ложеннымъ. Съ Вельтманомъ о Владимірѣ. И я радъ, что все идетъ къ миру... Обѣдъ не сытенъ. Вяземскаго прекрасный стихъ:

Степи голыя, нѣмыя
Все же вамъ и пѣснь и честь!
Все вы — матушка Россія
Какова она ни есть!

Точно: *какова она ни есть!* Хотѣлъ было предложить тостъ за здоровье князя Вяземскаго, какъ добраго и любезнаго и благороднаго человѣка, но не успѣлъ, и какъ то неловко было".

Когда описаніе обѣда появилось въ *Москвитянинѣ*, Шевыревъ писалъ Погодину: „Что же ты ничего отъ себя не прибавилъ объ обѣдѣ? Хорошъ! Хоть бы ту рѣчь, которую думалъ сказать и не сказалъ. Надобно бы было тоже оправдать отсутствіе Хомякова, Гоголя, Максимовича. Не всѣ же знаютъ, что ихъ нѣтъ въ Москвѣ. А обѣдъ-то былъ славный и описаніе возбудило, какъ кажется, общій интересъ и сочувствіе" [78]).

XXIII.

Въ 1850 году, Погодинъ издалъ четвертый томъ своихъ *Изслѣдованій*, *Замѣчаній* и *Лекцій* о *Русской Исторіи*, обнимающій собою періодъ удѣльный, 1054—1240. „Приступаемъ",—пишетъ авторъ въ своемъ предисловіи,—„къ періоду самому запутанному, темному, скучному, въ Русской Исторіи, какъ объ немъ вообще у насъ думаютъ,—періоду удѣльному.

Періодъ удѣльный занимаетъ время отъ кончины послѣдняго единовластителя земли Русской, Ярослава († 1054) до вступленія на престолъ Ивана III Васильевича, получившаго вновь подъ свою державу всѣ почти сѣверные удѣлы (1462),—и, слѣдовательно, продолжается слишкомъ четыреста лѣтъ.

Политическій характеръ всего этого періода есть дѣленіе, раздробленіе, съ происходившими отъ того междоусобіями,

которыя, разумѣется, по времени принимали разныя фазы, наростало, ущерблялось, и наконецъ прекратилось, подвергаясь между тѣмъ и вліянію различныхъ обстоятельствъ. Монголы раздѣляютъ удѣльный періодъ на двѣ почти равныя половины, много между собою несходныя: первая отъ 1054 до 1237; вторая отъ 1237 до 1462 года.

Мы займемся теперь періодомъ удѣльнымъ по преимуществу, отъ кончины Ярослава до Монголовъ, 1054—1240.

Въ предисловіи къ первымъ тремъ томамъ *Изслѣдованій*, вышедшимъ въ началѣ 1846 года, о Норманскомъ періодѣ, я обѣщалъ издать слѣдующіе два, объ удѣльномъ, черезъ годъ, Мнѣ казалось, что я успѣю напечатать ихъ въ это время, потому что мнѣ нужно было только перевести свои ссылки и указанія, для облегченія читателей, на новыя изданія Археографической Комиссіи, замѣнить мѣста изъ *Исторіи Государства Россійскаго* подлинными словами лѣтописей, пересмотрѣть и исправить окончательно сочиненіе,—но по мѣрѣ того, какъ занимался я этой легкой работой, представлялись новые вопросы и задачи, встрѣчались замѣчательныя мѣста въ обнародованныхъ источникахъ, коихъ прежде было не видать въ повѣствованіи Карамзина, и кои надо было употребить въ дѣло, оказывались недоумѣнія,—а время между тѣмъ текло: одна хронологія, которая до полемики, возбужденной г. Хавскимъ, не входила въ кругъ моихъ изслѣдованій, отняла у меня слишкомъ шесть мѣсяцевъ. Два предположенныхъ тома разрослись въ четыре, и вмѣсто одного предположеннаго года потребовалось почти пять.

Четвертый томъ, нынѣ, съ пособіемъ императорской Академіи Наукъ, издаваемый, посвященъ изслѣдованіямъ, такъ сказать приготовительнымъ и общимъ: объ источникахъ для удѣльнаго періода, то-есть, о лѣтописяхъ и ихъ хронологіи, о родахъ князей, о предѣлахъ и городахъ Ярославовыхъ княжествъ, о правѣ наслѣдства великокняжескаго, объ отношеніяхъ великаго князя къ прочимъ князьямъ, и объ отношеніяхъ ихъ между собою.

АРХЕОЛОГИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ. ВЪ С.ПЕТЕРБУРГѢ.

Въ пятомъ томѣ изслѣдуются самыя дѣйствія — междоусобныя войны князей и ихъ сношенія, внѣшнія войны и внѣшнія сношенія.

Въ шестомъ—разсуждается о внутреннемъ устройствѣ: о лицахъ, званіяхъ и должностяхъ—о князѣ, его дружинѣ, боярахъ и отрокахъ, купцахъ и торговлѣ, городахъ, землѣ, народѣ и вѣчахъ, духовенствѣ и образованіи, образѣ жизни и характерѣ.

Седьмой томъ назначается для Новгорода и біографическихъ изслѣдованій о нѣкоторыхъ князьяхъ, напр. о Мономахѣ, Боголюбскомъ и проч. Тамъ же помѣстятся разныя отдѣльныя замѣчанія объ удѣльномъ періодѣ, дополненія и исправленія, отвѣты и рецензіи.

Методѣ я слѣдую постоянно одной—собирать прежде всего свидѣтельства о каждомъ предметѣ изслѣдованія, сличать ихъ между собою, объяснять, и потомъ уже выводить, сколько можно математически, заключеніе объ его сущности и значеніи. Чѣмъ далѣе я иду по своему пути, чѣмъ имѣю чаще случаи разсматривать плоды, собираемые на другихъ путяхъ, тѣмъ болѣе удостовѣряюсь, что этотъ путь есть единственный ведущій прямо къ цѣли, а прочіе увлекаютъ въ сторону, назадъ, или по крайней мѣрѣ замедляютъ успѣхъ.

Періодъ удѣльный считался у насъ лабиринтомъ, безъ путеводной нити, совершеннымъ хаосомъ, въ коемъ зги Божіей было не видно. Отъ чего это происходило? Отъ смѣшенія предметовъ. Тысяча лицъ, мѣстъ, ссоръ, примиреній, битвъ, походовъ, осадъ, переговоровъ, соединяются подъ каждымъ годомъ; нынѣшніе друзья являются завтра врагами; одни князья вдругъ исчезаютъ, другіе являются и опять уступаютъ мѣсто первымъ, которые упадаютъ вдругъ какъ будто съ облаковъ; драки возобновляются безпрестанно, Богъ знаетъ за что; города переходятъ изъ рукъ въ руки;—свяжите всѣ эти нити въ ежегодные узлы, и изъ такихъ узловъ сотките одну ткань—будетъ ли какая возможность понять въ ней что нибудь? Половцы безпрестанно увеличиваютъ всеобщее замѣшательство.

Прибавьте неизвѣстность обычаевъ и отсутствіе правъ, скудость извѣстій и разныя противорѣчія хронологическія. Историки наши шли вслѣдъ за лѣтописями. Карамзинъ разобралъ эту ткань, такъ сказать, по полотнищамъ,—по княженіямъ, но эти купы, явственныя подъ его перомъ, порознь представляютъ новое затрудненіе въ своей совокупности, безпрерывно смѣняясь; онѣ забываются и представляютъ множество затрудненій для обозрѣнія. У Арцыбашева, имѣющаго свои достоинства, каждый годъ со всѣми разнородными дѣйствіями представленъ по одиночкѣ. Частныхъ изслѣдователей этого рода не было.

Я сдѣлалъ опытъ раздѣлить ткань на составные узлы, и развязать каждый узелъ на его нити, протянуть каждую нить порознь — лѣтописи, года, князей, города, отношенія, войны и проч.

Говорить ли мнѣ, чего это стоило? Мои рецензенты видятъ только выписки изъ лѣтописей, но много надо было подумать и потрудиться, прежде нежели приготовились рамки для этихъ выписокъ; не легко было и собирать ихъ сполна, и для каждаго значительнаго слова изъ тѣхъ, на которыя раздѣлены были мною лѣтописи, перечитывать всѣ съизнова... Одна глава о древней Географіи, самая легкая, простая и опредѣленная, подверглась семи разнымъ редакціямъ, и переписывалась семь разъ, прежде нежели получила настоящій свой видъ. А сколько разъ переработались другія, напримѣръ о междоусобныхъ войнахъ!

Ласкаю себя надеждою, что теперь поле удѣльнаго періода довольно расчищено. Смѣю думать, что молодые друзья Исторіи, изучивъ мои томы, познакомятся отчетливо съ этою частію Русской Исторіи, и получатъ возможность дѣлать какія угодно соображенія, идти дальше, а изслѣдователи съ высшими взглядами найдутъ нужные запасы для системы и теорій.

Нѣкоторыя изъ предлагаемыхъ изслѣдованій я печаталъ предварительно въ журналахъ и разныхъ повременныхъ изда-

ніяхъ, чтобъ не задерживать результатовъ при настоящемъ стремленіи къ историческимъ занятіямъ, и вмѣстѣ, чтобъ облегчить себѣ ихъ обозрѣніе въ печати; я успѣлъ такимъ образомъ исправить нѣсколько ошибокъ, замѣтить нѣкоторые пропуски, уменьшить повторенія, часто впрочемъ неизбѣжныя въ такихъ сложныхъ изслѣдованіяхъ.

Но больше осталось, безъ сомнѣнія, всякихъ подобныхъ недостатковъ. Указать ихъ мнѣ для исправленія — вотъ обязанность моихъ рецензентовъ: пусть они, вмѣсто общихъ мѣстъ о множествѣ выписокъ и объ отсутствіи мыслей (за коими здѣсь не гонялся и коихъ даже не искалъ), провѣрятъ мои изслѣдованія, изъ страницы въ страницу, по лѣтописямъ, и покажутъ, что̀ пропущено мною нужное, что̀ не принято къ соображенію противорѣчащее, что̀ приведено лишнее, что̀ помѣщено не на своемъ мѣстѣ; — гдѣ должно сократить, гдѣ распространиться, какъ размѣстить иначе. Приглашаю къ этой повѣркѣ и молодыхъ друзей Исторіи, университетскихъ студентовъ, которые съ большою пользою для себя могутъ приняться за этотъ трудъ, непревышающій ихъ силъ, — смѣю думать, что и сама наука выиграетъ; а я буду всѣмъ имъ очень благодаренъ. Найти истину, какую-бы то ни было, пріятно, но увидѣть свою ошибку и получить возможность исправить ее, — едва ли не есть пріятнѣе для ученаго, который любитъ искренно свою науку, особенно такую, какъ Отечественная Исторія, и желаетъ ей успѣха больше всего" [79]).

Занимаясь періодомъ удѣловъ, Погодинъ вмѣстѣ съ тѣмъ внимательно слѣдилъ и за древнѣйшимъ среднимъ, новымъ періодами нашей Исторіи, не упуская изъ виду какъ крупныя сочиненія, такъ и мелкія статьи по этому предмету. Такъ, въ газетѣ *Кавказъ* 1850 года, издаваемой въ Тифлисѣ, О. И. Константиновъ напечаталъ *Свидѣтельство о походѣ Святослава на Кавказъ*. Эту статью Погодинъ перепечаталъ въ *Москвитянинѣ* и при этомъ замѣтилъ: „Воюя противъ покойнаго Каченовскаго и его послѣдователей, замѣтилъ я, что Древняя Русская Исторія особенно счастлива, имѣя очевидныхъ, со-

не поручалъ никому. Во второй книжкѣ *Сборника* онъ можетъ быть помѣщенъ,—въ первомъ томѣ нѣтъ болѣе мѣста, потому что указатель *Сѣвернаго Архива* и книгъ 1848 г. занимаетъ до восьми листовъ" [81]).

Наконецъ, въ 1850 году, вышла первая книжка *Архива*. „Какъ не порадоваться на такое изданіе"!—восклицалъ Погодинъ, разбирая эту книгу,—„какъ не благодарить издателя за его прекрасный, благонамѣренный, безкорыстный подвигъ! Сколько полезныхъ свѣдѣній пустилъ онъ въ оборотъ! Какое разнообразіе! А что сказать о трудѣ? Чего стоило все это собрать, приготовить, расположить, напечатать, безъ малѣйшей надежды о вознагражденіи! Нельзя не сознаться, что это бываетъ только въ Москвѣ. Здѣсь наука живетъ, и безпрерывно являются дѣятели, которые любятъ науку для нея, ищутъ истины для истины, и готовы для нея на всякія пожертвованія. Честь и благодарность Калачову".

Архивъ открывается сочиненіемъ С. М. Соловьева: *Очеркъ нравовъ, обычаевъ и религіи Славянъ преимущественно восточныхъ во времена языческія*. Приступая къ разбору этого сочиненія, Погодинъ замѣчаетъ: „По какому-то странному року, въ статьяхъ Соловьева попадается мнѣ всегда, съ самаго начала, такое слово, или такая мысль, которая производитъ во мнѣ рѣшительную недовѣрчивость къ цѣлому сочиненію... Представьте себѣ, если въ какой-нибудь біографіи Наполеона вы находите, что авторъ называетъ его человѣкомъ ограниченнымъ. Довольно ли вамъ этого одного слова, чтобъ лишиться довѣренности къ его сужденію? О Наполеонѣ можно имѣть, и многіе имѣютъ, разныя мнѣнія, справедливыя и несправедливыя; его могутъ называть тираномъ, геніемъ, кровопійцею, деспотомъ, поэтомъ, эгоистомъ, — все это можетъ быть; но кто назоветъ его въ своемъ изслѣдованіи человѣкомъ ограниченнымъ, тотъ ясно тѣмъ покажетъ, что онъ Наполеона не только не понимаетъ, но и понимать не можетъ. Точно также Суворова могутъ называть полководцемъ дерзкимъ, легкомысленнымъ, опрометчивымъ, жестокимъ,— но

біографъ, который назоветъ его нерѣшительнымъ, однимъ словомъ произнесетъ судъ себѣ, а не своему герою. На первой страницѣ Соловьева попался мнѣ несчастнѣйшій эпитетъ къ Славянскому народу *младенчествующій*,—и книга выпала изъ моихъ рукъ... Какъ? Славяне—народъ младенчествующій? Славянъ, у которыхъ за тысячу лѣтъ нашлись выраженія для всего Священнаго Писанія, со всѣми книгами историческими, піитическими, поучительными, у которыхъ въ языкѣ заключалась за тысячу лѣтъ, и заключается теперь, цѣлая философія, можно назвать народомъ младенчествующимъ? Но довольно! Распространяться болѣе о неприличіи этого эпитета, чтобъ не сказать иначе, нѣтъ нужды".

Черезъ недѣлю Погодину „попалась опять" статья Соловьева „на глаза", и онъ вздумалъ прочесть заключеніе, въ которомъ авторъ говоритъ о религіи языческихъ Словенъ слѣдующее: „Религія эта состояла, во-первыхъ, въ поклоненіи стихійнымъ божествамъ, во-вторыхъ, въ поклоненіи душамъ умершихъ, которое условливалось *родовымъ бытомъ, и изъ котораго преимущественно развилась вся Славянская демонологія* (!!). Вслѣдствіе также родоваго быта, у восточныхъ Славянъ не могло развиться общественное богослуженіе, не могло образоваться жреческое сословіе: отсюда частію объясняется то явленіе, что язычество у насъ, не имѣя ничего противопоставить Христіанству, такъ легко уступило ему общественное мѣсто; но, будучи религіею рода, семьи, дома, оно надолго осталось здѣсь... Язычникъ Русскій не имѣлъ ни храма, ни жреца, и потому безъ сопротивленія допустилъ строиться новымъ для него храмамъ, съ служителями божества, оставаясь въ то же время съ прежнимъ храмомъ — домомъ, съ прежнимъ жрецомъ—отцомъ семейства, съ прежними *законными обѣдами*, съ прежними жертвами у колодца, въ рощѣ. Трудно было бороться съ тайнымъ служеніемъ божествамъ скрываемымъ, домашнимъ".

Эти слова Соловьева составляютъ выводъ изъ его изслѣдованія о религіозномъ бытѣ языческихъ Русскихъ Словенъ,

соотвѣтственно его общему убѣжденію о присутствіи родового принципа въ началѣ Русской Исторіи. Вмѣсто того, чтобы разбирать изысканія и выводы Соловьева, Погодинъ пускается въ слѣдующія неожиданныя разсужденія: „Помилуйте! Религіозность есть отличительное свойство Русскаго народа, Русской Исторіи, Русскаго быта. Я говорю не объ народѣ большихъ дорогъ, городовъ и особенно столицъ, не говорю о разныхъ промышленныхъ классахъ (хотя и они, въ минуты великія жизни, перерождаются, возвышаются и возвращаются къ своему первообразу), — я говорю о народѣ вообще, составляющемъ большинство населенія. Народъ проникся религіей съ *самаго начала*, и это составляло и составляетъ его силу, отличіе, счастіе, все. — Васъ приводятъ въ заблужденіе нѣкоторые языческіе обряды, сохраненные народомъ, но вы забываете, что эти обряды сохранились у всѣхъ народовъ, во всей Европѣ. Довольно указать на одинъ карнавалъ. Вы забываете, что само Христіанство оставило премудро прежнія празднества у народа, перемѣнивъ только ихъ предметъ и давъ имъ другой, свой, смыслъ. Религіозность, благочестіе, дышетъ на всякой страницѣ нашей Исторіи, и кто не видитъ, не чуетъ его, тотъ не понимаетъ Русской Исторіи и Русскаго народа". Погодинъ опять „отложилъ статью въ сторону". Но вотъ, говоритъ онъ „приближается 1-е число, и надо кончить рецензію для *Москвитянина*. Я взялъ статью въ третій разъ въ руки, и для новой пробы началъ искать въ ней отзыва о миѳологической системѣ Ходаковскаго. Ходаковскій, одинъ изъ нашихъ ученыхъ, представилъ миѳологію въ сколько-нибудь научномъ видѣ, далъ мнѣніе, хотя съ гипотезами, но самое примѣчательное, достойное внимательнаго пересмотра. Нельзя писать о нашей миѳологіи, не справясь съ Ходаковскимъ. И что же — я не нашелъ въ статьѣ Соловьева ни слова о Ходаковскомъ. Не только онъ не разобранъ, но даже и не упомянутъ! Перебравъ по этому случаю всѣ цитаты, я не нашелъ и Гануша, — и началъ читать статью уже не для себя, а для читателей".

Далѣе, Погодинъ замѣчаетъ: „Нечего говорить, что родовое начало, какъ тѣнь Банко, является въ разныхъ видахъ на всѣхъ почти страницахъ статьи Соловьева и, кажется, всего *Архива*“ [82]).

Въ отдѣленіи V-мъ той же первой книжки Архива Калачова помѣщена статья Эверса, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Несторъ и Карамзинъ. Опытъ обстоятельнаго уясненія нѣкоторыхъ данныхъ въ Исторіи Государства Россійскаго.* Переводъ съ Нѣмецкаго А. Наумова. Въ этой статьѣ есть глава *о заслугахъ Владиміра Великаго и Ярослава въ отношеніи къ умственному образованію Русскихъ.* По поводу высказанныхъ въ ней мыслей, В. Н. Лешковъ писалъ Погодину: „Что и говорить, добрый Калачовъ не виноватъ; онъ только раздѣляетъ мнѣнія, господствующія въ его Сборникѣ. Вотъ еще фактъ. Въ одномъ изъ отдѣловъ будетъ помѣщена статья, въ которой, якобы, по методѣ самого Эверса, будетъ доказано заблужденіе Карамзина на счетъ начала народнаго образованія въ Россіи. Карамзинъ просто думалъ, что, съ учрежденіемъ духовныхъ школъ, для наученія книгамъ церковнымъ, при Владимірѣ и Ярославѣ, положено основаніе и самому народному образованію; здѣсь докажется, что, съ учрежденіемъ духовныхъ школъ, для народа ничего еще не сдѣлано. Причина подобныхъ заблужденій Карамзина находится въ томъ, что онъ, какъ говоритъ Калачовъ, не слѣдовалъ методѣ Эверса и не все объяснялъ *изъ родоваго быта и родовыхъ отношеній Руси*“ [83]).

XXIV.

Второе мѣсто въ первой книжкѣ *Архива историко-юридическихъ свѣдѣній* занимаетъ сочиненіе самого Калачова *о значеніи изгоевъ и состояніи изгойства въ Древней Руси.*

Изгои возбудили полемику, которая напомнила Погодину старинный споръ о *банномъ строеніи*, который продолжался не одинъ годъ у Каченовскаго, передъ Французами и послѣ

Французовъ и порѣшенъ Карамзинымъ. О самомъ сочиненіи Калачова, Погодинъ отзывается: „Изслѣдованіе написано тщательно, осторожно. Онъ не мечется изъ стороны въ сторону, онъ помнитъ, что говоритъ, и не говоритъ, что попадетъ въ голову, а обдумываетъ свои слова, старается найти истину, и если гдѣ не найдетъ ея, то вина бываетъ не въ доброй волѣ его, не въ прилежаніи, не въ добросовѣстности. Съ Калачовымъ можно соглашаться и не соглашаться, но нельзя отказать въ почтеніи достойному ученому; всегда чему-нибудь научишься въ его статьѣ, положительно или отрицательно, всегда узнаешь что-нибудь новое, или получишь свою мысль".

Затѣмъ, Погодинъ обращается къ самому изслѣдованію и прежде всего приводитъ тѣ немногочисленныя свидѣтельства, какія сохранились объ изгойствѣ въ нашей Древней Письменности. Вотъ онѣ: Въ уставѣ Ярославовомъ о мостовыхъ опредѣлено мостить: „Владыцѣ сквозѣ городная врата съ изгои, а съ другыми изгои до Острое улици". Въ уставѣ Князя Всеволода: „Изгои трои — поповъ сынъ грамотѣ не умѣеть; холопъ изъ холопьства выкупиться; купецъ одолжаетъ. А се четвертое изгойство и себѣ приложимъ, аще князь осиротѣетъ". Въ Псковской лѣтописи упоминается: „Княжее село на Изгояхъ". Въ одномъ Сборникѣ XV вѣка, въ толкованіяхъ на молитву Отче нашъ, вслѣдъ за исчисленіемъ разныхъ грѣховъ, сказано объ изгойствѣ: „всего же есть горѣе изгойство взимати, иже взимающеи, тіи не отдадутъ опять тѣмъ же".... „Изгойство же толкуется безконечная бѣда, непрестающая слезы, немолчно вздыханіе... вся же та суть безъ конца". Въ другомъ мѣстѣ той же рукописи упоминается опять, что изъ грѣховъ всего горѣе изгойство. Въ грамотахъ Смоленскаго князя Ростислава епископу Мануилу дается: село Дросенское со изгои и съ землею, и село Ясенское, и и съ бортникомъ, и съ землею, и съ изгои". Вотъ все, говоритъ Погодинъ, что мы знаемъ изъ памятниковъ. Какое же можно сдѣлать заключеніе? Самое ясное объясненіе даетъ Всеволодовъ уставъ, по которому изгоемъ называется безграмот-

ный поповичь (который слѣдовательно не могъ быть попомъ), задолжалый купецъ (который слѣдовательно не могъ торговать), выкупившійся холопъ (который слѣдовательно получалъ право не служить), осиротѣлый князь (который слѣдовательно не могъ передать своего наслѣдства). Что есть общаго, родоваго, во всѣхъ сихъ видахъ? Невозможность оставаться въ прежнемъ званіи, продолжать прежнее дѣло. Чтобъ соединить это значеніе съ закономъ, напримѣръ, Русской Правды, можно распространить его, безъ большой, кажется, натяжки: не значилъ ли изгой вообще человѣка бездомнаго, безземельнаго, на что указываетъ какъ нельзя лучше Германскій uss-gauja, выходецъ, изгнанникъ".

По поводу слова uss-gauja, Ѳ. И. Буслаевъ написалъ Погодину письмо, которое онъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ*, подъ заглавіемъ: *Лингвистическое недоразумѣніе*, и здѣсь читаемъ: „Въ своей рецензіи на *Архивъ*, издаваемый Калачовымъ, по поводу статьи объ изгояхъ, вы сказали: „не значилъ ли изгой вообще человѣка бездомнаго, безземельнаго, на что указываетъ какъ нельзя лучше Германскій uss-gauja, выходецъ, изгнанникъ". Противъ васъ у меня только одинъ аргументъ и есть: Германскаго слова *uss-gauja* нѣтъ и никогда не было на свѣтѣ! Ѳ. Л. Морошкинъ въ примѣчаніяхъ къ книгѣ Рейца, на стр. 412, называетъ это слово Готскимъ. Въ этомъ языкѣ дѣйствительно есть простое слово gauja, которымъ Ульфила переводитъ περίχωρος, а также и πλῆθος τῆς περιχώρου: т.-е. не только *страна*, но и *народъ области*, какъ значится въ *Остромировомъ Евангеліи* (отъ Лук. *3*,3, 8, 37). Сложнаго же uss-gauja въ Ульфилѣ нѣтъ. Само собою разумѣется, что Погодинъ сдался и отвѣтилъ на это замѣчаніе слѣдующее: „Это такой одинъ аргументъ, который не уступитъ первому аргументу коменданта, встрѣтившаго Фридриха Великаго безъ пальбы: „Сто причинъ, сказалъ онъ королю, есть почему пальбы не было, ваше величество. Первая: у меня нѣтъ пороха...—Довольно, довольно, отвѣчалъ Фридрихъ, и принялъ рапортъ благосклонно". Но къ этому анекдоту Погодинъ при-

бавляетъ: Противъ замѣчанія Буслаева я сказать ничего не имѣю. Онъ филологъ, и слѣдовательно, законный судья. Миѳическаго uss-gauja, еще болѣе миѳическаго, какъ теперь оказывается, нежели нашъ изгой, я впрочемъ не принимаю на свой счетъ: это не мой хлопецъ, а принадлежитъ къ той статьѣ, которую я разбиралъ, почему я и препровождаю его по принадлежности къ Калачову".

Представивъ свое мнѣніе объ изгояхъ, Погодинъ обращается къ сочиненію Калачова и говоритъ: „Надо признаться, что его коснулась *зараза родоваго быта*,—и оттуда всѣ его заблужденія. Калачовъ разобралъ происхожденіе сперва слова изгой, и находитъ (употребляя для производства Славянскія нарѣчія), что изгой „есть существо отрѣшенное, отпадшее или отдѣленное отъ жизни, не принадлежащее къ ея быту, а напротивъ изъ него вышедшее, исключенное". Получивъ филологическимъ процессомъ это значеніе, Калачовъ выводитъ *изъ него*, уже помощію родоваго быта, что изгой „былъ существо самое безпомощное и несчастное"... но этого мало: изгой долженъ былъ сверхъ того считаться, по родовымъ понятіямъ, и грѣшникомъ, и преступникомъ". Вотъ примѣръ, замѣчаетъ на это Погодинъ, какъ логика совращаетъ съ пути молодыхъ изслѣдователей. Калачовъ, пишучи это, не думаетъ, что свидѣтельство историческое, положительное, называетъ изгоемъ выкупившагося холопа, осиротѣлаго князя, безграмотнаго поповича—что же это за грѣшники и преступники? Послушайте, что будетъ далѣе. Авторъ ведетъ изгоя, опять посредствомъ родоваго быта, на разбой. „Какъ бы то ни было",— говоритъ онъ, — „оставаясь безроднымъ, изгой по-неволѣ долженъ былъ сдѣлаться еще болѣе тяжкимъ преступникомъ, взять на свою душу еще новый страшный грѣхъ".— Да чѣмъ же онъ прежде былъ грѣшенъ, выкупаясь на волю, или лишась смертію отца, спрашиваетъ Погодинъ? Авторъ не думаетъ о дѣйствительности, а *развиваетъ* только логическое понятіе. Изгой сдѣлался у него разбойникомъ, сперва по-неволѣ, а потомъ этотъ образъ жизни ему уже и

понравился. Но вѣдь изгои имѣли цѣлую улицу въ Новѣгородѣ и должны были мостить ее вмѣстѣ съ Владыкою".

Всѣ предположенія Калачова объ изгояхъ, по мнѣнію Погодина, разсыпаются при сравненіи ихъ „съ положительными свидѣтельствами, съ памятниками" и „окончательно — предъ свидѣтельствомъ *Русской Правды*", которую, къ удивленію Погодина, Калачовъ вовсе позабылъ, хотя посвятилъ множество времени *Русской Правдѣ*, сличалъ ее чуть-ли не по сту спискамъ, и издалъ нѣсколько разъ отличнымъ образомъ. „Удивляться такому забвенію", — продолжаетъ Погодинъ, — „нечего, это случается съ нашею братьею-изслѣдователями, и не съ одними нами: позабыла же Французская Академія въ своемъ Словарѣ слово академія, а Бель въ своемъ историческомъ Словарѣ пропустилъ Цицерона". За симъ, Погодинъ приводитъ первый параграфъ *Русской Правды*, который гласитъ: „Оже убьетъ мужь мужа, то мстити брату брата... Ачели будетъ Русинъ, либо гридь, либо купець, либо тивунъ боярскъ, либо мечникъ, либо *изгои*, либо Словенинъ, то сорокъ гривенъ положити за ны". Слѣдовательно, утверждаетъ Погодинъ, „изгой не былъ разбойникомъ, не былъ лишенъ покровительства законовъ, не былъ отстраненъ князьями, а напротивъ, за его убійство, убійца отвѣчалъ такъ же, какъ и за княжескаго отрока... купца... за всякаго людина, Русина или Словенина". Свои возраженія Погодинъ заключаетъ такими словами: „Пусть приметъ г. Калачовъ, мои замѣчанія знакомъ моего искренняго къ нему уваженія. Ошибаться всѣмъ намъ легко, особенно въ такихъ темныхъ разысканіяхъ. Но Бога ради — киньте родовой бытъ! Кромѣ нелѣпостей ни до чего довести онъ не можетъ, — заставитъ ломать голову по пустому, и тратить время даромъ! Еслибъ Калачовъ поставилъ сначала рядомъ всѣ свидѣтельства, то никакъ не вздумалъ бы объяснять ихъ такимъ образомъ"! [84]).

Вслѣдъ за Погодинымъ, противъ сочиненія Калачова объ *изгояхъ* возсталъ К. С. Аксаковъ, и въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* напечаталъ возраженіе, подъ заглавіемъ: *Родовое или*

общественное явленіе былъ изгой? Въ статьѣ своей Аксаковъ приходитъ къ такому заключенію: „Въ Древней Россіи, по крайней мѣрѣ, въ тѣ времена, когда встрѣчается слово *изгой*, не было уже родоваго быта. „Напротивъ... былъ бытъ общинный, гражданственный. Разбирая историческое значеніе слова изгой, видимъ, что оно не имѣло значенія родоваго. Напротивъ того, всѣ свидѣтельства говорятъ, что слово изгой имѣло значеніе общественное. И такъ, *изгой не былъ явленіемъ родовымъ, но явленіемъ общественнымъ, гражданскимъ:* это былъ человѣкъ, исключенный или самъ исключившій себя изъ общины или сословія“ [85]).

Когда эта статья Аксакова „попалась на глаза“ Погодину, то онъ написалъ: „Читатели знаютъ, что̀ мы думаемъ о родовомъ бытѣ: мы считали его всегда призракомъ, о которомъ наговорить можно много, что и сдѣлано, и не сказать ничего... Въ Древней нашей Исторіи мы видимъ: 1) племена туземныя, Славянскія; 2) племя пришлое—Русь; 3) въ пришломъ племени княжескій родъ; 4) совокупность ихъ — Русскую землю, государство. Гдѣ же замѣчается мнимый родовой бытъ: у Славянъ ли, у Руси ли, у князей ли, или наконецъ у совокупности всѣхъ сихъ дѣйствователей, то-есть, въ государствѣ, образовавшемся изъ всѣхъ сихъ составныхъ началъ? Утверждая и опровергая мнѣніе, надо бы прежде всего опредѣлять себѣ, о чемъ говорить хотимъ. У насъ, правда, сперва говорено было *о родовыхъ отношеніяхъ между князьями Рюрикова дома*, но потомъ родовой бытъ распространялся дальше и дальше, и обнялъ всю Русскую Исторію. Объ чемъ бы ни заговорили изъ Русской Исторіи, вездѣ являлся какъ Deus ex machina родовой бытъ...“

Соглашаясь съ доводами К. С. Аксакова, Погодинъ сдѣлалъ ему однако замѣчаніе за умолчаніе объ рецензіи его, напечатанной въ *Москвитянинѣ*. „Мы осудимъ только“,—писалъ онъ,—„распространяющійся у насъ теперь обычай умалчивать въ разсужденіяхъ, что̀ о предметахъ ихъ говорено было прежде, согласно и несогласно. Все упоминаемо быть

не можетъ, особенно въ какой-нибудь краткой газетной или журнальной статьѣ, но главное—необходимо должно".

Въ заключеніе, Погодинъ выражаетъ желаніе, чтобы авторъ исполнилъ свое обѣщаніе поговорить подробнѣе о родовомъ бытѣ, выраженное имъ въ слѣдующихъ словахъ: „Много и много можно бы возразить противъ мнѣнія о древнемъ родовомъ бытѣ Русскихъ Славянъ и Славянъ вообще. Удерживаюсь здѣсь и надѣюсь представить свое мнѣніе объ этомъ дѣлѣ въ особой статьѣ". Чѣмъ больше мнѣній, говоритъ Погодинъ, тѣмъ лучше; чѣмъ съ множайшихъ сторонъ осмотрится предметъ, тѣмъ надежнѣе успѣхъ изслѣдованія. Мы ожидаемъ еще статьи отъ П. В. Кирѣевскаго, начатой имъ въ *Москвитянинѣ* 1845 года.

Въ первой книжкѣ *Архива* Калачова также напечатана статья И. Д. Бѣляева: *О Монгольскихъ чиновникахъ на Руси, упоминаемыхъ въ ханскихъ ярлыкахъ.* Одобряя эту статью, Погодинъ и ея автору дѣлаетъ также замѣчаніе: „Чѣмъ ближе бываетъ Бѣляевъ", — пишетъ онъ, — „къ царскому періоду, тѣмъ онъ крѣпче, удовлетворительнѣе, полнѣе; охота же ему дѣлать экскурсіи въ древнѣйшіе періоды! Я не стану повторять это, потому что экскурсіи отнимаютъ у него время и задерживаютъ изслѣдованія о древней администраціи Московскаго государства, отъ коей *мы ожидаемъ много*".

Въ той же книжкѣ *Архива* самъ Погодинъ помѣстилъ и свое разсужденіе о *наслѣдственности древнихъ сановъ въ періодъ времени отъ 1054 до 1240 года.* Результатъ слѣдующій: саны или достоинствы, должности, у насъ въ древности принадлежали извѣстнымъ родамъ, и передавались какъ бы по наслѣдству отъ отца къ сыну, подобно сану княжескому. Процессъ разсужденія простой: сперва слагаемыя, а потомъ сумма [86]).

Въ томъ же 1850-мъ году, въ *Кіевлянинѣ* Максимвича было напечатано другое разсужденіе Погодина: *О Русской торговлѣ въ удѣльномъ періодѣ.* Въ этомъ разсужденіи Погодинъ пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ: „Русская торговля,

въ продолженіе Норманскаго періода, т.-е. въ IX, X и началѣ XI столѣтія, была очень обширна, производясь между странами отдаленными,—Самаркандомъ, Бухарою, Бактрою, Каспійскимъ моремъ, Волгою, Уральскими горами, Скандинавіей, Германіей и Греціей. Русскіе торговали съ Арабами, Козарами, Болгарами, Весью, Югрою, Норманнами, Нѣмцами, Греками. Во второй половинѣ XI столѣтія, въ XII-мъ и въ началѣ XIII-го, то-есть въ продолженіе періода удѣльнаго, до нашествія Татаръ, торговля Русская стѣснилась нѣсколько въ своихъ предѣлахъ, потому что Арабы перестали къ намъ ѣздить, вслѣдствіе какихъ-то неизвѣстныхъ переворотовъ на ихъ Востокѣ; Козары въ устьяхъ Волги были совершенно поражены, Болгаре ослабли; но она была еще очень значительна, увеличась внутри, а также и на Сѣверѣ со вновь образовавшейся Ганзою. Живое торговое движеніе ясно примѣчается въ лѣтописяхъ, какъ ни разбросаны мелкія извѣстія: Кіевскіе купцы ѣздили въ Грецію и Константинополь, къ Половцамъ и въ страну Залѣсскую или Суздальскую. Новгородскіе плавали по Балтійскому морю, торговали въ Даніи и Готландѣ, ходили за Уралъ и разсыпались по всей Русской землѣ, Кіевѣ и Смоленскѣ, Черниговѣ, Переяславлѣ и Володимірѣ. Смольняне, Полочане, Видбляне торговали съ Ригою и Нѣмцами. Латины приходили въ Кіевъ, Володимиръ, въ землю Болгарскую. Жиды принимали дѣятельное участіе въ этой торговлѣ, живя въ Кіевѣ и вѣроятно въ другихъ городахъ. Нѣмцы пріѣзжали изъ внутренней Германіи, Галичане съ солью отъ Карпатскихъ горъ, Дунайскіе Болгаре сообщались между собою и Русью, Норманны не забывали еще своего Austurvigi, Константинополя, и древней Біарміи, которую ограбили особенно въ 1222 году. Средоточіемъ Греческой торговли былъ Кіевъ, средоточіемъ Ганзейской торговли былъ Новгородъ" [87]).

Въ 1850 году, извѣстный профессоръ Университета Св. Владиміра Виталій Яковлевичъ Шульгинъ напечаталъ въ Кіевѣ свое замѣчательное сочиненіе *О состояніи женщинъ въ*

Археологическій институтъ въ С.Петербургѣ

Россіи до Петра Великаго. Погодинъ съ полнымъ сочувствіемъ отнесся къ этому сочиненію и воздалъ автору достойную хвалу. „Прекрасная книга“,—писалъ онъ,—„на которую смѣло обращаемъ вниманіе читателей *Москвитянина*“. Обращаясь къ предисловію, Погодинъ пишетъ, что оно „очень умно, складно и красиво написано“, что въ немъ авторъ разсуждаетъ о женщинѣ вообще, ея семейномъ и общественномъ значеніи въ жизни человѣческихъ обществъ, обозрѣваетъ кратко исторію съ этой стороны до послѣдняго времени, и наконецъ переходитъ къ женщинѣ Русской. Вопросъ свой опредѣляетъ онъ такъ: прослѣдить подробно во всѣ періоды семейное и общественное положеніе женщины, ея права, обязанности, значеніе въ семействѣ и обществѣ, ея вліяніе на современниковъ. За симъ, обозрѣваетъ онъ наши источники (лѣтописи, записки, пѣсни, сказанія иностранцевъ, памятники законодательства), жалуясь на ихъ скудость. По поводу этихъ жалобъ, Погодинъ замѣчаетъ: „Эти жалобы стали у насъ уже общими мѣстами, и ихъ пора прекратить. Какъ источники ни скудны, но труду, остроумію, чутью, пріобрѣтенному временемъ, можно получить достаточное понятіе обо всѣхъ вопросахъ историческаго любопытства“. Въ то же время Погодинъ ставитъ на видъ автору: „Въ числѣ источниковъ онъ напрасно обращаетъ мало вниманія на житія: смѣло скажемъ, что это главный источникъ для его предмета, или по крайней мѣрѣ одинъ изъ главныхъ“.

Приступая за тѣмъ къ рецензіи самого сочиненія, Погодинъ счелъ полезнымъ въ назиданіе молодымъ ученымъ, своимъ ученикамъ, преподать о древнемъ періодѣ нашей Исторіи слѣдующее наставленіе: „Въ этомъ періодѣ жило у насъ два племени: туземцы—Славяне, и пришельцы — Норманны или Русь. Эти племена были совершенно различны по языку, вѣрованіямъ, понятіямъ о правѣ, образу жизни, характеру. Они дѣйствовали порознь, и сферы дѣйствія были совершенно различныя. Это Ока и Волга, кои, по соединеніи, текутъ еще долго только рядомъ, не сливая своихъ водъ. Черезъ много

времени два племени, Славяне и Норманны, составили одинъ народъ—лѣтъ черезъ двѣсти и болѣе. Долговременное общеніе, смѣшеніе крови, относительное количество, а всего болѣе Христіанство, принятое обоими племенами, содѣйствовало происхожденію одного народа изъ двухъ племенъ. Соединять эти два племени въ первомъ періодѣ, пока это соединеніе не произошло въ природѣ, говорить объ нихъ безъ строгаго различенія—подаетъ поводъ ко многимъ заблужденіямъ, ошибкамъ, недоразумѣніямъ, затрудненіямъ, — а у насъ все таки смѣшиваются они, и миѳологами, и юристами! О женщинахъ однѣ свидѣтельства принадлежатъ Славянамъ, другія—Руси или Норманнамъ. Несторово свидѣтельство принадлежитъ Славянскимъ женщинамъ. Свидѣтельство Ибнъ-Фоцлана, исторія Ольги, Рогнѣды, Ингигерды, принадлежатъ къ женщинамъ *Русскимъ*, Норманскимъ. Ихъ надо изслѣдовать совершенно порознь, а въ чемъ онѣ сходятся, какъ сходятся у Норманновъ и Словенъ нѣкоторыя понятія о вѣрѣ и правѣ, то надо показать въ дополненіяхъ и заключеніяхъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ воздаетъ хвалу Шульгину за то, что въ книгѣ его раза два, не болѣе, употреблено выраженіе: родовой бытъ,—а рѣчь между тѣмъ шла о семействѣ и родѣ исключительно. Значитъ—можно объяснять Исторію, не прибѣгая безпрестанно, черезъ часъ по ложкѣ, къ родовому быту. Однимъ словомъ, родовой бытъ у автора въ предѣлахъ, въ предѣлахъ здравой критики, въ тѣхъ предѣлахъ, какъ былъ у Карамзина и даже у Эверса [88]).

Въ 1850 году, вышла въ свѣтъ книжечка, какъ начало великаго труда, но, къ сожалѣнію, неоконченнаго, мы разумѣемъ *Библіографическое Обозрѣніе Русскихъ Лѣтописей*. Трудъ сей принадлежитъ Дмитрію Васильевичу Полѣнову. По свидѣтельству И. П. Хрущова, „любовь къ Русскому историческому прошедшему была въ глубинѣ души Полѣнова. За эту любовь говорятъ... помѣтки на поляхъ, читанныхъ имъ съ особымъ вниманіемъ памятниковъ и изслѣдованій и наконецъ его труды и самая библіотека, унаслѣдованная отъ отца и

дѣда и обогащенная имъ преимущественно по отдѣлу источниковъ Русской Исторіи. Изъ занятій Библіографіею вскорѣ выдѣлился излюбленный отдѣлъ Лѣтописей, и Полѣновъ принялся за ихъ изученіе“ [89]). Въ предисловіи своемъ Полѣновъ заявилъ, что *Библіографическое Обозрѣніе Русскихъ Лѣтописей* „составляетъ отрывокъ труда, предметомъ котораго будетъ подробное разсмотрѣніе книгъ, относящихся къ Русской Исторіи“ [90]).

Но, къ сожалѣнію, не смотря на всѣ благопріятныя условія, которыми въ полной мѣрѣ обладалъ Полѣновъ, онъ не окончилъ своего труда и только ограничился *Библіографическимъ Обозрѣніемъ Русскихъ Лѣтописей*.

И къ началу труда Полѣнова Погодинъ отнесся съ полнымъ сочувствіемъ. „Рецензентъ“,— пишетъ онъ,—„обязанъ засвидѣтельствовать: Описаніе составлено тщательно. Ничего нужнаго не опущено, лишняго очень мало. Остается пожелать, чтобъ трудолюбивый авторъ кончилъ свой трудъ такъ успѣшно, какъ началъ, къ несомнѣнной пользѣ всѣхъ занимающихся Русской Исторіей“ [91]).

Библіотека Д. В. Полѣнова, спасенная И. П. Хрущовымъ отъ жалкаго, по выраженію П. М. Строева, *безкатоложнаго существованія*, вступила вмѣстѣ съ библіотекою его шурина, извѣстнаго Тамбовскаго помѣщика Леонида Алексѣевича Воейкова, въ Тамбовское Общественное Книгохранилище, учрежденное Эммануиломъ Дмитріевичемъ Нарышкинымъ, при дѣятельномъ участіи И. П. Хрущова [92]).

Хотя предметъ спеціальныхъ изслѣдованій Погодина простирался только до нашествія Монголовъ, тѣмъ не менѣе Монголы были близки его сердцу и онъ съ величайшимъ вниманіемъ слѣдилъ за всѣмъ, выходившимъ по этому предмету; а потому *Библіотека восточныхъ историковъ*, издаваемая съ 1850 года въ Казани, профессоромъ Ильей Николаевичемъ Березинымъ, вызвала полное его сочувствіе. „Монголы слишкомъ любопытны для насъ“,—писалъ по этому поводу Погодинъ.—„До сихъ поръ мы имѣли только два важ-

ныхъ сочиненія объ этомъ народѣ—знаменитаго отца Іакинѳа. Есть еще краткая Исторія Монголовъ В. В. Григорьева. А работы предлежитъ много". Съ своей стороны, и издатель *Библіотеки*, въ своемъ предисловіи, повѣствуетъ: „изученіе Монгольскаго періода Русской Исторіи, весьма поучительное для историка-наблюдателя, для Русскаго изслѣдователя, составляетъ предметъ большой важности, тѣмъ болѣе, что возникшія въ послѣднее время сомнѣнія и появленіе новыхъ данныхъ бросаютъ на этотъ періодъ нашей Исторіи иную тѣнь. Донынѣ, однако, ни одинъ Русскій оріенталистъ не посвятилъ своего дарованія разработыванію Русско-Монгольскихъ соотношеній, а изъ иностранцевъ, представленная Гаммеромъ Geschichte des goldenes Horde не была признана удовлетворительной по многимъ причинамъ. Не желая оставаться дѣятелемъ, совершенно чуждымъ Русской Исторіи, и сознавая въ то же время слабость силъ моихъ и ограниченность средствъ, я рѣшился приступить къ собиранію и обнародованію въ подлинникѣ и переводѣ сказаній восточныхъ писателей о Монголахъ, а также и о Тюркскихъ и другихъ племенахъ, обитавшихъ въ первобытной Россіи, пополняя эти извѣстія извлеченіями изъ географовъ мусульманскихъ".

За это стремленіе Березинъ снискалъ благоволительный отзывъ Погодина. „Березинъ", —писалъ онъ, „обѣщаетъ намъ дѣятельнаго оріенталиста. Онъ видно не поддается восточному кейфу, который въ союзѣ съ Русской лѣнью овладѣваетъ многими изъ нашей братьи, восточниковъ и западниковъ. Недавно издалъ онъ свое путешествіе. И вотъ, теперь новое сочиненіе, которое, безъ сомнѣнія, стоило ему большого труда. Ожидаемъ окончательнаго приговора отъ законныхъ судей, и впередъ увѣрены, что они встрѣтятъ благосклонно это произведеніе Русской учености".

А. И. Артемьевъ, занимаясь описаніемъ рукописей библіотеки Казанскаго Университета, обратился къ Погодину, въ маѣ 1850 года, съ слѣдующимъ письмомъ: „Предупреждаю васъ: не думайте найти въ настоящемъ письмѣ моемъ

какія-нибудь извѣстія о Казанскихъ новостяхъ. Ничего подобнаго не будетъ, да и нѣтъ ничего новаго въ Казани. Разливъ Волги и Казанки, по старому, охватилъ Казань съ трехъ сторонъ и, какъ всегда бываетъ въ эту пору, придалъ Казани такую прелестную, очаровательную физіономію, что ею восхищаются и тѣ, кто видѣлъ Босфоръ и Неаполь, и всѣ мы, по обыкновенію, повторяемъ ежедневно фразу „за чѣмъ такая вода въ Казани не круглый годъ?!"—Г. Мартыновъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, пріѣхалъ на двадцать спектаклей въ Казань и, по своей привычкѣ, влечетъ всѣхъ и каждаго въ театръ, исторгаетъ хохотъ до слезъ и громкія рукоплесканія, и заставляетъ также твердить: „когда у насъ будетъ свой Мартыновъ"... Однимъ словомъ, все идетъ у насъ по старому... Но письмо мое будетъ заключать въ себѣ просьбу, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты: 1) Укажите мнѣ на лучшее житіе Св. митрополита Іоны, по крайней мѣрѣ, на такое, въ которомъ было бы подробнѣе описанъ періодъ его жизни до кончины митрополита Фотія. Все что я читалъ объ Іонѣ—для меня неудовлетворительно, а ваше Древлехранилище обладаетъ, сколько мнѣ извѣстно, богатою коллекціею жизнеописаній Святыхъ: не найдется ли чего? Мнѣ только нужно знать, гдѣ и какъ провелъ жизнь свою этотъ Святитель до 1431 года. 2) Въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ хранится *Евангеліе келейное*, писанное Св. Іоною. Нельзя ли получить мнѣ хоть строчку fac-simile. Снимки его подписей, помѣщенные въ вашемъ *Альбомѣ* и въ тетради П. И. Иванова, я знаю,—но мнѣ этого недостаточно. Конечно, вы пожелаете или уже желаете знать, для чего мнѣ нужно это? Смѣю надѣяться, что мои исканія будутъ интересны и для васъ. Дѣло вотъ въ чемъ: въ часы досуга отъ службы, я полегоньку, не торопясь, разсматриваю рукописи нашей библіотеки и составляю ихъ описаніе. Разсматривая одну рукопись, именно *Око церковное*, писанное 6937 (1429) г., я по нѣкоторымъ признакамъ напалъ на мысль, что этотъ манускриптъ писанъ Св. Іоною. И вотъ для этого-то мнѣ и

нужны тѣ свѣдѣнія, о которыхъ я прошу васъ. Я не знаю, кромѣ *Евангелія*, есть ли гдѣ еще помѣтки письменнаго трудолюбія этого Святителя. Въ такомъ случаѣ, наша рукопись будетъ важною рѣдкостью. Впрочемъ, если и не подтвердится моя догадка, и тогда эта рукопись не потеряетъ интереса: ея послѣсловіе и еще одна приписка возбуждаютъ чрезвычайно любопытный вопросъ о Фотіѣ. Но все это послѣ, когда я удостовѣрюсь въ истинѣ своего предположенія, или разочаруюсь въ немъ. Во всякомъ случаѣ я немедленно извѣщу васъ о результатѣ".

Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно какъ отнесся Погодинъ къ этому любопытному вопросу, возбужденному Артемьевымъ.

XXV.

Въ *Новгородскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ* 1849 года, была напечатана *Рукопись старицы игуменьи Маріи, урожденной княжны Одоевской*. Изъ примѣчанія редактора мы узнаемъ, что „княжна Марія Одоевская, въ 1545 году, была игуменьей Новгородскаго Михалицкаго Рождественскаго монастыря, что нынѣ церковь Рождества Богородицы на Волотовѣ. Рукопись или дневникъ игуменьи Маріи очень замѣчателенъ по самому разсказу, характеризующему духъ времени, и наконецъ потому, что онъ объясняетъ нѣкоторыя событія исторіи Новгорода въ началѣ XVI вѣка, когда еще недавно падшій городъ мечталъ возвратить свой прежній бытъ".

Познакомившись съ этою *рукописью*, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ* (подъ 18 января 1850 г.): „Получилъ *Новгородскія Вѣдомости*. Восхитился было и началъ было переводить, но увидѣлъ, что это мистификація. Отличилъ подѣлку! Хотѣли мистифировать". Вмѣстѣ съ тѣмъ, печатая въ *Москвитянинѣ* отрывокъ изъ этой *рукописи*, Погодинъ замѣтилъ: „Читатели, безъ сомнѣнія, обрадовались этому важному открытію, прочли съ живѣйшимъ любопытствомъ признанія Русской боярышни-монахини XV вѣка, узнали съ ве-

личайшимъ удовольствіемъ такія занимательныя подробности о домашнемъ бытѣ нашихъ предковъ, о Русской любви, о семейныхъ отношеніяхъ, о характерѣ страстей. Все это было и со мною. Лишь только досталъ я Новгородскіе листы и пробѣжалъ ихъ, какъ тотчасъ написалъ записки къ друзьямъ, съ извѣстіемъ о найденной драгоцѣнности, чтобъ подѣлиться радостью, и принялся переводить рукопись на нынѣшній Русскій языкъ, для читателей *Москвитянина*. Но съ десятой строки радость моя начала охлаждаться, возродилось сомнѣніе... Я остановился, перечелъ спокойно такъ-называемую рукопись, и объявляю рѣшительно, что это подлогъ, мистификація. Нѣтъ, скажу я неизвѣстному Новогородскому Макферсону, вы не искусились еще сполна въ Исторіи! Вы смѣшали Іоанна III съ Іоанномъ IV, и дали вашей питомицѣ, для большаго интереса, книгу въ руки (а игуменью заставили осуждать еретическую затѣю), но это произведеніе *печатнаго дѣла* появилось почти черезъ полвѣка послѣ того времени, до котораго могли дожить ваши старицы. Первымъ печатникомъ былъ не Ѳедоръ, а Иванъ Ѳедоровъ. Если для васъ не довольно этого вопіющаго анахронизма, такъ вотъ вамъ замѣчанія другаго рода. Назвать думнаго дьяка подвойскимъ, похоже на то, чтобъ назвать частнаго пристава квартальнымъ; подвойскій думный дьякъ не существуетъ, также какъ квартальный частный приставъ! Вы называете въ другомъ мѣстѣ Нѣмецкаго гостя купеческимъ, — это тоже, что сказать военный солдатъ! Вы говорите, что ваша рукопись харатейная, но пергаментъ никогда не склеивался, а сшивался, и на пергаментѣ никогда не писалось въ такомъ маломъ форматѣ, въ какомъ вы представили свой fac-simile. Столбцы склеивались вдоль бумажные. Найдя эти несообразности, я потомъ увидѣлъ ихъ уже черезъ строку. Напримѣръ, Русская боярышня никогда не назоветъ отца только по имени безъ отчества, не попроситъ отца увезти ее изъ церкви до конца обѣдни и проч. и проч. Если Новогородскій Макферсонъ не удовольствуется моими замѣчаніями, то благово-

литъ онъ прислать свою рукопись въ Москву—въ Университетъ, Историческое Общество, или куда угодно. Въ Москвѣ есть человѣкъ десять, которые отличатъ поддѣльную рукопись отъ подлинной *съ перваго взгляда*: окажется ваша на нашемъ присяжномъ судѣ подлинною, то я попрошу у васъ извиненія также торжественно, какъ теперь обвиняю, — но этого быть не можетъ. Невинныя шутки въ Литературѣ позволительны. Почему иногда не посмѣяться:

И не все намъ рѣки слезныя
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ,
На минуту позабудемся...

говоритъ Карамзинъ; но переносить шутки въ Исторію, — нѣтъ, Исторія дѣло священное"! [93]).

Макферсономъ Новогородскимъ оказался нѣкто Руфъ Игнатьевъ. Не совсѣмъ убѣдившись въ этомъ подлогѣ, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Читали ли вы, — впрочемъ, вы *Москвитянина* не получаете, но достаньте третій нумеръ и прочтите — *Рукопись* старицы Марьи, напечатанную въ *Новгородскихъ Вѣдомостяхъ*. Эта старица Марья, игуменья женскаго монастыря, описываетъ свое мірское дѣвичество и причины, заставившія ее идти въ монастырь. Была она княжна Одоевская (въ концѣ XV и въ самомъ началѣ XVI вѣка) и влюбилась въ нѣкоего Назарія, учившагося у Нѣмцевъ. Погодинъ доказываетъ, что это мистификація. Мнѣ самому это кажется. Если же нѣтъ, то это вещь предрагоцѣнная. Хочется мнѣ знать мнѣніе Константина объ этомъ предметѣ. Тутъ и война Іоанна III съ Новгородомъ. Непремѣнно достаньте" [94]).

Въ первомъ томѣ Актовъ, изданныхъ въ Кіевѣ, въ 1849 г., Временною Коммиссіею, былъ напечатанъ замѣчательный трудъ профессора Университета св. Владиміра Н. Д. Иванишева, подъ заглавіемъ: *Жизнь Князя Андрея Михайловича Курбскаго*. Приступая къ разбору этого изданія, Погодинъ обратилъ особенное вниманіе на предисловіе, написанное Курбскимъ къ его переводу. Приведя это

предисловіе, Погодинъ замѣчаетъ: „Одна изъ историческихъ нашихъ школъ, отвергающая Русскую Исторію до Петра I, увидитъ здѣсь отчасти, какихъ людей она выставить можетъ. Жаль, что Курбскій, увлеченный обстоятельствами и страстями, кончилъ свою жизнь такъ дурно. Какой человѣкъ! Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, собраннымъ профессоромъ Устряловымъ, которому историческая Литература обязана прекраснымъ изданіемъ его сочиненій, мы узнаемъ теперь, что Курбскій скончался въ 1583 году, слѣдовательно, почти въ одно время съ царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ, и похороненъ въ Троицкомъ монастырѣ, въ Вербнѣ, гдѣ чуть-ли не найдена и его гробница. Мы узнаемъ, что ученыя его занятія продолжались до самой кончины, ибо предисловіе писано по убіеніи его слуги-друга, слѣдовательно, послѣ 1571 года. Курбскій извиняется въ предисловіи, что онъ не твердо знаетъ правила церковнаго Славянскаго языка, и проситъ прощенія у читателей, если онъ употребляетъ гдѣ-нибудь простонародныя слова или выраженія. Ахъ, еслибъ онъ забылъ тогда ученый свой языкъ совершенно и писалъ на простонародномъ! Сколько славы прибавилось бы къ его имени! Изданная вновь книга Кіевскою Коммиссіею, которая достойно соревнуетъ Археографической Коммиссіи въ обнародованіи историческихъ матеріаловъ, есть драгоцѣнное пріобрѣтеніе литературы“.

Заключающіеся въ этой книгѣ акты, по замѣчанію Погодина, знакомятъ насъ „не съ одними обстоятельствами въ жизни Курбскаго, но узнаемъ *жизнь всего края* въ XVI вѣкѣ. Мы будемъ поражены различіемъ въ жизни Малой Россіи съ жизнію Великой Россіи, мы поймемъ, почему Курбскому такъ невыносимо-тяжко было въ богатомъ своемъ Ковельскомъ помѣстьѣ, и за что такъ глубоко ненавидѣлъ онъ Грознаго, который, по его мнѣнію, заставлялъ его жить тамъ вдали отъ милаго отечества. Я, — продолжаетъ Погодинъ, — слыхалъ отъ нѣкоторыхъ нашихъ ученыхъ, что у нихъ не достаетъ источниковъ для занятія Исторіей; да одна такая

книга не представляетъ ли матеріала на два года работы— и какой работы плодоносной“ [95]).

31 марта 1850 года, въ Московскомъ Университетѣ происходилъ диспутъ. Питомецъ Главнаго Педагогическаго Института и затѣмъ адъюнктъ-профессоръ Университета Св. Владиміра Платонъ Васильевичъ Павловъ защищалъ свою диссертацію: *Объ Историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова.*

До диспута диссертація эта была на разсмотрѣніи у Шевырева. „Ты не повѣришь“,—писалъ онъ Погодину,—„какая тоска и скука, при недостаткѣ времени, въ четвертый разъ перечитывать диссертацію Павлова, да еще конецъ, переписанный геніальнымъ почеркомъ, котораго при теперешнихъ темныхъ дняхъ не разберешь. Четыре раза я читалъ только *Божественную Комедію* Данта, нѣкоторыя трагедіи Шекспира, Пушкина *Бориса Годунова*, да приходится еще читать Павлова диссертацію“.

И это приходилось бѣдному Шевыреву читать въ темные ноябрьскіе дни. „Совершенныя потемки“,—писалъ онъ,—„Богъ казнитъ насъ тьмою Египетскою. Просто хоть свѣчи зажигай“ [96]).

Передъ диспутомъ Павловъ представилъ свою диссертацію Погодину и послѣдній, подъ 21 марта 1850 года, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Павловъ съ диссертаціею, безъ надписи и указанія на мои изслѣдованія. Что прикажете дѣлать“?

О самомъ диспутѣ Павлова мы имѣемъ современное свидѣтельство Калачова, который, 1-го апрѣля 1850 года, писалъ Кавелину: „Вчера былъ, наконецъ, диспутъ Павлова. Онъ, какъ и слѣдовало ожидать, не смотря на удивительную скромность Павлова, былъ все-таки блестящій. Но что смутило Павлова—это то, что Соловьевъ, очень долго нападая въ его диссертаціи на мелочи, не сказалъ ему ни одного лестнаго слова, никакого привѣтствія, боясь, какъ онъ выразился послѣ, хвалить самого себя. Онъ въ самомъ дѣлѣ,

кажется, убѣжденъ, что если что-нибудь и есть у Павлова дѣльнаго, то только то, что можно найти и въ его сочиненіяхъ, на которыхъ, между прочимъ, Павловъ основывался. Бодянскій и я почли долгомъ сказать послѣ этого, что Павловъ пошелъ дальше своихъ предшественниковъ, указавъ на новыя стороны въ жизни Русскаго народа, которыя до сихъ поръ или не были предметомъ особыхъ изслѣдованій, или оставлены были безъ вниманія. Павлова очень огорчило невниманіе къ нему Соловьева, тѣмъ болѣе, что Соловьевъ хочетъ писать рецензію, и въ этой рецензіи, какъ думаетъ Павловъ, опять будетъ нападать на мелочи, оставляя безъ обсужденія то, чѣмъ онъ особенно дорожитъ, т.-е., взглядъ Павлова на междуцарствіе и послѣдующую эпоху до Петра Великаго. Вотъ почему, я думаю, было бы полезно обратить вамъ ваше вниманіе на диссертацію Павлова, написавъ объ ней рецензію съ свойственнымъ вамъ безпристрастіемъ и умѣньемъ отдавать каждому должное. Его бы это очень утѣшило, а для науки такая рецензія ваша была бы, безъ сомнѣнія, огромною услугой. Я думаю сказать также нѣсколько словъ о книгѣ Павлова въ *Москвитянинѣ*, если Погодинъ приметъ мою рецензію. Вчера былъ у меня Побѣдоносцевъ (Константинъ Петровичъ). Мы много объ васъ говорили; онъ очень васъ любитъ и уважаетъ. Я не успѣлъ отправить этого письма въ тотъ день, когда написалъ его. Послѣ того я видѣлся съ Соловьевымъ и онъ сказалъ мнѣ, что точно пишетъ рецензію въ *Отечественныхъ Запискахъ* и въ ней сдѣлаетъ о Павловѣ вообще хорошій отзывъ, но въ чемъ будетъ состоять этотъ отзывъ,—не сказалъ. На всякій случай я считаю нужнымъ прибавить это вамъ для свѣдѣнія“ [97]).

Иное впечатлѣніе изъ диспута Павлова вынесъ Погодинъ. „Это былъ“,—писалъ онъ,—„самый скучный, какой я помню въ продолженіе тридцати лѣтъ, — то-есть для публики, а для нашей братьи, ученыхъ, нѣтъ ничего, какъ и не можетъ быть ничего скучнаго: потому что мы скучны по

преимуществу". Это Погодинъ высказалъ печатно. Въ *Дневникѣ* же своемъ, подъ 31 марта 1850 года, онъ записалъ: „Приготовлялся къ диспуту. Прескучный... Павловъ плохъ. О Годуновѣ и говорить нечего. Объяснялся съ графомъ Строгоновымъ, очень ласковъ".

Диссертація Павлова ввела опять Погодина въ непріятную полемику съ своими учениками. Важность предмета диссертаціи, касающагося „всѣхъ вопросовъ Русской Исторіи и Русской жизни", обязала Погодина выразить печатно свое мнѣніе *Объ историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова*, и онъ написалъ обширную рецензію, въ которой весьма строго отнесся къ автору сочиненія; но приступая къ разбору, Погодинъ должен былъ сознаться, что „живя зиму въ изгнаніи отъ своей библіотеки, имѣя только пособія въ XIII вѣкѣ, пишучи все на память, онъ не могъ наводить справокъ даже съ нѣкоторыми своими бумагами".

Еще не читая диссертаціи, пишетъ Кавелинъ, „только по VI страницѣ, гдѣ говорится о Соловьевѣ, да по нѣкоторымъ тезисамъ, да по двумъ-тремъ ссылкамъ, мы тотчасъ подумали: достанется же Павлову отъ Нестора Русской Исторіи... И мы не ошиблись. Въ *Москвитянинѣ* явилась громовая статья на диссертацію Павлова. Въ ней Погодинъ задаетъ вопросъ: стоитъ ли диссертація одного изъ тезисовъ (7-го), выставленныхъ Павловымъ? Впечатлѣніе, оставляемое критикой то, что диссертація не стоитъ этого тезиса. Стану говорить безъ околичностей",—восклицаетъ Погодинъ:—„насъ губитъ система, желаніе строить систему, прежде чѣмъ приготовлены матеріалы. Молодые люди даровитые, дѣятельные, погибаютъ у насъ для науки. Слѣпецъ слѣпца ведетъ, оба падаютъ въ яму, да и благодарятъ другъ друга, поздравляютъ со славою! А журнальные крикуны въ родѣ Египетскихъ плакальщицъ, и праздные невѣжи, которымъ нѣтъ дѣла до науки, рукоплещутъ". Но это еще не все. „Ученые наши",—по мнѣнію Погодина,—„пускаются за облака,

плаваютъ по воздуху". Объясненіе нашего стариннаго быта и Исторіи родовымъ началомъ,—замѣчаетъ Кавелинъ,—Погодину „какъ бѣльмо въ глазу: онъ его стерпѣть не можетъ". Отъ чистаго сердца желаю Павлову,—восклицаетъ Погодинъ,—„исцѣлиться отъ проказы родового быта, увлекшаго его въ лабиринтъ родовыхъ и прочихъ отношеній. Наши витязи воюютъ противъ авторитетовъ, чьихъ? Шлецера, Карамзина, Добровскаго, а чьи авторитеты принимаютъ? Свои собственные! Обмѣнъ для насъ невыгодный"!

Но при всей строгости, Погодинъ выразилъ автору и нѣсколько одобрительныхъ словъ: „Это опытъ молодаго человѣка, подающаго о себѣ прекрасныя надежды, съ примѣчательными, яркими, проблесками ума, воображенія, знанія. Авторъ можетъ принести пользу Русской Исторіи, даже великую пользу, если оставитъ кривой путь отношеній, сброситъ съ себя ихъ временное и, можетъ быть, случайное иго, откажется отъ системъ рановременныхъ, и выберется на прямую дорогу историческихъ свидѣтельствъ. Я вижу его талантъ, сознаю силу, любовь, и радъ отдать имъ честь при случаѣ. А судили мы его строго, потому что ожидали отъ него много, и желаемъ ему еще больше, къ чести его имени и успѣху Русской Исторіи. Можетъ быть когда-нибудь, если не теперь, онъ скажетъ и намъ спасибо! А я ему даже самъ благодаренъ за поводъ ко многимъ мыслямъ; когда я разбираю ГГ. NN., MM., или SS., тогда голова у меня тяжелѣетъ, и своихъ старыхъ мыслей я не отыщу, а при чтеніи его книги у меня взроилось множество новыхъ. Разбирать его мнѣ было досадно, но не скучно... Авторъ на пути мыслей, онъ можетъ возстановиться, исправиться. Когда онъ въ первый разъ по пріѣздѣ своемъ изъ Кіева былъ у меня, передалъ мнѣ нѣсколько своихъ мыслей, я обрадовался, увидѣвъ въ немъ благонадежнаго дѣлателя... за лѣтописи, за работу— и я усердно желаю ему успѣха. Залогомъ этого успѣха служатъ для меня многія мѣста, даже и въ литературномъ отношеніи, напримѣръ: „Вѣчная вамъ слава, Скопинъ-Шуйскій,

Шеинъ, Голицынъ, Полтевъ, Ляпуновъ, Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ, Діонисій, Палицынъ, Филаретъ. Вы возбудили горячее сочувствіе къ идеѣ порядка и мира въ духовенствѣ, сѣверо-восточныхъ промышленныхъ общинахъ, служилыхъ людяхъ. Преимущественно вспомоществуемые ими, вы ввели отчизну въ міръ новый, лучшій: укротили крамолу, содѣйствовали восшествію на престолъ царей Московскихъ благоцвѣтущей отрасли благороднаго корени Романовыхъ. Ненаглядныя тѣни минувшаго, предвѣстницы Петровскаго преобразованія!.. Почтимъ ихъ память благоговѣйно!.. Въ пору закрѣпленія всѣмъ казалось, что промышленникъ теряетъ только возможность переходить съ мѣста на мѣсто, не болѣе... Исторія, овладѣвъ личною мыслію Годунова, возвела его въ необходимое условіе дальнѣйшаго общественнаго развитія... Изрядный правитель, самъ того не зная, давалъ посылку, изъ которой Никону возможно было извлечь слѣдствіемъ неестественное возвышеніе, въ своемъ лицѣ, власти патріаршей... Съ древнѣйшихъ временъ, почти въ каждое государствованіе выѣзжало съ запада множество иноземныхъ благородныхъ родовъ въ Москву на службу, съ своимъ взглядомъ на вещи, своими привычками. Правда, эти выходцы и ихъ потомки скоро русѣли, тѣмъ не менѣе ихъ иностранный типъ, внутренній и внѣшній, долженъ былъ непремѣнно вліять на нашихъ первостепенныхъ людей служилыхъ, особенно, если примемъ въ соображеніе, что выѣзды въ Москву иноземныхъ благородныхъ родовъ продолжались, втеченіе вѣковъ, безпрерывно... Душный гробъ, сложившійся изъ досокъ многолѣтняго родоваго дерева, разверзся; Русское общество, мнимо умершее, воскресло къ новой нравственной жизни... Вообще, когда въ обществахъ обнаруживается потребность нравственнаго возрожденія, можетъ въ нихъ возникнуть двоякое чаяніе, двоякая надежда.—Являются въ обществѣ люди, начинающіе сѣтовать по старинѣ: имъ кажется, что было лучше, что его можно воротить. Они забываютъ или не понимаютъ весьма простой истины, что общество, подобно отдѣльному недѣли-

мому, не въ состояніи сдѣлать ни одного шага назадъ на пути своего развитія, что прожитый возрастъ не воскресаетъ ни для лица, ни для народа. Подлѣ поборниковъ старины возвышаютъ свой голосъ люди совершенно противоположнаго образа мыслей, болѣе вѣрующіе въ будущее, нежели въ минувшее... Въ исходѣ XVI-го столѣтія, были на Руси представители обоихъ направленій. Иначе и быть не могло, потому что оба способа пониманія общественнаго преобразованія имѣютъ корень въ глубинѣ природы человѣческой".

XXVI.

Въ заключеніе своей рецензіи на диссертацію Павлова, Погодинъ счелъ нужнымъ опять въ назиданіе молодымъ людямъ сказать нѣсколько словъ вообще о Русской Исторіи и различныхъ взглядахъ на нее. „Слова мои", — писалъ онъ, — „отнюдь не будутъ относиться въ особенности къ Павлову: пусть примутъ ихъ къ свѣдѣнію молодые изслѣдователи, настоящіе и будущіе, какъ выраженіе опыта многолѣтняго,—и воспользуются ими, кто какъ заблагоразсудитъ. Ни въ какомъ народѣ нѣтъ такого отвращенія отъ формы, какъ въ Русскомъ; ни въ какой Исторіи нѣтъ такого отсутствія формы, какъ въ Русской; и въ этомъ отношеніи Русская Исторія представляетъ совершенную противоположность съ Западной: тамъ господствуетъ форма, и ей приносятся всякія жертвы; тамъ форма считается главнымъ условіемъ счастія гражданскаго и человѣческаго, и западные народы, Французскій въ особенности, ищутъ ее безъ памяти, отъ утра до вечера, и мучатся: сколько, напримѣръ, однѣхъ конституцій перемѣнили они съ 1789 года! Самые умные, самые добросовѣстные иногда люди трудятся надъ ними, напрягаютъ всѣ свои силы,—а нѣтъ, не выходитъ ничего, для самихъ, удовлетворительнаго, и послѣдняя, казалось, лучшая, подвергается на другой день послѣ обнародованія, еще бо̀льшимъ нареканіямъ и пересудамъ, нежели прежняя,—и опять при-

нимаются за работу несчастной иксіоны. (Въ наукахъ тѣ же явленія). Въ Русской Исторіи другая крайность: форма искони ставится ни во что: у насъ ничего не бывало положительнаго, опредѣленнаго, и вѣка проходили, въ продолженіе коихъ не сыщешь въ лѣтописяхъ ни одной апоѳегмы, развѣ занесенной по вѣтру съ Запада. При всякомъ правилѣ у Русскаго человѣка бываетъ непреодолимое желаніе уклониться изъ-подъ него, а не сообразоваться съ нимъ, и они становятся часто указаніями не того, что дѣлается, а на оборотъ, чего не дѣлается. Съ другой стороны, многое происходитъ въ Русской Исторіи большею частію неожиданно, вопреки всѣмъ разсчетамъ и соображеніямъ, дѣйствіемъ Русскаго Бога, который и живетъ въ народномъ сознаніи: пользу принесетъ иногда врагъ, а другъ насолитъ; зимою грянетъ громъ, а лѣтомъ завернетъ такая стужа, что надѣвай шубу. Стоитъ вспомнить только о нашествіи Монголовъ или о войнѣ 1812 года,—а чтобъ всего разительнѣе показать характеръ чудеснаго въ Русской Исторіи, о коемъ писалъ я еще въ 1833 году, то я спрошу: могъ ли царь Алексѣй Михайловичъ, даже призвавъ на совѣтъ тѣнь своего отца Михаила Ѳеодоровича и дѣда Филарета Никитича, могъ ли, говорю, царь Алексѣй Михайловичъ, вмѣстѣ съ царицей Натальей Кириловной, угадать и ожидать, чтобъ у него родился такой сынъ, какъ Петръ I? Прочтите *Царскіе Выходы*, изданные Строевымъ, да какой-нибудь томъ писемъ Петровыхъ или его Марсову книгу! Или разберите Вавилонское замѣшательство въ Русскомъ языкѣ времени Петрова, и угадайте по логикѣ, что законы этому языку принесетъ изъ Холмогоръ рыбачій сынъ, Ломоносовъ. Или объясните, какъ продолжить и привести въ исполненіе многія мысли Петра I могла принцесса, родившаяся въ Ангальтъ-Цербстѣ? И потому, чтобъ, при такомъ характерѣ Русской Исторіи, подводить происшествія, особенно, когда дойдетъ дѣло до подробностей, подъ симметрическія формулы, надо непремѣнно укладывать ихъ на Прокрустово ложе, обрубать ихъ, вытягивать, иныя же и со-

всѣмъ изъ Исторіи вонъ. И что же получится вслѣдствіе всѣхъ сихъ истязаній, всѣхъ сихъ мучительныхъ пытокъ и отчаянныхъ операцій? Мы переведемъ Русскую Исторію на Французскую, Нѣмецкую, Англійскую, вообще Западную, какъ переводятъ у насъ Французскіе водевили на Русскіе нравы. (Вотъ тогда-то можно будетъ сказать кстати: traduttore — traditore). Мы заставимъ нашихъ предковъ подражать заднимъ числомъ Западнымъ народамъ, тогда какъ подражатели-то собственно мы, а они, хорошо ли, дурно ли, шли своею дорогою, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Отыскивать этотъ путь, показывать его своеобразность, его прямоту и кривизну,—вотъ гдѣ задача для таланта, для ума, для мыслящаго Русскаго историка. Какая прекрасная, Европейская задача! По шагу объяснить этотъ путь — и тутъ уже есть достоинство, заслуга, честь. Но нѣтъ! Мы хотимъ полной системы, полной теоріи; теорія, система, обольстительны для молодого человѣка, для молодаго ученаго,—и вотъ являются ретивые юноши, которые съ плеча, начинаютъ рубить и косить, не помня, что для теоріи и системы даже не приготовлены еще, не очищены, не обработаны критикою необходимые матеріалы. Бывалъ я на своемъ вѣку свидѣтелемъ подобныхъ замѣшательствъ. Пусть вспомнятъ читатели школу Скептическую, школу Славянскую и прочія, съ коими я ратовалъ. Самъ даже я подалъ поводъ къ двумъ явленіямъ этого рода, кои считаю двумя своими смертными учеными грѣхами, и искупить долженъ, по наложенной на себя эпитиміи, по крайней мѣрѣ двумя лишними томами Изслѣдованій“ [98]).

Между тѣмъ, Кавелинъ помѣстилъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* весьма лестную для П. В. Павлова рецензію на его книгу, „привѣтствуя молодаго ученаго за его несомнѣнный историческій талантъ и вполнѣ научные пріемы изслѣдованія; при чемъ не замедлилъ еще разъ задѣть Погодина“ [99]), по поводу напечатанной имъ вышеупомянутой рецензіи на книгу Павлова. Это возбудило опять между учителемъ и ученикомъ

полемику, ареной которой для Погодина былъ *Москвитянинъ* и на страницахъ его появилось *Посланіе къ Кавелину*.

Кавелинъ: „Собственно для назиданія г. Погодина, въ первый и послѣдній разъ, постараемся объяснить ему, откуда взялся новый взглядъ на Русскую исторію и въ чемъ онъ заключается".

Погодинъ: Благодарю усердно добраго наставника за его намѣреніе вразумить меня, напрягаю все свое вниманіе, слушаю...

Кавелинъ: „Какую мы ни возьмемъ исторію, древняго или новаго народа, во всякой мы непремѣнно найдемъ связность, стройность явленій. Вникая въ эту связь и стройность, мы открываемъ и ихъ причину"...

Погодинъ: Позвольте мнѣ замѣтить вамъ, мой добрый наставникъ, что вы выразили эту *общую мысль* нѣсколько неосторожно, неточно: во всякой исторіи должна быть, и въ самомъ дѣлѣ есть, примѣчается, связность и стройность явленій, но *найти* и показать эту связность и стройность,—а еще болѣе открыть ихъ *причину*, есть дѣло, есть жизнь науки, которая далеко еще не достигла своей цѣли ни въ какой области. Передъ нашими глазами проходятъ день за ночью, лѣто за весною и зима за осенью, мы видимъ связность и стройность этихъ явленій, но законы небесной механики находитъ только Лапласъ; Римская исторія давно была извѣстна въ своей послѣдовательности и связи, но причины возвышенія и упадка Римлянъ отыскиваетъ только Монтескье, и то не безъ ошибокъ. Какая, напримѣръ, связность и стройность, наружная и внутренняя, жившихъ въ глуби Азіи Татаръ въ XIII столѣтіи съ Русскими князьями, которые объ нихъ не имѣли никакого понятія, или между оргіями одного Женевца и бытомъ древней Руси,—*найти* не всякой вдругъ сможетъ.

Кавелинъ: „Вникая въ эту связь и стройность, мы открываемъ и ихъ причину; мы замѣчаемъ, что вся Исторія приводится къ одному или нѣсколькимъ главнымъ началамъ,

основаніямъ, которыми и объясняются всѣ явленія въ жизни этого народа, опредѣляется ихъ связь и послѣдовательность".

Погодинъ: Нѣтъ, мы заключаемъ, мы предполагаемъ, что должно быть, пожалуй, одно или нѣсколько (одно или нѣсколько!) началъ, основаній, но не только мы не открываемъ ихъ, но они еще никѣмъ нигдѣ не открыты въ Исторіи, ни въ древней, ни въ новой, хотя и можно указать на нѣкоторые замѣчательные частные опыты. Было говорено нѣсколько разъ и объ этихъ началахъ, напримѣръ: есть одинъ законъ, по коему образуется человѣчество,—но въ каждомъ народѣ ходъ сего образованія измѣняется вслѣдствіе разныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, и дѣло частнаго историка показать, какимъ образомъ и по какимъ причинамъ происходитъ измѣненіе, какъ отражается въ частныхъ явленіяхъ общій законъ (въ 1836 г. и проч).

Кавелинъ: „Стало-быть, чтобъ понять ходъ Исторіи какого бы то ни было народа, надо подмѣтить главныя начала, проходящія чрезъ жизнь этого народа".

Погодинъ: Надо подмѣтить главныя начала, и все будетъ понято! Какъ это легко, просто и ясно! Въ Исторіи какого же народа подмѣчены главныя начала, спрошу я своего назидателя, и какая понята въ своемъ ходу? Если *замѣчено*, что въ Римѣ господствовало политическое, гражданское, внѣшнее начало, а въ Греціи духовное, внутреннее, то развѣ этими началами *объяснен* ходъ ихъ Исторіи? развѣ не понадобились другіе труды?

Кавелинъ: „До послѣдняго десятилѣтія объ открытіи этихъ началъ въ Русской Исторіи никто не думалъ".

Погодинъ: Нѣтъ—думали, напримѣръ: Удивительна и поучительна Русская Исторія, столько отличная отъ Исторіи всѣхъ прочихъ государствъ, представляющая столько явленій безпримѣрныхъ, новыхъ. Выразумѣть всѣ сіи явленія, объяснить ихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, подвести ихъ подъ параллельныя линіи прочихъ исторій, сравнить ихъ между собою, показать сходства и отличія, изслѣдовать причины

тѣхъ и другихъ: какая задача можетъ быть важнѣе для мыслящаго историка? (въ 1832 году).

Кавелинъ: „По крайней мы не видали и не знаемъ ни одной попытки.

Погодинъ: Это правда! ни у кого не было силы открыть такія начала, ни у кого не было дерзости думать, что онъ открылъ ихъ! Я съ своей стороны думалъ всегда, что гораздо полезнѣе, успѣшнѣе, безопаснѣе обработывать самое содержаніе Исторіи, и даже вообще объ этой наукѣ выразился такъ: философъ можетъ имѣть идеалъ, систему отвлеченную Исторіи (прошедшей и будущей), но сія система мертва безъ положительнаго приложенія. Въ Исторіи царствовалъ доселѣ эмпиризмъ—и необходимо. Только съ эмпирическими познаніями можно строить системы. Пусть работаютъ эмпирики, собираютъ, очищаютъ, распредѣляютъ событія: тогда *изъ самой Исторіи* явится и разовьется ея система. Прикладывать Исторію къ *готовой теоріи*—тоже, что класть ее на Прокрустово ложе (1827 г.).

Далѣе, Кавелинъ съ любезною снисходительностью, которая приноситъ ему честь, отклоняетъ обвиненіе отъ прежнихъ историковъ. „Конечно",—говоритъ онъ, — „въ этомъ никто не виноватъ. Всякое время имѣетъ свою задачу" и проч.

Кавелинъ: „Въ это-то время, когда въ нашей исторической литературѣ господствовалъ хаосъ, когда разные взгляды бродили нестройно и наугадъ, и до очевидности ясно стало, что безъ строго-научнаго систематическаго воззрѣнія наука Русской Исторіи не можетъ идти дальше"...

Погодинъ: Хаоса не было въ той наукѣ, которую обработывалъ Шлецеръ и Карамзинъ, не говоря о прочихъ,—прерву я урокъ,—и взглядовъ никакихъ не бродило, а были развѣ толки о нѣкоторыхъ частныхъ предметахъ, внѣ всякой системы. Наконецъ, позвольте мнѣ употребить противъ васъ ваше же оружіе: въ Русской Исторіи былъ Эверсъ, котораго вы сами ставите въ главу угла, и который имѣлъ уже послѣ-

дователей и продолжателей, Неймана, Рейца! О какомъ же хаосѣ вы говорите,—но не въ томъ дѣло. Прочтите рецензію Полевого на исторію Карамзина, и вы найдете тамъ точно такіе же *возгласы* о хаосѣ Русской Исторіи до его нелѣпицы. Прочтите разсужденія Каченовскаго съ школою скептическою, и вы найдете опять эти возгласы также съ заключеніемъ, что мы стоимъ на прагѣ великихъ преобразованій въ Русской Исторіи. Это все только слова. Хаосъ былъ нуженъ Кавелину только для того, чтобъ эффектнѣе озарить Русскую Исторію солнцемъ родового быта, а сцена съ бродячими взглядами нужна была, чтобъ вывести тріумфаторовъ съ большою славою.

Кавелинъ: „Въ это время... нѣкоторымъ молодымъ любителямъ Русской Исторіи (вотъ они, вотъ они! привѣтствуемъ, привѣтствуемъ!)... пришла въ голову мысль взглянуть на патріархальные элементы Русской жизни, на которые, вѣроятно, по ихъ общеизвѣстности и близости никто еще не обращалъ надлежащаго вниманія и пытливаго ученаго взгляда. Конечно, много разъ и прежде придавался Руси эпитетъ — патріархальная; но что собственно значитъ патріархальный, и чѣмъ именно отличается отъ непатріархальнаго, этого никто еще до того времени не потрудился объяснить... На это названіе многіе натолкнулись инстинктомъ, чутьемъ, не давая себѣ въ немъ яснаго отчета. Между тѣмъ, если этотъ эпитетъ могъ быть приданъ быту цѣлаго народа, характеризовать его, то уже во всякомъ случаѣ онъ заслуживалъ особеннаго вниманія: то, что характеризуетъ, должно заключать въ себѣ объясненіе всѣхъ особенностей характеризуемаго предмета. И такъ, не въ патріархальныхъ ли элементахъ, которые и доселѣ такъ присущи намъ, должно искать объясненія разныхъ событій и явленій въ нашей Исторіи, пока необъяснимыхъ и непонятныхъ! Не въ нихъ ли лежитъ ключъ, съ помощью котораго раскроется внутренняя связь происшествій, эпохъ и періодовъ Русской Исторіи? не въ нихъ ли затаенъ родникъ, изъ котораго текутъ многообразные источники нашей исторической жизни“?

Погодинъ: Довольно! Позвольте послушному ученику, хоть подражая вамъ, возвысить свой голосъ. Здѣсь, милостивые государи, нѣкоторые молодые любители Русской Исторіи, заключается ваша капитальная ошибка. Вы подумали, что однимъ свойствомъ, какимъ бы то ни было, можно объяснить всю Исторію какого бы то ни было народа. Нѣтъ, человѣкъ, народъ, государство, Исторія,—сложны: они заключаютъ много свойствъ (этой категоріи), коими условливается ихъ бытіе и развитіе. Патріархальность, или, лучше, семейность, положимъ, есть одно изъ главныхъ свойствъ и отличій Русской Исторіи и Русскаго народа,—и это, какъ вы говорите сами, замѣчено было давно многими,—но есть еще и другія столь же коренныя свойства и отличія. Слѣдовательно, искать въ одномъ свойствѣ причину всѣхъ явленій, исключать прочія коренныя условія, пропускать ихъ дѣйствія,—система, ведущая къ безпрестаннымъ заблужденіямъ, неправильностямъ, ошибкамъ, общимъ и частнымъ, какъ доказано Исторіей всѣхъ наукъ. Это почти все равно, какъ нѣкогда всѣ воздушныя явленія Физики объясняли электричествомъ, или медики приписывали происхожденіе всѣхъ болѣзней, то одной причинѣ, то другой. Благоразумнѣйшіе однакоже утверждали всегда, что универсальнаго лекарства нѣтъ, какъ нѣтъ и философскаго камня. Это вамъ одно замѣчаніе, а вотъ и другое: патріархальность или, по моему, семейность, есть одно изъ отличительныхъ явленій въ Русской Исторіи,—такъ надо же прежде всего объяснить его, откуда оно явилось, и въ чемъ именно проявляется? Далѣе—почему семейность у насъ проникла, осталась въ Исторіи такъ, а въ Германіи, Франціи, Англіи, иначе, между тѣмъ какъ, разумѣется, во всѣхъ государствахъ Исторія началась одинаково этою семейностью; какое, напримѣръ, сходство или различіе между нашею семейностью и Шотландской. Русская жизнь отличается семейностью, Французская общественностью, Англійская личностью—это явленія, милостивые государи, слѣдствія, а не причины, концы, а не начала.

Никто не думалъ объяснять Французской Исторіи общественностью или Англійской личностью, а указать присутствіе семейности, общественности или личности въ той, другой или третьей Исторіи, нужно, полезно, необходимо, какъ въ познаніи того или другого вещества, необходимо опредѣленіе всѣхъ ингредіентовъ. Послѣ этого предоставляю судить читателямъ о вашихъ вопросахъ: *не въ патріархальныхъ ли элементахъ... должно искать объясненія... не въ нихъ ли затаенъ родникъ, изъ котораго текутъ многообразные источники нашей исторической жизни... не въ нихъ ли лежитъ ключъ, съ помощію котораго раскроется внутренняя связь происшествій, эпохъ и періодовъ Русской Исторіи?* Много ключей можетъ входить въ замокъ, но не всѣ отпираютъ: иные только что вертятся.

Кавелинъ: „Нѣкоторые опыты объяснить намъ древнѣйшій бытъ патріархальнымъ элементомъ были уже сдѣланы; Эверсъ воспользовался имъ и съ большимъ успѣхомъ, толкуя первыя страницы лѣтописи и Русскую Правду“.

Погодинъ: Мнѣ кажется, вы ошибаетесь, милостивые государи, приписывая это намѣреніе Эверсу, котораго я имѣлъ честь разбирать въ 1827 году, при первомъ появленіи его книги. Не имѣю теперь времени, прочтя вашу рецензію вчера, и пишучи отвѣтъ вамъ нынѣ, пересмотрѣть его вновь и провѣрить свое понятіе, и потому передамъ свою мысль объ Эверсѣ, какъ она есть: Эверсъ далъ намъ логическую подкладку подъ первыя страницы нашей Исторіи, но не объяснилъ ее. Прибавлю примѣръ: есть формула для Исторіи всѣхъ западныхъ государствъ: феодализмъ, монархія, хартія,—и есть отвлеченное, à priori, объясненіе, какъ эти формы должны были одна за другою слѣдовать, но развѣ это объясненіе объясняетъ Исторію Французскую, Англійскую, Нѣмецкую? Нѣтъ, это только пособіе для ума, успокоеніе, не болѣе.

Кавелинъ: „Но это были отрывочныя попытки. Нельзя ли возвести ихъ въ цѣлое и объяснить этимъ элементомъ всю древнюю Исторію Руси? Она такъ непохожа на всѣ другія

Исторіи, такъ необъяснима изъ общихъ началъ Исторіи другихъ народовъ, и какъ нарочно именно тѣхъ, въ жизни которыхъ слабы патріархальные элементы. Вотъ какія размышленія вызвали новый взглядъ, столько нелюбимый, Богъ знаетъ почему, г. Погодинымъ".

Погодинъ: Вы видѣли причины, по которымъ я не соглашаюсь съ вашими размышленіями, а почему не люблю я вашего взгляда, такъ я скажу вамъ это теперь, если угодно, или лучше, вы сказываете сами.

Кавелинъ: „Остановившись на этой мысли, тѣ же молодые любители Русской Исторіи начали послѣдовательно вникать въ между-княжескія отношенія, въ мѣстничество, въ древнюю систему управленія—словомъ, во *всѣ* главнѣйшія явленія древней Русской народной жизни, и къ величайшей своей радости нашли, что патріархальнымъ элементомъ эти явленія объясняются очень просто и естественно, что различные ея эпохи, періоды и явленія суть не что иное, какъ различныя видоизмѣненія одного и того же патріархальнаго элемента".

Погодинъ: Любители Исторіи... стали вникать... во всѣ явленія... и нашли... что они объясняются очень просто и естественно!.. Въ этихъ словахъ вашихъ заключается приговоръ вамъ! Не слишкомъ ли легко объясняется Исторія по вашей методѣ: стоитъ подмѣтить, приложить, и кончено все дѣло! Неужели вы не чувствуете, что вѣрно здѣсь есть логическій оптическій обманъ? Такъ легко и скоро мудреныя задачи не рѣшаются. Вотъ почему не люблю я новаго взгляда! Взглядъ этотъ—ложный, по моему мнѣнію, вышеизложенному; на этотъ взглядъ происшествія представляются въ превратномъ видѣ; вы не сказали никакой новой мысли; вы не объяснили ничего, а между тѣмъ вы закричали и во множество голосовъ: мы сбили, мы рѣшили, мы объяснили, до насъ не было ничего! Такіе крики и возгласы должны были произвести негодованіе,—множество явившихся подражателей или послѣдователей (точно такихъ, какіе были въ школѣ скептической) должно было возбудить противодѣйствіе,—

особенно если еще присоединились къ тому des circonstances aggravantes! Вы теперь сознаетесь, что были „увлеченія“, „крайности“, „неправильныя примѣненія“. Вы говорите, что „изслѣдователи, трудящіеся надъ Русской Исторіей съ точки зрѣнія патріархальнаго или родового начала, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе излечиваются (sic!) отъ крайности и односторонности“. Прекрасно—я ихъ поздравляю, радуюсь, и надѣюсь, что излечась совершенно, они принесутъ пользу Русской Исторіи, а за что же ругать лекарства и лекарей? Но я боюсь, что Кавелинъ и здѣсь предложитъ мнѣ роковой вопросъ: гдѣ же лекарство? Кто же лекарь? Неужели г-нъ Погодинъ!“

Кавелинъ: „Мы бы поняли еще негодованіе именитаго критика противъ новыхъ трудовъ, написанныхъ подъ вліяніемъ *проказы родового быта*, еслибъ онъ хоть однажды серьезно, систематически опровергъ новыя воззрѣнія, показалъ ихъ ничтожность и нелѣпость, а ученые, несмотря на то, продолжали бы итти по тому же пути, не слушая ни замѣчаній, не обращая на нихъ никакого вниманія. Но Погодинъ этого не сдѣлалъ“.

Погодинъ: Воля ваша говорить, что угодно, но мнѣ кажется, что съ самаго начала, исчисливъ вамъ всѣ междуусобныя войны и показавъ собственными словами, не только лѣтописателей, но и самыхъ дѣйствующихъ лицъ, что онѣ ведены были за волости, а не за старшинство; что, напротивъ, старшіе князья говаривали младшимъ: возьми себѣ Кіевъ, а мнѣ дай волость такую то; что ни объ одной не встрѣчается свидѣтельства, намека, противоположнаго,—мнѣ кажется, говорю, что я доказалъ неосновательность вашего мнѣнія, въ самомъ важномъ пунктѣ, о междукняжескихъ отношеніяхъ. Немного нужно труда для опроверженія и прочихъ вашихъ объясненій, напримѣръ,—въ мѣстничествѣ служба имѣетъ высшее значеніе передъ родомъ. А о дальнѣйшихъ приложеніяхъ говорить нечего, куда они повели: стоитъ только вспомнить изгоевъ Калачова (которому впрочемъ я

Исторіи, такъ необъяснима изъ общихъ началъ Исторіи другихъ народовъ, и какъ нарочно именно тѣхъ, въ жизни которыхъ слабы патріархальные элементы. Вотъ какія размышленія вызвали новый взглядъ, столько нелюбимый, Богъ знаетъ почему, г. Погодинымъ".

Погодинъ: Вы видѣли причины, по которымъ я не соглашаюсь съ вашими размышленіями, а почему не люблю я вашего взгляда, такъ я скажу вамъ это теперь, если угодно, или лучше, вы сказываете сами.

Кавелинъ: „Остановившись на этой мысли, тѣ же молодые любители Русской Исторіи начали послѣдовательно вникать въ между-княжескія отношенія, въ мѣстничество, въ древнюю систему управленія—словомъ, во *всѣ* главнѣйшія явленія древней Русской народной жизни, и къ величайшей своей радости нашли, что патріархальнымъ элементомъ эти явленія объясняются очень просто и естественно, что различные ея эпохи, періоды и явленія суть не что иное, какъ различныя видоизмѣненія одного и того же патріархальнаго элемента".

Погодинъ: Любители Исторіи... стали вникать... во всѣ явленія... и нашли... что они объясняются очень просто и естественно!.. Въ этихъ словахъ вашихъ заключается приговоръ вамъ! Не слишкомъ ли легко объясняется Исторія по вашей методѣ: стоитъ подмѣтить, приложить, и кончено все дѣло! Неужели вы не чувствуете, что вѣрно здѣсь есть логическій оптическій обманъ? Такъ легко и скоро мудреныя задачи не рѣшаются. Вотъ почему не люблю я новаго взгляда! Взглядъ этотъ—ложный, по моему мнѣнію, вышеизложенному; на этотъ взглядъ происшествія представляются въ превратномъ видѣ; вы не сказали никакой новой мысли; вы не объяснили ничего, а между тѣмъ вы закричали и во множество голосовъ: мы сбили, мы рѣшили, мы объяснили, до насъ не было ничего! Такіе крики и возгласы должны были произвести негодованіе,—множество явившихся подражателей или послѣдователей (точно такихъ, какіе были въ школѣ скептической) должно было возбудить противодѣйствіе,—

особенно если еще присоединились къ тому des circonstances aggravantes! Вы теперь сознаетесь, что были „увлеченія“, „крайности“, „неправильныя примѣненія“. Вы говорите, что „изслѣдователи, трудящіеся надъ Русской Исторіей съ точки зрѣнія патріархальнаго или родового начала, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе излечиваются (sic!) отъ крайности и односторонности“. Прекрасно—я ихъ поздравляю, радуюсь, и надѣюсь, что излечась совершенно, они принесутъ пользу Русской Исторіи, а за что же ругать лекарства и лекарей? Но я боюсь, что Кавелинъ и здѣсь предложитъ мнѣ роковой вопросъ: гдѣ же лекарство? Кто же лекарь? Неужели г-нъ Погодинъ!“

Кавелинъ: „Мы бы поняли еще негодованіе именитаго критика противъ новыхъ трудовъ, написанныхъ подъ вліяніемъ *проказы родового быта*, еслибъ онъ хоть однажды серьезно, систематически опровергъ новыя воззрѣнія, показалъ ихъ ничтожность и нелѣпость, а ученые, несмотря на то, продолжали бы итти по тому же пути, не слушая ни замѣчаній, не обращая на нихъ никакого вниманія. Но Погодинъ этого не сдѣлалъ“.

Погодинъ: Воля ваша говорить, что угодно, но мнѣ кажется, что съ самаго начала, исчисливъ вамъ всѣ междуусобныя войны и показавъ собственными словами, не только лѣтописателей, но и самыхъ дѣйствующихъ лицъ, что онѣ ведены были за волости, а не за старшинство; что, напротивъ, старшіе князья говаривали младшимъ: возьми себѣ Кіевъ, а мнѣ дай волость такую то; что ни объ одной не встрѣчается свидѣтельства, намека, противоположнаго,—мнѣ кажется, говорю, что я доказалъ неосновательность вашего мнѣнія, въ самомъ важномъ пунктѣ, о междукняжескихъ отношеніяхъ. Немного нужно труда для опроверженія и прочихъ вашихъ объясненій, напримѣръ,—въ мѣстничествѣ служба имѣетъ высшее значеніе передъ родомъ. А о дальнѣйшихъ приложеніяхъ говорить нечего, куда они повели: стоитъ только вспомнить изгоевъ Калачова (которому впрочемъ я

отдаю полную справедливость за его другіе труды, добросовѣстные и благородные), и боярскихъ дѣтей Павлова (въ талантѣ котораго я также никогда не сомнѣвался). Вотъ и новая причина, почему не люблю я новаго взгляда: имъ увлеклись такъ или иначе даже нѣкоторые почтенные и талантливые молодые люди, теряя даромъ много времени и силы. Что касается до новой исторической Литературы Кавелина, я, право, не знаю, какія сочиненія именно къ ней относятся. Шульгинъ, напримѣръ, принимаетъ родовой бытъ совершенно въ предѣлахъ здраваго смысла. Но, положимъ, я не разобралъ до сихъ поръ новаго мнѣнія съ должнымъ вниманіемъ и обстоятельностью; отрицая, я увлекся самъ до другой крайности—забудемъ прошлое—укажите мнѣ, прошу васъ, теперь книгу, статью, въ которой оно выражено наияснѣе, наиопредѣленнѣе, и я даю вамъ слово, не смотря на совершенный недостатокъ во времени, по настоящему положенію моихъ главныхъ занятій, разобрать ее во всѣхъ подробностяхъ. Вы осуждаете мой образъ выраженія—я пришлю по адресу мой разборъ въ рукописи, предоставляя вамъ право исключать всѣ слова для васъ непріятныя (какія у меня нечаянно сорвались бы съ языка),—и напечатать, гдѣ вамъ угодно.

XXVII.

Въ своей полемикѣ съ Погодинымъ объ *Историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова*, Кавелинъ въ своей рецензіи на книгу Павлова не довольствовался одною историческою критикою, но шелъ дальше, „въ область психологіи личной", и Погодинъ не оставилъ этого безъ вниманія.

„Встрѣчая",—говоритъ Кавелинъ,—„на страницахъ *Москвитянина* одни возгласы противъ себя презрительные, отрывистые отзывы о своихъ трудахъ, что должны подумать молодые ученые?"

Погодинъ отвѣчалъ: во-первыхъ, здѣсь неправда! Моло-

дые ученые, какъ гг. Бѣляевъ, Калачовъ, Буслаевъ, Григорьевъ, Шульгинъ, Забѣлинъ и проч. и проч., встрѣчаемы были при всякомъ ихъ трудѣ со всѣми возможными знаками одобренія, радушія и похвалы".

Укажите мнѣ на одинъ умышленно - несправедливый отзывъ, о комъ бы то ни было. Можетъ быть, принимая слишкомъ горячо къ сердцу разныя вопіющія, по моему разумѣнію, нелѣпости о Русской Исторіи, опасаясь вреда для нихъ или по крайней мѣрѣ задержанія ея успѣховъ, я выражался рѣзко (въ чемъ впрочемъ всегда извинялся); но никогда не скрылъ я ни одного доказательства противниковъ, никогда не старался растолковать ихъ криво,—и если въ чемъ ошибался, то всегда былъ готовъ сознаться въ своихъ ошибкахъ.

Объ опытѣ Павлова, о которомъ идетъ споръ, отозвался я вотъ какъ, по сознанію самого Кавелина: „Это опытъ молодого человѣка, подающаго о себѣ прекрасныя надежды, съ примѣчательными, яркими проблесками ума, воображенія, знанія. Авторъ можетъ принести пользу Русской Исторіи, даже великую пользу" (за этимъ слѣдуютъ условія sine quibus, разумѣется, non)... Чего же болѣе?

Вы говорите, что мое оскорбленное самолюбіе побуждаетъ меня отзываться невыгодно о нѣкоторыхъ трудахъ молодыхъ ученыхъ. Спрашиваю—о чьихъ же? Напротивъ,—самолюбіе мое (еслибъ оно играло здѣсь роль) получаетъ безпрерывное удовлетвореніе отъ подтвержденія на дѣлѣ моихъ словъ, кои произносилъ я, стоя на стражѣ Русской Исторіи, а именно: Была школа *Козарская* и *Черноморская* — и я имѣлъ честь бороться, еще въ 1825 году, да не съ г-ми NN., MM., SS., а съ Эверсомъ, и Эверсъ отказался отъ *Козарства*, и обломки своихъ убѣжденій передалъ Нейману, который также былъ разобранъ мною окончательно, послѣ чего *Черноморцы* умолкли. Явилась школа *скептическая*. Тринадцать разсужденій ея я разобралъ подробно, и школа скептическая исчезла; вы сами не упоминаете даже объ ея существованіи, хотя г. Скром-

ненко *) немного уступалъ вамъ въ смѣлости и прочихъ достоинствахъ. Явилась школа *отрицательная*, которая не признавала Русской Исторіи до Петра; *Москвитянинъ* объявилъ ей войну. Многіе сотрудники вмѣстѣ со мною впродолженіе семи-восьми лѣтъ твердили противное,—и вотъ, въ *Отечественныхъ Запискахъ* являются нынѣ очень часто статьи изъ древней Русской Исторіи, а *Современникъ* вступается за Нестора, вмѣняя себѣ даже въ честь эту оборону. Ратовалъ я съ *Славянистами*— и отъ нихъ уже нѣсколько лѣтъ не слыхать ни одного слова. Наконецъ, явилась послѣдняя школа *резонерства*, *умничанья*, съ громкими возгласами, съ надменными претензіями и съ совершеннымъ недостаткомъ положительныхъ свѣдѣній. Я подалъ ей совѣты, сколько мнѣ помнится, очень умѣренные, въ 1845 или 1846 году,—и объяснивъ ей дѣло, предрекъ ей неудачу, кромѣ Кавелина, въ коемъ замѣтилъ болѣе ясности и послѣдовательности, — и предреченіе сбывается предъ нашими глазами: самъ Кавелинъ не знаетъ, кажется, какъ ему отдѣлаться отъ родового быта, и вмѣсто родового быта употребляетъ патріархальность, а развѣ патріархальность и родовой бытъ—одно и тоже? Другіе усердные послѣдователи довели родовой бытъ до нелѣпостей, absurdum, и этотъ призракъ становится теперь смѣшнымъ. Теперь порядочные изслѣдователи боятся уже употребить это слово, чтобъ не сорвать невольной улыбки. Теперь надо опасаться, чтобъ реакція не увлеклась слишкомъ далеко, и чтобъ не стали отвергать родового быта и тамъ, гдѣ онъ дѣйствительно былъ, послѣ неудачныхъ опытовъ гг. NN, MM. и SS. искать его тамъ, гдѣ его не было.

И такъ: Козарство уничтожено, Черноморство предано забвенію, Скептицизму поставлены границы, Славянство умолкло, Отрицательность возвращается на прямую дорогу, Резонерство колеблется,—не позволятъ ли мнѣ сказать объ этихъ результатахъ: quorum pars fui. И если позволятъ, то имѣю

---

*) С. М. Строевъ.

ли я полное право гордиться такими результатами, оставляю на судъ друзей Русской Исторіи.

Нѣтъ, милостивый государь, не оскорбленное самолюбіе внушало мнѣ мои рѣчи, а глубокое, внутреннее огорченіе о томъ, что заблудились тѣ именно люди, отъ которыхъ я надѣялся дѣла; что увлеклись обстоятельствами или собственными побужденіями именно тѣ люди, отъ которыхъ я надѣялся истиннаго прогресса въ Русской Исторіи, вѣрнаго отчетистаго поступленія впередъ. Разумѣется, я ожидалъ отъ нихъ слишкомъ много; слишкомъ велико было бъ мое ученое счастіе, еслибъ оправдалась вполнѣ моя надежда, еслибъ исполнилось совершенно мое желаніе! За то и ошибиться въ *такой степени*—было слишкомъ тяжело, слишкомъ несчастливо. Двадцать разъ согласился бы я лучше ошибиться и о Несторѣ, и о Козарахъ, и о Норманнахъ. Нравственное тяжелое потрясеніе произвели во мнѣ они своими неожиданными выходками всякаго рода, которое отзывалось, *можетъ быть*, и въ моихъ статьяхъ, и отъ котораго я теперь только успокоился, — а толки о родовомъ бытѣ, право, не стоятъ болѣе журнальной статьи или минутной досады!

„Боязнь быть опереженнымъ", вы приписываете мнѣ, милостивые государи!

Добрый путь, „господа", добрый путь, — но вотъ бѣда, что вы убѣжали не далеко, и все еще на глазахъ у меня, только не впереди, а по сторонамъ, и я вижу ясно всѣ извилины вашихъ заблужденій, вижу даже, какъ нѣкоторые изъ васъ, не добѣжавъ ни до чего, возвращаются назадъ усталые, недовольные... Не боюсь я опереженія, а желаю, ожидаю, зову, чтобъ кто-нибудь, NN., MM., или SS., ступилъ тотъ или другой шагъ, котораго я, по натурѣ изслѣдованій, въ постепенности развитія вопросовъ, ступить иногда не смѣю, не имѣю силы или воли. Я чувствую это часто, во многихъ вопросахъ, — слѣдовательно, ни что не было бы мнѣ такъ пріятно, какъ еслибъ NN., MM., или SS., съ свѣжими силами, не потративъ столько труда на прохожденіе пути

до этихъ моихъ точекъ препинанія, помогъ мнѣ перейти ихъ, потому что за этими промежутками я могъ бы идти еще съ своимъ запасомъ далѣе. И я надѣюсь, по всѣмъ примѣтамъ, что еще доживу до этого удовольствія: всякій годъ появляются дѣлатели, которые берутъ по одному предмету Исторіи, и обдѣлываютъ его, безъ фантазій, безъ нелѣпыхъ предубѣжденій, безъ шальныхъ притязаній и своими работами подвигаютъ науку впередъ. Укажу на трудъ *Полѣнова* о лѣтописяхъ, *Осокина* о пошлинахъ, *Шульгина* о женщинѣ, *Иванишева* о Курбскомъ, *Савельева* о Мугаммеданской нумизматикѣ, *Бѣляева* о древнемъ войскѣ, *Горскаго* о нѣкоторыхъ духовныхъ лицахъ, *Забѣлина* о частной жизни царей. Найдутся современемъ и такіе, которые, вникнувъ въ мои изслѣдованія, съ лучшими и разнообразнѣйшими приготовительными свѣдѣніями, пойдутъ по моему пути и приблизятся къ желанной цѣли.

Наконецъ, вы стращаете меня „отсталостью и несостояніемъ въ наукѣ". Есть Малороссійская поговорка: послѣ насъ не будетъ насъ, будутъ люди, да не мы. Наука живетъ и развивается безпрерывно. Мы прошли дальше нашихъ отцевъ; наши дѣти пойдутъ дальше насъ. Посвятивъ всю свою жизнь одному труду, не развлекаясь никакими другими занятіями, готовый отдать (и отдающій) отчетъ соотечественникамъ въ каждомъ своемъ днѣ, не только годѣ, я совершенно спокоенъ, и вслѣдъ за Педаретомъ, который воскликнулъ: хвала богамъ, что въ Спартѣ нашлось триста гражданъ достойнѣе меня,—я всегда буду очень радъ, если не двое или трое, а триста изслѣдователей опередятъ меня на обширномъ полѣ Русской Исторіи, и если я успѣю увидѣть это поле воздѣланное, какъ бы мнѣ желалось, кѣмъ бы то ни было. Я утѣшусь,

на наши глядя соты,
Что въ нихъ и моего хоть капля меду есть."

Погодинъ счелъ долгомъ защитить противъ Кавелина и свой историческій методъ. „Осыпавъ меня бранью",—пишетъ

Погодинъ,—(а за что, *за что?*) Кавелинъ произноситъ смертный приговоръ даже моему методу историческихъ изслѣдованій. А мой методъ — собирать изъ всѣхъ памятниковъ всѣ свидѣтельства о всякомъ предметѣ разсужденія, и на основаніи всѣхъ мѣстъ сравненныхъ и объясненныхъ дѣлать о немъ заключеніе, а собраніе заключеній о всѣхъ вопросахъ Исторіи представлять философамъ, какъ матеріалъ для построенія какихъ имъ угодно системъ. Спрашивается — какой методъ простѣе, естественнѣе, благонадежнѣе? Кавелинъ старается обнести этотъ методъ предъ глазами молодыхъ друзей Исторіи. И вотъ, вступаясь за этотъ методъ, обѣщающій величайшую пользу наукѣ, я рѣшился разобрать обстоятельно его выходки, и показать, что безъ этого метода, „не считая годовъ", не изучивъ *сторицею* источниковъ, не сообразивъ всѣхъ разнообразныхъ свидѣтельствъ о предметахъ разсужденій, съ одной фантазіей и логикой, можно найти сторонниковъ Ѳеодору, зачислить къ отсталымъ Сильвестра, объявить Грознаго прогрессистомъ, цѣлое сословіе боярскихъ дѣтей выставить какими-то сиротами, — можно кричать громко, писать много, и *не сказать ничего.*"

Свою полемику съ Кавелинымъ Погодинъ заключаетъ замѣчаніемъ: „Принимавшись три раза за рецензію Кавелина, я имѣлъ случай перелистовать и всю книгу *Отечественныхъ Записокъ*, гдѣ она напечатана. Тамъ помѣщена еще статья о *Москвитянинѣ*. Это никуда негодный журналъ, по мнѣнію *Отечественныхъ Записокъ*—и Смѣсь пуста, и Наукъ нѣтъ, и Повѣстей (!!!!?) не бывало, и проч. и проч. Я вспомнилъ одно давнишнее объясненіе Булгарина, почему въ октябрѣ и ноябрѣ журналисты бранятъ особенно другъ друга, и улыбнулся, читая выходку *Отечественныхъ Записокъ*. — Не слишкомъ ли она стара, пошла, неловка! Что касается до меня, найдя въ *Отечественныхъ Запискахъ* множество разнообразныхъ свѣдѣній и ничего противнаго кореннымъ, литературнымъ и историческимъ убѣжденіямъ, выраженнымъ въ программахъ *Москвитянина*, начиная съ 1841 года, я рекомендую теперь этотъ

журналъ своимъ читателямъ (равно какъ и *Современника*, тѣмъ больше, что онъ и за Нестора вступается). Принадлежа къ школѣ Карамзина, который въ свое время сказалъ: хорошо, что наша публика и романы читаетъ,—помня стихи князя Вяземскаго:

Дай Богъ намъ болѣе журналовъ:
Плодятъ читателей они,

я желаю успѣха, то-есть, какъ можно болѣе подписчиковъ, и *Отечественнымъ Запискамъ*, и *Современнику*, и *Сѣверной Пчелѣ*, и *Сыну Отечества*, и *Полицейскимъ*, и *Губернскимъ* всякимъ *Вѣдомостямъ*, по колику ими распространяются знанія и увеличивается образованность. Я радъ объявить это въ ноябрѣ, какъ въ мартѣ и августѣ.

Въ числѣ бранныхъ замѣчаній *Отечественныхъ Записокъ* разскажу только читателямъ, для смѣха, о двухъ историческихъ: я назвалъ гдѣ то сочинителя *Ядра Россійской Исторіи* С. Н. Глинкою XVIII столѣтія. Ясно, что я употребилъ это имя въ нарицательномъ смыслѣ, ибо иначе какъ бы я могъ говорить объ XVIII-мъ столѣтіи. Ясно, что я хотѣлъ сказать: Ядро Россійсской Исторіи въ критическомъ смыслѣ равняется Россійской Исторіи С. Н. Глинки; авторы равны. А *Отечественныя Записки* вывели заключеніе, что я *Ядро Россійской Исторіи* приписалъ С. Н. Глинкѣ! Но онѣ тутъ же получили и наказаніе за свою недобросовѣстность или за свою непонятливость: „Всякому историку должно быть извѣстно,"—восклицаютъ онѣ съ ученою гордостью, — „что *Ядро Россійской Исторіи* сочинено княземъ Андреемъ Хилковымъ". А уже лѣтъ сорокъ доказано, что Ядро сочинилъ не Хилковъ, а чиновникъ въ его Шведской миссіи!

Второе замѣчаніе: „При разборѣ *Архива*, изданнаго Калачовымъ, Погодинъ выдумалъ Германское слово ussgauja, котораго нѣтъ и никогда не бывало на свѣтѣ, что и доказано ему Буслаевымъ".

Читатели! потрудитесь развернуть *Архивъ* Калачова, и прочесть на 60 страницѣ слѣдующее примѣчаніе: „Съ другой стороны, совершенно тождественное значеніе съ нашимъ изгой, въ отношеніи къ быту Германскихъ народовъ, имѣетъ терминъ uss-gauja, которымъ, на Готскомъ и Латинскомъ языкахъ обозначается выходецъ, изгнанникъ: „существительное gauja (gau) указываетъ здѣсь на ту форму „общественнаго быта, какая у древнихъ Германцевъ была „преобладающею, такъ точно, какъ у Славянъ такой преобладающей формой была кровная связь и пр.“

Помилуйте—кому же принадлежитъ uss-gauja?

Буслаевъ долженъ бы былъ, разумѣется, адресовать свое посланіе къ издателю *Архива*, а не рецензенту, но я принялъ и напечаталъ его, потому что въ немъ заключалось дѣльное изслѣдованіе, сказавъ однако въ примѣчаніи, что uss-gauja и изгой съ прочими мертвыми душами принадлежатъ къ помѣстьямъ родового быта,—почему же *Отечественныя Записки* обращаются опять ко мнѣ“?

XXVIII.

Въ 1850 году, по высочайшему повелѣнію, былъ изданъ томъ первый *Дворцовыхъ разрядовъ*, обнимающій время съ 1612—1628 года и начинающійся краткимъ лѣтописнымъ сказаніемъ о подвигахъ князя Пожарскаго и Минина и объ освобожденіи Москвы отъ Поляковъ.

„Нынѣшнее царствованіе“,—писалъ Погодинъ по поводу этого изданія,—„останется во вѣки незабвеннымъ въ лѣтописяхъ Русской Исторіи. Нѣкогда не было издано столько матеріаловъ, необходимыхъ для возведенія ея на степень науки, какъ нынѣ. Скажемъ болѣе: ни одно Европейское правительство не оказало такихъ многообразныхъ и важныхъ услугъ своей Исторіи, какъ наше. Дѣла на лицо: Собраніе законовъ Россійской Имперіи, подъ первоначальнымъ надзоромъ графа Сперанскаго; Собраніе Русскихъ лѣтописей и грамотъ, подъ

первоначальнымъ надзоромъ графа Уварова, а нынѣ—князя Ширинскаго-Шихматова; Древности Русскаго Государства, по рисункамъ Солнцева, подъ надзоромъ графа Строганова. Къ этимъ знаменитымъ изданіямъ присоединяется теперь изданіе *Дворцовыхъ разрядовъ* и *Статейныхъ списковъ*, подъ надзоромъ графа Блудова. О достоинствѣ и важности изданія распространяться много не нужно: сколько важны лѣтописи для перваго періода Русской Исторіи, грамоты для второго, столько для третьяго—Разряды и Статейные списки, что касается до Исторіи оффиціальной, внѣшней, такъ называемой государственной. Здѣсь ея фундаментъ твердый, неколебимый".

Сказавъ это, Погодинъ вопрошаетъ: „Выразить ли еще наши pia desideria? Выразимъ. Исчисленные нами кодексы, thesauri, ожидаютъ себѣ дополненія въ Собраніи памятниковъ древней Славяно-Русской Словесности и въ Собраніи памятниковъ церковной Исторіи, преимущественно Житій. И есть множество людей въ нашихъ Духовныхъ Академіяхъ, Университетахъ, Семинаріяхъ, которые могутъ приняться за эти славныя дѣла. Укажемъ для примѣра на архимандрита Макарія *), Нижегородскаго іеромонаха Макарія, Горскаго, Казанскаго, Смирнова, Шевырева, Срезненскаго, Билярскаго, Кубарева, Дубенскаго, Ундольскаго, Буслаева, Каткова... Сколько достойныхъ служителей науки, и, замѣтьте, спеціалистовъ, которые доказали уже свою любовь, свое искусство, свои познанія по части отечественной Филологіи. Вотъ это прогрессъ, и ему нельзя не радоваться"!

Въ ожиданіи открытія изъ-подъ спуда новыхъ силъ Русской Исторіи, Погодинъ обращается къ *Дворцовымъ разрядамъ*. „Сперва,—пишетъ онъ,—о наружномъ видѣ, объ удобствахъ пользованія,—и мы должны отдать полную честь издателямъ: изданіе превосходно во всѣхъ сихъ отношеніяхъ. Опытъ — лучшій учитель: первое изданіе, грамотъ графа Румянцова,

*) Историкъ Русской Церкви, скончавшійся въ санѣ митрополита Московскаго и Коломенскаго.

въ огромный листъ, было самое неудобное; второе изданіе, Лѣтописей Археографическою Коммиссіею, было его лучше, но представляло все еще много неудобствъ длинными своими строками, въ коихъ, съ великимъ напряженіемъ глазъ должно дѣлать путешествіе изъ одной строки въ другую, а варіанты просто невыносимы для зрѣнія, отыскиваемые съ несноснымъ трудомъ; нынѣшнее третье изданіе, Разрядовъ, въ большую осьмушку, на два столбца, съ короткими строками, безукоризненно! Честь и хвала издателямъ, которые обратили вниманіе не только на самое дѣло, какъ Археографическая Коммиссія, но и на тѣхъ несчастныхъ тружениковъ, которые будутъ имъ пользоваться, а глаза для нихъ нужнѣе, нежели для кого-нибудь".

По свидѣтельству О. М. Бодянскаго, императоръ Николай, прочитавъ первый томъ *Дворцовыхъ разрядовъ*, сказалъ: „Ну, насилу одолѣлъ. Скучно сначала, а, впрочемъ, очень любопытно". Вслѣдъ за *Дворцовыми разрядами*, по высочайшему же повелѣнію, въ 1851 году, былъ изданъ первый томъ *Памятниковъ Дипломатическихъ сношеній Древней Россіи съ Державами Иностранными*.

По поводу этого изданія, А. С. Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: „Душевно благодарю васъ за дружескую присылку издаваемыхъ вами Памятниковъ. Всѣ экземпляры разосланы мною по принадлежности, но еще, кажется, никто за чтеніе ихъ не принимался, кромѣ страстнаго дипломата Д. Н. Свербеева, который тотчасъ принялся за книгу, привлекаемый дипломатическимъ ея благоуханіемъ. При этомъ онъ замѣтилъ, что дипломатическихъ бумагъ нѣтъ и спрашивалъ, извѣстно ли вамъ, что во время ихъ подвига по Архиву, его трудами и трудами П. В. Кирѣевскаго были приведены въ порядокъ и переписаны многія бумаги по дѣламъ Ливонскимъ, которыхъ копіи при Архивѣ, а реестръ находится въ министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ" [100]).

Въ то-же время, подъ покровомъ императора Николая I, историкъ Устряловъ продолжалъ трудиться надъ Исторіею

царствованія Петра Великаго. 22 апрѣля 1850 года, онъ писалъ Погодину: „Работа моя надъ Исторіею Петра быстро подвигается, хотя я и не тороплюсь. Первый томъ (въ рукописи) былъ представленъ государю и принятъ самымъ благосклоннымъ образомъ; разрѣшено помѣщать *все*, что найду въ матеріалахъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы напечатать все сочиненіе вдругъ, а не отдѣльными томами. Изданіе принято на счетъ казны и будетъ напечатано во II Отдѣленіи Канцеляріи его величества. Такова была собственная воля государя. Обо всемъ этомъ покорнѣйше прошу не говорить въ журналѣ *ни слова*. Пусть заговоритъ сама книга, когда выйдетъ въ свѣтъ. Милостивое вниманіе государя служитъ мнѣ новымъ побужденіемъ быть какъ можно отчетливѣе [101]).

Между тѣмъ, Н. Н. Мурзаковичъ, получивъ доступъ въ богатую библіотеку князя М. С. Воронцова, извлекъ оттуда драгоцѣнныя *Письма царевича Алексѣя Петровича къ его родителю* и напечаталъ ихъ въ Одессѣ, въ 1849 году. „Характеръ царевича“,—говоритъ Погодинъ,—„принадлежитъ къ числу необъясненныхъ еще вполнѣ характеровъ Русской Исторіи. По оффиціальнымъ документамъ, помѣщеннымъ въ слѣдственномъ его дѣлѣ, судить о немъ окончательно нельзя. Нельзя судить и по изданнымъ теперь письмамъ, какъ отрывочнымъ, но они доставляютъ историку, у котораго будутъ въ рукахъ, всѣ матеріалы въ совокупности, много весьма важныхъ указаній. Мы видимъ, что царевичъ, будучи 16, 17, 18-ти лѣтъ, былъ дѣятеленъ, внимателенъ, понятливъ, благоразуменъ, получалъ отъ отца много порученій и исполнялъ ихъ тщательно [102]).

Еще 20 ноября 1848 года, А. В. Горскій писалъ Погодину: „Послѣ многихъ мѣсяцевъ молчанія осмѣливаюсь представить къ вамъ, кромѣ письма, двухъ живыхъ свидѣтелей нашихъ дѣлъ. Одинъ изъ нихъ имѣетъ до васъ и особенную нужду; другой желаетъ воспользоваться краткимъ временемъ пребыванія въ Москвѣ, чтобы, вмѣстѣ съ товарищемъ, познакомиться съ вашимъ богатымъ музеемъ. Оба

посвятили свои послѣдніе труды въ Академіи Русской Церковной Исторіи. Оба изъ лучшихъ нашихъ воспитанниковъ, нынѣ окончившихъ курсъ, и оба, какъ еще школьники, несмѣлы. Имѣющій до васъ покорнѣйшую просьбу, г. Нечаевъ, занимался въ послѣднее время обозрѣніемъ жизни и трудовъ Св. Дмитрія Ростовскаго. Сочиненіе его приготовлено къ печати. Между тѣмъ, мы узнали, что между бумагами, переданными вамъ И. М. Снегиревымъ, есть перечень словъ Святителя, находящихся между рукописями Новгородской Софійской Библіотеки и неизданныхъ въ свѣтъ. (Объ этомъ сказывалъ мнѣ недавно бывшій здѣсь самъ Иванъ Михайловичъ). Сдѣлайте милость, позвольте намъ списать этотъ перечень, для нѣкоторыхъ соображеній, если уже не можемъ имѣть у себя и самыхъ словъ. Нѣтъ ли у васъ какихъ нибудь писемъ Святителя, не помѣщенныхъ въ изданіи его твореній, — или другихъ извѣстій о немъ, особенно объ его дѣятельности Ростовской! — У насъ, кромѣ печатныхъ источниковъ, подъ руками были только письма его къ Ѳеологу, указанныя въ *Описаніи рукописей Румянцовскаго Музеума*, Востокова, — и письмо къ Мазепѣ, писанное вмѣсто архимандрита Печерскаго Варлаама."

Между тѣмъ, Погодинъ, по своему обычаю, вздумалъ заявить въ *Москвитянинѣ*, что А. В. Горскій приготовляетъ къ печати свое изслѣдованіе о Св. Димитріи Ростовскимъ. Эта нескромность весьма огорчила смиренномудраго Горскаго, который, подобно древнимъ лѣтописцамъ, имѣлъ обычай скрывать имя свое подъ своими твореніями. „Извиняться въ томъ, что я такъ долго молчалъ", — писалъ онъ Погодину, 30 августа 1850 года, — „не смотря на разные случаи, которыми вы вызывали меня къ отвѣту, было бы со стороны моей новою виной. Очень жалѣю, что не могъ съ вами видѣться въ Лаврѣ. Лучше было бы все разрѣшить личнымъ объясненіемъ. Скажу одно, что забыть васъ, ваше расположеніе ко мнѣ — нельзя. *Забвена буди десница моя!* Что я дѣлаю, вы то знаете, или знаетъ это вашъ *Мо-*

сквитянинъ. Жалѣю только о томъ, что *Москвитянинъ* такъ нескроменъ. Кому какая нужда до чужихъ домашнихъ занятій? Подъ моимъ именемъ никакого *изслѣдованія о сочиненіяхъ Св. Димитрія* не выйдетъ въ свѣтъ, хотя и занимался я этимъ предметомъ. Прошу васъ покорнѣйше, не дозволяйте своему *Москвитянину* пересказывать публикѣ, что ни дойдетъ до васъ обо мнѣ. Только подъ этимъ условіемъ и могу я что̀-нибудь писать и вамъ о своихъ дѣлахъ".

Въ концѣ 1849 года вышло въ свѣтъ упомянутое изслѣдованіе магистра Московской Духовной Академіи Василія Петровича Нечаева, подъ заглавіемъ: *Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій*.

Представляя это сочиненіе Погодину, Горскій, 22 ноября 1849 года, писалъ ему: „Примите благосклонно изъ нашего Академическаго сада плодъ, долго висѣвшій на вѣткѣ, но не знаю дозрѣвшій ли столько, чтобы можно было имъ пользоваться. Св. Димитрій Ростовскій, одинъ изъ первыхъ тружениковъ у насъ на полѣ Церковной Исторіи, оставилъ намъ прекрасный образецъ неутомимаго трудолюбія, безпритязательной скромности и умѣнья направлять всѣ свои труды къ пользѣ Церкви. Пожелайте, чтобы духъ Великаго Святителя почилъ и на трудахъ нашихъ, и его примѣръ всегда былъ предъ нашими глазами" [103]).

Прочитавъ еще въ рукописи это сочиненіе, митрополитъ Филаретъ писалъ ректору Московской Духовной Академіи: „О сочиненіи о Св. Димитріѣ я не въ восхищеніи, а потому и отъ сочинителя" [104]). Но инаго мнѣнія объ этомъ сочиненіи былъ историкъ Русской Церкви, епископъ Харьковскій Филаретъ. „Съ великимъ наслажденіемъ читалъ я", — писалъ онъ А. В. Горскому, — „житіе святителя Димитрія. Вполнѣ убѣжденъ, что святитель Димитрій много разъ благословилъ васъ за прекрасный трудъ вашъ, употребленный для него. Вы сомнѣваетесь, понравится ли ученымъ трудъ вашъ? Если имъ понравится, понравится ли неученымъ? Сколько мнѣ видно, въ ученомъ отношеніи у насъ еще не было ни одного подоб-

наго жизнеописанія. Слѣдовательно, ученые должны быть вполнѣ довольны. И неученые съ пользою душевною прочтутъ это житіе. По крайней мѣрѣ я, съ своей стороны, сто разъ цѣлую васъ и до земли кланяясь, благодарю. Обзоръ источниковъ Четьихъ Миней — дѣло превосходное. Это такъ нужно было для Церкви, какъ нельзя болѣе. Не только легкомысленныя головы, но люди дѣловые, какъ, напримѣръ, самъ Владыка нашъ, не имѣвъ возможности въ точности знать дѣло, выражали сильныя сомнѣнія противъ вѣрности свѣдѣній, помѣщенныхъ въ Четьихъ Минеяхъ. Теперь они могутъ видѣть, что сомнѣнія ихъ были напрасны, или что по крайней мѣрѣ Святитель, съ своей стороны, сдѣлалъ слишкомъ много для перваго опыта, чтобы не имѣли права не довѣрять ему... Господь благословитъ, Господь подкрѣпитъ, Господь утѣшитъ васъ своею благодатію за святой трудъ вашъ" [105]).

Согласно съ историкомъ Русской Церкви, и Погодинъ съ полнымъ сочувствіемъ отнесся къ сочиненію молодого Троицкаго ученаго. „Мнѣ случилось прочесть изслѣдованіе о Св. Димитріѣ",—писалъ онъ,—„въ одно время съ сочиненіемъ *о Сюжерѣ*—и это одновременное чтеніе подало поводъ ко многимъ размышленіямъ, что такое духовное лицо въ Россіи — и на Западѣ; какое отношеніе духовенство имѣло къ государству въ Россіи, — и какое имѣло на Западѣ; о различіи между вѣроисповѣданіями; о различіяхъ въ Исторіяхъ: но я такъ много уже написалъ для этой книги *Москвитянина*, что долженъ отложить мои размышленія до слѣдующихъ, а здѣсь скажу только развѣ нѣсколько словъ. Св. Димитрій и Сюжеръ лица совершенно различныя, не сходныхъ характеровъ, жившіе въ періодахъ одинъ отъ другаго отдѣльныхъ, и Плутархъ не выбралъ бы ихъ для сравненія: а кто ближе къ Сюжеру по образу своей дѣятельности, или хоть по результатамъ?—Св. Алексій, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, въ другихъ—Сильвестръ. Сравнивъ нѣсколько лицъ можно бы дойти до любопытныхъ заключеній, и потому-то нельзя не сѣтовать на могильное безмолвіе нашихъ историковъ (и въ особенности

Грановскаго, какъ одного изъ самыхъ талантливыхъ), которые могли бы своими трудами освятить много Русскую Исторію. Но возвратимся къ Св. Димитрію. Это превосходное изслѣдованіе о незабвенномъ авторѣ Чети-Миней, но не его біографія; какъ изслѣдованіе, оно беретъ рѣшительный перевѣсъ надъ *Сюжеромъ*, какъ біографія—ниже его. Въ *Сюжерѣ* виденъ, болѣе или менѣе, живой человѣкъ, а здѣсь какъ будто видишь только святыя мощи! Авторъ всегда боится какъ будто сказать лишнее, и не говоритъ нужнаго, безпрестанно думаетъ о приличіи, какъ будто бъ всякая строка должна была имѣть характеръ догматическій или каноническій, оттого многое сжато, стѣснено, сухо. Да проститъ меня почтенный изслѣдователь, котораго уважаю глубоко, за откровенное выраженіе. Кого уважаешь, тому нельзя не говорить правды. Только посредственность обижается искренностію. Не понимаемъ также, чему приписать нѣсколько пробѣловъ и пропусковъ: какимъ образомъ, напримѣръ, не найдти въ изслѣдованіи ничего объ отношеніяхъ Св. Димитрія къ Петру Первому? Мы сожалѣемъ также, что авторъ, изслѣдуя источники Чети-Миней, уклонился отъ изслѣдованія о Житіяхъ Русскихъ святыхъ. Для насъ это было бы гораздо нужнѣе и полезнѣе, хотя, разумѣется, это дѣло трудно. Но какое богатство свѣдѣній, какая начитанность, какая основательность, отчетливость! Изслѣдованіе о Св. Димитріѣ принадлежитъ къ утѣшительнымъ явленіямъ нашей Литературы прошедшаго года. О, еслибъ явились подобныя о Стефанѣ Яворскомъ, Ѳеофанѣ, Лазарѣ Барановичѣ, Захаріѣ Копыстенскомъ, Исаіѣ Копинскомъ, Максимовичѣ, Голятовскомъ, Коссовѣ, Гизелѣ—а Петра Могилу далъ намъ уже достопочтенный А. В. Горскій".

Въ Древлехранилищѣ Погодина хранились двѣ любопытныя въ историческомъ отношеніи оды Хераскова. Одна изъ нихъ привѣтствуетъ вступленіе на престолъ императора Петра III, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Ода Его Императорскому Величеству Всепресвѣтлѣйшему Державнѣйшему Великому Государю Императору Петру Ѳеодоровичу, Само-*

держцу Всероссійскому, на всерадостнѣйшее восшествіе на престолъ. Приноситъ всеподданнѣйшій рабъ Михайло Херасковъ. 1762 года, Генваря « » дня. Печатана при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. Послѣдняя строфа гласитъ:

...А вы щастливыя науки!
Имѣете уже покровъ;
Петровы васъ пріемля руки,
Теперь пріемлетъ духъ Петровъ.
Намѣстникъ дѣлъ его владѣетъ!
Здѣсь лира силы не имѣетъ
Его достоинство гласить,
Воспойте музы всѣмъ Парнасомъ,
Дабы своимъ усерднымъ гласомъ
Приличны жертвы приносить.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вступаетъ на престолъ Екатерина II-я, и Херасковъ пишетъ другую оду, подъ заглавіемъ: *Ода Ея Императорскому Величеству, Всепресвѣтлѣйшей, Державнѣйшей Великой Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, Самодержицѣ Всероссійской, на всерадостнѣйшее восшествіе на престолъ.* Приноситъ всеподданнѣйшій рабъ Михайло Херасковъ, 1762 года, Іюля « » дня. Печатана при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. Въ этой одѣ мы, между прочимъ, читаемъ:

Цвѣти Россія, украшайся,
. . . . . .
Предъ Трономъ Божьимъ преклонись:
Пролей къ нему благодаренья,
Что внемля твой плачевный гласъ,
Тебя отъ бѣдства и паденья
Рукой Екатерины спасъ.
. . . . . .
Отверзи, о! Россія очи,
И отвратясь отъ мрачной ночи,
Воззри на радостный востокъ,
Гдѣ щастья общаго начало
Сквозь мрачны тучи возсіяло,
Гдѣ міръ цвѣтетъ, повергнувъ рокъ...

Библіографическое извѣстіе объ этихъ произведеніяхъ Хераскова Погодинъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ: Къ біографіи Хераскова и вмѣстѣ матеріалъ для Библіографіи*, съ по-

священіемъ: „Знаменитому Русскому библіографу и библіоману Сергію Дмитріевичу Полтарацкому“.

Отъ А. М. Кубарева, Погодинъ получилъ въ даръ оду Кострова, съ слѣдующимъ примѣчательнымъ посвященіемъ автора: „Стихи Святѣйшаго Правительствующаго Синода Конторы члену, Новоспасскаго Ставропигіальнаго монастыря высокопреподобнѣйшему господину отцу архимандриту Іоанну, которые въ чаяніи милостиваго благопризрѣнія и отеческаго милосердія къ несчастнымъ любителямъ наукъ, дерзаетъ принесть Вятской семинаріи ученикъ, Вобловицкой волости экономическій крестьянинъ Ермилъ Костровъ. Печатаны при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, 1773 года“. На основаніи этого посвященія, Погодинъ сдѣлалъ слѣдующее замѣчаніе: „По поводу Смирдинскаго изданія сочиненій Кострова, показалось въ Петербургскихъ журналахъ нѣсколько статей о нашемъ старомъ переводчикѣ Гомера. Въ одной изъ нихъ представляется сомнѣніе объ его происхожденіи. Можемъ увѣрить, что Костровъ принадлежалъ, безъ всякаго сомнѣнія, къ тому же почтенному сословію, какъ и Ломоносовъ, то-есть крестьянскому... Костровъ даже гордился этимъ происхожденіемъ“. Въ то же время подаренная Кубаревымъ ода „опровергаетъ также другія извѣстія Петербургскихъ статей, будто первое стихотвореніе Кострова относится къ 1778 году, на день коронованія императрицы Екатерины, и будто въ 1771 году, былъ онъ въ Московскомъ Университетѣ“.

Одинъ изъ сотрудниковъ *Москвитянина* почтенный Иванъ Купріяновичъ Купріяновъ, писалъ Погодину изъ Новгорода (29 декабря 1850 года): „Я думаю, что особенное вниманіе современнаго описателя Новгорода должно быть обращено на окрестности, прославленныя пребываніемъ замѣчательныхъ лицъ новѣйшей Исторіи: на этихъ-то мѣстностяхъ въ настоящее время еще можно уловить кой-какія черты исчезнувшихъ событій, подслушать говоръ отживающихъ современниковъ объ тѣхъ личностяхъ, которыми гордится и всегда будетъ гордиться Россія; а эти черты и этотъ говоръ, если не оши-

баюсь, даютъ Исторіи краски. Я разумѣю здѣсь мызу графа Сперанскаго, Хутынскій монастырь, гдѣ погребенъ незабвенный нашъ Державинъ, Званку, Грузино и др.".

„Еще одно почтенное имя присоединяется къ именамъ благодѣтелей и друзей Москвы, къ именамъ Голицыныхъ, Шереметевыхъ, Куракиныхъ, Демидовыхъ, Горихвостовыхъ, Голубковыхъ, Набилковыхъ, Крашенинниковыхъ,—имя Карабанова"!—Такъ писалъ Погодинъ по поводу выхода въ свѣтъ описанія *Русскаго Музея П. Ѳ. Карабанова* *). „Павелъ Ѳедоровичъ Карабановъ", — пишетъ далѣе Погодинъ,—„собиралъ впродолженіе пятидесяти слишкомъ лѣтъ разныя отечественныя достопримѣчательности, и составилъ наконецъ музей, во многихъ отношеніяхъ отличный. Музей этотъ онъ предоставилъ, испросивъ высочайшее соизволеніе, въ распоряженіе государя императора, августѣйшаго покровителя Археологіи. Сумму, всемилостивѣйше за него опредѣленную, назначилъ въ пользу богоугодныхъ заведеній въ Москвѣ. Прекрасный подвигъ! Сохранены драгоцѣнные памятники нашей древней жизни, обращены въ государственную собственность, на пользу науки, а цѣною ихъ одарена меньшая братія. Сколько вдругъ цѣлей, и какихъ высокихъ, благородныхъ, достигнуто! И нищій, и ученый, и всякій Русскій, въ особенности москвитянинъ, помянетъ и всегда будетъ поминать имя почтеннаго гражданина. О, еслибъ примѣръ его возбудилъ подражаніе! Есть еще много случаевъ дѣлать добро — въ пользу науки, искусства, національности, Москвы"!

Описаніе Карабановскаго Музея было сдѣлано молодымъ тогда ученымъ филологомъ, только что окончившимъ курсъ въ Московскомъ Университетѣ, Георгіемъ Дмитріевичемъ Филимоновымъ; но тогдашняя критика отнеслась къ труду молодого ученаго весьма строго.

Въ 1850 году, графъ Андрей Ѳедоровичъ Ростопчинъ открылъ въ Москвѣ *Ростопчинскую Галлерею*. „Изъ всѣхъ

*) Москва, 1849.

Европейскихъ городовъ",—писалъ по поводу этого общественнаго событія Погодинъ,—„въ одной Москвѣ нѣтъ картинной галлереи и публичной библіотеки. Даже губернскіе наши города имѣютъ въ этомъ отношеніи преимущество предъ нею. А книгъ, рукописей и картинъ въ Москвѣ много. Если бы рукописи и книги синодальныя, типографскія, архивскія, соборныя, помѣщались въ одномъ мѣстѣ, оставаясь впрочемъ собственностью означенныхъ мѣстъ, то въ ихъ совокупности образовалась бы богатѣйшая библіотека. Съ картинами это мудренѣе, потому что онѣ принадлежатъ частнымъ лицамъ (князю Голицыну, Мосолову, Тюрину, князю Оболенскому и проч. и проч.). Въ Прагѣ частныя лица собрали свои драгоцѣнности въ одно мѣсто, для публичнаго употребленія. Графъ Андрей Ѳедоровичъ Ростопчинъ, сынъ знаменитаго Московскаго градоначальника въ 1812 году, восполняетъ теперь отчасти этотъ недостатокъ, открывъ для публики богатѣйшее свое собраніе картинъ, и по первому скромному объявленію о томъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, толпы хлынули, не смотря на жестокій морозъ, 8 января, въ его новый, отлично устроенный домъ, на Садовой улицѣ (бывшій Небольсина). Дворяне, купцы, духовные, и даже двое крестьянъ, ходили по великолѣпнымъ заламъ и любовались изящными произведеніями искусства. Замѣтимъ, что не оказалось нигдѣ ни малѣйшаго поврежденія, все было чинно, благопристойно, степенно. Для художниковъ Галлерея открыта ежедневно, для публики — по воскресеньямъ, отъ 12 до 4 часовъ. Честь и слава владѣтелю сокровищъ, предлагающему ихъ съ такимъ радушіемъ для общественнаго наслажденія, поученія и употребленія.—Намъ обѣщано подробное описаніе Галлереи".

Въ ожиданіи этихъ описаній, Погодинъ счелъ полезнымъ сказать отъ себя нѣсколько словъ объ одной комнатѣ Ростопчинской Галлереи, имѣющей отношеніе къ предмету его занятій—Русской Исторіи. „Пройдемъ",—пишетъ онъ,—„туда скорѣе, по прекрасной, съ большимъ вкусомъ устроенной лѣстницѣ... Но вотъ, близъ дверей, два портрета вмѣстѣ, одинъ надъ

другимъ, предъ которыми нельзя не остановиться: портреты *Робеспьера и Наполеона*. Не правда ли, что въ ихъ соединеніи есть что-то Ростопчинское, есть что-то переносящее васъ въ незабвенную эпоху 1812 года, къ нашествію Французовъ, къ Московскому пожару, къ знаменитому градоначальнику и его афишкамъ? Хоть я человѣкъ новый (homo novus), но я люблю фамильныя преданія, я люблю мысли, переходящія изъ рода въ родъ,—къ сожалѣнію, у насъ внуки едва знаютъ по имени своихъ дѣдовъ, а ихъ мысли — но какія же у нихъ были мысли? раздается обыкновенно вопросъ вмѣсто отвѣта. Оставимъ пока вопросы и отвѣты въ покоѣ, и постоимъ еще минуты двѣ надъ портретами. Какъ извратились вообще понятія въ наше время въ Европѣ! Что осталось, въ чемъ бы согласны были всѣ? Какъ разнообразны и противоположны мнѣнія объ этихъ людяхъ! И между тѣмъ, это почти наши современники, которыхъ едва ли не всѣ шаги намъ извѣстны, и о которыхъ написана библіотека. Портретъ Наполеона, какъ портретъ, говоритъ мало — развѣ его глаза, ротъ и губы. У Робеспьера черты, кажется, предобрыя. Да, иное дѣло черты, свойства, иное — правила, и дѣйствія вслѣдствіе правилъ. Сколько ни писано прекраснаго о Французской революціи,—но эта страшная драма не исчерпана. Многаго не достаетъ и у Минье, и у Тьера, и у Ламартина,—и между прочимъ *біографо-психологическаго* анализа дѣйствующихъ лицъ. Едва ли кто опускался въ глубину! До сихъ поръ изображаются, лучше или хуже, живѣе или холоднѣе, одни внѣшнія явленія, причины третьи и четвертыя.

Но, поспѣшимъ, поспѣшимъ скорѣе къ нашей цѣли, — мимо Французскихъ поэтовъ, писанныхъ Ларжильеромъ (они пируютъ вмѣстѣ за городомъ, и навеселѣ съ горя сбираются топиться: Лафонтенъ, Мольеръ, Расинъ, Буало, Шаплэнь, Шолье и проч. А какое блистательное сборище!) Скорѣе, скорѣе, мимо зимы Павла Вернета и бури Іосифа Вернета! Скорѣе, скорѣе, мимо спящей красавицы Скіавоне, у которой

слетаетъ, кажется, дыханіе съ горячихъ устъ,—въ кабинетъ графа Андрея Ѳедоровича...

Здѣсь Русская Исторія—конецъ царствованія Екатерины II и царствованіе Павла, предъ глаза вамъ представится. Вотъ, по срединѣ комнаты—*она сама*, еще прекрасная, величественная, произведеніе славнаго Лампи (лицо). На противоположной стѣнѣ, въ богатой рамѣ, украшенной арматурою подъ короною, императоръ *Павелъ*, благодѣтель и другъ покойнаго графа, которому сей послѣдній былъ преданъ такъ искренно въ жизни и по смерти. Вотъ *Суворовъ*, для котораго графъ Ростопчинъ былъ всегдашнимъ посредникомъ и ходатаемъ, особенно въ славную Итальянскую кампанію, предъ императоромъ Павломъ. Превосходнѣйшій портретъ изъ всѣхъ мною видѣнныхъ. Вдали портретъ *Ермолова* (который получилъ Георгіевскій крестъ за Пражскій штурмъ подъ начальствомъ Суворова), съ надписью: первому, въ совѣтѣ на Филяхъ, подавшему голосъ о защитѣ Москвы. Вотъ *Румянцевъ*, предшественникъ Суворова и образецъ, герой Кагула и Куйчукъ-Кайнарджи. Вотъ графъ *Воронцовъ*, о которомъ Суворовъ писалъ Ростопчину, кажется, изъ-подъ Нови, намекая о своемъ желаніи имѣть Англійскій орденъ подвязки: „и Семенъ Романовичъ меня хвалитъ, а у меня чулки спустились“! Воронцова окружаютъ двое дѣтей: одинъ юноша, — это нынѣшній *князь Михаилъ Семеновичъ*, другая дѣвушка, его дочь—*Леди Пемброкъ*. Вотъ *Безбородко*, развалившійся въ креслахъ, предшественникъ Ростопчина въ управленіи иностранными дѣлами. Вотъ самъ *Ростопчинъ*, въ Мальтійскомъ мундирѣ, блѣдный, съ его широкимъ лбомъ, съ проницательными глазами, еще въ цвѣтѣ лѣтъ, работы *Тончи*, того Тончи, который сохранилъ намъ черты Державина, Тончи,—близкаго ко всѣмъ Русскимъ знаменитостямъ прошедшаго вѣка. Вотъ другой портретъ Ростопчина въ старости, работы *Кипренскаго*, съ надписью: безъ дѣла и безъ скуки, сижу поджавши руки. Вотъ его отецъ, Орловскій помѣщикъ-хозяинъ, его братъ, который погибъ на взорванномъ кораблѣ въ Шведскую войну.

Вотъ друзья Ростопчина: графъ *Н. И. Головинъ*, *Д. А. Новосильцовъ* и князь Павелъ Дмитріевичъ *Цицiановъ*. Изъ нихъ примѣчательнѣйшій есть *Цицiановъ*, главнокомандующій въ Грузіи, павшій жертвою своей неосторожности и дикаго вѣроломства горцевъ, подъ стѣнами Ганжи. Прочитавъ сотни писемъ графа *Головина*, я не нашелъ въ нихъ ничего примѣчательнаго. О *Новосильцовѣ* сказать можно еще меньше. Вѣроятно у Ростопчина были съ нимъ связи въ первой молодости. Изъ писемъ графа Семена Романовича *Воронцова* виденъ дипломатъ. Онъ показывалъ всегда большую приверженность къ Ростопчину, а Ростопчинъ его боготворилъ, воротясь изъ своего путешествія; но послѣ кончины императора Павла, ихъ отношенія, сколько я могу судить по письмамъ, охладѣли, по крайней мѣрѣ на нѣсколько времени. Замѣтимъ еще портретъ *Тончи* (прекрасная голова), имъ самимъ писанный, портретъ старой *графини*, работы *Кипренскаго*, нѣсколько лицъ изъ ея фамиліи *Протасовыхъ*, и портреты дѣтей нынѣшняго графа, писанныхъ въ Италіи лучшими мастерами. Въ этой комнатѣ есть еще примѣчательная вещь—это собраніе портретовъ изъ табакерокъ, даренныхъ покойному графу Ѳедору Васильевичу всѣми Европейскими государями. Здѣсь вы видите Англійскаго короля *Георга IV*, Французскаго короля *Людовика XVIII*, *Карла X*, Австрійскаго императора *Франца II*, брата его Венгерскаго палатина, короля Шведскаго *Бернадота* и пр. и пр. Наконецъ, посѣтитель долженъ обратить свое вниманіе на отличный и очень похожій бюстъ покойнаго графа Ѳедора Васильевича, работы Галленса, ученика Пигалева, — это примѣчательное произведеніе искусства, — и на собраніе копій въ миніатюрѣ съ нѣкоторыхъ отличныхъ произведеній Итальянской живописи: Милая Ченчи, Гвидо-Рени, Сибилла Доминикина, Святое Семейство Рафаэля, двѣ Аллегоріи Леонардо-да-Винчи и проч.

Я взялся подать какое-нибудь понятіе о кабинетѣ, но просимъ нашихъ художниковъ сказать скорѣе свое мнѣніе о

главныхъ картинахъ, дабы посѣтители имѣли хоть краткое руководство для обозрѣнія Галлереи".

XXIX.

8 января 1851 года, въ Петербургѣ праздновали пятидесятилѣтній юбилей службы стараго Арзамасца, графа Дмитрія Николаевича Блудова. Этотъ праздникъ имѣлъ характеръ домашній, а не оффиціальный; но онъ вызвалъ „воспоминанія о прошломъ". Тѣмъ не менѣе, современный лѣтописецъ дозволилъ себѣ нарушить скромность и сказалъ нѣсколько словъ о праздникѣ и для общаго свѣдѣнія. И мы съ благодарностью внимаемъ его повѣствованью.

„Имя графа Блудова", — пишетъ онъ, — „принадлежитъ Россіи, его заслуги тѣсно соединены съ государственною и литературною нашею жизнію:

Онъ другъ и братъ пѣвца Людмилы,
Онъ другомъ былъ Карамзина.

Литературныя воспоминанія должны были занимать не послѣднее мѣсто на праздникѣ, котораго цѣль заключалась въ томъ, чтобы воскресить прошлое, напомнить молодость тому, чье имя соединено съ послѣдними страницами безсмертнаго творенія Карамзина.

Вечеръ начался домашнимъ спектаклемъ. Сцена представляла комнату, въ которой собрались дѣйствующія лица, въ костюмахъ, какъ бы для репетиціи различныхъ пьесъ, приготовляемыхъ для домашняго спектакля. Между разговорами и приготовленіями повторили нѣсколько сценъ, одну за другою. Такъ, были разъиграны сцены изъ старой оперы Боельдье: *Ma tante Aurore* съ извѣстными куплетами: „non, ma niéce, vous n'aimez pas"; три первыхъ явленія изъ *Бригадира* Фонъ-Визина, нѣсколько сценъ изъ комедіи *Вертеръ* и наконецъ, та сцена изъ *Дмитрія Донскою*, въ которой Русскій воинъ разсказываетъ Ксеніѣ о пораженіи Мамая. Полнозвучные стихи Озерова, прекрасно произнесенные, произвели силь-

ное впечатлѣніе, и сами актеры, пользуясь тѣмъ, что они какъ бы только приготовляются къ настоящему представленію, просили воина произнесть и слова Дмитрія Донского, которыми оканчивается трагедія:

Но первый сердца долгъ Тебѣ, Царю царей,
Всѣ царства держатся десницею Твоей!
Прославь и укрѣпи и возвеличь Россію!
Какъ прахъ земной, сотри враговъ кичливыхъ выю,
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменникъ могъ:
Языки вѣдайте, великъ Онъ, Русскій Богъ!

Прекрасная игра дѣйствовавшихъ лицъ, изъ которыхъ многія съ замѣчательнымъ талантомъ исполнили свои роли, и выборъ самыхъ пьесъ не могли не произвести особеннаго дѣйствія. Всѣ пьесы принадлежали къ прошедшему времени, и напоминая графу Д. Н. Блудову его молодость, онѣ напомнили всѣмъ ту эпоху въ нашей Литературѣ, когда произведенія Фонъ-Визина еще были живы въ памяти, когда уже занялась заря новаго литературнаго дня—выступили на поприще дѣйствія Карамзинъ и Дмитріевъ—и трагедіи Озерова составляли явленія современныя.

Когда окончилось представленіе, на сцену вбѣжалъ молодой человѣкъ и, подавая письмо, сказалъ: „Я прямо изъ Арзамаса, то-есть, съ Карповки". Удрученный болѣзнями, графъ С. С. Уваровъ, носившій Арзамасское имя *Старушки*, писалъ юбиляру *(Кассандрѣ)*: „Съ развалинъ Арзамаса, отъ *Старушки*, удрученной недугомъ, поклонъ и радушное привѣтствіе давнишней подругѣ *Кассандрѣ Пріамовнѣ*, сидящей не на развалинахъ Трои, а въ кругу любимаго семейства и преданныхъ друзей. Старушка хотѣла бы включить въ эту грамотку всѣ воспоминанія юности, всѣ мечты минувшихъ дней, словомъ, отголосокъ тѣхъ забавныхъ и увлекательныхъ бесѣдъ, о коихъ забыли безмолвные берега Карповки; но тотъ, кто сидѣлъ впереди, умчался за *Свѣтланою*, бѣдная *Старушка* съ трудомъ владѣетъ стальнымъ, заморскимъ перомъ, ибо, говорятъ, что на рынкѣ не найдешь теперь ни одного перушка

Арзамасскаго, а въ привозѣ лишъ пухъ и потрохъ. Какъ все измѣнилось. Но вотъ что́ неизмѣнно: посмотрите съ умиленіемъ на этотъ кружокъ немногихъ уцѣлѣвшихъ отъ времени и бурь, какъ будто въ замѣну другихъ и смертію и жизнію похищенныхъ. Чѣмъ тѣснѣе кружокъ, тѣмъ чистосердечнѣе порывъ, его соединяющій, тѣмъ живѣе привязанность къ виновнику нашего собранія, тѣмъ признательнѣе мы должны быть Провидѣнію, дающему намъ на закатѣ дней способность наслаждаться вмѣстѣ и плодами полувѣковой опытности, и игрою фантазіи младенческой. Да будетъ сей день для насъ, стариковъ, пріятнымъ воспоминаніемъ молодости, а для окружающихъ насъ молодыхъ слушателей—новымъ побужденіемъ къ благороднымъ занятіямъ ума. Намъ, ветеранамъ, слѣдуетъ говорить младшимъ товарищамъ, что и въ нашу очередь, сбросивши шутливую оболочку Арзамасскую и собравшись нѣкогда около Карамзина, мы занимались дѣломъ, и онъ, какъ старшій братъ, съ кроткою улыбкою и яснымъ взоромъ, примѣромъ и совѣтами научалъ насъ трудиться, размышлять, писать. Счастливъ, кому дано было привязать свое имя къ послѣднимъ страницамъ его безсмертнаго творенія!

Извините, любезнѣйшій юбиляръ, если посланіе, начатое въ Арзамасѣ, невольно оканчивается Петербургомъ, посреди истинно васъ уважающихъ и любящихъ, въ числѣ коихъ я всегда занималъ и занимать буду, и подъ личиною Старушки и въ собственномъ видѣ, не послѣднее мѣсто".

Затѣмъ, лѣтописецъ сообщаетъ намъ краткую Исторію *Арзамаса*: „Вскорѣ послѣ трудовъ и подвиговъ *12-го года*, когда Россія уже наслаждалась плодами славнаго мира, въ Петербургѣ, подъ вліяніемъ того направленія, которое геній Карамзина произвелъ на развитіе нашей Словесности, молодыми писателями того времени было учреждено литературное Общество подъ названіемъ *Арзамасъ*. Карамзинъ считался его почетнымъ членомъ. Давая направленіе литературнымъ занятіямъ Общества, скромный и благодушный характеръ Карамзина не позволялъ ему высказывать того же авторитета

въ личныхъ отношеніяхъ съ молодыми писателями: онъ былъ первымъ между равными, старшимъ братомъ въ литературной ихъ семьѣ, въ которой занимали мѣсто: В. А. Жуковскій, К. Н. Батюшковъ, Д. В. Дашковъ, графъ С. С. Уваровъ, князь П. А. Вяземскій, А. С. Пушкинъ и др. Каждый членъ Общества назывался именемъ изъ балладъ Жуковскаго.

Послѣ чтенія письма Уварова, князь П. А. Вяземскій произнесъ стихи, которые послѣ были пропѣты:

Нашъ бойкій вѣкъ парйтъ и пáритъ,
Парáми гонитъ онъ и жжетъ,
Онъ жизнь торопитъ, время старитъ
И все кричитъ: впередъ, впередъ!

* * *

Что день, то новое начало,
Что день съ вчерашнимъ днемъ разрывъ,
И что всѣхъ утромъ волновало,
То къ вечеру сдано въ архивъ.

* * *

Дѣламъ и людямъ срокъ данъ малый;
Вчерашній геній, поглядишь,
Ужъ нынче олухъ запоздалый
И вѣкъ любимцу кажетъ шишь!

* * *

Преданій связь давно забыта,
Съ прошедшимъ справиться смѣшно,
И память на-глухо забита,
Какъ въ домѣ лишнее окно.

* * *

Одно въ умѣ нашъ вѣкъ имѣетъ,
Принявъ пословицу въ законъ:
Что кто о старомъ вспомнить смѣетъ
Тому глазъ должно вырвать вонъ.

* * *

Ты не таковъ, и слава Богу!
Глаза не выколешь ты намъ,
Когда на старую дорогу
Свернули къ старымъ мы друзьямъ.

* * *

Твой разумъ чуждъ предубѣжденья,
Не врагъ онъ доброй новинѣ:
Въ благихъ успѣхахъ просвѣщенья
Идешь ты съ вѣкомъ наравнѣ

* * *

Но старинѣ ты не измѣнникъ,
Не прилѣпляясь къ новизнамъ.
Ты не минутѣ современникъ,
Но современникъ всѣмъ вѣкамъ.

* * *

Ты въ памяти своей обширной
Хранишь преданья всѣхъ вѣковъ.
Любуясь выставкой всемірной
Всѣхъ дарованій и умовъ.

* * *

Фонъ-Визина ты шутки любишь,
И Озерова звучный стихъ.
Ты нынѣ лаской приголубишь,
Какъ сонъ и радость дней младыхъ.

* * *

Въ сей день, друзьямъ твоимъ любезный,
Когда во цвѣтѣ бодрыхъ силъ,
Ты жизни чистой и полезной
Полвѣка съ честью совершилъ.

* * *

Друзья сошлись въ твой кругъ семейный,
Чтобъ, безъ торжественныхъ затѣй,
Украсить пиръ твой юбилейный
Живой картиной прежнихъ дней.

* * *

Сложи трудовъ высокихъ бремя,
И, освѣжившись стариной,
Ты обочти скупое время
И сбрось полвѣка съ плечь долой.

* * *

Сей вечеръ—радости и дружбѣ!
Сей вечеръ съ нами отдохни,
А завтра труженикъ на службѣ
Полвѣка новые пачни.

Послѣ пѣнія этихъ стиховъ, князь П. А. Вяземскій прочелъ *Посланіе къ графу Д. Н. Блудову*, въ которомъ, между прочимъ, сказано:

Ты честью почести стяжалъ
Безъ посторонняго участья.
Ты запыхавшись не бѣжалъ
За прыткой колесницей счастья,
Чтобъ за подножку на авось
Рукою жадной уцѣпиться...

Посланіе заключается стихомъ:

Ты другъ и братъ пѣвцу Людмилы
Ты другомъ былъ Карамзина.

Ужинъ и тостъ за здоровье хозяина дома окончили вечеръ, орый надолго останется въ памяти всѣхъ въ немъ участво-шихъ [106]).

„Слышали ли вы“,—писалъ Плетневъ Погодину, 16 января 51 года,—„какъ родные и друзья графа Д. Н. Блудова, 8-го аря, отпраздновали пятидесятилѣтній юбилей его на службѣ? чего тутъ не было оффиціальнаго, потому что самъ графъ оятно и не зналъ, что онъ дожилъ до такого дня. Тутъ рамзины, Вяземскіе и всѣ чѣмъ нибудь связанные съ этимъ ействомъ, приготовили сюрпризы, чисто литературные. Пе-ъ юбиляромъ они разыграли Фонвизина *Бригадира*, сцены *Дмитрія Донского* Озерова; Вяземскій написалъ ему два лестныя стихотворенія, а графъ С. С. Уваровъ—отмѣнно стливое письмо, касательно Арзамасской эпохи, отъ *Ста-ики къ Кассандрѣ*“ [107]).

Юбилей графа Д. Н. Блудова возбудилъ во многихъ лю-ытство, а въ нѣкоторыхъ воспоминаніе о бывшемъ лите-рномъ кружкѣ, извѣстномъ подъ именемъ *Арзамаса*. Такъ, *Современникѣ* явились *Литературныя воспоминанія* графа С. Уварова, скрывшаго свое имя подъ иниціалами *А. В.* примѣчаніи Редакціи *Современника* къ этимъ *Воспоми-ямъ* мы читаемъ: „Хотя авторъ этой любопытной статьи елалъ выставить подъ нею своего имени, но, вѣроятно, іе изъ читателей узнаютъ въ немъ того, чье имя тѣсно но съ развитіемъ и успѣхами Русскаго Просвѣщенія въ іе многихъ лѣтъ и чьи труды пользуются заслуженнымъ еніемъ Европейскаго ученаго міра. Мы надѣемся, время ремени помѣщать въ нашемъ журналѣ продолженіе этихъ пытныхъ воспоминаній, которыя могутъ составить драго-ый матеріалъ для Исторіи Русской Литературы“ [108]).

По замѣчанію Плетнева, эти *Воспоминанія*, кромѣ любо-

пытныхъ указаній на домашнюю жизнь, нравы и отношенія писателей Русскихъ въ первой четверти нынѣшняго столѣтія, разрѣшаютъ вопросъ касательно вліянія частныхъ литературныхъ обществъ на развитіе и успѣхи языка и самое процвѣтаніе Словесности" [109]).

Юбилейный праздникъ графа Блудова возбудилъ воспоминанія о старинѣ и въ А. С. Стурдзѣ, и онъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* о *Бесѣдѣ* и *Арзамасѣ*. Препровождая статью свою Погодину, Стурдза писалъ ему: „Что если бы графъ Блудовъ и князь Вяземскій послушались наконецъ меня и заговорили также *о прошломъ*? Вѣдь послѣ смѣны отсталыхъ часовыхъ, мудрено будетъ попасть на слѣды снявшагося съ мѣста умственнаго ополченія". По поводу статьи Стурдзы, П. И. Мельниковъ писалъ Погодину: „Въ *Москвитянинѣ* идетъ рѣчъ объ Арзамасѣ—не потому ли названо этимъ именемъ общество то, что въ Арзамасѣ, а потомъ въ Нижнемъ Новгородѣ, въ эпоху 1812 г., собралось здѣсь общество литераторовъ подъ предсѣдательствомъ Карамзина? Здѣсь были: Батюшковъ, Нелединскій-Мелецкій, Бантышъ-Каменскій, В. Л. Пушкинъ, С. Н. Глинка. Они хотѣли-было издавать въ Нижнемъ журналъ. Если хотите, я сообщу кое что объ этомъ времени, по разсказамъ стариковъ".

XXX.

Лѣто 1851 года графъ Д. Н. Блудовъ съ своею дочерью, графинею Антониною Дмитріевною, проводили въ Москвѣ. 4 іюля, М. А. Дмитріевъ извѣщалъ Погодина: „Здѣсь графъ Блудовъ; былъ у него, но не засталъ; сейчасъ онъ сдѣлалъ мнѣ честь пріѣздомъ ко мнѣ, но голова болитъ ужасно, и я не могъ принять его". Съ своей стороны, и графиня А. Д. Блудова писала Погодину: „Не знаю, въ Москвѣ ли вы, или въ деревнѣ, и куда писать къ вамъ? Если эта записочка дойдетъ до васъ, и если вы въ городѣ, вы бы сдѣлали мнѣ большое удовольствіе, еслибъ пріѣхали къ намъ сегодня

(среда) или завтра вечеромъ, въ Петровскій, на дачу Наумовой, по дорогѣ въ Петровское-Разумовское. Мнѣ бы хотѣлось и поблагодарить васъ, и просить извиненія за неоконченное письмо, ни на что непохожее, которое вамъ долженъ былъ передать Александръ Николаевичъ Поповъ".

Съ этого времени начинается сближеніе Погодина съ графинею Блудовою, и онъ хотѣлъ посвятить ей своего *Владиміра Мономаха*. Взаимный интересъ къ Исторіи Россіи и къ Славянскому вопросу сближалъ ихъ. Въ Дневникѣ Погодина мы встрѣчаемъ такія записи: *3 апрѣля 1851*: „Писалъ Мономаха. Думалъ о графинѣ Блудовой. Не посвятить ли ей Мономаха? Спрошу Хомякова и Ростопчину. Прилично ли"? *18 августа*: „Умна и мила". Въ томъ же *Дневникѣ* читаемъ и такую отмѣтку: „Кажется, запоймалъ нѣкоторые взгляды. Неужели? Страшно. А мила. Думалъ все о Блудовой и иногда приходитъ въ голову, что Богъ устроитъ все какъ слѣдуетъ". Вмѣстѣ съ отцомъ, графиня Блудова посѣщаетъ Древлехранилище; при посредствѣ Погодина знакомится съ Садовскимъ; приглашаетъ его совершить поѣздку на Воробьевы горы. „Можете ли вы",—пишетъ она,—„сдѣлать мнѣ удовольствіе пріѣхать завтра въ $5^1/_2$ часовъ вечера на Воробьевы горы, тамъ, гдѣ трактиръ? Мы туда собираемся полюбоваться на видъ, и потомъ если вы возьметесь проводить насъ въ Нескучное, на то мѣсто, гдѣ, говорятъ, особенно хорошъ солнечный закатъ и котораго мы не умѣли найти"?

Живущіе въ Москвѣ Славяне пользовались особеннымъ вниманіемъ графини Блудовой. „Вы вѣроятно знаете",—писала она Погодину,—„адресъ этого молодого Болгарина, студента, о которомъ я вамъ говорила, который здѣсь ужъ года три. Можете ли вы ему дать знать, что Княжескій сказывалъ мнѣ, что онъ желаетъ съ нами познакомиться и что если онъ можетъ быть къ намъ въ понедѣльникъ вечеромъ, когда вы у насъ будете, надѣюсь, что вы не откажетесь представить его папенькѣ, а въ то же время чтеніе Садовскаго вѣроятно будетъ ему интересно". Самъ же Княжескій писалъ Погодину

(21 іюля 1851 года): „Нарочно направилъ путь свой чрезъ матушку Москву, дабы повидаться съ незабвенными благодѣтелями бѣдной Болгаріи и объяснить непріязненные слухи въ ея успѣхѣ по части образованія. Сокрушенъ былъ духомъ, не найдя васъ дома, нечего дѣлать, судьбѣ такъ было угодно. Прошу васъ не забывайте меня и моихъ соотечественниковъ, настанетъ скоро минута, въ которой, какъ въ зеркалѣ, откроются заслуги каждаго, и тогда безъ сомнѣнія любовь или ненависть умножатъ".

Впослѣдствіи (1 сентября 1852 г.), объ этомъ Княжескомъ, Хомяковъ писалъ Ю. Ѳ. Самарину: „Посылаю вамъ двѣсти рублей сер. для бѣднаго Княжескаго. Объ миссіонерахъ Русской мысли грѣхъ сказать, чтобы они обогощались, какъ говорятъ объ Англичанахъ. Въ барышахъ не будешь съ нашею проповѣдью. Бѣдный Княжескій! Сколько лишеній, сколько заботъ, трудовъ и пожертвованій, а какая же награда? Ни сочувствія, ни уваженія. Много-много, если кто взглянетъ на него съ тѣмъ сострадательнымъ почтеніемъ, которое внушаютъ юродивые. Впрочемъ, болѣе или менѣе мы всѣ въ этомъ похожи на Княжескаго, съ тою только разницею, что мы еще находимся подъ подозрѣніемъ злоумышленности".

Въ тоже время графиня Блудова пишетъ Погодину: „Когда пріѣдутъ Хомяковы, попросите отъ меня дозволеніе у Маріи Алексѣевны *) и Катерины Михайловны **) привезти къ нимъ Протича, котораго я уже познакомила съ Алексѣемъ Степановичемъ у насъ на дачѣ. Мнѣ бы хотѣлось, чтобъ онъ съ хорошимъ впечатлѣніемъ о Русскихъ выѣхалъ назадъ на родину, а онъ почти никого еще не знаетъ въ Москвѣ. Я писала и къ А. П. Ермолову, прося дозволенія или П. П. Писемскому, или вамъ привезти Протича и къ нему, но не знаю si cela l'arrangera. Спросите это у него при первомъ случаѣ, но Протичу не говорите заранѣе, чтобъ если что нибудь помѣшаетъ, оно бы не показалось обидно" [110]).

*) Мать Хомякова.
**) Жена Хомякова.

По настоянію графини А. Д. Блудовой, въ сентябрскомъ *Москвитянинѣ* была напечатана статья, подъ заглавіемъ *Объ Обще-Славянскомъ Литературномъ языкѣ* (Изъ Юго-Славянской газеты *Zudslavische Zeitung*). Печатая эту статью, Погодинъ замѣтилъ: „Вопросъ этотъ столько важенъ для Русской Литературы и столько близокъ сердцу *Москвитянина*, что мы съ живѣйшею радостію предоставляемъ ему первое мѣсто въ этой книгѣ, внѣ всѣхъ отдѣленій". Къ самой же статьѣ Погодинъ присовокупилъ: „Бывъ въ продолженіе пятнадцати лѣтъ въ самой короткой, болѣе или менѣе дружеской связи, со всѣми почти Славянскими корифеями, Шафарикомъ и Коляромъ, Копитаромъ и Ганкой, Караджичемъ и Пуркиней, Стоматовичемъ и Гаемъ, Мацѣевскимъ и Линде, я никогда никому не осмѣливался произносить одного слова о Русскомъ языкѣ, какъ общемъ литературномъ языкѣ для Словенъ, равно какъ и о Православномъ Исповѣданіи, общей для нихъ исторической религіи, ибо считалъ эти вопросы слишкомъ щекотливыми, слишкомъ связанными со всѣмъ существомъ всякаго человѣка образованнаго; и никогда не хотѣлъ ихъ касаться, чтобы не раздражать самолюбія, чтобъ не подать подозрѣнія въ пристрастіи,—развѣ въ разговорахъ со своими соотечественниками и въ статьяхъ для нихъ назначенныхъ; но вотъ эти вопросы возникаютъ сами собою, и не между корифеями, а въ массахъ Словянскихъ! Сила вещей сильнѣе всѣхъ силъ. Какая блистательная необозримая будущность! Счастливымъ себя считаю, что увидѣлъ хоть зарю ея прежде другихъ" [111]).

Подъ 16 августа 1851 года, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Вечеръ у Блудовыхъ. Очень пріятно. Графъ Сенъ-При—какой любезный Французъ. Замѣтна грусть среди его веселости". Вмѣстѣ съ графомъ Д. Н. Блудовымъ графъ Алексѣй Сенъ-При посѣтилъ Древлехранилище Погодина и, по свидѣтельству хозяина, „съ живѣйшимъ любопытствомъ осматривалъ его собранія". Для Погодина особенно пріятно было услышать изъ его устъ, при первомъ взглядѣ

на древнѣйшій образъ св. Георгія: „Это Норманскіе щиты и шлемы, такіе, какіе видны на Матильдиныхъ коврахъ въ Байе". Съ своей же стороны, Погодинъ замѣтилъ: „Щиты и мечи на образѣ св. Георгія совершенно подобны представленнымъ на картинахъ" Житія святыхъ князей страстотерпцевъ Бориса и Глѣба.

Черезъ недѣлю послѣ этого посѣщенія, графъ Сенъ-При заболѣлъ, а 15 сентября того же 1851 года, онъ скончался. Преждевременная кончина сія вызвала чувство жалости. Графиня Е. П. Ростопчина писала Погодину: „Вотъ что мнѣ, какъ заступницѣ *Москвитянина*, нужно довести до вашего свѣдѣнія: удивляются, что до сихъ поръ *нигдѣ не упомянуто* о смерти графа Сенъ-При, писателя и человѣка Европейски извѣстнаго и уважаемаго. Родившись въ Россіи, полу-Русскій по матери, онъ тоже принадлежитъ намъ, и мы бы должны почтить его память, изобразивъ хоть кратко учено-трудовую жизнь его, и смерть межъ нами, на поприщѣ новыхъ трудовъ и знаній:

Гдѣ колыбель его была,
Тамъ днесь его могила. —

Неужели вы ничего не скажете ни о той, ни о другой... До свиданья, Михаилъ Петровичъ, выздоравливайте поскорѣе".

Эти строки заставили Погодина написать о почившемъ слово воспоминанія и написанное онъ послалъ на цензуру графа А. П. Толстого, который, прочитавъ статью, писалъ ея автору: „Возвращаю вамъ, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, статью вашу нѣсколько исправленную не мною, а самимъ графомъ Сенъ-При (отцомъ покойнаго), который очень и очень благодаренъ вамъ и желалъ бы съ вами повидаться. А для того не согласитесь ли вы обязать и его, и насъ съ женой, и съ Н. В. Гоголемъ, пріѣхать послѣ завтра, т.-е., во вторникъ, къ намъ кушать (въ 4 часа)"?

Вслѣдъ за симъ, Погодинъ напечаталъ въ своемъ журналѣ слѣдующее: „*Москвитянинъ* обязанъ сообщить своимъ читателямъ печальное извѣстіе о кончинѣ графа Алексѣя

Сенъ-При, котораго сочиненіями нѣсколько разъ украшалось это изданіе.

Знаменитая фамилія графовъ Сенъ-При принадлежитъ Россіи вмѣстѣ съ Франціей. Три брата ихъ, вѣрные древнему престолу своихъ королей, оставили родину, вслѣдствіе ужасовъ революціи, и нашли себѣ у насъ второе отечество. Старшій вступилъ въ военную службу, и въ санѣ генералъ-адъютанта покойнаго государя палъ въ рядахъ Русскихъ воиновъ. Средній управлялъ Подоліей, и оставилъ тамъ до сихъ поръ признательную память, подобно своему соотечественнику, герцогу Ришелье, въ Новой Россіи. Меньшій — ратоборствуетъ во Франціи, во имя родового своего начала, отличаясь правдивостью и твердостью характера среди общей шаткости и непостоянства.

Графъ Алексѣй Сенъ-При, перъ Франціи, похищенный теперь смертію у отечества и литературы, былъ сыномъ средняго изъ трехъ братьевъ, женатаго на княжнѣ Голицыной. Онъ родился въ Россіи въ 1805 году, воспитывался въ Ришельевскомъ лицеѣ, и жилъ здѣсь до семнадцатилѣтняго возраста. Послѣ первой реставраціи, когда все семейство возвратилось во Францію, молодой Сенъ-При, кончивъ воспитаніе, служилъ по дипломатической части съ блестящимъ успѣхомъ, и въ концѣ своего служебнаго поприща занялъ мѣсто посланника въ Бразиліи, потомъ въ Португаліи, и наконецъ въ Даніи. Политическія обстоятельства перемѣнились, и онъ, удалясь отъ дѣлъ, предался Литературѣ. Его сочиненія, болѣе или менѣе обширныя, суть слѣдующія: о королевской власти, объ іезуитахъ (три изданія), о раздѣлѣ Польши, о покореніи Неаполя Карломъ д'Анжу, братомъ Людовика Святого, о герцогахъ Гизахъ. Самобытностью изслѣдованія, свѣтлостью мыслей, новыхъ и оригинальныхъ, любовью къ истинѣ, прекраснымъ слогомъ, онъ снискалъ себѣ вскорѣ почетное мѣсто между современными писателями, и Академія открыла ему свои двери. Ему случилось говорить похвальное слово вдругъ двумъ своимъ предмѣстникамъ, потому что послѣдній скон-

на древнѣйшій образъ св. Георгія: „Это Норманскіе щиты и шлемы, такіе, какіе видны на Матильдиныхъ коврахъ въ Байе“. Съ своей же стороны, Погодинъ замѣтилъ: „Щиты и мечи на образѣ св. Георгія совершенно подобны представленнымъ на картинахъ“ Житія святыхъ князей страстотерпцевъ Бориса и Глѣба.

Черезъ недѣлю послѣ этого посѣщенія, графъ Сенъ-При заболѣлъ, а 15 сентября того же 1851 года, онъ скончался. Преждевременная кончина сія вызвала чувство жалости. Графиня Е. П. Ростопчина писала Погодину: „Вотъ что мнѣ, какъ заступницѣ *Москвитянина*, нужно довести до вашего свѣдѣнія: удивляются, что до сихъ поръ *нигдѣ не упомянуто* о смерти графа Сенъ-При, писателя и человѣка Европейски извѣстнаго и уважаемаго. Родившись въ Россіи, полу-Русскій по матери, онъ тоже принадлежитъ намъ, и мы бы должны почтить его память, изобразивъ хоть кратко учено-трудовую жизнь его, и смерть межъ нами, на поприщѣ новыхъ трудовъ и знаній:

Гдѣ колыбель его была,
Тамъ днесь его могила. —

Неужели вы ничего не скажете ни о той, ни о другой... До свиданья, Михаилъ Петровичъ, выздоравливайте поскорѣе“.

Эти строки заставили Погодина написать о почившемъ слово воспоминанія и написанное онъ послалъ на цензуру графа А. П. Толстого, который, прочитавъ статью, писалъ ея автору: „Возвращаю вамъ, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, статью вашу нѣсколько исправленную не мною, а самимъ графомъ Сенъ-При (отцомъ покойнаго), который очень и очень благодаренъ вамъ и желалъ бы съ вами повидаться. А для того не согласитесь ли вы обязать и его, и насъ съ женой, и съ Н. В. Гоголемъ, пріѣхать послѣ завтра, т.-е., во вторникъ, къ намъ кушать (въ 4 часа)“?

Вслѣдъ за симъ, Погодинъ напечаталъ въ своемъ журналѣ слѣдующее: „*Москвитянинъ* обязанъ сообщить своимъ читателямъ печальное извѣстіе о кончинѣ графа Алексѣя

Сенъ-При, котораго сочиненіями нѣсколько разъ украшалось это изданіе.

Знаменитая фамилія графовъ Сенъ-При принадлежитъ Россіи вмѣстѣ съ Франціей. Три брата ихъ, вѣрные древнему престолу своихъ королей, оставили родину, вслѣдствіе ужасовъ революціи, и нашли себѣ у насъ второе отечество. Старшій вступилъ въ военную службу, и въ санѣ генералъ-адъютанта покойнаго государя палъ въ рядахъ Русскихъ воиновъ. Средній управлялъ Подоліей, и оставилъ тамъ до сихъ поръ признательную память, подобно своему соотечественнику, герцогу Ришелье, въ Новой Россіи. Меньшій — ратоборствуетъ во Франціи, во имя родового своего начала, отличаясь правдивостью и твердостью характера среди общей шаткости и непостоянства.

Графъ Алексѣй Сенъ-При, перъ Франціи, похищенный теперь смертію у отечества и литературы, былъ сыномъ средняго изъ трехъ братьевъ, женатаго на княжнѣ Голицыной. Онъ родился въ Россіи въ 1805 году, воспитывался въ Ришельевскомъ лицеѣ, и жилъ здѣсь до семнадцатилѣтняго возраста. Послѣ первой реставраціи, когда все семейство возвратилось во Францію, молодой Сенъ-При, кончивъ воспитаніе, служилъ по дипломатической части съ блестящимъ успѣхомъ, и въ концѣ своего служебнаго поприща занялъ мѣсто посланника въ Бразиліи, потомъ въ Португаліи, и наконецъ въ Даніи. Политическія обстоятельства перемѣнились, и онъ, удалясь отъ дѣлъ, предался Литературѣ. Его сочиненія, болѣе или менѣе обширныя, суть слѣдующія: о королевской власти, объ іезуитахъ (три изданія), о раздѣлѣ Польши, о покореніи Неаполя Карломъ д'Анжу, братомъ Людовика Святого, о герцогахъ Гизахъ. Самобытностью изслѣдованія, свѣтлостью мыслей, новыхъ и оригинальныхъ, любовью къ истинѣ, прекраснымъ слогомъ, онъ снискалъ себѣ вскорѣ почетное мѣсто между современными писателями, и Академія открыла ему свои двери. Ему случилось говорить похвальное слово вдругъ двумъ своимъ предмѣстникамъ, потому что послѣдній скон-

чался до принятія: это былъ случай, кажется, единственный въ лѣтописяхъ Академіи, и новый академикъ исполнилъ свою обязанность съ такою ловкостью, что заслужилъ общее одобреніе. Читатели *Москвитянина* знакомы съ нѣкоторыми изъ его произведеній; статья о Гизахъ, переведенная однимъ изъ опытнѣйшихъ нашихъ литераторовъ, помѣщена была у насъ недавно почти вполнѣ.

Въ нынѣшнемъ году, послѣ тридцатилѣтняго отсутствія, пріѣхалъ онъ въ Россію по частнымъ дѣламъ своимъ, и былъ принятъ съ особеннымъ радушіемъ и уваженіемъ во всѣхъ кругахъ, начиная отъ высшаго до низшаго. Ему очень пріятна была такая встрѣча; дѣтскія воспоминанія въ мѣстахъ, гдѣ онъ родился и воспитывался доставляли ему удовольствіе самое живое; онъ былъ очень веселъ, радовался всѣмъ слѣдамъ давно прошедшаго времени, отъискивалъ старыхъ знакомыхъ и ровесниковъ, сообщалъ имъ свои литературныя намѣренія (особенно хотѣлось ему кончить поскорѣе большое сочиненіе свое о Вольтерѣ, гдѣ онъ надѣялся сказать много новаго), думалъ о живомъ, о жизни, а смерть уже закралась въ его тѣло. Онъ занемогъ. Болѣзнь казалась незначительною, однакожъ съ самаго начала онъ почувствовалъ и сказалъ, что не избавится отъ нея. Въ самомъ дѣлѣ, она усиливалась день ото дня; больной началъ страдать, перенося свои страданія съ твердостью и спокойствіемъ, хотя мысль о дальнихъ милыхъ должна была преогорчать его душу еще больше болѣзни. Три дня болѣзнь какъ будто бы ослабила свои нападенія. Эти три дня больной посвятилъ Богу, и провелъ ихъ въ безпрерывной бесѣдѣ съ священникомъ, исповѣдовался и пріобщился Св. Таинъ. „Теперь я совсѣмъ спокоенъ и доволенъ“,—успѣлъ онъ сказать неутѣшному отцу, который былъ одинъ при немъ изъ всего семейства... Нечего описывать горесть старца, при потерѣ единственнаго сына... Чрезъ нѣсколько минутъ послѣ сказанныхъ словъ, начался бредъ, и чрезъ восемь дней его не стало, сентября 15-го дня, 1851 года.

Почтимъ память достойнаго писателя, благороднаго человѣка, почтеннаго гражданина, почтимъ передъ его соотечественниками, выраженіемъ нашего сердечнаго участія, искренняго уваженія и должной признательности.

Покойный былъ женатъ на графинѣ де ла-Гишъ и оставилъ сына Егора, 15 лѣтъ, и двухъ дочерей, Софію и Елизавету; изъ нихъ одна замужемъ за графомъ Клермонъ-Тоннеромъ, а другая—за графомъ Даркуромъ".

Прочитавъ эту статью, отецъ почившаго писалъ Погодину: „Я вамъ чувствительно благодаренъ за памятникъ, который вы благоволили поставить моему покойному сыну; онъ останется для меня и моего семейства драгоцѣннымъ залогомъ, благосклонныхъ чувствъ къ нему, отъ его соотечественниковъ; ибо, вы, милостивый государь, въ томъ не ошиблись, полагаю, что мы, и всѣ тѣ, которые наше имя носятъ, почитали всегда благодѣтельную Россію своимъ вторымъ отечествомъ. Я знаю навѣрно, что еслибы покойной мой сынъ остался живымъ, то онъ былъ намѣренъ посвятить талантъ, который онъ отъ природы получилъ, на какое-либо сочиненіе, относящееся къ чести и славѣ его втораго отечества. Но Богъ не позволилъ, чтобъ онъ могъ исполнить такое благородное намѣреніе. Намъ только предоставлено сожалѣть и повиноваться. Пользуюсь симъ, хотя горестнымъ, случаемъ, васъ паки увѣрить въ моемъ совершенномъ почтеніи и преданности, съ коими имѣю честь пребыть навсегда..."

По возвращеніи въ Петербургъ, графиня А. Д. Блудова писала Погодину: „Графъ Д. А. Толстой вамъ кланяется, а великая княгиня Екатерина Михайловна еще намедни говорила мнѣ объ удовольствіи, съ которымъ смотритъ на ваши старинные образки и крестики" [112]).

XXXI.

По свидѣтельству Погодина, Московскій Университетъ въ 1851 году торжествовалъ день своего основанія, 12 января,

чался до принятія: это былъ случай, кажется, единственный въ лѣтописяхъ Академіи, и новый академикъ исполнилъ свою обязанность съ такою ловкостью, что заслужилъ общее одобреніе. Читатели *Москвитянина* знакомы съ нѣкоторыми изъ его произведеній; статья о Гизахъ, переведенная однимъ изъ опытнѣйшихъ нашихъ литераторовъ, помѣщена была у насъ недавно почти вполнѣ.

Въ нынѣшнемъ году, послѣ тридцатилѣтняго отсутствія, пріѣхалъ онъ въ Россію по частнымъ дѣламъ своимъ, и былъ принятъ съ особеннымъ радушіемъ и уваженіемъ во всѣхъ кругахъ, начиная отъ высшаго до низшаго. Ему очень пріятна была такая встрѣча; дѣтскія воспоминанія въ мѣстахъ, гдѣ онъ родился и воспитывался доставляли ему удовольствіе самое живое; онъ былъ очень веселъ, радовался всѣмъ слѣдамъ давно прошедшаго времени, отъискивалъ старыхъ знакомыхъ и ровесниковъ, сообщалъ имъ свои литературныя намѣренія (особенно хотѣлось ему кончить поскорѣе большое сочиненіе свое о Вольтерѣ, гдѣ онъ надѣялся сказать много новаго), думалъ о живомъ, о жизни, а смерть уже закралась въ его тѣло. Онъ занемогъ. Болѣзнь казалась незначительною, однакожъ съ самаго начала онъ почувствовалъ и сказалъ, что не избавится отъ нея. Въ самомъ дѣлѣ, она усиливалась день ото дня; больной началъ страдать, перенося свои страданія съ твердостью и спокойствіемъ, хотя мысль о дальнихъ милыхъ должна была преогорчать его душу еще больше болѣзни. Три дня болѣзнь какъ будто бы ослабила свои нападенія. Эти три дня больной посвятилъ Богу, и провелъ ихъ въ безпрерывной бесѣдѣ съ священникомъ, исповѣдовался и пріобщился Св. Таинъ. „Теперь я совсѣмъ спокоенъ и доволенъ“,—успѣлъ онъ сказать неутѣшному отцу, который былъ одинъ при немъ изъ всего семейства... Нечего описывать горесть старца, при потерѣ единственнаго сына... Чрезъ нѣсколько минутъ послѣ сказанныхъ словъ, начался бредъ, и чрезъ восемь дней его не стало, сентября 15-го дня, 1851 года.

Почтимъ память достойнаго писателя, благороднаго человѣка, почтеннаго гражданина, почтимъ передъ его соотечественниками, выраженіемъ нашего сердечнаго участія, искренняго уваженія и должной признательности.

Покойный былъ женатъ на графинѣ де ла-Гишъ и оставилъ сына Егора, 15 лѣтъ, и двухъ дочерей, Софію и Елизавету; изъ нихъ одна замужемъ за графомъ Клермонъ-Тоннеромъ, а другая—за графомъ Даркуромъ".

Прочитавъ эту статью, отецъ почившаго писалъ Погодину: „Я вамъ чувствительно благодаренъ за памятникъ, который вы благоволили поставить моему покойному сыну; онъ останется для меня и моего семейства драгоцѣннымъ залогомъ, благосклонныхъ чувствъ къ нему, отъ его соотечественниковъ; ибо, вы, милостивый государь, въ томъ не ошиблись, полагаю, что мы, и всѣ тѣ, которые наше имя носятъ, почитали всегда благодѣтельную Россію своимъ вторымъ отечествомъ. Я знаю навѣрно, что еслибы покойной мой сынъ остался живымъ, то онъ былъ намѣренъ посвятить талантъ, который онъ отъ природы получилъ, на какое-либо сочиненіе, относящееся къ чести и славѣ его втораго отечества. Но Богъ не позволилъ, чтобъ онъ могъ исполнить такое благородное намѣреніе. Намъ только предоставлено сожалѣть и повиноваться. Пользуюсь симъ, хотя горестнымъ, случаемъ, васъ паки увѣрить въ моемъ совершенномъ почтеніи и преданности, съ коими имѣю честь пребыть навсегда..."

По возвращеніи въ Петербургъ, графиня А. Д. Блудова писала Погодину: „Графъ Д. А. Толстой вамъ кланяется, а великая княгиня Екатерина Михайловна еще намедни говорила мнѣ объ удовольствіи, съ которымъ смотритъ на ваши старинные образки и крестики" [112]).

XXXI.

По свидѣтельству Погодина, Московскій Университетъ въ 1851 году торжествовалъ день своего основанія, 12 января,

такъ, какъ не торжествовался онъ никогда: къ нему присоединенъ былъ *актъ*, т.-е., заключеніе учебнаго года. Нельзя не одобрить вполнѣ этого соединенія. Неудобство здѣсь только одно: студенты, кончившіе курсъ ученія въ маѣ, не могутъ дожидаться своихъ дипломовъ полгода, и слѣдовательно, будутъ разъѣзжаться во всѣ стороны, на службу, или по домамъ, на родину, не участвуя въ актѣ. Но если учебный годъ будетъ оканчиваться декабремъ, вмѣсто прежняго мая, тогда и это неудобство отстранится, и самымъ приличнымъ днемъ для акта сдѣлается 12 января—университетскій праздникъ во всѣхъ отношеніяхъ. Въ нѣкоторыхъ университетахъ учебный годъ уже и теперь оканчивается декабремъ, вмѣстѣ съ гражданскимъ.

Литургія была совершена высокопреосвященнымъ митрополитомъ Филаретомъ соборнѣ. Присутствовавшіе имѣли удовольствіе увидѣть въ университетской церкви много предметовъ новыхъ и великолѣпныхъ: богатыя ризы алаго яркаго бархата, устроенныя на иждивеніе Правленія; новое напрестольное Евангеліе, въ позлащенномъ окладѣ, — приношеніе профессоровъ; образъ, написанный по усердію студентовъ. Знаменитый архипастырь, неутомимый въ проповѣданіи слова Божія. произнесъ поучительное слово. Предметомъ его было— совершенно неожиданное сближеніе мученичества съ мудростію и просвѣщеніемъ".

„Въ обители высшихъ знаній",—началъ Владыка,—„и слѣдовательно, можно сказать, въ обители мудрости, празднуемъ праздникъ святыя Мученицы. Есть ли какое отношеніе между обителію знаній и мученицею, между мудростію и мученичествомъ?...

...Отвѣтствую: есть. Мученикъ есть сынъ мудрости, и уже не младенчествующій. Мученичество есть родъ мудрости, и очень не низкій..."

При этомъ Владыка приводитъ слова Христа Спасителя своимъ послѣдователямъ: *Возложатъ на вы руки своя, и ижденутъ, предающе на сонмища и темницы ведомы къ царемъ*

и владыкамъ, имени моего ради... Азъ бо дамъ вамъ уста и премудрость, ей же не возмогутъ противитися или отвѣщати вси противляющіися вамъ...

И такъ, Онъ мученикамъ далъ, и они имѣютъ, *премудрость*, побѣдоносную надъ всѣмъ, что ей противоборствуетъ". Далѣе, Владыка замѣчаетъ: „Жребій мученичества не для всѣхъ; но мученическая мудрость не для однихъ мучениковъ. Она спасла и прославила ихъ, и свѣтитъ всѣмъ на пути истины и спасенія"; а потому проповѣдникъ, обращаясь къ своимъ слушателямъ, взываетъ: „Не пройди мимо сего свѣта безъ вниманія, кто бы ты ни былъ, ищущій путей мудрости, или только въ простотѣ ходящій". Приступая къ опредѣленію сего рода мудрости, которая „исходитъ отъ высокаго начала, поелику исходитъ отъ Христа: *Азъ дамъ вамъ уста и премудрость*", проповѣдникъ сказалъ, что „для разсужденія о семъ, не думаю прибѣгнуть къ руководству тѣхъ любомудрыхъ, которые, въ виду премудрости Христовой, независимо отъ нея столько разъ предпринимали построить всеобъемлющую науку; но разрушали созданіе одинъ другаго, и не оставили даже плана, благонадежнаго и общепріемлемаго, для предполагаемаго построенія. Обращусь къ любомудрію старому, но не лишенному силы: нѣтъ нужды, что устарѣлымъ покажется оно предъ тѣми, которые проповѣдуютъ безконечное движеніе къ новому, т.-е. плаваніе безъ пристани, стремленіе безъ цѣли. *Книга Премудрости* изображаетъ премудрость слѣдующими главными чертами: *иѣломудрію и разуму учитъ, правдѣ и мужеству, ихже потребнѣе ничтоже есть въ житіи человѣкомъ* (*Прем.* VII, 7). И вотъ, черты премудрости, которыя прекрасно и величественно свѣтятъ въ словахъ, дѣяніяхъ и страданіяхъ мучениковъ Христіанскихъ".

Заключительными словами Владыки были: „*Христе, Божія сила и Божія премудрость* (*1 Кор.* 1, 24). Молитвами и примѣрами Святыхъ Твоихъ мучениковъ поучай, и научи насъ премудрости, не той, которую ты *обуилъ* и *обуеваешь* за ея гордость и суету, но той, которая первѣе убо *чиста*

есть, потомъ же мирна, кротка, благопокорлива, исполнь милости и плодовъ благихъ, несумнѣнна и нелицемѣрна (Iак. III, 17), Аминь" [113]).

Въ тотъ же день Филаретъ писалъ своему Лаврскому намѣстнику Антонію: „Сегодня я былъ въ Университетѣ на праздникѣ тамошняго храма. Литургія и молебенъ совершалъ, а отъ акта университетскаго, по изнеможенію, уѣхалъ" [114]).

Вскорѣ послѣ того, А. О. Смирнова посѣтила Филарета и о своемъ посѣщеніи (18 января 1851 г.) писала Гоголю: „Утѣшительный также нашъ кроткій и мудрый пастырь Филаретъ; вчера я просидѣла у него вечеръ и не могла нарадоваться его рѣчи, всегда простой, тихой и успокаивающей. Онъ мнѣ далъ совѣтъ прибѣгнуть къ соборованію св. елеемъ, противъ нервическаго моего разстройства, и я послѣдую его совѣту. Какъ онъ всегда прекрасенъ въ службѣ, особенно литургіи, какъ онъ весь въ молитвѣ и въ созерцаніи. Истинно онъ премудрый пастырь церкви" [115]).

Между тѣмъ, актъ университетскій шелъ своимъ порядкомъ, и происходилъ, по обычаю, въ старой большой залѣ. „Публики",—свидѣтельствуетъ Погодинъ,—„лѣтъ уже двадцать не было столь многочисленной. Всѣ Московскія власти почтили Университетъ своимъ посѣщеніемъ. Ораторами были профессоры Спасскій и Басовъ, принадлежащіе къ Московскимъ извѣстностямъ, каждый по своей части: Спасскій, — какъ метеорологъ, Басовъ, — какъ хирургъ. Мы замѣтимъ, впрочемъ, что университетскія рѣчи, при перемѣнѣ отношеній науки къ публикѣ, и публики къ наукѣ, должны также подвергнуться перемѣнамъ. Содержаніе, и даже произношеніе ихъ должны имѣть цѣлію привлечь вниманіе *слушающей* публики (не только читающей), и слѣдовательно, принять новый характеръ. Въ ораторскомъ отношеніи пальма принадлежитъ Шевыреву, который, сообщивъ отчетъ о состояніи Университета, произнесъ Европейски-благодарственную рѣчь къ посѣтителямъ. Праздникъ

окончился роскошнымъ завтракомъ, въ коемъ принимали участіе посѣтители, профессоры, студенты, угощенные г. Попечителемъ. Старый Университетъ имѣлъ въ этотъ день еще и другихъ гостей—отличныхъ воспитанниковъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, т.-е. корпусовъ и гимназій. Это явленіе также новое и заслуживающее всякой хвалы. Всѣ учебныя заведенія находятся въ родственной связи съ Университетомъ, получая отъ него почти всѣхъ своихъ учителей".

Вскорѣ послѣ акта, дошло до Погодина ложное извѣстіе о кончинѣ супруги попечителя Московскаго учебнаго округа, за что онъ и получилъ отъ Шевырева дружескій нагоняй. „Вотъ что значитъ",—писалъ онъ,—„жить въ захолустьѣ и не видаться съ людьми! — Мы сидимъ за столомъ, какъ вдругъ, входитъ Митя *) твой съ извѣстіемъ, что Назимова умерла вчера ночью и что это совершенно вѣрно. Я испугался, но извѣстіе показалось мнѣ крайне сомнительнымъ, потому что вчера ей было гораздо лучше, и въ 4-мъ часу оставилъ я Владиміра Ивановича совершенно спокойнымъ; сегодня былъ въ Университетѣ, видѣлся съ ректоромъ, инспекторомъ и деканомъ медицинскаго факультета и не слыхалъ ничего подобнаго, — и наконецъ потому еще, что изъ словъ Мити видѣлъ, что ты вовсе и не зналъ объ ея болѣзни, а она была уже сильно больна еще 12-го января. Все-таки отправилъ немедленно человѣка узнать объ здоровьѣ — выходитъ, что *сегодня слава Богу ей еще гораздо лучше*. Откуда ты получаешь эти чудовищныя извѣстія — помилуй"! [116]).

Торжественно отпраздновавъ день святыя Великомученицы Татьяны, Московскій Университетъ открылъ публичныя лекціи. Онѣ начались съ 20 января, продолжались до 31 марта. Читались онѣ въ слѣдующимъ порядкѣ: января 20, 23 и 27, читалъ профессоръ Гейманъ: *О четырехъ стихіяхъ древнихъ, въ отношеніи физическомъ, химическомъ и*

---

*) Старшій сынъ Погодина.

физіологическомъ. Января 30, февраля 3 и 6-го, читалъ профессоръ Рулье: *О жизни животнаго, по отношенію къ внѣшнимъ условіямъ.* Февраля 10, 13, 27, марта 3, читалъ профессоръ Соловьевъ: *Исторію установленія государственнаго порядка въ Русской землѣ до Петра Великаго.* Марта 6, 10, 13, 17, читалъ профессоръ Грановскій: *Характеристики Тамерлана, Александра Великаго, Людовика IX, Бекона.* Марта 20, 24, 27, 31, читалъ профессоръ Шевыревъ: *Очеркъ Исторіи Итальянской живописи, сосредоточенный въ Рафаэлѣ и его произведеніяхъ.*

Предъ началомъ лекцій, въ органѣ Университета, *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, было между прочимъ напечатано: „Ни одно сколько-нибудь важное ученое явленіе не проходитъ въ Москвѣ незамѣченнымъ, и поэтому Университетъ, какъ представитель науки, соединенъ неразрывными узами съ обществомъ. Приглашаетъ ли онъ друзей отечественнаго просвѣщенія на торжественный актъ въ день своего основанія, объявляетъ ли объ ученомъ диспутѣ, о публичныхъ лекціяхъ, или, во имя добра, открываетъ свои двери для искусства: всегда отвѣтомъ на это приглашеніе общее сочувствіе. Огромная зала Университета едва вмѣщаетъ въ себѣ многочисленныхъ посѣтителей; здѣсь видны и заслуга, и слава, и умъ, и красота, и богатство. Такъ какъ сборъ за лекціи назначенъ для цѣли благотворительной, то всякая сумма выше опредѣленной принимается какъ выраженіе участія къ доброму дѣлу. Можно было предвидѣть, что Московское общество не откажется внять этому призыву, и дѣйствительно, нѣкоторыя лица жертвовали за билетъ на лекціи гораздо выше назначенной платы. Въ числѣ ихъ съ радостію видимъ имена: нашего достойнаго градоначальника графа Арсенія Андреевича Закревскаго, котораго Москва привыкла встрѣчать въ началѣ всякаго добраго дѣла, и князя Сергія Михайловича Голицына, просвѣщенную попечительность котораго, какъ своего бывшаго начальника, Московскій Университетъ доселѣ вспоминаетъ съ признательностью. Кромѣ того,

послѣдовали значительныя приношенія отъ Николая Гавриловича Рюмина, Константина Павловича Нарышкина, Виктора Ѳедоровича Базилевскаго и другихъ“ [117]).

Изъ читанныхъ публичныхъ лекцій Погодинъ обратилъ особенное вниманіе на лекціи Соловьева, Грановскаго и Шевырева. Когда Соловьевъ окончилъ свои публичныя лекціи, то П. Н. Кудрявцевъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* посвятилъ имъ цѣлую статью, по поводу которой Погодинъ писалъ: „15 марта помѣщена въ газетахъ прекрасная статья Кудрявцева о публичныхъ лекціяхъ профессора Соловьева. Она заставила меня искренно пожалѣть, что мнѣ не случилось быть свидѣтелемъ ученаго тріумфа, который, по свидѣтельству такого надежнаго судьи, какъ Кудрявцевъ, былъ блистательный, и совершенно соотвѣтствовалъ блистательному и необыкновенному разрѣшенію всѣхъ задачъ Русской Исторіи ученымъ профессоромъ. Искренно сожалѣю, повторяю, что не могъ присоединить своего голоса къ публикѣ и Кудрявцева. Какой былъ курсъ, судя по этой статьѣ“! [118]). Но, по отзыву В. П. Боткина, Соловьевъ „прочелъ неудачно: онъ не имѣетъ дара слова и говоритъ утомительно“ [119]).

XXXII.

Въ мартѣ 1851 года, Московское общество въ послѣдній разъ слышало публичныя чтенія Т. Н. Грановскаго.

„Никакой Нибуръ, никакой Шлецеръ“, — писалъ Погодинъ, — „не можетъ въ настоящую минуту Русскаго образованія принесть для Исторіи столько пользы публикѣ, обществу, какъ Грановскій: онъ можетъ именно возбудить ея любопытство, показавъ науку съ привлекательной для нея стороны, и тѣмъ содѣйствовать къ водворенію и распространенію историческихъ знаній, какихъ у насъ нѣтъ въ общемъ оборотѣ, ибо тетрадки, выносимыя студентами, забываются впродолженіи первыхъ десяти лѣтъ, или менѣе, по окончаніи курса, и

физіологическомъ. Января 30, февраля 3 и 6-го, читалъ профессоръ Рулье: *О жизни животнаго, по отношенію къ внѣшнимъ условіямъ*. Февраля 10, 13, 27, марта 3, читалъ профессоръ Соловьевъ: *Исторію установленія государственнаго порядка въ Русской землѣ до Петра Великаго*. Марта 6, 10, 13, 17, читалъ профессоръ Грановскій: *Характеристики Тамерлана, Александра Великаго, Людовика IX, Бекона*. Марта 20, 24, 27, 31, читалъ профессоръ Шевыревъ: *Очеркъ Исторіи Итальянской живописи, сосредоточенный въ Рафаэлѣ и его произведеніяхъ*.

Предъ началомъ лекцій, въ органѣ Университета, *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, было между прочимъ напечатано: „Ни одно сколько-нибудь важное ученое явленіе не проходитъ въ Москвѣ незамѣченнымъ, и поэтому Университетъ, какъ представитель науки, соединенъ неразрывными узами съ обществомъ. Приглашаетъ ли онъ друзей отечественнаго просвѣщенія на торжественный актъ въ день своего основанія, объявляетъ ли объ ученомъ диспутѣ, о публичныхъ лекціяхъ, или, во имя добра, открываетъ свои двери для искусства: всегда отвѣтомъ на это приглашеніе общее сочувствіе. Огромная зала Университета едва вмѣщаетъ въ себѣ многочисленныхъ посѣтителей; здѣсь видны и заслуга, и слава, и умъ, и красота, и богатство. Такъ какъ сборъ за лекціи назначенъ для цѣли благотворительной, то всякая сумма выше опредѣленной принимается какъ выраженіе участія къ доброму дѣлу. Можно было предвидѣть, что Московское общество не откажется внять этому призыву, и дѣйствительно, нѣкоторыя лица жертвовали за билетъ на лекціи гораздо выше назначенной платы. Въ числѣ ихъ съ радостію видимъ имена: нашего достойнаго градоначальника графа Арсенія Андреевича Закревскаго, котораго Москва привыкла встрѣчать въ началѣ всякаго добраго дѣла, и князя Сергія Михайловича Голицына, просвѣщенную попечительность котораго, какъ своего бывшаго начальника, Московскій Университетъ доселѣ вспоминаетъ съ признательностью. Кромѣ того,

послѣдовали значительныя приношенія отъ Николая Гавриловича Рюмина, Константина Павловича Нарышкина, Виктора Ѳедоровича Базилевскаго и другихъ“ [117]).

Изъ читанныхъ публичныхъ лекцій Погодинъ обратилъ особенное вниманіе на лекціи Соловьева, Грановскаго и Шевырева. Когда Соловьевъ окончилъ свои публичныя лекціи, то П. Н. Кудрявцевъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* посвятилъ имъ цѣлую статью, по поводу которой Погодинъ писалъ: „15 марта помѣщена въ газетахъ прекрасная статья Кудрявцева о публичныхъ лекціяхъ профессора Соловьева. Она заставила меня искренно пожалѣть, что мнѣ не случилось быть свидѣтелемъ ученаго тріумфа, который, по свидѣтельству такого надежнаго судьи, какъ Кудрявцевъ, былъ блистательный, и совершенно соотвѣтствовалъ блистательному и необыкновенному разрѣшенію всѣхъ задачъ Русской Исторіи ученымъ профессоромъ. Искренно сожалѣю, повторяю, что не могъ присоединить своего голоса къ публикѣ и Кудрявцева. Какой былъ курсъ, судя по этой статьѣ“! [118]). Но, по отзыву В. П. Боткина, Соловьевъ „прочелъ неудачно: онъ не имѣетъ дара слова и говоритъ утомительно“ [119]).

XXXII.

Въ мартѣ 1851 года, Московское общество въ послѣдній разъ слышало публичныя чтенія Т. Н. Грановскаго.

„Никакой Нибуръ, никакой Шлецеръ“, — писалъ Погодинъ, — „не можетъ въ настоящую минуту Русскаго образованія принесть для Исторіи столько пользы публикѣ, обществу, какъ Грановскій: онъ можетъ именно возбудить ея любопытство, показавъ науку съ привлекательной для нея стороны, и тѣмъ содѣйствовать къ водворенію и распространенію историческихъ знаній, какихъ у насъ нѣтъ въ общемъ оборотѣ, ибо тетрадки, выносимыя студентами, забываются впродолженіи первыхъ десяти лѣтъ, или менѣе, по окончаніи курса, и

изъ Исторіи въ публикѣ остается только Семирамида да Александръ Македонскій; изъ новой же Исторіи я уже не знаю на кого указать, кромѣ Наполеона Бонапарте, да развѣ еще аббата Сугерія, о которомъ надули въ уши рьяные рецензенты. Нѣтъ науки столь мало у насъ извѣстной, какъ Исторія, потому что высшее общество читаетъ большею частію по-Французски, а Французы сами знаютъ только свою, да нѣсколько періодовъ изъ Англійской и Итальянской. Грѣхъ на душѣ Грановскаго, который скрываетъ свой талантъ и не платитъ своего долга наукѣ, столько важной и столько могущей" [120]).

Это дарованіе Грановскаго вполнѣ цѣнило Министерство Народнаго Просвѣщенія и поручило ему составленіе программы учебника Всеобщей Исторіи. Въ концѣ 1850 года, Грановскій ѣздилъ въ Петербургъ для объясненій съ министромъ Просвѣщенія, по поводу составленной имъ программы учебника. Здѣсь онъ представлялся также графу І. И. Ростовцову. Въ высшихъ сферахъ учебной администраціи выслушивали Грановскаго съ одобреніемъ. Не смотря на то, А. В. Станкевичъ предполагаетъ, что Грановскій „не пользовался довѣріемъ высшей учебной администраціи", и свое предположеніе основываетъ на томъ, что въ 1851 году, онъ не былъ утвержденъ въ должности декана, на которую былъ избранъ Историко-Филологическимъ Факультетомъ Московскаго Университета. Вмѣсто него, деканомъ былъ назначенъ отъ правительства С. П. Шевыревъ.

Согласно съ Станкевичемъ, о деканствѣ Шевырева свидѣтельствуютъ и С. М. Соловьевъ, и П. М. Леонтьевъ.

Въ своихъ Запискахъ, Соловьевъ повѣствуетъ: „Когда подошли деканскіе выборы, то Шевыревъ былъ забаллотированъ, и въ деканы былъ выбранъ Грановскій. Но Шевыревъ не хотѣлъ снести такого пораженія, и Назимовъ съ Ширинскимъ рѣшили, что Грановскій человѣкъ подозрительный, либералъ извѣстный, а потому не можетъ быть деканомъ, вслѣдствіе сего наши выборы были кассированы, и Шевыревъ былъ

назначенъ отъ министра деканомъ. Ненависть къ *казенному* декану стала еще сильнѣе".

Въ самомъ началѣ 1852 года, П. М. Леонтьевъ, во время своего пребыванія въ Петербургѣ, посѣтилъ А. В. Никитенко, который, въ своемъ *Дневникѣ*, подъ 11 января 1852 года, записалъ слѣдующее: „Вечеромъ сегодня былъ у меня Леонтьевъ, Московскій профессоръ и издатель *Пропилей*. Наружность его не привлекательна: небольшой ростомъ, онъ горбатъ, но лицо у него умное. Онъ передавалъ мнѣ о подвигахъ Шевырева, напримѣръ, какъ тотъ устроилъ удаленіе Каткова изъ Университета, чтобы самому занять каѳедру Педагогіи; какъ добился онъ деканства, вооруживъ попечителя и генералъ-губернатора противъ Грановскаго, котораго было избралъ въ деканы Факультетъ и т. д. Леонтьевъ прибавилъ, что Шевыревъ вообще сдѣлался теперь въ Москвѣ чѣмъ-то въ родѣ нашего Булгарина. Интересно, что всѣ свои некрасивые поступки онъ оправдываетъ тѣмъ, будто дѣйствуетъ во имя какого-то высшаго принципа, ради котораго даже приноситъ въ жертву свое имя" [121]).

Но у насъ имѣется слѣдующее письмо Шевырева къ Погодину (12 іюня 1851), въ которомъ дѣло это представляется въ иномъ свѣтѣ и, смѣемъ думать, въ истинномъ: „Вотъ бѣда: я опять остаюсь деканомъ. В. И. Назимовъ объявилъ мнѣ, что Грановскій взошелъ къ нему съ письмомъ, въ которомъ проситъ уволить его отъ этой должности, *потому что имѣетъ въ виду занятія по учебнику Исторіи*, который порученъ ему. Я отвѣчалъ, что радъ бы тоже написать просительное письмо объ томъ же, чтобъ уволили и меня. Поступокъ благороденъ со стороны Грановскаго и тѣмъ болѣе, что онъ объ немъ не говоритъ. Я узналъ о томъ въ первый разъ отъ Назимова. Впрочемъ, я не могъ и предполагать другого отъ Грановскаго изъ прежнихъ моихъ съ ними отношеній. Грустно бы было все обманываться въ людяхъ. Мы, казалось, стали въ отношеніе дружелюбное другъ къ другу. Я не могъ и не въ правѣ былъ предполагать со

стороны его какое-нибудь враждебное ко мнѣ отношеніе. Думаю, что все это было вліяніе графа Строганова на членовъ Факультета“ [122]).

Сдѣлавъ это необходимое отступленіе, вернемся къ публичнымъ чтеніямъ Грановскаго.

Предметомъ чтенія его были четыре историческія характеристики: Тамерлана, Александра Македонскаго, Людовика IX и канцлера Бэкона. Грановскій началъ свои чтенія вопросомъ: какое призваніе въ Исторіи людей, означенныхъ именемъ великихъ? Этотъ вопросъ, по замѣчанію А. В. Станкевича, не былъ лишенъ современности. Съ 1848 года въ Европейской Литературѣ поднимались голоса, отрицавшіе *необходимость великихъ людей въ Исторіи*... „Все равно сказать бы“,—говорилъ Грановскій о такомъ мнѣніи,—„что одна изъ силъ дѣйствующихъ въ природѣ утратила свое назначеніе, что одинъ изъ органовъ человѣческаго тѣла теперь сталъ ненуженъ... При внимательномъ созерцаніи великихъ личностей, онѣ являются намъ откровеніями цѣлаго народа и цѣлой эпохи. Для чего бы онѣ ни были призваны на землю, для блага ли, для зла ли, во всякомъ случаѣ онѣ стоятъ не отдѣльно, не независимо, но тѣсно и крѣпко связаны съ землею, на которой выросли, и съ временемъ, въ которомъ дѣйствуютъ“. Указаніе этой тѣсной связи давало единство бесѣдамъ профессора о четырехъ великихъ историческихъ дѣятеляхъ разныхъ и отдаленныхъ одна отъ другой эпохъ Исторіи [123]).

„Лекціи Грановскаго наполняли своею славою“,—писалъ Погодинъ, — „литературные и ученые салоны Москвы. Одна дама, ревностная почитательница достойнаго профессора, передала мнѣ такъ живо лекцію о Людовикѣ IX, что я рѣшился наконецъ отложить часть своего утра, и застать хотя послѣднюю его лекцію о Бэконѣ. Давно уже не слыхалъ я Грановскаго. Фраза его стала еще легче, пріятнѣе, щеголеватѣе (элегантнѣе)... У него не бываетъ никакихъ непріятныхъ выходокъ. Онъ всегда ровенъ, и даже слишкомъ. Вниманіе слу-

шателя удерживается неотпускно... Талантъ примѣчательный, которымъ по справедливости гордится Университетъ". Но содержаніемъ лекціи Погодинъ, „паче чаянія", остался „совершенно недоволенъ", и нашелъ ее „самою неудачною, какую только можно прочесть въ данное время предъ мыслящими слушателями". Погодинъ остался недоволенъ тѣмъ, что Грановскій описалъ „живо и вѣрно" всѣ недостатки, слабости, пороки, преступленіе Бэкона. „Помилуйте",—восклицаетъ Погодинъ,—„на что мнѣ ихъ? И что они доказываютъ? Они доказываютъ мнѣ только, что, садясь за судебный столъ, держа въ рукахъ вѣсы правосудія, принимая жезлъ правленія, Бэконъ брался не за свое дѣло, что онъ былъ мужъ ума, а не сердца, а не воли. Великъ онъ умомъ, умомъ дѣлался онъ благодѣтелемъ рода человѣческаго, творцомъ или двигателемъ наукъ, такъ и выставьте намъ эти его заслуги, а на прочее набросьте покровъ забвенія, разумѣется, осудивъ мимоходомъ, безъ потворства. На что мнѣ знать въ подробности всѣ ночныя, очень интересныя похожденія Рафаэля, на что мнѣ знакомиться съ девяносто девятью форнаринами,—подайте мнѣ его Мадонну, подайте мнѣ его Преображеніе..." Въ заключеніе Погодинъ указываетъ на ту причину, по которой Грановскому совершенно не слѣдовало прочесть лекцію о Бэконѣ, такъ, какъ онъ ее прочелъ. „Въ нашемъ обществѣ",—замѣчаетъ Погодинъ,—„понятія о наукѣ еще не установились, безпрестанно смѣшивается злоупотребленіе ея съ сущностью,—и часто повторяются явленія, кои подмѣтилъ нашъ учитель, дѣдушка Крыловъ, въ похожденіяхъ одной изъ своихъ героинь. Зачѣмъ же подавать оружіе людямъ добрымъ, благонамѣреннымъ, но несвѣдущимъ? Того и гляди, — подумалъ я, — что послѣ этой лекціи встрѣтишь въ какомъ-нибудь салонѣ человѣка почтеннаго, который съ улыбкою спроситъ меня: а что сдѣлала ваша наука, когда попала въ честь? а каковъ вашъ Бэконъ? Я придумывалъ уже что отвѣчать глубокомысленному совопроснику [124]).

Лекціею о Бэконѣ остался недоволенъ и Шевыревъ; но

тѣмъ не менѣе онъ писалъ къ Погодину и слѣдующее: „Къ Грановскому ты не былъ опять совершенно безпристрастенъ. Ибо ты говорилъ о слабѣйшей его лекціи, а о первыхъ трехъ ни слова, которыя имѣли большія достоинства, въ отношеніи къ живописному изложенію и счастливому слову". Въ тоже время Шевыревъ замѣтилъ Погодину и слѣдующее: „Ночныя похожденія Рафаэля не имѣютъ никакого смысла, потому что (въ лекціяхъ Грановскаго) нигдѣ не упоминаются, а девяносто девять форнаринъ неприличны до безобразія. Вазари много насплетничалъ на него въ этомъ отношеніи, особливо на счетъ его смерти. Это опровергнуто учеными. Языческій Римъ папы Льва X-го, можетъ быть, увлекалъ Рафаэля, но все-таки религіозное воспитаніе брало верхъ".

По замѣчанію М. А. Дмитріева, „о Бэконѣ никто такъ не писалъ разумно и честно, по его мнѣнію, какъ извѣстный обширными свѣдѣніями и умомъ, графъ de-Maestre, который былъ у насъ Сардинскимъ посланникомъ. Но его сочиненіе какъ-то у насъ совсѣмъ неизвѣстно, или пренебрегается, какъ писанное Французомъ. Я это потому написалъ, что взглянулъ на примѣчаніе о Бэконѣ, и не видалъ имени Местра. На просьбу Погодина сдѣлать рецензію на лекціи Грановскаго, Казанскій профессоръ Березинъ писалъ: „О лекціяхъ Грановскаго писать не буду, хоть зарѣжьте; это трудъ не спеціалиста; неспеціалисту и разбирать его". Не смотря на это, Погодину очень желалось отпечатать лекціи Грановскаго въ своемъ *Москвитянинѣ*; но Грановскій писалъ ему: „*Характеристики* мои, какъ я сказалъ вамъ у Елагиныхъ, уже обѣщаны" [125]).

В. П. Боткинъ писалъ Анненкову: „Лекціи Грановскаго были лучше всѣхъ и вѣнокъ остался за нимъ; разумѣется, мы не замедлили вплесть туда и гроздіи" [126]).

XXXIII.

Вскорѣ по окончаніи Грановскимъ публичныхъ лекцій, Москва, 19 марта 1851 года, угощала обѣдомъ Айвазовскаго и Іордана.

Въ это время, въ Москвѣ былъ полученъ эстампъ съ картины Рафаэля *Преображеніе*, надъ которымъ въ Римѣ сидѣлъ двѣнадцать лѣтъ знаменитый нашъ художникъ Ѳ. И. Іорданъ, посвятивъ ему лучшее время своей жизни. „И въ самомъ дѣлѣ",—замѣчаетъ по этому поводу Погодинъ,—„онъ доставилъ отечеству великое произведеніе, которому Дориньи и Моргенъ должны поклониться, а продано его въ Москвѣ экземпляровъ тридцать, и это такое количество, коего художникъ не ожидалъ, и такъ ему обрадовался, что хочетъ вырѣзать въ знакъ благодарности гербъ Московскій подъ своей славною гравюрой, потому что въ Петербургѣ, да и во всей Россіи, продано гораздо меньше. Вотъ вамъ и любовь къ искусству, вотъ вамъ и снопъ цвѣточный, и браслетъ бриллiантовый,—хотя впрочемъ, ни противъ снопа, ни противъ браслета мы сказать ничего не имѣемъ: почему и цвѣтами не осыпать, почему и браслета не подарить,—но не болѣе, а главное: не забывать своимъ вниманіемъ и другихъ, собственныхъ талантовъ, если кого намъ Богъ по той или другой части пошлетъ" [127]).

Но иного мнѣнія о гравюрѣ Іордана былъ Д. А. Ровинскій, и по этому поводу Шевыревъ писалъ Погодину: „Куда мнѣ не нравится твой маленькій Ровинскій! Что за самонадѣянность и что за дерзость! Теперь пришли мнѣ на память его слова о гравюрѣ Іордана, что у Рафаэля Моргена Христосъ является идеальнымъ, а у Іордана—Русскимъ мужичкомъ. И невѣжество, и большая дерзость"!

Въ это же время посѣтилъ Москву и самъ Ѳ. И. Іорданъ, а также И. К. Айвазовскій. Съ послѣднимъ до тѣхъ поръ Погодинъ не былъ знакомъ лично; но по пріѣздѣ въ Москву, Айвазовскій явился къ нему съ слѣдующимъ пись-

момъ отъ князя П. А. Вяземскаго: „Знаменитый нашъ живописецъ Айвазовскій желаетъ съ вами познакомиться. Кромѣ отличнаго таланта, имѣетъ онъ еще одно особенное достоинство: напоминанія наружностію своею А. С. Пушкина. Угостите его въ Москвѣ и за талантъ, и за сходство". Можетъ быть, эти строки князя Вяземскаго дали Погодину мысль почтить общественнымъ обѣдомъ прибывшихъ въ Москву нашихъ знаменитыхъ художниковъ. По крайней мѣрѣ въ *Дневникѣ* Погодина, подъ 15—20 марта, мы встрѣчаемъ запись: „Пришла мысль объ обѣдѣ Айвазовскому и Іордану".

Мысль Погодина была принята всеобщимъ сочувствіемъ. Хомяковъ писалъ ему: „Барынь, какъ я предвидѣлъ у васъ не будетъ, любезный Погодинъ, то вмѣсто жены моей будетъ Михаилъ Гавриловичъ Своехотовъ, котораго ты знаешь, артистъ и мнѣ пріятель. Пусти его на мой второй пай". Наканунѣ обѣда князь В. А. Черкаскій, по порученію П. П. Новосильцова и графа Л. А. Сологуба, обращается къ Погодину съ просьбою включить ихъ въ число подписчиковъ на обѣдъ, даваемый Іордану и Айвазовскому. Обѣдъ назначенъ 19 марта, день вступленія Русскихъ въ Парижъ, и по этой причинѣ не могъ принять въ немъ участія А. Д. Чертковъ. „Къ душевному моему сожалѣнію",—писалъ онъ Погодину,—„я не могу нынче обѣдать съ вами. Вчера я совсѣмъ забылъ, что нынче 19 марта, т.-е. тотъ день, въ который мы тридцать семь лѣтъ тому назадъ вступали побѣдителями въ Парижъ, и главное, что я далъ слово, еще на прошлой недѣлѣ, графу Арсенію Андреевичу, обѣдать нынче у него, съ малымъ остаткомъ тѣхъ сослуживцевъ, которые еще остались въ живыхъ отъ сотни тысячъ, вступавшихъ, въ 1814 году, въ столицу Франціи". По другимъ причинамъ не приняла участіе въ обѣдѣ и графиня Е. П. Ростопчина, о чемъ и писала Погодину: „Сдѣлайте одолженіе, извините меня передъ празднующими и празднуемыми на обѣдѣ — мнѣ невозможно быть: Сушковы настоятельно требуютъ, чтобъ я обѣдала у именинницы. — Къ тому же, межъ нами сказано, я *постничаю*, и не хотѣлось бы мнѣ въ

томъ сознаться передъ толпою, для избѣжанія всякихъ толковъ. Однимъ словомъ, какъ говоритъ старинный романъ, а я заранѣе благодарю васъ"... Не смотря на то, что графиня Ростопчина не присутствовала на обѣдѣ, Ѳ. И. Іорданъ писалъ Погодину: „Ея сіятельству графинѣ *Ростопчиной*, которой предки *растопили* Москву для освобожденія Европы, она же *растапливаетъ* сердца тѣхъ, которые ощастливлены видѣть ея рѣдкія черты и снисходительность въ обхожденіи" [128]).

Наступило 19 марта, день торжества. Обязанности лѣтописца происходившаго на обѣдѣ взялъ на себя Погодинъ, и мы съ удовольствіемъ будемъ внимать ему:

„19 марта, въ Москвѣ",—повѣствуетъ онъ,—„въ художественномъ классѣ, друзьями искусства данъ былъ обѣдъ въ честь знаменитыхъ Русскихъ художниковъ, Ивана Константиновича Айвазовскаго и Ѳедора Ивановича Іордана. Лишь собрались всѣ многочисленные участники, какъ профессоры художественнаго класса, Н. А. Рамазановъ и К. И. Рабусъ, по предварительному распоряженію, отправились пригласить почетныхъ гостей. Чрезъ полчаса грянула музыка, они показались въ дверяхъ, — и были встрѣчены торжественно учредителями празднества... и введены во вторую залу, гдѣ съ утра уже разставлены были всѣ гравюры Преображенія Рафаэля, съ Іордановою въ заключеніе, и многія находящіяся въ Москвѣ картины Айвазовскаго, въ коихъ блестѣло утро, смеркался день, ярилась буря, волновалось море, восходило солнце, заволакивалось тучами небо..." Здѣсь же была выставлена и послѣдняя картина Айвазовскаго, написанная имъ въ три часа времени, по желанію и въ присутствіи А. П. Ермолова, и представляющая Кавказскій видъ, въ Абхазіи, съ береговъ Чернаго моря, во время бури.

Обѣдъ, подъ звуками музыки, начался въ $4^1/_2$ часа, въ большой залѣ.. Первый тостъ, за здоровье И. А. Айвазовскаго, былъ предложенъ Т. Н. Грановскимъ, который при этомъ произнесъ: „За Московскою хлѣбъ-солью позвольте мнѣ,

мм. гг., сказать нашимъ гостямъ Московское слово. Веселый пиръ намъ, Москвичамъ, не въ рѣдкость, но такіе праздники, какъ сегодняшній, рѣдки и у насъ. Они оставляютъ по себѣ долгую память. Каждый изъ насъ, здѣсь собранныхъ, обязанъ гостямъ, которыхъ мы теперь угощаемъ Московскою хлѣбъ-солью, минутами высокаго и чистаго наслажденія. Одинъ далъ намъ возможность насладиться здѣсь, въ Бѣлокаменной, безсмертнымъ, но далекимъ отъ насъ твореніемъ Рафаэля; другой—придвинулъ къ намъ море, далъ намъ полюбоваться грозною стихіею, которой не боится только Русскій человѣкъ, потому, что она ему часто бываетъ по колѣно. Позвольте мнѣ предложить вамъ поднять бокалы за здоровье И. К. Айвазовскаго". Рѣчь свою для печатанія Грановскій препроводилъ къ Погодину, при слѣдующей запискѣ: „Я собирался отправить къ вамъ съ моимъ человѣкомъ эти строки, почтенный Михаилъ Петровичъ, когда пришелъ вашъ посланный. Я отъ того еще не былъ у васъ, что для меня первая ѣзда на колесахъ всегда начало болѣзней. Это вамъ можетъ засвидѣтельствовать мой врачъ, запрещающій мнѣ теперь всякое, сколько-нибудь продолжительное, движеніе. Кромѣ Университета, я не бываю нигдѣ".

Когда утихло общее движеніе послѣ словъ Грановскаго, Погодинъ, обратясь къ гостямъ, сказалъ: „Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, встрѣтилъ я въ Римѣ одного изъ Русскихъ художниковъ, человѣка еще молодого, въ цвѣтѣ лѣтъ, съ длинными черными волосами. Онъ начиналъ гравировать ту картину, которую Римляне съ гордостію называютъ il primo quadro del mondo. Иностранные художники единогласно осуждали его намѣреніе, смѣялись, пожимая плечами, и удивлялись, какъ дерзнулъ quello Russo, Moscovito, браться за Рафаэлево Преображеніе,—тѣмъ болѣе, что онъ хотѣлъ гравировать всю картину одинъ, между тѣмъ, какъ обыкновенно въ работахъ этого рода и размѣра художникъ раздѣляетъ свой трудъ, отдавая одному сотруднику гравировать воздухъ, другому землю, третьему одежды и себѣ оставляя лица. Взяться за все одному—

случай небывалый! Не меньше неблагопріятны были для художника и внѣшнія обстоятельства. Гравировальное искусство падало само по себѣ и унижалось въ обществѣ. Въ Англіи входила въ моду рѣзьба на стали, во Франціи на деревѣ (политипажи), въ Германіи на камнѣ (литографія). Нашъ художникъ не смотрѣлъ ни на трудности, ни на обстоятельства неблагопріятныя, и еще менѣе думалъ о наградахъ за свою долговременную работу: много ли могъ онъ получить хорошихъ экземпляровъ съ своей доски, и скоро ли распродать? Охотниковъ тогда у насъ было такъ еще мало.... Пятнадцать лѣтъ почти простоялъ художникъ, съ рѣзцемъ въ рукѣ, на одномъ мѣстѣ, работая надъ своей гравюрой. Пятнадцать лѣтъ, лучшихъ въ жизни, лѣтъ послѣдней молодости и перваго мужества, посвятилъ онъ труду тяжелому, неусыпному.... Не стану разсказывать объ его нуждахъ, лишеніяхъ, препятствіяхъ... черные волосы его посеребрились, кирпичи въ каменномъ полу продавились подъ его ногами,—онъ продолжалъ работать съ одинакимъ жаромъ, наконецъ, устарѣлый и посѣдѣлый, кончилъ, и вздохнулъ свободно! Вы видѣли его гравюру, вы видѣли всѣ прежніе опыты, произведенія лучшихъ мастеровъ Франціи, Италіи, Германіи! Онъ рѣшительно превзошелъ всѣхъ... одинъ Моргенъ можетъ идти въ сравненіе по своей мягкости, яркости, щеголеватости, но нашъ художникъ беретъ верхъ степенностью, художественностью, трезвенностью, строгимъ классицизмомъ своей работы. Разскажу вамъ анекдотъ, слышанный мною отъ очевидца. Когда выставлена была гравюра Іордана въ Римѣ, она произвела необыкновенное движеніе между художниками. Жизнь художественная развита тамъ, разумѣется, болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь въ Европѣ: всякая картина, статуя, гравюра бываетъ происшествіемъ въ городѣ, составляетъ эпоху, предметъ разговоровъ. Народу столпилось множество передъ окнами магазина, гдѣ были выставлены всѣ гравюры Преображенія. Одинъ старый Итальянецъ долго ходилъ отъ одной картины къ другой, разсматривалъ, сравнивалъ, и наконецъ, спросилъ, чего стоитъ

Моргенъ. Продавецъ отвѣчалъ, положимъ, пятьдесятъ скуди. Вотъ вамъ пять скуди, а остальные сорокъ пять придайте къ цѣнѣ гравюры Московитской. Однимъ словомъ, отзывъ о работѣ нашего художника—единогласный во всей Европѣ. Но теперь еще предстоитъ намъ вопросъ о самой работѣ: какое мѣсто занимаетъ гравировальное искусство между искусствами? Оно занимаетъ мѣсто второстепенное по общему мнѣнію: граверъ, говорятъ, есть рабъ своего оригинала, творчеству его нѣтъ поприща, онъ не можетъ выразить своего я. Не такъ я думаю, и, не бывъ знатокомъ, а только любителемъ искусства, отдаю на судъ художниковъ, здѣсь присутствующихъ, мою мысль, можетъ быть, парадоксальную. Мы видѣли всѣ гравюры Преображенія и сравнивали ихъ между собою,—во всѣхъ недостаетъ чего-то, что̀ мы встрѣчаемъ однакожъ въ гравюрѣ Іордановой, что̀ напоминаетъ намъ живѣе самый подлинникъ. Вотъ это излишнее и есть плодъ его творчества, безъ котораго, милостивые государи, нѣтъ успѣха ни въ чемъ, ни въ картинѣ, ни въ гравюрѣ, ни въ книгѣ,—есть живое доказательство его симпатіи съ душею Рафаелевой, а такая симпатія имѣетъ свое значеніе! И такъ, художникъ, обладающій талантомъ творчества, носящій въ душѣ своей святой огонь, и между тѣмъ подчиняющій себя другому таланту, хотя и Рафаелеву, любитъ искусство больше самого себя, больше своего я. Такая высокая любовь къ искусству, такое смиреніе, соединенное съ такимъ терпѣніемъ, съ такимъ самоотверженіемъ, и увѣнчанное такимъ блестящимъ успѣхомъ, имѣетъ ли право на почтеніе, благодарность, любовь всѣхъ соотечественниковъ, спрашиваю я васъ, милостивые государи? Имѣетъ—вы согласны со мною?—Выпьемте же за здоровье нашего милаго гостя Ѳедора Ивановича Іордана"!

Кликамъ, восклицаніямъ, привѣтствіямъ Іордану не было конца. Долго шумѣла и волновалась зала.

Вслѣдъ за Погодинымъ, „возвысилъ голосъ" одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ Московскихъ художниковъ К. И. Рабусъ и согласно съ Погодинымъ заявилъ, что Іорданъ „не только

передалъ лучше другихъ классическій рисунокъ Рафаэля, но далъ намъ даже почувствовать колоритъ и нѣжныя краски подлинника. *Исполнивъ все возможное*, онъ, можно сказать, соединился душою съ величайшимъ геніемъ живописи всѣхъ вѣковъ! Посему можно ли не признать въ немъ дара творчества? Да здравствуетъ Іорданъ во славу искусства!"

Передъ началомъ своего публичнаго курса Шевыревъ, „полный предмета" своего, перенесъ собраніе „къ началу гравировальнаго искусства, т.-е. къ 1452 году, во Флоренцію— и дошедъ Іордана, пожелалъ ему: „Да пошлетъ долго и долго свѣтъ очамъ его, крѣпость тѣлеснымъ силамъ, свѣжесть уму" и наконецъ возгласилъ: „Господа! Черезъ годъ исторія гравировальнаго искусства можетъ праздновать четырехсотлѣтіе. Выпьемъ же еще разъ здоровье Ѳедора Ивановича Іордана, который, почти наканунѣ этого юбилея, внесъ съ такою славою имя Русскаго гравера въ лѣтописи гравировальнаго искусства"!

„Но меня",—продолжалъ Шевыревъ,—„ждетъ еще другой герой нашего пира. Здѣсь, въ этихъ самыхъ залахъ, когда не было въ нихъ толпы зрителей, я просиживалъ часы передъ ландшафтами И. К. Айвазовскаго, и бесѣдовалъ съ ними, водимый тѣмъ вкусомъ къ искусству, который воспитала во мнѣ Италія. Но, чтобы разсказать вамъ то, что̀ пейзажи Айвазовскаго мнѣ внушили, мнѣ мало прозы... Позвольте тряхнуть стариной...

Дайте стихъ — умолкни проза!
Блещетъ кисть, какъ ясный день!
Здравствуй нашъ Сальваторъ-Роза,
Рюисдаль и Клодъ-Лоррень!

Какъ ужъ намъ въ земляхъ просторныхъ
Много Богъ послалъ чудесъ:
Тамъ у водъ лазурно-черныхъ
Рай полуденныхъ небесъ,

У ея родного шума,
Внемля бури торжество,
Тамъ его созрѣла дума,
Воспиталась кисть его.

Жизни радостью и горемъ
Волновался онъ давно:
Бурей, воздухомъ и моремъ
Онъ волнуетъ полотно

Смотришь — утро дивно блещетъ,
Солнца лучъ въ парахъ сквозитъ,
Воздухъ дышетъ и трепещетъ,
Море въ плескахъ говоритъ.

Чудно кисти обаянье!
Айвазовскій! Ты великъ:
Ты въ бездушное созданье
Перенесъ живой языкъ.

Смотришь — слово умолкаетъ,
Слухомъ дѣлается взоръ,
И съ природою вступаетъ
Въ задушевный разговоръ.

И рѣчь, и стихи прерывались безпрестанно кликами одобренія и сочувствія... Художники наши были видимо тронуты. Слезы навертывались на глазахъ. У обоихъ на лицахъ написано было полное удовольствіе.

Айвазовскій наконецъ всталъ и засвидѣтельствовалъ глубочайшую свою благодарность обществу. Всѣ чувства его были взволнованы, голосъ его дрожалъ, онъ часто останавливался, но это смущеніе таланта придавало еще болѣе прелести его простымъ, краткимъ словамъ: „Милостивые государи! Снисходительности вашей къ трудамъ моимъ и прежде я былъ обязанъ много. Нынѣ вы удостоили меня чести, совершенно мной незаслуженной. Не могу вамъ выразить всей глубины моей благодарности. Это—счастливѣйшій день въ моей жизни. Могу обѣщать вамъ, что всѣми силами буду я стараться трудиться, чтобъ совершенствовать свой слабый талантъ, произвесть наконецъ, когда-нибудь, въ самомъ дѣлѣ достойное вниманія моихъ соотечественниковъ“...

Айвазовскій остановился. Іорданъ продолжалъ: „Милостивые государи! Не взыщите съ насъ за скудость нашихъ словъ. Ихъ не найдешь столько, чтобъ выразить всѣ наши чувства. Вы насъ вполнѣ осчастливили. Вашъ радушный пріемъ, по-

честь безпримѣрная, вами намъ оказываемая, преисполняетъ сердца наши живѣйшею къ вамъ благодарностью... Не могу говорить. Прильпне языкъ къ гортани. Грамматика отсутствуетъ. Но я помолодѣлъ среди васъ снова. Готовъ начать еще работу на двадцать лѣтъ. Сколько добра вы сдѣлали мнѣ! Какія благодѣянія получилъ я отъ нашей матушки Москвы! Когда я работалъ надъ своей гравюрой, откуда получалъ я слова поощренія, участія? Изъ Москвы! Когда я окончилъ ее, кто поздравилъ меня отъ души съ окончаніемъ? Москва! Когда пріунылъ духъ художника, кто ободрилъ его, кто согрѣлъ? Москва! А теперь, какого вниманія вы удостоили меня? Вы предложили вашу почетную хлѣбъ-соль. Какая награда можетъ быть слаще? Она принадлежитъ, по достоинству, моему другу и товарищу, И. К. Айвазовскому, за его талантъ, за его добрую, прекрасную душу. А я чѣмъ заслужилъ ее! Юные друзья мои (сказалъ почтенный художникъ, обращаясь къ воспитанникамъ Художественнаго класса, которые были приглашены присутствовать на праздникѣ искусства), берите примѣръ съ меня, трудитесь, учитесь, не смущайтесь никакими препятствіями, боритесь храбро съ нуждою, и будьте увѣрены, что рано или поздно, а трудъ получитъ награду: въ Россіи за Богомъ молитва, за царемъ служба, за соотечественниками усердіе не пропадаютъ. Имѣя такихъ наставниковъ, какъ Рихтеръ, Скотти, Рабусъ, Рамазановъ, вы вѣрно успѣете. Повѣрьте мнѣ, одна такая минута, какъ нынѣшняя, искупаетъ много всякой горечи. На вѣки вѣковъ останется она въ моемъ сердцѣ! Милостивые государи! осмѣливаюсь повторить вамъ мою глубочайшую благодарность, осмѣливаюсь просить васъ о присоединеніи вашихъ желаній къ моимъ, къ нашимъ, къ сердечнымъ: здравія и благоденствія и во всемъ благого поспѣшенія нашей матушкѣ Москвѣ, православной, первопрестольной, щедрой, гостепріимной, нашей доброй, красавицѣ матушкѣ-Москвѣ"!

Запѣнилось вино, зазвучали бокалы, раздались клики!... Бокалы безпрерывно дополнялись. Шампанское полилось. Ве-

селье умножалось. Слышались имена Александра Ивановича Казначеева, который доставилъ Айвазовскому первыя средства образовать свой талантъ, Николая Ивановича Уткина, учителя Іордана...

А. С. Хомяковъ вспомнилъ, что 19 марта—„день рожденія Гоголя, и предложилъ выпить за его здоровье. Но Шевыревъ относилъ день рожденія Гоголя къ другому времени. Чтобы кончить споръ, предложено выпить за Гоголя „на Антонія, а потомъ еще на Онуфрія“ [129]).

Въ это время Гоголь находился въ Одессѣ и въ день его рожденія С. Т. Аксаковъ писалъ ему: „Нѣсколько любящихъ васъ пріятелей заранѣе согласились было сегодня обѣдать у насъ; но, какъ нарочно, что-то угораздило Погодина съ Шевыревымъ устроить сегодня обѣдъ Іордану. Не только всѣ наши гости обѣдаютъ тамъ, но и Константина утащили. Надѣюсь, однако, что Бодянскій отобѣдаетъ и придетъ къ намъ. Хотя вареникoвъ ѣсть не будетъ, но послушаемъ: *Ой, на дворѣ мятелица*“ [130]).

Наконецъ, Погодинъ напомнилъ обществу, что 19 марта есть день вступленія русскихъ въ Парижъ, празднуемый теперь въ домѣ нашего достойнаго заслуженнаго градоначальника, что мы на праздникѣ искусства должны присоединить свой голосъ къ тѣмъ голосамъ, которые тамъ раздаются, въ славу Русскаго царя и Русскаго оружія, — тѣмъ болѣе, что нынѣшній день имѣетъ великое значеніе и въ Исторіи Европейскаго искусства, возвративъ Русской побѣдой, всѣ изящныя произведенія Италіи изъ Musée Napoleon по своимъ отчизнамъ, гдѣ только и могутъ они вполнѣ производить свое дѣйствіе“. Всѣ гости встали, раздался торжественный гимнъ: *Боже, царя храни, славному долги дни дай на земли!* Ура! Ура“! [131]).

На другой день, М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: „Въ понедѣльникъ, кажется, все было хорошо; о чемъ же вы сомнѣваетесь? А! понимаю! кто нибудь васъ упрекнулъ, что вы посадили Іордана въ футляръ! Но это метафора! На нее

суда нѣтъ! Что касается до меня, я былъ чрезвычайно доволенъ и вамъ чрезвычайно благодаренъ. Наши артисты, я думаю, вѣкъ не забудутъ этого пріема! Москва вполнѣ омылась отъ грѣха своего съ Фани Эльснеръ! — Айвазовскій на другой день пріѣзжалъ по утру ко мнѣ; но я еще спалъ, и очень сожалѣю, что не видалъ его у себя. Напишите въ подробности объ этомъ праздникѣ. Да нельзя ли помѣстить всѣ рѣчи, которыя были говорены и всѣ стихи. Постарайтесь объ этомъ. А если будетъ такая подробная статья, то не худо бы для друзей напечатать нѣсколько экземпляровъ особо: послали бы въ Петербургъ, а я въ Симбирскъ и въ Сызрань. Все живое, благородное, все, что показываетъ восторгъ и публичное признаніе таланта и заслуги меня чрезвычайно радуетъ. Благодаря Господа Бога, что ни лѣта, ни болѣзни, ни горькіе опыты жизни, ни несправедливости людей не охладили моего сердца, что оно, сочувствуя прекрасному, живетъ въ эту минуту двойною жизнію и благодарно за чужую славу, какъ будто за свою собственную! — Чувствую вполнѣ изреченіе Писанія, не смотря на всѣ испытанныя мною непріятности: *не бойтесь убивающихъ тѣло, души же убить не могущихъ*".

„Мнѣ разсказали", — писала графиня Ростопчина Погодину, — „весь прекрасный вчерашній пиръ, — хвалили очень и отъ души вашу умную, дѣльную, благородную рѣчь; сообщали весь этотъ задушевный, братскій восторгъ, которымъ всѣ такъ единодушно были полны: это все меня радуетъ невыразимо. Вотъ настоящее движеніе, прямая жизнь умовъ! Слава Богу, — и слава тоже *вамъ*, ветеранъ нашъ, и какъ зачинщику—изобрѣтателю этого благороднаго праздника".

Описаніе обѣда появилось прежде всего въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, и по этому поводу Дмитріевъ писалъ Погодину: „Читалъ я въ газетахъ объ обѣдѣ, данномъ артистамъ. Не совсѣмъ вѣрно. Рѣчи Рамазанова никто не помнитъ — была ли она: а Рабусъ говорилъ дѣльно, плавно и безъ запинки, какъ ораторъ: какъ же не помѣстили его рѣчи? Помѣстите

хоть вы въ *Москвитянинѣ*: этого требуетъ истина и безпристрастіе. Онъ говорилъ о достоинствѣ гравировки и что она не ниже живописи. Стихи Берга очень плохи, напрасно напечатали. А Юрій Никитичь Бартеневъ не промолвилъ ни одного слова: это ошибка, или ложь. Онъ вамъ самъ скажетъ, что не говорилъ. Онъ во весь обѣдъ только и твердилъ, что будто бы я Тертуліанъ, и смѣшилъ этимъ насъ съ Писемскимъ. *Amicus Plato*; *sed magis amicu veritas*".

Въ оправданіе свое редакторъ Московскихъ Вѣдомостей М. Н. Катковъ писалъ Погодину: „Вы прислали намъ записку съ конспектомъ, въ которомъ рѣшительно ничего нельзя было разобрать, присоединяя слѣдующія слова: *извлеките отсюда что можете*. Мы должны были сообразить сказанное вами по памяти и, кажется, не исказили вашей рѣчи.— Неизбѣжныя недомолвки извиняются примѣчаніемъ, сдѣланнымъ въ нашей статьѣ, *что мы передаемъ ваши слова какъ могли ихъ запомнить*. Эта оговорка слагаетъ съ васъ всякую отвѣтственность за редакцію этой рѣчи.—Послать же вамъ корректуру не было физической возможности: она была готова въ третьемъ часу утра. — Что же касается до напечатанія присланной вами оговорки въ завтрашнемъ номерѣ газеты, то мы можемъ съ удовольствіемъ сказать слѣдующее: „Подробное описаніе обѣда въ честь Айвазовскаго и Іордана, о которомъ сообщили мы нашимъ читателямъ, будетъ помѣщено въ слѣдующей книгѣ *Москвитянина*; тамъ дополнятся нѣкоторыя свѣдѣнія и, вѣроятно, будетъ помѣщена вполнѣ рѣчь Михаила Петровича Погодина, которую, какъ было нами сказано, мы разсказали такъ, какъ запомнили".

2 апрѣля 1851 года, Шевыревъ писалъ Погодину: Іорданъ черезъ Рихтера кланяется много и благодаритъ. Ему обѣдъ былъ чрезвычайно полезенъ — и съ тѣхъ поръ ему повезло. Великій Князь Наслѣдникъ приказалъ взять для военно-учебныхъ заведеній двадцать два экземпляра гравюры. Іордана прозвали Москвичемъ. Художники давали ему обѣдъ"...

Получивъ отъ Погодина сто экземпляровъ Описанія обѣда,

Іорданъ, изъ Петербурга (15 мая 1851 г.) написалъ Погодину благодарственное письмо, въ которомъ, между прочимъ, сказано,—что онъ въ этомъ Описаніи „съ восхищеніемъ читалъ“ свою рѣчь, „такъ превосходно“ Погодинымъ „исправленную и дополненную“. „И такъ“,—продолжаетъ онъ,—„единственный день моей жизни, полная награда моему долговременному труду, 19-е марта, вами, вашимъ рѣдкимъ и полезнымъ журналомъ, посредствомъ печати, получилъ свое безсмертіе и поздніе потомки поблагодарятъ красавицу хлѣбосольную и удивятся терпѣнію мѣдорѣза Іордана. — Благодарю отъ души благодарю васъ, добрѣйшій Михаилъ Петровичъ; экземпляры постараюсь раздать какъ молодой отрасли изящнаго, меценатамъ, такъ и друзьямъ моимъ“ [132]).

XXXIV.

На другой день послѣ описаннаго нами пиршества, во вторникъ 20 марта 1851 года, состоялась первая публичная лекція С. П. Шевырева объ *искусствѣ* и преимущественно Рафаэлѣ. Айвазовскій и Іорданъ почли своею обязанностью присутствовать на ней, и тѣмъ изъявили свое почтеніе „заслуженному другу, ревнителю и знатоку искусства“ [133]). Въ тотъ же день, до лекціи, Шевыревъ писалъ Погодину: „Благодарю тебя за прекрасную мысль. Благодарю тебя за вчерашній обѣдъ. Это чудное предисловіе къ моей лекціи. Іордану и Айвазовскому оставлены будутъ мѣста около каѳедры, чтобы всѣ могли ихъ видѣть. Я велю обернуть для нихъ двое креселъ. Всякій пойметъ эту мысль, и ни одна дама не разсердится, конечно, а уступитъ имъ даже и свое мѣсто“.

— „Куда ты дѣлся“, — писалъ Шевыревъ Погодину (21 марта),—„послѣ моей лекціи и не сказалъ мнѣ объ ней ни слова? Не длинна ли была? Скажи, что̀, замѣтилъ. Я прошу совѣтовъ, возраженій и замѣчаній. Хомяковъ мнѣ не сдѣлалъ ни одного. Затрудняетъ меня показываніе эстамповъ, лежащихъ на столѣ, но какъ быть? А каковы графъ Строгановъ

и княгиня Щербатова? — Въ самый день и часъ второй моей лекціи учредили лотерею въ 200 выигрышей по 1 р. сер. Вотъ мастерская штука!—Что̀ сказали художники? Не было ли замѣчанія? Меня немного смутило то, что менѣе народу привлекло Искусство, чѣмъ Исторія. Что дѣлать? Слабость человѣческая! Но и время и дорога много виноваты: ужасно какъ скверно и ѣздить и ходить! — А графиня Ростопчина не была—хороша же—разсердилась вѣрно за мнѣніе о драмѣ. А я ее еще такъ слушалъ — и сдѣлалъ ей много искреннихъ и полезныхъ замѣчаній. Ей бы не худо попридержаться пуризма первой манеры Рафаэля, чтобы очиститься. Но львицамъ у меня страшно, если не хотѣли въ Магдалины. Ты графинѣ Ростопчиной не говори, что я замѣтилъ ея отсутствіе. Восторгъ Іордана и Айвазовскаго для меня одушевленіе и награда. Публика не можетъ ни оцѣнить, ни достаточно понять моихъ лекцій. Но ихъ судъ для меня важенъ. Спасибо тебѣ за эту добрую вѣсть. Она придаетъ мнѣ силъ. Айвазовскій графу Закревскому выразилъ восторгъ свой. Я хотѣлъ упомянуть о движеніи живописи въ Москвѣ и сдѣлалъ, но понапрасну. Лучше бы мнѣ было упомянуть о присутствіи Іордана и Айвазовскаго на моей лекціи, какъ живомъ доказательствѣ, что Искусство у насъ славно живетъ, а не убито промышленнымъ направленіемъ, что̀ провозглашаютъ другіе, стараясь отвлечь отъ меня слушателей. Мнѣ очень жаль будетъ, если ты въ субботу не явишься. Объ Айвазовскомъ я упоминалъ два раза. Іордану честь воздана будетъ въ заключительной лекціи курса“.

На другой день послѣ второй своей лекціи, Шевыревъ писалъ Погодину: „Посылаю тебѣ документы хитрости Строганова, направленной противъ моихъ лекцій. Лотерея, для соблюденія приличій, отложена была до воскресенья, но когда? только въ субботу. Въ пятницу же еще напечатано было, что она разыгрываться будетъ въ субботу. Тутъ и обманъ весьма гадкій для посѣтителей, ибо за входъ берутъ

30 коп. сер. — Многіе ли успѣли узнать утромъ, что лотерея отложена?—Все это документы для статьи, которою ты можешь отличиться. — Жду тебя и въ субботу на лекцію, ибо настоящаго отчета о моихъ лекціяхъ я жду отъ *Москвитянина*, а не отъ газетъ. Боюсь, что онѣ меня еще сердить будутъ [134]).

Статья Погодина дѣйствительно появилась въ *Москвитянинѣ*, но она послужила поводомъ къ непріятной перепискѣ между друзьями. „Пріятно было видѣть", —писалъ Погодинъ,— „знаменитыхъ художниковъ, слушающихъ съ глубокимъ вниманіемъ откровенія науки объ ихъ собственномъ искусствѣ. „Ахъ, еслибы вы прочли это въ Римѣ", — сказалъ Іорданъ, — „какое дѣйствіе произвели бы ваши слова теперь на всѣхъ художниковъ! Сколько возбудили они сладкихъ воспоминаній во мнѣ"! Айвазовскій встрѣтился со многими своими мыслями объ искусствѣ, кои онъ впродолженіе нынѣшняго своего пребыванія въ Москвѣ передавалъ любителямъ, и долженъ былъ очень обрадоваться такой встрѣчѣ. Въ такихъ отзывахъ „судей законныхъ" достойный профессоръ долженъ былъ найти полное вознагражденіе за свои усилія, и утѣшиться въ маломъ количествѣ дамъ, посѣтившихъ первыя его лекціи. Иныя прельстились, можетъ быть, великолѣпными объявленіями базара, гдѣ, какъ нарочно, въ этотъ день, назначалась роскошная лотерея—и трюмо орѣховаго дерева, и прекрасная Французская шаль, и великолѣнный коверъ, шитый шерстью. Туда, туда отъ борьбы знаменитаго Леонардо да Винчи и Микель-Анджело, туда отъ интереснаго воспитанія Рафаэлева въ Перуджіо, отъ глубокихъ и высокихъ изслѣдованій о красотѣ Бембо! Нельзя не пожалѣть, что управленіе базара назначило даже свою лотерею именно въ часъ лекціи Шевырева, и хотя послѣ ее отмѣнило, но такъ поздно, что многіе должны были лишиться вмѣстѣ и лекціи, и лотереи".

Обѣщаясь изложить содержаніе лекцій Шевырева въ слѣдующей книгѣ *Москвитянина*, Погодинъ выражаетъ свое

мнѣніе вообще о чтеніяхъ Шевырева и при этомъ обѣщается говорить „такъ же искренно“, какъ сказалъ уже о лекціяхъ Грановскаго. Но сказанное имъ возбудило негодованіе Шевырева.

„Шевыревъ“,—повѣствовалъ Погодинъ,—„принадлежитъ къ числу первыхъ знатоковъ Исторіи Искусствъ не только въ Москвѣ, но и во всей Россіи, и, разумѣется, можетъ состязаться со многими профессорами въ Европѣ. Чего онъ не читалъ, чего онъ не знаетъ, и въ теоріи, и въ практикѣ! И все хочется ему помѣстить въ своемъ краткомъ курсѣ. Такой излишекъ дѣлается недостаткомъ, и слушателю желательно было бы иногда узнать меньше, но явственнѣе. Что касается до выраженія — мы замѣтимъ, что фраза его бываетъ иногда слишкомъ нарядна, а нынѣ въ модѣ неглиже. Особенно не удаются Шевыреву тѣ мѣста, на кои онъ дѣлаетъ удареніе, коими хочетъ затронуть чувство, однимъ словомъ, бемольныя ноты. Случается, что подъ тонъ возвышенный попадаютъ слова по своему предмету простыя и тогда этотъ тонъ производитъ впечатлѣніе непріятное. О, хорошая лекція, во всѣхъ отношеніяхъ, есть трудное, трудное дѣло! Много условій требуется отъ профессора, и дорого ему достается успѣхъ! Особенно у насъ—затрудненія великія: многіе ли у насъ хорошо говорятъ въ обществѣ? Еще меньшее количество умѣетъ разговаривать, бесѣдовать, а хорошіе чтецы на перечетъ. Въ оправданіе нѣкоторой изысканности Шевырева должно сказать и то, что онъ разсуждаетъ объ искусствѣ, о красотѣ. По необходимости рѣчь его должна носить характеръ отдѣлки, чистоты, изящности. — Но, говоря вообще, Шевыревъ занимаетъ почетное мѣсто между нашими профессорами-ораторами: нѣсколько болѣе простоты, и онъ поднимется еще выше въ своемъ мудренномъ искусствѣ“ [135]).

Прочитавъ эти строки, Шевыревъ написалъ Погодину, по обычаю, запальчивое письмо. „Ты хотѣлъ“,—писалъ онъ,—„показаться непремѣнно безпристрастнымъ—и средствомъ этого

безпристрастія употребилъ меня и мою лекцію. Надобно не казаться безпристрастнымъ, а быть. Достигнуть высшей степени безпристрастія едва-ли можно... Высшее безпристрастіе едва-ли не граничитъ съ высшимъ пристрастіемъ, а именно съ пристрастіемъ каждаго изъ насъ къ самому себѣ, именно съ гордостію. Надобно помнить изреченіе Апостола: *подобострастни есмы человѣци*. Говоря о моей первой лекціи, ты указалъ на одни недостатки внѣшняго изложенія, какъ они тебѣ представляются. Тутъ защищаться мнѣ трудно. Тутъ могу только принять къ свѣдѣнію нѣкоторыя замѣчанія и стараться объ исправленіи недостатковъ, но не безусловно, разумѣется. Всякое сужденіе болѣе или менѣе субъективно. Діогену, человѣкъ опрятно одѣтый, покажется щеголемъ изысканнымъ. Ты въ своихъ лекціяхъ до того былъ всегда растрепой, что не выдѣлялъ даже не только правильнаго періода, но порядочнаго предложенія въ своемъ изустномъ изложеніи. У тебя въ рѣчи твоей Іордану встрѣчались вмѣстѣ: *но*, *потому*, *хотя*, *ежели*, *слѣдовательно*, и ты этого не замѣтилъ. Словомъ, ты всегда пренебрегалъ внѣшнею формою въ изустномъ изложеніи. Мудрено ли, что моя фраза кажется для тебя уже слишкомъ нарядною, изысканною? Впрочемъ, я согласенъ, что есть у меня этотъ недостатокъ—и я ищу простоты. Изложеніемъ въ послѣдней моей лекціи я болѣе былъ доволенъ, чѣмъ первыми тремя. Не удаются мнѣ тѣ мѣста, коими хочу я затронуть чувство — говоришь ты. Вотъ этого намѣренія во мнѣ никогда не было. Чувство во мнѣ искренне— и чувствомъ я возбуждаю чувство въ тѣхъ, которые къ нему способны. Но правда, что этимъ чувствомъ я оскорбляю тѣхъ, которые холоднымъ разсудкомъ его въ себѣ убили. Это дѣйствіе я замѣчалъ нерѣдко. Что дѣлать? Это бѣда моя. Но отъ чувства я не откажусь, потому что не могу отказаться отъ моей натуры. При свѣтѣ его, я предметы вижу яснѣе. Слово мое имъ одушевляется. Не чувствуя, я не могу мыслить. Сочетаніе мысли съ чувствомъ, есть моя натура. Можно этого не признавать, можно этому не сочувствовать — но ставить

мнѣ это въ вину нельзя. Случалось мнѣ производить такое впечатлѣніе, что послѣ лекціи бросались мнѣ въ объятья люди, съ виду холодные. Но ты на этихъ лекціяхъ не присутствовалъ. Еще неправильны нѣкоторыя подробности. Іорданъ мнѣ говорилъ не объ однихъ художникахъ. Онъ говорилъ, *что если бы я такія лекціи читалъ въ Римѣ, то конца бы не было каретамъ, и что онъ идетъ на лекцію, какъ къ живому источнику, который его освѣжаетъ.* Айвазовскій графу Закревскому говорилъ, что онъ былъ въ восторгѣ. Какая бы нужда была ему выражать это графу, еслибы онъ въ самомъ дѣлѣ того не чувствовалъ? Лоттерея назначалась не въ день первой лекціи, а въ день второй. Статья выдана не кстати: лекціи окончились. Черезъ двѣ недѣли ужъ впечатлѣніе пройдетъ. А между тѣмъ, въ статьѣ выставленъ только недостатокъ изложенія. Самая огромность труда добросовѣстнаго вмѣнена въ излишекъ, въ недостатокъ. О постепенномъ умноженіи участія и слушателей ни слова. А въ первой лекціи одинъ вопросъ *объ отношеніи Византійской живописи къ Италіанской* чего стóитъ, какихъ трудовъ! А опредѣленіе происхожденія Рафаэля изъ школы религіозной, а не натуральной и языческой! Все это впрочемъ мысли, понятныя для людей, знающихъ дѣло, но въ такомъ случаѣ какъ же браться за сужденіе? Если бы я, взявшись говорить о *Москвитянинѣ*, выставилъ бы всѣ твои достоинства, какъ профессора Русской Исторіи, а о самомъ *Москвитянинѣ* сказалъ бы: этотъ журналъ до того исполненъ грубыхъ и непростительныхъ опечатокъ, показывающихъ совершенное небреженіе редакціи, что онъ производитъ самое непріятное впечатлѣніе на читателя. Впрочемъ, онъ занимаетъ почетное мѣсто между журналами. Ты это мнѣніе счелъ бы безпристрастнымъ. Нѣтъ, оно было бы желаніемъ пощеголять безпристрастіемъ, ударить на безпристрастіе *въ глазахъ враждебной толпы*, о которой ты слишкомъ заботишься, болѣе нежели, чего она стóитъ, ударить, не смотря на то, по чьей бы головѣ ударъ ни пришелся. Это твоя бемольная нота, которою ты хотѣлъ затронуть мо-

лодое поколѣніе: посмотрите-де, какъ я безпристрастенъ! Приношу вамъ въ жертву моего искренняго, моего ближняго! Даже умалчиваю о его достоинствѣ: вотъ вамъ на-показъ прежде всего всѣ его недостатки, не только вамъ, но и всей публикѣ! Видите-ли, какъ я безпристрастенъ! Трудно рѣшить, какое это дѣйствіе произведетъ на враждебную толпу. Я думаю, что внутренно она посмѣется твоей неловкости, но противъ неловкости опять ни слова, ибо неловкаго ловкимъ не сдѣлаешь. Въ числѣ тѣхъ, которыхъ участіе было мнѣ пріятно по своему безпристрастію, не могу не указать на М. С. Щепкина. Его рукожатіе и слезы на глазахъ будутъ для меня всегда памятны... Что касается до мнѣнія твоего о лекціяхъ моихъ, какъ формѣ изложенія, у всякаго свое. Въ твоемъ, повторяю, есть нѣсколько замѣчаній, всегда для меня полезныхъ, которыя мнѣ пригодятся въ будущемъ. Хотя онѣ были мнѣ и непріятны, потому что высказаны публично, но я все-таки остаюсь за нихъ благодаренъ. Всего обиднѣе показалось выраженіе: *Да, хорошая лекція дѣло во всѣхъ отношеніяхъ мудреное, трудное!* Я прочелъ публикѣ шестьдесятъ шесть публичныхъ лекцій. Студентамъ читаю семнадцать лѣтъ. Согласись, что обидно получить такое замѣчаніе. Ужъ если послѣ такихъ опытовъ не разрѣшилъ мудреной задачи, то ужъ просто придется не читать. А какъ же отстать отъ того дѣла, которое есть дѣло всей жизни. Объ дамахъ и каретахъ я не думалъ. Статья вышла, конечно, не кстати послѣ того, какъ и каретъ уже съѣхалось много. Твоя статья не достигла цѣли. Близко знающіе тебя Павловы, Хомяковъ и проч., говорятъ: не ловокъ; не близко знающіе—бранятъ; враги, вѣроятно, подсмѣиваютъ: ужъ коли другъ находитъ такіе недостатки въ изложеніи, стало быть-де и проч. Я это сообщаю тебѣ къ свѣдѣнію, ибо надобно тебѣ знать, что кругомъ тебя происходитъ. Меня все это нисколько не касается. Я, слава Богу, награжденъ за трудъ свой всеобщимъ вниманіемъ, котораго не замѣнитъ никакая статья. Идти своимъ путемъ и дѣлать дѣло, — вотъ то, въ чемъ моя увѣренность, мое спо-

койствіе и моя готовность на всякую пользу. Моя удача въ томъ, что влагаю душу въ каждое дѣло, и безъ молитвы ничего не дѣлаю: силъ своихъ не щажу когда за что примусь, но надѣюсь, не на однѣ свои силы, а болѣе на Бога".

Эти письма Шевырева весьма раздражили Погодина и онъ отвѣчалъ: *Айвазовскій и Іорданъ почли своей обязанностію присутствовать и тѣмъ изъявить свое почтеніе заслуженному другу, ревнителю и знатоку Искусства.* Этого мало! *Пріятно видѣть знаменитыхъ художниковъ, слушающихъ съ глубокимъ вниманіемъ откровенія науки объ ихъ собственномъ искусствѣ*—да что здѣсь такое, здѣсь не похвалены и желтыя перчатки! *Айвазовскій встрѣтился со многими своими мыслями и долженъ былъ обрадоваться этой встрѣчѣ.* И здѣсь ничего нѣтъ! *Въ такихъ отзывахъ судей законныхъ достойный профессоръ долженъ былъ найти полное вознагражденіе*; но позабыты кареты! Чортъ ихъ возьми и съ Московскими и Петербургскими. Но это все сказано не прямо. Надо бы сказать вотъ какъ.... Но неужели нѣтъ никакой похвалы, ну, хоть вотъ въ этихъ выраженіяхъ: „*г. Шевыревъ принадлежитъ къ числу первыхъ знатоковъ Исторіи Искусства не только въ Москвѣ, но и во всей Россіи, и разумѣется можетъ состязаться со многими профессорами въ Европѣ*". Это приношеніе въ жертву ближняго человѣка славѣ о своемъ безпристрастіи. Пусть де говорятъ, что я ближняго человѣка принесъ въ жертву. Смотри публика на его недостатки! Грустно, тяжко! О твоихъ лекціяхъ я заботился больше чѣмъ о своихъ когда либо, не много меньше можетъ быть тебя самого. Для тебя я ѣздилъ и Бэкона слушать, не говоря уже о путешествіяхъ къ тебѣ. Для статьи я созывалъ всѣхъ друзей нѣсколько разъ къ себѣ, наконецъ читалъ, спрашивалъ нѣтъ ли еще чего прибавить въ похвалу. — Айвазовскаго и Іордана, назначившихъ въ тотъ день отъѣзды,—ты думаешь легко было привезти, т.-е. легко было устроить всѣ ихъ дѣла такъ, чтобъ отложить этотъ часъ?.. И вотъ, я награжденъ прекрасно! Спасибо. Любопытно, какое дѣйствіе произведетъ статья? Статья

произвела неистовство и остервененіе, какъ и ожидалось (ибо только ты, въ своемъ ослѣпленіи и занятый своимъ я, могъ не понять его), но это неистовство должно въ глазахъ таиться (а разражается только заглазно), и потому еще тяжелѣе для неистовыхъ! А придираются они и избираютъ поводомъ ругать за пристрастіе къ тебѣ, т.-е. за то, что ты считаешь жертвою! А ты еще сомнѣваешься, какъ статья будетъ принята, и предполагаешь во мнѣ ожиданіе чести за безпристрастіе! Я ожидаю чести только не отъ нихъ, а письмо твое показало, что ты неспособенъ съ другой стороны воздать ее, по крайней мѣрѣ въ продолженіи ближайшей недѣли, а послѣ можетъ быть объясниться яснѣе. Хорошаго въ письмѣ твоемъ—искренность, за которую я тебя благодарю и отвѣчаю такою же. Но довольно. Я все-таки цѣлую, обнимаю и поздравляю тебя съ Свѣтлымъ праздникомъ, желаю, чтобъ все темное освѣщалось, а свѣтлое увеличивалось въ свѣтѣ, хотя и жестоко огорченъ и оскорбленъ!"

Непріятная эта переписка заключилась слѣдующимъ письмомъ Шевырева: „Христосъ Воскресе! Обнимаю и цѣлую тебя. Лишь только хотѣлъ я въ дополненіе къ прежнему письму написать къ тебѣ, что мнѣнія художниковъ, тобою выставленныя, твои заботы о томъ, чтобы они были у меня на лекціяхъ, сатиру на лотерею, что все это я цѣню и глубоко содержу въ сердцѣ съ благодарностію искреннею, какъ вдругъ, получаю письмо твое. Но объ этомъ я и прежде уже писалъ къ тебѣ, я тебя благодарилъ за твое участіе къ лекціямъ, за то. что тебѣ я обязанъ Іорданомъ и Айвазовскимъ. Въ письмѣ тоже я упоминалъ, что сужденія Іордана и Айвазовскаго главное въ этомъ дѣлѣ. Что касается до формы моихъ лекцій, до изложенія, тутъ мнѣнія расходятся. Павловы говорили мнѣ, что въ этотъ разъ я читалъ гораздо проще, что не было ни одной фразы, ничего натянутаго, что иногда впадалъ я въ патетическій тонъ, и то только на первой лекціи, и на второй—въ рѣчи Бембо, но тутъ ужъ былъ виноватъ Бембо, а не я. Горько мнѣ очень, если ты оскорбился пись-

момъ моимъ, но я твоею статьею не оскорбленъ нисколько. Я выразилъ тебѣ свои мысли и эти мысли совершенно сходятся съ мнѣніемъ другихъ. Спроси Павловыхъ".

Вся эта непріятная переписка между друзьями велась въ теченіе Страстной и Святой недѣль, когда Погодинъ имѣлъ обыкновеніе сидѣть дома, „запершись на замокъ, за своими работами" и никого не принимать. Сочувствуя этому, графиня Ростопчина писала затворнику: „Вы заперлись? И прекрасно, такъ всего спокойнѣе тому, кто отъ шума и визитовъ ожидаетъ только скуки, а не удовольствіе".

Приступая къ писанію второй своей статьи о лекціяхъ Шевырева, онъ обратился къ послѣднему съ просьбою прислать конспектъ его лекцій, на что Шевыревъ отвѣчалъ (14 апрѣля): „Сегодня, въ воскресенье, въ 4-мъ часу пополудни я получилъ твою записку безъ числа о томъ, что тебѣ нуженъ конспектъ лекцій. А завтра выходитъ Москвитянинъ. Не знаю, сколько времени записка шла и когда она написана. Ты пишешь, что завтра отопрешься, но какъ же безъ числа я узнаю это завтра. Я не зналъ, что тебѣ нуженъ конспектъ лекцій. Но съ кѣмъ же переслать его къ тебѣ? — Мнѣ нуженъ онъ самому. У меня единственный экземпляръ. Затеряется—и всѣ лекціи пропадутъ. Наиболѣе любопытныя мѣста, я думаю, ты и самъ помнишь".—Наконецъ, послѣ убѣдительныхъ просьбъ Шевыревъ рѣшился отправить свой конспектъ къ Погодину, но съ большими предосторожностями: „Посылаю тебѣ сына",—писалъ онъ Погодину,— „съ конспектомъ моихъ четырехъ лекцій. Это единственный экземпляръ: пропади онъ—пропадутъ и мои лекціи. Вотъ почему я затруднялся посылать его къ тебѣ. Пускай Борисъ и Митя его тебѣ перепишутъ теперь же. У Бориса и перья и бумага взяты. Я Борису не велѣлъ возвращаться безъ конспекта. Мнѣ же онъ можетъ быть нуженъ для моего состязанія съ графомъ Строгоновымъ" [136])!

Послѣднюю публичную лекцію Шевыревъ прочелъ въ Лазареву субботу, 31 марта 1851 года. По свидѣтельству

Погодина, „она была блистательна предъ собраніемъ многочисленнымъ дамъ, сановниковъ, художниковъ, профессоровъ. Суть ли не полъ Университета присутствовало изъ всѣхъ отдѣленій, даже математическаго и медицинскаго“ [137]). Но Шевыревъ жаловался Погодину: „Я состою“,—писалъ онъ,—подъ гнѣвомъ Каткова—и потому о моей послѣдней лекціи нѣтъ ни слова въ газетахъ“ [138]).

Приступая къ описанію этой лекціи Шевырева, Погодинъ писалъ: „Скажу два слова о профессорахъ, уже не какъ профессоръ, а какъ членъ публики, посѣтитель. Во всѣхъ университетскихъ собраніяхъ, напр., на актахъ, диспутахъ, ученыхъ засѣданіяхъ, и слѣдовательно, публичныхъ лекціяхъ, желалось бы встрѣчать профессоровъ на первомъ планѣ, вмѣстѣ, синклитомъ. Нельзя не согласиться, что видѣть предъ собою человѣкъ двадцать-тридцать представителей наукъ, съ извѣстными, громкими, дорогими или симпатичными именами,—это было бы импозантно, выражаясь по модѣ иностраннымъ новомъ. Вѣрно задумался бы иной посѣтитель и посѣтительница, смотря съ почтеніемъ на такую массу труда, таланта, образованія, высшаго стремленія, самоотверженія, въ лицахъ,—точно такъ, какъ идя теперь въ залу собраній чрезъ библіотеку, видя тысячи полокъ съ произведеніями ума человѣческаго, чувствуешь заранѣе какой-то священный трепетъ, о которомъ есть, кажется, славный стихъ Горація. Вотъ законные судьи, вотъ надежные путеводители мнѣнія ученаго и литературнаго,—а у насъ какъ бываетъ съ нашимъ смиреніемъ, въ противоположность площадному самохвальству? Тамъ пряталась Физіологія, здѣсь укрывается Исторія, вонъ проелькнула Физика, вонъ притаилось Народное Право съ Химіей, а тамъ на краю Благоустройство съ Геологіей; цѣлаго, эффекта и нѣтъ; главныхъ лицъ, профессоровъ, и не видитъ публика, смѣшавшись съ ними вмѣстѣ. Я люблю церемоніи въ общественныхъ дѣлахъ, хоть и врагъ церемонности Китайской и всякой, въ частности“.

Высказавъ это, Погодинъ обращается къ лекціямъ Шевы-

рева: „Онѣ возвышались, какъ занимательностью содержанія, такъ и отдѣлкою выраженія. Вполнѣ излагать мы ихъ отдумали, потому что весь публичный курсъ выйдетъ особою книгою. Мы отмѣтимъ здѣсь отчасти нѣсколько главныхъ положеній, и вмѣстѣ укажемъ на нѣкоторыя *новыя* мысли, выработавшіяся у профессора при добросовѣстномъ въ высшей степени изученіи предмета, при всѣхъ возможныхъ средствахъ, личномъ наблюденіи, богатомъ собраніи рисунковъ, всѣхъ описаній, источниковъ системъ, біографій и проч. и проч. На многія изъ этихъ мыслей задумается художникъ, многія даже долженъ принять къ разсмотрѣнію теоретикъ, и къ свѣдѣнію дилеттантъ! Отношеніе Византійской живописи къ Италіи, объясненіе важности того, что Рафаэль вышелъ изъ самой совершенной религіозной школы въ Италіи—Саванорола, Леонардо да Винчи (природа) и Микель Анджело (языческое ваяніе).—Значеніе Флоренціи.—Окруженіе Рафаэля въ Флоренціи и въ Урбино.—Развитіе живописи при содѣйствіи всѣхъ условій религіи, науки, словесности, общества, промышленности.—Теорія красоты Бембо, повѣряемая картинами Рафаэля.—Отношеніе Рафаэлевой живописи къ другимъ сферамъ человѣческаго образованія въ началѣ XVI вѣка: въ Богословію, Поэзіи, Философіи и Праву.—Объясненіе Аѳинской школы.—Дѣятельность Микель Анджела въ Сикстовой капеллѣ.—Развитіе драмматическаго стиля въ Рафаэлѣ.—Высшій цвѣтъ развитія.—Семилѣтняя дѣятельность Рафаэля при Львѣ X.—Политическія картины въ залахъ Ватикана.—Участіе къ предметамъ изъ народной жизни.—Ковры Ватикана (высочайшій священно-драмматическій стиль).—Изученіе и возстановленіе древняго Рима.—Статуи Ватикана, живопись изъ элемента языческаго, ея характеръ.—Объясненіе картинъ изъ Христіанскаго міра.—Сикстова Мадонна.—Цецилія.—Преображеніе.—Связь лекцій съ вопросомъ о развитіи живописи у насъ.—Связь съ вопросомъ религіознымъ и преданій.—Указаніе на возможность новой области въ живописи у насъ.—Связь лекцій съ вопросомъ о современномъ искусствѣ вообще.

Идеалы и дѣйствительность, небо и земля въ искусствѣ нераздѣльны. Оправдаемъ профессора въ одномъ нареканіи, которое на него падало: для чего онъ разсказывалъ подробно содержаніе картинъ, напримѣръ, Аѳинской школы, Преображенія и пр. Для того, отвѣчаемъ мы за него, что такимъ описаніемъ опредѣляется *сочиненіе картины*".

Въ заключеніе Погодинъ замѣчаетъ: „Какъ Грановскій былъ безпощаденъ, представляя Бакона во всей наготѣ его, такъ Шевыревъ былъ пристрастенъ къ Рафаэлю, представивъ его намъ чуть не земнымъ ангеломъ! Конечно, въ лучшія минуты своей жизни, онъ, или душа его, возлетала высоко, приближался точно къ идеалу, но въ остальное время онъ былъ грѣшный человѣкъ, какъ и прочія дѣти Адама" [139]).

Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: „Новаго здѣсь ничего нѣтъ, кромѣ весьма удачнаго пира въ честь Іордана и Айвазовскаго, винигрета изъ разнородныхъ лекцій, въ которомъ Грановскій отличился изяществомъ изложенія и былъ всѣми восхваленъ, а Шевыревъ отличается дѣльностью и никѣмъ почти не признанъ, да еще великаго оскорбленія бонтоннаго общества по случаю стиховъ, напечатанныхъ въ *Сѣверной Пчелѣ*. Я стихамъ очень радъ, а оплеухѣ, полученной обществомъ, вдвое" [140]).

Стихи эти напечатаны въ *Сѣверной Пчелѣ* подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Отрывокъ изъ Московской жизни на сырной недѣлѣ 1851 года.*

„Несмѣтное множество экипажей и пѣшихъ, съ букетами, вѣнками и разными драгоцѣнными коврами, неистово стремятся къ театральной площади".

Прохожій говоритъ:

Куда народъ нашъ православный
Стремится съ радостью такой?
Не торжество ль побѣды славной
Россіи-матушки святой?
Куда несутъ дары златые,
Алмазы, яхонты, цвѣты
И жемчугъ, и парчи драгіе

Весь причетъ міра суеты?
Зачѣмъ народъ нашъ православный
На сырной вдругъ затѣялъ пиръ?
Аль прибылъ къ намъ нашъ Царь Державный,
Нашъ Европейскій Богатырь?
Скажи мнѣ, старичекъ почтенный,
Скажи, пожалуй, наконецъ,
Ужъ не въ Москвѣ ли нашъ безцѣнный,
Нашъ ненаглядный Царь-Отецъ?

Старикъ.

Эхъ, батюшка, вѣдь молвить стыдно
(Старикъ невольно отвѣчалъ)
Бѣгутъ зачѣмъ, ей-ей обидно,
Народъ дуритъ ужъ очень сталъ.
Какой тутъ Царь! А лишь приманкой
Въ кіатеръ сатана завлекъ,
Прельстить насъ хочетъ басурманкой,
Что ноги мечетъ въ потолокъ.

Прохожій.

Такъ вотъ причина восхищенья
Въ столицѣ-матушкѣ Руси.
Спаси насъ Богъ отъ посрамленья,
И паче отъ грѣховъ спаси.
Знать нѣтъ грѣхамъ твоимъ и счету—
О, грѣховодница Москва!
Что ты бѣсовскому причету
Готовишь нынѣ торжества!

Намекая на это стихотвореніе, князь П. А. Вяземскій писалъ Погодину: „Прошу помянуть меня съ крестнымъ знаменіемъ, когда раздастся первый ударъ съ Московской колокольни и похристосоваться за меня со всею Православною Москвою,—если уцѣлѣла еще частичка ея, а не вся она сдѣлалась *грѣховодницею*“.

Стихами этими очень оскорбился Погодинъ и жаловался В. И. Назимову, но тотъ весьма благоразумно отвѣчалъ: „Соглашаясь съ вами, что стихи, помѣщенные въ *Сѣверной Пчелѣ*, не имѣютъ высокаго поэтическаго достоинства, я не могу однакоже согласиться, чтобъ они обиднѣе были для Москвы—стихотворенія, помѣщеннаго въ *Полицейской Газетѣ*, по случаю прощанія съ Фанни Эльснеръ, не говоря уже о браслетѣ и букетѣ цвѣтовъ съ подписью Москва, поверженной-

ъ къ ея ногамъ. А какъ за ту обиду никто не вступился, и это можетъ быть оставлено безъ вниманія, тѣмъ болѣе, врядъ ли цензура пропуститъ препровожденную вами тью, которую возвращаю при семъ“ [141]).

XXXV.

„Нашъ славный, нашъ любезный, нашъ дорогой, нашъ ной Университетъ“,—пишетъ Погодинъ,—„представляетъ престанно явленія, надъ коими нельзя не радоваться благо-бющему передъ наукою... Особенно Словесный Факультетъ ичается въ послѣднее время,—начиная съ трудовъ его тойнаго декана, С. П. Шевырева: вспомнимъ о диссерта-хъ, слѣдовавшихъ одна за другою впродолженіе одного ти года: Грановскаго, Буслаева, Леонтьева, Кудрявцева. кется съ перваго взгляда, что и сочиненіе Бабста до-йно продолжаетъ этотъ почтенный рядъ“.

14 марта 1851 года, въ Московскомъ Университетѣ про-одилъ диспутъ Ивана Кондратьевича Бабста, на которомъ защищалъ свою диссертацію: *Государственные мужи вней Греціи въ эпоху ея распаденія*. На этомъ диспутѣ одинъ не присутствовалъ; но, познакомившись съ книгою, писалъ: „Мы развернули книгу на предисловіи, и оно ъ намъ понравилось, внушило такое расположеніе къ ду, что мы непремѣнно хотимъ его выписать: „При атствѣ историческихъ монографій въ области Классиче-й Древности, которыми можетъ справедливо гордиться опейская Литература, и въ особенности Нѣмецкая, не-ко выступать намъ съ притязаніями на самостоятельныя ныя изслѣдованія, на новыя открытія въ этой вдоль и ерекъ изрытой почвѣ. Послѣ Нибура, Бека, О. Мюллера, зать много новаго трудно. Ежели автору предстоящей ографіи и удалось, можетъ быть, высказать нѣсколько ыхъ мыслей, посмотрѣть на нѣкоторыхъ дѣятелей описы-мой имъ эпохи другими глазами, нежели какъ ихъ до

сихъ поръ понимали, то онъ считаетъ своей обязанностью замѣтить, что это покуда не болѣе какъ гипотезы, что онъ и на нихъ былъ наведенъ своими великими вожатыми. Умѣлъ ли авторъ воспользоваться ихъ трудами, повѣрилъ ли свои изслѣдованія добросовѣстнымъ изученіемъ источниковъ — это онъ отдаетъ на судъ ученой и образованной публики". Вотъ этотъ языкъ *Москвитянинъ* любитъ, уважаетъ, и готовъ отдать всегда должную справедливость, изъ какого бы прихода онъ ни слышался, южнаго или сѣвернаго, западнаго или восточнаго. *Москвитянинъ* готовъ помѣстить всякую похвалу такому сочиненію, лишь бы она была основана на доказательствахъ и не состояла изъ однихъ возгласовъ пристрастныхъ, невѣжественныхъ, исключительныхъ, противныхъ. Но съ другой стороны, *Москвитянинъ* готовъ помѣстить и всякое порицаніе, лишь бы только оно было неодносторонно и сопровождалось также доказательствами. Пусть одинъ рецензентъ взглянетъ съ хорошей стороны, а другой—съ дурной, если одинъ не можетъ иногда смотрѣть съ обѣихъ, что было бы, разумѣется, желательнѣе. Предметомъ диссертаціи Бабста занимались многіе достойные люди и многіе достойные люди могутъ подать о ней свой голосъ,—а именно... (исчислимъ по алфавиту, смѣясь впрочемъ надъ мѣстничествомъ) гг. Бабстъ, Грановскій, Кудрявцевъ, Куторга, Леонтьевъ, Ордынскій, Стасюлевичъ... можетъ быть, найдется что-нибудь въ бумагахъ Крюкова и Лунина. Русская наука можетъ успѣвать только соединенными силами Русскихъ ученыхъ. Редакціей *Москвитянина* я не дорожу, но я дорожу существованіемъ журнала, основаннаго на такихъ началахъ, и никогда не измѣнявшаго своихъ убѣжденій, говорившаго иногда сильнѣе, иногда слабѣе, можетъ быть иногда и очень слабо, но всегда одно и тоже".

Въ 1851 году, П. М. Леонтьевъ издалъ первую книгу *Пропилеевъ*, сборникъ статей по Классической Древности. Въ предисловіи къ нимъ мы читаемъ: „*Пропилеями* называли у Грековъ священныя врата, вводившія въ ограды храмовъ

акрополей,—врата главныя... Это было преддверіе, на-
троивавшее должнымъ образомъ того, кто шелъ къ вну-
реннимъ святилищамъ: привлекательное приглашеніе при-
лизиться къ зданіямъ, которыя по самой своей натурѣ были
енѣе доступны. Согласно съ этимъ, названіе *Пропилеевъ*
рилично въ Литературѣ такимъ сочиненіямъ или изданіямъ,
оторыхъ назначеніе—облегчать знакомство съ какою либо
ажною областью человѣческой жизни и возбуждать въ чита-
еляхъ то настроеніе, съ которымъ та область хочетъ быть
азсматриваема... Въ этомъ смыслѣ Гете назвалъ *Пропилеями*
зданіе, предпринятое для утвержденія и распространенія
олѣе вѣрныхъ понятій объ искусствѣ, преимущественно
ежду художниками. Въ этомъ же значеніи дано имя *Про-
илеевъ* и тому изданію, первая книжка котораго находится
еперь передъ глазами отечественной публики и ищетъ себѣ
лагосклоннаго пріема и ободренія".

Погодинъ отнесся къ этому изданію весьма сочувственно.
ще до выхода его въ свѣтъ, онъ писалъ въ своемъ *Мо-
квитянинѣ:* „Еще пріятное, утѣшительное извѣстіе изъ об-
астей Московскаго Университета, этого — пусть простятъ
итатели обветшалое выраженіе—святилища наукъ, столько
орогого всякому Русскому сердцу. Молодой профессоръ
еонтьевъ, достойный преемникъ Крюкова, столь рано по-
ищеннаго смертію, издаетъ сборникъ *Пропилеи*, собраніе
атей общедоступныхъ, по части Классической Древности.
ропилеи будутъ выходить книжками отъ 25 — 30 листовъ
ень убористой печати, съ рисунками, необходимыми для пони-
анія текста. Они будутъ состоять изъ двухъ отдѣловъ. Въ
ервомъ будутъ помѣщаться разборы и описанія памятниковъ
евности, письменныхъ и художественныхъ, изслѣдованія или
ерки, имѣющіе предметомъ разныя стороны жизни древнихъ
рековъ и Римлянъ, ихъ религію, искусства, литературу,
осударство, нравы, наконецъ характеристики замѣчатель-
ыхъ эпохъ, событій и личностей Греческой и Римской Исто-
іи. Во второй отдѣлъ будутъ входить свѣдѣнія о трудахъ

новѣйшихъ ученыхъ по Классической Древности, біографіи великихъ гуманистовъ и филологовъ Западной Европы, обозрѣнія современнаго состоянія и историческаго развитія разныхъ отраслей науки Классической Древности, библіографическія извѣстія и извлеченія изъ новыхъ сочиненій, особенно важныхъ. Первая книжка *Пропилеевъ* выйдетъ непремѣнно въ продолженіе января мѣсяца. Всѣ статьи, которыя войдутъ въ составъ ея, оригинальныя; многія подписаны извѣстными именами. О разнообразіи ихъ можно судить уже по одному оглавленію, которое мы и сообщаемъ, слѣдуя алфавитному порядку именъ авторъ: 1) И. К. Бабстъ—о *Саллюстіѣ и его сочиненіяхъ;* 2) Н. М. Благовѣщенскій — о *Гіератикѣ въ древнемъ Греческомъ искусствѣ*; 3) Ѳ. И. Буслаевъ—*женскіе типы въ изваяніяхъ Греческихъ богинь*; 4) Бѣляевъ—*объ изученіи Греческаго языка въ Россіи до Петра Великаго*; 5) А. И. Георгіевскій—а) *біографія Винкельмана;* б) *о времени первыхъ Римскихъ императоровъ;* 6) Т. Н. Грановскій — *о сочиненіи Грота: Исторія Греціи*; 7) М. Н. Катковъ— *о Греческихъ философахъ до Сократа;* 8) П. Н. Кудрявцевъ— *о Тацитовыхъ женщинахъ*; 9) А. Н.—Венера Милосская; 10) Б. И. Ордынскій—*Занятія молодого Аѳинянина;* 11) Шестаковъ — *о роли парасита въ комедіяхъ Плавта.* Кромѣ того, слѣдующія статьи издателя П. М. Леонтьева: *О различіи стилей въ Греческомъ ваяніи; Егинскіе мраморы Мюнхенской Глиптотеки; Венера Таврическая; Бакхическій памятникъ графа С. С. Уварова; О современныхъ направленіяхъ въ Археологіи; О новой теоріи Греческой архитектуры; О Русскихъ сочиненіяхъ по Крымскимъ Древностямъ.*

Сдѣлавъ это обозрѣніе, Погодинъ восклицаетъ: „Призываемъ, призываемъ всѣхъ нашихъ ученыхъ, поддерживать новое изданіе всѣми зависящими отъ нихъ средствами! Это новый плодъ науки на Русской почвѣ въ Московскомъ Университетѣ".

Цѣлые вечера Погодинъ посвятилъ чтенію *Пропилей*, отъ которыхъ, по его собственному сознанію, онъ „не могъ оторваться, пока не прочелъ до конца". *Тацитовскія женщины* Кудрявцева

ривели его въ восторгъ. „Любо читать“,—писалъ онъ,— „тепло, лагородно, живо, свѣжо, занимательно! Вотъ что значитъ оворить о томъ, что знаешь и понимаешь, а бѣда приняться е за свое дѣло. Агриппина съ Германикомъ, Тиверіемъ, рминіемъ, Римскими легіонами, изображена превосходно. Чиаешь Исторію какъ романъ, и не оторвешься до конца! колько пользы и удовольствія принесутъ подобныя статьи! акъ распространятъ онѣ горизонтъ нашихъ журнальныхъ читаелей, у которыхъ лѣтъ десять и въ ушахъ не было ни Горація, и Тацита, ни Цицерона, ни Данта, ни Монтескье, ни даже Шиллера и Гете“. Прочитавъ затѣмъ статьи Бабста, Благоѣщенскаго, Леонтьева, Погодинъ дошелъ наконецъ до статьи І. Н. Каткова: *О Греческой философіи до Сократа*, и удивился“ и задумался надъ слѣдующимъ мѣстомъ вступлеія къ ней: „Исторія Философіи стала въ наше время рѣшиельною потребностью, однакоже ни задача, ни способы ея е приведены въ достаточную ясность. Системы, въ которыхъ ысказывалось человѣческое мышленіе, факты Исторіи Филоофіи, рѣдко берутся въ такомъ отношеніи, которое давало ы возможность понимать ихъ научнымъ образомъ. Историки Философіи мало заботятся о томъ, чтобы для уразумѣнія рѣчи, ъ которой выразилось философское мышленіе, приносить съ воей стороны также философское мышленіе. Они какъ будто е сознаютъ, что мышленіе доступно только мышленію, и доольствуются при изученіи философскихъ системъ обиходными ужденіями. Первое представленіе по поводу извѣстнаго выракенія, пробудившееся въ головѣ читающаго, берется, безъ альнѣйшихъ размышленій, какъ нѣчто по истинѣ данное, подвергается разнымъ ученымъ операціямъ, *и въ результатѣ творится лишь обманчиво похожее на смыслъ*. Обыкновенно лавный интересъ исторіи мышленія полагается въ изложеніи мнѣній болѣе или менѣе ложныхъ, болѣе или менѣе приближающихся къ истинѣ. Подъ истиною же обыкновенно подразумѣваются отдѣльныя свѣдѣнія или привычныя понятія, которыя отложились въ умахъ отъ различныхъ наукъ. — На-

новѣйшихъ ученыхъ по Классической Древности, біографіи великихъ гуманистовъ и филологовъ Западной Европы, обозрѣнія современнаго состоянія и историческаго развитія разныхъ отраслей науки Классической Древности, библіографическія извѣстія и извлеченія изъ новыхъ сочиненій, особенно важныхъ. Первая книжка *Пропилеевъ* выйдетъ непремѣнно въ продолженіе января мѣсяца. Всѣ статьи, которыя войдутъ въ составъ ея, оригинальныя; многія подписаны извѣстными именами. О разнообразіи ихъ можно судить уже по одному оглавленію, которое мы и сообщаемъ, слѣдуя алфавитному порядку именъ авторъ: 1) И. К. Бабстъ—о *Саллюстіѣ и его сочиненіяхъ;* 2) Н. М. Благовѣщенскій — о *Гіератикѣ въ древнемъ Греческомъ искусствѣ*; 3) Ѳ. И. Буслаевъ—*женскіе типы въ изваяніяхъ Греческихъ богинь*; 4) Бѣляевъ—*объ изученіи Греческаго языка въ Россіи до Петра Великаго*; 5) А. И. Георгіевскій—а) *біографія Винкельмана;* б) *о времени первыхъ Римскихъ императоровъ;* 6) Т. Н. Грановскій — *о сочиненіи Грота: Исторія Греціи*; 7) М. Н. Катковъ— *о Греческихъ философахъ до Сократа;* 8) П. Н. Кудрявцевъ— *о Тацитовыхъ женщинахъ*; 9) А. Н.—Венера Милосская; 10) Б. И. Ордынскій—*Занятія молодого Аѳинянина;* 11) Шестаковъ — *о роли парасита въ комедіяхъ Плавта.* Кромѣ того, слѣдующія статьи издателя П. М. Леонтьева: *О различіи стилей въ Греческомъ ваяніи; Егинскіе мраморы Мюнхенской Глиптотеки; Венера Таврическая; Бакхическій памятникъ графа С. С. Уварова; О современныхъ направленіяхъ въ Археологіи*; *О новой теоріи Греческой архитектуры*; *О Русскихъ сочиненіяхъ по Крымскимъ Древностямъ.*

Сдѣлавъ это обозрѣніе, Погодинъ восклицаетъ: „Призываемъ, призываемъ всѣхъ нашихъ ученыхъ, поддерживать новое изданіе всѣми зависящими отъ нихъ средствами! Это новый плодъ науки на Русской почвѣ въ Московскомъ Университетѣ“.

Цѣлые вечера Погодинъ посвятилъ чтенію *Пропилей*, отъ которыхъ, по его собственному сознанію, онъ „не могъ оторваться, пока не прочелъ до конца“. *Тацитовскія женщины* Кудрявцева

привели его въ восторгъ. „Любо читать“,—писалъ онъ,— „тепло, благородно, живо, свѣжо, занимательно! Вотъ что значитъ говорить о томъ, что знаешь и понимаешь, а бѣда приняться не за свое дѣло. Агриппина съ Германикомъ, Тиверіемъ, Арминіемъ, Римскими легіонами, изображена превосходно. Читаешь Исторію какъ романъ, и не оторвешься до конца! Сколько пользы и удовольствія принесутъ подобныя статьи! Какъ распространятъ онѣ горизонтъ нашихъ журнальныхъ читателей, у которыхъ лѣтъ десять и въ ушахъ не было ни Горація, ни Тацита, ни Цицерона, ни Данта, ни Монтескье, ни даже Шиллера и Гете“. Прочитавъ затѣмъ статьи Бабста, Благовѣщенскаго, Леонтьева, Погодинъ дошелъ наконецъ до статьи М. Н. Каткова: *О Греческой философіи до Сократа*, и „удивился“ и задумался надъ слѣдующимъ мѣстомъ вступленія къ ней: „Исторія Философіи стала въ наше время рѣшительною потребностью, однакоже ни задача, ни способы ея не приведены въ достаточную ясность. Системы, въ которыхъ высказывалось человѣческое мышленіе, факты Исторіи Философіи, рѣдко берутся въ такомъ отношеніи, которое давало бы возможность понимать ихъ научнымъ образомъ. Историки Философіи мало заботятся о томъ, чтобы для уразумѣнія рѣчи, въ которой выразилось философское мышленіе, приносить съ своей стороны также философское мышленіе. Они какъ будто не сознаютъ, что мышленіе доступно только мышленію, и довольствуются при изученіи философскихъ системъ обиходными сужденіями. Первое представленіе по поводу извѣстнаго выраженія, пробудившееся въ головѣ читающаго, берется, безъ дальнѣйшихъ размышленій, какъ нѣчто по истинѣ данное, подвергается разнымъ ученымъ операціямъ, *и въ результатѣ творится лишь обманчиво похожее на смыслъ*. Обыкновенно главный интересъ исторіи мышленія полагается въ изложеніи мнѣній болѣе или менѣе ложныхъ, болѣе или менѣе приближающихся къ истинѣ. Подъ истиною же обыкновенно подразумѣваются отдѣльныя свѣдѣнія или привычныя понятія, которыя отложились въ умахъ отъ различныхъ наукъ. — На-

примѣръ, спрашивается въ какомъ видѣ представлялъ себѣ тотъ или другой философъ землю? Его хвалятъ, если онъ какъ-нибудь попалъ на форму шара: хотя это и неправда, но все же ближе къ истинѣ, чѣмъ цилиндръ. Цилиндръ вызываетъ улыбку, а плоскость всю силу насмѣшки. Такія аффективныя оцѣнки могутъ быть очень пріятны для критика, тѣмъ болѣе, что соединяются съ чувствомъ собственнаго превосходства; едвали однакоже онѣ могутъ составить изъ себя особую цѣльную науку, имѣющую внутренній интересъ, и безъ сомнѣнія исторія разумѣнія, Исторія Философіи должна имѣть иное содержаніе".

Сдѣлавъ это выписку, Погодинъ съ своей стороны замѣчаетъ: „Философія есть наука по преимуществу Нѣмецкая; первые умы Германіи посвящали ей себя всецѣло и пламенно. Исторія Философіи есть наука ихъ любимая. Каждое слово древнее, казалось намъ, было ими разсмотрѣно, взвѣшено, оцѣнено,—а теперь мы слышимъ, что всѣ они, не исключая самого Гегеля, главы и вѣнца философовъ, не *приносили къ ней даже мышленія*, что у нихъ *первое представленіе, по поводу извѣстнаго выраженія, пробудившееся въ головѣ читающаго, берется безъ дальнѣйшихъ размышленій, какъ нѣчто по истинѣ данное, подвергается разнымъ ученымъ операціямъ, и въ результатѣ творится нѣчто лишь обманчиво похожее на смыслъ!* Очень буду радъ я, съ своей стороны, если такое утвержденіе докажется основательно и осязательно, очень буду радъ за честь Русскаго ума и имени, въ подтвержденіе стиховъ Ломоносова, кои такъ я любилъ приводить въ своей молодости:

Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ,
Россійская земля рождать.

А теперь, спрошу только, за что же раздавались въ нѣкоторыхъ приходахъ клики, противъ *Москвитянина*, когда онъ, со всею скромностію и со всѣмъ почтеніемъ къ Западной наукѣ,

ливался выражать иногда свое сомнѣніе въ ея непогрѣшительности, осмѣливался думать, что многіе западные разультаты должны подвергаться пересмотру, оцѣнкѣ, повѣркѣ Русскихъ ученыхъ. Съ нетерпѣніемъ будемъ ожидать суда о статьѣ Каткова отъ знатоковъ и судей законныхъ, а теперь призываемъ пока нашихъ читателей къ замѣчательнѣйшему сборнику П. М. Леонтьева. Они не должны бояться учености. Здѣсь она въ одеждѣ легкой и пріятной. Здѣсь предлагаетъ она свѣдѣнія, необходимыя въ наше время для *всякаго образованнаго человѣка* [142]).

Къ нашему не малому удивленію, совершенно противуположно Погодину отнесся къ *Пропилеямъ* В. П. Боткинъ къ этому прекрасному предпріятію своихъ друзей—западниковъ. „Книга хорошая", — писалъ онъ П. В. Анненкову,— „но для читателей вовсе незнакомыхъ съ древностями почти безполезная и служащая для нихъ скорѣе заваломъ, нежели пропилеями. Не переварилась еще у насъ наука... Но въ особенности плохо сварилась она у Леонтьева, чего искренно жаль, потому что знанія у него много" [143]).

XXXVI.

Съ 1851 года, органъ Московскаго Университета *Московскія Вѣдомости*, какъ мы уже знаемъ, перешелъ въ управленіе М. Н. Каткова. Съ перваго же раза онъ сталъ во враждебныя отношенія къ *Москвитянину*, т.-е., къ Погодину и Шевыреву.

Не смотря на это, Погодинъ привѣтствовалъ обновленіе *Московскихъ Вѣдомостей*, хотя и съ оговорками. „Московскій лѣтописатель", — писалъ онъ, — „долженъ отмѣтить на своихъ страницахъ важное явленіе въ лѣтописяхъ Москвы, болѣе важное, нежели у насъ полагаютъ, — это новый видъ *Московскихъ Вѣдомостей*. Послѣдніе нумера исполнены любопытныхъ свѣдѣній для образованныхъ людей. Статьи Вернадскаго, Леонтьева, Буслаева, Кудрявцева, Соловьева, Спас-

скаго, Георгіевскаго, одна за другою, возбудили полное вниманіе, такъ что теперь, во вторникъ, четвергъ и субботу, невольно спрашиваешь, принесли ли газеты, потому что надѣешься прочесть и узнать новое или интересное. Иностранныя статьи, которыя *Москвитянинъ* отмѣчалъ, бывало, спокойно для себя въ Нѣмецкихъ журналахъ, — глядишь, — напечатаны уже въ газетахъ. Мы замѣтимъ только новой Редакціи, что всѣ такія статьи въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* должны имѣть значеніе дессерта, а для большинства читателей нужнѣе и полезнѣе статья о *рыбѣ*, которая впрочемъ задумана лучше, чѣмъ исполнена, о чаѣ и т. п. Второй совѣтъ стараго журнала относится къ непотизму или кумовству, литературной болѣзни нашего времени. Самохвальство дошло у насъ, говоря моднымъ языкомъ, до размѣровъ колоссальныхъ, къ прискорбію людей благомыслящихъ и степенныхъ. Ланкастерова метода взаимнаго обученія приложена къ этому процессу неблагопристойнымъ образомъ. Въ нѣкоторыхъ приходахъ есть у насъ отверженцы и фавориты. Отверженецъ, хоть схвати съ неба звѣзды, предается ругательствамъ, клеветамъ. Фаворитъ превозносится до небесъ, хоть бы сидѣлъ въ грязи. Конечно, рука руку моетъ, но вѣдь не всегда онѣ бываютъ чисты послѣ такого мытья: чѣмъ моешь! Толпа можетъ увлечься — но всегда есть люди, которые взглянутъ, рано или поздно, на дѣло безпристрастно и произнесутъ свой приговоръ невыгодно для Ланкастеровскаго приложенія. Досадно то, что такими похвалами поносятся иногда люди почтенные и дѣловые, которые имѣютъ по своимъ достоинствамъ право на законныя похвалы, и не имѣютъ никакой нужды въ лишнихъ, навязанныхъ. Непріятно, съ другой стороны, когда пропускаются, или унижаются достоинства другихъ почтенныхъ людей, для того только, чтобъ не быть принуждену похвалить ихъ, какъ будто вопреки статута. Этою болѣзнію заражены почти всѣ наши литературные приходы, болѣе или менѣе. Отъ доказательствъ я теперь пока удержусь, но считаю обязанностью указать, при всемъ

достоинствѣ *Московскихъ Вѣдомостей*, на нѣкоторые, разумѣется невинные, легкіе, непримѣтные для нихъ симптомы болѣзни вѣка. Можно имѣть предилекцію, симпатію и антипатію, можно быть къ одному строгу и къ другому снисходительну, — противъ этого сказать ничего нельзя, какъ противъ неизбѣжнаго аттрибута слабой человѣческой натуры; но не болѣе, est modus in rebus, и всякій публичный писатель долженъ, какъ можно чаще напоминать себѣ Тацитово правило: Sine ira et studio [144]).

Къ немалому соблазну и удивленію западниковъ, въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилась статья *Старое и новое поколѣніе* [145]). Шевыревъ спрашивалъ у Погодина: „Чья статья"?.... [146]). Но отвѣта мы не знаемъ. Авторъ этой статьи указываетъ на выраженія *старое и новое поколѣніе*, какъ на занесенныя къ намъ тлетворнымъ вліяніемъ Запада, гдѣ духъ нечестивый, духъ нечестія и безначалія вводитъ въ гражданское общество враждебное раздѣленіе поколѣній, а съ нимъ вмѣстѣ забвеніе преданій и нарушеніе исконныхъ правилъ, на коихъ зиждется семейство и государство. Главными дѣятелями этого духа, говоритъ авторъ, были „языкъ и перо". По мнѣнію автора, многія выраженія имѣли у прогрессистовъ условныя значенія: *обновленіе*, *возрожденіе*—значили разрушеніе общественнаго порядка, *собственность* называли они воровствомъ и т. д. Въ статьѣ разсыпаны обвиненія и намеки на Русскую Литературу и ея выраженія. Статья, появившаяся въ оффиціальномъ органѣ Московскаго Университета могла быть напечатана только по дозволенію, если не по одобренію начальства. Отвѣчать на нее удовлетворительно въ печати было невозможно при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ. По свидѣтельству А. В. Станкевича, „Грановскій рѣшился возражать ей и показать несправедливость и вредное значеніе статьи въ Запискѣ, которую онъ предназначилъ для В. И. Назимова. Онъ надѣялся своей Запиской отвратить возможность появленія въ университетской газетѣ новыхъ статей, подобныхъ той, на которую возражалъ.

скаго, Георгіевскаго, одна за другою, возбудили полное вниманіе, такъ что теперь, во вторникъ, четвергъ и субботу, невольно спрашиваешь, принесли ли газеты, потому что надѣешься прочесть и узнать новое или интересное. Иностранныя статьи, которыя *Москвитянинъ* отмѣчалъ, бывало, спокойно для себя въ Нѣмецкихъ журналахъ, — глядишь, — напечатаны уже въ газетахъ. Мы замѣтимъ только новой Редакціи, что всѣ такія статьи въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* должны имѣть значеніе дессерта, а для большинства читателей нужнѣе и полезнѣе статья о *рыбѣ*, которая впрочемъ задумана лучше, чѣмъ исполнена, о чаѣ и т. п. Второй совѣтъ стараго журнала относится къ непотизму или кумовству, литературной болѣзни нашего времени. Самохвальство дошло у насъ, говоря моднымъ языкомъ, до размѣровъ колоссальныхъ, къ прискорбію людей благомыслящихъ и степенныхъ. Ланкастерова метода взаимнаго обученія приложена къ этому процессу неблагопристойнымъ образомъ. Въ нѣкоторыхъ приходахъ есть у насъ отверженцы и фавориты. Отверженецъ, хоть схвати съ неба звѣзды, предается ругательствамъ, клеветамъ. Фаворитъ превозносится до небесъ, хоть бы сидѣлъ въ грязи. Конечно, рука руку моетъ, но вѣдь не всегда онѣ бываютъ чисты послѣ такого мытья: чѣмъ моешь! Толпа можетъ увлечься — но всегда есть люди, которые взглянутъ, рано или поздно, на дѣло безпристрастно и произнесутъ свой приговоръ невыгодно для Ланкастеровскаго приложенія. Досадно то, что такими похвалами попосятся иногда люди почтенные и дѣловые, которые имѣютъ по своимъ достоинствамъ право на законныя похвалы, и не имѣютъ никакой нужды въ лишнихъ, навязанныхъ. Непріятно, съ другой стороны, когда пропускаются, или унижаются достоинства другихъ почтенныхъ людей, для того только, чтобъ не быть принуждену похвалить ихъ, какъ будто вопреки статута. Этою болѣзнію заражены почти всѣ наши литературные приходы, болѣе или менѣе. Отъ доказательствъ я теперь пока удержусь, но считаю обязанностью указать, при всемъ

достоинствѣ *Московскихъ Вѣдомостей*, на нѣкоторые, разумѣется невинные, легкіе, непримѣтные для нихъ симптомы болѣзни вѣка. Можно имѣть предилекцію, симпатію и антипатію, можно быть къ одному строгу и къ другому снисходительну, — противъ этого сказать ничего нельзя, какъ противъ неизбѣжнаго аттрибута слабой человѣческой натуры; но не болѣе, est modus in rebus, и всякій публичный писатель долженъ, какъ можно чаще напоминать себѣ Тацитово правило: Sine ira et studio [144]).

Къ немалому соблазну и удивленію западниковъ, въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилась статья *Старое и новое поколѣніе* [145]). Шевыревъ спрашивалъ у Погодина: „Чья статья"?.... [146]). Но отвѣта мы не знаемъ. Авторъ этой статьи указываетъ на выраженія *старое и новое поколѣніе*, какъ на занесенныя къ намъ тлетворнымъ вліяніемъ Запада, гдѣ духъ нечестивый, духъ нечестія и безначалія вводитъ въ гражданское общество враждебное раздѣленіе поколѣній, а съ нимъ вмѣстѣ забвеніе преданій и нарушеніе исконныхъ правилъ, на коихъ зиждется семейство и государство. Главными дѣятелями этого духа, говоритъ авторъ, были „языкъ и перо". По мнѣнію автора, многія выраженія имѣли у прогрессистовъ условныя значенія: *обновленіе*, *возрожденіе*—значили разрушеніе общественнаго порядка, *собственность* называли они воровствомъ и т. д. Въ статьѣ разсыпаны обвиненія и намеки на Русскую Литературу и ея выраженія. Статья, появившаяся въ оффиціальномъ органѣ Московскаго Университета могла быть напечатана только по дозволенію, если не по одобренію начальства. Отвѣчать на нее удовлетворительно въ печати было невозможно при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ. По свидѣтельству А. В. Станкевича, Грановскій рѣшился возражать ей и показать несправедливость и вредное значеніе статьи въ Запискѣ, которую онъ предназначилъ для В. И. Назимова. Онъ надѣялся своей Запиской отвратить возможность появленія въ университетской газетѣ новыхъ статей, подобныхъ той, на которую возражалъ.

Своимъ откровеннымъ объясненіемъ, своими правдивыми словами, высказываемыми съ свойственнымъ ему тактомъ и всегда присущею ему вѣрою въ побѣждающую силу добра и правды, онъ нерѣдко успѣвалъ отклонять ложныя понятія и вредныя дѣйствія, къ которымъ лучшіе люди относились только съ молчаливымъ негодованіемъ".

Черновая рукопись Записки или письма Грановскаго сохранилась среди его бумагъ. „Никто не знаетъ о моемъ намѣреніи писать къ вамъ", — читаемъ въ рукописи, — „я взялся за перо, какъ профессоръ и какъ человѣкъ, искренно преданный и многимъ обязанный вамъ. Если письмо мое навлечетъ на меня ваше неудовольствіе, мнѣ будетъ больно, но я не раскаюсь въ поступкѣ, внушенномъ мнѣ моимъ понятіемъ о долгѣ вообще и личною привязанностію, къ вамъ въ особенности. Вопросъ поставленъ такъ, что онъ становится почти личнымъ для каждаго образованнаго Русскаго. Каждый изъ насъ невольно спроситъ себя: на кого мѣтитъ эта статья? Для чего провелъ авторъ эту странную, но, къ счастью, несуществующую черту между старымъ и молодымъ? На какомъ основаніи заподозрѣно благомысліе нашей Литературы и приписаны ей нечистыя цѣли и гибельное, ненавистное направленіе"?

„Грановскій допускалъ",—замѣчаетъ А. В. Станкевичъ,— „что авторъ статьи имѣлъ благія намѣренія, хотѣлъ сказать полезное слово, но оно не достигло своей цѣли. Оно заслужило одобреніе людей, радостно подхватывающихъ всякую выходку противъ Науки или Литературы, смотрящихъ на каждаго писателя или даже просто образованнаго человѣка, какъ на вольнодумца и безбожника. Дѣды этихъ людей ненавидѣли Петра Великаго; внуки ненавидятъ его дѣло. Не они ли радовались и ликовали, когда разнеслись слухи о возможности закрытія университетовъ"?

Грановскій замѣчалъ, что у насъ въ Россіи нельзя проводить рѣзкую черту между поколѣніями. У насъ были развитіе, успѣхъ, движеніе впередъ подъ вліяніемъ правитель-

ственныхъ мѣръ, постоянно улучшавшихъ средства образованія, но вражды между отдѣльными поколѣніями не было и не могло быть. Нѣкоторое разномысліе неизбѣжно между людьми зрѣлыми и юношами, но такое разномысліе не есть еще разрывъ стараго съ новымъ. На Западѣ слова старое и новое поколѣніе имѣютъ дѣйствительно другое значеніе. Тамъ они означаютъ враждующія партіи, изъ которыхъ одна стоитъ за старый, другая за совершенно новый порядокъ вещей. У насъ нѣтъ ничего подобнаго. „Не къ чему, слѣдовательно, было тревожить наше спокойное общество намеками на зло, отъ насъ далекое и по ходу Русской Исторіи у насъ едва ли возможное. Мнительность вредна. Зачѣмъ же искусственно развивать ее? Къ чему вводить въ искушеніе пугливые, подозрительные или недоброжелательные умы, намекая на существованіе необличенныхъ еще государственныхъ преступниковъ, тайныхъ враговъ общественнаго порядка въ негустыхъ рядахъ нашей Литературы? Писателей и ученыхъ нашихъ, старыхъ и молодыхъ, немного, ихъ перечесть не трудно. Чѣмъ заслужили они обвиненія, можетъ быть безъ намѣренія высказанныя въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*? Наше правительство образованнѣе народа, оно крѣпко и твердо, оно располагаетъ не только настоящими, но и будущими судьбами преданной ему Россіи, слѣдовательно, оно не имѣетъ надобности торопиться и дѣйствовать крутыми мѣрами на общественное мнѣніе. У него есть средства руководить этимъ мнѣніемъ, просвѣщать его, не нанося ему болѣзненныхъ ранъ. Какъ же Русскому человѣку, тѣмъ болѣе писателю, не оцѣнить выгодъ нашего положенія, допускающихъ мирное и зрѣлое развитіе идей, ведущихъ къ благосостоянію всѣхъ и каждаго. Намъ ли бросать въ общество сѣмя ненужныхъ раздоровъ и распрей“? [147]).

Въ концѣ сентября 1851 года, посѣтилъ Москву министръ Народнаго Просвѣщенія князь П. А. Ширинскій-Шихматовъ. „Посѣщеніе министра“,—замѣчаютъ Московскіе лѣтописцы,—„облеченнаго высочайшею довѣренностью, всегда

имѣетъ благотворныя послѣдствія, которыя не преминутъ оказаться и въ семъ случаѣ". 27 сентября, министръ посѣтилъ Университетъ и присутствовалъ на лекціяхъ протоіерея Терновскаго, Грановскаго, Крылова и Драшусова. На другой день министръ опять посѣтилъ Университетъ и присутствовалъ на лекціяхъ Лясковскаго, Соловьева, Фишера, Спасскаго, Брашмана и протоіерея Терновскаго. Въ тотъ же день вечеромъ министръ присутствовалъ въ Университетѣ на классическихъ бесѣдахъ и педагогическихъ упражненіяхъ, происходившихъ подъ руководствомъ Шевырева; здѣсь студенты читали свои сочиненія по различнымъ предметамъ Словесности. 29 сентября министръ присутствовалъ на лекціяхъ Топорова, протоіерея Терновскаго, Щуровскаго, Леонтьева, Кудрявцева, Шевырева. 30 сентября, въ воскресенье, министръ слушалъ въ университетской церкви божественную литургію, которую совершалъ протоіерей Терновскій соборнѣ съ законоучителями гимназій. При богослуженіи находились профессора, студенты и гимназисты. Наканунѣ Покрова, министръ присутствовалъ на всенощномъ бдѣніи въ университетской же церкви, а въ самый праздникъ, послѣ обѣдни, осматривалъ Древлехранилище Погодина. На другой день, 2 октября, происходило прощаніе министра съ профессорами и студентами и при этомъ министръ выразилъ надежду, что „желѣзная дорога, которая соединитъ скоро обѣ столицы, дастъ ему возможность еще чаще посѣщать старѣйшій изъ Русскихъ университетовъ [148]).

Въ виду приближающагося столѣтняго юбилея Московскаго Университета, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину (3 мая 1851 г.): „Исторію Университета пора бы написать, вмѣсто пустыхъ концертовъ и отрывочныхъ лекцій. Харьковскій и Петербургскій университеты и Кіевская Академія насъ въ этомъ опередили... Для исторіи надобно имѣть свѣдѣнія оффиціальныя. Послѣ 1812 года, кажется, не осталось никакихъ бумагъ: поэтому единственнымъ источникомъ могутъ служить *Московскія Вѣдомости*. Отъ лицъ же нѣкоторыхъ узнаете

вы только часть анекдотическую". По поводу же просьбы ректора Московскаго Университета, обращенной къ И. И. Давыдову, прислать его жизнеописаніе для Исторіи Университета, Давыдовъ въ письмѣ къ Погодину излагаетъ свой взглядъ вообще на автобіографіи. „Ректоръ требуетъ",—писалъ онъ,— „отъ меня жизнеописанія моего. Но я почитаю всѣ автобіографіи, не исключая Руссовой, Гетевой, Ламартиновой и другихъ, нелѣпостями. Эти господа пишутъ свой портретъ по какому-то идеалу; а развѣ это историческій матеріалъ? Довольно, при жизни нашей, формулярнаго списка; исторія же каждаго есть уже надгробный памятникъ. Ужели изъ тысячъ нѣсколькихъ нашихъ воспитанниковъ и учениковъ не найдется хоть одинъ честный человѣкъ, который изъ формулярнаго списка не составитъ полный рисунокъ"? [149]).

Но Погодинъ, не желая имѣть одну только оффиціальную Исторію Московскаго Университета, обратился съ просьбою къ старѣйшему его питомцу Ильѣ Ѳедоровичу Тимковскому, написать о старомъ Университетѣ девяностыхъ годовъ прошлаго XVIII-го столѣтія, о Шуваловѣ, Херасковѣ, обо всѣхъ профессорахъ того времени...

Почтенный старецъ исполнилъ желаніе Погодина, и въ *Москвитянинѣ* былъ напечатанъ *Памятникъ Ивану Ивановичу Шувалову. Основателю и первому куратору Императорскаго Московскаго Университета*, подъ которымъ подписано: „Статскій совѣтникъ, докторъ обоихъ правъ и философіи, королевскаго Геттингенскаго Ученаго Общества членъ и кавалеръ Илья Ѳедоровъ сынъ Тимковскій. 25 марта 1851 года, въ Турановкѣ на Шостнѣ" [150]).

XXXVII.

На четвертой публичной лекціи Шевырева, по стѣнамъ аудиторіи было развѣшено семь громадныхъ картинъ, писанныхъ соковыми красками, съ тѣми же самыми изображеніями, какъ и на Ватиканскихъ коврахъ. Картины эти принадле-

жали А. Д. Лухманову и достались ему по наслѣдству отъ отца его, а послѣднимъ пріобрѣтены были, въ 1815 году, у графини Варвары Николаевны Ягужинской, жившей въ своемъ селѣ Софринѣ, по дорогѣ къ Троицкой Лаврѣ. Здѣсь, по показанію Шевырева, лежали эти сокровища заброшенными въ сараѣ. По преданію, картины эти куплены были графомъ Павломъ Ивановичемъ Ягужинскимъ въ Римѣ и съ тѣхъ поръ оставались въ его родѣ.

Окончивъ свой публичный курсъ, С. П. Шевыревъ напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* двѣ статьи, подъ заглавіемъ: *Рафаэлевскія картины, принадлежащія А. Д. Лухманову* [151]). Статьи эти „привлекли толпы народа изъ всѣхъ сословій въ залу Университета въ продолженіе страстной и святой недѣль: монахи, священники, купцы, мѣщане, воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній, дамы всѣхъ круговъ, чиновники всѣхъ разрядовъ. Съѣздъ до двадцати пяти каретъ. До ста человѣкъ бывало въ залѣ. Съѣзды бывали какъ на балъ". Сообщая это Погодину, Шевыревъ прибавилъ: „Наконецъ, вчера опять графъ Строгановъ съ лорнетомъ часа два былъ въ залѣ и вглядывался... Но для тебя все это закрыто, ибо ты живешь не въ Москвѣ, а въ своемъ кабинетѣ" [152]).

Въ первой статьѣ своей Шевыревъ „изложилъ исторію ковровъ Ватиканскихъ и картоновъ, по которымъ они были сотканы. Изслѣдованіе, основанное на историческихъ данныхъ, привело его къ заключенію, что живописныя холстины, которыя принадлежатъ Лухманову, не могли быть скопированы съ ковровъ послѣ 1527 года, ибо въ этомъ году была уничтожена писанная половина ковра, изображающаго ослѣпленіе волхва. Шевыревъ предложилъ гипотезу, что Лухмановскія холстины могли служить моделью для тканья ковровъ Аррасскихъ. Во второй статьѣ профессоръ Шевыревъ, познакомилъ публику съ содержаніемъ ковровъ и съ ихъ художественнымъ значеніемъ въ Исторіи живописи Итальянской. Здѣсь предложены были мнѣнія всѣхъ первоклассныхъ ученыхъ, писавшихъ объ этомъ предметѣ. Всѣ они единогласно

ставили эти произведенія Рафаэля въ отношеніи къ сочиненію, расположенію и выраженію, на самую высшую степень развитія, какъ живописи Итальянской вообще, такъ и самого Рафаэля.

Двѣ эти статьи имѣли то дѣйствіе, что, какъ мы уже замѣтили, вся публика Московская пожелала познакомиться съ знаменитыми произведеніями, и любопытные всѣхъ классовъ, въ продолженіе мѣсяца, собиралась толпами въ залы университетскія. „Утѣшительное явленіе“,— замѣчаетъ по этому поводу Погодинъ,—„которому нельзя было не радоваться, нельзя было довольно возблагодарить почтеннаго Шевырева, который умѣлъ возбудить общій интересъ публики, и къ чему—къ изорваннымъ, блѣднымъ холстинамъ! Можно было не соглашаться съ нимъ; можно было опровергать его мнѣнія, объясненія, предположенія, и друзья Искусства приняли бы съ благодарностью всякое мнѣніе противоположное, но не болѣе“ [153]).

Между тѣмъ, противъ этихъ статей Шевырева ополчился графъ С. Г. Строгановъ, и въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* напечаталъ два письма на имя редактора *Вѣдомостей*, т.-е. М. Н. Каткова [154]). По свидѣтельству Буслаева, графъ Строгановъ видѣлъ настоящую работу Рафаэля и его учениковъ только въ Гэмптонкурскихъ (близъ Лондона) бумажныхъ картонахъ, а за Лухмановскими холстами вовсе не признавалъ того высокаго значенія, какое приписывалъ имъ Шевыревъ [155]). Въ первомъ письмѣ графа Строганова Погодинъ замѣтилъ „странную опечатку, въ которой“,—пишетъ онъ,—„нельзя не обвинить редакціи,—о ткани Пенелоповой: ткань была Пенелопина, а не Пенелопова. Ткала ее Пенелопа, жена Улиссова, а не Пенелопъ“. Далѣе, Погодинъ продолжаетъ: „Еслибъ въ этой статьѣ не было употреблено въ началѣ несправедливое слово о навязываньѣ, еслибъ не были вставлены въ срединѣ аршины и еслибъ въ концѣ не была приведена Французская пословица о друзьяхъ и врагахъ, то статья выиграла бы очень много. Докажемъ наше замѣчаніе: 1) всякій, кто

жали А. Д. Лухманову и достались ему по наслѣдству отъ отца его, а послѣднимъ пріобрѣтены были, въ 1815 году, у графини Варвары Николаевны Ягужинской, жившей въ своемъ селѣ Софринѣ, по дорогѣ къ Троицкой Лаврѣ. Здѣсь, по показанію Шевырева, лежали эти сокровища заброшенными въ сараѣ. По преданію, картины эти куплены были графомъ Павломъ Ивановичемъ Ягужинскимъ въ Римѣ и съ тѣхъ поръ оставались въ его родѣ.

Окончивъ свой публичный курсъ, С. П. Шевыревъ напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* двѣ статьи, подъ заглавіемъ: *Рафаэлевскія картины, принадлежащія А. Д. Лухманову* [151]). Статьи эти „привлекли толпы народа изъ всѣхъ сословій въ залу Университета въ продолженіе страстной и святой недѣль: монахи, священники, купцы, мѣщане, воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній, дамы всѣхъ круговъ, чиновники всѣхъ разрядовъ. Съѣздъ до двадцати пяти каретъ. До ста человѣкъ бывало въ залѣ. Съѣзды бывали какъ на балъ". Сообщая это Погодину, Шевыревъ прибавилъ: „Наконецъ, вчера опять графъ Строгановъ съ лорнетомъ часа два былъ въ залѣ и вглядывался... Но для тебя все это закрыто, ибо ты живешь не въ Москвѣ, а въ своемъ кабинетѣ" [152]).

Въ первой статьѣ своей Шевыревъ „изложилъ исторію ковровъ Ватиканскихъ и картоновъ, по которымъ они были сотканы. Изслѣдованіе, основанное на историческихъ данныхъ, привело его къ заключенію, что живописныя холстины, которыя принадлежатъ Лухманову, не могли быть скопированы съ ковровъ послѣ 1527 года, ибо въ этомъ году была уничтожена писанная половина ковра, изображающаго ослѣпленіе волхва. Шевыревъ предложилъ гипотезу, что Лухмановскія холстины могли служить моделью для тканья ковровъ Аррасскихъ. Во второй статьѣ профессоръ Шевыревъ, познакомилъ публику съ содержаніемъ ковровъ и съ ихъ художественнымъ значеніемъ въ Исторіи живописи Итальянской. Здѣсь предложены были мнѣнія всѣхъ первоклассныхъ ученыхъ, писавшихъ объ этомъ предметѣ. Всѣ они единогласно

ставили эти произведенія Рафаэля въ отношеніи къ сочиненію, расположенію и выраженію, на самую высшую степень развитія, какъ живописи Итальянской вообще, такъ и самого Рафаэля.

Двѣ эти статьи имѣли то дѣйствіе, что, какъ мы уже замѣтили, вся публика Московская пожелала познакомиться съ знаменитыми произведеніями, и любопытные всѣхъ классовъ, въ продолженіе мѣсяца, собиралась толпами въ залы университетскія. „Утѣшительное явленіе“,— замѣчаетъ по этому поводу Погодинъ,—„которому нельзя было не радоваться, нельзя было довольно возблагодарить почтеннаго Шевырева, который умѣлъ возбудить общій интересъ публики, и къ чему—къ изорваннымъ, блѣднымъ холстинамъ! Можно было не соглашаться съ нимъ; можно было опровергать его мнѣнія, объясненія, предположенія, и друзья Искусства приняли бы съ благодарностью всякое мнѣніе противоположное, но не болѣе“ [153]).

Между тѣмъ, противъ этихъ статей Шевырева ополчился графъ С. Г. Строгановъ, и въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* напечаталъ два письма на имя редактора *Вѣдомостей*, т.-е. М. Н. Каткова [154]). По свидѣтельству Буслаева, графъ Строгановъ видѣлъ настоящую работу Рафаэля и его учениковъ только въ Гэмптонкурскихъ (близъ Лондона) бумажныхъ картонахъ, а за Лухмановскими холстами вовсе не признавалъ того высокаго значенія, какое приписывалъ имъ Шевыревъ [155]). Въ первомъ письмѣ графа Строганова Погодинъ замѣтилъ „странную опечатку, въ которой“,—пишетъ онъ,—„нельзя не обвинить редакціи,—о ткани Пенелоповой: ткань была Пенелопина, а не Пенелопова. Ткала ее Пенелопа, жена Улиссова, а не Пенелопъ“. Далѣе, Погодинъ продолжаетъ: „Еслибъ въ этой статьѣ не было употреблено въ началѣ несправедливое слово о навязываньѣ, еслибъ не были вставлены въ срединѣ аршины и еслибъ въ концѣ не была приведена Французская пословица о друзьяхъ и врагахъ, то статья выиграла бы очень много. Докажемъ наше замѣчаніе: 1) всякій, кто

имѣетъ свое мнѣніе и выражаетъ его съ убѣжденіемъ, желаетъ, чтобъ оно было принято, это очень естественно, но навязать мнѣніе насильно нельзя: Шевыревъ предлагалъ свое мнѣніе, а не навязывалъ никому. 2) О подлинности картоновъ я судить не смѣю и не возьмусь, потому что принадлежу къ числу скромныхъ любителей Искусства, а не знатоковъ, но еслибы Лухмановскіе картоны и были неподлинные, а только копіи съ подлинныхъ, то все-таки, для оцѣнки ихъ, должно употребить не разные аршины, а чувство изящнаго, которое оскорбляется неприличнымъ словомъ. Наконецъ, 3) о Французской поговоркѣ: *o mon Dieu, preserve moi de mes amis, je saurai bien me defendre de mes ennemis*... Она прекрасна и очень вѣрна, но употреблена здѣсь совершенно некстати: кто врагъ? кто другъ? Изъ истинныхъ друзей Искусства (и болѣе чѣмъ Искусства), вѣрно никто не совѣтовалъ Лухманову вести картоны въ Англію (о личныхъ друзьяхъ здѣсь рѣчи нѣтъ), а напротивъ, вѣрно просили всѣ, чтобъ онъ подождалъ еще нѣсколько времени: авось, судьба сжалится надъ нами, и пошлетъ намъ между богатыми людьми истинныхъ любителей и покровителей Искусства, истинныхъ меценатовъ, которые не будутъ мѣрять картинныя холстины аршинами, не будутъ цѣнить произведенія таланта и труда по пристрастію, капризу или извѣтамъ, а по существенному достоинству, которые не будутъ удерживаться изъ-за-какихъ нибудь мелкихъ сомнѣній, соображеній или разсчетовъ, въ пріобрѣтеніи для Москвы, для Россіи такихъ драгоцѣнностей и рѣдкостей, какъ напримѣръ, единственное въ Европѣ Голицынское собраніе, отправляющееся также, говорятъ, въ Англію съ эскизами Леонарда да Винчи, Микель Анджела, Рафаэля, Гвидо-Рени, Доминикина, Голбейна, Дюрера, купленное господиномъ Жоли за безцѣнокъ,—и Лухмановскіе картоны, суть ли они подлинные или копіи".

Погодинъ не оставилъ безъ вниманія и второго письма графа Строганова. „Во второй статьѣ,—пишетъ онъ,—графъ Строгановъ выразился очень поверхностно, темно, въ отно-

шеніи историческомъ и художественномъ; видно было психологически, что ему никакъ не хочется оставить за Лухмановскими картонами никакого достоинства: въ такомъ только расположеніи могъ онъ проговориться, что у него *гора свалилась съ плечъ*, когда не нашелъ онъ страшнаго для себя доказательства со стороны Іордана о подлинности картоновъ. Кто любитъ истину, для того она дороже своего мнѣнія. Почему было ему бояться доказательствъ Іордановыхъ? Я писалъ, напримѣръ, очень много за Нестора, но еслибъ кто положительно доказалъ мнѣ, что лѣтопись принадлежитъ не Нестору, а такому-то NN, и показалъ мнѣ ея подлинникъ, я обрадовался бы безъ памяти. Точно такъ гора свалилась бы у меня съ плечъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но отъ удовольствія, а не отъ досады, еслибъ кто доказалъ мнѣ, что Варяги-Русь были не Нѣмецкіе Норманны, которымъ я посвятилъ однакожъ лѣтъ десять, лучшихъ въ жизни, и на которыхъ основано многое въ моей системѣ изслѣдованій о Древней Русской Исторіи. При этомъ же случаѣ графъ Строгановъ вспомнилъ объ одномъ словѣ Петра I Меньшикову: *Данилычъ, Данилычъ, и этого не съумѣлъ сдѣлать!* Но выраженіе сильно; Петръ I оставилъ намъ много и другихъ завѣтныхъ словъ и выраженій, съ которыми надо обходиться впрочемъ осторожно, потому что это мечи обоюдоострые. Шевыревъ очень хорошо сдѣлалъ, что въ своемъ отвѣтѣ оставилъ это мѣсто безъ вниманія. Шевыревъ объяснилъ подробно, почему нельзя было прибѣгнуть къ суду Іордана, который уѣхалъ изъ Москвы, прежде чѣмъ картоны явились на сцену полемики, и повторилъ, что вѣрно о подлинности картоновъ онъ не думалъ никогда рѣшать окончательно: рѣшеніе принадлежитъ знаменитымъ, опытнымъ художникамъ, а онъ собралъ только историческія данныя для ихъ соображенія“ [156]).

Такъ заступился Погодинъ за своего друга Шевырева и послѣдній писалъ ему: „Статья твоя о полемикѣ прекрасна,— но ужъ Строганова разбранилъ слишкомъ. Зачѣмъ возбуждать

и питать вѣчную вражду [157])?“ Это испугало Погодина и онъ, подъ 26 апрѣля 1851, записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „А глупо я сдѣлалъ, что выступилъ противъ Строганова“.

Съ своей стороны, и Шевыревъ не сдавался. Въ рядѣ статей онъ отвѣчалъ на возраженія графа Строганова [158]).

Заканчивая эту полемику, Шевыревъ писалъ Погодину: „Твои заботы обо мнѣ, по случаю отвѣта графу Строганову, я принялъ съ чувствомъ благодарности, и женѣ были очень пріятны. Но что же послѣ ты замолчалъ совершенно, когда всѣ друзья и сторонніе окружили меня поздравленіями съ побѣдой? — И до сихъ поръ молчишь. — Сегодня печатается другой отвѣтъ — графу Строганову. Не пріѣдешь ли выслушать“?

Хотя Шевыревъ и воздерживалъ своего друга отъ рѣзкаго тона въ полемикѣ съ графомъ Строгановымъ, но вскорѣ и самъ въ жару полемическомъ писалъ тому же Погодину: „Надобно передать В. И. Назимову, что до тѣхъ, пока графъ Строгановъ въ Москвѣ, Университетъ не будетъ имѣть покоя. Государь прекрасно бы сдѣлалъ, еслибы сослалъ его въ Пермь. Пусть бы тамъ онъ выдѣлывалъ свою соль, чѣмъ здѣсь солить честнымъ людямъ, которые занимаются дѣломъ и наукою и истребляютъ плевелы, имъ посѣянные“.

Въ пользу мнѣнія графа Строганова, въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* выступилъ Н. Ѳ. фонъ-Крузе и написалъ *Нѣсколько словъ о холстинахъ г. Лухманова*, и при этомъ заявилъ: „занимаясь болѣе пятнадцати лѣтъ живописью, по одной любви къ Искусству, я считаю себя тоже въ нѣкоторомъ правѣ сказать нѣсколько словъ о холстинахъ г. Лухманова“. Это послужило поводомъ къ новой полемикѣ Шевырева, которая отличалась необыкновенною ѣдкостью. На сторонѣ графа Строганова стоялъ и Д. А. Ровинскій. „Вчера Ровинскій“ — писалъ Шевыревъ Погодину, — „явился на картоны и пустился врать разные вздоры. Изъ словъ его замѣтилъ, что онъ тоже привитаетъ около графа Строганова, ибо сообщалъ подробности объ его сношеніяхъ съ Лухмановымъ по случаю картоновъ... Вѣроятно, Забѣлинъ вводитъ къ нему Ровинскаго“.

XXXVIII.

Прекратившаяся на время полемика вскорѣ возобновилась. Противъ Шевырева въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* выступилъ самъ М. Н. Катковъ, и „новая ткань *Пенелопова*“,— замѣчаетъ Погодинъ,—„обѣщаетъ не уступать въ длинѣ знаменитой древней ткани *Пенелопиной*, и чуть ли не грозитъ однымъ читателямъ даже безконечностью, а шить изъ нея нечего...“

Полемическія статьи Каткова до глубины души возмутили Шевырева. „Меня занимаетъ“,—писалъ онъ Погодину,—„не статьи Каткова, а дѣйствіе Попечителя и мои отношенія къ нему. Онъ самъ обѣщалъ мнѣ, что статей противъ меня въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* не будетъ, что и за тѣ былъ Каткову выговоръ.—Какъ же его-то не слушаетъ?—Катковъ могъ отвѣчать мнѣ въ *Отечественныхъ Запискахъ* или въ *Современникѣ*, но какъ же позволить Каткову употреблять противъ меня орудіемъ *Московскія Вѣдомости*, которыя онъ презъ меня же имѣетъ, какъ сказалъ мнѣ это самъ Попечитель?... Позволено было графу Строганову напечатать двѣ статьи противъ меня съ оскорбительными выходками. Выпущенъ былъ съ двумя статьями на меня какой-то никому неизвѣстный фонъ-Брузе, и на первую статью его я, бившись цѣлый день, отъ 7 часовъ утра до 9-ти часовъ вечера, едва получилъ позволеніе напечатать отвѣтъ. Наконецъ, и самъ Катковъ выходитъ противъ меня съ двумя статьями, изъ которыхъ послѣдняя есть итогъ завершающаго сознанья превращеннаго въ актъ злобы, ненависти и неистовой брани противъ меня, и напечатана послѣ того, какъ Попечитель далъ мнѣ слово, что статей противъ меня въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* не будетъ. Какъ же объяснить мнѣ дѣйствіе Попечителя? Я, кажется, рѣшусь къ нему написать письмо, въ которомъ, изложивъ обстоятельства дѣла, заключу: Если *Московскія Вѣдомости* не напечатаютъ извиненія въ помѣщеніи замѣтокъ своихъ, то я

подаю въ отставку, а объявленіе ихъ должно быть такое: *Редакція Московскихъ Вѣдомостей сознается въ неприличномъ тонѣ и содержаніи замѣтокъ своихъ, помѣщенныхъ въ такихъ-то нумерахъ, сожалѣетъ о ихъ помѣщеніи и извиняется въ томъ передъ читателями.*—Если это не сдѣлаютъ, я выхожу въ отставку. Можетъ быть и къ лучшему. Если въ этотъ разъ я поступлю слабо и не настою на извиненіи, тогда мнѣ нельзя служить въ Университетѣ. Оскорбленіямъ не будетъ конца. Отъ Попечителя я вижу рукожатья, объятья, учтивости,—и, что всего лучше, нѣсколько добрыхъ дѣлъ, сдѣланныхъ имъ по моей просьбѣ (Пѣховскому, Степанову, прощеніе одного студента и другія, удержаніе Каткова при Университетѣ и мѣсто ему редактора.....); но я не вижу отъ него никакой поддержки, и онъ выдаетъ меня головою тому же Каткову, который черезъ меня получилъ же добро отъ него. Если это слабость въ немъ, то она можетъ имѣть другія болѣе непріятныя для меня послѣдствія. Но почему знать?—Можетъ быть, тутъ скрывается и что-нибудь другое. Я не могу понять этихъ дѣйствій—и мой рѣшительный поступокъ можетъ объяснить мнѣ почву, на которой я стою въ Университетѣ. Сожалѣю очень, что не могу посовѣтоваться съ тобою. Рѣшимость моя есть плодъ не горячности, а соображенія. Оскорбленіе, дозволяемое начальникомъ, никакъ не можетъ быть снесено. Оно должно быть изглажено на мѣстѣ. *Московскія Вѣдомости* не газета Каткова, а газета оффиціальная. Катковъ не въ правѣ употреблять ее орудіемъ своей злобы. Если ему это позволяется, стало быть, начальство само употребляетъ его орудіемъ своихъ оскорбленій противъ меня.—А если это такъ, то я разстаюсь съ такимъ начальствомъ. Силлогизмъ ясный. Пускай начальство дорожитъ болѣе Катковыми, чѣмъ мною. Хорошъ будетъ тогда Университетъ".

Изъ Порѣчья Погодинъ отвѣчалъ своему другу: „Крайнимъ шагомъ не доставляй торжества врагамъ. Ихъ та и цѣль, чтобъ дразня, заставить тебя отойти прочь. Но имѣй и то сознаніе, что, увлекаясь, ты подаешь имъ поводъ—этотъ

сучекъ я вижу въ тебѣ ясно, потому, можетъ быть, что не вижу своего бревна, какъ и всѣ мы. Говорю тебѣ, ибо усовершенствованіе не есть для тебя общее мѣсто. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ и минутахъ ты никакъ не долженъ вѣрить себѣ, а другимъ. Ты человѣкъ кабинета, науки, а не жизни, гдѣ ты чуть сдѣлаешь шагъ какой, наткнешься на что-нибудь;— а духъ времени злой, любовь изсякаетъ, но объ этомъ писать можно книгу... Графъ С. С. Уваровъ проситъ тебя забыть всѣ дрязги и всѣ непріятности, и для него пріѣхать поскорѣе въ Порѣчье".

Справедливость требуетъ замѣтить, что и между людьми близкими къ Погодину и Шевыреву не всѣ были на сторонѣ послѣдняго. Графиню Е. П. Ростопчину возмущалъ тонъ полемики. „Что скажете",—писала она Погодину,—„о ссорѣ по поводу Рафаэля? У насъ ничего не обходится безъ личностей и дрязгъ, а главное, пріятельскихъ сплетень. Стыдно и жалко! Ну, не правду ли я говорю, что мы сущіе дикари"!

Съ своей стороны, и М. А. Дмитріевъ и И. И. Давыдовъ въ этомъ спорѣ были единомысленны съ графомъ С. Г. Строгановымъ. „Мнѣ жалко читать о картонахъ", — писалъ Дмитріевъ Погодину,—„я ихъ видѣлъ и нынче и прежде: довольно на нихъ взглянуть, чтобы удостовѣриться въ ихъ посредственности.—Взгляните на руки Петра въ лодкѣ; сравните двѣ руки проконсула. Извините, надобно не имѣть понятія о живописи и никакого вкуса, чтобы вступаться за эти картоны. Я думаю, что С. П. Шевыревъ, повѣривши Хомякову, какъ началъ объ нихъ говорить и писать, такъ остановиться уже было и нельзя. А очень странно, если онъ имѣетъ такъ мало познанія въ живописи, что вѣритъ подлинности этихъ обоевъ. Есть мѣста нестерпимо-дурныя. Какъ бы Пушкинъ ни писалъ наскоро и небрежно, но все не напишетъ же ни одного куплета, какъ Сушковъ. Что тутъ спорить". Далѣе, Дмитріевъ упрекаетъ и самого Погодина: „Читалъ я вашу статью въ пользу Шевырева",—писалъ онъ,—„и вы слабо защищаете вашего пріятеля. Эти картоны

напоминаютъ мнѣ подлинникъ пѣсни Игоря, который нѣкогда Антонъ Бардинъ продалъ Малиновскому, и которому послѣ было стыдно".

Не менѣе рѣзко отозвался и И. И. Давыдовъ. „Ученому спору профессора съ графомъ",—писалъ онъ Погодину же,— „удивляются; потому что процессъ о Лухмановскихъ холстинахъ давно рѣшенъ Академіею Художествъ противъ Лухманова. О чемъ же еще спорить? Здѣсь всѣ на сторонѣ графа и фонъ Крузе. Крайне сожалѣю о самонадѣянности С. П. Шевырева. Справедливо говорятъ, что небо, когда хочетъ наказать кого, то посылаетъ гордость. Вотъ эту гордость и видимъ мы въ самонадѣянности. И къ чему было читать лекціи о живописи, а не о Русской Словесности? Вы въ этомъ кругомъ виноваты: Вы должны были сдерживать ретиваго коня".

Изъ того же Петербурга писалъ Погодину С. А. Соболевскій: „Благоволите сообщить мнѣ, почтеннѣйшій Москвитянинъ, слѣдующія data: въ какихъ журналахъ, нумерахъ оныхъ журналовъ помѣщены ратоборства Шевырева и, какъ говорятъ здѣсь, побѣдившаго его соперника, по поводу Лухмановскихъ картоновъ" [139]).

Много лѣтъ спустя, Ѳ. И. Буслаевъ, вспоминая объ этой полемикѣ, писалъ: „До сихъ поръ правда на сторонѣ графа С. Г. Строганова. Развѣшенныя нѣкогда въ аудиторіи картины, на которыя любовалась Московская публика, слушая лекціи краснорѣчиваго профессора, и теперь остаются не проданы, не смотря на то, что были посылаемы за границу и выставлены на выставкахъ Москвы. Будь это картины произведеніемъ Рафаэля, онѣ, какъ великая драгоцѣнность, уже давно бы красовались на первомъ мѣстѣ въ Петербургскомъ Эрмитажѣ или въ одной изъ лучшихъ галлерей Запада" [140]).

XXXIX.

На смѣну людей *сороковыхъ годовъ*, на аренѣ Русской Литературы стали появляться люди годовъ *пятидесятыхъ*. Эту смѣну поколѣній подмѣтилъ славянофилъ младшаго поколѣнія, И. С. Аксаковъ. 5 февраля 1851 года, изъ Ярославля, писалъ онъ къ своимъ родителямъ: „На дняхъ, пріѣхалъ сюда новый профессоръ Лицея кандидатъ Московскаго Университета Никольскій. Онъ привезъ мнѣ рекомендательное письмо отъ Соловьева. Чудакъ этотъ Соловьевъ! Отчего онъ пишетъ мнѣ: *милостивый государь Иванъ Сергѣевичъ?* А Никольскій умный и славный молодой человѣкъ, москвичъ настоящій; такъ отъ него несетъ Москвой и Университетомъ! Только молодъ еще и носитъ въ себѣ еще нѣсколько новѣйшихъ, позднѣйшихъ, послѣ насъ явившихся, молодыхъ поколѣній, состоящій въ томъ, что они черезъ большую часть вопросовъ *перешагнули*, не рѣшивъ ихъ, даже не задавшись ими... Странно какъ-то чувствовать себя не самымъ молодымъ поколѣніемъ, а попасть уже въ старшіе, выходитъ такъ! Мы и забыли, что мы старѣемъ, что каждый годъ приливаютъ новыя волны молодыхъ дѣлателей, горделивыхъ, заносчивыхъ, самонадѣянныхъ, какъ вообще молодость, и воображающихъ, что старшія поколѣнія уже сказали свое слово, что теперь ихъ очередь—провести въ міръ новое, несказанное слово,—точно такъ же, какъ и мы дѣлали, какъ мы воображали... Того и гляди, что и для насъ скоро настанетъ судъ потомства, чего добраго"!... [161]).

По счастію, намъ приходится помянуть добрымъ словомъ молодыхъ дѣятелей пятидесятыхъ годовъ *не горделивыхъ, не заносчивыхъ, не самонадѣянныхъ*, а почтенныхъ тружениковъ, которые, продолжая дѣло своихъ наставниковъ, дѣйствительно послужили великую службу Русскому Просвѣщенію и притомъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, кои въ началѣ своего жизненнаго поприща

напоминаютъ мнѣ подлинникъ пѣсни Игоря, который нѣкогда Антонъ Бардинъ продалъ Малиновскому, и которому послѣ было стыдно".

Не менѣе рѣзко отозвался и И. И. Давыдовъ. „Ученому спору профессора съ графомъ",—писалъ онъ Погодину же,— „удивляются; потому что процессъ о Лухмановскихъ холстинахъ давно рѣшенъ Академіею Художествъ противъ Лухманова. О чемъ же еще спорить? Здѣсь всѣ на сторонѣ графа и фонъ Крузе. Крайне сожалѣю о самонадѣянности С. П. Шевырева. Справедливо говорятъ, что небо, когда хочетъ наказать кого, то посылаетъ гордость. Вотъ эту гордость и видимъ мы въ самонадѣянности. И къ чему было читать лекціи о живописи, а не о Русской Словесности? Вы въ этомъ кругомъ виноваты: Вы должны были сдерживать ретиваго коня".

Изъ того же Петербурга писалъ Погодину С. А. Соболевскій: „Благоволите сообщить мнѣ, почтеннѣйшій Москвитянинъ, слѣдующія data: въ какихъ журналахъ, нумерахъ оныхъ журналовъ помѣщены ратоборства Шевырева и, какъ говорятъ здѣсь, побѣдившаго его соперника, по поводу Лухмановскихъ картоновъ" [159]).

Много лѣтъ спустя, Ѳ. И. Буслаевъ, вспоминая объ этой полемикѣ, писалъ: „До сихъ поръ правда на сторонѣ графа С. Г. Строганова. Развѣшенныя нѣкогда въ аудиторіи картины, на которыя любовалась Московская публика, слушая лекціи краснорѣчиваго профессора, и теперь остаются не проданы, не смотря на то, что были посылаемы за границу и выставлены на выставкахъ Москвы. Будь это картины произведеніемъ Рафаэля, онѣ, какъ великая драгоцѣнность, уже давно бы красовались на первомъ мѣстѣ въ Петербургскомъ Эрмитажѣ или въ одной изъ лучшихъ галлерей Запада" [160])

XXXIX.

На смѣну людей *сороковыхъ годовъ*, на аренѣ Русской Литературы стали появляться люди годовъ *пятидесятыхъ*. Эту смѣну поколѣній подмѣтилъ славянофилъ младшаго поколѣнія, И. С. Аксаковъ. 5 февраля 1851 года, изъ Ярославля, писалъ онъ къ своимъ родителямъ: „На дняхъ, пріѣхалъ сюда новый профессоръ Лицея кандидатъ Московскаго Университета Никольскій. Онъ привезъ мнѣ рекомендательное письмо отъ Соловьева. Чудакъ этотъ Соловьевъ! Отчего онъ пишетъ мнѣ: *милостивый государь Иванъ Сергѣевичъ?* А Никольскій умный и славный молодой человѣкъ, москвичъ настоящій; такъ отъ него несетъ Москвой и Университетомъ! Только молодъ еще и носитъ въ себѣ еще недостатокъ новѣйшихъ, позднѣйшихъ, послѣ насъ явившихся, молодыхъ поколѣній, состоящій въ томъ, что они черезъ большую часть вопросовъ *перешагнули*, не рѣшивъ ихъ, даже не задавшись ими... Странно какъ-то чувствовать себя не самымъ молодымъ поколѣніемъ, а попасть уже въ старшіе, а выходитъ такъ! Мы и забыли, что мы старѣемъ, что каждый годъ приливаютъ новыя волны молодыхъ дѣлателей, горделивыхъ, заносчивыхъ, самонадѣянныхъ, какъ вообще молодость, и воображающихъ, что старшія поколѣнія уже сказали свое слово, что теперь ихъ очередь—провести въ міръ новое, несказанное слово,—точно такъ же, какъ и мы дѣлали, какъ и мы воображали... Того и гляди, что и для насъ скоро настанетъ судъ потомства, чего добраго"!... [161]).

По счастію, намъ приходится помянуть добрымъ словомъ молодыхъ дѣятелей пятидесятыхъ годовъ *не горделивыхъ, не заносчивыхъ, не самонадѣянныхъ*, а почтенныхъ тружениковъ, которые, продолжая дѣло своихъ наставниковъ, дѣйствительно сослужили великую службу Русскому Просвѣщенію и притомъ тѣхъ изъ нихъ, кои въ началѣ своего жизненнаго поприща

имѣли то или другое отношеніе къ Погодину и его *Москвитянину*.

Знаменитый нашъ филологъ И. И. Срезневскій, занимаясь однажды въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ древними рукописями, увидѣлъ одинъ Сборникъ XV вѣка, и его вниманіе обратили на себя тѣ „карандашныя замѣтки, которыми была испещрена почти вся рукопись и которыя указывали на первые или ближайшіе источники содержанія древней рукописи, такъ подробно и такъ тщательно, какъ только можно желать". Подобныя же отмѣтки Срезневскій встрѣтилъ въ Архивскомъ экземплярѣ Бонскаго изданія Хроники Іоанна Малалы и въ Хронографѣ Московской Патріаршей Библіотеки. Эти замѣтки были всѣ одного почерка, почерка знакомаго впослѣдствіи многимъ изслѣдователямъ и любителямъ Русской Древней Письменности, почеркомъ Алексѣя Егоровича Викторова" [162]).

„Въ обиталищѣ Всероссійскихъ патріарховъ",—воспоминаетъ Ѳ. И. Буслаевъ,—„впервые увидѣлъ я человѣка, который потомъ въ теченіе цѣлыхъ тридцати лѣтъ былъ моимъ искреннимъ другомъ, усердно помогалъ мнѣ въ моихъ учебныхъ работахъ, и мы дѣлились съ нимъ нашими семейными радостями, заботами и печалями. Это былъ Алексѣй Егоровичъ Викторовъ" [163]).

По свидѣтельству А. Ѳ. Бычкова, Викторовъ родился 2 февраля 1827 года. Онъ былъ сынъ діакона села Студенникова, Мценскаго уѣзда, Орловской губерніи, Георгія Захарова. Въ 1841 году, его помѣстили въ Орловскую Духовную Семинарію, гдѣ онъ окончилъ курсъ въ 1846 году. Въ августѣ того же года, онъ поступилъ въ Московскую Духовную Академію и окончилъ тамъ курсъ въ 1850 году [164]).

Товарищемъ Викторова по Академіи былъ іеромонахъ Савва *), который по окончаніи курса, былъ возведенъ въ

---

*) Въ Бозѣ почилъ, 13 октября 1896 года, въ санѣ архіепископа Тверского и Кашинскаго.

санъ архимандрита и опредѣленъ ризничимъ Патріаршей Ризницы, а Викторовъ, по окончаніи курса, получилъ мѣсто въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и, подружившись съ знаменитымъ библіоманомъ В. М. Ундольскимъ, усвоилъ себѣ его спеціальность, и пристрастился къ древнимъ рукописямъ и старопечатнымъ книгамъ. Въ свободное отъ службы время, онъ проводилъ у своего товарища, архимандрита Саввы, помогалъ ему въ его археологическихъ трудахъ, а самъ неутомимо изучалъ и изслѣдовалъ сокровища Московской Патріаршей Библіотеки, которую онъ зналъ, по свидѣтельству Ѳ. И. Буслаева, „какъ никто лучше“ [165]).

Немногимъ, можетъ быть, извѣстно, что любознательный умъ этого страстнаго любителя и знатока древнихъ рукописей и старопечатныхъ книгъ, стремился проникнуть и въ таинства Германской Литературы. Памятникомъ сего стремленія можетъ служить слѣдующее письмо Викторова къ Погодину, отъ 3 іюня 1851 года. Съ этого времени и начинаются неизмѣнно-дружелюбныя сношенія Викторова съ Погодинымъ. „Перечитывая недавно“, — писалъ Викторовъ, — „эстетическія и критическія статьи и журнальные отрывки Шиллера, я пришелъ къ мысли, что многіе изъ нихъ могли бы быть переведены на Русскій языкъ и съ большою пользою прочтены любителями серьезнаго чтенія. Глубина и многообъемлемость взгляда, сила мысли, поразительная вѣрность идей, послужившихъ, можно сказать, корнемъ для позднѣйшей и современной эстетики, необыкновенная логическая строгость въ выводахъ, точность въ изложеніи... всѣ эти и другія неотъемлемыя достоинства ученыхъ сочиненій Шиллера дѣлаютъ то, что они никогда не потеряютъ своей цѣны. Поэтому, если вамъ, милостивый государь, угодно раздѣлять мое мнѣніе, и согласиться на мое предложеніе, я съ большимъ удовольствіемъ взялъ бы на себя трудъ перевести нѣкоторыя изъ нихъ на Русскій языкъ и помѣстить въ *Москвитянинѣ*, какъ въ единственномъ изданіи съ серьезнымъ критическимъ направленіемъ. Первоначальное мое желаніе собственно было перевести извѣст-

ныя письма Шиллера *объ эстетическомъ воспитаніи*; но такъ какъ это потребовало бы довольно времени, на что, не получивъ предварительно вашего согласія, помѣстить мой переводъ въ вашемъ журналѣ, я не могу рѣшиться, то на первый разъ я приготовилъ вчернѣ его небольшую журнальную статью о *Трагическомъ Искусствѣ*. Если вамъ угодно принять оной переводъ, я постараюсь окончательно пересмотрѣть его и доставить вамъ въ скоромъ времени. Очень жалѣю, что, не зная вашего адреса, я не могу съ вами переговорить объ этомъ (а равно и вообще о своемъ желаніи переводить что-либо для вашего журнала съ Нѣмецкаго) лично, и прошу извинить меня, если я безпокою васъ своимъ письмомъ, а еще болѣе своимъ желаніемъ письменнаго на него отвѣта; но, руководствуясь тою мыслью, что вы можете поручить кому-нибудь это сдѣлать, я даже прошу васъ поскорѣе извѣстить меня по городской почтѣ, угодно ли вамъ будетъ принять мое предложеніе, или не угодно, а равно и о томъ, что по вашему мнѣнію можно перевесть для *Москвитянина* изъ Шиллера. Имѣвъ случай довольно времени упражняться въ чтеніи и отчасти переводѣ различныхъ эстетическихъ и философскихъ сочиненій съ Нѣмецкаго языка, я льщу себя надеждою приготовить свой переводъ изъ Шиллера для вашего журнала съ надлежащею точностью и правильностью, и такимъ образомъ вознаградить васъ за дѣлаемое мною вамъ теперь безпокойство. *Адресъ мой: въ Кремлѣ — въ Синодальномъ домѣ, Синодальному Ризничему, Іеромонаху Саввѣ — для доставленія окончившему курсъ воспитаннику Московской Духовной Академіи*. Для образца я представляю отрывокъ изъ приготовленнаго мною перевода: это начало изъ вышепоименованной мною статьи о *Трагическомъ Искусствѣ*[106]).

Въ селѣ Выдропускѣ, Новоторжскаго уѣзда, Тверской губерніи, 13 марта 1827 года, у тамошняго протоіерея Алексѣя Лавровскаго, родился сынъ Петръ. Отецъ его имѣлъ большое семейство, но мало матеріальныхъ средствъ. Сына своего Петра онъ помѣстилъ для обученія въ Новоторжское

уховное Училище. Дальнѣйшее же образованіе онъ получилъ ь Главномъ Педагогическомъ Институтѣ. „Объ этомъ Институтѣ“,—свидѣтельствуетъ А. Ѳ. Бычковъ,—„уже шла, особенно ь средѣ духовенства, громкая молва, какъ о заведеніи, не олько содержавшемъ и обучавшемъ воспитанниковъ на каенный счетъ, но дававшемъ имъ обезпеченное положеніе и о выходѣ изъ него“. Въ августѣ 1841 года, Петра Лавровкаго привезли въ С.-Петербургъ, а въ концѣ января 1842 года, нъ былъ принятъ въ число штатныхъ воспитанниковъ и отомъ поступилъ на Историко-Филологическій Факультетъ, и ь немъ для спеціальныхъ своихъ занятій избралъ Словенскую илологію, „такъ какъ, по словамъ его, видѣлъ въ ней все зое, родное“. Воспитаніе и образованіе въ Институтѣ, Лаовскій окончилъ въ іюлѣ 1851 года.

„Еще будучи на студенческой скамьѣ, Лавровскій напиалъ нѣсколько ученыхъ изслѣдованій, заслужившихъ полное добреніе профессоровъ“. Одно изъ такихъ изслѣдованій, о еймскомъ Евангеліи, написано по мысли И. И. Срезневкаго, которое, по мнѣнію А. Ѳ. Бычкова, „не утратило зоего значенія и въ настоящее время“.

17 августа 1851 года, Лавровскій былъ назначенъ исправляющимъ должность адъюнкта въ Харьковскій Университетъ, о каѳедрѣ Славянскихъ нарѣчій. Это назначеніе послѣдовало авнымъ образомъ по предложенію Срезневскаго [167]).

Провожая своего любимаго ученика на высокое поприще чителя, Срезневскій вручилъ ему слѣдующее рекомендательное исьмо къ Погодину (12 сентября 1851 года): „За особенное довольствіе считаю представить вамъ нашего молодого слависта *Петра Алексѣевича Лавровскаго*, только что снявшаго съ ебя мундиръ студента Педагогическаго Института, и уже олучившаго назначеніе преподавателя въ Харьковскій Унирситетъ, по каѳедрѣ Славянской Филологіи. Вы призрѣвали сѣхъ насъ, славистовъ, своимъ добрымъ сочувствіемъ къ руду и обязанностямъ нашимъ,—призрѣйте и его: онъ имѣетъ право на то, и нуждается въ этомъ, тѣмъ болѣе потому,

что онъ вполнѣ нашъ отъ первой бесѣды до послѣдней мысли, нашъ и тѣломъ и душою. Объ успѣхахъ его говоритъ его назначеніе, о надеждахъ, которыя можно на него возлагать, говорятъ его успѣхи. Еще прошу васъ: ознакомьте его съ сокровищами вашего музея, дайте ему доступъ къ нимъ, и подайте ему совѣты касательно выбора предмета для диссертаціи"...

XL.

Въ это же время, т.-е. въ 1851 году, выступилъ на литературное поприще и почтенный издатель *Русскаго Архива* Петръ Ивановичъ Бартеневъ. 26 января того года, профессоръ С. П. Шевыревъ писалъ Погодину: „Посылаю тебѣ переводъ одной Нѣмецкой брошюры объ Нѣмецкой Литературѣ, сдѣланный студентомъ Бартеневымъ. Переводъ хорошъ и брошюра интересна. Ты его наградишь небольшимъ: онъ бѣдный человѣкъ" [168]). Это была цѣлая книжка: *Göthe's Selbstcharacteristik aus seinen Briefen*. Переводъ съ нея остался въ рукописи.

П. И. Бартеневъ по рожденію своему принадлежитъ къ древнему дворянскому роду. Онъ увидѣлъ свѣтъ въ день Покрова Пресвятыя Богородицы 1829 года, въ родовомъ имѣніи своей матери, а моей бабушки, въ сельцѣ Королевщинѣ, близъ села Грязей, Липецкаго уѣзда, Тамбовской губерніи. Память о Державинѣ жила въ домѣ его родителей. Будучи Тамбовскимъ губернаторомъ, и пріѣзжая въ Липецкъ, Державинъ останавливался въ домѣ дѣда Бартенева, Петра Тимоѳеевича Бурцова, и разсказы о немъ съ дѣтскихъ лѣтъ возбудили въ Петрѣ Бартеневѣ любовь къ Словесности и усердіе къ Русской славѣ.

Имя родного дяди Бартенева, а моего дѣда, Алексѣя Петровича Бурцова, обезсмертилъ Д. В. Давыдовъ въ своемъ извѣстномъ посланіи къ нему:

Бурцовъ, ера, забіяка,
Собутыльникъ дорогой! и пр.

Первоначальное воспитаніе Бартеневъ получилъ въ Благородномъ Пансіонѣ при Рязанской Гимназіи, а съ 1847 по 1851 годъ слушалъ курсъ въ Московскомъ Университетѣ, по Словесному отдѣленію Историко-Филологическаго факультета. Наставниками его были: Шевыревъ, Бодянскій, Грановскій, Катковъ, Леонтьевъ, Соловьевъ, Буслаевъ. Не довольствуясь слушаніемъ ихъ лекцій, Бартеневъ „пользовался ихъ личною бесѣдою"; но особеннымъ „счастіемъ почитаетъ онъ въ своей литературной и общественной жизни", сближеніе съ Хомяковымъ, братьями Кирѣевскими, Елагиными и семьею Аксаковыхъ. Самый *Русскій Архивъ* основанъ Бартеневымъ по мысли Хомякова [169]) и вслѣдствіе памятныхъ ему бесѣдъ съ С. Т. Аксаковымъ.

Будучи студентомъ, Бартеневъ составлялъ словарь къ памятникамъ Русской Письменности до XIII вѣка включительно. Погодинъ, узнавъ объ этомъ, пріѣхалъ въ убогую заваленную книгами комнату его, просидѣлъ около часу, одобрилъ, ободрилъ и вслѣдъ за посѣщеніемъ своимъ прислалъ Бартеневу цѣлый возъ своего *Москвитянина* за прежніе годы. Но когда Бартеневъ, составивъ указатель къ этимъ книгамъ, напечаталъ его во *Временникѣ* Общества Исторіи и Древностей, позабывъ означить на заглавномъ листѣ кѣмъ именно *Москвитянинъ* издавался, Михаилъ Петровичъ обрушился на Бартенева градомъ укоризнъ. Однако, добрыя отношенія скоро возстановились, и Бартеневъ, какъ самъ говоритъ, доселѣ почитаетъ дружбу Погодина однимъ изъ лучшихъ достояній своей жизни.

Въ то время, когда Бартеневъ выступалъ на литературное поприще, возникла мысль о новомъ, достойномъ изданіи сочиненій Пушкина. Въ сентябрѣ 1851 года, Гоголь писалъ Погодину:

„Павелъ Васильевичъ Анненковъ, занимающійся изданіемъ сочиненій Пушкина и пишущій его біографію, просилъ меня свести его къ тебѣ затѣмъ, чтобы набрать и отъ тебя матеріаловъ и новыхъ свѣдѣній по этой части. Если найдешь возможнымъ удовлетворить, то по мѣрѣ силъ удовлетвори, а

особенно покажи ему старину, авось либо твое собраніе внушитъ уваженіе этимъ господамъ, до излишества живущимъ въ Европѣ" [170]). Къ этому предпріятію Анненкова весьма несочувственно отнесся другъ Пушкина П. А. Плетневъ. „Разсказывали ли вамъ", — писалъ онъ Погодину, — „какъ Анненковъ думаетъ разсортировать статьи Пушкина въ новомъ изданіи? Это что-то странное, чтобы не сказать нелѣпое. Для этихъ господъ Пушкинъ не болѣе, какъ и для Краевскаго, что-то поменьше Лермонтова".

Жизнь и творенія Пушкина уже и въ то время возбуждали въ Бартеневѣ величайшій интересъ и это сблизило его съ Погодинымъ. Въ *Дневникѣ* послѣдняго мы встрѣчаемъ записи: 1851, 12 іюня — „Молодому Бартеневу сообщилъ о Пушкинѣ"; 1851, 1—4 декабря — „Бартеневъ о Пушкинѣ".

Между тѣмъ, счастливый случай сблизилъ Бартенева съ Павломъ Воиновичемъ Нащокинымъ, другомъ Пушкина. Нащокинъ „внукъ извѣстнаго генерала и автора *Записокъ*, былъ однимъ годомъ моложе Пушкина, который подружился съ нимъ еще въ Царскосельскомъ Лицеѣ, навѣщая брата своего въ Лицейскомъ пансіонѣ, гдѣ воспитывался нѣкоторое время и Нащокинъ. Своеобразный умъ Нащокина, его талантливая, широкая натура и превосходное сердце рано полюбились Пушкину... Съ отъѣздомъ Пушкина на югъ, прекратилось ихъ сношеніе; но въ 1826 году, когда онъ возвращенъ былъ въ Москву и встрѣтилъ тамъ Нащокина, они снова сблизились и подружились крѣпко. Наѣзжая въ Москву, Пушкинъ останавливался у Нащокина и всегда радовался, что извощики изъ Почтамта умѣли привезти къ нему, не смотря на то, что онъ часто мѣнялъ квартиры. Хотя Нащокинъ могъ служить лучшимъ образцомъ плохого хозяина, проживъ на своемъ вѣку не одну тысячу душъ и спустивъ на разныя затѣи цѣлый рядъ наслѣдствъ, тѣмъ не менѣе Пушкинъ признавалъ въ немъ житейскую опытность и любилъ слѣдовать его совѣтамъ" [171]).

Для Бартенева же Нащокинъ имѣлъ интересъ какъ живой источникъ и какъ владѣлецъ безцѣннаго сокровища, — писемъ

ПУШКИНСКОГО ДОМА ИНСТИТУТА ... ПЕТЕРБУРГЪ

къ нему Пушкина. Получивъ дозволеніе списать эти письма, Бартеневъ, 12 октября 1851 года, писалъ Погодину: „Изъ писемъ Пушкина, сообщенныхъ мнѣ Нащокинымъ, не смотря на весь интересъ ихъ, къ сожалѣнію, кажется, почти ничего не можетъ пойти въ печать. Посылаю вамъ ихъ для пополненія вашего собранія".

Не смотря на это предостереженіе Бартенева, Погодинъ, ничѣмъ не смущаясь, напечаталъ письма Пушкина въ декабрьскомъ *Москвитянинѣ* 1851 года.

Увидѣвъ эти письма въ печати, Бартеневъ предъявилъ Погодину требованіе: „Если послѣдній нумеръ *Москвитянина* еще не розданъ, то надо вырвать письма Пушкина, потому что тамъ я встрѣтилъ сегодня величайшія небрежности и многое, что̀ печатать нельзя".

Разумѣется, для самого Нащокина напечатаніе писемъ къ нему Пушкина было совершенною неожиданностью и онъ написалъ Погодину слѣдующее письмо: „Вы себѣ представить не можете, какъ я былъ удивленъ, найдя письма Пушкина ко мнѣ напечатанными въ *Москвитянинѣ*. Неужели, Михаилъ Петровичъ, живя въ одномъ городѣ и въ такомъ близкомъ разстояніи, вы не нашли нужнымъ меня о томъ предупредить, не говорю спроситься, хотя, казалось бы, такъ слѣдовало. Простите меня великодушно, но дѣлать нечего, я долженъ вамъ высказать тѣ причины, по которымъ появленіе этихъ писемъ поразило меня такъ непріятно. Не ставлю я ...я во что, что вы лишили меня, сдѣлавъ ихъ публичными, права собственности, за которое, кромѣ меня, всякій бы ...тупился. Память Пушкина мнѣ дорога не по знаменитости его въ литературномъ мірѣ, а по тѣсной дружбѣ, которая ...съ связывала, и потому письма его, писанныя ко мнѣ съ ...брежностью, но со всею откровенностью дружбы, драгоценны мнѣ, а въ литературномъ отношеніи цѣнности никакой ...имѣютъ, но еще могутъ служить памяти его укоризною. ...не знаю, что̀ вы изъ нихъ напечатали и какъ они напечатаны: ибо мнѣ страшно, и теперь боюсь заглянуть въ книгу,

особенно покажи ему старину, авось либо твое собраніе внушитъ уваженіе этимъ господамъ, до излишества живущимъ въ Европѣ“ [170]). Къ этому предпріятію Анненкова весьма несочувственно отнесся другъ Пушкина П. А. Плетневъ. „Разсказывали ли вамъ“,—писалъ онъ Погодину,—„какъ Анненковъ думаетъ разсортировать статьи Пушкина въ новомъ изданіи? Это что-то странное, чтобы не сказать нелѣпое. Для этихъ господъ Пушкинъ не болѣе, какъ и для Краевскаго, что-то поменьше Лермонтова“.

Жизнь и творенія Пушкина уже и въ то время возбуждали въ Бартеневѣ величайшій интересъ и это сблизило его съ Погодинымъ. Въ *Дневникѣ* послѣдняго мы встрѣчаемъ записи: 1851, 12 іюня — „Молодому Бартеневу сообщилъ о Пушкинѣ“; 1851, 1—4 декабря—„Бартеневъ о Пушкинѣ“.

Между тѣмъ, счастливый случай сблизилъ Бартенева съ Павломъ Воиновичемъ Нащокинымъ, другомъ Пушкина. Нащокинъ „внукъ извѣстнаго генерала и автора *Записокъ*, былъ однимъ годомъ моложе Пушкина, который подружился съ нимъ еще въ Царскосельскомъ Лицеѣ, навѣщая брата своего въ Лицейскомъ пансіонѣ, гдѣ воспитывался нѣкоторое время и Нащокинъ. Своеобразный умъ Нащокина, его талантливая, широкая натура и превосходное сердце рано полюбились Пушкину... Съ отъѣздомъ Пушкина на югъ, прекратилось ихъ сношеніе; но въ 1826 году, когда онъ возвращенъ былъ въ Москву и встрѣтилъ тамъ Нащокина, они снова сблизились и подружились крѣпко. Наѣзжая въ Москву, Пушкинъ останавливался у Нащокина и всегда радовался, что извощики изъ Почтамта умѣли привезти къ нему, не смотря на то, что онъ часто мѣнялъ квартиры. Хотя Нащокинъ могъ служить лучшимъ образцомъ плохого хозяина, проживъ на своемъ вѣку не одну тысячу душъ и спустивъ на разныя затѣи цѣлый рядъ наслѣдствъ, тѣмъ не менѣе Пушкинъ признавалъ въ немъ житейскую опытность и любилъ слѣдовать его совѣтамъ“ [171]).

Для Бартенева же Нащокинъ имѣлъ интересъ какъ живой источникъ и какъ владѣлецъ безцѣннаго сокровища,—писемъ

ИНСТИТУТА

къ нему Пушкина. Получивъ дозволеніе списать эти письма, Бартеневъ, 12 октября 1851 года, писалъ Погодину: „Изъ писемъ Пушкина, сообщенныхъ мнѣ Нащокинымъ, не смотря на весь интересъ ихъ, къ сожалѣнію, кажется, почти ничего не можетъ пойти въ печать. Посылаю вамъ ихъ для пополненія вашего собранія".

Не смотря на это предостереженіе Бартенева, Погодинъ, ничѣмъ не смущаясь, напечаталъ письма Пушкина въ декабрьскомъ *Москвитянинѣ* 1851 года.

Увидѣвъ эти письма въ печати, Бартеневъ предъявилъ Погодину требованіе: „Если послѣдній нумеръ *Москвитянина* еще не розданъ, то надо вырвать письма Пушкина, потому что тамъ я встрѣтилъ сегодня величайшія небрежности и многое, что̀ печатать нельзя".

Разумѣется, для самого Нащокина напечатаніе писемъ къ нему Пушкина было совершенною неожиданностью и онъ написалъ Погодину слѣдующее письмо: „Вы себѣ представить не можете, какъ я былъ удивленъ, найдя письма Пушкина ко мнѣ напечатанными въ *Москвитянинѣ*. Неужели, Михаилъ Петровичъ, живя въ одномъ городѣ и въ такомъ близкомъ разстояніи, вы не нашли нужнымъ меня о томъ предупредить, не говорю спроситься, хотя, казалось бы, такъ слѣдовало. Простите меня великодушно, но дѣлать нечего, я долженъ вамъ высказать тѣ причины, по которымъ появленіе этихъ писемъ поразило меня такъ непріятно. Не ставлю я ни во что, что вы лишили меня, сдѣлавъ ихъ публичными, права собственности, за которое, кромѣ меня, всякій бы вступился. Память Пушкина мнѣ дорога не по знаменитости его въ литературномъ мірѣ, а по тѣсной дружбѣ, которая насъ связывала, и потому письма его, писанныя ко мнѣ съ небрежностью, но со всею откровенностью дружбы, драгоцѣнны мнѣ, а въ литературномъ отношеніи цѣнности никакой не имѣютъ, но еще могутъ служить памяти его укоризною. Я не знаю, что̀ вы изъ нихъ напечатали и какъ они напечатаны: ибо мнѣ страшно, и теперь боюсь заглянуть въ книгу,

особенно покажи ему старину, авось либо твое собраніе внушитъ уваженіе этимъ господамъ, до излишества живущимъ въ Европѣ“ [170]). Къ этому предпріятію Анненкова весьма несочувственно отнесся другъ Пушкина П. А. Плетневъ. „Разсказывали ли вамъ“,—писалъ онъ Погодину,—„какъ Анненковъ думаетъ разсортировать статьи Пушкина въ новомъ изданіи? Это что-то странное, чтобы не сказать нелѣпое. Для этихъ господъ Пушкинъ не болѣе, какъ и для Краевскаго, что-то поменьше Лермонтова“.

Жизнь и творенія Пушкина уже и въ то время возбуждали въ Бартеневѣ величайшій интересъ и это сблизило его съ Погодинымъ. Въ *Дневникѣ* послѣдняго мы встрѣчаемъ записи: 1851, 12 іюня — „Молодому Бартеневу сообщилъ о Пушкинѣ“; 1851, 1—4 декабря—„Бартеневъ о Пушкинѣ“.

Между тѣмъ, счастливый случай сблизилъ Бартенева съ Павломъ Воиновичемъ Нащокинымъ, другомъ Пушкина. Нащокинъ „внукъ извѣстнаго генерала и автора *Записокъ*, былъ однимъ годомъ моложе Пушкина, который подружился съ нимъ еще въ Царскосельскомъ Лицеѣ, навѣщая брата своего въ Лицейскомъ пансіонѣ, гдѣ воспитывался нѣкоторое время и Нащокинъ. Своеобразный умъ Нащокина, его талантливая, широкая натура и превосходное сердце рано полюбились Пушкину... Съ отъѣздомъ Пушкина на югъ, прекратилось ихъ сношеніе; но въ 1826 году, когда онъ возвращенъ былъ въ Москву и встрѣтилъ тамъ Нащокина, они снова сблизились и подружились крѣпко. Наѣзжая въ Москву, Пушкинъ останавливался у Нащокина и всегда радовался, что извощики изъ Почтамта умѣли привезти къ нему, не смотря на то, что онъ часто мѣнялъ квартиры. Хотя Нащокинъ могъ служить лучшимъ образцомъ плохого хозяина, проживъ на своемъ вѣку не одну тысячу душъ и спустивъ на разныя затѣи цѣлый рядъ наслѣдствъ, тѣмъ не менѣе Пушкинъ признавалъ въ немъ житейскую опытность и любилъ слѣдовать его совѣтамъ“ [171]).

Для Бартенева же Нащокинъ имѣлъ интересъ какъ живой источникъ и какъ владѣлецъ безцѣннаго сокровища,—писемъ

къ нему Пушкина. Получивъ дозволеніе списать эти письма, Бартеневъ, 12 октября 1851 года, писалъ Погодину: „Изъ писемъ Пушкина, сообщенныхъ мнѣ Нащокинымъ, не смотря на весь интересъ ихъ, къ сожалѣнію, кажется, почти ничего не можетъ пойти въ печать. Посылаю вамъ ихъ для пополненія вашего собранія“.

Не смотря на это предостереженіе Бартенева, Погодинъ, ничѣмъ не смущаясь, напечаталъ письма Пушкина въ декабрьскомъ *Москвитянинѣ* 1851 года.

Увидѣвъ эти письма въ печати, Бартеневъ предъявилъ Погодину требованіе: „Если послѣдній нумеръ *Москвитянина* еще не розданъ, то надо вырвать письма Пушкина, потому что тамъ я встрѣтилъ сегодня величайшія небрежности и многое, что̀ печатать нельзя“.

Разумѣется, для самого Нащокина напечатаніе писемъ къ нему Пушкина было совершенною неожиданностью и онъ написалъ Погодину слѣдующее письмо: „Вы себѣ представить не можете, какъ я былъ удивленъ, найдя письма Пушкина ко мнѣ напечатанными въ *Москвитянинѣ*. Неужели, Михаилъ Петровичъ, живя въ одномъ городѣ и въ такомъ близкомъ разстояніи, вы не нашли нужнымъ меня о томъ предупредить, не говорю спроситься, хотя, казалось бы, такъ слѣдовало. Простите меня великодушно, но дѣлать нечего, я долженъ вамъ высказать тѣ причины, по которымъ появленіе этихъ писемъ поразило меня такъ непріятно. Не ставлю я ни во что, что вы лишили меня, сдѣлавъ ихъ публичными, права собственности, за которое, кромѣ меня, всякій бы вступился. Память Пушкина мнѣ дорога не по знаменитости его въ литературномъ мірѣ, а по тѣсной дружбѣ, которая насъ связывала, и потому письма его, писанныя ко мнѣ съ небрежностью, но со всею откровенностью дружбы, драгоцѣнны мнѣ, а въ литературномъ отношеніи цѣнности никакой не имѣютъ, но еще могутъ служить памяти его укоризною. Я не знаю, что̀ вы изъ нихъ напечатали и какъ они напечатаны: ибо мнѣ страшно, и теперь боюсь заглянуть въ книгу,

Пушкина не стало, но я еще живъ, и люди, о которыхъ Пушкинъ упоминаетъ въ своихъ ко мнѣ письмахъ, многіе живы, и отношенія мои съ нѣкоторыми изъ нихъ продолжаются, и вотъ почему при обнародованіи дружескихъ писемъ покойника ко мнѣ, могу быть я жертвою многихъ непріятностей отъ упоминаемыхъ имъ лицъ, съ которыми мои отношенія еще до сихъ поръ не прерваны. Хотя бы вы меня сочли за мертваго, то и тогда бы ихъ не слѣдовало всѣ печатать, ибо многіе еще бы оставались, которымъ могло быть это непріятно, а также и моему семейству, на которое могло бы пасть то, чему вы теперь меня подвергаете. Очень былъ бы я радъ сдѣлать вамъ удовольствіе дать вамъ напечатать изъ оныхъ писемъ все то, что не касалось бы ни до какой личности, что было бы возможно, и за такого рода извлеченія изъ оныхъ я бы взялся съ удовольствіемъ, еслибы вы обратили на меня ваше вниманіе и вспомнили бы хотя и о ничтожномъ моемъ существованіи. Эти извлеченія точно также заняли бы мѣсто въ вашемъ журналѣ и мое имя не было бы упомянуто. Дозволялъ же я переписывать ихъ не вамъ однимъ, но многимъ изъ общихъ пріятелей Пушкина, въ полной увѣренности на ихъ келейную скромность. Меня многіе знаютъ, и эти многіе знаютъ только то, что я человѣкъ семейный и въ весьма затруднительномъ положеніи, и легко могутъ подумать, а скажутъ непремѣнно, что я ихъ продалъ, и до того былъ доведенъ крайностію своихъ обстоятельствъ. Вамъ извѣстны мои крайнія обстоятельства и какъ давно я терплю нужду, но мнѣ никогда и въ голову не приходило драгоцѣнную для меня память Пушкина продавать за деньги, а всякій вправѣ такъ предположить, ибо журналъ, въ которомъ они напечатаны, не раздается даромъ, а продается за деньги,— и какъ вамъ извѣстно, деньги собираютъ за оный безъ всякаго моего въ нихъ участія, и потому напраслину на себя не пріемлю и невыгодное предположеніе, долженствующее быть, долженъ опровергнуть, и потому, извините меня, если я,—къ чему я вынужденъ, какъ вы сами видите,—напечатаю

съ своей стороны объявленіе такого рода: *что вы на напечатаніе писемъ ко мнѣ Пушкина согласія моего не требовали, и что они напечатаны безъ вѣдома моего и безъ моего согласія.* Мало людей, которыхъ бы я столько уважалъ и почиталъ какъ васъ, вѣроятно это вамъ извѣстно; но вы вѣрно и сами не захотите, чтобъ при моихъ тѣсныхъ обстоятельствахъ и недугахъ, еще бы былъ я въ чужомъ пиру въ похмѣльи, тогда какъ и отъ своихъ дѣлъ, и тошно, и голова трещитъ. Всякое печатное имя обращаетъ вниманіе, а особенно при такомъ имени, какъ А. С. Пушкинъ, — и этого-то вниманія я бы не желалъ, ибо извѣстность, отъ чего бы она ни была, никогда меня не привлекала, а при теперешнихъ моихъ обстоятельствахъ и при моей полу-вѣковой опытности, скромная неизвѣстность для меня лучше даже самой громкой славы. Славы, которой и вы не ищите, но и не убѣжите отъ нея, она васъ достигнетъ въ потомствѣ: вамъ извѣстно мое убѣжденіе на счетъ вашихъ высокихъ достоинствъ, и ревность моя отстаивать васъ отъ толпы современныхъ завистниковъ вашихъ, и потому я менѣе всѣхъ могъ ожидать отъ васъ подобной невнимательности не столько ко мнѣ, сколько къ памяти покойнаго друга нашего А. С. Пушкина; вы согрѣшили — покайтесь, великій сподвижникъ Русской правды".

Вмѣстѣ съ тѣмъ, и С. А. Соболевскій, тоже, какъ извѣстно, другъ Пушкина, изъ Петербурга, уже 15-го января 1852 года, писалъ Погодину слѣдующее: „Любезное письмо ваше я получилъ черезъ Бартенева. Постараюсь быть ему полезнымъ. Анненкова я тоже знаю, но съ симъ послѣднимъ мнѣ слѣдуетъ быть осторожнѣе и скромнѣе, ибо вѣдаю, коль непріятно было бы Пушкину, еслибы кто сообщилъ современникамъ то, что писалось для немногихъ, или что говорилось или не обдумавшись, или для остраго словца, или въ минуту негодованія въ кругу хорошихъ пріятелей. Признаюсь, что мнѣ поэтому не очень-то нравятся отрывки изъ писемъ покойнаго нашего друга къ Нащокину, помѣщенные въ вашемъ *Москвитянинѣ.*"

Между тѣмъ, Бартеневу въ это время предстояло пересе-

леніе въ Петербургъ и сближеніе тамъ съ людьми, которые окончательно укрѣпили его на избранномъ имъ поприщѣ дѣятельности.

30-го сентября 1851 года, графиня А. Д. Блудова, изъ Петербурга писала Погодину: „Вы мнѣ говорили въ Порѣчьѣ, что можно найти между знакомыми вашими человѣка, за котораго вы бъ могли ручаться на счетъ нравственности и хорошихъ правилъ политическихъ — и который взялся бы учить и *воспитывать* дѣтей. Сестра *) ищетъ теперь гувернера для своихъ старшихъ сыновей — одному тринадцать лѣтъ, второму двѣнадцать лѣтъ; и ихъ не привыкли баловать, потому они довольно послушны и хорошаго характера оба. Сестра желала бы, чтобъ гувернеръ могъ учить Русскому языку, Исторіи, Географіи, Латинскому языку и Математикѣ. Тотъ, который былъ у нея до сихъ поръ, училъ тоже и Нѣмецкому, но это не есть необходимая потребность. Еслибъ вы знали человѣка вѣрнаго (Православнаго вѣроисповѣданія), который бы согласился за двѣ тысячи или двѣ тысячи пятьсотъ ассигнаціями въ годъ взяться за трудное дѣло, я могу въ одномъ вамъ ручаться, въ томъ, что въ сестрѣ моей онъ найдетъ нѣжную мать, образованную женщину, характеръ и сердце добрѣйшія, и что отношенія къ ней не будутъ имѣть ничего того, что называютъ fausse position, а самыя пріятельскія. Она желала бъ, чтобъ ему было за тридцать лѣтъ но, во всякомъ случаѣ, никакъ не меньше двадцати пяти — и чтобъ онъ серьезно и совѣстливо принялся за дѣло. Лишившись мужа, ей трудно заниматься одной воспитаніемъ мальчиковъ, и отвѣтственность гувернера тѣмъ становится больше, нежелибъ была при другихъ обстоятельствахъ, и нужно бъ было человѣка съ твердымъ характеромъ и православными религіозными правилами, чтобъ мальчики его уважали. Я не прошу васъ окончательно сдѣлать это дѣло, но только написать мнѣ, есть ли у васъ такой человѣкъ въ виду, и какія были бы

*) Лидія Дмитріевна Шевичъ.

съ его стороны условія. Это такое важное дѣло, что не дай Богъ торопиться и рѣшиться вѣтренно"!.....

Въ ноябрѣ того же года, графиня Блудова сообщила Погодину, что отвѣта „на счетъ учителей пока не можетъ дать, потому что есть одинъ еще здѣсь въ виду, а другого Московскаго рекомендуетъ К. А. Коссовичъ и кажется уже писалъ къ нему объ условіяхъ".

Почти одновременно, 11-го декабря 1851 года, и В. А. Жуковскій, изъ Баденъ-Бадена писалъ А. И. Кошелеву: „Мнѣ нуженъ помощникъ. Этотъ помощникъ долженъ быть молодой человѣкъ, хорошо окончившій университетскій курсъ наукъ, живого, воспріимчиваго ума, знающій хорошо Русскій языкъ, древніе языки, основаніе математики, естественныя науки, исторію и географію. Еслибы нашелся такой NB христіански-нравственный питомецъ отечественныхъ музъ, и еслибъ онъ согласился войти въ мой домъ, чтобы со мною вмѣстѣ совершить первоначальное образованіе дѣтей моихъ и обработать методу, которую могъ бы послѣ самъ же ввести въ общее употребленіе, — это было бы для меня большое счастіе. Меня навѣстилъ въ Баденѣ Коссовичъ. На вопросъ мой: не знаетъ ли онъ кого соотвѣтствующаго моему желанію, — онъ указалъ мнѣ на Бартенева, кандидата Московскаго Университета. Знаете ли вы Бартенева? Если знаете, потрудитесь мнѣ о немъ написать; если же не знаете, то разспросите у вашихъ Московскихъ профессоровъ. Однимъ словомъ, примите къ сердцу это важное для меня дѣло" [172]).

Къ сожалѣнію, послѣдовавшая вскорѣ за тѣмъ кончина Жуковскаго, помѣшала П. И. Бартеневу воспользоваться столь привлекательнымъ предложеніемъ; но вскорѣ, по рекомендаціи того же К. А. Коссовича, онъ вступилъ въ домъ Шевича. Это обстоятельство сблизило П. И. Бартенева съ графомъ Д. Н. Блудовымъ. Государственный сановникъ, *другъ* Карамзина, сталъ для будущаго издателя Русскаго Архива живымъ источникомъ, изъ коего онъ черпалъ неоскудно свѣ-

дѣнія для любимыхъ своихъ предметовъ Исторіи Русской Литературы и Русской Исторіи.

Въ Петербургѣ же П. И. Бартеневъ, черезъ рекомендательное письмо Погодина, познакомился и сблизился съ Сергѣемъ Александровичемъ Соболевскимъ, который въ то время, послѣ своей дѣятельности вмѣстѣ съ Мальцовымъ на Сампсоніевской мануфактурѣ, жилъ въ Петербургѣ, занимался библіографіею и собирался переѣхать въ Москву на постоянное жительство. Сохранившееся за это время письмо Соболевскаго къ Погодину свидѣтельствуетъ объ его занятіяхъ и о знакомствѣ съ Бартеневымъ.

15 января 1852 года, Соболевскій писалъ Погодину: „Любезное письмо ваше я получилъ чрезъ Бартенева. Постараюсь быть ему полезнымъ... Надѣюсь скоро быть въ Москвѣ, гдѣ думаю поселиться; желаю очень видѣть ваше знаменитое собраніе, хотя я не считаю себя въ состояніи достойно оцѣнить оное. На это нужно болѣе знакомства съ Русской стариной. Вотъ къ вамъ просьба: Бартеневъ, между прочимъ, говорилъ мнѣ, что гдѣ-то въ Англіи (не въ Оксфордѣ-ли?) есть собраніе нашихъ пѣсенъ, доставленное туда въ $16^{10}/_{20}$ годахъ. Дайте мнѣ точное свѣдѣніе о томъ, кто, гдѣ и какъ объ немъ упоминаетъ. У меня въ Англіи много литературныхъ связей; я немедленно спишусь объ этомъ для собранія нашего Муравья Черенаховича Кирѣевскаго. Говорятъ, что у васъ спорятъ много о Лухмановскихъ картинахъ. *Я по сему предмету рѣшительно не читалъ ни единой строки*; почему и рѣшаюсь сообщить вамъ, людямъ великоумнымъ, неученую свою догадку. Сдѣлайте изъ этого, что̀ хотите.

Поищите для меня у своихъ поставщиковъ: 1) *Путешествіе* Лаксмана въ Японію, in 4-о, страницъ около тридцати, напечатанное въ типографіи Бекетова, въ Москвѣ. 2) Тожъ, напечатанное въ С.-Петербургѣ in 8-о въ 1820 (21, 22) году. Издатель былъ Бергъ. 3) Что-то о Русской палеографіи, изданное отъ Межевого Департамента въ $184^{1}/_{2}$ году; сочиненіе, кажется, Иванова. 4) Что-то о семъ же предметѣ,

изданное Тромонинымъ (или о бумажныхъ клеймахъ?). Лаптевъ у меня есть.

Странное дѣло, что нѣтъ бо́льшей трудности въ С.-Петербургѣ, какъ имѣть или даже *видѣть* новыя Русскія книги. Вотъ, напримѣръ, №№ 2-го и 4-го, я здѣсь даже *видѣть* не могъ, хотя хозяйничаю, какъ угодно, въ Публичной и другихъ казенныхъ библіотекахъ, и денегъ не жалѣю на покупки. Нѣтъ ли какихъ слѣдовъ оригинальнаго портрета Пушкина, писаннаго Тропининымъ и столь безстыдно у меня украденнаго? Долженъ же онъ гдѣ-нибудь проявиться".

XLI.

Старинная ученица Погодина, предметъ его поклоненія и героиня его романовъ, княжна Александра Ивановна Трубецкая *), какъ мы уже знаемъ, вышла замужъ за князя Николая Ивановича Мещерскаго и навсегда поселилась въ чужихъ краяхъ. Но, сохранивъ и по оставленіи отечества Русскую душу, желала воспитать дѣтей своихъ въ Русскомъ духѣ и съ этою цѣлію обратилась къ своему давнему поклоннику, Погодину, съ просьбою пріискать ей Русскаго наставника.

Письмо княгини Мещерской взволновало Погодина, и онъ съ трепетнымъ чувствомъ отвѣчалъ своей *веснѣ*, *своей поэзіи*: „Сію минуту получилъ я ваше письмо, моя дорогая, моя незабвенная, и сію минуту беру перо, чтобъ... не отвѣчать вамъ, потому что всѣ мысли мои взволновалися и голова въ жару,—а только, чтобъ отвести душу. Не забылъ ли я васъ? Я вчера, кажется, пріѣхалъ изъ Знаменскаго, а теперь пишу письмо къ вамъ на Покровку, и завтра буду говорить съ вами... Такъ живо все въ моемъ воображеніи, такъ живы вы въ моемъ сердцѣ. Сколько разъ писалъ я къ вамъ отовсюду, только не чернилами! Однажды я ѣхалъ въ Шампани, вдругъ, какъ спускался я съ одной горы, повѣяло

*) См. *Жизнь и Труды М. П. Погодина*. Книги I—V.

на меня снизу Грачевниками... *). Я совершенно позабылся, всѣ вы представились мнѣ... Нѣтъ, я перерву свои воспоминанія, иначе имъ конца не будетъ. Вы спрашиваете меня объ учителѣ для вашихъ дѣтей! Ахъ, другъ мой, я много, много уже думалъ объ нихъ! Гдѣ найти такого, какого вы требуете? И знаете ли еще что? Даже такой можетъ ли принести ту пользу, какой мы отъ него ожидаемъ? Вспомните что произошло передъ нашими глазами отъ такихъ и не такихъ. *Науки*, въ коихъ предполагаете вы много успѣховъ науки, какъ у насъ понимаютъ ихъ при воспитаніи, правда стоятъ немного. А нравственность, о которой мы такъ хлопочемъ и на которую мы такъ радуемся, нравственность до семнадцати-восемнадцати лѣтъ еще меньше. Не надѣйтесь ни на какихъ учителей, ни на какія науки и ни на какія правила извнѣ. Если дѣти ваши живутъ и воспитываются на вашихъ глазахъ съ утра и до вечера, если Богъ далъ имъ доброе сердце, которому вы вѣрно умѣете давать нужную для него пищу, если заохочены они читать книги, которыя вы оставляете имъ вѣрно безъ всякихъ нелѣпыхъ ограниченій,—и довольно! У васъ есть уже залоги на успѣхъ. Въ семнадцать-восьмнадцать лѣтъ они узнаютъ все, что нужно, хотя бы до того времени и ничего не знали въ школьномъ порядкѣ. Сердце, воля,—какъ ихъ воспитывать, вотъ о чемъ мы мало думаемъ, и вотъ гдѣ главная задача воспитанія. Это о дѣтяхъ, а вотъ и для родителей: все доброе и хорошее принимать сюрпризами. Тяжело такъ думать и говорить, а чуть ли это не вѣрно. Много садовниковъ плачетъ весною надъ тѣми сѣменами, надъ коими они положили столько труда осенью и зимою. Отчего это? Богъ знаетъ. Есть какія-то таинственныя причины и законы, почему происходитъ многое вопреки всѣмъ нашимъ разсчетамъ и соображеніямъ. Здѣсь должна бы помогать намъ вѣра, но гдѣ ее взять: она у насъ на языкѣ, а не въ сердцѣ, и лучшіе изъ насъ могутъ развѣ

*) Въ Знаменскомъ.

ко съ *Петромъ* *) воскликнуть: *Вѣрую, Господи, помози му невѣрію.* Часто и тяжело боялся я за Аграфену Ива-ну (Мансурову), слыша, какъ безпамятно любитъ она о дочь! Страшно любить такъ много! Учителя все-таки ать вамъ буду, не принимая на себя отвѣтственности за ѣхъ. Можетъ быть, посчастливится, — можетъ быть, ошибемся, всемъ своемъ горячемъ желаніи. Такъ и приготовляться ». *Не будетъ ли Дерптъ соотвѣтствовать больше* — , другъ мой, вижу я, что вы все еще въ недоумѣніи. дце сердцу подаетъ вѣсть; какъ можете вы думать до ь поръ, чтобъ наемникъ, Нѣмецкій наемникъ, въ 1850 году, ь предаться Русскому дѣлу! Что ему за нужда до Рус-о языка, до Русской Вѣры, до Русской Исторіи — онъ ненавидитъ. А вѣдь вотъ главные краеугольные камни питанія. О всѣхъ этихъ предметахъ надо писать по книгѣ, слѣпыхъ нашихъ современниковъ, которые *видяще, не ятъ, и не узрятъ: и слышаще, слышатъ, и не разумѣютъ.* ая страница уже на исходѣ. Вы будете получать отъ меня ьма теперь часто. Лиха бѣда начать. Можетъ быть, я жусь даже съ вами: если я успѣю къ іюлю кончить пе-аніе моихъ изслѣдованій о Русской Исторіи, то думаю здить, для отдохновенія и освѣженія себя новыми впеча-ніями, въ Англію, мѣсяца на три. И тогда отыщу васъ ремѣнно, гдѣ бы вы ни были. Четыре раза былъ я въ ихъ краяхъ, четыре раза искалъ васъ и не находилъ. ерь увѣренъ, что буду счастливѣе, а вы дайте мнѣ тот-ь знать, гдѣ и когда вы будете въ нынѣшнемъ году. Я авалъ по дурному почерку мою старую ученицу (и, раз-йтесь, отыскалъ нѣкоторыя черты двадцатыхъ годовъ и *д*, въ *л*, и въ *f*). Вы поймете по безпорядку моего письма, ъ меня взволновало ваше, какъ я васъ еще люблю, *моя а, моя поэзія...* Много и часто разспрашивалъ я о васъ

*) Во св. Евангеліи отъ Марка: „Возопивъ *отецъ отрочате*, со слезами лаше: Вѣрую, Господи, помози моему невѣрію“ (IX, 24).

нашихъ путешественниковъ. Многому радовался, иное меня пугало... Дрожащею рукою пишу къ вамъ это. Напишите мнѣ о себѣ все, все. Вы будете говорить съ другомъ, вѣрнымъ другомъ. О себѣ и своихъ писать негдѣ, до слѣдующаго письма! Вы пишите ко мнѣ хоть по-Французски. Вотъ я какъ васъ люблю, что позволяю.—Но Французскій языкъ есть уже ложь, и на немъ нельзя выразиться сердцу. Все выливается въ формы готовыя и не разберешь своихъ словъ отъ чужихъ. Пишите по-Русски, но не сочиняйте, а какъ нибудь".

Выборъ Погодина палъ на Александра Ивановича Георгіевскаго *), достойнаго питомца Московскаго Дворянскаго Института и Университета, блестяще окончившаго, 16-го сентября 1850 года, университетское образованіе первымъ кандидатомъ по Историко-Филологическому Факультету, и уже тогда заявившаго себя нѣкоторыми трудами по Классической Древности. Рекомендовали Погодину Георгіевскаго ближайшіе его наставники въ Университетѣ: П. М. Леонтьевъ, М. Н. Катковъ и П. Н. Кудрявцевъ, принимавшіе живѣйшее участіе въ этомъ дѣлѣ. Еще до того времени Георгіевскій два раза просился за-границу, на собственный свой счетъ, какъ для усовершенствованія своего научнаго образованія, такъ и для поправленія своего здоровья, нѣсколько разстроеннаго быстро слѣдовавшими другъ за другомъ потерями отца, любимой сестры и матери, хлопотами по устройству имущественныхъ дѣлъ семьи и вмѣстѣ съ тѣмъ усиленными работами къ кандидатскому экзамену и по приготовленію кандидатской диссертаціи (о Маккіавелли); но въ то время не только была прекращена отправка молодыхъ людей за-границу на казенный счетъ, для усовершенствованія въ наукахъ, но и тѣмъ, кто хотѣлъ ѣхать на свой счетъ, почти всегда отказывали въ заграничномъ паспортѣ. Такъ случилось и съ Георгіевскимъ, не смотря даже на предстательство за него тогдашняго Московскаго генералъ-

*) Нынѣ дѣйствительный тайный совѣтникъ, предсѣдатель Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія (съ 30-го апрѣля 1873 года) и членъ Совѣта министра Народнаго Просвѣщенія (съ 8-го іюля 1871 года).

ернатора графа А. А. Закревскаго, который зналъ лично и его родителей чрезъ родственниковъ своей жены — льгуновыхъ и Шелашниковыхъ. Предложеніе Погодина ть наставникомъ къ Мещерскимъ за-границу казалось ргіевскому единственнымъ и послѣднимъ средствомъ осуствить давнее его желаніе, и онъ съ радостью принялъ его. и на этотъ разъ послѣдовалъ отказъ въ заграничномъ пасртѣ съ указаніемъ, что и сами Мещерскіе просрочили свой спортъ и должны возвратиться въ Россію.

Получивъ отъ Погодина извѣстіе о своей неудачѣ, онъ, ргіевскій, написалъ ему слѣдующее письмо, отъ 14-го ѣля 1851 года: „Въ Великую Субботу получилъ я рокоизвѣстіе отъ васъ о томъ, что надежды мои на благопоное окончаніе дѣла не состоялись. Это извѣстіе тѣмъ бо- меня огорчило, что въ послѣднее время князья Мещер- е прислали прошеніе о дозволеніи имъ остаться еще за ницею, и согласно съ этимъ я могъ ожидать лучшаго рѣнія своей участи. Съ октября мѣсяца лелѣять въ себѣ ежды на заграничную поѣздку, отказываться отъ другихъ одныхъ условій, которыя мнѣ здѣсь дѣлали, сдѣлать всѣ кныя приготовленія къ дальнему отъѣзду, — и потомъ — аться ни при чемъ въ Москвѣ,—все это такъ тяжело для ія, какъ вы можете только себѣ представить. Отъ души годарю васъ за ваше доброе намѣреніе, не оставлять этого а: уже вашимъ убѣжденіямъ я былъ однажды обязанъ ъ, что князь Трубецкій принялъ рѣшеніе въ мою пользу. ерь, конечно, надеждъ менѣе; но все-таки причины, предвляемыя княгинею Мещерскою, такъ, кажется, неоснованы, что ихъ устранить нетрудно. Если бы имъ дозво- о было остаться за-границею, нельзя же имъ не озабоься, чтобы дѣти ихъ знали Русскій языкъ, Исторію и Слоность и были воспитаны по-Русски. Всему этому, конечно, научитъ Нѣмецкій гувернеръ. Слѣдовательно, странно, что по-видимому, не убѣждены въ необходимости Русскаго навника для Русскихъ дѣтей, или же, можетъ быть, это одна

отговорка, и выборъ ихъ палъ на другого? Въ такомъ случаѣ, по меньшей мѣрѣ они поступили со мною неделикатно. Странно также, что княгиня Мещерская видитъ волю Божію въ томъ, что было слѣдствіемъ ошибки князя Трубецкаго, который ни слова не сказалъ мнѣ о просрочкѣ ихъ пасспорта. Обо всемъ этомъ желалъ я съ вами переговорить обстоятельно въ первый день Свѣтлаго праздника, когда я пріѣзжалъ къ вамъ съ Христіанскимъ привѣтствіемъ: Христосъ воскресе! Примите же его теперь отъ меня и вмѣстѣ съ тѣмъ искреннюю мою благодарность за увѣдомленіе, за письмо Мещерской (которое при семъ препровождаю обратно), за всѣ хлопоты и за намѣреніе не оставить и теперь этого дѣла".

Погодинъ, со своей стороны, принялъ живѣйшее участіе въ А. И. Георгіевскомъ и написалъ княгинѣ Мещерской рѣзкое письмо (19-го іюня 1851 года): „Наконецъ, собрался я писать къ вамъ! Что вы со мной надѣлали, моя добрая княгиня! Полгода я искалъ вамъ учителя, принявъ это дѣло къ сердцу, разспрашивалъ, экзаменовалъ, уговаривалъ, наконецъ нашелъ, вытребовалъ гарантію, застраховалъ всѣми человѣческими средствами, упросилъ сдѣлать уступку. Молодой человѣкъ отказался отъ мѣстъ, приготовился къ отъѣзду, устроилъ дѣла всѣ свои, — и вдругъ! не нужно! Еслибъ могъ, я разсердился бы на васъ не на шутку. Развѣ такъ можно поступать? Взявъ гувернера, вы должны были въ тотъ же день увѣдомить насъ о прекращеніи исканій, а прежде должны были назначить срокъ вашихъ ожиданій. Я не зналъ, какъ смотрѣть въ глаза молодому человѣку. И только теперь, черезъ два мѣсяца, могу спокойно писать вамъ эти строгія замѣчанія. Но Богъ съ вами—вы магнаты, слѣдовательно, разсуждать..... остановлюсь. Теперь поговоримъ о дѣлѣ съ другой стороны. Вы поступили очень дурно въ отношеніи собственно своемъ. Для кого воспитываете вы своихъ дѣтей? Для Европы или для Россіи? Для Европы? Тогда и толковать нечего, но я не знаю, въ такомъ ли положеніи теперь Европа, чтобъ тамъ открывать поприще дѣтямъ. Не говорю уже о

томъ, что нарушать до такой степени свои обязанности къ Отечеству — верхъ безчестія и низости, ибо все-таки изъ Отечества вы выносите деньги, продавъ души, для содержанія вашихъ Европейскихъ героевъ. Я не смѣю и думать о такомъ намѣреніи вашемъ. И такъ, остается воспитаніе для Россіи. Для Россіи воспитывать не можетъ иностранецъ новаго поколѣнія, новаго времени: другой духъ у него, другой взглядъ, другой образъ мыслей. И неужели вы, видя предъ собой вопіющіе примѣры иностраннаго воспитанія, даже и съ прежними гувернерами, даже съ добрыми и хорошими, не убѣждаетесь въ нелѣпости всего вашего воспитанія. Куда годятся всѣ эти воспитанники? Неужели вы не поняли, что̀ приносите вы въ жертву умѣнью болтать на пяти языкахъ и умѣнью пошаркать на вашихъ паркетахъ. О, слѣпые, о, несчастные! Да переберите въ вашемъ воображеніи всѣхъ вашихъ родныхъ, начиная съ себя, всѣхъ вашихъ знакомыхъ, и убѣдитесь, что вы съ вашимъ добрымъ, прекраснымъ сердцемъ, что вы съ вашимъ живымъ и быстрымъ умомъ, съ готовностію къ жертвамъ, подвигамъ, — все-таки.... опять остановлюсь. Не сердитесь же на меня, моя милая, моя добрая княгиня, которую я все-таки люблю безъ памяти, и послушайтесь вашего стараго друга. Поклонитесь вашему супругу и покажите ему письмо, но скажите: не сердись, онъ чудакъ былъ такой всегда, но онъ насъ любитъ. Какъ я обрадовался Софьѣ Ивановнѣ! *) Можетъ быть увижу и Аграфену Ивановну. Но когда я обниму васъ, мой старый другъ"?

Съ Софіею Ивановною Всеволожскою и ея мужемъ Александромъ Всеволодовичемъ, Погодинъ видѣлся въ Москвѣ, 15-го іюня 1851 года, и по поводу этого свиданія онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Всеволожскимъ—вспомнилъ старое... Какъ она постарѣла"!

Вскорѣ Погодинъ прочелъ слѣдующій краткій отвѣтъ отъ княгини Мещерской: „Я сейчасъ получила ваше письмо, по-

---

*) Всеволожская, рожденная княжна Трубецкая.

чтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, и сейчасъ же отвѣчаю на него. Оно меня весьма удивляетъ, мнѣ кажется, что вы обратили на меня вашъ гнѣвъ только чтобъ я васъ не бранила. Или у васъ нѣтъ памяти? — Вспомните, мы десять мѣсяцевъ ждали вашего гувернера, много для этого сдѣлано жертвъ. Вдругъ, въ мартѣ, получаю отъ графа Гудовича письмо, въ которомъ онъ меня извѣщаетъ, что г-ну Георгіевскому не выдается пачпортъ не потому, что нашъ пачпортъ не *въ порядкѣ, но потому*, что правительство не выдаетъ пачпорта г-ну Георгіевскому, собственно не знаю по какой причинѣ. Вотъ что писалъ графъ Гудовичъ. Потерявъ всю надежду, послѣ этого письма, мы наконецъ уговорились съ молодымъ человѣкомъ, и въ тотъ же день я вамъ написала. И это не *только правда*, но правда какъ Богъ ее любитъ. Впрочемъ, за письмо и за совѣты я васъ благодарю; съ Божію помощью сынъ будетъ больше знать, нежели шаркать въ гостиной и тоже, я надѣюсь, что онъ будетъ Русской сердцемъ и душею и полезенъ своему Отечеству; онъ въ этихъ мысляхъ и чувствахъ воспитанъ, и да благословитъ Спаситель наши труды и намѣренія! Я такъ больна, что не могу болѣе писать. Не поминайте меня лихомъ; я всегда была и буду предана вамъ сердцемъ".

Мы же, съ своей стороны, замѣтимъ, что единственный сынъ княгини А. И. Мещерской, князь Эммануилъ Николаевичъ (родившійся 4-го февраля 1832 года), въ званіи флигель-адъютанта, 6-го сентября 1878 года, запечатлѣлъ кровію свое служеніе Отечеству.

XLII.

Одновременно съ обновленіемъ въ душѣ Погодина памяти о любезномъ для него Знаменскомъ, ему довелось, или оплакивать кончину, или опускать въ могилу лицъ, составлявшихъ нѣкогда Знаменское общество.

Въ 1850 году, скончался въ чужихъ краяхъ его ученикъ,

братъ княгини Мещерской, князь Юрій Ивановичъ Трубецкой. Когда вѣсть объ его кончинѣ достигла Москвы, Погодинъ отправился въ Покровскій домъ Трубецкихъ на панихиду. Въ *Дневникѣ* Погодина, подъ 16 сентября 1850 года, встрѣчается слѣдующая запись: „Къ Трубецкимъ. По лѣстницѣ въ церковь. Тотъ же образъ. Панихида. Съ Бецкимъ и вдовою. Трогательно распоряженіе покойника. Смерть все исправляетъ, очищаетъ, умиротворяетъ и въ человѣкѣ слѣдъ добра никогда не изглаживается. Слава Богу".

17 февраля 1851 года, скончался въ Москвѣ Василій Дмитріевичъ Корнильевъ. Погодинъ, опуская его въ могилу, помянулъ и его добрымъ словомъ. „Конечно",—писалъ онъ,— „многіе не только въ Москвѣ, но и въ разныхъ концахъ Россіи помнятъ истинно-Русское хлѣбосольство В. Д. Корнильева. Онъ не былъ литераторомъ, но былъ другомъ и пріятелемъ многихъ литераторовъ и ученыхъ. Наука и Словесность возбуждали въ немъ искреннее къ себѣ уваженіе. Во всякомъ общественномъ дѣлѣ, которое касалось пользы Искусства, Науки, Литературы, онъ былъ всегда вѣрнымъ, всегда готовымъ участникомъ, на котораго заранѣе можно было положиться. Всякій дѣятельный журналъ, всякая замѣчательная современная Русская книга имѣли въ немъ усерднаго чтеца и покупателя. Хлѣбосольство было для него радостію жизни; гости за столомъ — весельемъ, украшавшимъ его семейное счастіе. Если же въ числѣ ихъ хозяинъ угощалъ у себя профессора, писателя, художника, то казался еще счастливѣе. Самъ, всегда скромный и умѣренный въ сужденіяхъ, онъ оживлялся ихъ бесѣдою, и вкушалъ ее, какъ умственную пищу. Семейныя его качества цѣнитъ его семья, которая осталась послѣ него безотрадною. Кончина его была кончиною истинно-Русскаго христіанина. Заботливая распорядительность отца многочисленной семьи обнаружилась во всѣхъ его дѣйствіяхъ, когда онъ уже лежалъ на смертномъ одрѣ. Никого изъ дѣтей и домочадцевъ не оставилъ онъ безъ прощальнаго наставленія. Таинства, которыми Церковь напут-

ствуетъ чадъ своихъ въ загробный міръ, совершилъ онъ въ полной памяти, по собственному желанію.

21-го февраля, съ 9-ти часовъ утра, стали собираться въ домъ покойнаго многочисленные родные, друзья и знакомые. Давно ли еще, казалось, въ этихъ самыхъ покояхъ, хозяинъ встрѣчалъ радушнымъ привѣтомъ каждаго гостя, который пріѣзжалъ къ нему, на его всегда открытую трапезу? И вотъ теперь, тѣ же гости собрались отдать послѣдній долгъ доброму хозяину. Въ приходской церкви Св. Николая на Дербеновкѣ отпѣто было тѣло почившаго; погребено же въ Дѣвичьемъ Алексѣевскомъ монастырѣ.

Прощай же, добрый человѣкъ! Миръ праху твоему! Благодаримъ тебя за твою Русскую хлѣбъ-соль, за твой всегда радушный привѣтъ гостямъ, за твою готовность къ участію во всякомъ полезномъ общественномъ дѣлѣ и за твое доброе сердце"!...

Къ числу *Знаменскихъ* по духу и плоти и къ приснымъ Погодина принадлежалъ также и И. Е. Бецкій; а потому, вслѣдъ за кончиною В. Д. Корнильева, мы считаемъ умѣстнымъ остановиться на полемической перепискѣ Бецкаго съ Погодинымъ, въ которой ярко выражается міросозерцаніе Погодина, а также и Бецкаго. „Помните",—писалъ послѣдній,— „какъ я говорилъ вамъ: заботиться должно о искреннемъ примиреніи сословій, чтобъ чтили другъ друга, а не бранили. *А.* въ звѣздахъ ничуть не хуже *В.* въ зипунѣ; оба могутъ быть прекрасны на своемъ мѣстѣ. А у васъ всѣ *В.* научены думать, что всѣ *А.* непремѣнно должны быть мерзавцы, губители. Вздоръ, хуже вздора,—клевета. Бомарше читали? Онъ понялъ клевету. А сколько есть людей, которые клевещутъ сдуру, добросовѣстно, если хотите, *не понимая*. Все это, по моему глубокому убѣжденію, такъ же вѣрно, какъ и слѣдующее: la démocratie est incompossible avec la liberté, parce qu'elle a pour base l'envie sous le nom d'égalité. А кто сказалъ это? Вѣдь не повѣрите. Сказалъ это Прудонъ!... Вотъ кто!... А повторилъ это кто? Монталамберъ, который, кажется, счи-

таетъ церковь за политическій иксъ (а не за храмъ Божій, какъ извѣстно вамъ гдѣ). Книгъ слишкомъ много развели, перепортили умы;—истина не въ нихъ."

Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстенъ отвѣтъ Погодина на это любопытное письмо. Впрочемъ, въ другомъ письмѣ Бецкій пишетъ Погодину: „Увѣренъ, что для Михаила Петровича всегда останется близкимъ по сердцу домъ *князей* Трубецкихъ... Вы говорите, всѣ толки въ *вашемъ* кругѣ ни гроша не стоятъ. Что это за выраженіе? У меня нѣтъ круга. Amicus Plato и пр. и пр. Любви, союза желалъ я всегда между такъ называемыми *кругами*, какъ въ небесныхъ планетахъ. Ищешь истины, находишь: *партіи* антагонизмъ вѣчный, неизмѣнный! О, Михаилъ Петровичъ, бросьте всѣ ваши идеи о томъ, что такой-то кругъ лучше, а этотъ хуже! О томъ умоляетъ васъ ученикъ вашъ... Въ вашихъ словахъ больше гордости и тщеславія, нежели вы думаете!.. Мы вѣдь съ вами изъ мѣщанъ—отдадимъ же честь, кому слѣдуетъ... вы князя по Исторіи уважать должны,—и еще разъ повторяю: сколько нѣжныхъ воспоминаній должно быть сопряжено съ воспоминаніемъ объ нихъ въ вашемъ сердцѣ. Зачѣмъ же писать: въ вашемъ *кругѣ*. Я васъ не дразнить хотѣлъ симъ письмомъ, а сказавши, что̀ было на душѣ, хотѣлъ тѣмъ самымъ быть въ возможности протянуть вамъ руку и сказать вамъ теперь: Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ. Помнящій и искренно желающій любви между всѣми Русскими сословіями, все тотъ же ученикъ вашъ". [173]).

XLIII.

Вмѣстѣ съ вышеупомянутыми дѣятелями пятидесятыхъ годовъ, выступилъ на поприще Исторіи Русской Литературы и младшій собратъ ихъ Николай Саввичъ Тихонравовъ, еще будучи студентомъ Московскаго Университета.

По показанію Л. Н. Майкова, Н. С. Тихонравовъ родился 3 октября 1832 года. Калужанинъ родомъ, образова-

ніемъ своимъ Тихонравовъ обязанъ былъ исключительно Москвѣ, въ которой протекла и вся его послѣдующая дѣятельность. Онъ воспитывался въ третьей Московской Гимназіи и, по окончаніи въ ней курса съ серебряною медалью, въ 1849 году, поступилъ было въ С.-Петербургскій Главный Педагогическій Институтъ, но въ слѣдующемъ, 1850 году, благодаря предстательству Погодина, былъ переведенъ казеннокоштнымъ студентомъ въ Историко-Филологическій Факультетъ Московскаго Университета, на которомъ и кончилъ курсъ въ 1853 году, со степенью кандидата. Любимыми профессорами его были: С. П. Шевыревъ и Ѳ. И. Буслаевъ. Въ первомъ, Тихонравовъ цѣнилъ то, что изученіе Русской Литературы было поставлено имъ на историческую почву. — „Эскизъ Исторіи Древней Словесности", — по словамъ Тихонравова, — „набросанный Шевыревымъ съ нескрываемымъ пристрастіемъ къ до-Петровской Исторіи Русской народности", сдѣлался „исходнымъ пунктомъ, къ которому примкнули изслѣдованія Русской народной Словесности, воздвигнутыя на строго научныхъ началахъ, чуждыя крайнихъ патріотическихъ увлеченій и сентиментальной идеализаціи". Ѳ. И. Буслаеву Тихонравовъ обязанъ усвоеніемъ отъ него современнаго сравнительно-историческаго метода изученія литературныхъ памятниковъ. „И дѣйствительно", — замѣчаетъ Л. Н. Майковъ, — „строгимъ соблюденіемъ этого метода отличаются всѣ изслѣдованія самого Тихонравова. Еще будучи на университетской скамьѣ, Тихонравовъ, на заданную Т. Н. Грановскимъ тему, написалъ сочиненіе *О Нѣмецкихъ народныхъ преданіяхъ*, и сочиненіе это было увѣнчано золотою медалью [178]).

Любознательный духъ студента Тихонравова влекъ его въ Погодинское Древлехранилище, въ это достопамятное хранилище источниковъ Русской Литературы. Имѣющіяся у насъ письма Тихонравова, относящіяся къ студенческому періоду его жизни, ярко рисуютъ передъ нами отношенія молодого студента къ маститому историку и обладателю Древлехранилища и издателю *Москвитянина*. Кромѣ того, Тихонравовъ

прямо относился къ Погодину, какъ къ своему давнему благодѣтелю, и съ своими житейскими невзгодами. Такъ, въ письмѣ его, отъ 9 сентября 1851 года, къ Погодину, мы читаемъ: „Я нахожусь теперь въ самомъ непріятномъ положеніи и принужденъ обратиться къ вамъ. Дѣло было вотъ какъ: вчера (въ пятницу) я пошелъ въ 5 часовъ къ Леонтьеву, поправить лекцію, а онъ продержалъ меня до 7 часовъ, потому что два раза перечитывалъ ее. Такимъ образомъ, совершенно невольно, не былъ вчера у всенощной, потому что надѣялся возвратиться въ Университетъ къ 6 часамъ. Сегодня требуютъ къ инспектору, являюсь вмѣстѣ съ другими, начинаютъ укорами: гдѣ былъ? Я представилъ законное, какъ мнѣ кажется, оправданіе. И меня стали упрекать при двадцати человѣкахъ подобными словами: „чортъ ли мнѣ пользы отъ васъ изъ за того, что я принялъ васъ Христа ради на казенный счетъ“? Я сказалъ, и кажется былъ въ правѣ, что принятъ не Христа ради, для своей пользы, а не для пользы другихъ, что это первая моя вина, что Попечитель знаетъ меня (въ этомъ я надѣялся на то, что вы, представляя мою просьбу, сказали обо мнѣ) и что онъ разсудитъ мое дѣло. Эти слова приняты были съ страшнѣйшимъ негодованіемъ, приняты за грубость, за компрометированіе инспектора. Онъ отвезъ меня къ попечителю, не знаю, что сказалъ ему, потому что я не былъ свидѣтелемъ ихъ разговора. Попечитель приказалъ посадить меня подъ арестъ и исключить изъ Университета. Теперь, скажите, что мнѣ дѣлать? Неужели одно неосторожное слово должно погубить меня. А инспекторъ сказалъ, что не быть мнѣ въ Университетѣ. Не знаю отчего, но на меня всегда падаетъ что-то слишкомъ много отвѣтственности. И какіе проступки могъ онъ представить для моего обвиненія? Онъ самъ сказалъ, что одинъ разъ я былъ застегнутъ не на всѣ пуговицы, другой,— что не былъ разъ въ церкви. Судите, много ли я виноватъ во всемъ этомъ дѣлѣ? И при всемъ томъ, мнѣ не хотятъ дать окончить курсъ, не принимаютъ даже никакихъ оправданій. Вамъ однимъ могу

я повѣрить свое дѣло, и у васъ просить совѣта; скажите: что мнѣ дѣлать въ такихъ обстоятельствахъ, когда не хотятъ выслушать даже моихъ оправданій. Въ восемь лѣтъ никто не имѣлъ случая на меня пожаловаться, ни И. И. Давыдовъ, ни Погорѣльскій, а еще благодарили меня за мое поведеніе и занятія. Неужели въ одинъ годъ я могъ совершенно испортиться? А если и испортился, то въ чемъ же могло выказаться это? Въ томъ, что не застегнулся на двѣ пуговицы и въ томъ, что разъ не былъ въ церкви и осмѣлился сказать слово, когда мнѣ стали попрекать хлѣбомъ, который будто бы мнѣ давали Христа ради. Мнѣ нечего говорить объ себѣ и выхвалять себя, но сегодня даже при мнѣ помощникъ того же инспектора говорилъ, что я хорошо себя велъ. Говорю это для того, чтобъ и вы не повѣрили какимъ нибудь толкамъ обо мнѣ и не отказались помочь мнѣ въ моей крайней нуждѣ. Вотъ вамъ моя просьба: скажите, что мнѣ дѣлать? Но не просите попечителя, а главное не показывайте этого письма никому. Если вы будете просить его за меня и извинять чѣмъ нибудь мои слова, опять будутъ говорить, что я виноватъ кругомъ. Нѣтъ, я бы желалъ не *прощенія*, а *оправданія;* я бы желалъ, чтобъ по крайней мѣрѣ попечитель не считалъ меня такимъ негодяемъ, какимъ я, можетъ быть, представляюсь инспектору. Въ понедѣльникъ дѣло мое рѣшится. Пишите же, прошу васъ, ко мнѣ поскорѣе и не въ Глазную Больницу*), гдѣ никто не знаетъ объ этой катастрофѣ, а въ Университетъ, въ № 22, гдѣ письмо передадутъ мнѣ. Да не забудьте, что, находясь подъ арестомъ, я лишенъ способа дѣйствовать самъ въ свою пользу. Вы одни можете мнѣ помочь, какимъ бы то ни было образомъ. Еще разъ прошу васъ, писать въ Университетъ и не черезъ Контору, которая можетъ ошибиться и передать письмо въ Глазную Больницу".

Само собою разумѣется, что Погодинъ заступился за Тихонравова; но часто и самъ Погодинъ былъ недоволенъ сво-

*) Отецъ Тихонравова служилъ экзекуторомъ въ Глазной Больницѣ.

имъ protégé... что видно, напримѣръ, изъ слѣдующаго письма послѣдняго, отъ 28 декабря того же 1851 года, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Сегодня получилъ ваше письмо, и, признаюсь, ничего изъ него не понялъ. О какихъ говорите вы неудовольствіяхъ и досадахъ? Можетъ быть, вы продолжаете еще сердиться за статью въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ;* но, во 1-хъ, это дѣло прошлое; во 2-хъ, чтожъ тутъ такого, что бы могло причинить неудовольствія и досады? Впередъ постараюсь избѣгать подобнаго рода встрѣчь, чтобъ вы могли помѣщать, что вамъ угодно и чтобъ мнѣ не стоять вамъ какою-то препоною. Вы сердитесь наконецъ за то, что я взялъ Ломоносова будто бы безъ спроса. Вспомните, какъ было дѣло. Вы сами заговорили объ этой рѣдкости, обѣщали мнѣ ее доставить въ воскресенье черезъ двѣ недѣли; въ урочное время я прихожу, вижу книгу, вы мнѣ передаете ее, говоря: *Вотъ, наслаждайтесь* и т. п. Я принялъ это за передачу книги мнѣ на неопредѣленное время, взялъ ее, вы мнѣ не противорѣчили, не назначили срока и теперь говорите, что я взялъ ее безъ спроса. Будьте увѣрены, что такого рода выходки я себѣ никогда не позволялъ, не позволяю и не позволю. Жалѣю, что вы такъ плохо меня знаете; иначе, надѣюсь, я не получилъ бы отъ васъ такого страннаго письма, каково сегодня мною полученное. Вотъ все, что я вамъ имѣлъ сказать. Я носилъ *Риторику* къ Степану Петровичу Шевыреву, васъ тамъ не было, и потому посылаю черезъ Контору“ [175]).

Упоминаемая въ этомъ письмѣ *Риторика* принадлежитъ перу Ломоносова и подарена Погодину М. А. Дмитріевымъ. Экземпляръ этотъ принадлежалъ нѣкогда Тредьяковскому, съ его подписью и отмѣтками (*ложь*, *темно*, и пр.). Риторика посвящена была Ломоносовымъ великому князю Петру Ѳедоровичу, при письмѣ, котораго Погодинъ „не встрѣчалъ нигдѣ“.

Впрочемъ, „обширная начитанность“ студента Тихонравова и его „стремленіе къ самостоятельнымъ изысканіямъ по

источникамъ“ [176]) были вполнѣ оцѣнены Погодинымъ, и онъ дорожилъ его сотрудничествомъ въ *Москвитянинѣ*.

XLIV.

Москвитянинъ, даже по сознанію враговъ его, былъ въ Москвѣ „средоточіемъ журнальной дѣятельности“ [177]). Князь П. А. Вяземскій, желая, чтобы въ *Москвитянинѣ* были напечатаны публичныя лекціи Грановскаго и Шевырева, писалъ редактору: „у васъ, въ Москвѣ, много журнальныхъ статей. Надобно, чтобъ всѣ онѣ стекались въ *Москвитянинѣ*“ [178]).

Среди старой и молодой Редакціи *Москвитянина* оригинальное явленіе представлялъ самъ Погодинъ. Принимаясь за отсутствіемъ „штатнаго“, какъ онъ выражается, „предлагателя Московскихъ извѣстій“, за Московскую Лѣтопись, онъ заявляетъ о себѣ слѣдующія автобіографическія подробности: „Читатели не могутъ требовать отъ меня, отшельника, живущаго на полѣ, бывающаго въ городѣ только по два раза въ мѣсяцъ, передъ 1 и 15 числомъ, кромѣ особенныхъ случаевъ,—не могутъ, говорю, требовать извѣстій о публичныхъ увеселеніяхъ, концертахъ, живыхъ картинахъ, вечерахъ, обо всемъ томъ, что происходитъ въ обществахъ, въ салонахъ, въ магазинахъ, по улицамъ; я могу служить имъ только собственными своими личными наблюденіями, то-есть, сообщать извѣстія о своихъ посѣтителяхъ, описать разныя любопытныя вещи, кои удается мнѣ увидѣть или пріобрѣсти, передать нѣкоторыя ученыя новости, однимъ словомъ, представить имъ, вмѣсто общей Московской Лѣтописи, записки, если не старца, то затворника Лужницкаго, настоящаго, а не миѳическаго, какимъ былъ Каченовскій, который за свои сомнѣнія получилъ теперь наказаніе и въ томъ, что потомки будутъ сомнѣваться въ его существованіи, хотя онъ существовалъ, и даже въ Сущевѣ, но не въ Лужникахъ, куда судьба, какъ нарочно, бросила меня, его противника, и заставила бесѣдовать съ публикою“.

Сдѣлавъ такое предисловіе, Погодинъ ведетъ насъ въ ересыльный зàмокъ, гдѣ ему довелось однажды провести утро.

„Одинъ мой пріятель, котораго родственникъ служитъ ященникомъ въ церкви Пересыльнаго зàмка, давно звалъ ня туда на праздникъ Божіей Матери Взысканія Погибихъ. Нѣсколько лѣтъ сряду мнѣ встрѣчались какія-то поѣхи въ этотъ день, и я не могъ пуститься съ нимъ въ тешествіе на Воробьевы горы. Нынѣ также мнѣ не хотѣсь ѣхать, потому что холодъ былъ прежестокій, — дѣлъ опилось у меня много,—но мнѣ совѣстно показалось опять казаться, и мы отправились въ открытыхъ саняхъ, — я, изнаюсь, почти нéхотя. Дорогою мое непріятное расположеніе увеличилось еще болѣе, особенно, когда мы выѣхали за ставу: вѣтеръ дулъ прямо въ лицо, морозъ прохватывалъ ть не до костей, мятелью запорашивались глаза,—потомъ задумался, и позабылъ почти, куда и зачѣмъ ѣду. Между мъ, мы приблизились къ цѣли путешествія. Спутникъ мой лѣлъ кучеру поворотить къ заднимъ воротамъ, черезъ крой сугробъ; съ хромой ногой мнѣ показалось страшно, чтобъ опрокинулись сани, но я смолчалъ; лошади однако же ребрались кое-какъ. Мы вылѣзли изъ саней, вошли въ вота, и потомъ къ какой-то двери. Сторожъ не пускаетъ. лжно было послать къ священнику, извѣстить о нашемъ ріѣздѣ, а между тѣмъ дожидаться на стужѣ. Настроеніе его духа становилось хуже и хуже. Наконецъ, посланный ротился, и повелъ насъ въ церковь. Входимъ. Поютъ Хевимскую пѣснь. Помолясь, почти машинально, предъ олтамъ, я поклонился по обычаю на всѣ четыре стороны, — .. и не могу описать вамъ, что̀ во мнѣ произошло, какими вствованіями взволновалось сердце, какими мыслями наполлась голова, въ ту минуту, когда я, до тѣхъ поръ разянный,—вдругъ опомнился, увидѣвъ себя въ толпѣ убійцъ, абителей, злодѣевъ: человѣкъ полтораста въ бѣдной одеждѣ, ни съ обритыми головами,—другіе обросшіе волосами, всклоченными или распущенными, — у кого рубцы на лицѣ, у

кого пятна или слѣды ранъ,—стояли передо мною: это все преступники, уже уличенные и осужденные. Но они молились тихо, усердно; можно было услышать, какъ пролетитъ муха. Одни падаютъ въ землю, другіе стоятъ на колѣняхъ, третьи погружены въ задумчивость. А между тѣмъ, среди этой благоговѣйной тишины слышатся святыя пѣсни и гласы: *Милость мира жертву хваленія... Горѣ имѣемъ сердца... Отче нашъ, остави намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ.* При всякомъ новомъ возглашеніи, замѣчается движеніе въ несчастномъ сборищѣ; учащаются земные поклоны, слышны крестныя знаменія ударами рукъ по жесткимъ овчинамъ. Но, что произошло, когда начался молебенъ Божіей Матери, Взыскательницѣ Погибшихъ, когда раздалися священныя молитвы, получавшія такое особенное значеніе для предстоявшихъ: *Заступница усердная... на Тебя надежду имамы... Потщися, погибаемъ...* Совѣстно мнѣ было оборачиваться и смотрѣть прямо въ лицо богомольцамъ, — я только что украдкою бросалъ взгляды по сторонамъ... и думалъ, что̀ происходитъ теперь въ этихъ человѣческихъ душахъ. Сколько трагическаго, сколько драматическаго! А кто изъ насъ, предстоящихъ, подумалъ я, можетъ бросить камень въ кого бы то ни было изъ этихъ несчастныхъ братій? Кто, не легкомысленный, осмѣлится сказать, что на его мѣстѣ, съ его данными, съ его обстоятельствами, онъ устоялъ бы, онъ не упалъ бы такъ глубоко? Кто рѣшится утвердить, что въ его собственной душѣ, въ его собственной жизни, не зачинались другія преступленія, кои на высшихъ вѣсахъ вѣсятъ, можетъ быть, тяжеле этихъ осужденныхъ, преступленія тонкія, духовныя, которымъ не доставало только случая обнаружиться, или обстоятельствъ совершиться. *Аще Ты, Господи, назриши, кто постоитъ!* Такъ чѣмъ же различаемся мы всѣ здѣсь, въ церкви, предъ престоломъ Божіимъ? Не всѣ ли мы братья, одни счастливые, другіе—несчастные? Да которые—счастливые, которые—

несчастные? А за свое счастіе, если оно есть, кому мы обязаны? Нашему я, или не я"?

Высказавъ это, Погодинъ восклицаетъ: „Что же это за Божественная религія, что же это за небесная Философія, что же это за святое ученіе, что это за сверхъ-естественное учрежденіе, Церковь, которая доставляетъ всякому человѣку такія минуты, которая творитъ такія положенія, которая внушаетъ такія мысли, которая и въ безднѣ несчастія можетъ желающему открыть источники неизсякаемые самыхъ живыхъ наслажденій!—Мудрецы! подите сюда... Что вы имѣете сказать этой сотнѣ вашихъ собратій въ утѣшеніе, ободреніе, объясненіе? Говорите... Нѣтъ, вы ничего не имѣете, вы ничего не придумаете со всѣмъ вашимъ глубокомысліемъ, со всѣмъ вашимъ остроуміемъ, со всею вашею проницательностью и ученостью. А простой священникъ имѣетъ что́ сказать, и безъискуственное слово его, иногда безъ его вѣдома и участія, идетъ прямо въ душу, оказываетъ силу и чудодѣйствуетъ.— Слѣдовательно"...

Кончился молебенъ. Начали прикладываться ко кресту. „Я, — пишетъ Погодинъ, — нарочно всталъ подлѣ священника, чтобы всматриваться въ физіономіи. Къ утѣшенію нашему, я долженъ сказать, что изъ двухъ-сотъ можетъ быть лицъ я не замѣтилъ ни на одномъ какого-нибудь особеннаго звѣрства или отчаянія: всѣ лица болѣе или менѣе человѣческія! И такихъ, какія у меня остались въ воображеніи, изъ моихъ путешествій (одно напримѣръ на какой-то лекціи въ Парижѣ, другое въ хвостѣ передъ Палатою депутатовъ), совершенно не было. Послѣ службы, докторъ Гаазъ, безсмѣнный посѣтитель Пересыльнаго замка, какъ будто самъ пересыльный, отправляющійся еженедѣльно въ Сибирь, повелъ меня по всѣмъ палатамъ; но душа, кажется, утомилась отъ часоваго напряженія, и я не имѣлъ силы ни съ кѣмъ вступать въ разговоръ, да и несносно было бы показать какое-нибудь преимущество. Притомъ арестанты всѣ почти обѣдали. Впрочемъ, даже мимохо-

домъ, все-таки услышалось, замѣтилось, кое-что интересное... Священникъ ждалъ насъ къ чаю и завтраку. Отказаться не было никакой возможности, и мы отправились. Квартира его близъ тюрьмы, подъ церковью. Въ гостяхъ было служившее духовенство и нѣсколько чиновниковъ. Разговоръ начался разумѣется о мѣстѣ, гдѣ мы находились. Я замѣтилъ священнику, какъ было бы полезно вести при церкви особую психологическую лѣтопись Переcыльнаго замка, т.-е. входить въ дружественныя духовныя отношенія съ мимоидущими преступниками, разспрашивать келейно объ ихъ жизни и записывать просто ихъ показанія и откровенія. Отправляясь въ Сибирь, по рѣшенной судьбѣ, безъ надежды и притязанія, вѣроятно, иные были бы готовы открыть свою душу доброму человѣку, безъ всякой задней мысли, просто—такъ, въ благую минуту, даже съ удовольствіемъ для нравственнаго облегченія, особенно при видѣ участія. А какой бы запасъ со временемъ набрался здѣсь, — для Философіи, Морали, Юриспруденціи. Между тѣмъ, продолжалось угощеніе... Что за радушіе, что за привѣтствіе, добросердечіе... Вотъ мое утро... которое навсегда останется въ моей памяти"...

Не смотря на затворническую жизнь, Погодинъ давалъ вечера, и о нихъ доводилъ чрезъ свой *Москвитянинъ* до всеобщаго свѣдѣнія. Такъ, о вечерѣ, бывшемъ у него 12 февраля 1851 года, мы читаемъ: „Былъ литературный вечеръ у редактора *Москвитянина* М. П. Погодина, у котораго издавна раза два въ годъ бываютъ подобныя большія собранія, и Московскіе литераторы всѣхъ поколѣній знакомятся обыкновенно съ новыми примѣчательными произведеніями Литературы, и между собою. Мы помнимъ одинъ такой вечеръ, когда Гоголь, только что явившійся на поприще, въ 1834 и 1835 году, читалъ у него своихъ *Жениховъ*, и уморилъ почти со смѣху всѣхъ слушателей, удивительнымъ, неподражаемымъ своимъ чтеніемъ. Мы помнимъ, что произвело одно его молчаніе между женихомъ и невѣстою, послѣ односложныхъ вопросовъ и отвѣтовъ о любимомъ цвѣтѣ и прогулкахъ. Въ другой

разъ читалъ М. Н. Загоскинъ отрывки изъ *Мирошева;* въ третьемъ годѣ графиня Растопчина — свою *Нелюдимку*, въ прошломъ — Л. А. Мей, переводъ *Слова о Полку Игоревѣ*, А. Н. Островскій, вмѣстѣ съ знаменитыми артистами нашими, Садовскимъ и Щепкинымъ,—*Банкрута*. Лѣтъ пять тому назадъ, самъ хозяинъ прочелъ *Похвальное Слово Карамзину* и нѣсколько отрывковъ изъ своей Русской Исторіи". На вечерѣ же 12 февраля, А. Ѳ. Писемскій прочелъ нѣсколько сценъ изъ своей комедіи *Ипохондрикъ*. И содержаніе, и чтеніе доставили много, очень много удовольствія слушателямъ, которые единогласно привѣтствовали новый талантъ... Наконецъ Писемскій, какъ бы въ доказательство, что и новое время имѣетъ также свои хорошія стороны, что литература, при всѣхъ своихъ заблужденіяхъ, все-таки ступила много шаговъ впередъ, что таланты у насъ не переводятся, что открываются новые рудники въ умѣ, если не въ сердцѣ, и наблюдаются новыя стороны въ жизни, — прочелъ двѣ главы изъ своего романа: *Бракъ по страсти*. По поводу чтенія этого романа, Погодинъ замѣтилъ: „Принадлежа, если не къ старому, то по крайней мѣрѣ къ старѣющему поколѣнію, я радуюсь искренно всякому успѣху молодого, которое вѣдь также въ свою очередь не минуетъ своей судьбы, *и чуть ли уже не уступаетъ теперь мѣсто младшему*, поздравлю его пожалуй съ побѣдою, которая увеличитъ вѣдь только нашу общую Русскую славу, но строго осуждаю, горько жалуюсь на тѣхъ, которые хотѣли было оторваться отъ старины, которые хотѣли было прервать цѣпь преданія, продолжавшуюся такъ достойно, благородно, чисто въ Исторіи Русской Словесности, начиная отъ Ломоносова до *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника* не включительно".

Другой вечеръ у Погодина былъ 11 марта того же 1851 года, на которомъ графиня Растопчина прочла новую свою драму: *Семейная тайна*, въ стихахъ. *Ѳ. И. Іорданъ* разсказалъ исторію гравюръ *Преображенія* и его собственной; *Т. И. Филипповъ* пропѣлъ превосходную народную балладу объ одномъ старомъ

бояринѣ; *П. М. Садовскій* разсказалъ отъ лица рядскаго купца исторію Вѣнскаго конгресса и февральской революціи, а потомъ устами зажиточнаго мужика своему земляку, возвратившемуся изъ отлучки, о своихъ двухъ бракахъ; наконецъ передалъ разсказъ Татарина о его похожденіяхъ въ уѣздномъ судѣ, гражданской палатѣ и сенатѣ. Наконецъ, *М. С. Щепкинъ*, съ неподражаемымъ своимъ искусствомъ-натурою, перенесъ въ Малороссію, и передалъ множество любопытныхъ и забавныхъ анекдотовъ о подъячихъ, о головахъ и проч.". [179]).

По поводу описанія этого вечера, Н. В. Бергъ счелъ долгомъ довести до свѣдѣнія Погодина слѣдующее: „Въ *Москвитянинѣ* напечатано, что у васъ, на литературномъ вечеру, читала графиня Ростопчина драму, а Садовскій разсказывалъ между прочимъ *Татарина*. Выходитъ, что это было какъ бы одно за другимъ и что графиня Ростопчина *слушала* разсказъ о *Татаринѣ*. По моему это неловко, и есть промахъ, который надобно какъ-нибудь поправить. Цѣлому городу извѣстно, что такое *Татаринъ* Садовскаго. Не думаю, что графиня, узнавши объ этомъ, останется равнодушна, и потому предувѣдомляю васъ на всякой случай. Извините, что прямо и безъ церемоніи объясняюсь. Какъ хотите, а штука все-таки не совсѣмъ ловкая. Вижу, какъ чертовски трудно быть на мѣстѣ издателя журнала. Сколько отношеній? все это обдумай, соображай и все-таки попадешься... Пишу это предувѣдомленіе потому, что я мирный человѣкъ, и желаю, чтобы *Москвитянинъ* былъ со всѣми въ миру и въ согласіи, а равно и лица его составляющія,—не переставали бы ладить между собою".

XLV.

Будучи представителемъ старой Редакціи *Москвитянина*, Погодинъ весьма дорожилъ участіемъ въ немъ старыхъ писателей и въ особенности князя П. А. Вяземскаго.

„Пришлите мнѣ ради Бога",—писалъ онъ къ нему,—„ваши

стихотворенія и статью Батюшкова... Грустно, тяжко, больно! Одни Ярославы да Святополки разсѣеваютъ меня изрѣдка". Исполняя желаніе Погодина, князь Вяземскій, отправляя къ нему Батюшкова, писалъ: „Вотъ наконецъ мое позднее приношеніе. Я все это время былъ нездоровъ и не могъ заниматься дѣломъ, даже маловажнымъ. Можете напечатать мое приношеніе въ видѣ введенія, или отрывка изъ письма къ вамъ, какъ будетъ вамъ угодно... Я сердечно былъ радъ сказать нѣсколько словъ о Батюшковѣ, нынѣ забытомъ. Постараюсь отыскать въ моемъ архивѣ нѣсколько писемъ его и доставлю вамъ. Въ наше время надобно мертвыхъ ставить на ноги, чтобъ напугать и усовѣстить живую сволочь и отучить отъ нея ротозѣевъ, которые ей дивятся съ колѣнопреклоненіемъ" [180]).

Въ своей статьѣ князь П. А. Вяземскій приводитъ стихотвореніе Батюшкова: *Посланіе къ Д. В. Дашкову* и при стихѣ:

Три раза не поставлю грудь...

замѣчаетъ: „Помнится, что въ первомъ изданіи сказано было *трикраты*. Одна изъ смѣшныхъ особенностей современной Литературы есть та, что критики не любятъ иныхъ словъ, и что издатели, въ угодность имъ, подновляютъ прежнія выраженія авторовъ другими, нынѣ болѣе употребительными" [181]). Но не довѣряя своей памяти, князь Вяземскій (3 февраля 1851 г.) писалъ Погодину: „Если у васъ есть прежнее изданіе Батюшкова, справьтесь о словѣ *трикраты*. Если повѣрка оправдаетъ мою память, то оставьте мое примѣчаніе, если нѣтъ, то выбросьте его" [182]).

Въ новомъ же изданіи сочиненій К. Н. Батюшкова, въ примѣчаніи В. И. Саитова, сказано, что замѣчаніе князя Вяземскаго „невѣрно; слово *трикраты* дважды попадается въ этомъ стихотвореніи Батюшкова и не было измѣняемо ни въ одномъ изданіи"; но въ новомъ изданіи напечатано:

Три раза не поставлю грудь... [183]).

Какъ письмо князя Вяземскаго, такъ и статья Батюшкова произвели освѣжающее впечатлѣніе. На вечерѣ у Погодина, А. С. Хомяковъ прочелъ письмо князя Вяземскаго къ редактору *Москвитянина*. „Краткія, но сильныя слова автора о лжекритикѣ и лжелитературѣ были одобрены вполнѣ и утверждены. За письмомъ послѣдовало чтеніе самихъ статей Батюшкова, въ которыхъ именно услышался, какъ замѣтилъ князь Вяземскій, языкъ другой, нынѣ умолкнувшій, другой порядокъ мыслей, другой взглядъ на вещи. Всѣ слушатели перенеслися еще живѣе въ старое время... Много говорено было о Батюшковѣ, нѣкоторые изъ слушателей видѣли его недавно въ Вологдѣ, и сообщили о немъ свѣжія свѣдѣнія [184]). „Передъ нами", — читаемъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* — „только что вышедшая книжка *Москвитянина*. Украшеніе ея — неизвѣстная доселѣ статья Батюшкова, найденная въ бумагахъ покойнаго Д. В. Дашкова. Статья эта: *Воспоминаніе мѣстъ, сраженій и путешествій* еще не оконченная, но въ этомъ видѣ составляющая сокровище, какъ память о поэтѣ, умершемъ для насъ заживо"...

„Вся душа", — говоритъ князь П. А. Вяземскій, — „весь характеръ, все дарованіе любезнаго поэта въ ней ясно и живо отсвѣчивается. Нынѣ, читая ее, переносишься въ другую эпоху свѣтлую и свѣжую: съ любовью сочувствуешь какому-то другому порядку мыслей, чувствованій, изложенія, вслушиваешься въ другую, когда-то знакомую, но нынѣ забытую, рѣчь звучную, мягкую, согрѣтую сердечною теплотою и проникающую глубокимъ нравственнымъ убѣжденіемъ. Радостно встрѣчаешь эту неожиданную находку, но съ грустью сознаешься, что это уже старина. Тутъ все просто и стройно, и все художественно. Какъ отрывокъ, эта статья, конечно, въ глазахъ многихъ, не будетъ имѣть большой литературной важности. Но въ глазахъ нѣкоторыхъ будетъ она, безъ сомнѣнія, имѣть прелесть какой-нибудь древней художественной бездѣлки, открытой въ глубинѣ Помпейской почвы, затопленной бурнымъ и огненнымъ потокомъ все-поглотившей

авы. Это—бездѣлка, но она живая вывѣска минувшей эпохи. Въ свое время была она обыкновеннымъ выраженіемъ современнаго быта, домашняго, общественнаго и художественнаго: нынѣ она археологическая рѣдкость. Такъ и эта статья имѣетъ свою прелесть и важность преданія и памятника. Желательно, чтобы она была молодымъ художникамъ и предметомъ безпристрастной оцѣнки, обратнаго воззрѣнія на искусство слова, и руководительнымъ образцомъ. Во всякомъ случаѣ, она освѣтитъ въ памяти читателей имя Батюшкова, почти чуждое нынѣшнему поколѣнію"...

„Обломки работъ Батюшкова—драгоцѣнность", — писалъ С. Н. Лешковъ Погодину [185]).

Вслѣдъ за симъ, князь Вяземскій посылаетъ въ *Москвитянинъ* статью о путешествіи князя А. Д. Салтыкова въ Персію и Индію и пишетъ Погодину (6-го апрѣля 1851 года): Подношу *Москвитянину* хоть и не красное яичко, а все-таки надѣюсь, что онъ приметъ благосклонно мое скромное приношеніе. Выставлять имени моего не слѣдуетъ... На дняхъ пришлю вамъ стихи Тютчева".

Наконецъ, въ августѣ, Погодинъ получилъ статью начальника Духовной Константинопольской Миссіи архимандрита Софронія: *Вечерня въ Великой Константинопольской церкви въ первый день Святыя Пасхи*, при слѣдующемъ письмѣ княгини Вѣры Ѳедоровны Вяземской: „Мужъ мой поручаетъ мнѣ препроводить къ вамъ, для напечатанія въ *Москвитянинѣ*, прилагаемую при семъ статью, надняхъ имъ полученную отъ нашего Константинопольскаго архимандрита. Онъ полагаетъ, что лучше не называть его, а сказать просто, что писана она русскимъ духовнымъ лицомъ. Мужъ мой къ вамъ самъ не пишетъ отъ того, что все еще нездоровъ" [186]).

Въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* 1851 года, появился цѣлый рядъ критическихъ статей, направленныхъ противъ классическаго сочиненія князя Вяземскаго *о фонъ-Визинѣ* [187]). Критикъ скрылся подъ слѣдующими знаками: *И. Ф—В....нъ.*

Погодинъ счелъ своею обязанностью написать *два слова*

о статьѣ Московскихъ Вѣдомостей противъ книги о фонъ-Визинѣ: „Не помню гдѣ-то и когда-то, только очень давно, князь Вяземскій замѣтилъ, что счастливъ бываетъ авторъ, если находитъ читателя, который понимаетъ его вполнѣ. Прочитавъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* статью (во многихъ отношеніяхъ основательную и благонамѣренную, коей мы отдаемъ полную справедливость) противъ его книги о *фонъ-Визинѣ*, нельзя не пожалѣть, что такого счастія не досталось ему въ лицѣ почтеннаго господина Ф. В—на. Г. Ф. В—нъ обвиняетъ князя Вяземскаго въ пристрастіи къ энциклопедистамъ, и приводитъ множество современныхъ свидѣтельствъ объ ихъ безнравственности, низости, наглости, самолюбіи, корыстолюбіи и проч. Эти свидѣтельства очень уважительны, принимаются нами совершенно, и подъ ними вѣроятно изъ первыхъ подпишется князь Ваземскій, раздѣляющій мнѣніе объ энциклопедистахъ со всѣми благочестивыми и благонамѣренными нашими современниками, для которыхъ вопросъ принадлежитъ давно къ числу порѣшенныхъ. Но не за энциклопедистовъ вступался князь Вяземскій въ прекрасномъ своемъ сочиненіи *о фонъ-Визинѣ*, а вообще за авторовъ, которыхъ творецъ *Недоросля* и *Бригадира* осудилъ слишкомъ рѣзко, *безъ исключенія*, не обращая вниманія на ихъ достоинство и значеніе. Можетъ быть, въ благородномъ своемъ движеніи за сословіе, къ которому самъ принадлежитъ, онъ выразился нѣсколько сильно (точно какъ фонъ-Визинъ въ своемъ осужденіи), но за одно-другое выраженіе непозволительно взводить на него преступленіе ученое и литературное, давая частному положенію общій смыслъ. А что касается до уваженія князя Вяземскаго къ нашему безсмертному комику, то въ немъ, кажется, никто сомнѣваться не можетъ. Вся его книга считается по справедливости *достойнымъ панегирикомъ* этому примѣчательнѣйшему изъ Русскихъ умовъ, съ которымъ самъ онъ имѣетъ наиболѣе сродства. Я почелъ обязанностію объяснить недоразумѣніе почтеннаго автора статьи, потому что *Московскія Вѣдомости* имѣютъ обширный кругъ читателей, и обвиненія

ихъ могутъ разноситься далеко, а мы должны дорожить славою такихъ людей, какъ фонъ-Визинъ, или какъ князь Вяземскій, потому что она принадлежитъ намъ всѣмъ“ [188])!

1851 годъ былъ для князя П. А. Вяземскаго годомъ неблагополучнымъ. Въ началѣ этого года опасно заболѣлъ его сынъ, князь Павелъ Петровичъ. 5-го марта А. Я. Булгаковъ сообщалъ Погодину: „Князь П. А. Вяземскій пишетъ мнѣ грустное письмо. К. А. Карамзину только что спасяи отъ смерти, сынъ Вяземскаго былъ также опасно боленъ и страдалъ рожею, кинувшеюся внутрь головы. Теперь они всѣ спокойны, больнымъ лучше“ [189]).

Изъ письма же Плетнева къ Жуковскому (24-го марта 1851 года) узнаемъ: „Князь П. А. Вяземскій иногда, какъ и всѣ мы, прихварываетъ; а его сынъ, князь Павелъ, былъ боленъ не на шутку. Теперь и онъ поправился. Я слышалъ, будто онъ будетъ отправленъ къ нашей миссіи въ Голландію“.

Лѣтомъ занемогъ и самъ князь П. А. Вяземскій и о его болѣзни мы узнаемъ изъ письма Плетнева къ Жуковскому слѣдующее: „Болѣзнь Вяземскаго, отъ которой онъ страдаетъ только по ночамъ, дрожаніемъ нѣкоторыхъ членовъ, напримѣръ, руки, ноги и проч. Это не сообщаетъ ему физическихъ страданій, но сильно поражаетъ воображеніе его, такъ что ему приходитъ въ голову, будто онъ непремѣнно отъ этого сойдетъ съ ума или сдѣлается самоубійцею. Въ испугѣ отъ такихъ мыслей онъ молится Богу и проситъ Господа скорѣе послать ему христіанскую кончину. Тревожимый подобнымъ образомъ, онъ не спитъ, что увеличиваетъ разстройство нервовъ его. Сдѣлавшись боязливымъ и опасливымъ, онъ желаетъ всегда оставаться безъ общества, что естественно увеличиваетъ мрачность мыслей его. Все это началось съ отъѣзда сына и его семейства, которое въ продолженіе зимы наполняло обществомъ всѣ свободные часы его. На свою дачу (въ Лѣсномъ), которая близко моей, онъ переѣхалъ тогда, когда жена моя отправилась въ Старую Русу. Поэтому Вяземскій, зная, что я одинъ, иногда приходилъ ко мнѣ и вообще со

мною всегда былъ какъ совершенно здоровый. Послѣ онъ просилъ, чтобы я ежедневно утромъ и вечеромъ проводилъ съ нимъ время... Кромѣ княгини и меня, онъ никого не желалъ видѣть... На двѣ недѣли ѣздилъ онъ въ Ревель... Я простился съ нимъ въ день его отъѣзда за-границу... Въ его наружности не произошло никакой перемѣны" [190]). Графиня Блудова увѣдомляла Погодина: „О Вяземскомъ извѣстія нельзя сказать чтобъ были хорошія, но и не дурныя, слава Богу. Его собирается сынъ со всею семьею перевезти въ Парижъ" [191]).

Любя князя Вяземскаго какъ брата, Жуковскій писалъ Плетневу: „Письмо ваше почти успокоило меня на счетъ Вяземскаго: если его отправили къ сыну, въ Голландію, то это съ надеждою и вѣроятностію исцѣленія: ему нужно быть въ семьѣ, между друзьями, далеко отъ мрачныхъ воспоминаній Петербурга. Меня испугали слухи совсѣмъ иного рода. Благословенъ Богъ! Страхъ и горе были напрасны".

Въ томъ же письмѣ Жуковскій выражаетъ свое негодованіе на графа М. Ю. Вьельгорскаго. Скажите отъ меня Вьельгорскому, что толстѣть, ѣсть за четырехъ и не писать писемъ къ друзьямъ еще весьма простительно, но такъ вычеркнуть меня изъ книги живыхъ, что не подумать меня увѣдомить о бѣдѣ, какая случается съ моими друзьями, это непозволительно, обидно и очень больно. Онъ былъ при отправленіи Вяземскаго. Это пишетъ мнѣ жена Павла Вяземскаго, которая сама еще не знаетъ, гдѣ онъ: — чтобы обо мнѣ вспомнить... Отсутствіе и разлука вредятъ дружбѣ. Вотъ, напримѣръ, и любезный мой Вьельгорскій: *назвалъ себя свиньею, да и думаетъ, что положилъ великую жертву на алтарь дружбы*".

Получивъ изъ Парижа, отъ княгини Вѣры Ѳедоровны Вяземской, извѣстіе о положеніи ея мужа, Жуковскій дѣлится онымъ съ Плетневымъ: „Вяземскій мраченъ, но къ счастью дѣло не такъ дурно, какъ я воображалъ. Вяземскому не сидится на мѣстѣ, онъ бы хотѣлъ покинуть Парижъ и переѣхать ко мнѣ въ Баденъ, но этому и я противлюсь: Баденъ

пустъ и скученъ, а я, полуслѣпой, не буду ему полезенъ, и гробъ его дочери, здѣсь погребенной, не поможетъ мнѣ развлечь его"... [192]).

Но въ этотъ мрачный для князя Вяземскаго 1851 годъ, въ *Раутѣ* Сушкова появилась его *Молитва Ангелу Хранителю:*

Научи меня молиться,
Добрый Ангелъ, научи!
Устъ твоихъ благоуханьемъ
Чувства черствыя смягчи и проч.

XLVI.

Возвратившись изъ деревни, М. А. Дмитріевъ, не смотря на несочувствіе къ нему новаго поколѣнія *Москвитянина*, въ 1851 году, принялъ дѣятельное участіе въ журналѣ своего друга Погодина. Посылая свое сочиненіе *о князѣ Иванѣ Михайловичѣ Долгорукомъ* [193]), онъ писалъ Погодину:

Ввѣряю вамъ мое дитя,
И говорю вамъ не шутя,
Какъ слѣдуетъ легетимисту:
Прошу отдать переписать.
Но возвратить мою тетрадь
Нескверну, цѣлу, здраву, чисту:
Зане, на старости моей,
Какъ инокъ я сидѣлъ надъ ней!
А что касается *Альбома* *).
Меня морозы держатъ дома,
При томъ и боленъ, а пишу!
Не въ понедѣльникъ, такъ во вторникъ
Пришлю ее въ журнальный сборникъ;
Затѣмъ поклонъ мой приношу!

Въ это время у М. А. Дмитріева были написаны *Деревенскія Элегіи*, которыя еще до напечатанія авторъ читалъ въ Московскихъ гостинныхъ. „Всю недѣлю", —писалъ онъ Погодину, — „долженъ былъ выѣзжать и читалъ, по желанію мно-

*) См. ниже.

гихъ лицъ, *Деревенскія Элегіи* и сатиры; то-есть именно попало въ моду все, что не въ модѣ у *Москвитянина*. Въ понедѣльникъ, читаю у Шиповой". Получивъ отъ графини Ростопчиной приглашеніе прочесть у нея эти *Элегіи*, Дмитріевъ писалъ Погодину (20 марта 1851 г.): „Благодаря вамъ, я возобновилъ свое краткое знакомство, не короткое, а краткое, съ графинею Ростопчиной; въ субботу буду у ней читать. Не придете ли вы? Право не хочется быть окружену однимъ молодымъ поколѣніемъ". Повидимому, *Деревенскія Элегіи* не нравились и самому Погодину; ибо въ *Дневникѣ подъ 15—20 марта 1851 г.*, мы встрѣчаемъ слѣдующую отмѣтку: „Много хлопотъ. 17-го на лекціи у Грановскаго. 20-го—у Шевырева, а ввечеру, жертвой дружбы,—слышать *Элегіи* Дмитріева у Ростопчиной".

Не смотря однако на это, Погодинъ просилъ Дмитріева напечатать его Элегіи въ *Москвитянинѣ*. На эту просьбу авторъ отвѣчалъ: „*Элегій* моихъ лѣтомъ ни за что въ свѣтѣ я печатать не буду, потому что въ нихъ описана зима. Это будетъ совсѣмъ не кстати, а для меня à pure pènte. Теперь онѣ возбудили въ здѣшнихъ любителяхъ Словесности большое участіе, такъ что ихъ у меня берутъ переписывать; тогда — будутъ забыты, какъ и все у насъ забывается, пройдутъ безъ вниманія. Онѣ, какъ всѣ говорятъ, искренни и оригинальны. За что же мнѣ ихъ осуждать на потопленіе въ лѣтней книжкѣ"?

Когда же *Деревенскія Элегіи* появились въ апрѣльской книжкѣ *Москвитянина* 1851 года, то Дмитріевъ писалъ Погодину: „*Москвитянинъ*, говорятъ, выйдетъ въ Великій Четвергъ. Многіе опасаются, что церкви опустѣютъ и что вмѣсто слушанія двѣнадцати Евангелій, всѣ будутъ читать мои *Деревенскія Элегіи*. Какъ вы объ этомъ думаете? За симъ, простите меня передъ говѣньемъ въ грѣхахъ моихъ, слѣдовательно и въ этой послѣдней шуткѣ пера моего".

Кромѣ вкладовъ стихами и прозою, Дмитріевъ, въ 1851 году, участвовалъ и въ отдѣлѣ Критики и Библіографіи

Москвитянина. Посылая свою рецензію на *Басни* Константина Мосальскаго *), Дмитріевъ писалъ Погодину: „Вотъ вамъ, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, еще провизія для Библіографіи!... Извините, *Басни* Мосальскаго такая дрянь, какой не было съ графа Хвостова! А каковъ работникъ! Да и какъ скоро все поспѣваетъ! Кажется, пишетъ скоро! Довольно и забавно для Библіографіи; а это не лишнее. Впрочемъ, я берусь писать вотъ о какихъ книгахъ: по части Русской Словесности, Литературы вообще, теоріи изящнаго, т.-е. Эстетики и проч. и даже по части Философіи. За это я берусь; а за что возьмусь, то сдѣлать могу. Присылайте, если хотите". [194]) Печатно же Дмитріевъ совѣтовалъ Мосальскому „совсѣмъ не писать басенъ и прочитать со вниманіемъ хотя Измайлова—*Опытъ о разсказѣ басни* [195]).

Фельетонъ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*, въ которомъ „унижается, осмѣивается, представляется въ каррикатурѣ *Душенька* Богдановича" [196]), вынудилъ Дмитріева написать *Голосъ въ защиту Богдановича* и напечатать его въ *Москвитянинѣ* [197]). „Нынче въ нашей Литературѣ",—писалъ Дмитріевъ къ Погодину,—„никто ничего не знаетъ и не признаетъ; молодое поколѣніе литературныхъ незнаекъ, чтобы не сказать невѣжъ, гордо, дерзко, невѣжественно и презираетъ все, кромѣ себя, своихъ и своего. Затѣмъ-то и надобно бы намъ, старикамъ, писать; да тянуть надобно дружно. А у насъ этого и нѣтъ: одинъ потянетъ, другой станетъ. Утерли бы мы имъ носъ, если бы писали порядкомъ. Мнѣ просто горько отъ всего, что́ происходитъ въ нынѣшней Русской Литературѣ".

Въ 1851 году, Н. В. Сушковъ издалъ въ Москвѣ литературный сборникъ подъ заглавіемъ *Раутъ*, въ пользу Александрійскаго Дѣтскаго Пріюта. На это изданіе, въ качествѣ рецензента *Москвитянина*, обратилъ вниманіе М. А. Дмитріевъ и своею рецензіею озлобилъ Сушкова. 18 апрѣля того же 1851 года, Дмитріевъ писалъ Погодину: „О *сборникѣ* пишу; надѣюсь,

---

*) Спб. 1851.

что не замедлю. Мало хорошаго! А читали ли вы его сами? Видѣли ли какъ издатель напускаетъ на *Москвитянина* Петербургскіе журналы? Очень благородно при извѣстныхъ направленіяхъ и извѣстныхъ взаимныхъ отношеніяхъ ихъ и нашихъ! Если всякой стихослагатель будетъ такъ мстить за рецензію своего маранья, то и рецензіи писать нельзя! И мнѣ тутъ же досталось! Настоящій irritabile genus! Сколько разъ бранили въ *Отечественныхъ Запискахъ* и меня, и Глинку, и Хомякова: ни одинъ изъ насъ не сердился! Нѣтъ раздражительнѣе посредственности; но спускать ей, я думаю, не надобно. А графиня Ростопчина (сказывали мнѣ и хозяйка дома, и ея гостья) прекрасно и очень скромно утѣшила дяденьку: „Вы, дяденька, напрасно сердитесь на критику: вѣдь куплеты-то въ самомъ дѣлѣ глупы. Вы знаете, дяденька, какъ я васъ люблю и почитаю: такъ я и говорю вамъ всю правду; а вѣдь другіе вамъ не скажутъ“.

Написавъ рецензію на *Раутъ*, Дмитріевъ увѣрялъ Погодина, что „многіе будутъ смѣяться“ [198]). Надо замѣтить, что, разбирая въ *Москвитянинѣ Драматическій Альбомъ* П. Н. Арапова, Дмитріевъ сдѣлалъ нѣсколько колкихъ замѣчаній на отрывки изъ *Ненавистника женщинъ*, комедіи Н. В. Сушкова, и на *Живописецъ Теньеръ* [199]) анекдотъ-водевиль, того же Сушкова и П. А. Корсакова. Печатая же въ своемъ *Раутѣ* другіе отрывки изъ той же своей комедіи *Ненавистникъ женщинъ*, Н. В. Сушковъ задѣлъ М. А. Дмитріева и *Москвитянинъ*. Въ противоположность мнѣнію Дмитріева, Сушковъ представляетъ отзывъ рецензента *Библіотеки для Чтенія* о своей комедіи. Въ этой рецензіи сказано, что *Ненавистникъ женщинъ* „быть можетъ, самая правильная изъ Русскихъ классическихъ комедій, самая свѣтская, самая изящная по языку и тону, что она заслуживаетъ быть вполнѣ напечатанною“. Приводя этотъ отзывъ, Сушковъ спрашиваетъ: „А *Москвитянинъ?*... Увы! его критикъ-педагогъ забылъ на этотъ разъ блаженное правило Горація. Горацій совѣтуетъ писателямъ не торопиться выпускомъ въ свѣтъ своихъ произведеній, а выдерживать ихъ,

по крайней мѣрѣ, девять лѣтъ подъ спудомъ. А новѣйшій Горацій и Аристархъ 1851 года ставитъ мнѣ въ вину, что *Мизогинъ* и *Теньеръ* были долго подъ спудомъ.... Видно только и хорошо, что сейчасъ состряпано... Литературныя произведенія — какъ блины — подавай горячія! горячія, какъ Критика въ *Москвитянинѣ*, который, видимо, мужаетъ и растетъ, даже масляницей потолстѣлъ-было, и даромъ что еще только по двѣнадцатому годочку — дитя, дѣтское чтеніе оставилъ, сказки забросилъ, о моськѣ Крылова совершенно забылъ — и истымъ варягомъ набѣгаетъ на берега Невы: горе вамъ Петербургскіе журналы! горе тебѣ, *Современникъ*, *Отечественныя Записки!* горе тебѣ, *Библіотека для Чтенія!* Отрокъ смѣло пошелъ на взрослыхъ и стариковъ — берегитесь! дайте только ему управиться около-то себя — въ маетностяхъ боярина Кучки, а тамъ вспомните вы изгоевъ! ужъ лучше бѣгите скорѣй въ Одессу или на Кавказъ: туда еще не ходилъ нашъ богатырь, новый Илья Муромецъ, *исторически* благоговѣя передъ Тьмутараканью и *романтически* опасаясь встрѣтить на Эльбрусѣ или Араратѣ тѣни Пушкина, Лермонтова и Грибоѣдова, на которыхъ онъ нападать еще не дерзаетъ"!...

Кромѣ вышеупомянутыхъ отрывковъ, Сушковъ помѣстилъ въ своемъ *Раутѣ* другое свое произведеніе, подъ заглавіемъ *Раканы или трое, вмѣсто одного.* Анекдотъ въ лицахъ, въ одномъ дѣйствіи, въ стихахъ [200]). Въ своей рецензіи на *Раутъ*, М. А. Дмитріевъ не оставилъ безъ отвѣта вышеизложенныя нападенія Сушкова. „Напрасно опирается Сушковъ", — писалъ Дмитріевъ въ *Москвитянинѣ*, — „на отзывъ рецензента *Библіотеки для Чтенія*. Развѣ неизвѣстно ему, съ какою силою и искусствомъ Сенковскій владѣетъ орудіемъ ироніи? Попробывалъ бы онъ напечатать въ его журналѣ своихъ *Раканов*"!... Для примѣра, Дмитріевъ, между прочимъ, приводитъ одинъ стихъ Сушкова:

Какъ уголь черные горятъ во лбу глаза.

и замѣчаетъ: „Во-первыхъ, глаза не во лбу, а ниже лба; во-

вторыхъ, уголь, когда горитъ, тогда онъ не черный, а красный, а когда уголь черный, значитъ, что онъ потухъ. И Поэзія требуетъ здраваго смысла". Сушковъ называетъ своего рецензента педагогомъ. Дмитріевъ спрашиваетъ: „знаетъ ли онъ значеніе этого слова? А если знаетъ, то неужели онъ признаетъ себя ребенкомъ? Педагогъ не значитъ критика, но учителя. Παιδάγωγος происходитъ отъ παῖς — дитя и ἀγωγὸς — водитель... Никакой рецензентъ не признаетъ себя дядькой какого-нибудь автора"... Далѣе, Дмитріевъ замѣчаетъ, что Горацій очень справедливо называетъ стихотворцевъ irritabile genus. Сушковъ, разсердившись на рецензента, изливаетъ свой гнѣвъ и на *Москвитянинѣ*... Оскорбленный авторъ напоминаетъ даже въ этомъ случаѣ о моськѣ Крылова... Но Дмитріевъ спрашиваетъ: „Кто же въ этомъ случаѣ играетъ роль неповоротливаго слона"... Но Сушковъ такъ осерчалъ на *Москвитянина*, что вызываетъ на него всѣ Петербургскіе журналы. „Но эти журналы",—замѣчаетъ Дмитріевъ, — „не смотря на то, что не сходятся съ нами въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ, постоянно слѣдуютъ своему собственному образу мыслей; мудрено Сушкову завербовать ихъ подъ свое неизвѣстное и ветхое знамя"! Далѣе, Дмитріевъ выражаетъ сожалѣніе, что Сушковъ, „жертвуя всѣмъ своей авторской досадѣ, называетъ даже нашу знаменитую Москву маетностями боярина Кучки.... намекаетъ на споры о Тмутаракани и объ изгояхъ, которые не такъ незначительны, какъ онъ, можетъ быть, воображаетъ; ибо изъясненіе слова изгой ведетъ къ объясненію одного изъ явленій Русскаго быта". Рецензію свою Дмитріевъ заключаетъ такими словами: „Должно замѣтить, что дамы Раута щеголеватѣе, роскошнѣе, опрятнѣе и благовоспитаннѣе кавалеровъ; кавалеры, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, большею частію плохо одѣты и говорятъ языкомъ не свѣтскимъ, не изящнымъ; а самъ хозяинъ говоритъ какъ попало, а иногда и бранится: что̀, слышали мы, не понравилось свѣтскимъ дамамъ, сдѣлавшимъ честь его *Рауту* [301]). Сушковъ жаловался цензурному начальству. Подъ 11 іюня 1851 года, въ *Дневникѣ* Погодина

встрѣчается слѣдующая запись: „Выговоръ отъ Назимова за Дмитріева. Это справедливо". Но вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ писалъ В. И. Назимову: „Вчера получилъ я выговоръ Цензурнаго Комитета, по приказанію вашего превосходительства. Выговоръ этотъ совершенно справедливъ мнѣ, какъ *редактору*, и я не только сѣтовать, но долженъ благодарить васъ за него, потому что впредь даетъ онъ мнѣ право быть тверже и строже съ статьями. Но я долженъ только объяснить вашему превосходительству, что критикъ, авторъ извѣстный и непривыкшій прощать, вызванъ былъ совершенно подобными выраженіями издателя *Раута*, такъ что я никакъ не могъ *юридически* остановить его рецензій, вѣроятно по той же причинѣ и г. цензоръ. Я могъ только просить его и просилъ тремя письмами, а въ послѣдній разъ, представляя окончательную корректуру, увѣренъ былъ, что онъ исполнитъ мою убѣдительную просьбу, но ошибся, къ сожалѣнію. Издатель *Раута* назвалъ его почти ясно *моською*. Судите сами, какъ же можно было запрещать или исправлять самому его отвѣтъ".

Пользуясь этимъ случаемъ, Погодинъ довелъ до свѣдѣнія Назимова слѣдующее: „Кромѣ издателя *Раута*, который есть человѣкъ добрый, неопасный и безвредный, исключая его метроманіи, на *Москвитянинѣ* шипитъ цѣлый легіонъ, и эти Московскіе господа, скрывая свои имена, ругаютъ его всячески въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Современникѣ*, *Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* и проч., стараются вредить ему и мѣшать всѣми, безъ разбору, средствами, потому что онъ составляетъ ихъ оппозицію, потому что его глазъ и ушей они опасаются. Если эти господа достигнутъ своей цѣли и принудятъ меня оставить журналъ, который мнѣ и безъ ихъ происковъ становится въ тягость, тогда увидите"... [202]).

Кромѣ того, въ *Москвитянинѣ* Погодинъ напечаталъ слѣдующее: „На святой недѣлѣ, попался мнѣ въ руки *Раутъ*. Съ удовольствіемъ я прочелъ и перелистовалъ многія статьи. На *Раутѣ* первое лучшее мѣсто занимаютъ наши дамы-пи-

сательницы: А. П. Глинка, А. П. Арсеньева, Е. И. Вельтманъ, В. Н. Головина, К. П. Павлова, П. М. Бакунина, Ю. В. Жадовская, Е. В. Туръ, графиня Е. П. Ростопчина! Всѣ наши знаменитости извѣстности, прелести, красоты, любезности! Но какъ попался между ними *Мизогинъ?* Тамъ, гдѣ все преклоняется, уничтожается, падаетъ предъ дамами, и какими дамами,—могъ ли явиться ихъ ненавистникъ? Это варварство, скиѳство, вандальство, тмутараканство или просто Раканство". Затѣмъ, переходя къ выходкамъ Сушкова личнаго свойства, Погодинъ замѣчаетъ: „А кстати о Тмутаракани. Зачѣмъ почтенный поэтъ задѣлъ насъ, невинныхъ археологовъ, съ Г. И. Спасскимъ? Мы сражаемся потихоньку, въ сторонѣ, никому не мѣшаемъ, никого не трогаемъ, ничѣмъ не хвалимся, ничего не желаемъ,—мы про себя, „то сей, то оный на бокъ гнется", однимъ словомъ, мы люди смирные, а ему дѣло до другихъ людей, т.-е. до двухъ людей [Л. Л.] *), которымъ подалъ онъ теперь самъ на себя оружіе, и они, вступаясь будто за дамъ, докажутъ теперь вѣрно, по тремъ дѣйствіямъ, что *Мизогинъ* на раутѣ анахронизмъ и аномалія, какъ бы ни велики были его достоинства, доказанныя *Библіотекой для Чтенія.* Да—авторъ *Мизогина* замѣчаетъ еще, что *Москвитянинъ* романтически боится взлетѣть на высоту Эльборуса, чтобъ не встрѣтиться тамъ съ тѣнями Пушкина и Лермонтова. Бояться ему нечего встрѣчи, но, главное, зачѣмъ же Богъ понесетъ его туда, на такую высоту,—хоть бы у него и не было романтической робости? Положимъ, у Сушкова достанетъ классической смѣлости, особенно вмѣстѣ съ *Мизогинымъ,*—но что̀ онъ будетъ дѣлать тамъ, не понимаемъ! Наконецъ, авторъ употребляетъ военную хитрость, стараясь соединить свое дѣло съ дѣломъ Петербургскихъ журналовъ воедино. Не знаемъ, удастся ли ему эта хитрость, потому что Петербургскіе журналы—не *Москвитянинъ:* они злопамятны,—а пока поздравляемъ ихъ съ по-

*) М. А. Дмитріевъ.

ымъ, неожиданнымъ союзникомъ, а Сушкова съ почтеннымъ оюзомъ. Впрочемъ, альманахъ все-таки очень хорошъ, и мы овѣтуемъ читателямъ запасаться имъ на лѣто, тѣмъ болѣе, то выручка принадлежитъ Дѣтскому Пріюту“ [203]).

Въ тоже время, между Погодинымъ и Дмитріевымъ происходили, такъ сказать, домашнія распри. Погодинъ, напри-ѣръ, позволялъ себѣ иногда дѣлать въ рецензіяхъ своего руга нѣкія измѣненія и дополненія, что̀ очень не нравилось митріеву. „Вы“,—писалъ онъ,—„исключаете изъ критики все егкое и колкое. Мудрено ли, что *Москвитянинъ* для большинства читателей будетъ скученъ. А подписчики набираются зъ нихъ!—Шутка и колкость въ журналѣ всегда позволительны, если онѣ не отзываются передней, какъ у Бѣлинкаго, или казармой, какъ у Вельтмана. Я не стою за эти татьи, потому что не подписываю подъ ними имени; но вы ами отнимаете у себя подписчиковъ: разумѣется не этою, е другою, не третьею, а всѣми, которыя вы обрѣжете въ еченіе года, и отъ которыхъ останется для журнала—одна атая посредственность“.

Одновременно съ симъ Дмитріевъ упрекалъ Погодина въ неравильности языка и за неправильное употребленіе словъ ностранныхъ. „При́четъ“,—говорится только о причтѣ церовномъ; а во всѣхъ другихъ случаяхъ въ языкѣ разговорномъ оворится *причо́тъ—причота*, и не: о при*чтѣ*, а о при*чотѣ*. лѣдовательно, вы напрасно поправляете меня въ Русскомъ зыкѣ. А у васъ, осмѣливаюсь замѣтить, въ статьѣ *О Переьльномъ Замкѣ:* я *всталъ* подлѣ священника; стало быть, вы перва лежали подлѣ священника. Надобно было сказать: я *талъ*. Пожалуй, въ Петербургѣ пишутъ *взо*шелъ въ комнату, *вош*елъ на лѣстницу; то-есть совсѣмъ наоборотъ. Но это тъ того, что они не знаютъ языка: не надобно подражать имъ“.

Тогда же Дмитріевъ указывалъ Погодину на неправильое употребленіе имъ иностранныхъ словъ: „Я нахожу у асъ *симптомъ*—припадокъ; а симптомъ—признакъ; медики оворятъ: симптомъ припадка. Что же это: припадокъ при-

падка?—*Стилетъ*—не прутикъ; а развѣ шпилька или завостренный стальной прутикъ. *Раціональный*—не есть отчетливый, а основанный на разумѣ, противуполагаемый эмпирическому, т.-е. опыту, не основанному на разумѣ.—*Изолированіе*—не есть отдѣленіе, а развѣ *отъединеніе*, устраненіе отъ всего.—*Рецидивъ* (технически) не есть просто возвратъ, а возвратъ болѣзни, т.-е. впаденіе вновь въ болѣзнь.—И такъ, этотъ переводъ терминовъ ихъ не замѣняетъ, а запутываетъ выражаемыя ими понятія".

Изъ этихъ справедливыхъ замѣчаній Погодинъ заключилъ, что Дмитріевъ на него сердится... Но Дмитріевъ писалъ своему другу: „Говѣю и всякой разъ слышу: *Даруй мнѣ зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата моего.*—Постараюсь не осуждать и въ Русскомъ языкѣ; а пошевелить васъ иногда не худо. Только вы все думаете, что я сержусь; а я съ тѣхъ поръ, какъ подобно Саллюстію, исключенъ изъ Сената цензоромъ Аппіемъ (вѣроятно тоже за дурное поведеніе), совсѣмъ пересталъ сердиться".

Въ это время еще здравствовала сестра И. И. Дмитріева, Наталія Ивановна, и ея племянникъ писалъ Погодину: „Сейчасъ получилъ отъ тетушки Натальи Ивановны вынутую за здравіе ваше просфору, которую немедленно къ вамъ и препровождаю. Вотъ какъ мы всей семьей заботимся о спасеніи *Москвитянина*. А шла эта просфора ко мнѣ чрезъ ученыя руки; а именно чрезъ вашего и ея сотрудника Капитона Ивановича Невоструева".

Между тѣмъ, изъ своей деревни М. А. Дмитріевъ получалъ неутѣшительныя извѣстія. „Получилъ сейчасъ",—писалъ онъ Погодину,—„письмо изъ деревни. Яровое лучше прошлогодняго, а рожь хуже; прошлаго года было наоборотъ. И таково-то всегда наше помѣщичье дѣло, что изъ златой посредственности не выходитъ. То дожди, то засухи — разсчитывай! Третьяго года у меня отдали луговъ на тысячу четыреста рублей, прошлаго—на четыреста пятьдесятъ, нынче—на

сто девять рублей. Какова разница? И можно ли на что-нибудь разсчитывать приблизительно".

11-го ноября 1851 года, М. А. Дмитріевъ уже писалъ Погодину изъ своего Богородскаго: „Я уѣхалъ, не простившись съ вами и ни съ кѣмъ. Я думаю, сынъ мой сказывалъ вамъ причину: до самаго дня отъѣзда я былъ боленъ простудою, и не выѣзжалъ со двора, такъ что нѣсколько дней была подорожная, а я все не могъ ѣхать, и пустился уже въ путь на всякой рискъ, потому что время года было позднее и медлить болѣе нельзя. Дорога была очень безпокойна: и непроходимыя грязи черныя, и ломка экипажа; словомъ, натерпѣлись! А до Владимира по шоссе было ѣхать прекрасно, такъ легко, что вмѣсто шести лошадей вездѣ впрягали четверню. Вотъ плоды *Европейства*; но и тутъ бѣда: на испорченныя мѣста насыпаютъ мелкаго камня вновь, но его не укатываютъ катками, а заставляютъ проѣзжающихъ укатывать колесами! И это бы ничего, но чтобы непремѣнно укатывали, то на всѣ гладкія мѣста набросаны большіе камни и даже бревна, чтобы по гладкимъ мѣстамъ не ѣздили, что въ темную ночь чрезвычайно опасно, потому что ихъ не разглядишь, а надо ихъ объѣзжать безпрестанно. Это уже плодъ національности! [204]).

XLVII.

12-го мая 1851 года, Ѳ. Н. Глинка далъ вечеръ, на которомъ читалась его поэма *Таинственная Капля*. По свидѣтельству Т. И. Филиппова, чтеніе производилось Глинкою поочередно съ его супругою Авдотьею Павловною. Это чтеніе произвело сильное впечатлѣніе на графиню Е. П. Ростопчину и она свои чувства выразила въ письмѣ, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Почтенные, уважаемые, искренне любимые Ѳедоръ Николаевичъ и Авдотья Павловна..... Скажу вамъ просто, что слушая эту чудную библейскую эпопею..... я была изъята изъ нашего міра и вѣка, перенесена въ какое-то дру-

падка?—*Стилетъ*—не прутикъ; а развѣ шпилька или заостренный стальной прутикъ. *Раціональный*—не есть отчетливый, а основанный на разумѣ, противуполагаемый эмпирическому, т.-е. опыту, не основанному на разумѣ.—*Изолированіе*—не есть отдѣленіе, а развѣ *отъединеніе*, устраненіе отъ всего.—*Рецидивъ* (технически) не есть просто возвратъ, а возвратъ болѣзни, т.-е. впаденіе вновь въ болѣзнь.—И такъ, этотъ переводъ терминовъ ихъ не замѣняетъ, а запутываетъ выражаемыя ими понятія".

Изъ этихъ справедливыхъ замѣчаній Погодинъ заключилъ, что Дмитріевъ на него сердится... Но Дмитріевъ писалъ своему другу: „Говѣю и всякой разъ слышу: *Даруй мнѣ зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата моего.*—Постараюсь не осуждать и въ Русскомъ языкѣ; а пошевелить васъ иногда не худо. Только вы все думаете, что я сержусь; а я съ тѣхъ поръ, какъ подобно Саллюстію, исключенъ изъ Сената цензоромъ Аппіемъ (вѣроятно тоже за дурное поведеніе), совсѣмъ пересталъ сердиться".

Въ это время еще здравствовала сестра И. И. Дмитріева, Наталія Ивановна, и ея племянникъ писалъ Погодину: „Сейчасъ получилъ отъ тетушки Натальи Ивановны вынутую за здравіе ваше просфору, которую немедленно къ вамъ и препровождаю. Вотъ какъ мы всей семьей заботимся о спасеніи *Москвитянина*. А шла эта просфора ко мнѣ чрезъ ученыя руки; а именно чрезъ вашего и ея сотрудника Капитона Ивановича Невоструева".

Между тѣмъ, изъ своей деревни М. А. Дмитріевъ получалъ неутѣшительныя извѣстія. „Получилъ сейчасъ",—писалъ онъ Погодину,—„письмо изъ деревни. Яровое лучше прошлогодняго, а рожь хуже; прошлаго года было наоборотъ. И таково-то всегда наше помѣщичье дѣло, что изъ златой посредственности не выходитъ. То дожди, то засухи — разсчитывай! Третьяго года у меня отдали луговъ на тысячу четыреста рублей, прошлаго—на четыреста пятьдесятъ, нынче—на

сто девять рублей. Какова разница? И можно ли на что-нибудь разсчитывать приблизительно".

11-го ноября 1851 года, М. А. Дмитріевъ уже писалъ Погодину изъ своего Богородскаго: „Я уѣхалъ, не простившись съ вами и ни съ кѣмъ. Я думаю, сынъ мой сказывалъ вамъ причину: до самаго дня отъѣзда я былъ боленъ простудою, и не выѣзжалъ со двора, такъ что нѣсколько дней была подорожная, а я все не могъ ѣхать, и пустился уже въ путь на всякой рискъ, потому что время года было позднее и медлить болѣе нельзя. Дорога была очень безпокойна: и непроходимыя грязи черныя, и ломка экипажа; словомъ, натерпѣлись! А до Владимира по шоссе было ѣхать прекрасно, такъ легко, что вмѣсто шести лошадей вездѣ впрягали четверню. Вотъ плоды *Европейства*; но и тутъ бѣда: на испорченныя мѣста насыпаютъ мелкаго камня вновь, но его не укатываютъ катками, а заставляютъ проѣзжающихъ укатывать колесами! И это бы ничего, но чтобы непремѣнно укатывали, то на всѣ гладкія мѣста набросаны большіе камни и даже бревна, чтобы по гладкимъ мѣстамъ не ѣздили, что въ темную ночь чрезвычайно опасно, потому что ихъ не разглядишь, а надо ихъ объѣзжать безпрестанно. Это уже плодъ національности! [204]).

XLVII.

12-го мая 1851 года, Ѳ. Н. Глинка далъ вечеръ, на которомъ читалась его поэма *Таинственная Капля*. По свидѣтельству Т. И. Филиппова, чтеніе производилось Глинкою поочередно съ его супругою Авдотьею Павловною. Это чтеніе произвело сильное впечатлѣніе на графиню Е. П. Ростопчину и она свои чувства выразила въ письмѣ, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Почтенные, уважаемые, искренне любимые Ѳедоръ Николаевичъ и Авдотья Павловна..... Скажу вамъ просто, что слушая эту чудную библейскую эпопею..... я была изъята изъ нашего міра и вѣка, перенесена въ какое-то дру-

падка?—*Стилетъ*—не прутикъ; а развѣ шпилька или заостренный стальной прутикъ. *Раціональный*—не есть отчетливый, а основанный на разумѣ, противуполагаемый эмпирическому, т.-е. опыту, не основанному на разумѣ.—*Изолированіе*—не есть отдѣленіе, а развѣ *отъединеніе*, устраненіе отъ всего.—*Рецидивъ* (технически) не есть просто возвратъ, а возвратъ болѣзни, т.-е. впаденіе вновь въ болѣзнь.—И такъ, этотъ переводъ терминовъ ихъ не замѣняетъ, а запутываетъ выражаемыя ими понятія".

Изъ этихъ справедливыхъ замѣчаній Погодинъ заключилъ, что Дмитріевъ на него сердится... Но Дмитріевъ писалъ своему другу: „Говѣю и всякой разъ слышу: *Даруй мнѣ зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата моего.*—Постараюсь не осуждать и въ Русскомъ языкѣ; а пошевелить васъ иногда не худо. Только вы все думаете, что я сержусь; а я съ тѣхъ поръ, какъ подобно Саллюстію, исключенъ изъ Сената цензоромъ Аппіемъ (вѣроятно тоже за дурное поведеніе), совсѣмъ пересталъ сердиться".

Въ это время еще здравствовала сестра И. И. Дмитріева, Наталія Ивановна, и ея племянникъ писалъ Погодину: „Сейчасъ получилъ отъ тетушки Натальи Ивановны вынутую за здравіе ваше просфору, которую немедленно къ вамъ и препровождаю. Вотъ какъ мы всей семьей заботимся о спасеніи *Москвитянина*. А шла эта просфора ко мнѣ чрезъ ученыя руки; а именно чрезъ вашего и ея сотрудника Капитона Ивановича Невоструева".

Между тѣмъ, изъ своей деревни М. А. Дмитріевъ получалъ неутѣшительныя извѣстія. „Получилъ сейчасъ",—писалъ онъ Погодину,—„письмо изъ деревни. Яровое лучше прошлогодняго, а рожь хуже; прошлаго года было наоборотъ. И таково-то всегда наше помѣщичье дѣло, что изъ златой посредственности не выходитъ. То дожди, то засухи — разсчитывай! Третьяго года у меня отдали луговъ на тысячу четыреста рублей, прошлаго—на четыреста пятьдесятъ, нынче—на

сто девять рублей. Какова разница? И можно ли на что-нибудь разсчитывать приблизительно".

11-го ноября 1851 года, М. А. Дмитріевъ уже писалъ Погодину изъ своего Богородскаго: „Я уѣхалъ, не простившись съ вами и ни съ кѣмъ. Я думаю, сынъ мой сказывалъ вамъ причину: до самаго дня отъѣзда я былъ боленъ простудою, и не выѣзжалъ со двора, такъ что нѣсколько дней была подорожная, а я все не могъ ѣхать, и пустился уже въ путь на всякой рискъ, потому что время года было позднее и медлить болѣе нельзя. Дорога была очень безпокойна: и непроходимыя грязи черныя, и ломка экипажа; словомъ, натерпѣлись! А до Владимира по шоссе было ѣхать прекрасно, такъ легко, что вмѣсто шести лошадей вездѣ впрягали четверню. Вотъ плоды *Европейства*; но и тутъ бѣда: на испорченныя мѣста насыпаютъ мелкаго камня вновь, но его не укатываютъ катками, а заставляютъ проѣзжающихъ укатывать колесами! И это бы ничего, но чтобы непремѣнно укатывали, то на всѣ гладкія мѣста набросаны большіе камни и даже бревна, чтобы по гладкимъ мѣстамъ не ѣздили, что въ темную ночь чрезвычайно опасно, потому что ихъ не разглядишь, а надо ихъ объѣзжать безпрестанно. Это уже плодъ національности! [204]).

XLVII.

12-го мая 1851 года, Ѳ. Н. Глинка далъ вечеръ, на которомъ читалась его поэма *Таинственная Капля*. По свидѣтельству Т. И. Филиппова, чтеніе производилось Глинкою поочередно съ его супругою Авдотьею Павловною. Это чтеніе произвело сильное впечатлѣніе на графиню Е. П. Ростопчину и она свои чувства выразила въ письмѣ, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Почтенные, уважаемые, искренне любимые Ѳедоръ Николаевичъ и Авдотья Павловна..... Скажу вамъ просто, что слушая эту чудную библейскую эпопею..... я была изъята изъ нашего міра и вѣка, перенесена въ какое-то дру-

гое, лучшее время, время простоты, теплоты, жизни и вѣры,— время, непохожее на эту тяжкую пору безвѣрія, нелюбія, лжеученій и лжепророковъ мнимой истины философской. — Эти картины древняго Востока, эти преданья о Святомъ Семействѣ, о Пресвятой Матери Предвѣчнаго Младенца... Все это казалось мнѣ такимъ неожиданнымъ, но желаннымъ явленіемъ въ *теперешнее* навожденіе прозы, реализма и скудости духовной, прикрытой нынѣшнимъ именемъ *разума* и *разсудка*, что я предавалась восторженно и сладко обаянью, увлекающему и душу мою, и мечту, и слухъ, и сердце!.. Какъ христіанка первобытная,..... я готова была креститься и поклоняться, воображая себя въ присутствіи Святого Семейства, среди пустыни... Какъ образа́ въ иконостасахъ нашихъ, которые остаются не болѣе какъ смѣшеніемъ красокъ и формъ для нѣкоторыхъ, но представляютъ и отверзаютъ *цѣлый міръ святыни* другому"...

Ѳ. Н. Глинка, препровождая это письмо къ Погодину для напечатанія въ *Москвитянинѣ*, писалъ ему: „По желанію вашему, препровождаю (въ копіи) письмо ея сіятельства графини Е. П. Ростопчиной. Если въ самомъ дѣлѣ вы разсудите напечатать это письмо, то не забудьте сказать въ примѣчаніи, что это дѣлается *по собственному распоряженію* ея сіятельства графини Евдокіи Петровны. Въ томъ же письмѣ Ѳ. Н. Глинки мы читаемъ: „Посылаю вамъ, батюшка, еще письмо отца Ефима, извѣстнаго и преизвѣстнаго всей царской фамиліи Орловскаго протоіерея *). Онъ очень ученъ знаетъ разные языки, стало, авторитетъ его не бездѣлица! — Прочтите какъ славился и дѣйствовалъ животворящій крестъ въ Орлѣ, и какъ сталъ было дѣйствовать одинъ ученый, да его посадили въ сумасшедшій домъ"!

Въ числѣ слушателей на вечерѣ Глинки былъ и Погодинъ, на котораго это чтеніе произвело странное впечатлѣніе. Вотъ что записалъ онъ объ этомъ вечерѣ въ своемъ

*) Духовникъ Петра Васильевича Кирѣевскаго.

невникъ: „Слушалъ Глинку. Есть прекрасныя вещи. Слу-
ая, все представлялось, какъ сдѣлать переходъ отъ Южной
оссіи къ Новгородскому княжеству, а отъ потомства Рости-
авова къ Роману Волынскому“!

Между тѣмъ, М. А. Дмитріевъ, прочитавъ въ *Москвитя-
инѣ* письмо графини Ростопчиной къ Глинкѣ, иронически
исалъ Погодину: „Акаѳистъ иже во святыхъ Ѳеодору и
вдотьѣ и такъ и сякъ, больше дѣло домашнее“.

Въ 1851 году, въ Москвѣ разнесся слухъ о кончинѣ А. С.
турдзы. Когда же этотъ слухъ достигъ до самого Стурдзы,
онъ писалъ Погодину: „Въ Москвѣ, между добрыми людьми,
торымъ извѣстно мое земное существованіе, пронесся слухъ
моей смерти. А между тѣмъ, я все еще живу и читаю
Москвитянина, слѣдственно я передъ вами въ долгу. Чтобы
наменовать, чѣмъ-нибудь и жизнь мою, и благодарность, я
думалъ представить вамъ новую статью — *Очерки современ-
го Востока въ духовномъ отношеніи*. Въ ней нѣтъ ни сло-
чка, ни намека о политикѣ. Посему, быть можетъ, удастся
мъ помѣстить трудъ мой въ вашемъ журналѣ. Для дости-
енія этой невинной цѣли, не называйте пожалуйста имени
тора. Истина *ничья* — потому именно, что все принадлежитъ
— и настоящее и грядущее“ [205]). Но статья эта за под-
исью автора была напечатана въ *Москвитянинѣ* и возбу-
ила полемику съ *Отечественными Записками*. Полемика
зникла по поводу нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ Стурдзою
этой статьѣ, о Лондонской выставкѣ. Авторъ говоритъ:
При ослѣпительномъ блескѣ всемірной въ Лондонѣ выставки,
которой практическій умъ человѣка, тѣсно сроднившійся
веществомъ, воплощается въ безчисленныхъ видоизмѣне-
яхъ затѣйливаго искусства, едва ли будетъ кстати заго-
рить о чемъ-нибудь иномъ, постороннемъ. Едва ли не по-
жется страннымъ указывать на звѣзды духовнаго міра,
ту самую минуту, когда солнце промышленности стало
своемъ зенитѣ, и отвѣсными лучами своими простираетъ
всюду жаркій томительный полдень! Лондонская выставка

сосредоточила нынѣ всеобщее вниманіе до такой невѣроятной степени, что у современнаго человѣчества теперь *одинъ* только *взглядъ*, устремленный на *одну* и ту же *точку* въ пространствѣ — туда, гдѣ владычица морей сановито угощаетъ пріѣзжихъ со всего бѣлаго свѣта, выставляя передъ ними груды вещества и несмѣтныя издѣлія хитраго творчества — словно *ширму* исполинскаго размѣра — за которою на роскошной постели, притаившись, лежитъ трудно больной, самодовольный вѣкъ нашъ! Да, — горделивый страдалецъ богатъ всѣми земными благами, кромѣ *здоровья!* Къ нему стеклись поклонники со всѣхъ концовъ земли съ привѣтствіями и возгласами, съ данію удивленія и восторженныхъ похвалъ; но отъ нихъ больному, увы, ни чуть не легче. Впрочемъ, какъ ни стали бы судить о больномъ и его богатствѣ, позволительно наблюдателю сомнѣваться въ прямой пользѣ Лондонской выставки, но отрицать знаменательность этого безпримѣрнаго вселенскаго зрѣлища невозможно. Въ немъ высказался XIX вѣкъ какъ въ эпопеѣ, ему свойственной. Всемірная выставка на берегахъ Темзы, совпадающая съ преполовеніемъ нынѣшняго столѣтія, возвѣщаетъ весьма многое чуткому слуху, ложно обѣщая земнороднымъ возможность какого-то бездушнаго братства, основаннаго на соревнованіи и взаимныхъ выгодахъ, безъ соучастія взаимной христіанской любви. Но въ то же время Лондонская выставка говоритъ намъ и правду; она обнаруживаетъ силу разумнаго и дружнаго трудолюбія: какой спасительный урокъ! Ибо работа и трудъ для грѣшнаго человѣчества тоже, что громовой отводъ для высокаго, но шаткаго зданія подъ ударами грозы".

Отечественныя Записки, вынувъ изъ этой превосходной рѣчи, исполненной мыслей, слово *ширма*, стали надъ нею глумиться. „*Москвитянину*", — говорятъ онѣ, — „нынѣшнимъ годомъ посчастливилось на изобрѣтенія... Всѣ говорили о Лондонской выставкѣ, но никто не могъ сказать въ точности, что она такое въ собственномъ смыслѣ. Шестнадцатый нумеръ *Москвитянина* понялъ и сказалъ: Лондонская выставка есть не что

ное, какъ ширма исполинскаго размѣра. Если не вѣрите, итайте сами"...

На это глумленіе *Москвитянинъ* отвѣчалъ лаконически: Мы совѣтовали бы *Отечественнымъ Запискамъ* оставить въ окоѣ хоть такихъ людей, какъ Стурдза, тѣмъ болѣе, что онимать и цѣнить ихъ для нихъ можетъ быть нѣсколько трудительно, хотя *Петербургскія Вѣдомости* и объявляютъ, го редакторъ *Отечественныхъ Записокъ* давно привыкъ уга-ивать желанія Русской публики" [206]).

XLVIII.

Недолюбливая Погодина, П. А. Плетневъ, тѣмъ не менѣе, есьма цѣнилъ и уважалъ направленіе его *Москвитянина* и о мѣрѣ силъ старался быть ему полезнымъ. Познакомив-шись въ Петербургѣ съ однимъ молодымъ человѣкомъ, изъ отораго впослѣдствіи вышелъ профессоръ Археологіи и Исто-іи Искусствъ въ Московскомъ Университетѣ, и оцѣнивъ его арованіе, Плетневъ, 6 іюня 1851 года, писалъ Погодину: Есть въ Петербургѣ молодой человѣкъ, Карлъ Карловичъ ерцъ, который назадъ тому лѣтъ восемь или девять вышелъ андидатомъ изъ вашего Университета, любезный Михаилъ етровичъ. Онъ сперва въ гувернеры опредѣлился къ графу Гусину-Пушкину, и года два, при жизни еще покойной гра-ини, урожденной Шернваль, оставался у него въ Гельзинг-орсѣ. Бывъ не слишкомъ доволенъ этимъ домомъ, Герцъ ставилъ его и прибылъ въ Петербургъ, гдѣ тогда случился ежній вашъ попечитель графъ С. Г. Строгановъ. Покро-тительствуя всѣхъ своихъ студентовъ, онъ рекомендовалъ ерца въ гувернеры къ сыну свояченицы своей, княгини алтыковой. Здѣсь нашъ Герцъ прожилъ шесть лѣтъ. Теперь о воспитанникъ у насъ въ Университетѣ, скоро кончитъ рсъ и удивляетъ всѣхъ отличными успѣхами своими въ ауукахъ и высшими моральными качествами. Княгиня Сал-ыкова не осталась непризнательною къ воспитателю: онъ до

сихъ поръ живетъ въ ея домѣ, какъ въ родительскомъ, и получилъ отъ нея въ пожизненную пенсію тысячу пятьсотъ рублей сер. Герцъ, въ то время, когда я издавалъ *Современникъ*, участвовалъ въ трудахъ моихъ. Меня свелъ съ нимъ Гельзингфорскій пріятель мой профессоръ Гротъ. Статьи о новыхъ иностранныхъ книгахъ, и особенно замѣчательныя статьи объ Исторіи и важнѣйшихъ историкахъ, что послѣ были изданы отдѣльною книжкою, посвященною Грановскому, писаны Герцемъ. Онъ набросалъ нѣсколько и чисто литературныхъ статей для журнала Ишимовой. Впрочемъ, до послѣдней предъ симъ недѣли я не подозрѣвалъ въ немъ таланта замѣчательнаго литератора, видѣвъ одну наклонность къ спеціальнымъ ученымъ трудамъ. Наконецъ нынѣшней весною собрался онъ съѣздить года на два за границу. Передъ отъѣздомъ явился онъ ко мнѣ на дачу пить чай и проститься. Жена моя увидѣла близъ него двѣ тетради и, взявъ ихъ въ руки, хотѣла прочитать намъ изъ нихъ нѣсколько строкъ. Герцъ очень спокойно сказалъ: „вамъ будетъ трудно разбирать; если не поскучаете слушать, позвольте, я прочитаю самъ; это повѣсть только что оконченная мною". Признаюсь, ни я и никто изъ моихъ не ожидали, чтобы чтеніе насъ интересно заняло. Начало тоже показалось намъ не совсѣмъ заманчивымъ. Но чѣмъ дальше читалъ, тѣмъ болѣе и болѣе я увлекался. Тутъ столько нашелъ и поэтическаго и граціознаго въ общемъ, столько истиннаго и трогательнаго въ подробностяхъ, столько прочувствованнаго и пережитаго въ каждой сценѣ, что подобной повѣсти давно-давно не попадалось мнѣ. Особенно она должна всѣхъ поразить посреди ежедневныхъ явленій нашихъ, однообразныхъ, монотонныхъ, пустыхъ и утомительныхъ. Я уже не говорю, что самое содержаніе свѣжестію и современностію своею охватываетъ душу какъ-то радостно и живительно: нѣтъ, и въ колоритѣ, и въ направленіи я чувствовалъ что-то изъ эпохи Жуковскаго. Словомъ, *Вильма* такъ заинтересовала меня, что я поспѣшилъ спросить Герца,

особенно опасаясь, чтобы этакое сокровище не погибло въ одномъ изъ чудовищныхъ здѣшнихъ журналовъ, гдѣ намѣренъ онъ ее отпечатать? Онъ началъ просить меня, чтобы я самъ назначилъ ему, если пьеса такъ мнѣ нравится, гдѣ лучше помѣстить ее. Не задумавшись ни на минуту, я отвѣчалъ, что для поэтической *Вильмы* одно только и есть приличное мѣсто, а именно въ *Москвитянинѣ*. Вотъ вамъ подробная исторія посылки, которую вы получите отъ меня. Не знаю, такое ли дѣйствіе *Вильма* произведетъ на васъ, какое на меня произвела. Все же, я думаю, не непріятно вамъ будетъ почувствовать, что далекіе друзья ваши все близки къ вамъ сердцемъ и не упускаютъ случая, когда онъ представляется, доказывать вамъ свою преданность. Въ Герцѣ я нашелъ еще черту, рѣдкую въ нашемъ молодомъ поколѣніи: онъ самъ отказался отъ всякаго денежнаго вознагражденія за повѣсть. Ему только хочется, чтобы вы, Михайло Петровичъ, приказали оттиснуть особо *сто экземпляровъ* его повѣсти и приняли бы на себя трудъ переслать ихъ ко мнѣ по почтѣ, или съ транспортомъ, это все равно, потому что спѣшить не для чего. У меня Герцъ оставилъ списокъ лицъ, котрымъ я обязанъ поднести экземпляры отъ его имени. И такъ, я убѣдительнѣйше прошу васъ похлопотать, чтобы эта книжка явилась, какъ можно, покрасивѣе отпечатанная, со всѣми принадлежностями книгъ“ [207]).

Въ *Дневникѣ* своемъ, подъ 18 іюня 1851 года, Погодинъ отмѣтилъ: „Письмо отъ Плетнева съ повѣстью. Спасибо“.

Когда же *Вильма* была напечатана въ *Москвитянинѣ* [208]), Плетневъ писалъ Погодину: „Благодарю васъ, добрый Михаилъ Петровичъ, за напечатаніе Герцовой *Вильмы*. Я недавно получилъ отъ него письмо изъ Испаніи. Онъ путешествуетъ умно и употребляетъ въ пользу маленькіе способы, пріобрѣтенные трудами. Зиму проведетъ онъ въ Венеціи“ [209])...

Замѣтимъ здѣсь кстати, что К. К. Герцъ, родился въ 1820 году, въ купеческой семьѣ, учился въ Московской Ком-

мерческой Практической Академіи и образованіе завершилъ на философскомъ факультетѣ Московскаго Университета, откуда вышелъ въ 1844 году [210]).

Испытавъ цензурныя непріятности, В. И. Даль уклонялся въ это время печатать свои литературныя произведенія; но, уступивъ настоянію Погодина, онъ прислалъ ему, для напечатанія въ *Москвитянинѣ*, составленный имъ *Народный мѣсяцесловъ, или житейскія правила, пословицы и поговорки, относящіяся до времени дней года*. Къ сожалѣнію, цензура отнеслась весьма строго къ этому труду Даля. Члены Главнаго Управленія Цензуры, разсмотрѣвъ *мѣсяцесловъ*, подали о немъ, 9 февраля 1851 года, такое мнѣніе:

А. С. Норовъ: я полагалъ бы исключить только тѣ мѣста, которыя неприличны для церковныхъ празднествъ.

Л. В. Дубельтъ: по моему мнѣнію, этотъ *Мѣсяцесловъ* не должно печатать, или, по крайней мѣрѣ, исключить зачеркнутыя краснымъ карандашемъ строки, по ихъ нелѣпости и неблагопристойности.

К. С. Сербиновичъ: полагаю исключить зачеркнутое краснымъ карандашемъ.

Г. П. Митусовъ: этотъ *Мѣсяцесловъ* наполненъ суевѣрными изреченіями, которыя могутъ только распространить невѣжество.

М. Н. Мусинъ-Пушкинъ: печатать можно, исключивъ все, что зачеркнуто или подчеркнуто краснымъ карандашемъ.

Изъ всѣхъ членовъ, одинъ только *В. В. Скрыпицынъ* высказался въ пользу печатанія *Мѣсяцеслова*, и при этомъ замѣтилъ: эти старинныя поговорки извѣстны всему неграмотному народу Русскому, для чего же скрывать ихъ отъ людей грамотныхъ, которымъ иногда неизвѣстны народныя Русскія преданія, поговорки и обычаи. Полагаю, что имъ полезно знать для изученія ихъ историческаго начала".

Когда Даль узналъ объ участи, постигшей его *мѣсяцесловъ*, то писалъ Погодину: „Ну, хороши наши таможенные! Нѣтъ, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, несогласенъ я пере-

чатать оскопленный *Мѣсяцесловъ*, который даже не позволено называть этимъ именемъ". Въ другихъ письмахъ Даля мы, между прочимъ, читаемъ: „У меня лежитъ до *сотни* повѣстушекъ, но пусть гніютъ. Спокойно спать: и не соблазняйте... Времена шатки, береги шапки".

XLIX.

Описавъ дѣятельность писателей, принадлежащихъ по своему направленію къ старой Редакціи *Москвитянина*, мы приступимъ къ такъ-называемой молодой Редакціи *Москвитянина*. Но прежде остановимся на графинѣ Е. П. Ростопчиной, субботы которой составляли какъ бы связь между старою и молодою редакціями. „Вы сами знаете", — писала она Погодину,—„сколь усердно дѣйствую я своимъ вліяніемъ на молодое наше поколѣніе. Много удержано отъ соблазна и увлеченій Панаевско-Краевскихъ, слѣдственно, вы напрасно говорите, что всѣ васъ оставляютъ, какъ бѣднаго президента Французской республики".

Описывая Погодину одну изъ своихъ субботъ, графиня Ростопчина писала (окт. 1851): „Я, разумѣется, нападала на *тревьализмъ*, до котораго доведенъ нашъ вѣкъ своею болѣзненною страстію къ *реализму*. Жаль, жаль, что васъ не было, чтобъ меня поддерживать вашимъ кроткимъ, но умнымъ словомъ". Въ другомъ письмѣ графини Ростопчиной къ Погодину читаемъ: „*Намѣднишній* разговоръ, для меня не только былъ увлекателенъ занимательностью, но я предчувствую въ немъ много важности, значенія и даже—*будущности*. Подобныя столкновенія мнѣній и лѣтъ, добросовѣстныя, безъ зазрѣнья, могутъ принести много-много пользы; *ректифировать* многія заблужденья, перестроить многія неопредѣленныя, или худо опредѣленныя понятія; это мостъ соединенья въ умственномъ мірѣ, желѣзная дорога, брошенная межъ утесами и стремнинами надъ пропастями, и по степямъ... *Сближеніе* произведетъ довѣріе, не смотря на не-

избѣжное разногласіе—а *потомъ, далѣе,* отъ этого сближенія можно многаго ожидать!—Наше дѣло только *приманить, умиротворить,* настроить. Это буйное, вольнодумное поколѣніе поживетъ, пострадаетъ,—и само образумится. *Покуда* должно только придерживать ихъ сколько возможно! А это можно только бесѣдами подобными *субботней.*—Вы помните опять изреченіе Донъ Базиля: „Calomniez, il en restera toujours quelque chose"!—я его переиначиваю, и съ полнымъ убѣжденіемъ говорю: *смѣло и съ любовью повторяйте всегда и вездѣ правду, одну святую неизмѣнную, безстрашную правду, и вѣрьте, что благія сѣмена ея не пропадутъ,—что хоть нѣсколько изъ нихъ взойдутъ вожделѣннымъ плодомъ, не сегодня такъ завтра, не завтра, такъ современемъ"!* Послѣ васъ шелъ толкъ *объ васъ самихъ,* говорили *всѣ* много хорошаго, и несогласіе мнѣній простилось вамъ совершенно за теплоту вашихъ убѣжденій, словъ и чувствъ. Это уже прогрессъ явный, утѣшающій прогрессъ! Пускай они васъ прежде полюбятъ, потомъ авось начнутъ и слушаться"!

Въ апрѣлѣ 1851 года, Москву посѣтилъ О. И. Сенковскій. „Послѣдняя суббота",—писала графиня Ростопчина Погодину,—„была курьезна. Дядя мой, съ Сенковскимъ вмѣстѣ, встрѣтился съ Дмитріевымъ, а присутствовали члены: Глинка и Островскій.

Какая смѣсь стиховъ и прозы!
Различныхъ мнѣній и началъ!
Какъ странно случай сочеталъ
Мольбы, мистическія слезы
И смѣхъ комедіи живой
Съ ея иронiей младой!

Присутствіе М. А. Дмитріева на вечерѣ графини Ростопчиной тѣмъ болѣе удивительно, что онъ незадолго предъ тѣмъ писалъ Погодину: „Слышалъ между прочимъ о послѣдней субботѣ у вашей музы графини Ростопчиной. Что это за люди, что это за мнѣнія, и откуда все это взялось" [211]).

Пользуясь присутствіемъ Сенковскаго въ Москвѣ, графиня Ростопчина вручила ему, для напечатанія въ *Библіотекѣ для*

Чтенія, свою драму *Семейная Тайна*, которая вскорѣ въ этомъ журналѣ и явилась въ свѣтъ [212]). Погодину это, разумѣется, было непріятно. „Успокойтесь“,—писала ему Ростопчина,—„*я не разсердилась*, да и за что бы?.. Съ *Библіотекою* у меня ничего не рѣшено, но я вздумала исполнить, при случаѣ, давнишнее обѣщаніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ вы мнѣ сказали, что у васъ много матеріаловъ набралось, и мнѣ казалось, что вамъ драма не нравится, я полагала что у васъ для нея не будетъ удобнаго мѣста скоро; а я не люблю продерживать вещь конченную, и хочу непремѣнно, чтобъ *Семейная Тайна* явилась не далѣе іюля. По-актно печатать ни за какія блага въ мірѣ не соглашусь! я вижу по всему мнѣ сказанному и писанному со всѣхъ сторонъ, сколько бѣдный мой романъ пострадалъ отъ растяжки и раздробленія, и впредь, при печатаніи чего-либо, буду дѣйствовать упрямо по своему хотѣнью, по авторскому усмотрѣнью! Не удастся,—пенять стану самой себѣ!... Нѣтъ, *не даю вамъ перваго акта!* или все, или ничего!—Условія мои извѣстны. Однимъ словомъ, *не цѣню себя* ниже *Тюфяка* и *Брака по страсти*;—а буде цензура представитъ затрудненья, обращусь сама къ *Норову*“....

Въ другомъ письмѣ графиня Ростопчина писала Погодину: „Вы со мною откровенны, — я тоже буду говорить по душѣ, добрѣйшій Михаилъ Петровичъ: *мнѣ гораздо пріятнѣе поддержать Москвитянинъ*, чѣмъ всякой другой журналъ, во-первыхъ, потому, что во многомъ ему сочувствую, во-вторыхъ, потому, что я какъ-то съ нимъ ужъ освоилась, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, отдавая *только ему* одному всѣ мои произведенья.—Вы принудили меня склониться на просьбы Петербурга, показывая будто вамъ не очень-то нужно меня, и ставя мои произведенья по оцѣнкѣ *ниже* всего вашего хлама натуральной школы“.

Между тѣмъ, въ это время графиня Ростопчина написала новый романъ *Счастливая Женщина*. Это произведеніе свое она намѣревалась также напечатать въ *Библіотекѣ для Чтенія*.

Получаемый за свои произведенія гонораръ графиня Ростопчина постоянно жертвовала въ пользу Общества Посѣщенія Бѣдныхъ; а потому, какъ она писала Погодину, почитала себя „не въ *правѣ* украивать изъ Дома бѣдныхъ". Вслѣдствіе сего Погодинъ не имѣлъ въ графинѣ Ростопчиной даровой сотрудницы;—она даже почитала для себя оскорбленіемъ продавать свои произведенія Погодину дешевле „всѣхъ бездарностей, какъ Авдѣевыхъ, Станицкихъ и другихъ Некрасовскихъ, не должна и не слѣдуетъ".

Какъ бы то ни было, уступивъ просьбѣ Погодина, она рѣшилась напечатать новое свое произведеніе въ *Москвитянинѣ* за двадцать пять рублей съ листа, „потому",—писала она редактору,—„что я сама тоже слышала, что ваши листы въ половину меньше Петербургскихъ". Но кромѣ денежныхъ разсчетовъ, Ростопчиной пріятно было напечатать свое произведеніе въ *Москвитянинѣ*, по сочувствію къ направленію этого журнала. „Предложеніе ваше", —писала она Погодину,— „мнѣ очень пріятно: кромѣ личныхъ моихъ дружескихъ отношеній къ вамъ и Шевыреву, вы знаете, что я сочувствую *Москвитянину*, и что́ онъ болѣе всѣхъ нашихъ Русскихъ журналовъ кажется мнѣ способнымъ сохранить въ нашей бѣдной Литературѣ неприкосновенность Русскаго слова и эстетическое начало; — хотя и онъ иногда смахиваетъ на моего врага, *реализмъ*, и не совсѣмъ почитаетъ грамматику, употребляя часто мужескія мѣстоименія *они* и *эти*, когда дѣло идетъ о женскомъ полѣ, или родѣ! Потому то я и желала бы видѣть *Счастливую Женщину* скорѣе на его страницахъ, чѣмъ на всякихъ другихъ,—но заранѣе говорю, что *ваши* цензора очень мнѣ не по душѣ, а что въ Москвѣ *одинъ* только Снегиревъ понимаетъ дѣло какъ должно и вникаетъ въ смыслъ, не придираясь къ словамъ"!

Предъ отправленіемъ *Счастливой Женщины* въ Цензуру, Ростопчина просила Погодина: „объяснить цензору, что весь романъ крайне назидателенъ, нравственъ, мораленъ; въ немъ доказывается, что *внѣ* законности счастія не дается ни даже

съ самой высокой и чистой любви". Настоять, чтобы цензоръ „*вникнулъ* въ смыслъ цѣлаго, не привязывался къ *отрывочнымъ фразамъ*". Вмѣстѣ съ тѣмъ, графиня Ростопчина просила Погодина, послать цензору эту записку ея, питая надежду, что „оная его умилостивитъ". Но записка не „умилостивила" цензора Ржевскаго, и онъ, по мѣрѣ того, какъ знакомился съ романомъ, составлялъ себѣ весьма невыгодное о немъ мнѣніе. „Чѣмъ болѣе я читаю романъ графини Ростопчиной",—писалъ онъ Погодину,—„тѣмъ болѣе онъ кажется мнѣ сомнительнымъ, въ смыслѣ нравственности, и плохимъ въ литературномъ отношеніи. Эти замѣчанія я повергаю на благоусмотрѣніе ваше. Не найдете ли вы возможнымъ, замѣнить его чѣмъ-нибудь другимъ. Если же нѣтъ, то *да будетъ*. Чтобы не попасть намъ обоимъ въ отвѣтъ съ этой доморощенной Жоржъ-Зандъ"! Да и самъ Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Читалъ корректуру Ростопчиной, — ужасъ несетъ". Все это принудило Погодина требовать отъ графини Ростопчиной измѣненій въ ея романѣ; но Ростопчина не соглашалась. „Что *мы съ вами* расходимся въ мнѣніяхъ",—писала она Погодину,—„это меня не удивляетъ, но, прежде чѣмъ брать мой романъ, вы могли его прочитать, Михаилъ Петровичъ, и теперь еще вольны прекратить печатанье, — но гдѣ же видано, что авторъ, и безъ того подчиненный цензурѣ, долженъ еще *хлопотать о сочиненіи* съ издателемъ. *Я ни слова, ни пол-слова не перемѣню.* Меня удивляетъ даже тонъ вашихъ замѣчаній; неужели вы полагаете, что я кому нибудь въ мірѣ дамъ право посягать на мои личныя мнѣнья и *убѣжденья!* Ихъ не раздѣлять позволено каждому,—но, захотѣть обращать меня, — повѣрьте лишнее, да и поздно. *Если вамъ* не угодно *печатать* мой романъ такъ, какъ онъ есть, то прошу прекратить тотчасъ его печатанье". Въ другомъ письмѣ графиня Ростопчина писала еще настойчивѣе: „Къ крайнему моему сожалѣнію, *но не даю вамъ романа своего ни за-что на свѣтъ.* Изуродовать такъ, какъ цензоръ его уродуетъ, и въ Петербургѣ не умудрятся; ничего въ мірѣ не возьму за пожертвованіе *всѣхъ мыслей* въ раз-

сказѣ, гдѣ собственно *событій нѣтъ*, а однѣ только *мысли* составляютъ главное. Кажется, въ двадцать лѣтъ моего авторства я довольно доказала, что я не *безнравственна*, не *эмансипированна*, не *противузаконна;* стало быть, эти пустыя придирки къ *словамъ*, не взирая на *смыслъ*, доказываютъ *предубѣжденье*, а не убѣжденье!.. Сожгу всѣ свои тетради, но не пожертвую ими глупости и тупости теперешнихъ *правилъ* цензуры; прошу васъ, *прекратить сейчасъ печатаніе моей рукописи и возвратить мнѣ ее*".

Эта неуступчивость раздражала Погодина, и онъ написалъ къ графинѣ рѣзкое письмо, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Если бы ваша повѣсть обѣщала мнѣ и девять тысячъ подписчиковъ, то и тогда я не напечаталъ бы ее съ такими недоумѣніями, зная ихъ заранѣе". На это графиня Ростопчина отвѣчала: „Точно будто я напрашивалась къ вамъ съ своею повѣстью, точно будто я скрывала отъ васъ ея духъ, ея содержанье и направленье... Я нападаю на *все ложное*, на *все глупое*, на *все недостаточное нашего* воспитанья, *нашего брака*, *нашихъ entourages*, на все, что губитъ и роняетъ насъ, бѣдныхъ великосвѣтскихъ жертвъ, истерзавши въ насъ сердце и душу, поколебавши нашъ разумъ и нашу врожденную добродѣтель; я хочу доказать, какъ трудно намъ противустать всѣмъ искушеньямъ, противъ которыхъ нѣтъ у насъ опоры въ этомъ жалкомъ порядкѣ вещей, среди коего мы рождаемся и вращаемся. Я хочу доказать, что свѣтъ всегда болѣе чѣмъ въ половину виноватъ въ нашихъ проступкахъ, — и что, чѣмъ болѣе въ насъ правды, чистоты, возвышенности, тѣмъ болѣе насъ преслѣдуютъ, уничтожаютъ и губятъ люди, и самыя обстоятельства, ими порождаемыя. Для этого мнѣ необходимо говорить отъ лица *автора*, и заключеньями и доводами подкрѣпить то, что обозначается у меня лишь слегка самымъ разсказомъ. *Вы сами* обратились ко мнѣ съ просьбою отдать *Москвитянину* мою рукопись. *Вы вѣдь читали романъ прежде, чѣмъ брать его;* у меня цѣло ваше письмо, въ которомъ вы разсказываете впечатлѣнье, на васъ имъ произведенное. Что же

значатъ теперешнія ваши нападки, и давно ли *издатель вправѣ требовать отъ автора, чтобы тотъ жертвовалъ ему своими мнѣньями и выраженьями?* Повторяю, ваши возраженья были мнѣ сдѣланы не по пріятельски, а въ видѣ *редакторскихъ поправокъ и требованій*, отъ того я и отвѣчала вамъ на нихъ со всею моею неуступчивостью. И теперь повторяю вамъ, что я, какъ Самозванецъ у Хомякова, не уступлю вамъ,

Ни мнѣнія, ни фразы благозвучной,
Ниже пол-слова въ повѣсти моей!

Чувствую и знаю, что все *нравственно* и чисто въ моемъ разсказѣ, гдѣ *нарочно* избѣгнуто всякое слишкомъ точное и *нескромное опредѣленье настоящихъ отношеній* Бориса и Марины. Вольно же вамъ, какъ старой Московской сплетницѣ, доискиваться и допрашиваться чужихъ тайнъ"?..

Вскорѣ между препиравшимися состоялось примиреніе. „Смѣшной вы человѣкъ",—писала Ростопчина,—„ей-Богу. Въ четыре года короткости еще не примѣнились ко мнѣ, и не привыкли! *Развѣ вы не знаете, что я никогда не сержусь?..* Говорю ли я, спорю ли, пишу ли, — когда меня задѣнетъ за-живо, и во мнѣ взволнуется ретивое,—я просто и бѣгло выражаюсь, какъ на мысль попало, чтобъ выразить эту мысль полнѣе; — но, высказавшись, все утихаетъ, и во мнѣ ни тѣни неудовольствія не остается. Вѣдь вы сами *горячка и непогода*, какъ говоритъ Максимовичъ, слѣдственно, — лучше другихъ должны были меня понимать! Я вамъ отвѣчала точно такъ же, какъ вы мнѣ писали, какъ *антагонисту* на поприщѣ литературномъ, какъ *оппоненту*, котораго *громила* собственнымъ его оружіемъ! А *тонъ* вашъ былъ совершенно какъ у проповѣдника, вскипѣвшаго гнѣвомъ благочестія на эретичку; а все еще и теперь *не смѣете* требовать, а *слимониваете* строчки о *платонизмѣ*: отвяжитесь, говорятъ вамъ! не будетъ вамъ этой *строчки хитросплетенной*, чтобъ надуть цензора и *умилостивить ханжей!* Экой вы лицемѣръ, я посмотрю! Говорятъ вамъ, что любовь Марины и Бориса чиста, потому что

сказѣ, гдѣ собственно *событій нѣтъ*, а однѣ только *мысли* составляютъ главное. Кажется, въ двадцать лѣтъ моего авторства я довольно доказала, что я не *безнравственна*, не *эмансипированна*, не *противузаконна;* стало быть, эти пустыя придирки къ *словамъ*, не взирая на *смыслъ*, доказываютъ *предубѣжденье*, а не убѣжденье!.. Сожгу всѣ свои тетради, но не пожертвую ими глупости и тупости теперешнихъ *правилъ* цензуры; прошу васъ, *прекратить сейчасъ печатаніе моей рукописи и возвратить мнѣ ее*".

Эта неуступчивость раздражала Погодина, и онъ написалъ къ графинѣ рѣзкое письмо, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Если бы ваша повѣсть обѣщала мнѣ и девять тысячъ подписчиковъ, то и тогда я не напечаталъ бы ее съ такими недоумѣніями, зная ихъ заранѣе". На это графиня Ростопчина отвѣчала: „Точно будто я напрашивалась къ вамъ съ своею повѣстью, точно будто я скрывала отъ васъ ея духъ, ея содержанье и направленье... Я нападаю на *все ложное*, на *все глупое*, на *все недостаточное нашего* воспитанья, *нашего брака*, *нашихъ entourages*, на все, что губитъ и роняетъ насъ, бѣдныхъ великосвѣтскихъ жертвъ, истерзавши въ насъ сердце и душу, поколебавши нашъ разумъ и нашу врожденную добродѣтель; я хочу доказать, какъ трудно намъ противустать всѣмъ искушеньямъ, противъ которыхъ нѣтъ у насъ опоры въ этомъ жалкомъ порядкѣ вещей, среди коего мы рождаемся и вращаемся. Я хочу доказать, что свѣтъ всегда болѣе чѣмъ въ половину виноватъ въ нашихъ проступкахъ, — и что, чѣмъ болѣе въ насъ правды, чистоты, возвышенности, тѣмъ болѣе насъ преслѣдуютъ, уничтожаютъ и губятъ люди, и самыя обстоятельства, ими порождаемыя. Для этого мнѣ необходимо говорить отъ лица *автора*, и заключеньями и доводами подкрѣпить то, что обозначается у меня лишь слегка самымъ разсказомъ. *Вы сами* обратились ко мнѣ съ просьбою отдать *Москвитянину* мою рукопись. *Вы вѣдь читали романъ прежде, чѣмъ брать его;* у меня цѣло ваше письмо, въ которомъ вы разсказываете впечатлѣнье, на васъ имъ произведенное. Что же

значатъ теперешнія ваши нападки, и давно ли *издатель вправѣ требовать отъ автора, чтобы тотъ жертвовалъ ему своими мнѣньями и выраженьями?* Повторяю, ваши возраженья были мнѣ сдѣланы не по пріятельски, а въ видѣ *редакторскихъ поправокъ и требованій*, отъ того я и отвѣчала вамъ на нихъ со всею моею неуступчивостью. И теперь повторяю вамъ, что я, какъ Самозванецъ у Хомякова, не уступлю вамъ,

Ни мнѣнія, ни фразы благозвучной,
Ниже пол-слова въ повѣсти моей!

Чувствую и знаю, что все *нравственно* и чисто въ моемъ разсказѣ, гдѣ *нарочно* избѣгнуто всякое слишкомъ точное и *нескромное опредѣленье настоящихъ отношеній* Бориса и Марины. Вольно же вамъ, какъ старой Московской сплетницѣ, доискиваться и допрашиваться чужихъ тайнъ"?..

Вскорѣ между препиравшимися состоялось примиреніе. „Смѣшной вы человѣкъ",—писала Ростопчина,—„ей-Богу. Въ четыре года короткости еще не примѣнились ко мнѣ, и не привыкли! *Развѣ вы не знаете, что я никогда не сержусь?..* Говорю ли я, спорю ли, пишу ли, — когда меня задѣнетъ за-живо, и во мнѣ взволнуется ретивое,—я просто и бѣгло выражаюсь, какъ на мысль попало, чтобъ выразить эту мысль полнѣе; — но, высказавшись, все утихаетъ, и во мнѣ ни тѣни неудовольствія не остается. Вѣдь вы сами *горячка и непогода*, какъ говоритъ Максимовичъ, слѣдственно, — лучше другихъ должны были меня понимать! Я вамъ отвѣчала точно такъ же, какъ вы мнѣ писали, какъ *антагонисту* на поприщѣ литературномъ, какъ *оппоненту*, котораго *громила* собственнымъ его оружіемъ! А *тонъ* вашъ былъ совершенно какъ у проповѣдника, вскипѣвшаго гнѣвомъ благочестія на эретичку; а все еще и теперь *не смѣете* требовать, а *слимониваете* строчки о *платонизмѣ*: отвяжитесь, говорятъ вамъ! не будетъ вамъ этой *строчки хитросплетенной*, чтобъ надуть цензора и *умилостивить ханжей!* Экой вы лицемѣръ, я посмотрю! Говорятъ вамъ, что любовь Марины и Бориса чиста, потому что

они не обманывали мужа, отступившаго отъ *своихъ правъ*, потому что они любили *задушевно* и безъ всякихъ разсчетовъ, потому что *они уважали* другъ друга, да мало ли еще почему?.. А что межъ ними происходило еще, кромѣ ихъ *любленья, не ваше дѣло, да и не мое!..* Вы разузнаéте точно будто изъ ревности!.. Вчера мы говорили съ Степаномъ Петровичемъ Шевыревымъ о вашей *голубиной непорочности*, которая обращается въ *интолерантизмъ;* положимъ, что вы заслуживаете всевозможныя преміи за *чистоту*, — да изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ вы имѣли право бросать камнемъ въ другихъ, не столько *голубино*—но болѣе *горлицо-образныхъ*. А главное, читайте дальше, и вы успокоитесь! Если *вашъ* цензоръ неуступчивъ, то пришлите мнѣ корректуру *всю*, я отвезу ее князю Львову, съ которымъ у меня вчера былъ разговоръ, и который пропустилъ недавно одному моему знакомому то, чего не хотѣлъ пропустить *весь* мудрый Комитетъ; — вы точно дитя боитесь чучела въ огородѣ!.. Да нѣтъ, вы просто боитесь *за себя вашихъ ультра православныхъ злословныхъ*, о которыхъ вы мнѣ когда-то порасказывали! *Не буду, не хочу, не могу* мѣнять ничего, ради вашихъ *pruderis!* Спроситесь Шевырева,— посмотрите, что онъ вамъ скажетъ"!

Въ концѣ концовъ Ростопчина сама принялась хлопотать предъ цензурою о своемъ романѣ. „Цѣлуйте мои руки,—писала она Погодину,—и *не отчаивайтесь*! Я слетала къ цензору, объяснилась, разсказала содержаніе слѣдующихъ главъ романа, убѣдила его въ *назидательности конца*... Вы *вѣтренникъ, слабое созданье*, не умѣли взяться за дѣло; впередъ слушайтесь же меня!... Что будетъ, то будетъ, Аллахъ великъ, и если онъ присудитъ роковыя точки, вмѣсто горькихъ, но нужныхъ истинъ, выстраданныхъ *за всѣхъ женщинъ* въ моей душѣ,—то да будутъ точки... Но,—*ничего другого*" [213]).

Наконецъ, въ декабрьскомъ *Москвитянинѣ* 1851 года появилась *Счастливая Женщина*, съ обѣщаніемъ продолженія въ слѣдующей книжкѣ [214]); но это обѣщаніе не было исполнено.

Все это навѣяло на автора *Счастливой Женщины* меланхо-

лію. „Вамъ тяжело“,—писала Ростопчина Погодину,—„а мнѣ вдвое; сейчасъ объѣхала всѣ оранжереи, чтобъ искать не *рѣдкости*, не прихоти невозможной, а нѣсколько комнатныхъ растеній,—и не нашла! Хороша столичка, гдѣ цвѣты не уживаются, а цензура процвѣтаетъ!... Упрекайте меня еще въ несправедливости къ вашей Азіи непросвѣщенной!... Ахъ! дайте мнѣ цвѣтовъ, солнца, мысли, жизни!...

Право, право, здѣсь застой, глушь, ничтожество и тоска“!

L.

Изъ членовъ молодой Редакціи *Москвитянина*, въ 1851 году, особенную писательскую дѣятельность проявили: Алексѣй Ѳеофилактовичъ Писемскій и Борисъ Николаевичъ Алмазовъ. Начало 1851 года, А. Ѳ. Писемскій провелъ въ Москвѣ и вернувшись въ Кострому, гдѣ состоялъ на службѣ, онъ писалъ Погодину (6 марта 1851 г.): „Около трехъ недѣль, какъ я возвратился въ богохранимый градъ Кострому, и до сихъ поръ не успѣлъ еще поблагодарить васъ за радушный вашъ пріемъ, которымъ я пользовался въ бытность мою въ Москвѣ“.

Въ Костромѣ, въ свободное отъ служебныхъ занятій время, Писемскій занимался Литературою и писалъ комедію *Ипохондрикъ* и романъ *Комикъ*. „Литературная моя дѣятельность“,—писалъ онъ Погодину,—„уже началась: первое дѣйствіе *Ипохондрика* написано, но онъ впрочемъ отложенъ покудова въ сторону; *Комикъ* скипитъ, какъ разъ. Кромѣ того, хочется послать что нибудь въ *Отечественныя Записки*. Не знаю, какъ мнѣ все это Богъ поможетъ; по 1-е мая мнѣ хочется все это кончить, а тамъ на свободѣ приняться снова за мою комедію [215]).

Отрывокъ изъ своей комедіи *Ипохондрикъ*, Писемскій напечаталъ въ *Раутѣ* Сушкова [216]). М. А. Дмитріевъ, не смотря на несочувствіе свое къ молодой Редакціи *Москвитянина*, разбирая *Раутъ*, отдалъ справедливость этому произведенію Писемскаго. „Талантъ“,—писалъ онъ,—„виденъ и въ небольшомъ

отрывкѣ. Здѣсь и изъ немногихъ явленій уже видна твердая рука, обѣщающая со временемъ мастера; виденъ свободный шагъ, который не хочетъ идти по избитой тропѣ подражателей. Самая мысль—сдѣлать предметомъ комедіи—ипохондрика, лицо совсѣмъ не забавное—есть конечно, мысль новая; а сдѣлать его смѣшнымъ, занимательнымъ съ первой же сцены—это, конечно, искусство! Мы боимся литературныхъ пророчествъ, которыя рѣдко сбываются, и потому не пророчили ничего о талантѣ Писемскаго, но имѣемъ право многаго ожидать отъ него" [217]).

Въ тоже время Писемскій оканчивалъ для *Отечественныхъ Записокъ* свой романъ *Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ*, о которомъ (27 марта 1851 г.) писалъ Погодину: „Мысль его понятна,—это великая личность Печорина, сведенная съ ходуль на землю".

Еще во время пребыванія Писемскаго въ Москвѣ, въ февральской книжкѣ *Москвитянина*, началось печатаніе его романа *Серпій Петровичъ Хозаровъ, бракъ по страсти*. Романъ этотъ былъ посвященъ Юрію Никитичу Бартеневу. 10 апрѣля 1851 года, Писемскій писалъ Погодину: „Во-первыхъ, Христосъ Воскресе! Романъ мой наконецъ напечатался въ вашемъ журналѣ. Какое онъ произвелъ на публику впечатлѣніе, я не знаю, и получилъ только, по случаю его, очень лестное письмо отъ *Отечественныхъ Записокъ*, съ большимъ впрочемъ укоромъ, отчего я не послалъ его къ нимъ, такъ какъ прежде обѣщалъ". Въ томъ же письмѣ Писемскій писалъ: „*Комикъ* вчернѣ готовъ, стоитъ только переписать и немного исправить. Покорнѣйшая просьба моя будетъ въ томъ—прислать мнѣ слѣдующіе *двѣсти-пятьдесятъ* руб. сер., по полученіи которыхъ, я не замедлю выслать *Комика*. Я, какъ семьянинъ, по случаю новыхъ экипажей, очень нуждаюсь въ деньгахъ. Условія мои я выполню добросовѣстно... Еще повторяю мою просьбу о высылкѣ денегъ, которыя только и ободряютъ меня въ моихъ трудахъ, такъ какъ богохранимая Кострома занята совершенно другими интересами". Въ слѣ-

ующемъ письмѣ къ Погодину (съ 27 апрѣля 1851 г.), Писемскій продолжаетъ: „Еще разъ повторяю, почтеннѣйшей Михаилъ Петровичъ, выслать мнѣ двѣсти пятьдесятъ руб. сер.— Въ настоящей моей жизни, это почти единственная награда за мои усиленные труды. Славы я почти не чувствую и не испытываю,—и ободренья ни отъ кого; а кромѣ того, когда у семьянина нѣтъ денегъ, такъ неспокоенъ и духъ его, а слѣдовательно, и трудиться неудобно". Эти *двѣсти пятьдесятъ* рублей весьма замедлили высылку *Комика* къ Погодину, либо Писемскій рѣшилъ, до полученія означенной суммы, не высылать своего произведенія. Началась переписка, обоюдно непріятная. „Двумя моими письмами, просилъ васъ",—писалъ Писемскій (17 мая 1851 г.)—„о высылкѣ мнѣ слѣдующихъ, по условію нашему, *двухсотъ пятидесяти* руб. сер., надѣясь на которые, я до сихъ поръ остаюсь въ нуждѣ. Въ послѣднемъ письмѣ вашемъ, вы обѣщали мнѣ ихъ выслать на той же недѣлѣ.—Приходитъ срокъ высылки моего *Комика*, который у меня уже готовъ давно. Въ томъ же письмѣ вашемъ, вы высказываете на меня нѣсколько претензій вашихъ, на которыя впрочемъ я за лучшее считаю объясниться при личномъ свиданіи съ вами, и въ настоящемъ случаѣ скажу только то, что всѣ предприиятыя мною условія сохраню свято и ненарушимо, а равнымъ образомъ прошу и *Москвитянина, не манкировать*... Всѣ условія хороши, если они исполняются обоюдно"...

Между тѣмъ, Писемскому пришла счастливая мысль избрать въ посредники между нимъ и Погодинымъ, Аполлона Александровича Майкова, и объ этомъ онъ сообщилъ Погодину. „Рукопись мою",—писалъ онъ (25 мая 1851 г.),—„я переслалъ въ Москву къ 1 числу, которую можетъ доставить съ вамъ братъ жены моей, Аполлонъ Александровичъ Майковъ; но прежде полученія ея, вновь покорнѣйше прошу выслать мнѣ, по нашему условію, *двѣсти пятьдесятъ* руб. сер., и по полученіи, — слѣдующіе *двѣсти пятьдесятъ*. Деньги мнѣ очень нужны; въ ожиданіи будущихъ благъ, я теперь занимаю; у меня родился на дняхъ еще сынъ, наименованный Апол-

лономъ. Пожалуйста, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, снабдите меня деньгами, а то у меня безъ денегъ пропадаетъ совершенно вся литературная дѣятельность. — Въ ожиданіи присылки вами денегъ, я третью недѣлю ничего не дѣлаю".

Вслѣдъ за симъ, Погодинъ получаетъ отъ А. А. Майкова слѣдующее письмо: „Не имѣя чести знать васъ лично и получивъ порученіе отъ своего родственника А. Ѳ. Писемскаго, я счелъ бы за особенное удовольствіе для себя, пріобрѣсти лично ваше знакомство, но нѣкоторыя обстоятельства лишаютъ меня на нынѣшній разъ этого удовольствія — и потому рѣшаюсь обратиться къ вамъ письменно. Дѣло въ томъ, что я сейчасъ получилъ отъ Писемскаго рукопись, которую, какъ вы видите, онъ высылаетъ къ сроку (т. е. 1 іюня), по условію, заключенному съ вами. Рукопись остается пока у меня; самъ же я ѣду въ деревню въ слѣдующую субботу, 2 іюня, въ 8 час. утра:—слѣдовательно, только завтрашній день остается мнѣ для полученія вашего отвѣта и передачи вамъ рукописи, если только съ вашей стороны соблюдено условіе, предложенное вами Писемскому, т. е., высланы впередъ *двѣсти пятьдесятъ* руб. сер. Но такъ какъ письмо Писемскаго отправлено изъ Костромы 25 мая, а деньги еще не были получены, то я считаю вѣроятнымъ думать, что вышеозначенныя деньги еще не высланы вами Писемскому. Въ такомъ случаѣ, чтобы объясниться намъ короче и яснѣе, я не могу придумать лучшаго способа, какъ просить васъ покорнѣйше, прислать ко мнѣ (близъ Сухаревой башни, рядомъ съ церковью Спаса во Спаской, домъ г. Майковой) завтра довѣреннаго человѣка съ двумя стами пятью-десятью руб. сер., которые я беру на свою отвѣтственность, и получить отъ меня рукопись. Или, если вамъ не угодно будетъ такъ поступить, то рукопись отправится со мною въ деревню, и я буду ждать пока Писемскій увѣдомитъ меня, что деньги *двѣсти пятьдесятъ* руб. сер. имъ получены, и тогда тотчасъ же вышлю вамъ рукопись. Но, можетъ быть, для сокращенія переписки, вы вышлите деньги прямо ко мнѣ, по слѣдующему адресу: Владимірской губерніи,

въ г. Судогду, Его Благородію Василью Федоровичу Суетину, для доставленія въ С. Аксеново, Его Благородію Аполлону Александровичу Майкову. Во всякомъ случаѣ, предоставляю на ваше полное усмотрѣніе способы нашего взаимнаго соглашенія"...

Мѣры, принятыя Писемскимъ, увѣнчались успѣхомъ, и въ іюнѣ онъ писалъ Погодину: „Тысячу разъ извиняюсь, что я такъ долго не увѣдомлялъ васъ о полученіи мною *двухсотъ пятидесяти* рублей сер., за каковые приношу вамъ чувствительную мою благодарность; причина впрочемъ не отъ меня: у насъ въ Костромѣ ограбили почту и потому мы, какъ собаки рыскаемъ по губерніи и ловимъ преступниковъ. Я только на дняхъ возвратился въ Кострому. *Комика* моего, я полагаю, вы уже получили". За тѣмъ, уже Писемскій спрашиваетъ Погодина: „Прочитали ли вы моего *Комика*, понравился ли онъ вамъ и когда вы его напечатаете"? Въ другомъ письмѣ (17 августа 1851 г.), Писемскій опять спрашиваетъ Погодина: „Когда вы напечатаете *Комика*"? и вмѣстѣ съ тѣмъ пишетъ: „Что подѣлываютъ нашъ Островскій и рецензенты ваши, т. е., Эдельсонъ, Филипповъ и прочіе. Скажите имъ, чтобы они хоть строчкой письма меня удостоили—я ужъ къ нимъ не пишу, потому что это безполезно" [218])...

Наконецъ, въ ноябрьской книгѣ *Москвитянина* 1851 г. *Комикъ* былъ напечатанъ [219]).

„Романъ Писемскаго хорошъ"!—писала графиня Ростончина Погодину,—„выше, по моему, *всего*, что онъ писалъ". Самъ же авторъ сообщалъ Погодину: „*Комикъ* мой произвелъ въ Петербургѣ фуроръ, по крайней мѣрѣ, такъ пишетъ мнѣ Некрасовъ".

На обвиненіе Погодина въ поспѣшности, съ которою Писемскій писалъ свои произведенія, послѣдній въ оправданіе свое говорилъ: „Если бы вы знали какъ трудно и какъ неудобно заниматься беллетристикой мелкому губернскому чиновнику, то вѣроятно не обвинили бы его въ нѣкоторой по-

спѣшности. У васъ тамъ хорошо, все поддаетъ пару, но мнѣ... мнѣ другое дѣло".

LI.

Въ октябрѣ 1851 года, Писемскій снова посѣтилъ Москву и былъ принятъ въ Московскихъ гостинныхъ съ подобающею его таланту честью. Въ одну изъ *середъ*, Погодинъ намѣревался повести Писемскаго къ А. И. Васильчиковой; но тотъ, побывавъ у Шевырева, писалъ Погодину: „Послѣ васъ я заѣзжалъ къ Степану Петровичу, и онъ мнѣ сказывалъ, что у Васильчиковыхъ, по *средамъ* большіе вечера, на которыхъ бываетъ всякаго рода людъ. Если это такъ, то завтра мнѣ читать у нихъ будетъ неловко, а лучше какъ нибудь въ другой разъ. Вашего посѣщенія, впрочемъ, буду ожидать. Пишу это письмо затѣмъ, чтобы вы не сдѣлали распоряженія касательно извѣщенія о нашемъ визитѣ; они, можетъ быть, поделикатничаютъ и изъявятъ согласіе, а читать будетъ неловко".

По полученіи этого письма, Погодинъ обратился къ посредству Петра Алексѣевича Васильчикова, и 30 октября 1851 года, получилъ отъ него самый удовлетворительный отвѣтъ: „Я сообщилъ маменькѣ ваше любезное предложеніе, которое доставило ей истинное удовольствіе: она поручила мнѣ поблагодарить васъ отъ души за ваше участіе. Она очень рада, какъ случаю познакомиться съ г. Писемскимъ, такъ и возможности насладиться слушаньемъ его произведенія. Она совершенно предоставляетъ на ваше усмотрѣніе выборъ дня для чтенія и надѣется, что этотъ случай доставитъ ей удовольствіе. увидать и васъ у себя".

Само собою разумѣется, Писемскій былъ усерднымъ посѣтителемъ и Ростопчинскихъ субботъ.

Въ Москву Писемскій привезъ свою комедію *Ипохондрикъ*, которую ему „крѣпко" хотѣлось поставить на сцену, и въ этихъ видахъ онъ искалъ знакомства съ А. Н. Верстовскимъ.

Это удалось ему достигнуть чрезъ Погодина и Шевырева. „У Писемскаго большой комическій талантъ“,—писалъ послѣдній Погодину,—„надѣюсь, что Верстовскій обрадуется такой комедіи для Московской сцены“.

О состоявшемся свиданіи съ Верстовскимъ, Писемскій (2 ноября 1851 г.) писалъ Погодину: „Сейчасъ я былъ у Верстовскаго,—первое слово его было: а ваша комедія? Потомъ онъ сдѣлалъ мнѣ нѣсколько весьма дѣльныхъ и весьма сценическихъ замѣчаній, изъ которыхъ самое важное объ концѣ. Онъ очень желаетъ, чтобы комедію скорѣе послать въ Петербургъ и совѣтуетъ лучше писанную, потому что это скорѣе, а потому пришлите мнѣ комедію; я ее сейчасъ заставлю переписывать, да нельзя ли мнѣ прислать двухъ или хоть одного писца, — мнѣ хочется переписывать ее въ три руки. Верстовскій хотѣлъ писать къ директору и почти не сомнѣвается въ цензурѣ“.

Въ ноябрѣ 1851 года, Писемскій разстался съ Москвою. „Прощайте“,—писалъ онъ Погодину,—„дай Богъ, поскорѣе увидѣться, чтобы уже не разставаться“.

Жизнь въ Костромѣ мѣшала литературнымъ занятіямъ Писемскаго и онъ мечталъ о переселеніи въ Москву. Еще до пріѣзда туда онъ просилъ Погодина и Шевырева похлопотать объ его переводѣ въ Москву на службу. „Какъ бы я желалъ“,—писалъ онъ,—„въ вашу Бѣлокаменную: но служба, отнимающая у меня время и здоровье, связываетъ по рукамъ и ногамъ“. Возвратившись въ Кострому, Писемскій продолжалъ просить Погодина о томъ же. „А. Н. Островскій“,—сообщаетъ онъ Погодину,—„писалъ ко мнѣ, что очищается мѣсто инспектора 1-й Московской Гимназіи, и что С. П. Шевыревъ говорилъ о семъ обстоятельствѣ Назимову. Я желаю и нуждаюсь перейти изъ Костромы, по многимъ причинамъ: во-1-хъ, мѣняется у насъ губернаторъ, во-2-хъ, говорятъ, упраздняется мое мѣсто и меня въ такомъ случаѣ причислятъ къ департаменту безъ жалованья. Ѣхавши изъ Москвы, я провалился на Волгѣ или, лучше сказать, не я, а мой экипажъ; все подмокло, испор-

гилось совершенно, рублей на сто пятьдесятъ сер. Похлопочите о переходѣ моемъ". Въ другомъ письмѣ Писемскаго изъ Костромы (21 декабря 1851 г.), читаемъ: „Богу одному извѣстно, какъ я во все это время измучился и усталъ. Когда пишу это письмо, у меня умираетъ маленькій мой ребенокъ, но, не смотря на это, я сейчасъ ѣду на слѣдствіе по смертоубійству, по дѣлу, въ которомъ долженъ буду неутомимо дѣйствовать, сколько по обязанности чиновника, но болѣе того, какъ человѣкъ. Просто не достаетъ силъ на всѣ тѣ разнообразныя обязанности, которыми я обставленъ! Облегчитъ ли хоть сколько-нибудь ваша Москва мою участь: неужели она, прокармливающая 700,000 жителей, не дастъ бѣдному литератору службы, которая бы дала ему кусокъ хлѣба".

Въ то время, когда Писемскій такъ сильно желалъ переселенія въ Москву, Погодину пришла мысль издать собраніе его сочиненій. Изъ письма Погодина по этому предмету мы, между прочимъ, узнаемъ, что между ними возникла непріятная переписка по финансовымъ недоразумѣніямъ. „Предыдущее письмо",—говоритъ Погодинъ,—„написалъ я вамъ жестоконько, потому что ваше произвело на меня пренепріятное впечатлѣніе. Еще если бы вы мнѣ написали: мнѣ случилась неожиданная нужда, и я прошу васъ, мимо условій, прислать мнѣ etc. А то вы спрашиваете денегъ безъ права, и поступаете со мною весьма неделикатно, за мое слишкомъ пріязненное отношеніе. Но сердце у меня отходчивое, и потому я готовъ прислать вамъ денегъ теперь впередъ. Только прошу прислать мнѣ счетъ всѣхъ полученій вашихъ, деньгами, книгами, билетами. Изданіе долженъ я начать не медля и потому присылайте исправленій, какихъ хотите, къ *Тюфяку*, *Браку*, *Ипохондрику*. Хочу печатать въ форматѣ *Русскихъ Авторовъ*... Какое заглавіе дать: *Сочиненія А. Ѳ. П.*, или *повѣсти и піэсы А. Ѳ П.?* Я думаю, въ трехъ частяхъ: 1. *Тюфякъ*, *Бракъ по страсти*.—2. *Ипохондрикъ*, *Богатый женихъ*.—3. *Комикъ*, *Гаральдъ*, *Лѣшій* или комедійка. *Москвитянинъ* пошелъ лучше, но все еще только семьсотъ; прибавленіе

идетъ ровнымъ шагомъ. Такъ вотъ и добьюсь до тысячи, и тогда я буду повольнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ. *Ипохондрикомъ* довольныхъ больше, чѣмъ недовольныхъ. Надо уничтожить дурное впечатлѣніе *Жениха*, и постарайтесь отдѣлывать вторую часть получше. Я не читалъ его, а по сторонамъ слышалъ. Пишу къ вамъ дурно, чтобъ отомстить за ваше дурное писанье. Повторю вамъ — имѣйте терпѣнье; трудитесь добросовѣстно и не пишите писемъ, подобныхъ послѣднему. 1851 годъ былъ все-таки для васъ лучше 1850-го; ну, 1852-й — будетъ лучше перваго, и довольно" [220]).

LII.

Появленіе на страницахъ *Москвитянина* юмористическихъ статей Б. Н. Алмазова, подъ псевдонимомъ *Эраста Благонравова*, И. И. Панаевъ привѣтствовалъ такими словами: „Молодая Редакція *Москвитянина* имѣетъ своего фельетониста, въ лицѣ г. Эраста Благонравова, напечатавшаго статейку, подъ такимъ хитрымъ названіемъ: *Сонъ* и пр. Видно, что эта статейка есть плодъ долгихъ и добросовѣстныхъ усилій автора создать что нибудь острое. Я прочелъ ее отъ начала до конца. Въ ней упоминается, между прочимъ, и обо мнѣ... Г. Эрастъ Благонравовъ рискуетъ сдѣлаться моимъ фаворитомъ, если будетъ писать въ этомъ родѣ" [221]).

До появленія въ свѣтъ этой статьи, Алмазовъ писалъ Погодину: „Я чувствую въ себѣ непреодолимое желаніе ругаться и драться, со всѣмъ что есть пришлаго, басурманскаго въ нашей Литературѣ и нашей жизни. Меня не запугаютъ никакія нападки моихъ будущихъ противниковъ. Мнѣ всегда слышится и разжигаетъ меня и раззадориваетъ великое энергическое изреченіе Ломоносова: *я на борьбу съ врагами наукъ Россійскихъ жизнь мою обрекаю*. Вотъ кличъ, по которому должно воспрянуть *младшее* поколѣніе. Знаю, что если я объявлю войну лѣвой сторонѣ и лѣвому центру — на меня накинутся всѣ, и что даже люди, которыхъ я ду-

шевно люблю и которые мнѣ отвѣчаютъ тѣмъ же, отвернутся отъ меня... Вы видите, что я не боюсь никого. Но ежели статью мою исковеркаетъ и разводянитъ цензура — и мой первый блинъ выйдетъ комомъ, тогда прошу извинить: я ретируюсь съ поля битвы. Какъ мнѣ будетъ бороться съ *врагами наукъ Россійскихъ*, когда мечь мой на первыхъ порахъ притупитъ цензура и первый ударъ его никого не обрѣжетъ" [222]).

Наконецъ, въ апрѣльской книжкѣ *Москвитянина* появилось произведеніе Алмазова, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Сонъ по случаю одной комедіи. Драматическая фантазія, отвлеченными разсужденіями, патетическими мѣстами, хорами, танцами, торжествомъ добродѣтели, наказаніемъ порока, бенгальскимъ огнемъ и великолѣпнымъ спектаклемъ* [223]). Въ статьѣ этой, по словамъ ея автора, „нѣтъ ничего лишняго — ничего не сказано спросту — во всякой строкѣ есть шпилька для Петербургской Литературы", и что авторъ „всѣмъ нашимъ западнымъ ученымъ и литераторамъ, бросалъ по перчаткѣ", и ему бы „хотѣлось, чтобъ они ихъ подняли"..... Когда *Сонъ* былъ напечатанъ, Алмазовъ обратился къ Погодину „съ покорнѣйшею просьбою, совершенно прозаическою. „Пришлите",—писалъ онъ,—„сдѣлайте милость, мнѣ денегъ за статью, для поощренія моего таланта. Я бы право не сталъ васъ безпокоить (я не сребролюбецъ!), но праздникъ на дворѣ, будетъ гулянье подъ Новинскимъ, надо перчатки и все этакое купить. А то вѣдь теперь, бѣда: статьей моей я нажилъ себѣ такихъ враговъ, что теперь, покажись-ка я на гулянье въ старой шляпѣ и безъ перчатокъ, — такъ тебя просмѣютъ, что совсѣмъ погибнешь во цвѣтѣ лѣтъ. Отецъ мнѣ денегъ не присылаетъ, потому что очень старъ... И такъ, припадаю къ стопамъ вашимъ. Въ статьѣ моей *полтора печатныхъ листа мелкой печати*. Вторую статью на дняхъ вамъ доставлю" [224]).

Вторая статья носила заглавіе: *Письмо Эраста Благонравова къ редактору Москвитянина*, и она тоже была напечатана; а вслѣдъ за нею было напечатано *Письмо отъ не-*

звѣстнаго къ редактору Москвитянина, въ которомъ чи-
аемъ: „М. Г.! Узналъ я отъ Михаила Васильевича, что у
асъ въ *Москвитянинѣ* печатается статья, подъ названіемъ
онъ, по случаю одной комедіи. Я прочелъ эту гнусную статью,
мнѣ сейчасъ же пришло въ голову, что вѣрно всѣ поду-
аютъ, что эту статью написалъ я. И дѣйствительно, всѣ
еперь думаютъ, что эту статью написалъ я. Но, ей-Богу,
ту статью не я написалъ, а написалъ ее, должно быть, кто
нибудь другой, который мнѣ даже совсѣмъ и не родня. Сдѣ-
айте милость, возьмите на себя трудъ объявить всѣмъ, что
ту статью написалъ не я. Кто бы у васъ ни спросилъ о
омъ, кто написалъ эту статью, — говорите что *не я* — такъ
аки и скажите: это, молъ, не онъ, — это другой...“ [225]).

Между тѣмъ, юмористика Алмазова обратила на себя не-
лаговолительное вниманіе цензуры. „Письмо Благонравова“ —
исалъ цензоръ Ржевскій Погодину, — „я сейчасъ подписалъ,
отя и удивлялся, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, что вы
огласились помѣстить его въ журналѣ. Вѣдь тутъ уже просто
рань! Воръ и пьяница повторяются безпрестанно. Пусть бы
а Петербургскихъ журналахъ однихъ лежалъ укоръ въ упо-
ребленіи такихъ выраженій. Алмазова нужно было бы по-
держать“ [226]).

Но Алмазовъ не удерживался, и въ майской книгѣ *Мос-
витянина* 1851 года напечаталъ продолженіе своего *Сна* [227]).
огда цензоръ Ржевскій писалъ редактору *Москвитянина* уже
ѣшительно: „Будучи увѣренъ, почтеннѣйшій Михаилъ Пе-
ровичъ, что вы сами столько же, сколько и я, желаете,
тобы статьи *Москвитянина* не подавали поводъ къ замѣча-
іямъ и неудовольствіямъ, я буду покорнѣйше просить васъ,
рочесть со вниманіемъ новую статью г. Алмазова. Не смотря
а данную имъ подписку, во второй статьѣ своей онъ поз-
олилъ себѣ нѣкоторыя личности, которыя для меня были не-
понятны, но были очень ясны для людей болѣе знакомыхъ
ъ здѣшними литераторами и профессорами. Такъ, напримѣръ,
ъ ней находились ясные намеки на профессора Грановскаго

и проч. Вамъ легче моего будетъ видѣть, есть ли въ новой его статьѣ что-нибудь, что можетъ относиться исключительно къ одному какому-нибудь лицу. Послѣ статьи о *Раутѣ* надо быть поосторожнѣе; частыя жалобы на *Москвитянина* могутъ повредить ему. Успѣхъ первой статьи Алмазова, кажется, немного вскружилъ ему голову; опасно, чтобы онъ не увлекся и не вздумалъ обозначать *y* или *x* яснѣе, нежели сколько это позволительно" [228]).

Юмористическія произведенія Алмазова произвели переполохъ. Уже по поводу первой части *Сна*, Погодинъ вынужденъ былъ печатно высказаться на счетъ значенія этого произведенія своего сотрудника. „На святой недѣлѣ донеслись до меня",—писалъ Погодинъ,—„разные толки и даже неудовольствія по поводу статьи *Сонъ*. По-неволѣ вспомнишь слова Гоголя: напиши у насъ что-нибудь о такомъ-то колежскомъ ассесорѣ, и тотчасъ всѣ колежскіе ассесоры, со всей Россіи, оскорбятся, откликнутся и выразятъ свое неудовольствіе. А между тѣмъ, эти же господа кричатъ о гласности! Прочитавъ *Сонъ* въ рукописи, признаюсь, я увидѣлъ нѣкоторыя свои черты, напримѣръ: у меня бывало нѣсколько разъ расположеніе занятій по часамъ, хоть и не исполнялось аккуратно. Я не думаю даже, чтобъ у кого-нибудь изъ занимающихся людей не бывало когда-нибудь подобныхъ табличекъ. Разскажу одинъ анекдотъ изъ своей студенческой или кандидатской жизни: однажды, въ 20-хъ годахъ, прихожу я посла обѣда къ В. П. Титову. Онъ лежитъ на диванѣ и читаетъ книгу. Что вы читаете? спросилъ я его. „Шеллинговъ трансцендентальный идеализмъ. „Послѣ-обѣденное время у меня назначено",—прибавилъ онъ,—„на легкія занятія". Меня такъ и обдало, хоть я и скрылъ свое удивленіе,—и долго послѣ, воротясь домой, не могъ я успокоиться: вотъ ученой-то, думалъ я, какова голова! Послѣ обѣда, полегче, Шеллинговъ трансцендентальный идеализмъ!—А у меня и поутру отъ него лобъ трещитъ! Еще черта: долго, очень долго, не находилъ я никакого удовольствія въ прогулкѣ, какъ *x*

или *у*: книги и книги, только вмѣсто классиковъ Шлецеръ и Карамзинъ. Разскажу еще кстати анекдотъ о странностяхъ нашей братьи, въ молодости, точно какъ въ старости. Одно почтенное семейство, пресвитеріанскаго почти пуризма, просило меня, во время моего профессорства, объ учителѣ Русскаго языка, для дочери, семнадцатилѣтней дѣвицы, очень милой. Я, разумѣется, выбралъ самаго надежнаго студента. Студентъ ходилъ учить года полтора, и никогда даже не поднималъ глазъ на свою ученицу. Случилось однажды написать ей заданное письмо и представить въ классѣ для исправленія. Студентъ начинаетъ поправлять. „Да что вы это пишете",— сказалъ онъ съ досадою,—„я пошла, я гуляла, я читала? Надо написать: я пошелъ, я гулялъ, я читалъ.—Ахъ, извините, воскликнулъ онъ, взглянувъ на ученицу, которая не могла удержаться отъ смѣха, и пробудила его вниманіе: *извините, вѣдь вы женскаго рода*"! Однимъ словомъ, по нѣсколькимъ примѣрамъ, которые попались мнѣ на глаза, при просматриваніи *Сна*, я заключилъ, что вся статья составлена изъ отдѣльныхъ чертъ, принадлежащихъ разнымъ лицамъ и возведенныхъ въ такую степень гиперболы, которая никого уже оскорбить не можетъ; а между тѣмъ, статья забавна, и я отдалъ ее въ типографію, „ничтоже сумняся", тѣмъ болѣе, что въ ту же минуту прочелъ я слѣдующій отзывъ въ одномъ Французскомъ журналѣ о какой-то книгѣ: „le livre après tout est fort curieux: c'est le livre d'un homme d'esprit, qui fait de la philosophie amusante contre le siècle, qui, à force de persifflage, arrive à la verité, mais aussi à force d'exageration, touche au ridicule". Ожидаю самаго *Сна*, и поступлю такимъ же образомъ Если слухи, дошедшіе до меня, справедливы, то они должны быть отмѣчены въ Московскихъ запискахъ, въ доказательство, какъ взыскательны и раздражительны всѣ наши приходы, крайніе и средніе; а если слухи несправедливы, чего надѣюсь, то мы посмѣемся всѣ вмѣстѣ".

LIII.

Появленіе въ свѣтъ второй части *Сна* оправдало слухи, долетавшіе до Погодина, и онъ принужденъ былъ вторично высказаться печатно. „О статьяхъ Благонравова", — пишетъ Погодинъ, — „все еще ходятъ разные толки въ литературныхъ кружкахъ Московскихъ. Редакція объяснила, почему она напечатала первую статью: въ дополненіе скажетъ, пожалуй, нѣсколько словъ и о прочихъ. Авторъ хотѣлъ, кажется, показать шутя, что всякое мнѣніе, всякое положеніе, всякое пристрастіе, всякое направленіе, бывъ доведено до крайности, становится смѣшнымъ, каррикатурнымъ: въ этомъ смыслѣ онъ влагаетъ въ уста любителя Славянскихъ древностей (гдѣ я нашелъ много своихъ мыслей и выраженій), любителя западныхъ литературъ, филолога и проч., рѣчи, коихъ первая половина похожа на правду, а вторая состоитъ почти изъ нелѣпостей. Точно такую же рѣчь говоритъ онъ и отъ себя, оканчивая утвержденіями, ни съ чѣмъ несообразными. Такихъ утвержденій никто на свой счетъ принять не можетъ,—они выдуманы,— и сердиться, слѣдовательно, за статью такого рода не только странно, но смѣшно. Статьи забавны — чего же болѣе для Смѣси? Статьи предостерегаютъ отъ увлеченій, отъ крайностей, отъ утрировокъ, какъ говорится по-варварски, чего же болѣе для литературной морали" [229]).

Какъ ни старался Погодинъ выгородить Благонравова, но самъ Благонравовъ былъ недоволенъ Погодинымъ. „Вы пишете,—писалъ онъ Погодину,—что *среди рѣчи можно промолвиться, но что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ*. Да! это правда, но въ половину, отъ того, что среди рѣчи можно промолвиться, я и удерживаюсь отъ крупныхъ разговоровъ *словесныхъ*, чтобы не сказать лишняго; но то, что написано, то удобно вырубается топоромъ цензуры и редакціи. Вы желаете мнѣ счастія въ семейной жизни. Я ни-

когда не сомнѣвался въ вашемъ расположеніи. Вы говорите, что желаете, чтобъ дѣти мои не были такія, которыя..... Я хорошенько не знаю, каковы будутъ мои дѣти, но знаю только, что они будутъ похожи на меня.... Я говорю о *плотскихъ* дѣтяхъ, которыхъ я буду производить безъ помощи цензуры. Я вѣрно не буду въ нихъ такъ несчастливъ, какъ въ моихъ духовныхъ дѣтяхъ (разумѣю мои творенія), которыхъ не признаю законными, ибо ихъ помогаетъ мнѣ дѣлать цензура, насадившая мнѣ рога. Какъ послѣ такого позора мнѣ не развестись съ музой, которая осквернила мое ложе. Не знаю, съ горя или отъ простуды я боленъ: мнѣ душно здѣсь: я въ лѣсъ хочу! Въ деревню, въ деревню! Я чувствую, что я серьезно боленъ: желчь разлилась; вчера меня рвало желчью. Докторъ не велитъ никуда выходить! Вотъ до чего довело меня мое краткое пребываніе въ здѣшней столицѣ"!

Не довольствуясь прозою, Алмазовъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* стихотвореніе Эраста Благонравова. Въ угодность цензурѣ, Погодинъ напечаталъ въ искаженномъ видѣ одно изъ этихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ *Журналистика*, въ которомъ авторъ задѣваетъ И. И. Панаева. Въ примѣръ искаженія, Т. И. Филипповъ приводитъ слѣдующій стихъ:

На пирахъ истощенную силу,
Бдѣніемъ изсушенную грудь;

тогда какъ въ подлинникѣ стояло:

Коньякомъ изсушенную грудь...

Это окончательно раздражило Алмазова и онъ написалъ Погодину рѣзкое письмо: „Изъ бывшаго моего стихотворенія выключено четыре стиха, и такъ ловко, что не выходитъ смысла. Отъ того сія статья потеряла силу. Панаевъ будетъ торжествовать: ему будетъ очень легко глумиться надъ моимъ изуродованнымъ стихотвореніемъ. Впрочемъ, я передъ нимъ стихотворенія этого защищать не стану, оно не мое: оно принадлежитъ вамъ и г. цензору Ржевскому. По настоящему,

вы бы и должны были его защищать, но если поступите иначе, — и, я увѣренъ, что въ одномъ изъ слѣдующихъ нумеровъ вы отречетесь отъ всей моей статьи (вы уже это дѣлывали съ прежними моими статьями, презрительно отзываясь о нихъ въ подстрочныхъ и неподстрочныхъ замѣчаніяхъ). Но подобныя ваши выходки меня нисколько не огорчаютъ, потому что не стѣсняютъ. Но огорчаетъ меня то, что вы такъ энергически дѣйствуете противъ меня за одно съ цензурой.— Цензоръ пропускаетъ, а вы не пропускаете. Дѣлайте, какъ знаете! Досадно то, что моя дѣятельность рѣшительно должна прекратиться. Я не могу работать въ кандалахъ, которыя вы съ цензоромъ на меня надѣваете... Бросаю Литературу... съ первымъ путемъ ѣду въ деревню; у меня въ перспективѣ остается только семейная жизнь. Былъ у цензора. На счетъ пиджаковъ и фраковъ онъ велѣлъ вамъ сказать, что это ваше дѣло и предоставляетъ на вашу волю пропустить или нѣтъ. Онъ единственно потому отмѣтилъ краснымъ карандашемъ, что думалъ, что вамъ не понравится, ибо вы ему разъ жаловались на Колошина. Но я его убѣдилъ: растолковалъ, что нѣтъ ничего общаго у меня съ Колошинымъ: онъ казнилъ лица, а я направленіе".

Для успокоенія Алмазова, Погодинъ обратился къ посредничеству Т. И. Филиппова; но Тертій Ивановичъ вполнѣ раздѣлялъ негодованіе Алмазова и писалъ Погодину: „Вы пишете: *растолкуйте горячкѣ, это такъ должно было.* Растолковать это Алмазову никто изъ насъ не возьмется: мы всѣ, т.-е., я, Островскій и Эдельсонъ, крайне недовольны вашимъ поступкомъ и оскорблены не меньше Алмазова. Горячкой нельзя назвать его досаду на ваше распоряженіе; понятно, что человѣкъ, который вступилъ въ полемику съ такимъ жаромъ и безкорыстіемъ, и потому съ желаніемъ успѣха своему дѣлу, огорченъ рѣшительнымъ искаженіемъ одной изъ лучшихъ своихъ пародій. *Журналистика* его потеряла смыслъ, *бѣльніемъ* вмѣсто *коньякомъ* — это выше силъ".

Въ то же время высшая цензура не одобрила стихотво-

ренія Алмазова и за перепечатку извѣстной Колыбельной пѣсни Некрасова. Начальнику Московской Цензуры министръ Народнаго Просвѣщенія писалъ (21-го ноября 1851 года): „Въ № 19 и 20 *Москвитянина* перепечатано изъ изданнаго, въ 1846 году, г. Некрасовымъ *С.-Петербургскаго Сборника* стихотвореніе, подъ заглавіемъ: *Колыбельная пѣснь* (подражаніе Лермонтову). Стихотвореніе это, по предосудительности своего содержанія, обратило тогда же на себя вниманіе правительства, и вслѣдствіе того сдѣланъ былъ, за пропускъ онаго въ *Сборникѣ*, строгій выговоръ. Хотя о семъ обстоятельствѣ и не было сообщено Московскому Цензурному Комитету, но не менѣе того цензоръ Ржевскій не могъ не замѣтить крайней неприличности содержанія и выраженій упомянутаго стихотворенія, и потому при нынѣшнихъ, еще болѣе строгихъ требованіяхъ, цензоръ никакъ не долженъ былъ допустить онаго къ печати. По сему я прошу покорнѣйше поставить это на видъ цензору Ржевскому и сдѣлать ему надлежащее внушеніе, чтобы онъ былъ на будущее время къ исполненію своихъ обязанностей внимательнѣе“.

Обиженный Ржевскій писалъ Погодину: „Сегодня въ Комитетѣ получена бумага, заключающая выговоръ мнѣ за пропускъ пародіи Некрасова, и потому, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, не излишне было бы намъ съ общаго согласія удвоить предосторожность“.

Между тѣмъ, Шевыревъ былъ очень доволенъ стихотвореніями Алмазова и писалъ Погодину: *Москвитянинъ* отличается, — подражанія или пародіи очень хороши. *Современникъ* зарѣзанъ“. Но слѣдуетъ замѣтить, что не всѣ сочувствующіе *Москвитянину* были въ восторгѣ отъ юмористическихъ произведеній Алмазова. „На меня“,—писалъ А. Ѳ. Писемскій Погодину,—„самымъ непріятнымъ образомъ подѣйствовалъ вашъ Эрастъ Благонравовъ своимъ тупымъ остроуміемъ, своею претензіею на что-то и наконецъ всѣмъ своимъ тономъ... Такой серьезный журналъ, какъ *Москвитянинъ*, не долженъ позволять такъ дурачиться на своихъ страницахъ“.

Профессоръ И. Н. Березинъ, будучи недоволенъ рецензіей *Москвитянина* о своихъ *Ярлыкахъ*, писалъ: „Вчера полученъ здѣсь 19-й № *Москвитянина*, въ которомъ помѣщенъ весьма странный разборъ моихъ *Ярлыковъ*. Если онъ написанъ какимъ-нибудь извѣстнымъ вамъ ученымъ, то непонятно, зачѣмъ этотъ ученый скрылъ свое имя; если же онъ составленъ какимъ-нибудь Эрастомъ Благонравовымъ, въ чемъ я не сомнѣваюсь, то зачѣмъ къ незнанію прибавлены небылицы? Съ первыхъ же словъ критикъ показываетъ, что онъ не видалъ моихъ *Ярлыковъ*".

Весьма не сочувствовалъ юмористическимъ произведеніямъ Алмазова также и Д. В. Григоровичъ, который весьма рѣзко выразилъ свое мнѣніе объ оныхъ въ письмѣ своемъ къ Погодину: „Зачѣмъ, скажите, появился этотъ задорный Французикъ Эрастъ? Что нашли вы въ немъ хорошаго? Вы знаете, я вѣдь не принадлежу ни къ какимъ журнальнымъ приходамъ,—и въ этомъ случаѣ могу говорить, какъ посторонній. Не знаю, кто этотъ Благонравовъ. Если онъ все тотъ же Алмазовъ,—душевно о немъ сожалѣю, т.-е., объ Алмазовѣ. Посовѣтуйте-ка ему прочесть хорошую книгу: *Un grand homme de province à Paris*—*Бальзака*; вы сдѣлаете доброе дѣло; чтобы увидѣлъ, что значитъ пріучать себя съ осьмнадцати лѣтъ огрызаться и начинать литературное поприще съ задворокъ журнальной полемики. Къ тому же, право, статьи эти не соотвѣтствуютъ строгому тону *Москвитянина*; онѣ рѣшительно отнимаютъ у него достоинство. Это все равно что Кремлевскія стѣны оклеить неблагопристойными картинками".

Неудовольствіе Алмазова на Погодина продолжалось не долго. По крайней мѣрѣ въ *Дневникѣ* послѣдняго, подъ 1 ноября 1851 г., читаемъ: „Съ Алмазовымъ о журналѣ, о партіяхъ и лицахъ. Отмякъ и понравилось (Посланіе) *Къ юношѣ* *).

---

*) См. *Жизнь и Труды М. П. Погодина*. Спб. 1894. VIII, 263—282.

LIV.

Въ 1851 году, въ *Москвитянинѣ* не было напечатано ни одного художественнаго произведенія А. Н. Островскаго. Въ это время онъ писалъ свою знаменитую комедію *Бѣдная Невѣста*, о которой говорилъ Погодину: „Я хотѣлъ показать только всѣ отношенія, вытекающія изъ характеровъ двухъ лицъ, изображенныхъ мною; а такъ какъ въ моемъ намѣреніи не было писать комедію, то я и представилъ ихъ голо, почти безъ обстановки (отъ чего и назвалъ этюдомъ). Если принять въ соображеніе существующую критику, то я поступилъ неосторожно: какъ вещь очень тонкую; имъ не понять ее, и они возьмутъ ее со стороны формы, принимая въ основаніе тѣ шаткія и условныя положенія, которыя выработались при нынѣшнемъ литературномъ развратѣ во Французской и Петербургской Литературѣ. Не говорю уже о литературныхъ журналахъ“.

Творческая работа мѣшала Островскому заниматься въ *Москвитянинѣ* такими предметами, которые не соотвѣтствовали его призванію. „Писать мнѣ,—сознается онъ Погодину,—какія либо другія вещи для *Москвитянина*, кромѣ художественныхъ, очень тяжело, вслѣдствіе разныхъ сплетней, которыя мы пригрѣли при журналѣ и которыя по-маленьку отодвигаютъ насъ отъ васъ“.

Не смотря на это, Островскій до времени не прерывалъ своихъ сношеній съ Погодинымъ и на требованіе послѣдняго, чтобы онъ печаталъ свои произведенія только въ *Москвитянинѣ*, отвѣчалъ: „Піесъ обѣщанныхъ вы напечатали много: Плавтова комедія готова и печатайте ее хоть сейчасъ; *Бѣдная Невѣста* была готова еще лѣтомъ; *Сцены изъ Русской жизни* я ужъ началъ; только *Александра Македонскаго* вамъ придется подождать. Вы знаете въ какое положеніе я былъ поставленъ въ началѣ нынѣшняго лѣта критиками, и потому мнѣ хочется выступить съ чѣмъ-нибудь важнымъ,

совершенно додѣланнымъ. Мелкія вещи я боюсь пускать. *Бѣдную Невѣсту* я вамъ доставлю скоро и двѣ или три сцены изъ Русскаго быта. А впрочемъ, все-таки надобно поговорить лично, потому что, какъ я вижу, дѣла начинаютъ запутываться".

Хотя комедія Островскаго *Бѣдная Невѣста* и была окончена, но онъ боялся выпускать ее въ свѣтъ. „Комедія моя позамѣшкалась",—писалъ онъ Погодину,—„потому что я слышалъ комедію Писемскаго и нашелъ нужнымъ свою подкрасить нѣсколько, чтобы не краснѣть за нее. Меня мучаетъ переписка ее, я ужасно боюсь глаза потерять. Я на дняхъ привезу ее къ вамъ почитать, и потолкуемъ объ ней" [230]). Отрывокъ изъ *Бѣдной Невѣсты*, Островскій, впрочемъ, рѣшился напечатать въ *Раутѣ* Сушкова [231]). Напечатанный отрывокъ, по замѣчанію М. А. Дмитріева, „отличается живостію и комизмомъ языка: качества, и всегда придающія большое достоинство всякой комедіи" [232]).

Наконецъ, въ декабрѣ того же 1851 года, на Ростопчинской субботѣ Островскій рѣшился прочесть свою *Бѣдную Невѣсту* и произвелъ ею на слушателей, въ томъ числѣ и на Шевырева, сильное впечатлѣніе. Шевыревъ подѣлился своими впечатлѣніями съ Погодинымъ: „Я къ тебѣ самъ хотѣлъ писать о томъ пріятномъ впечатлѣніи, которое произвела на меня новая комедія Островскаго. Я радъ за него и его дарованіе; это произведеніе разсѣетъ всѣ нелѣпые слухи, которые были на его счетъ. Мнѣ кажется, многіе характеры здѣсь схвачены глубже изъ жизни—и пріятно видѣть то, что авторъ идетъ впередъ, и въ пониманіи жизни, и искусства. Это не то, что̀ раки западные: прогрессъ на языкѣ, а попятные шаги на дѣлѣ". Точно также и графиня Ростопчина писала: *Бѣдная Невѣста*—картинка и этюдъ самаго нѣжно-отчетистаго Фламандскаго рода; она произвела на меня такое же впечатлѣніе, какъ нѣкогда прелестная повѣсть Сентъ-Бева—*Кристенъ*, въ *Revue des Deux Mondes*. Характеры просты, обыкновенны даже, но представлены и выдержаны мастерски;

дѣвушка мила и трогательна до крайности, но, можетъ быть, не вдругъ и не всѣ поймутъ это произведеніе, которое, впрочемъ, займетъ свое мѣсто.—У Островскаго комизмъ граничитъ всегда съ драматическимъ элементомъ, а смѣхъ переходитъ въ слезы: хоть тяжело,—но не оставляетъ озлобленья"...

Когда слухъ объ успѣхѣ Островскаго достигъ Костромы, то Писемскій, въ самый день Рождества 1851 года, писалъ Погодину: „Сейчасъ получилъ письмо отъ Островскаго... Радуюсь его успѣху и заочно восклицаю: Ура!!! Выдирай наши"!!! [33]).

Въ то время, когда Островскій переходилъ отъ силы въ силу, въ газетѣ *Кавказъ* было помѣщенно письмо графа В. А. Сологуба о новомъ театрѣ въ Тифлисѣ. Письмо это обратило вниманіе Погодина, и онъ по этому поводу написалъ слѣдующее: „Мы обрадовались искренно, встрѣтивъ имя графа Сологуба въ такой дали: намъ грустно было видѣть, какъ этотъ талантъ, живой, игривый, разнообразный, острый, пріятный, погибалъ въ атмосферѣ видимо для него душной и тягостной; по всѣмъ его послѣднимъ произведеніямъ, или лучше сказать, очеркамъ, ясно было, что тамъ ему не мѣсто, что тамъ онъ могъ только понижаться, а не возвышаться,—и вотъ за Кавказскія горы бѣжитъ онъ, дикій и суровый!... Желаемъ ему отъ души всякаго успѣха, освѣжиться, обновиться, помолодѣть, узнать свое назначеніе и сдѣлать то, что онъ можетъ и долженъ сдѣлать".

Изъ письма Погодина мы узнаемъ о произведеніи другого таланта—князя Г. Г. Гагарина, который, судя по описанію, сотворилъ что-то необыкновенное, самобытное, изящное: такой театръ, какого нѣтъ нигдѣ.

А играть на театрѣ нечего! Театръ, 12 апрѣля, говоритъ газета, „былъ открытъ маскарадомъ, а не драматическимъ представленіемъ, потому что до сего времени *нѣтъ еще въ виду представленій, которыя могли бы согласоваться съ великолѣпіемъ театра и съ его нравственною цѣлью*".

Надъ этими строками нельзя не задуматься. Эти строки

можно приложить ко многимъ нашимъ явленіямъ, безпрестанно доказывающимъ, что мы забыли нашу старую пословицу о коровѣ и подойникѣ.

„Что́ же мы, Русскіе писатели“,—говоритъ графъ Сологубъ,—„старшіе братья по просвѣщенію, литературные опекуны края, лепечущаго первое свое сознательное слово, что̀ дадимъ мы ему въ образецъ, какую высокую цѣль укажемъ мы его молодому порыву, какое поученіе, какую отраду почерпнетъ онъ въ заботливости объ немъ Русской музы? Неужели, открывъ ему театръ, указавъ ему на новое поле для умственной дѣятельности, на новое неизвѣстное ему наслажденіе, мы научимъ его только способу горько и умно смѣяться надъ собою, познакомивъ его съ *Ревизоромъ* и *Горе отъ ума*, и затѣмъ, сознаемся откровенно, что больше у насъ почти ничего нѣтъ, кромѣ развѣ передѣлокъ съ Французскаго, да бенефисныхъ ловушекъ? У кого достанетъ духа разочаровывать грубою существенностью младенца, у теплой еще колыбели? Неужели Русская письменность отзовется незнаніемъ, невѣдѣніемъ, безсиліемъ, когда всѣ усердно работаютъ здѣсь для блага края“?... Прочитавъ эти строки, невольно вспоминаю еще басню Крылова о дикихъ и домашнихъ козахъ. Не могутъ ли предложить намъ этотъ вопросъ и свои соотечественники? Чѣмъ они угощаются? Что̀ играютъ у насъ въ Москвѣ и Петербургѣ? Жалобы на бѣдность нашей драматической литературы, по моему мнѣнію, совершенно безвременны: не пришло еще время для нея! Кого прикажете выводить ей на сцену? Атридовъ? Они надоѣли Французамъ, а Ивановъ Васильевичей и Борисовъ Годуновыхъ мудрено. Сочинять и выдумывать Нѣмцевъ, Французовъ, Англичанъ?—Живыхъ много, да сродниться съ чужими національностями, *какъ требуется теперь* искусствомъ, возможно только геніямъ, которые еще не дали ни одного образца *нигдѣ*. Слѣдовательно, нечего и говорить о предметахъ изъ Нѣмецкой, Французской и Англійской исторіи. Остаются такъ-называемыя мѣщанскія трагедіи, — но и въ нихъ безпрестанно встрѣтится писатель съ такими затрудне-

ніями, которыхъ преодолѣть нѣтъ силы. Не легче и комедія. Предметъ комедіи — пороки, недостатки, слабости людскіе. Чьи же пороки можетъ выставить Русскій комикъ? Дворянства, купечества, чиновничества, военнаго сословія, высшаго сословія? Ничьи нельзя: всѣ разсердятся и возопіютъ, — и по причинамъ весьма основательнымъ и убѣдительнымъ! Бѣдный комикъ не найдетъ себѣ нигдѣ мѣста и наживетъ только враговъ. Слѣдовательно, собственнаго театра въ высшемъ смыслѣ быть у насъ еще не можетъ; мы не созрѣли еще для него; нѣтъ еще настоящей потребности для него; нѣтъ яснаго взгляда на искусство, а крича о театрѣ, выражая свое желаніе, лжесвидѣтельствуя о своей любви, мы все еще только подражатели, поемъ съ голоса и перенимаемъ только наружное. Въ нашемъ климатѣ можетъ расти капуста, морковь, рѣпа, а для винограда, для апельсиновъ, для померанцевъ нужны оранжереи, которыхъ мы не строимъ, ибо нельзя же назвать оранжереями драматическими нѣкоторыя наши учрежденія, то-есть, журналы литературные и театральные. Какія же нужны оранжереи? Ну, я назову вамъ, тщательное общее изученіе исторіи, быта, и... кончу общими мѣстами. А графъ Сологубъ хлопочетъ о томъ, что̀ играть для Грузинъ? Играйте Французскіе водевили и Французскія драмы, которыми любуемся и мы... да присоедините къ нимъ балеты съ фейерверкомъ, конскими ристаніями и всяческими танцами, а театръ князя Гагарина разошлите по всѣмъ иллюстраціямъ, съ Тиммовой включительно“ [234]).

LV.

Продолжалъ бѣдствовать и продолжалъ трудиться на *Москвитянинѣ* и А. А. Григорьевъ.

Въ апрѣлѣ 1851 года, онъ написалъ Погодину письмо, имѣющее автобіографическое значеніе, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Часто хотѣлось бы и то и другое сдѣ-

лать, и о томъ и о другомъ написать, — да придешь домой совсѣмъ разбитый, такъ что никуда уже не годишься. Конечно, на это можно возразить, что надобно потерпѣть, оттерпѣться. Да, это такъ! когда оттерпишься, не будешь уже ровно ни къ чему годенъ, упадешь и тѣломъ и душею, состаришься прежде времени подъ гнетомъ поденной работы, еще болѣе подъ гнетомъ тяжелой скорби о томъ, что безпутной молодостью, съ одной стороны, и тяжкою поденщиною въ зрѣломъ возрастѣ, погубилъ много силъ въ самомъ себѣ. Безотрадное, безвыходное положеніе—когда трудишься какъ возовая лошадь, не видя ни пользы въ своемъ трудѣ, ни даже такого матеріальнаго вознагражденія, которое было бы съ нимъ уравновѣшено. И по-неволѣ приходятъ подъ часъ въ голову тѣ-же самыя *праздныя* мысли, какія приходили герою *Мѣднаго всадника*:

Вѣдь есть же праздные лѣнивцы,
Ума недальняго—счастливцы,
Которыхъ жизнь куда легка...

Ну, хорошо: добьюсь я въ сорокъ или даже тридцать пять лѣтъ такого положенія, когда буду работать меньше, получать больше, по тому извѣстному на Руси правилу, что чѣмъ мѣсто выше, тѣмъ труда и отвѣтственности меньше, да опять повторяю, куда я буду годиться, когда ужъ и теперь страдаю одышкой и припадками самой черной ипохондріи, въ одну изъ минутъ которой и пишу я къ вамъ эти малозанимательныя строки. Между тѣмъ, выдвинуться пораньше на болѣе ровный путь хоть и трудно, но не невозможно. Связей у меня—нѣтъ вовсе. Съ одними, я просто не сошелся, съ другими—разошелся; было время когда и Грановскій и другіе имѣющіе вѣсъ и вліяніе люди любили меня, ждали отъ меня чего-то. Въ томъ, что теперь у меня нѣтъ связей, виноваты на половину дурныя стороны моего характера и темныя пятна моей жизни, а на половину—хорошія, т.-е., моя рѣшительная неспособность принадлежать къ приходу и клятвенно отречься отъ собственной личности. Пы-

тался и я унять себя въ этомъ отношеніи, да видно ужъ нельзя; рано или поздно — бѣлое покажется мнѣ бѣлымъ, а не синимъ и не краснымъ, какимъ ему быть приказано... Съ правою стороною не сходился я никогда и кажется нечего объяснять почему (Подъ правою я разумѣю l'extreme droite). Между тѣмъ, особенной неуживчивостью или нетерпимостью я не отличаюсь и весьма способенъ на различныя *уступки* и *примиренія*. Всю эту рѣчь я веду къ тому, чтобы выразить по-серьезнѣе и по-обстоятельнѣе то, о чемъ намекалъ я вамъ какъ то разъ. Такъ или иначе, пособите мнѣ выбиться впередъ, на болѣе обезпеченную и спокойную позицію — на какое-нибудь мѣсто, которое бы давало мнѣ возможность отдаваться тому труду, къ какому я особенно способенъ, труду кабинетному, литературному. У васъ есть связи, есть люди, которые въ состояніи вытащить за уши — не вдругъ и не сейчасъ, конечно, но и не въ пять же лѣтъ или — храни Боже — въ десять, въ теченіе которыхъ обратишься въ старую тряпку, наживешь, пожалуй, ракъ въ желудкѣ при отсутствіи опредѣленнаго часа для сна и пищи да при вѣчныхъ тягостныхъ заботахъ. Вотъ все, что я хотѣлъ сказать вамъ — единственному сколько-нибудь сильному человѣку, съ которымъ я не разошелся. Разумѣется, что я не говорю способствуйте вотъ сейчасъ тому-то и тому-то — нѣтъ! я повторяю только усердную просьбу дѣйствовать постепенно, но не до той убійственной постепенности, какая прежде лишитъ человѣка всякой энергіи, а потомъ пришлетъ какъ бѣлкѣ возъ орѣховъ".

Въ другомъ письмѣ Григорьева (26 ноября 1851 года) читаемъ: „Разнаго рода бѣды сыплются на меня, съ нѣкотораго времени, такъ, что я рѣшительно теряю всякое терпѣніе и прихожу въ отчаяніе. Приходится опять васъ тревожить и тревожить не по пустякамъ. Ради Бога, спасайте меня въ настоящую минуту отъ бѣды неминучей. Дѣло вотъ какого рода. По заемному письму, данному мною Зенфтлебену въ сто рублей серебромъ, еще въ 1849 году,

т.-е., когда у меня не было никакихъ средствъ, а между тѣмъ, нужно было прикрывать свое грѣшное тѣло,—я платилъ только проценты. Теперь хоть повѣситься, а надобно къ *четвергу* — это крайній изъ крайнихъ сроковъ, — отдать сумму до-полна: иначе грозился отправиться къ попечителю, что̀, какъ вы сами понять можете, хуже всякаго полицейскаго взысканія. Войдите въ мое положеніе—и прежде упрековъ мнѣ за безпутное житіе не по средствамъ, возьмите въ разсчетъ, что только два года какихъ-нибудь я получаю сколько-нибудь сносный окладъ, что за два года назадъ шестимѣсячная болѣзнь жены чего-нибудь мнѣ стоила, что у меня однимъ словомъ, множество *задовъ* отвратительныхъ, отравляющихъ мою жизнь. Сообразите все это и выручайте меня, какъ выручали вы не разъ гораздо болѣе неблагонадежныхъ артистовъ. Мысль о томъ, что бы вы могли сомнѣваться во мнѣ, въ голову мнѣ не приходитъ. Теперь вы, я полагаю, достаточно меня знаете, чтобы вѣрить мнѣ. Очень можетъ статься, что у васъ нѣтъ денегъ — чему я вѣрю вполнѣ. Но случай такой крайній, что я умоляю васъ достать во чтобы то ни стало.... и въ четвергъ, ради Бога".

При такомъ матеріальномъ необезпеченіи трудился Григорьевъ въ *Москвитянинѣ*. „Берите меня",—писалъ онъ Погодину,—„такимъ, какимъ я есть—и не ждите ничего, кромѣ возовой лошади. Но она все-таки нужна журналу, если журналъ будетъ существовать... Въ настоящую минуту, впрочемъ, я больше кляча, чѣмъ лошадь, да вдобавокъ еще разбитая ногами. Не киньте же меня хоть вы,—пригожусь еще".

LVI.

Къ числу нововведеній, сдѣланныхъ членами молодой Редакціи *Москвитянина*, принадлежитъ ежемѣсячное *Обозрѣніе Русскихъ журналовъ*, которое вели: Григорьевъ, Островскій и Эдельсонъ. Но не всѣ одобряли это нововведеніе. „А знаете ли что",—писалъ Погодину князь П. А. Вяземскій,—„что Сен-

ковскій правъ. Напрасно удѣляете вы въ своемъ журналѣ опредѣленное мѣсто разбору журналовъ. При случаѣ, можно сказать слова два о духѣ или бездушіи того или другого журнала, но постоянно выносить соръ изъ чужой избы — не слѣдуетъ. Вообще, критика должна быть не личная, не частная, а общая, обще-характеристическаго направленія той или другой литературной артели, или того и другого писателя. Стрѣляйте, но не по ярлыку на собственное имя. Пуля виноватаго сыщетъ. Простите меня, что и я пускаюсь въ незваную критику. Примите ее въ свидѣтельство моего усердія и доброжелательства *Москвитянину*".

Сотрудникъ *Москвитянина* Б. И. Ордынскій прямо писалъ Погодину: „Я не слышалъ еще ни отъ одного человѣка добраго слова объ *Обзорахъ*, напечатанныхъ въ вашемъ журналѣ, не потому чтобы *Отечественныя Записки* и *Современникъ* не имѣли недостатковъ, но потому, что отзывы *Москвитянина* объ этихъ журналахъ вышли изъ кружка, связаннаго кумовствомъ и изъ кумовства же, нападающаго на то, на другое, хвалящаго то, другое... Извините меня за откровенность. Будьте увѣрены, что всѣ мои замѣчанія проистекли изъ чистаго, искренняго желанія пользы *Москвитянину*, улучшенію котораго всѣ Москвичи, сколько мнѣ извѣстно, искренно радуются и желаютъ только, чтобы онъ избавился отъ кумовства, которымъ, къ несчастію, такъ страдаетъ учено-литературное общество Москвы, болѣе можетъ быть, *всякаго другого* Московскаго общества" [235]).

Съ своей стороны, И. И. Панаевъ ѣдко замѣтилъ: „Молодая Редакція *Москвитянина* преимущественно занимается библіографическимъ отдѣломъ и подъ небольшими своими рецензіями подписываетъ разныя буквы: *Г. О. Е.* Эти господа *Г. О. Е.* съ важностію толкуютъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ о чемъ-то совершенно новомъ и неизвѣстномъ" [236]).

Пріѣздъ въ Москву Петербургской актрисы Вѣры Васильевны Самойловой вдохновилъ А. А. Григорьева, и онъ

въ *Москвитянинѣ* 1851 г. напечаталъ цѣлый рядъ статей подъ заглавіемъ: *Лѣтопись Московскаго Театра* [237]).

Предвидя цензурныя затрудненія, Григорьевъ писалъ Погодину: „Извините меня, многоуважаемый Михайло Петровичъ, что я рѣшаюсь васъ безпокоить просьбою моею ко мнѣ относящейся, впрочемъ не денежной. Но прежде всего надобно сказать нѣсколько словъ о дѣлѣ. Посылаемые листки *Театральной Лѣтописи* хорошо бы отправить завтра же къ Верстовскому, для посылки директору. Жаль будетъ, если статья разобьется больше чѣмъ на два отдѣла.

Познакомившись съ статьею Григорьева, директоръ Московскихъ театровъ, Александръ Михаиловичъ Гедеоновъ, писалъ Погодину: „Отдавая всегда должную справедливость достоинствамъ и благонамѣренности издаваемаго подъ редакціею вашею журнала *Москвитянинъ*, и полагая что помѣщеніе въ ономъ статей о театрѣ не будетъ превышать правъ предоставленныхъ для сего журнала утвержденною отъ правительства программою, и чтобы сдѣлать вамъ угодное, я съ удовольствіемъ принялъ бы на себя содѣйствіе къ пропуску для напечатанія присланной при письмѣ вашемъ статьи *Лѣтопись Московскаго Театра*, если бы статья сія въ отношеніи къ мѣстнымъ артистамъ Московскаго театра была написана въ болѣе умѣренномъ духѣ. Отдавая, съ своей стороны, полную справедливость таланту актрисы Самойловой, находящейся нынѣ временно въ Москвѣ, я со всѣмъ тѣмъ не считаю умѣстнымъ допускать, чтобы временные пріѣзды въ Москву артистовъ-гостей служили поводомъ къ оскорбленію хозяевъ, слишкомъ рѣзкими приговорами при сравненіяхъ таланта однихъ предъ другими, какими наполнена присланная ко мнѣ статья. И потому, при всемъ желаніи моемъ быть вамъ полезнымъ, я, къ сожалѣнію, не могу съ своей стороны допустить статью къ печати“.

Но статьями Григорьева о Самойловой, по-видимому, былъ недоволенъ и Островскій. Григорьевъ съ горечью писалъ Погодину: „Разъясните мнѣ, Бога ради, кто издаетъ *Москвитянинъ*—вы или *компанія*?—и право поправлять статью при-

надлежитъ ли *только* вамъ или всѣмъ и каждому? А. Н. Островскій хвалился вчера, что поправилъ нѣсколько выраженій въ моей статьѣ о Самойловой... Вы знаете, какъ безусловно принимаю я ваши поправки и даже благодаренъ вамъ за это, но позвольте и мнѣ, хоть я и не геній, имѣть сколько-нибудь *человѣческаго* самолюбія. Измѣненіе малѣйшей іоты въ моей статьѣ кѣмъ-либо другимъ, кромѣ васъ, редактора журнала и при томъ редактора, съ которымъ я почти согласенъ въ основныхъ положеніяхъ, можетъ бѣсить даже и меня, человѣка, какъ вамъ не безизвѣстно, весьма кроткаго. Не худо бы вспомнить исправляющимъ, что я чему-нибудь учился... Потому я прошу васъ показать если нужно *господамъ* эту записку"...

Увлеченный актрисою Самойловой, А. А. Григорьевъ озаботился и о томъ, чтобы былъ снятъ портретъ актрисы и приложенъ къ *Москвитянину*. Въ этомъ дѣлѣ принималъ также участіе и Н. В. Бергъ.—„Недавно",—писалъ онъ Погодину,—„я послалъ къ нашему милому цензору портретъ Самойловой отъ вашего имени, и считаю необходимымъ васъ о томъ извѣстить. Можетъ быть, онъ будетъ вамъ о томъ говорить. Я это сдѣлалъ потому, что жена его желала имѣть портретъ Самойловой, а приложенный при *Москвитянинѣ*, ее не удовлетворяетъ. Я и поспѣшилъ ее позабавить. Вообще надо ее расположить въ нашу пользу, о чемъ я хлопочу давно и дѣйствую всѣми средствами. Она женщина очень бойкая и въ домѣ много значитъ" [238]).

Намъ уже извѣстно, что знаменитый актеръ Провъ Михайловичъ Садовскій былъ связанъ узами дружбы съ членами молодой Редакціи *Москвитянина*, и они принимали живое участіе во всѣхъ его успѣхахъ. 26 сентября 1851 года, Московская публика, собравшаяся на его бенефисъ, видѣла его въ роли *короля Лира*.

Но Садовскій, въ этой роли не имѣлъ успѣха. Т. И. Филипповъ, принимая живѣйшее участіе въ успѣхѣ знаменитаго артиста, писалъ по поводу упомянутаго бенефиса его, между прочимъ, слѣдующее: „Бенефисъ не имѣлъ

успѣха. Большинство публики осталось рѣшительно недовольнымъ, рукоплесканія были рѣдки и несмѣлы; вызывали мало. Изъ сужденій, которыя случилось намъ слышать въ обществѣ, нѣкоторыя даже поражаютъ своею строгостью. Что объ этомъ подумать? Въ самомъ ли дѣлѣ Садовскій игралъ такъ неудовлетворительно, или въ приговорѣ большинства такъ много несправедливости? По крайнему нашему убѣжденію, мы становимся на сторону артиста и позволяемъ себѣ, можетъ быть, не совсѣмъ скромную мысль, что игра Садовскаго, хотя и не вполнѣ удовлетворительная, все-таки удовлетворительнѣе общественной критики, и, главное, заслуживаетъ несравненно больше участія, нежели осужденія. Къ этой мысли насъ привело соображеніе всѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, при которыхъ игралъ Садовскій, а еще болѣе тѣ истинно дорогія, столь рѣдкія на нашей сценѣ черты его игры, которыя большинство, удовлетворенное своим недовольствомъ, оставило безъ вниманія".

Свою апологію Тертій Ивановичъ Филипповъ заключает такими словами: „Мы зовемъ вниманіе друзей Искусства къ тѣм чертамъ игры Садовскаго, которыя такъ рѣдко встрѣчаются. Мы говоримъ про совершенное отсутствіе ложныхъ эффектовъ. Ни одного раза, даже въ самыхъ затруднительныхъ минутахъ, когда сомнительное молчаніе публики обдавало, можетъ быть, холодомъ артиста, онъ не опозорилъ своей роли ни однимъ трагическимъ фарсомъ, и предпочелъ честный неуспѣхъ ложью купленному успѣху. И въ этомъ онъ выразилъ крайнее уваженіе къ искусству, публикѣ и своему званію. Кромѣ того, мы видѣли стремленіе изобразить данный авторомъ характеръ; нѣкоторыя черты Лира были дѣйствительно опущены или слабо выражены Садовскимъ, но намъ лично кажется, что онъ попалъ на настоящую дорогу, что это направленіе есть единственно истинное, что играть Лира нельзя иначе, какъ по этой методѣ. По нашему мнѣнію, при дальнѣйшемъ проникновеніи своей ролью Садовскій выразитъ намъ ее съ полной отчетливостью. Выра-

женная нами надежда, по нашему мнѣнію, оправдалась значительно уже при второмъ представленіи. Нѣкоторыя мѣста драмы, слабо съигранныя въ первое представленіе, вышли поразительно хороши во второмъ, какъ, напр., судъ надъ дочерьми, смерть Лира" [239]).

Григорьевъ, будучи недоволенъ поправками, сдѣланными въ его театральной лѣтописи Островскимъ, писалъ Погодину: „Мало ли въ чемъ они могутъ быть несогласны со мною? Я вотъ тоже несогласенъ съ статьею Филиппова, но я не присвоилъ себѣ права поправить въ ней ни одного слова".

LVII.

Сказавъ о дѣятельности первостепенныхъ сотрудниковъ *Москвитянина* въ 1851 году, помянемъ и о второстепенныхъ.

Въ то время, Л. А. Мей, однимъ своимъ произведеніемъ вовлекъ *Москвитянинъ* въ цензурное затрудненіе. Дѣло дошло даже до Духовной Цензуры. „Изъ прилагаемаго письма протоіерея Ѳ. А. Голубинскаго",—писалъ Погодину А. А. Григорьевъ,—„вы усмотрите сами печальную необходимость замедлить выходъ 13-го нумера и замѣнить стихотворенія Мея другими. Подвергнуть нумеръ, можетъ быть, заарестованію, а цензора, да еще вдобавокъ такого, каковъ Ржевскій, непремѣнному строгому выговору,—или двумя днями запоздать—тутъ выбора конечно быть не могло и я рѣшился замѣстить стихи Мея стихотвореніемъ Фета"... Въ письмѣ же протоіерея Ѳ. А. Голубинскаго (29 іюня 1851 года) къ Погодину, мы читаемъ: „Простите меня, что я не могъ взять на себя одобреніе стиховъ, вами присланныхъ, потому что уже подалъ просьбу объ увольненіи меня отъ должности цензорской. Другіе цензоры не рѣшились одобрить сихъ стиховъ, частію вслѣдствіе новаго синодскаго указа, которымъ, сообразно съ высочайшею волею, предписывается немедленно посылать въ Сѵнодъ мнѣніе о содержаніи и о сомнительныхъ мѣстахъ журналь-

ныхъ статей, а потомъ и самыя сіи статьи, какъ скоро оныя получены будутъ отпечатанныя, частію же и по своему сужденію. Они соглашаются, что картины, представляемыя адскимъ фокусникомъ, изображены свѣжими и живыми красками, но совсѣмъ не въ тонѣ повѣствованія Евангельскаго. Suus est cuique poëmati sonus, говоритъ Цицеронъ. Иного читателя могутъ прельстить роскошныя изображенія прелестей языческихъ — гетеры-наяды, плясуньи-дріады, баядеръ и лаисъ. Правда, чѣмъ чортъ не тѣшится? Но не всѣ же его потѣхи обнажать предъ читателями православными, тѣмъ паче, что въ Евангеліи сказано объ этомъ весьма кратко: *вся царствія міра и славу ихъ*. Искуситель хитеръ: онъ простому Іудеянину не сталъ бы представлять, какъ нѣчто обольстительное, изваянія идоловъ.. Но въ Евангеліи есть указаніе, что онъ подозрѣвалъ, не Сынъ ли Божій предъ нимъ (*аще Сынъ еси Божій*). При такомъ подозрѣніи и самъ обезумѣвшій сатана не пустился бы на затѣи Капрейскія. Слава царствъ міра не то, что обаянія скульптуры Греческой.—А тутъ еще что за слава—въ снѣгу Сѣвера? У Шотландцевъ есть басненное преданіе, будто искуситель, показывая Сыну Божію всѣ царства вселенной, закрылъ пальцемъ Ферерскіе острова: такъ мало привлекательности находятъ въ дикихъ горахъ и дебряхъ сѣверныхъ самые жители странъ сѣверныхъ.—Слово: мимо!... не выражаетъ величія премудрости Спасителя. Въ немъ слышится что-то площадное, похожее на равнодушное выраженіе: проваливай! Митрополитъ Московскій о подобныхъ изображеніяхъ такъ отзывается: тутъ нѣтъ священнаго приличія. Нельзя же, ставши на клиросъ, запѣть: *На что ты сердце страстно природой мнѣ дано?* Suus est cuique poëmati sonus. По симъ соображеніямъ, я и не рѣшился заводить дѣло въ цензурѣ и представить на разсмотрѣніе Сѵнода панораму искусителя. Если бы не цензура здѣшняя, то навѣрно цензура синодская запретила бы эту статью. Недавно былъ изъ Сѵнода указъ, чтобы въ повѣствованіяхъ о вещахъ духовныхъ не позволять

неприличныхъ или шуточныхъ выраженій (это по поводу книги: *Письма Святогорца*). Въ стихахъ: отойди С(с)атана! нѣтъ шутовскаго, но есть языческое. И такъ, безопаснѣе имъ остаться въ рукописи".

А. Ѳ. Писемскій совѣтовалъ Погодину привлечь къ *Москвитянину* Николая Ѳедоровича Щербину. „Къ Редакціи",—писалъ Писемскій,—„приспособляйте Щербину. Онъ очень для нея хорошъ". За содѣйствіемъ въ этомъ Погодинъ обратился къ графинѣ Ростопчиной, которая отвѣчала: „Съ удовольствіемъ написала бы къ Щербинѣ, да не знаю гдѣ его найти и т. п.; да вѣдь онъ продалъ все свое наличное въ Петербургъ; вѣроятно, у него теперь ничего нѣтъ новаго" [240]).

„По настроенію ума своего",—свидѣтельствуетъ Т. И. Филипповъ,—Н. Ѳ. Щербина не только не сходился съ прочими членами *Москвитянина*, но, какъ видно изъ нѣсколькихъ его эпиграммъ, подвергалъ ихъ жестокому осмѣянію. Направленіе же *Москвитянина* Щербина усвоилъ только тогда, когда переѣхалъ по обстоятельствамъ изъ Москвы въ Петербургъ—вблизи разсмотрѣлъ представителей западнической Русской Литературы и узналъ истинную нравственную имъ цѣну".

Не смотря на то, что Щербина былъ обласканъ графинею Ростопчною, онъ послалъ въ одинъ изъ Петербургскихъ юмористическихъ листковъ каррикатуру, съ изображеніемъ литературнаго вечера Ростопчиной, гдѣ она читаетъ что-то, на одномъ концѣ стола, обложившись книгами. Иные томы лежатъ даже на полу, около кресла: все это предполагается прочесть залпомъ, безъ отдыху! Кругомъ наиболѣе извѣстные посѣтители субботъ графини. Все—портреты. Подпись гласитъ: *Чтобы чтеніе вполнѣ удалось и никто не ушелъ, не дослушавъ піесы, приняты надежныя мѣры.* Этими *надежными мѣрами* были два огромныхъ бульдога, лежащіе у запертыхъ дверей. Самъ Щербина представленъ былъ на рисункѣ отошедшимъ уже отъ кружка слушателей, благополучно до-

бравшимся до двери и пріотворившемъ самую дверь, но остановленнымъ двумя бульдогами"... [241]).

Не смотря на это, Погодину удалось привлечь Щербину къ *Москвитянину*, и въ ноябрьской книжкѣ этого журнала появились его *Греческія стихотворенія*.

10 іюня 1851 года, М. Л. Михайловъ писалъ Погодину изъ Нижняго: „Узнавъ отъ Владиміра Ивановича Даля желаніе ваше имѣть что-нибудь мое для помѣщенія въ *Москвитянинѣ*, я спѣшу воспользоваться вашимъ лестнымъ для меня вызовомъ и вмѣстѣ съ этимъ письмомъ посылаю небольшую сцену, принадлежащую къ цѣлому ряду подобныхъ статей, которыя я съ удовольствіемъ готовъ доставлять къ вамъ, по мѣрѣ окончательной ихъ отдѣлки. Въ настоящее время, у меня готова довольно большая повѣсть, которую желалъ бы также помѣстить въ вашемъ прекрасномъ журналѣ. (Владиміръ Ивановичъ читалъ ее и можетъ сказать вамъ объ ней свое мнѣніе). Если бы вы согласились дать мнѣ за каждый печатный листъ ея по двадцати пяти рублей сер., я выслалъ бы ее къ вамъ немедленно".

Но В. И. Даль сдѣлалъ объ этомъ произведеніи Михайлова далеко не лестный отзывъ... „Когда увижу Михайлова, скажу"; — писалъ онъ Погодину, — „но, воля ваша, дарованіе его до того грязно, или загрязнилось, что плюнешь по-неволѣ. Онъ недавно читалъ мнѣ *Адама Адамыча* своего — дарованьеце есть, но все до того грязно, что съ души претъ слушая". Не смотря однако на этотъ отзывъ, Погодинъ съ удовольствіемъ напечаталъ *Адама Адамыча* въ *Москвитянинѣ*, заплативъ автору, по его назначенію, пятнадцать рубл. сер. съ листа. Когда же, въ ноябрьской книжкѣ *Москвитянина*, появилась эта повѣсть, то В. И. Даль писалъ Погодину: „*Стыдно ему пачкать свой журналъ такими вещами*, какъ *Адамъ Адамычъ*, — подсказываетъ мнѣ жена. А я говорю: на безрыбьи и ракъ рыба, а маленькая рыбка подавно лучше большого таракана. По Сенькѣ шапка, по с.....й дочери — колпакъ; Сенька и дочка, кто ничему лучшему ходу не

даетъ". Между тѣмъ, А. А. Григорьевъ сообщилъ Погодину, что *Новый Поэтъ* (И. И. Панаевъ) расхвалилъ *Адама Адамыча*, а здѣшніе западники ругали, какъ повѣсть непристойную и даже пахабную" [242]).

Дѣйствительно, по мнѣнію И. И. Панаева, повѣсть *Адамъ Адамычъ* „принадлежитъ перу писателя, только что выступающаго на литературное поприще, и обнаруживаетъ въ немъ дарованіе несомнѣнное. Жаль, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей повѣсти авторъ уже слишкомъ густо и грубо наложилъ краски и обнаружилъ слишкомъ большое расположеніе къ Польдекоковскимъ сценамъ" [243]).

Извѣстный впослѣдствіи романистъ и главный редакторъ *Правительственнаго Вѣстника*, Григорій Петровичъ Данилевскій, осенью 1851 года, посѣтилъ Москву съ слѣдующимъ рекомендательнымъ письмомъ Плетнева къ Погодину: „Подателя этого письма, Данилевскаго, рекомендую вашему благорасположенію. Онъ страстно любитъ Литературу; вышелъ изъ нашего Университета и состоитъ на службѣ при А. С. Норовѣ [244]). О. М. Бодянскій познакомилъ Данилевскаго съ Гоголемъ [245]); но Петербургскій гость, кажется, какъ мы сейчасъ увидимъ, злоупотребилъ этимъ знакомствомъ.

Въ октябрѣ 1851 года, Гоголь для актеровъ читалъ своего *Ревизора*. По свидѣтельству одного изъ слушателей, И. С. Тургенева, „когда Гоголь еще не успѣлъ прочесть половины перваго акта, какъ вдругъ дверь шумно растворилась и торопливо, улыбаясь и кивая головою, промчался черезъ всю комнату одинъ еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литераторъ — и, не сказавъ никому ни слова, поспѣшилъ занять мѣсто въ углу. Гоголь остановился; съ розмаху ударилъ рукой по звонку—и съ сердцемъ замѣтилъ вошедшему камердинеру: Вѣдь я велѣлъ тебѣ никого не впускать! Молодой литераторъ слегка пошевелился на стулѣ, — а впрочемъ, не смутился нисколько. Гоголь отпилъ немного воды и снова принялся читать: но ужъ это было совсѣмъ не то... Неожиданное появленіе литератора, его

разстроило. — Только въ извѣстной сценѣ, гдѣ Хлестаковъ завирается, Гоголь снова ободрился... Но, вообще говоря, чтеніе *Ревизора* въ тотъ день было, какъ Гоголь самъ выразился, не болѣе какъ намекъ, эскизъ; и все по милости непрошеннаго литератора, который простеръ свою нецеремонность до того, что остался послѣ всѣхъ у поблѣднѣвшаго усталаго Гоголя и втерся за нимъ въ его кабинетъ" [246]).

Москва, по-видимому, произвела на Данилевскаго пріятное впечатлѣніе. По крайней мѣрѣ, по возвращеніи въ Петербургъ, вотъ что писалъ онъ Погодину: „Какъ я ни старался, передъ отъѣздомъ изъ Москвы, побывать еще разъ у васъ и проститься съ вами, мнѣ не удалось этого сдѣлать: я собрался въ нѣсколько часовъ и уѣхалъ по чугункѣ. Теперь отъ всей души приношу вамъ благодарность за вашъ истинно-отеческій пріемъ и вниманіе къ моимъ молодымъ стремленіямъ на поприщѣ слова. Въ вашихъ словахъ и совѣтахъ мнѣ слышались слова друга и, такъ сказать, душеприкащика Пушкина и всѣхъ его свѣтлыхъ сопутниковъ.. Напоминаю о себѣ въ минуту перваго наслажденія, которое испытываю въ моемъ холодномъ Петербургѣ при мысли о тѣхъ немногихъ дняхъ, которые я провелъ въ обществѣ вашемъ и вашихъ достойныхъ знакомыхъ". Въ то же время Данилевскій предложилъ Погодину помѣстить въ *Москвитянинѣ* отрывокъ изъ его сочиненія печатаемаго въ *Отечественныхъ Запискахъ* *Казаки и Степи*, подъ заглавіемъ *Курбатовская вѣдьма* (Глинчанская сказка).

Данилевскій былъ очень польщенъ тѣмъ, что его произведеніе появилось такъ скоро въ *Москвитянинѣ;* такъ что уже 5 декабря 1851 года онъ получилъ возможность писать Погодину: „Съ большимъ удовольствіемъ принята здѣсь послѣдняя книжка вашего *Москвитянина*. Общій приговоръ—полная справедливость, дружная благодарность вамъ за ея составъ. Приношу и я вамъ мой поклонъ за помѣщеніе сказки моей... П. А. Плетневъ свидѣтельствуетъ вамъ свое

почтеніе, равно какъ и мой пріятель, а вашъ сотрудникъ Стасюлевичъ".

LVIII.

Къ высокимъ качествамъ Погодина, какъ мы уже неоднократно замѣчали, между прочимъ принадлежитъ его христіанское чувство, съ которымъ онъ относился и къ малымъ земли. Онъ никого и никогда не отталкивалъ отъ себя. Вотъ, напримѣръ, его письменный діалогъ съ нѣкоею Варварою Лебедевой: „Слава вашихъ великихъ твореній!.. извѣстная цѣлому міру,—даетъ смѣлость мнѣ, ничтожному созданію въ ономъ, прибѣгнуть къ вамъ, какъ къ покровителю наукъ и просвѣщенія. Любовь моя къ занятіямъ литературнымъ столь велика, что я рѣшилась безпокоить васъ быть моимъ наставникомъ въ оныхъ. О чемъ всепокорнѣйше прошу, и надѣюсь, что вы не отвергнете моей просьбы: просмотрѣть мои ничтожныя творенія и дать мнѣ совѣтъ въ нихъ полезный".

Погодинъ: Я радъ очень содѣйствовать вамъ, чѣмъ могу—но я желалъ бы прежде знать, что̀ именно могу я сдѣлать, и чего вы ожидаете отъ меня. Благоволите ихъ прислать, и чрезъ недѣлю вы получите отвѣтъ, или здѣсь, или чрезъ контору *Москвитянина*, какъ вамъ удобнѣе.

Лебедева: Я имѣю съ собой два мелкія творенія и пишу теперь драму—почему и пришла просить вашего совѣта – въ стихахъ, или въ прозѣ будетъ лучше ее изобразить?

Погодинъ: Стихомъ, кажется, вы еще не владѣете: мѣры почти нѣтъ нигдѣ, — слѣдовательно, вамъ неизвѣстно стихотвореніе. Лучше испытайте прозу, а меня извините за откровенность, которой вы спрашиваете. Совѣтую прежде познакомиться короче съ классическими писателями.

Лебедева: Позвольте представить вамъ прозу, когда могу на этой недѣлѣ?" [247]).

Почти оставленному своимъ товарищемъ и другомъ Шевыревымъ, Погодину трудно было ладить съ молодою Редакціею

Москвитянина. „Самымъ оригинальнымъ изъ нашихъ журналовъ“,—писалъ И. И. Панаевъ,—„я считаю *Москвитянинъ*, потому что онъ имѣетъ не одну Редакцію, какъ это обыкновенно водится, а двѣ: *молодую* и *старую*, которыя между собою не имѣютъ ничего общаго. Если, напримѣръ, *молодая* Редакція хвалитъ какое-нибудь произведеніе, то *старая* тутъ же сдѣлаетъ выноску и удивляется, какъ можно хвалить такое произведеніе!.. Не оригинально ли“? [248])

Эта двойственность бросалась въ глаза и другимъ, вполнѣ доброжелательнымъ къ Погодину людямъ. „Не выказывайтесь слишкомъ въ журналѣ“, — писалъ ему И. Н. Березинъ, — „а старайтесь представить изъ себя кое-что единое с сотрудниками“.

Въ то же время у молодой Редакціи стали возникать стремленія къ независимости отъ принципала. Такъ, князь Владиміръ Львовъ перевелъ сочиненіе Луи Вельйо *Самарянку*, и свой переводъ отдалъ Погодину, для напечатанія въ *Москвитянинѣ;* но молодая Редакція возстала, и Погодинъ получаетъ слѣдующее анонимное письмо: „Было бы вамъ извѣстно, если помѣстится *Самаритянка* въ томъ безграмотномъ переводѣ, который видѣли въ корректурѣ у Колошина, отъ участія въ *Москвитянинѣ* откажутся всѣ безъ исключенія, нынѣ дѣйствующія лица молодого поколѣнія“. Любопытенъ адресъ: На Дѣвичьемъ полѣ, въ собственномъ домѣ, въ приходѣ *Апостола* (sic) *Саввы*.

Въ письмѣ своемъ, отъ 24 февраля 1851 г., А. Н. Островскій прямо писалъ Погодину: „Чего я опасался, то и вышло. Когда я сказалъ кой-кому, на чемъ мы порѣшили (т.-е., сказалъ такъ, какъ уговорились), то получилъ вотъ какія возраженія: „Значитъ, это только на нынѣшній годъ! Значитъ, мы должны отдавать статьи все-таки Погодину! Поднять его журналъ! И какую вы роль берете на себя! Онъ можетъ и самъ обратиться ко всѣмъ литераторамъ! Не того мы ждали! Мы думали, что журналъ будетъ вашъ, а слѣдовательно, и нашъ; кромѣ трудовъ можно бы рѣшиться на пожертвованія, но

крайней мѣрѣ была бы надежда на вознагражденіе! А теперь мы и вы должны служить Погодину. Хорошо еще что я не былъ ни у кого изъ значительныхъ дѣятелей, т.-е., ни у Грановскаго, ни у графини Сальясъ, ни у Леонтьева и проч. Каково бы мнѣ было съ ними разговаривать! Что̀ мнѣ дѣлать, научите меня. Напишите мнѣ поскорѣй отвѣтъ; дѣло не терпитъ отлагательства. Послѣдній нашъ разговоръ, мнѣ кажется, показалъ вамъ, какъ готовъ я на безкорыстное слуслуженіе всякому серьезному дѣлу. Напишите мнѣ, сдѣлайте одолженіе, что̀ мнѣ дѣлать и что̀ говорить; сдѣлайте милость, напишите что нибудь рѣшительное. Вы знаете, въ какомъ душевномъ состояніи я нахожусь, оно для меня невыносимо". Въ томъ же письмѣ Островскій старается выяснить и свое матеріальное положеніе и вообще свои отношенія къ *Москвитянину*. „Напишите мнѣ",—продолжалъ онъ,—„можете ли вы мнѣ дать 50 руб. въ мѣсяцъ, за простое сотрудничество, съ обязательствомъ съ моей стороны, доставить въ продолженіе года статей на эту сумму и съ правомъ кромѣ того давать статьи и въ другія изданія. Примите въ разсчетъ то, что я, по своему характеру, все-таки всѣми силами стану стараться для *Москвитянина*. Если же вы на это не согласны, то напишите, что̀ вы отъ меня хотите, чтобы я зналъ это опредѣленно. Извините, что я безпокою васъ; мнѣ самому, Михайло Петровичъ, тяжело". Въ другомъ письмѣ Островскій писалъ Погодину: „Прошу васъ, по крайней мѣрѣ не препятствовать тому слуху, что *Москвитянинъ можетъ* быть подъ моимъ распоряженіемъ. Мнѣ ужъ теперь, кромѣ многихъ ученыхъ статей, обѣщано три повѣсти".

Взглядъ же Погодина на своихъ молодыхъ сотрудниковъ выразился въ слѣдущей лаконической записи его *Дневника* (12 марта 1851 г.): „Вечеромъ сотрудники, которые надоѣдаютъ своими претензіями. Надо съ ними покрѣпче"...

Слухъ о происходившемъ въ Редакціи *Москвитянина* доходилъ и до Западниковъ. Т. Н. Грановскій писалъ А. А. Краевскому: „О переходѣ *Москвитянина* въ руки Островскаго, вы уже

Москвитянина. „Самымъ оригинальнымъ изъ нашихъ журналовъ“,—писалъ И. И. Панаевъ,—„я считаю *Москвитянинъ*, потому что онъ имѣетъ не одну Редакцію, какъ это обыкновенно водится, а двѣ: *молодую* и *старую*, которыя между собою не имѣютъ ничего общаго. Если, напримѣръ, *молодая* Редакція хвалитъ какое-нибудь произведеніе, то *старая* тутъ же сдѣлаетъ выноску и удивляется, какъ можно хвалить такое произведеніе!.. Не оригинально ли“? [248])

Эта двойственность бросалась въ глаза и другимъ, вполнѣ доброжелательнымъ къ Погодину людямъ. „Не выказывайтесь слишкомъ въ журналѣ“, — писалъ ему И. Н. Березинъ, — „а старайтесь представить изъ себя кое-что единое съ сотрудниками“.

Въ то же время у молодой Редакціи стали возникать стремленія къ независимости отъ принципала. Такъ, князь Владиміръ Львовъ перевелъ сочиненіе Луи Вельйо *Самарянку*, и свой переводъ отдалъ Погодину, для напечатанія въ *Москвитянинѣ;* но молодая Редакція возстала, и Погодинъ получаетъ слѣдующее анонимное письмо: „Было бы вамъ извѣстно, если помѣстится *Самаритянка* въ томъ безграмотномъ переводѣ, который видѣли въ корректурѣ у Колошина, отъ участія въ *Москвитянинѣ* откажутся всѣ безъ исключенія, нынѣ дѣйствующія лица молодого поколѣнія“. Любопытенъ адресъ: На Дѣвичьемъ полѣ, въ собственномъ домѣ, въ приходѣ *Апостола* (sic) *Саввы*.

Въ письмѣ своемъ, отъ 24 февраля 1851 г., А. Н. Островскій прямо писалъ Погодину: „Чего я опасался, то и вышло. Когда я сказалъ кой-кому, на чемъ мы порѣшили (т.-е., сказалъ такъ, какъ уговорились), то получилъ вотъ какія возраженія: „Значитъ, это только на нынѣшній годъ! Значитъ, мы должны отдавать статьи все-таки Погодину! Поднять его журналъ! И какую вы роль берете на себя! Онъ можетъ и самъ обратиться ко всѣмъ литераторамъ! Не того мы ждали! Мы думали, что журналъ будетъ вашъ, а слѣдовательно, и нашъ; кромѣ трудовъ можно бы рѣшиться на пожертвованія, но

крайней мѣрѣ была бы надежда на вознагражденіе! А теперь мы и вы должны служить Погодину. Хорошо еще что я не былъ ни у кого изъ значительныхъ дѣятелей, т.-е., ни у Грановскаго, ни у графини Сальясъ, ни у Леонтьева и проч. Каково бы мнѣ было съ ними разговаривать! Что̀ мнѣ дѣлать, научите меня. Напишите мнѣ поскорѣй отвѣтъ; дѣло не терпитъ отлагательства. Послѣдній нашъ разговоръ, мнѣ кажется, показалъ вамъ, какъ готовъ я на безкорыстное слуслуженіе всякому серьезному дѣлу. Напишите мнѣ, сдѣлайте одолженіе, что̀ мнѣ дѣлать и что̀ говорить; сдѣлайте милость, напишите что нибудь рѣшительное. Вы знаете, въ какомъ душевномъ состояніи я нахожусь, оно для меня невыносимо". Въ томъ же письмѣ Островскій старается выяснить и свое матеріальное положеніе и вообще свои отношенія къ *Москвитянину*. „Напишите мнѣ",—продолжалъ онъ,—„можете ли вы мнѣ дать 50 руб. въ мѣсяцъ, за простое сотрудничество, съ обязательствомъ съ моей стороны, доставить въ продолженіе года статей на эту сумму и съ правомъ кромѣ того давать статьи и въ другія изданія. Примите въ разсчетъ то, что я, по своему характеру, все-таки всѣми силами стану стараться для *Москвитянина*. Если же вы на это не согласны, то напишите, что̀ вы отъ меня хотите, чтобы я зналъ это опредѣленно. Извините, что я безпокою васъ; мнѣ самому, Михайло Петровичъ, тяжело". Въ другомъ письмѣ Островскій писалъ Погодину: „Прошу васъ, по крайней мѣрѣ не препятствовать тому слуху, что *Москвитянинъ можетъ* быть подъ моимъ распоряженіемъ. Мнѣ ужъ теперь, кромѣ многихъ ученыхъ статей, обѣщано три повѣсти".

Взглядъ же Погодина на своихъ молодыхъ сотрудниковъ выразился въ слѣдущей лаконической записи его *Дневника* (12 марта 1851 г.): „Вечеромъ сотрудники, которые надоѣдаютъ своими претензіями. Надо съ ними покрѣпче"...

Слухъ о происходившемъ въ Редакціи *Москвитянина* доходилъ и до Западниковъ. Т. Н. Грановскій писалъ А. А. Краевскому: „О переходѣ *Москвитянина* въ руки Островскаго, вы уже

вѣроятно знаете. Жаль Островскаго, котораго Погодинъ посадитъ черезъ годъ въ яму, какъ несостоятельнаго должника своего, и заставитъ въ ямѣ на себя работать. Въ числѣ условій, выговоренныхъ Погодинымъ, находится слѣдующее: онъ пользуется правомъ въ каждой книжкѣ ругать Соловьева, хвалить котораго запрещено формально другимъ сотрудникамъ". Въ другомъ письмѣ Грановскаго читаемъ: „А. Погодинъ опять взялъ *Москвитянинъ* у Островскаго".

Какъ бы то ни было, все это тревожило и огорчало Погодина, и графиня Растопчина, желая его утѣшить, писала ему: „А я таки стану вамъ *мораль читать* на счетъ вашего духовнаго изнеможенія въ борьбѣ противъ легіона. Не стыдно ли вамъ думать о бѣгствѣ съ поля чести, когда быть можетъ близка побѣда"?..

Но, Погодинъ, утомленный борьбою съ супротивною силою, писалъ князю П. А. Вяземскому: „*Дніе зли суть*, но тѣ дни, на которыхъ *(на дняхъ)* вы хотѣли прислать вашу богатую милость *Москвитянину*, милостивый государь князь Петръ Андреевичъ,.... да умилосердятся они! По пяти статей выкидывается изъ книги, и я просто не знаю иногда что дѣлать! принужденъ выпускать книгу не полную и безобразную. То критики нѣтъ, то наукъ, то Русской словесности! Слѣдовательно, про запасъ надо имѣть всегда по многу. И въ заключеніе всѣ эти хлопоты, вмѣстѣ съ литературными, надоѣдаютъ мнѣ столько, что я рѣшаюсь бросить все и засѣсть за одну Исторію. Насъ единомыслящихъ, консерваторовъ съ прогрессами, очень мало, да и тѣ большею частію лѣнивы: Хомяковъ, Кирѣевскіе, Павловы, и т. д. Шевыревъ занятъ,— молодые, очертя голову, и вовсе безъ головы напираютъ. Вы не знаете всѣхъ отношеній учено-литературныхъ, да и никто ихъ не знаетъ; найдется теперь множество людей, которые рады подошвы вырѣзать изъ своихъ сапоговъ, лишь бы я пересталъ быть редакторомъ *Москвитянина* и чтобъ Петербургскимъ журналамъ не было оппозиціи, чтобъ всѣ составляли одно. Тогда и увидятъ, что начнетъ сочиться, а gutta

cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Правительство наше съ этой стороны совершенно слѣпо, а эта сторона становится важнѣе и важнѣе со всякимъ днемъ. Пособія никакого я не прошу — оборони Боже: это убьетъ журналъ, — но я прошу довѣренности. Пусть разсмотрятъ двадцать пять лѣтъ моей публичной дѣятельности (что я писалъ и издавалъ), да и дадутъ мнѣ carte blanche. Тогда можно принести пользу и Литературѣ, и общему дѣлу, и содѣйствовать прогрессу разумному — иначе невозможно. Все это вырвалось у меня невзначай въ письмѣ къ вамъ, потому что я знаю вашу искреннюю любовь къ просвѣщенію, а считаю все это гласомъ вопіющаго въ пустынѣ и т. п. [249]).

LIX.

Въ 1834 году, изъ Москвы переселилось въ Петербургъ семейство Майковыхъ, ведущее свой родъ отъ преподобнаго пустынника Нила Сорскаго. Это благодатное семейство, по свидѣтельству И. А. Гончарова, „кипѣло жизнію, людьми, приносившими сюда неистощимое содержаніе изъ сферы мысли, науки, искусствъ. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многіе литераторы изъ круга тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, всѣ толпились въ необширныхъ, неблестящихъ, но пріютныхъ залахъ, и всѣ вмѣстѣ съ хозяевами составляли какую-то братскую семью или школу, гдѣ всѣ учились другъ у друга, размѣниваясь занимавшими тогда Русское общество мыслями, новостями науки, искусствъ“. Хозяинъ дома, Николай Аполлоновичъ Майковъ, „бросившій мечъ для кисти и палитры, радовался до слезъ всякому успѣху и всѣхъ, не говоря уже о друзьяхъ, въ сферѣ интеллектуальнаго или артистическаго труда, всякому движенію впередъ во всемъ, что доступно было его уму и образованію. Трудно полнѣе и безупречнѣе, чище прожить жизнь“,—заключаетъ Гончаровъ,— „какъ прожилъ ее Николай Аполлоновичъ Майковъ, сначала въ качествѣ воина, потомъ артиста“ [250]).

Въ 1851 году, старшій сынъ Николая Аполлоновича и Евгеніи Петровны Майковыхъ, Аполлонъ Николаевичъ, написалъ свое знаменитое произведеніе *Три смерти* и посвятилъ его отцу своему. Это произведеніе, въ то время еще не напечатанное, произвело сильное впечатлѣніе на Плетнева, и онъ писалъ Жуковскому (1 октября 1851): „Новостей пока нѣтъ, кромѣ стихотвореній Майкова, впрочемъ пока не печатанныхъ, а слышанныхъ мною отъ него по рукописямъ. Это что-то выше, нежели просто замѣчательное“ [251]). Погодину же Плетневъ писалъ: “На дняхъ Майковъ читалъ мнѣ новыя стихотворенія историческаго содержанія. Вотъ это что-то по-больше Лермонтова. Если бы живъ былъ Пушкинъ, о! какъ бы крѣпко обнялъ онъ Аполлона по имени и по ремеслу“. Вхожій въ домъ Майковыхъ Г. П. Данилевскій, тоже сообщалъ Погодину: „Сегодня, то есть, въ среду 26 декабря 1851 г., вечеромъ, ко мнѣ зашли: Майковъ и Полонскій. По средамъ мы собираемся у А. С. Норова, моего не-оцѣненнаго начальника; до срока, когда нужно было итти к-ъ нему, мои гости просидѣли у меня нѣсколько часовъ—и эт-и нѣсколько часовъ мы посвятили нашей Литературѣ. *На р-ѣкахъ Вавилонскихъ сидѣхомъ и плакахомъ...* Я читалъ моим-ъ милымъ пріятелямъ письмо графини Ростопчиной о *Выбор-ѣ смерти* Майкова. Добрая графиня не пишетъ, были ли вы у нея въ тотъ вечеръ, какъ Мей читалъ у нея эту пьесу. Нам-ъ бы очень желалось узнать, какъ вамъ понравился *Выбор-ъ смерти...*—Весело думать—и почти не вѣрится—что въ наш-е время еще являются такія произведенія, какъ *Свои люд-и сочтемся!* и *Выборъ смерти!*

„О печатаніи новыхъ стихотвореній Майкова“,—писал-ъ Плетневъ Погодину,—„при нынѣшней цензурѣ, нечего и думать, хотя въ нихъ ничего нѣтъ, кромѣ высокой и пре-е-красной исторической истины. Я отправилъ ихъ для прочте-е-нія Жуковскому. Жду, что онъ скажетъ. Теперь въ нем-ъ вся наша поэзія и критика“ [252]). Жуковскій, познакомившис-ь съ произведеніемъ Майкова, писалъ (15 ноября 1851 г.)

Плетневу: „Благодарю васъ за доставленіе стиховъ Майкова; я прочиталъ ихъ съ величайшимъ удовольствіемъ. Майковъ имѣетъ истинный поэтическій талантъ; я не читалъ его другихъ произведеній; слышу, что онъ еще молодъ: слѣдовательно, предъ нимъ можетъ лежать еще долгій путь. Дай Богъ ему понять свое назначеніе, дай Богъ ему пріобрѣсть взглядъ на жизнь съ высокой точки, то-есть, быть тѣмъ поэтомъ, о которомъ я говорю въ моемъ письмѣ къ Гоголю, и избѣжать того эпикуризма, который заразилъ поэзію и осквернилъ поэзію нашего времени". Въ другомъ письмѣ къ Плетневу, отъ 7 декабря 1851 года, Жуковскій пишетъ какъ бы духовное завѣщаніе А. Н. Майкову: „Скажите отъ меня Майкову, что онъ съ своимъ прекраснымъ талантомъ можетъ начать разрядъ новыхъ Русскихъ талантовъ, служащихъ высшей правдѣ, а не матеріальной чувственности; пускай онъ возьметъ себѣ въ образецъ Шекспира, Данте, а изъ древнихъ Гомера и Софокла; пускай напитается Исторіею и знаніемъ природы, и болѣе всего знаніемъ Руси, той Руси, которую намъ создала ея Исторія,—Руси, богатой будущимъ, не той Руси, которую выдумываютъ намъ поклонники безумныхъ доктринъ нашего времени, но Руси самодержавной, Руси христіанской, и пускай, скопивъ это сокровище знаній, это сокровище матеріаловъ для поэзіи, пускай проникнетъ свою душу святынею Христіанства, безъ которой наши знанія не имѣютъ цѣли и всякая поэзія не иное что, какъ жалкое сибаритство — русалка, убійственно щекочущая душу. Такое мое *завѣщаніе* молодому поэту: если онъ съ презрѣніемъ оттолкнетъ отъ себя тенденціи, оскверняющія поэзію и вообще Литературу нашего времени, то онъ съ своимъ талантомъ совершитъ вполнѣ назначеніе поэта".

Замѣтимъ, что эти строки написаны Жуковскимъ за четыре мѣсяца до его блаженной кончины. О впечатлѣніи, произведенномъ на Майкова этими вдохновенными словами, Плетневъ довелъ до свѣдѣнія Жуковскаго: „Майковъ оживотворенъ тѣмъ, что вы о немъ ко мнѣ писали. Я съ нимъ

прочиталъ вмѣстѣ вашего *Лебедя*, и онъ въ восторгѣ отъ него".

Подъ 6 января 1852 года, А. В. Никитенко записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Былъ вечеромъ, вмѣстѣ съ графомъ Д. А. Толстымъ, у прелестной женщины, Вѣры Ивановны Опочининой, рожденной Скобелевой. Въ теченіе вечера было прочитано произведеніе Майкова *Выборъ смерти*. Чтеніе сопровождалось оживленными преніями и нерѣдко мѣткими замѣчаніями слушательницъ" [253]).

Въ 1851 году, у Погодина завязались литературныя сношенія съ Яковомъ Петровичемъ Полонскимъ. Уроженецъ Рязани, питомецъ тамошней Гимназіи, а потомъ Московскаго Университета, изъ котораго онъ вышелъ въ 1844 году. Развитіемъ своего поэтическаго таланта Полонскій, по свидѣтельству Евгенія Бѣлозерскаго, главнымъ образомъ обязанъ знакомству съ П. Я. Чаадаевымъ, М. Ѳ. Орловымъ и другими крупными представителями тогдашняго Московскаго общества. „Въ то далекое время, передовые представители общества относились къ молодымъ начинающимъ силамъ замѣчательно чутко и сердечно и съ почти отеческой заботливостью поддерживали молодыхъ писателей, поэтовъ и художниковъ до тѣхъ поръ, пока они прочно не устроивались" [254]).

Когда же, 10 апрѣля 1887 года, Полонскій достигъ пятидесятилѣтія своего авторства, то самъ М. Н. Катковъ сдѣлалъ Я. П. Полонскому такую оцѣнку: „Горячо привѣтствую Якова Петровича въ день его юбилея; да будетъ этотъ день не завершеніемъ прекраснаго прошлаго, а началомъ новыхъ высшихъ откровеній для испытаннаго жизнію и окрѣпшаго духомъ таланта.

Для созерцающихъ очей
И для внимающаго слуха
Доступенъ тайный образъ духа
И внятенъ смыслъ его рѣчей —
Глаголъ, въ пустыни вопіющій,
Неумолкаемо зовущій! [255]).

Лѣтомъ 1851 года, Полонскій посѣтилъ Москву. 25 іюля того же года, его университетскій товарищъ А. А. Григорьевъ

писалъ Погодину: „Пріѣзжалъ въ Москву Я. П. Полонскій и читалъ намъ съ Островскимъ драму *Дареджана*. Хотя она и запродана уже имъ почти въ *Библіотеку для Чтенія*, но, какъ мой старый другъ, онъ готовъ продать ее намъ. Вещь не безъ достоинства". Возвратившись въ Петербургъ и въ тщетномъ ожиданіи отвѣта отъ своего *стараго друга*, Полонскій, 26 декабря 1851 года, рѣшился письменно обратиться къ самому Погодину: „Честь имѣю поздравить васъ съ наступающимъ новымъ годомъ. При желаніи вамъ всѣхъ благъ, сознаюсь, не могу не пожелать того же и журналу, издаваемому подъ вашей редакціей. — Дай Богъ вашему *Москвитянину* богатѣть хорошими статьями, а вамъ богатѣть средствами къ его изданію то-есть, *несомнѣннымъ* вниманіемъ публики, иначе сказать — подписчиками. Посылаю вамъ одно изъ моихъ стихотвореній *Примадоннѣ*, — стихи, навѣянные оперой. Напечатайте ихъ — если только, по вашему мнѣнію, они будутъ стоить этого. Вашимъ сотрудникамъ—Григорьеву и Островскому, переслалъ я драму мою— *Дареджана Имеретинская* и имъ сообщилъ я мои условія, въ случаѣ, если драма моя будетъ напечатана въ *Москвитянинѣ*.—Но не получаю отъ нихъ ровно никакого отвѣта.— Мое желанье печатать первый драматическій опытъ мой давно-давно простыло. Простыло потому, что первой побудительной причиной послать ее къ вамъ въ Редакцію—было просто страшное безденежье, а вовсе не гордая увѣренность въ достоинствахъ моего Закавказскаго произведенія. — Отрицательный отвѣтъ нисколько бы не огорчилъ меня, — но я, въ продолженіи двухъ или даже трехъ мѣсяцевъ, ждалъ отвѣтной строчки отъ моего стараго товарища—и не дождался. Всепокорнѣйше прошу васъ, Михаилъ Петровичъ, будьте такъ добры, скажите Апполону Александровичу Григорьеву, что я прошу его извинить меня—и за мои къ нему письма— и даже за желаніе получить отъ него отвѣтъ на нихъ. Простите меня за такую просьбу... И если только вы забыли меня— вспомните вполнѣ вамъ преданнаго и готоваго къ услугамъ" [256]).

Еще во время студенчества своего, Полонскій былъ извѣстенъ Погодину, когда тотъ жилъ въ домѣ М. Ѳ. Орлова и воспитывалъ его сына. *Дареджана* же его была напечатана въ *Москвитянинѣ*.

LX.

Къ 1851 году, относится сближеніе Погодина съ Иваномъ Сергѣевичемъ Тургеневымъ.

Сближеніе этихъ противуположныхъ величинъ было кратковременно; описанію его мы предпошлемъ біографическія данныя объ И. С. Тургеневѣ.

Сынъ богатыхъ помѣщиковъ, но врагъ крѣпостного права, Тургеневъ, по окончаніи курса по Филологическому Факультету Петербургскаго Университета, въ 1837 году, весною 1838 года отправился доучиваться въ Берлинъ. „Стремленіе молодыхъ людей за границу", — писалъ онъ, — „напоминало исканіе Славянами начальниковъ у заморскихъ Варяговъ. Каждый изъ насъ точно также чувствовалъ, что его *земля*, — я говорю не объ Отечествѣ вообще, а о нравственномъ и умственномъ достояніи каждаго, *велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ*. Могу сказать о себѣ, что лично я весьма ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственнаго перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣплявшихъ меня къ тому быту, среди котораго я выросъ... но дѣлать было нечего. Тотъ бытъ, та среда и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ, полоса *помѣщичья, крѣпостная*, — не представляли ничего такого, что̀ могло бы удержать меня. Напротивъ, почти все, что̀ я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія — отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было, либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дорогѣ, либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя *всѣ и вся*, даже рискуя потерять многое, что было дорого и

близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ.... Я бросился внизъ головою въ *Нѣмецкое море*, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ,—я все-таки очутился западникомъ, и остался имъ навсегда" [257]).

Тѣмъ не менѣе, пребывая, въ концѣ 1851 года, въ Москвѣ, Тургеневъ, 5 декабря, обратился къ Погодину съ слѣдующею просьбою: „Я давно имѣлъ желаніе осмотрѣть ваше Древлехранилище; можно-ли мнѣ это желаніе исполнить завтра поутру? — Я оттого назначаю завтрешній день, что послѣ завтра уѣзжаю. Если мое посѣщеніе васъ не обезпокоитъ, я очень буду вамъ благодаренъ за позволеніе. Надѣюсь, что вы не откажете старинному знакомому" [258]). Погодинъ конечно исполнилъ желаніе Тургенева, и въ тотъ же день записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Тургеневу показывалъ музей, а объ участіи (т.-е., въ *Москвитянинѣ*) не промолвилъ".

Въ годъ сближенія Погодина съ И. С. Тургеневымъ, т.-е., въ 1851 году, послѣдній напечаталъ въ *Кометѣ* свое произведеніе *Разговоръ на большой дорогѣ*. Это дало поводъ Погодину печатно выразить свое мнѣніе объ этомъ писателѣ: „Скажу два слова о г. Тургеневѣ. Первые его опыты въ стихахъ и прозѣ были ниже всякой посредственности; восторженныя похвалы рецензентовъ изъ своихъ видовъ, ему только что вредили въ глазахъ истинныхъ друзей Словесности. Но въ *Запискахъ Охотника* обнаружилось въ первый разъ дарованіе, которое нельзя было не признать съ удовольствіемъ. Мы были рады и плодовитой его дѣятельности.... *Провинціалка* его сносна при Шумскомъ и Самойловой. Всего болѣе мѣшаетъ ему, кажется, языкъ, употребляемый какъ будто съ голоса. Можетъ быть, долговременное пребываніе за границею тому причиной. Пожелаемъ, чтобъ онъ жилъ больше въ народѣ, и слушалъ чаще его рѣчь,— тогда вѣрно мы будемъ имѣть мастеромъ больше. *Разговоръ на большой дорогѣ* произвелъ въ публикѣ, кажется, мало дѣйствія"...; но Погодину онъ понравился. Въ то же время

въ *Москвитянинѣ* Погодинъ напечаталъ слѣдующее: „Въ *литературныхъ кружкахъ Московскихъ*, которыхъ у насъ чуть не сорокъ, толкуютъ о произведеніяхъ Петербургскихъ литераторовъ, и, между прочими, о *Сотрудникахъ* графа Соллогуба и *Провинціалкѣ* И. С. Тургенева. Строгіе судьи вопіютъ ужасно противъ обоихъ, особенно противъ перваго: видятъ униженіе искусства, запоздалость, безсвязность, натянутость, подражательность Французскимъ фарсамъ, выдуманность, профанацію идей и проч. и проч. Положимъ, что все или почти все правда, но вѣдь авторы вѣроятно и сами не придаютъ много цѣны своимъ шуткамъ. Вы смѣетесь въ Французскихъ водевиляхъ, которые бываютъ еще безсвязнѣе и несбыточнѣе, — такъ не взыскивайте много и съ нашихъ пьесокъ, если онѣ васъ разсмѣшатъ, а онѣ разсмѣшатъ навѣрное, бывъ сыграны хорошо и представляя много случаевъ актерамъ показать свое искусство. Все-таки, здѣсь есть что-нибудь Русское, все-таки напоминаетъ здѣсь что нибудь о нашихъ явленіяхъ, все-таки онѣ написаны хорошимъ языкомъ и заключаютъ нѣсколько забавныхъ остротъ. По нашему, гораздо лучше, чтобъ такія оригинальныя пьесы замѣнили намъ переводы дюжинныхъ водевилей“ [259]).

Между тѣмъ, Писемскій писалъ Погодину: „Постарайтесь завербовать Тургенева. Это будетъ очень полезно для журнала“. Одновременно и И. Е. Забѣлинъ писалъ Погодину же: „Что касается г. Тургенева, то уважая его талантъ и желая всякаго добра и пользы *Москвитянину*, я не могу не посовѣтовать на-счетъ вашего предложенія ему объ участіи, но, къ сожалѣнію, и самъ не знаю его адреса. Впрочемъ, онъ хотѣлъ быть здѣсь въ генварѣ“. Не долго думая, Погодинъ обратился къ Тургеневу съ предложеніемъ участвовать въ *Москвитянинѣ*. На это предложеніе Тургеневъ отвѣчалъ изъ Петербурга уклончиво: „Я получилъ ваше письмо, милостивый государь Михаилъ Петровичъ, и спѣшу отвѣчать вамъ. Предложеніе ваше сдѣлано мнѣ въ такихъ дружелюбныхъ выраженіяхъ, что я не могу не бла-

годарить васъ за него. Я очень былъ бы радъ участвовать въ *Москвитянинѣ*, хотя (слѣдуя той благородной откровенности, примѣръ которой вы мнѣ подаете и которая, по вашимъ же словамъ, должна существовать въ особенности между пишущими людьми), я во многомъ расхожусь со мнѣніями вашего журнала. Но теперь у меня рѣшительно нѣтъ ничего написаннаго — и даже, признаться вамъ, большой охоты къ писанію въ себѣ я не чувствую. Мнѣ какъ-то хочется не отдыхать (отдыхать-то не отъ чего), а помолчать, послушать, поглядѣть, поучиться. Настанетъ ли за этой эпохой страдательнаго восприниманія новоя эпоха дѣятельности или я окончательно успокоюсь, признавъ, что истощилъ небольшой запасъ того, что мнѣ слѣдовало сказать и сдѣлать — не знаю. Но во всякомъ случаѣ, теперь я на время выступаю изъ ряда дѣятелей. Могу васъ увѣрить, что я говорю вамъ чистую истину; разсказы, объявленные въ *Современникѣ*, весьма ничтожны, написаны кое-какъ и всего ихъ два... Мнѣ во всякомъ случаѣ пріятно, что между нами началась переписка; надѣюсь, что она не прекратится".

Съ Д. В. Григоровичемъ Погодинъ продолжалъ поддерживать дружескія литературныя сношенія. Въ *Москвитянинѣ* 1851 года даже появилась его повѣсть. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Погодинъ задумалъ издать полное собраніе его сочиненій, о чемъ свидѣтельствуетъ нижеслѣдующее письмо Григоровича къ Погодину (отъ 5 февраля 1851 года): „Согласно условію заключенному нами, повѣсть моя *Неудачи*, напечатанная въ *Отечественныхъ Запискахъ*, въ сентябрѣ 1850 года, должна войти въ составъ полнаго собранія моихъ сочиненій. Она, какъ вамъ извѣстно, пострадала нѣсколько отъ цензуры. Мнѣ не хотѣлось оставить ее въ настоящемъ видѣ, тѣмъ болѣе, что, имѣя подъ рукою корректуру, — ровно ничего не стоило подвергнуть ее выправкамъ и передѣлкамъ, такимъ, разумѣется, которыя, способствуя къ выгодѣ повѣсти, подходили бы во всемъ подъ требованія цензуры. Сколько могу судить, повѣсть должна пройти безпрепятственно, ибо теперь въ ней

нѣтъ ровно ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь оскорбило нравственность или вкусъ. Все сглажено, вылощено и прилажено наилучшимъ образомъ. Изъ родного дяди сдѣлалъ крестнаго отца и выкинулъ одну рѣзкую сцену въ послѣдней главѣ. Отецъ герой не является на сцену, словомъ все, что прежде было рѣзко,—теперь почти уничтожено. Впрочемъ, я и самъ не знаю какъ промахнулся; до сихъ поръ, что я ни печаталъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, въ *Современникѣ*, проходило, слава Богу, безъ малѣйшихъ затрудненій и поправокъ. Посылаю вамъ исправленную рукопись и прошу васъ, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, включить ее въ первый томъ и, если можно, приступить къ печатанію, чѣмъ премного обяжете преданнаго. Вмѣсто *Неудачь*, я назвалъ повѣсть *Неудавшейся жизнію*, надѣюсь, что въ этомъ, по крайней мѣрѣ, не найдутъ дурного или подозрительнаго".

Но это предпріятіе Погодина, кажется, не состоялось.

LXI.

Критика ученыхъ сочиненій въ *Москвитянинѣ* была обезпечена участіемъ въ этомъ журналѣ спеціалистовъ, изъ нихъ самое дѣятельное участіе продолжалъ принимать М. М. Стасюлевичъ. Въ 1851 году, онъ былъ возведенъ на степень доктора Всеобщей Исторіи, за свою диссертацію *Ликургъ Аѳинскій*. 15 апрѣля 1851 г., онъ писалъ Погодину: „Считаю пріятнымъ долгомъ представить вамъ экземпляръ своего разсужденія на степень доктора: *Ликургъ Аѳинскій*". Въ другомъ письмѣ Стасюлевича читаемъ: „До 1-го апрѣля, я не могъ и подумать заниматься чѣмъ нибудь постороннимъ: печатаніе диссертаціи, т.-е., корректура, приготовленіе къ диспуту, разсылка экземпляровъ и служба отнимали у меня все время. Между тѣмъ, я захворалъ; больнымъ явился на диспутъ, и съ 2-го апрѣля почти до сихъ поръ лежалъ. Сначала мнѣ было запрещено заниматься, но вотъ уже двѣ недѣли, какъ я опять принялся за работу". Не получая отъ

Погодина отвѣта, Стасюлевичъ писалъ ему: „Вѣроятно, вы получили уже мое разсужденіе *Ликургъ Аѳинскій*. Я отправилъ также экземпляры гг. Леонтьеву, Бабету и др. Мнѣ очень было бы пріятно, еслибъ кто нибудь изъ нихъ обратилъ вниманіе на мой трудъ. Замѣчанія г. Леонтьева на мою прежнюю диссертацію были немного рѣзки, но этому, кажется, причиной были обстоятельства постороннія. Впрочемъ, я намѣренъ оставаться вѣрнымъ принятому разъ правилу: говорить правду и не отвѣчать на выходки".

Почтенный трудъ Стасюлевича замалчивали. Почитатели Грановскаго не могли простить Стасюлевичу его рецензіи на *Аббата Сугерія*. „Я до сихъ поръ",—писалъ онъ Погодину,—„напрасно ожидаю увидѣть въ журналахъ отзывъ о своемъ *Ликургѣ;* рѣшительно всѣ молчатъ,—даже нѣтъ обыкновенныхъ, оффиціальныхъ отзывовъ. Впрочемъ, не всякій рѣшится на такое самопожертвованіе порыться со мною въ Греческихъ фрагментахъ и надписяхъ съ тою только цѣлью, чтобъ провѣрить мои изслѣдованія". Въ томъ же письмѣ читаемъ: „Теперь я занимаюсь уже окончательной обработкой новаго сочиненія и приготовленіемъ его къ печати. Предметъ его—*Защита Кимонова мира*. Вопросъ чрезвычайно важный и большого интереса! Одно жаль подумать, что у насъ такія работы встрѣчаются насмѣшками, какъ микроскопическія изслѣдованія, намекъ *Библіотеки для Чтенія* по поводу родословной Ликурга Аѳинскаго".

Условія, при которыхъ Стасюлевичъ трудился для *Москвитянина*, были самыя льготныя для Погодина. На предложеніе Погодина гонорара, Стасюлевичъ отвѣчалъ: „Экземпляръ вашего журнала будетъ для меня служить и гонораромъ, потому что въ денежномъ вознагражденіи я не нуждаюсь". О томъ же предметѣ мы читаемъ и въ другомъ письмѣ Стасюлевича: „Что же касается до гонорара, то я весьма благодаренъ вамъ за предложеніе, но я уже разъ отъ него отказался. Позвольте мнѣ быть волонтеромъ; если со временемъ мои обстоятельства перемѣнятся, то я безъ церемоніи

прямо вамъ напишу и буду просить гонорара, но пока я хочу ограничиваться своими маленькими доходами отъ службы".

Въ 1832 году, М. С. Кутурга, еще будучи въ Дерптѣ, напечаталъ свою магистерскую диссертацію *De antiquissimis tribubus Atticis earumque cum regni partibus nexu* (О древнѣйшихъ колѣнахъ Аттическихъ и объ ихъ связи съ областнымъ дѣленіемъ Аттики). Желая помянуть въ *Москвитянинѣ* 1851 года это сочиненіе своего наставника, М. М. Стасюлевичъ писалъ Погодину: „Пользуясь вашимъ лестнымъ приглашеніемъ писать въ вашемъ журналѣ критическія статьи по отдѣлу Всеобщей Исторіи, я обращаюсь опять къ вамъ съ просьбою помѣстить въ *Москвитянинѣ* мою статью объ одномъ изъ сочиненій М. С. Куторги. Я изложилъ причины въ самой статьѣ, которыя меня побудили говорить о сочиненіи, вышедшемъ еще въ 1832 г. Въ свое время наши критики не обратили на него вниманія, а теперь новѣйшія открытія подтвердили изысканія Куторги и придали имъ большое значеніе въ наукѣ. Указать это значеніе и при этомъ случаѣ вообще объяснить значеніе ученыхъ трудовъ Куторги, составляетъ задачу моей рецензіи. Не имѣя самъ авторитета, я избѣгалъ въ своей рецензіи голословныхъ отзывовъ, заботясь объ одномъ фактическомъ объясненіи сочиненія Куторги и предоставляя приговоръ самимъ читателямъ. Мнѣ кажется, для молодого рецензента, какъ я, это самый лучшій методъ. Я держался того же правила и при рецензіи на Грановскаго и изложилъ только фактически содержаніе его разсужденія. Не я виноватъ, если подобный разборъ оказался невыгоднымъ для автора. Между тѣмъ, меня поняли совершенно иначе, и, по признанію Леонтьева, условились составить умозаключеніе, котораго первыя посылки высказалъ Леонтьевъ, а слѣдствія вывелъ Бабстъ. Я не хотѣлъ писать отвѣта на отвѣтъ, потому что внимательный читатель найдетъ его самъ въ моемъ первомъ *Отвѣтѣ*. Но вамъ я чрезвычайно благодаренъ за то, что вы мнѣ дали возможность защищать себя; самъ Леонтьевъ полагаетъ, что могли найтись

люди, которые, по его выраженію, сидятъ въ моемъ лабиринтѣ“ [260]).

Погодинъ весьма охотно исполнилъ желаніе Стасюлевича и въ ближайшей книжкѣ *Москвитянина* напечаталъ его статью о Куторгѣ, въ которой, между прочимъ, читаемъ: „Восемнадцать лѣтъ тому назадъ, въ Дерптѣ вышло сочиненіе, теперь уже извѣстнаго ученаго историка М. С. Куторги. Спустя шесть лѣтъ, явилось въ печати другое его сочиненіе, которое служило продолженіемъ перваго и вмѣстѣ съ тѣмъ блестящимъ приложеніемъ его спеціальныхъ изысканій къ объясненію хода политическихъ событій въ Исторіи Греціи до VI столѣтія до Р. Х. Мы разумѣемъ *Колѣна и сословія Аттическія*. Наконецъ, въ недавнее время вышло и послѣднее его произведеніе: *Исторія Аѳинской республики отъ убіенія Иппарха до смерти Мильтіада*. Нельзя не удивляться той строгой логической послѣдовательности, съ которою постепенно развивались ученыя занятія нашего профессора“. На эти строки Погодинъ, съ своей стороны, замѣтилъ: „Мы отдаемъ полную справедливость этой послѣдовательности, но искренно сожалѣемъ о продолжительности промежутковъ: въ двадцать почти лѣтъ, четыре диссертаціи; больше, гораздо больше, чаще, гораздо чаще мы желали бы получать отъ даровитаго профессора плоды его трудовъ. Чѣмъ больше кому дано даровъ, тѣмъ больше и отвѣтственности предъ наукою и соотечественниками“.

Кромѣ сочиненій Куторги, Стасюлевичъ разобралъ въ *Москвитянинѣ* и магистерскую диссертацію И. К. Бабста: *Государственные мужи Древней Греціи* [261]). „Какъ будто угадывая“,—писалъ онъ Погодину, — „ваше желанье, сталъ писать рецензію на разсужденіе Бабста. Въ скоромъ времени вы получите мою работу. Впрочемъ, признаться сказать, я не торопился, на основаніи вашихъ же словъ. Вы объявили въ журналѣ, что ожидаете рецензію на *Государственные люди* и проч., и *не одну*. Я и полагалъ, что въ такомъ случаѣ моя медленность не можетъ служить помѣхой. Теперь

у насъ служба кончилась, я могу отдохнуть и заняться болѣе легкими работами, и именно напишу еще нѣсколько критическихъ статей для вашего журнала. Но если вы получите или уже получили хорошія статьи, — то, пожалуйста, печатайте, потому что если въ то же время и я напишу о томъ же предметѣ, то нисколько не буду въ убыткѣ: я читаю каждую серьезную книгу такъ, какъ будто я пишу на нее рецензію".

Рецензіи Стасюлевича своимъ тономъ нравились Погодину. „Это ихъ лучшая рекомендація",—писалъ рецензентъ послѣднему, — „надѣюсь, что скоро и другіе убѣдятся въ моей благонамѣренности".

Кромѣ рецензій, Стасюлевичъ печаталъ въ *Москвитянинѣ* и свои изслѣдованія въ области Классической Древности. „У меня есть", — писалъ онъ Погодину, — „одно сочиненіе почти готовое: объ историческомъ значеніи Аристофановой комедіи *Облака*. Задача этого сочиненія состоитъ въ рѣшеніи вопроса: откуда произошло различіе между общественнымъ мнѣніемъ о Сократѣ, какъ о человѣкѣ, достойномъ уваженія, и между Сократомъ, по представленію Аристофана, который отзывается о немъ, какъ о человѣкѣ презрѣнномъ. Если вамъ будетъ угодно, то я пришлю вамъ со временемъ и это сочиненіе, потому что къ другимъ журналамъ я не хочу болѣе обращаться" [262]). Это любопытное изслѣдованіе Погодинъ весьма охотно напечаталъ въ *Москвитянинѣ*" [263]).

Въ числѣ сотрудниковъ *Москвитянина*, иногда мы видимъ и Ѳ. И. Буслаева. Въ бытность свою въ Прагѣ, въ 1839 году, Погодинъ встрѣтился тамъ и сблизился съ богатымъ Малороссійскимъ помѣщикомъ и товарищемъ Гоголя по Нѣжинскому Лицею, Платономъ Яковлевичемъ Лукашевичемъ, который, въ 1846 году, напечаталъ сочиненіе, подъ слѣдующимъ мудренымъ заглавіемъ: *Чаромутіе или священный огонь магов, волхвовъ и жрецовъ*. Въ 1851 году, Погодинъ обратился къ Буслаеву съ просьбою, разобрать это сочиненіе. На эту просьбу воспослѣдовалъ отвѣтъ, весьма нелестный для автора. „Только вчера вечеромъ",—писалъ Буслаевъ Погодину,— „по-

лучилъ я обѣ ваши записки вмѣстѣ — одна отъ 17 января, а другая отъ 11-го февраля *), и при книгѣ Лукашевича. Отъ чего произошла такая неисправность въ доставкѣ, не знаю. О Миклошичѣ статью для *Москвитянина* готовлю, и давно бы она была бы уже у васъ, еслибы я не прохворалъ всѣ святки, и ничего, разумѣется, писать не могъ. А потомъ начались лекціи, и я, послѣ болѣзни, опасался обременять себя двойною работою. Что же касается до Лукашевича, то рѣшительно отказываюсь. Его книги сумасшедшія: другого приличнѣйшаго эпитета не придумаю. Смѣяться надъ ними не хочу, потому что надъ сумасшествіемъ смѣяться, и неприлично, и оскорбительно въ нравственномъ отношеніи. Говорить ученымъ образомъ — нѣтъ никакой возможности. Всего лучше посовѣтовалъ бы вамъ все это *чаромутіе* пройти молчаніемъ. Пусть кричитъ о немъ, кому это покажется забавнымъ" [264]).

Въ 1850-мъ году, въ Москвѣ вышла замѣчательная книга, принадлежащая перу извѣстнаго Московскаго протоіерея Григорія Петровича Смирнова-Платонова: *О Преждеосвященной Литургіи*. Сочиненіе это обратило на себя вниманіе преосвященнаго Филарета, епископа Харьковскаго, и онъ, 9 января 1851 года, писалъ А. В. Горскому: „Сочиненіе *О Преждеосвященной Литургіи*—чрезвычайно дѣльное. Оно и въ здѣшнемъ Университетѣ весьма понравилось и даже изумило свѣдѣніями столько рѣдкими" [265]). Рецензія объ этомъ сочиненіи въ *Москвитянинѣ* написана нынѣшнимъ протоіереемъ Московскаго Казанскаго собора Дмитріемъ Ивановичемъ Кастальскимъ [266]), который 1 марта 1851 года писалъ Погодину: „По обстоятельствамъ, я долго ничего не могъ писать для вашего журнала. Теперь собрался написать кое-что объ одномъ замѣчательномъ сочиненіи—*О Литургіи Преждеосвященной*. Если найдете возможнымъ, то помѣстите эту рецензію въ вашемъ журналѣ, пожалуй, хоть безъ всякаго вознагражденія

*) Отвѣтъ Буслаева, отъ 13 февраля 1851 года.

потому что она и не стоитъ большаго вознагражденія. Если вамъ будетъ угодно, то я не откажусь писать по временамъ и еще для вашего журнала".

По части Сельскаго Хозяйства, въ *Москвитянинѣ* подвизался Пензенскій помѣщикъ Иванъ Васильевичъ Сабуровъ. Изъ своего Дертева, 26 марта 1851 года, онъ писалъ Погодину: „Душевно сожалѣю, что скорый мой отъѣздъ изъ Москвы лишилъ меня чести и удовольствія быть у васъ и лично представить вамъ, во-первыхъ, мое уваженіе; во-вторыхъ, желаніе сблизиться съ вами, какъ опытнымъ литераторомъ, отъ котораго я ожидаю участія, наставленія и содѣйствія. Пеняя на себя за мою неповоротливость, вмѣстѣ съ тѣмъ, тѣшу себя мыслію, что могу поправить эту ошибку письменно,—къ чему и приступилъ, какъ изволите видѣть, немедленно по пріѣздѣ въ свою нору, гдѣ имѣю обыкновеніе, ежегодно, жить весну, лѣто и осень. Если вамъ угодно будетъ писать ко мнѣ, прошу адресовать письма въ Пензу, на мое имя. Весьма желаю споспѣшествовать вашему полезному и замѣчательному журналу; и для этого готовъ вамъ высылать статейки моего покроя, но прежде посмотримъ, какъ публика приметъ тѣ, что я у васъ оставилъ. Публика была до сихъ поръ ко мнѣ благосклонна; чего однакоже нельзя сказать о цензурѣ, немилосердно ко мнѣ взыскательной" [267]).

LXII.

Однимъ изъ почтенныхъ и постоянныхъ стремленій Погодина было чрезъ *Москвитянинъ* знакомить Русскихъ съ Россіею, и это ему вполнѣ удалось, такъ что сами *Московскія Вѣдомости* отдавали ему въ этомъ отношеніи справедливость. „Намъ кажется",—писано тамъ,—„особенно счастливою мысль издателя представлять внутреннія извѣстія по городамъ, такъ что читатель имѣетъ такимъ образомъ предъ собою довольно полный обзоръ замѣчательнѣйшихъ современныхъ событій въ Россіи" [268]). Самъ же Погодинъ въ первой

книжкѣ *Москвитянина* 1851 года заявилъ: „Увеличеніе объема журнала даетъ намъ возможность значительно расширить отдѣлъ *Внутреннихъ Извѣстій*. Теперь читатели *Москвитянина* будутъ, чрезъ каждыя двѣ недѣли, имѣть предъ собою возможно полный обзоръ всѣхъ замѣчательныхъ современныхъ событій въ Россіи, особенно относящихся къ наукамъ, искусствамъ, нравамъ и вообще гражданственности. Матеріалы для этого обзора мы будемъ извлекать изъ разныхъ оффиціальныхъ газетъ и журналовъ, и изъ свѣдѣній, сообщаемыхъ нашими корреспондентами, число которыхъ безпрестанно увеличивается. Какъ ни богаты эти источники, но мы считаемъ не лишнимъ обратиться съ просьбою къ нашимъ читателямъ, ко всѣмъ образованнымъ людямъ, о сообщеніи свѣдѣній для *Внутреннихъ Извѣстій*. Не нужно, кажется, говорить, что въ каждомъ, по-видимому, самомъ незначительномъ городѣ, во всякомъ краю Россіи, найдется многое достойное быть описаннымъ, переданнымъ въ общее свѣдѣніе, и между тѣмъ мало извѣстное или неизвѣстное вовсе. Отечественная Исторія, Географія и Статистика ожидаютъ еще многихъ матеріаловъ. Вседневная наша жизнь, окружающіе насъ люди, неужели не представляютъ ничего замѣчательнаго, кромѣ, напримѣръ, баловъ и разныхъ увеселеній, кромѣ машинальнаго времяпрепровожденія, или такъ называемыхъ криминальныхъ происшествій? Мало ли совершается вездѣ подвиговъ добра, мало ли проявленій Русскаго духа, о которыхъ мы слышимъ часто, но читаемъ очень рѣдко... Что же удерживаетъ многихъ отъ обнародованія подобныхъ событій? Да то, что, къ сожалѣнію, обще большей части изъ насъ, что составляетъ какъ бы одно изъ прирожденныхъ свойствъ нашего народнаго характера—именно безпечность или равнодушіе — причина, какъ видите, нисколько не уважительная. Другіе останавливаются при мысли, какъ они будутъ писать о предметѣ, требующемъ, по ихъ мнѣнію, умѣнья сочинять. Напишите то самое, что говорите и довольно. Сочинять тутъ ничего не нужно, украшеній не требуется ни-

какихъ: была бы одна истина. Еще разъ повторяемъ усердную нашу просьбу, и заранѣе усердно благодаримъ тѣхъ, кому угодно будетъ принять ее къ свѣдѣнію и исполненію [269])".

И вотъ, 6 марта 1851 года, А. Ѳ. Писемскій, изъ Костромы, пишетъ Погодину: „14 марта приготовляется огромное событіе въ Костромѣ: открытіе памятника царю Михаилу Ѳедоровичу и поселянину Сусанину, приготовляется большая церемонія. Я вамъ опишу ее". Но обѣщанія Писемскій не исполнилъ, а препровождая Погодину газетную статью (27 марта 1851 г.), писалъ ему: „Посылаю вамъ нашу газетную статью объ открытіи въ Костромѣ памятника; самому мнѣ писать некогда, охотниковъ нашлось и безъ меня много, да и, пожалуй, будутъ изъ одного куста разныя вѣтви; но главная моя просьба состоитъ въ томъ, чтобы вы напечатали эту статью и поскорѣе, т.-е., въ первой выходящей книгѣ; на стряпанье не взыщите, какое есть. О напечатаніи въ самоскорѣйшемъ времени въ вашемъ журналѣ меня просилъ мой начальникъ, а вы вѣроятно сами знаете, что значитъ угодить и не угодить начальнику. Статью эту намѣрены послать и въ прочіе журналы, но въ вашемъ она, по моему разсчету, должна выдти раньше прочихъ". На просьбу Погодина вербовать корреспондентовъ въ Костромѣ, Писемскій отвѣчалъ: „На счетъ корреспонденцій изъ Костромы, въ отношеніи себя извиняюсь, потому что едва управляюсь и съ моимъ дѣломъ, а прочіе — они не могутъ, да и не желаютъ этого дѣлать; во тьмѣ бо ходятъ"!...

Въ Казани у Погодина былъ надежный корреспондентъ, это А. И. Артемьевъ; но въ это время его смѣнилъ профессоръ тамошняго Университета И. Н. Березинъ. „А. И. Артемьевъ",—писалъ онъ (9 декабря 1851 г.) Погодину,—„вѣроятно скоро явится къ вамъ: онъ отправляется въ Петербургъ, въ редакторы *Полицейскихъ Вѣдомостей*. По этому случаю, я имѣю честь вамъ предложить въ журнальные корреспонденты себя, на самыхъ пріятныхъ условіяхъ: вы мнѣ

будете высылать *Москвитянин* и кромѣ того пришлете всѣ свои историческіе сочиненія и изданія, весьма для меня необходимыя".

Ив. Ив. Березинъ не медлилъ, и вскорѣ послѣ предложенія посылаетъ Погодину Казанскую хронику и при этомъ пишетъ: „Прошу печатать ее безъ измѣненія и безъ примѣчаній Редакціи: это одинъ изъ недостатковъ нашего журнала, который не можетъ нравиться ни читателямъ, ни авторамъ. Вы печатаете статью и въ то же время кидаете въ нее какими (иногда просто изъ-за угла)! отъ этого *Москвитянин* теряетъ совершенно характеръ и даже достоинство: онъ становится музеемъ, а не журналомъ. Безпристрастіе вещь хорошая, но вы ее утрируете въ *Москвитянинѣ*. Шучекъ со мной не дѣлайте: довольно уже и того, что не посылали *Москвитянина* до сихъ поръ. Забыть такого аккуратнаго сотрудника, какъ я, это штука послѣдняя".

Кстати корреспондентомъ *Москвитянина*, былъ извѣстный впослѣдствіи библіографъ Степанъ Ивановичъ Пономаревъ, тогда студентъ Университета св. Владиміра. Въ письмѣ его, отъ 17 августа 1851 года, мы находимъ біографическія о немъ свѣдѣнія. „Вамъ угодно было",—писалъ онъ Погодину,— до того простирать свое лестное вниманіе ко мнѣ, что вы хотите знать, что особенно привлекаетъ на себя мое вниманіе? куда я себя прочу? Откуда я родомъ? Вы говорите, что знать все это—для васъ интересно. Глубоко тронутый, съ сердечной признательностью, отвѣчаю вамъ на ваши дорогіе для меня вопросы! Въ кругу наукъ, слушаемыхъ мною въ Историко-Филологическомъ факультетѣ, всего болѣе занимаетъ меня Словесность; среди проявленій творческой мысли человѣка, всего болѣе привлекаетъ меня Литература; въ широкой области Литературы, всего болѣе посвящаетъ мои досуги Журналистика, составляющая самый любимѣйшій предметъ моихъ добросовѣстныхъ трудовъ и самое пріятнѣйшее изъ всѣхъ удовольствій. Хоть мнѣ остался только одинъ годъ въ Университетѣ, но я все ещё не знаю навѣрно, куда обра-

тить свои пылкія силы. Учительство издавно составляло главный предметъ моихъ стремленій, но домашнія занятія съ дѣтьми, съ третьяго класса Гимназіи, въ теченіе восьми лѣтъ, до того изнурили меня, что я не нахожу въ себѣ прежней расположенности къ званію педагога. Вы уже догадываетесь, что возложить на себя такъ рано тяжелое иго репетиторства заставила меня бѣдность. Я боюсь, позволитъ ли мнѣ мое положеніе среди постороннихъ занятій желанно окончить университетскій курсъ; а средствъ нанять квартиру и знать себя одного—средствъ этихъ у меня нѣтъ. Родомъ я изъ Конотопа, Черниговской губерніи, сынъ тамошняго мѣщанина; теперь имѣю только старушку мать, слабую, хромую, добывающую мнѣ средства для воспитанія въ торговлѣ солью, рыбою, дегтемъ и прочими неизмѣнно модными товарами. При недостаточности состоянія, при опасеніи за блистательный конецъ образованія, я рѣшительно не могу предназначить себѣ извѣстное положеніе. Милосердый Богъ да управитъ путь мой! Мнѣ, впрочемъ, уже теперь предлагаютъ мѣсто бухгалтера въ частномъ домѣ съ платою 300 р. с.; оно бы и хорошо, но... для чего же я учился? Неужели такова должна быть моя судьба? Но, впрочемъ, я готовъ *на все* что пошлетъ мнѣ Провидѣніе! Свойства молодости—довѣрчивость и откровенность,—побуждаютъ меня къ бесѣдѣ искренней и долгой, долгой; но боязнь наскучить вамъ, удерживаетъ мои порывы въ почтительныхъ предѣлахъ. Если позволите — въ другой разъ... я занимаюсь между прочимъ поэзіей"...

Въ Великомъ Новгородѣ, корреспондентомъ Погодина былъ Иванъ Купріяновичъ Купріяновъ. „Если желаете",—писалъ онъ Погодину,—„чтобъ я и на будущее время былъ вашимъ корреспондентомъ, то, въ началѣ 1852 года, я, кромѣ описанія текущихъ новостей, представлю въ вашъ журналъ: 1) обзоръ здѣшнихъ Губернскихъ Вѣдомостей за текущій годъ, 2) мѣстныя повѣрья и преданья; можетъ быть, еще и побываю гдѣ-нибудь изъ здѣшнихъ окрестностей, такъ представлю ихъ

описаніе. Съ вашей легкой руки и Петербургскіе журналы и газеты приглашаютъ отовсюду корреспондентовъ; я получилъ письмо отъ одного моего знакомаго изъ Петербурга, который приглашаетъ меня писать для *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*, извѣщая, что гонорарій положитъ на первый разъ не менѣе двадцати пяти р. сер.; но я думаю остаться вѣрнымъ *Москвитянину*".

Въ Петербургскіе корреспонденты *Москвитянина* напрашивался Григорій Петровичъ Данилевскій, называвшій себя, въ письмѣ къ Погодину, *пріятелемъ* М. М. Стасюлевича, но когда къ послѣднему Погодинъ обратился съ просьбою отыскать для *Москвитянина* корреспондента въ Петербургѣ, то онъ отвѣчалъ: „Извините, я не могу вамъ отыскать ни кого для описанія Петербургскихъ новостей. Развѣ вы не можете перепечатывать извѣстія и собирать ихъ въ одно цѣлое изъ нашихъ двухъ газетъ"...

Между тѣмъ, самъ Данилевскій писалъ Погодину: „Въ нашей литературной жизни, однако, по обыкновенію большой застой. Я обѣщалъ вамъ, черезъ Алмазова, писать письма о здѣшней общественной жизни, театрахъ и литературѣ,—и исполню свое обѣщаніе... Я буду вамъ высылать небольшія статьи подъ именемъ *Петербургскихъ Салоновъ*" [270]).

Но самымъ важнымъ корреспондентомъ *Москвитянина* былъ П. И. Мельниковъ, изъ Нижняго Новгорода. Онъ сообщалъ свѣдѣнія о Китайской кормовой травѣ му-сюй, которую другъ его, извѣстный китаистъ В. П. Васильевъ, прислалъ изъ Пекина Нижегородскому помѣщику А. Я. Коротаеву. Мельникову же принадлежатъ любопытныя записки о Нижегородской губерніи, въ которыхъ, между прочимъ, сообщается, что у Шереметева сохраняется любопытный историческій памятникъ, доставшійся ему по наслѣдію отъ предковъ. Это молитвенникъ, подаренный и подписанный Іоанномъ Грознымъ своей невѣсткѣ, Еленѣ Ивановнѣ, третьей супругѣ царевича Іоанна Іоанновича. Елена Ивановна, изъ рода Шереметевыхъ, въ 1582 году, вышедшая замужъ, вскорѣ овдо-

вѣла, пошла въ монастырь, приняла иночество съ именемъ Леониды, и пережила смутное время самозванцевъ" *). По поводу этого сообщенія, Погодинъ обращается къ владѣльцу „Умоляемъ о снимкѣ. Руки Грознаго мы не знаемъ, да и ни чьей изъ старыхъ царей, кромѣ Бориса Годунова, недавно найденной. Почерки царскіе извѣстны только съ царя Алексѣя Михайловича". Кромѣ того, П. И. Мельниковъ сообщалъ свѣдѣнія о Павловской промышленности. Въ то же время Мельниковъ писалъ (9 марта 1851) Погодину: „Посылаю вамъ всякаго жита по лопатѣ. Вотъ Павловскія свѣдѣнія, мною собранныя на мѣстѣ. Не знаю, есть ли у васъ автографъ покойнаго архіепископа Іакова, если нѣтъ—вотъ вамъ письмо его; при семъ же прилагаю и письмо Артемья Волынскаго. Кстати, о преосвященномъ Іаковѣ. Недавно познакомился я съ его преемникомъ преосвященнымъ Іереміей; кажется, съ этимъ человѣкомъ можно будетъ имѣть дѣло; кажется онъ пойдетъ по стопамъ Іакова для Русской Исторіи". Въ тоже время (30 апрѣля 1851 года), Даль писалъ Погодину: „Мельниковъ замотался по слѣдствіямъ, которыя поручаетъ ему министръ; онъ мало гоститъ въ Нижнемъ. А дѣла дѣлаются здѣсь хорошія; напримѣръ: богатый мужикъ Тимоѳей подозрѣваетъ бѣднаго Василья — изъ сосѣдней деревни — въ воровствѣ; идетъ къ нему *міромъ* съ обыскомъ, ничего не находитъ, но пьяная его ватага избиваетъ всю семью Василья до полусмерти. — Хмѣль прошелъ — какъ быть? — Засѣдатель все поправилъ: Василій обвиненъ въ воровствѣ, безъ малѣйшаго повода и уликъ и отданъ въ солдаты. По слѣдствію Мельникова открывается, что вѣроятно и кражи-то не было, и Василья подозрѣвать нѣтъ повода. Или: четыре вора обокрали церковь; ихъ поймалъ староста съ мужиками на мѣстѣ и отобралъ деньги и вещи всѣ на лицо. За тридцать рублей сер., воры оставлены въ подозрѣніи,

---

*) См. Родъ Шереметевыхъ, Александра Барсукова, Спб., 1881, кн. I, стр. 439 и слѣд.

а староста и 11 крестьянъ поклепщиковъ приговорены въ арестантскую роту за разнорѣчивыя показанія. Или: мужикъ пріѣхалъ изъ Семенова въ Нижній на базаръ съ товаромъ; зазѣвался, лошади ушли съ санями — онъ бѣжитъ слѣдомъ, спрашивая встрѣчныхъ — дальше, дальше, наконецъ добѣгаетъ по Волгѣ до Макарьева, а лошадямъ слѣдъ простылъ. Бѣднякъ идетъ въ Земскій Судъ, заявить пропажу. А гдѣ у тебя паспортъ?—Какой паспортъ, я прибѣжалъ чуть живой съ базару, изъ Нижняго. И его, какъ безъименнаго бродягу, приговариваютъ: заклеймить и отдать въ арестантскую роту. Приговоръ былъ уже утвержденъ, когда я успѣлъ спасти бѣдняка".

Кромѣ названныхъ корреспондентовъ, укажемъ и на другихъ, которые усердно сообщали въ *Москвитянинѣ* извѣстія изъ разныхъ концовъ Русскаго Царства.

Почтенный Иванъ Петровичъ Корниловъ, перейдя, въ 1851 году, на службу въ Москву, прочелъ Погодину нѣсколько любопытнѣйшихъ статей о Сибири, о поселенцахъ, объ инородцахъ, объ ихъ образѣ жизни, о Барабинской степи. При этомъ Погодинъ выразилъ желаніе, чтобъ эти интересные очерки по-скорѣе сообщились публикѣ.

Нѣкто изъ Вятки писалъ Погодину: „Не угодно ли вамъ заглянуть въ Вятку, да не въ самый городъ, а въ одинъ изъ дальнихъ уѣздовъ, именно въ жилища Вотяковъ, у которыхъ, разумѣется, не найдете никакого комфорта, но за то встрѣтите много любопытнаго. „Да зачѣмъ же?"—спрашиваете вы.— Затѣмъ, что намъ попался хорошій вожатый, и мы съ его словъ и съ вашего позволенія, познакомимъ васъ съ Вотяками".

Петръ Пежемскій, въ формѣ письма къ редактору, сообщаетъ свои замѣчанія и наблюденія объ Иркутскѣ.

Въ Красноярскѣ, дѣятельнымъ корреспондентомъ *Москвитянина* былъ князь Костровъ. Онъ знакомитъ насъ: съ малочисленнымъ и малоизвѣстнымъ племенемъ Сибирскихъ инородцевъ Камачинцами, съ Онскими селеніями Енисейской гу-

берніи, съ пѣснію про Ставра боярина, записанною княземъ Костровымъ со словъ одного старика:

Какъ во славномъ было въ городѣ во Кіевѣ,
У ласковаго князя у Владиміра.

Тутъ же приводится предисловіе, которое не поется, а читается: „Благослови-ка, Господи, старину сказать, старину сказать стару прежнюю да стару дивную“.

По поводу мѣста нахожденія этой пѣсни, Погодинъ спрашиваетъ: „Какъ сохранилась эта пѣснь въ Восточной Россіи? Спрашивается, почему такія пѣсни не сохранились въ Малороссіи“. Кромѣ того, князь Костровъ сообщалъ также свѣдѣнія: о ссудномъ капиталѣ для поселянъ Енисейской губерніи, о предѣлѣ земледѣлія въ той же губерніи, о звѣропромышленности въ Туруханскомъ краѣ, о курганахъ въ Енисейской губерніи.

Матвѣй Ястребовъ, изъ Челябинска, знакомитъ насъ съ Киргизскими шаманами; неизвѣстный—съ Волжскими бурлаками; Иванъ Ивановъ, изъ Ставрополя,—съ Чечнею; А. А. Хованскій, изъ Воронежа, съ тамошними арбузами и сообщаетъ Собраніе Русскихъ пословицъ, поговорокъ и прибаутокъ. Изъ Архангельска, Погодинъ получаетъ біографическія свѣдѣнія о контръ-адмиралѣ Павлѣ Ѳедоровичѣ Кузмищевѣ; изъ Сергіевой Лавры, получаетъ свѣдѣнія о князѣ Семенѣ Шаховскомъ, сочинителѣ канона Тремъ Святителямъ Московскимъ.

Въ *Москвитянинѣ* же, Автономовъ печаталъ свои *Путевыя Записки отъ Баку до С.-Петербурга* [271]).

LXIII.

16 февраля 1851 года, Погодинъ писалъ къ М. А. Максимовичу: „*Москвитянинъ* идетъ скверно, не знаю, что и дѣлать, и что за причина. Видишь самъ, что онъ улучшается, всѣ хвалятъ, а толку нѣтъ. До сихъ поръ нѣтъ шестисотъ подписчиковъ, а деньги страшныя выдаются сотрудникамъ.“

Въ другомъ письмѣ, отъ 29 сентября, читаемъ: „Грустно и тяжело писать къ тебѣ это письмо. Обстоятельства мои все хуже и хуже, хоть будущее и свѣтлѣетъ. Журналъ въ нынѣшнемъ году шелъ еще слабѣе: вмѣсто восьмисотъ пятидесяти, не было и семисотъ пятидесяти. Я тянусь, тянусь—и мочи не стаетъ. Разумѣется, это уже послѣдній опытъ“ [272].

Наконецъ, въ *Дневникѣ* своемъ, подъ 4 декабря 1851 года, Погодинъ записываетъ: „Записка изъ Конторы, что подписчиковъ только *семь*, и пріунылъ. Ну, если подписка окажется недостаточною, и я обанкручусь! Просить помощи—не приведи Богъ“!

Къ причинамъ неуспѣха *Москвитянина*, главнѣйше можно причислить: неисправный выходъ книжекъ журнала и крайняя небрежность редактора. Эти качества даже воспѣты М. А. Дмитріевымъ:

Москвитянину привычно-же
Вѣчно къ сроку опоздать! [273])

Въ другомъ стихотвореніи М. А. Дмитріева, читаемъ:

.....Погодинъ
У Уварова въ гостяхъ!
Вотъ ужъ съ мѣсяцъ какъ разстался
И съ Москвой онъ, и со мной!
Москвитянинъ издавался,
Какъ умѣетъ, самъ собой!
Онъ привыкъ ужъ!—Соберется,
Въ типографію бредетъ,
Къ переплетчику плетется,
Послѣ въ лавку поползетъ!
Ждетъ, пождетъ его читатель,
Побранитъ, да и домой!
А почтеннѣйшій издатель,
Впрочемъ добрый мой пріятель,
Какъ ни выдалъ, съ рукъ долой! [274])

Не довольствуясь стихами, Дмитріевъ и въ прозѣ жаловался Погодину: „За *Москвитяниномъ* два раза ѣздилъ, два раза посылалъ и того четыре. Что опоздалъ, я за это не въ претензіи: самъ знаю иногда причины. Но вотъ въ чемъ дѣло: отвѣчали, что выйдетъ въ пятницу; а въ середу вы-

берніи, съ пѣснію про Ставра боярина, записанною княземъ Костровымъ со словъ одного старика:

Какъ во славномъ было въ городѣ во Кіевѣ,
У ласковаго князя у Владиміра.

Тутъ же приводится предисловіе, которое не поется, а читается: „Благослови-ка, Господи, старину сказать, старину сказать стару прежнюю да стару дивную“.

По поводу мѣста нахожденія этой пѣсни, Погодинъ спрашиваетъ: „Какъ сохранилась эта пѣснь въ Восточной Россіи? Спрашивается, почему такія пѣсни не сохранились въ Малороссіи“. Кромѣ того, князь Костровъ сообщалъ также свѣдѣнія: о ссудномъ капиталѣ для поселянъ Енисейской губерніи, о предѣлѣ земледѣлія въ той же губерніи, о звѣропромышленности въ Туруханскомъ краѣ, о курганахъ въ Енисейской губерніи.

Матвѣй Ястребовъ, изъ Челябинска, знакомитъ насъ съ Киргизскими шаманами; неизвѣстный—съ Волжскими бурлаками; Иванъ Ивановъ, изъ Ставрополя,—съ Чечнею; А. А. Хованскій, изъ Воронежа, съ тамошними арбузами и сообщаетъ Собраніе Русскихъ пословицъ, поговорокъ и прибаутокъ. Изъ Архангельска, Погодинъ получаетъ біографическія свѣдѣнія о контръ-адмиралѣ Павлѣ Ѳедоровичѣ Кузмищевѣ; изъ Сергіевой Лавры, получаетъ свѣдѣнія о князѣ Семенѣ Шаховскомъ, сочинителѣ канона Тремъ Святителямъ Московскимъ.

Въ *Москвитянинѣ* же, Автономовъ печаталъ свои *Путевыя Записки отъ Баку до С.-Петербурга* [271]).

LXIII.

16 февраля 1851 года, Погодинъ писалъ къ М. А. Максимовичу: „*Москвитянинъ* идетъ скверно, не знаю, что и дѣлать, и что за причина. Видишь самъ, что онъ улучшается, всѣ хвалятъ, а толку нѣтъ. До сихъ поръ нѣтъ шестисотъ подписчиковъ, а деньги страшныя выдаются сотрудникамъ.“

Въ другомъ письмѣ, отъ 29 сентября, читаемъ: „Грустно и тяжело писать къ тебѣ это письмо. Обстоятельства мои все хуже и хуже, хоть будущее и свѣтлѣетъ. Журналъ въ нынѣшнемъ году шелъ еще слабѣе: вмѣсто восьмисотъ пятидесяти, не было и семисотъ пятидесяти. Я тянусь, тянусь—и мочи не стаетъ. Разумѣется, это уже послѣдній опытъ“ [272].

Наконецъ, въ *Дневникѣ* своемъ, подъ 4 декабря 1851 года, Погодинъ записываетъ: „Записка изъ Конторы, что подписчиковъ только *семь*, и пріунылъ. Ну, если подписка окажется недостаточною, и я обанкручусь! Просить помощи—не приведи Богъ“!

Къ причинамъ неуспѣха *Москвитянина*, главнѣйше можно причислить: неисправный выходъ книжекъ журнала и крайняя небрежность редактора. Эти качества даже воспѣты М. А. Дмитріевымъ:

Москвитянину привычно-же
Вѣчно къ сроку опоздать! [273])

Въ другомъ стихотвореніи М. А. Дмитріева, читаемъ:

.....Погодинъ
У Уварова въ гостяхъ!
Вотъ ужъ съ мѣсяцъ какъ разстался
И съ Москвой онъ, и со мной!
Москвитянинъ издавался,
Какъ умѣетъ, самъ собой!
Онъ привыкъ ужъ!—Соберется,
Въ типографію бредетъ,
Къ переплетчику плетется,
Послѣ въ лавку поползетъ!
Ждетъ, пождетъ его читатель,
Побранитъ, да и домой!
А почтеннѣйшій издатель,
Впрочемъ добрый мой пріятель,
Какъ ни выдалъ, съ рукъ долой! [274])

Не довольствуясь стихами, Дмитріевъ и въ прозѣ жаловался Погодину: „За *Москвитяниномъ* два раза ѣздилъ, два раза посылалъ и того четыре. Что опоздалъ, я за это не въ претензіи: самъ знаю иногда причины. Но вотъ въ чемъ дѣло: отвѣчали, что выйдетъ въ пятницу; а въ середу вы-

дали десять экземпляровъ Свѣшникову. Я поѣхалъ самъ, и сознаюсь, что задалъ нотацію вашему конторщику, потому что всѣ получатели должны быть равны: о чемъ онъ и донесетъ вамъ, а я предварительно увѣдомляю. Знаете ли что они дѣлаютъ? Иногда лежатъ экземпляры, а они не выдаютъ; говорятъ, что это приготовлено только для знатныхъ лицъ, для Закревскаго и проч. Эти примѣры были. Я вамъ не жалуюсь, а пишу для вашего свѣдѣнія, потому что это неловко и вредно журналу". Заживаясь въ Порѣчьѣ, Погодинъ забывалъ о *Москвитянинѣ*, передавши его на попеченіе молодой Редакціи; но А. А. Григорьевъ взывалъ къ нему: „Пріѣзжайте ради Бога скорѣе. Мы здѣсь безъ васъ, какъ овцы безъ пастыря — да и при томъ ни одной овцы не доищешься. Хороши были бы мы *редакторами*".

Другою причиною неуспѣха *Москвитянина* была его Контора, которая получила печальную извѣстность своею классическою грубостью и неисправностью. Она была груба даже и съ ближайшими сотрудниками *Москвитянина*. „Я къ вамъ съ жалобою",—писалъ Погодину (6 іюня 1851 г.) А. А. Григорьевъ,—„не за себя, а за Н. В. Берга, на вашего конторщика. За какихъ жуликовъ считаетъ онъ насъ, что отказываетъ въ *десяти* цѣлковыхъ, нужныхъ для Мартынова—и тутъ же при словахъ о бумагѣ, вынимаетъ *десять* цѣлковыхъ. Согласитесь, что это крайне неприлично въ отношеніи къ намъ, какъ кажется, весьма безкорыстнымъ въ этомъ дѣлѣ. Ради Бога, избавьте насъ отъ отношеній съ подобнымъ субъектомъ — и всѣ *денежныя* дѣла ведите всегда съ нами лично. Бергъ чрезвычайно оскорбился да и былъ правъ. Въ какое положеніе поставилъ бы онъ его въ отношеніи къ Мартынову и какое мнѣніе получилъ бы послѣдній о Редакціи журнала, заставляющей два раза приходить за какими нибудь *десятью* цѣлковыми? Хорошо что пришла бумага въ Типографію и что деньги, взятыя на покупку бумаги, могли быть употреблены на расплату. Извините меня, что я такъ много говорю о дѣлѣ, по-видимому, весьма ничтожномъ: отъ

внѣшности зависитъ на свѣтѣ многое, если не все. Бергъ, напримѣръ, добрѣйшій и безкорыстнѣйшій человѣкъ, имѣлъ право оскорбиться,—оскорбился бы равномѣрно и я, если бы получилъ подобную оплеуху". Въ другомъ письмѣ Григорьева читаемъ: „Зной ли ужасный, вообще ли хандра, которой я страдалъ въ это время, тому причиною — но я былъ въ самомъ зломъ и грустномъ расположеніи духа и въ особенности злился на нашъ журналъ. Теперь для меня ясно, чего именно не достаетъ. Не достаетъ — порядка. Слыхано ли гдѣ-либо, чтобы пропадали неизвѣстно куда матеріалы,— а у насъ пропало нѣсколько главъ *Капперфильда*—пропало безъ слѣдовъ"!

Писемскій просилъ Контору выслать ему въ Кострому *Руководство къ Россійскимъ Законамъ*, Рождественскаго; Контора выслала ему совершенно другое. „Съ прошедшею почтою",—писалъ онъ Погодину,—„я получилъ изъ вашей Конторы семьдесятъ р. с. денегъ и связку книгъ, которыя будто-бы тоже отправлены ко мнѣ по приказанію вашему, но мнѣ этихъ книгъ совершенно нужно не было: мнѣ выслали: Памятную книжку 51 г., Курсъ Словесности Чистякова, Практическое Руководство, Хрестоматію Галахова, Обозрѣніе Законовъ, Рождественскаго, басни Крылова, сочиненія Марлинскаго, всего на двадцать три руб. сер. Но я рѣшительно не нуждаюсь ни въ одной изъ нихъ, начиная съ поэтическихъ сочиненій Марлинскаго до глубокомысленной Хрестоматіи Галахова. Вѣроятно, это ошибка".

Вообще, Контора, отталкивая многихъ отъ *Москвитянина*, чуть не поссорила Погодина съ самимъ А. С. Стурдзою. Вотъ что по-крайней мѣрѣ читаемъ въ его письмѣ: „Не правъ ли я, когда утверждаю, что въ вашей Конторѣ порядокъ, исправность — рѣдкіе гости.... Признаюсь вамъ чистосердечно, Михаилъ Петровичъ, что если я не получу скоро оттисковъ, то откажусь *навсегда* отъ всякихъ отношеній къ вашему журналу. Дурачить добрыхъ людей, и такъ часто, какъ Контора *Москвитянина* изволитъ, право грѣшно. Вы

конечно потеряете не много; за то успокоюсь я, въ правотѣ моей совѣсти!... Послѣдній разъ утруждаю ваше высокородіе моею жалобою: отдѣльные оттиски второй статьи моей, вами обѣщанные, мною не получены, по милости вашего прикащика. Примите мѣры, какія сами заблагоразсудите, къ исполненію даннаго слова, а также къ сохраненію въ цѣлости книгъ, которыя довѣрчиво отправилъ я къ вашему Сидорову, положившись на личное ваше ручательство. То, что теперь случилось между нами не въ первый разъ, конечно, послужитъ мнѣ впредь наукою. Я не позволю отнынѣ морочить себя на старости лѣтъ".

Классическая же неисправность корректуры *Москвитянина*, его знаменитыя опечатки, которыя Погодинъ называлъ *родимыми пятнышками*, весьма раздражали авторовъ. Графиня Ростопчина умоляла Погодина, „не мѣнять произвольно *словъ*, что̀ производитъ страшныя безсмыслицы: это чинятъ не *наборщики*, а *грамотѣи* и *лингвисты*, прикомандированные къ Редакціи, ибо наборщикъ не сдѣлаетъ изъ *виллы* — *волны*, а изъ *гиней*—*гоненій;*—тутъ постарались люди ученые! Напримѣръ, тѣ, кто умѣетъ Московскія театральныя хроники приспособлять къ Флорентійскимъ нравамъ". И. Н. Березинъ дружески совѣтовалъ Погодину присматривать за корректурой. „У васъ",—писалъ онъ,—„всегда много опечатокъ. Даже и другіе журналы стали вамъ подражать въ этомъ. Наружность *Москвитянина* не изящна, шрифты избитые и безобразные: вообще нехудо бы вамъ подражать въ этомъ случаѣ *Современнику*, самому щегольскому Русскому журналу. А то, что̀ у васъ за свинцовая обертка: вѣдь это только годится для чаю! М. М. Стасюлевичу приходилось возстановлять свое имя, искажаемое опечаткою. „Исправьте пожалуйста", — просилъ онъ Погодина,—„въ заглавномъ листѣ журнала букву моего отчества, и при слѣдующихъ моихъ статьяхъ напечатайте вмѣсто *М. И.*, какъ это печаталось до сихъ поръ,—*М. М*". На корректуру жаловался Погодину извѣстный церковный законовѣдъ архимандритъ Іоаннъ, впослѣдствіи епископъ Смо-

ленскій: „Въ одной изъ послѣднихъ книжекъ *Москвитянина* напечатано (на оберткѣ) объявленіе о выходѣ въ свѣтъ моего *Опыта Церковнаго Законовѣдѣнія*. Тутъ же мнѣ приписаны книги, которыхъ авторомъ я не имѣю чести быть, какъ-то: *Пастырское Богословіе* — архимандрита Антонія, и *Сельскія бесѣды*, его же изданія. Бѣда конечно не велика, и я не считаю нужнымъ, чтобы въ слѣдующихъ книжкахъ вашего изданія сдѣлана была какая-либо публичная оговорка. Довольно, если новое объявленіе о тѣхъ же книгахъ будетъ исправнѣе въ именахъ авторовъ. Кстати: можетъ быть, вы не отказались бы дать въ своемъ журналѣ мѣсто какому-либо отзыву о моей книгѣ. Но я теперь покорнѣйше прошу васъ, отложить до времени всякій, хотя бы и самый краткій, отзывъ. Книга моя, хотя и отпечатана, но еще пока остается въ нѣкоторыхъ вышнихъ инстанціяхъ на разсмотрѣніи. До рѣшенія этихъ инстанцій, всякое публично-высказанное мнѣніе о книгѣ (тѣмъ болѣе имѣющей такое, какъ моя, содержаніе), по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, признается неблаговременнымъ. Это *секретъ*, вѣдомый только здѣсь... Да будутъ же и эти строки—секретомъ между нами".

LXIV.

Не довольствуясь обыкновенною подпискою, Погодинъ старался распространять свой журналъ чрезъ людей болѣе или менѣе ему близкихъ. Эту обязанность онъ возлагалъ, и на А. Ѳ. Писемскаго, и на графиню Е. П. Ростопчину, и на И. И. Давыдова. „По желанію вашему", — писалъ ему Писемскій изъ Костромы,—„я тотчасъ же началъ распространеніе вашего журнала и уже продалъ за нынѣшній (1851) годъ, одинъ экземпляръ, за который я уже получилъ деньги и потому покорнѣйше прошу васъ, не подрывая мой кредитъ, по-скорѣе выслать весь вышедшій *Москвитянинъ* въ г. Буй, Костромской губерніи, Михаилу Павловичу *Корсакову*. Деньги же я не высылаю, но привезу самъ въ Москву — или, если

хотите, зачту въ свою гонорарію. Нынѣшній годъ большого распространенія не надѣюсь, потому что прошло болѣе полугода (впрочемъ, по моему настоянію, еще одинъ экземпляръ выписывается); но другое дѣло на будущій годъ, мы вотремъ каждому исправнику, городничимъ и головамъ—это берется сдѣлать вашъ старый знакомый, нашъ вице-губернаторъ, князь Гагаринъ". Билетами на *Москвитянинъ* Погодинъ засыпалъ графиню Е. П. Ростопчину, и она видимо тяготилась этимъ. „За билеты благодарю",—писала она,—„но у насъ уже таковые имѣются, а предлагать ихъ другимъ, не берусь; я почти никого не вижу изъ, съ позволенія сказать, Московскаго большого свѣта, и между тѣмъ кого вижу, а равно какъ между тѣми кого не вижу, не отыщется *ни единаго* доброжелателя Искуствъ, желающаго и готоваго имъ покровительствовать. Теперь же они всѣ посмотрѣли царя, сами ему показались, такъ имъ *некогда* заняться чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ ихъ глупаго чванства и отвратительной пустоты.—Да и кошельки истощены лотереями и подписками, и аукціонами для *школъ*, отъ которыхъ, впрочемъ, добытое поступаетъ слишкомъ часто Богъ вѣсть куда... но только, какъ говорятъ, вовсе не въ пользу бѣдныхъ и неимущихъ... *Удалимся отъ зла*, — я это помню,—и удаляюсь все болѣе и болѣе отъ этого общества, столь мнѣ чуждаго и дикаго"!—Не болѣе утѣшительныя свѣдѣнія получилъ Погодинъ отъ И. И. Давыдова, изъ Петербурга. „Вы знаете",—писалъ онъ,—„что здѣсь любятъ читать въ клубахъ и кофейняхъ даромъ, поэтому раздача билетовъ весьма затруднительна".

Для большаго успѣха *Москвитянина*, И. К. Купріяновъ совѣтовалъ Погодину печатать почаще объявленія съ оглавленіями статей на заднихъ страницахъ газетъ, особенно *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* и *Сѣверной Пчелы*, которыя имѣютъ обширный кругъ читателей; я знаю весьма многихъ, которые только и выписываютъ такіе журналы, которыхъ объявленія примелькались къ ихъ глазамъ, которые думаютъ, что должно быть весьма хорошія и полезныя изданія. *Отечественныя*

Записки и *Современникъ* весьма много выиграли подобными публикаціями".

Не смотря на неуспѣхъ *Москвитянина*, Погодинъ очень интересовался отзывами публики о своемъ журналѣ и всѣхъ и всякаго допрашивалъ объ этомъ. „О *Москвитянинѣ* могу сказать",—писалъ В. И. Даль,—„что онъ—вполнѣ достоинъ прочихъ собратовъ своихъ: нынѣшнія благодатныя обстоятельства выровняли ихъ. Переводами *Москвитянинъ* идетъ даже впередъ *Отечественныхъ Записокъ*. Хвала ему! А между тѣмъ, воля ваша, читать нечего—ни тутъ, ни тамъ. Повторяю однако, что нынѣ это иначе быть не можетъ. Утѣшьтесь. Хоть бы любопытныя этнографическія статьи помѣщали; Русь описывали бы вдоль и поперекъ; на это, казалось бы, можно найти людей на мѣстахъ. Жена желаетъ знать, для чего вы прерываете начатое, напримѣръ: *Какстона*, запнувшись на главѣ такой-то? Развѣ желаете выждать товарища, который старается догнать васъ, т.-е., *Отечественныя Записки?* Это охлаждаетъ читателей".

„Я удивлялся",—писалъ Погодину Стасюлевичъ,—„читая ваше письмо, гдѣ вы говорите о стараніяхъ уронить вашъ журналъ. При этомъ я невольно вспомнилъ слова Персія: Peccat et hic, peccat, vitio tamen utitur. At vos, журналисты, чего вы хотите? Я понимаю желаніе злого, вредить съ цѣлью употребить зло въ свою пользу; но не понимаю желанія вреда, такъ сказать, желанія безкорыстнаго. Они, какъ Гоголя Петрушка, любятъ вѣрно самый процессъ нанесенія вреда. И какія скандалезныя выходки"!

Въ другомъ письмѣ Стасюлевича читаемъ: „Вы меня просили сообщить вамъ, что говорятъ въ Петербургѣ о *Москвитянинѣ*. Мнѣ случалось слышать различные отзывы: одни нападаютъ и жалуются на перевѣсъ провинціальныхъ извѣстій, которыя сами по себѣ рѣдко бываютъ интересны—и это самая главная жалоба; другіе возстаютъ противъ стиховъ, третьи выражаютъ свое неудовольствіе на то, что нѣтъ никакой возможности читать повѣстей, не забывая ихъ на-

чала, потому что журналъ, выходя двумя книгами, раздробляетъ свои статьи и т. д. Но всѣ согласны въ томъ, что *Москвитянинъ* съ каждымъ годомъ дѣлается лучше и лучше, полнѣе и полнѣе—не по объему, но по составу". И. Н. Березинъ находилъ, что въ *Москвитянинѣ* „Изящная Словесность, за исключеніемъ скучной *Счастливой Женщины*, отличная. Наука изъ рукъ вонъ плоха. Матеріалы и грамоты, въ томъ видѣ какъ они печатаются, интересны лишь для спеціалистовъ, а *Москвитянинъ* журналъ литературный". Вмѣстѣ съ тѣмъ Березинъ не могъ не надивиться, „почему", — какъ писалъ онъ Погодину, — „вашъ журналъ, теперь безспорно лучшій, не перебьетъ дорогу другимъ"?

Осень 1851 года, М. А. Максимовичъ гостилъ въ Черниговскомъ имѣніи своего дяди, И. Ѳ. Тимковскаго, въ селѣ Турановкѣ, и оттуда (15 октября) писалъ Погодину: „*Москвитянинъ* за нынѣшній годъ очень хорошъ и весьма журналенъ; а объявленіе о продолженіи даетъ знать мнѣ, что онъ наконецъ сталъ тебѣ и прибыленъ. Этому я сердечно порадовался. Помогай тебѣ Богъ"!

Изъ Костромы А. Ѳ. Писемскій писалъ Погодину: „На счетъ мнѣнія о вашемъ журналѣ, скажу то, что въ обществѣ у насъ ни о какомъ журналѣ не имѣютъ никакого мнѣнія, въ силу того, что думаютъ о совершенно другихъ предметахъ, а журналы получаютъ такъ, для близиру, для тону—и обыкновенно ихъ только перелистываютъ; что касается до меня лично, то нахожу, что критика и библіографія журнала превосходна; беллетристика бѣдна — блѣдна, впрочемъ лучше, чѣмъ въ другихъ журналахъ".

Изъ Великаго же Новгорода, И. К. Купріяновъ сообщаетъ: „Мнѣніе о *Москвитянинѣ* въ здѣшнихъ кругахъ разнообразно: сколько головъ, столько умовъ; общаго только то, что онъ въ нынѣшнемъ году нѣсколько слабѣе, чѣмъ въ прошломъ; особенно отдѣлъ Русской Словесности находятъ слабымъ; но я увѣряю всѣхъ, съ кѣмъ мнѣ приходится имѣть объясненіе по этому предмету, что это вина не Редакціи, а

самихъ литераторовъ, которые мало пишутъ въ нынѣшнемъ году. Петербургскіе журналы представляютъ по беллетристикѣ столько же, какъ и *Москвитянинъ*, если не меньше; стало быть, виновата вся современная Русская Литература".

Наконецъ, Д. В. Григоровичъ, напечатавши въ первомъ нумерѣ *Москвитянина* 1851 г. свой святочный разсказъ *Прохожій*, 17 іюня 1851 года, изъ своего Тульскаго имѣнія Дулебино, писалъ Погодину: „На дняхъ еще, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, я сильно пенялъ на себя за то, что не поспѣшилъ отвѣчать вамъ, но теперь радуюсь, что не дѣлалъ этого, и вотъ именно почему: я разумѣется не могъ бы сказать вамъ ничего особенно веселаго, тогда какъ теперь послѣ полученія 9 и 10 книжекъ *Москвитянина*, наговорю вамъ съ три короба. Прежде всего разскажу вамъ одинъ анекдотъ, который подойдетъ къ дѣлу впрочемъ: Мужикъ купилъ въ Москвѣ шапку, вернулся въ деревню и сталъ ругать купца. За что коришь ты его? спросилъ сосѣдъ.—Да какъ-же,—такой онъ сякой,—продалъ за цѣлковый шапку, въ ней вѣсу всего полфунта, а Филатъ купилъ такую же шапку за тотъ же цѣлковый на нашемъ базарѣ, вѣсомъ въ три фунта,—какъ же не ругать ихъ,—ну, не разбойники ли въ Москвѣ живутъ! Такъ же здраво, или почти такъ же, разсуждаетъ и наша иногородная публика о журналахъ. Я чуть не вскрикнулъ отъ радости, увидавъ почтенную наружность *Москвитянина*, не уступающую и даже превышающую толщиною *Отечественныя Записки* и *Современникъ*. Наружное это сходство, повѣрьте, послужитъ только въ пользу *Москвитянина;* на счетъ же подписки,—я твердо увѣренъ, что пойдетъ хорошо; не вижу, да и нѣтъ никакого повода предполагать противное. Вспомните-ка, что Краевскій четыре года не видѣлъ ни малѣйшаго успѣха, все шло во сто разъ хуже *Москвитянина*; онъ продолжалъ улучшать журналъ,—выдержалъ,—а въ томъ-то и вся штука. Дай только Богъ, чтобъ *Москвитянинъ* не измѣнилъ ни подъ какимъ видомъ настоящей своей формы. Умѣнье сохранить сановитую, постоянно спо-

койную наружность во всѣхъ случаяхъ жизни, повѣрьте, столько же нужно людямъ, сколько журналамъ. Это лучшее средство возбуждать къ себѣ кредитъ. Доложу вамъ, что отдѣлъ критики, полемики и библіографіи, — отличный въ *Москвитянинѣ* и во всякомъ случаѣ выдержанъ несравненно благороднѣе, чѣмъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* и *Современникѣ*, которые поступаютъ въ этомъ случаѣ какъ школьники. *Москвитянину* остается только *озадачить* публику какимъ нибудь произведеніемъ капитальнымъ, въ родѣ, напримѣръ, *Тюфяка*,—печатать мѣсяца три къ-ряду,—и я предрекаю ему вѣрный успѣхъ. *Сонъ* весьма остроуменъ,—жаль только, что длиненъ немного и сказывается оскорбленнымъ самолюбіемъ; кто писалъ его, не знаю; знаю только, что эта статья возбудитъ жесточайшія насмѣшки на Островскаго, талантъ котораго я глубоко уважаю. А впрочемъ, онъ, я думаю, не полѣзетъ за словомъ въ карманъ и самъ хорошо отгрызется. Къ величайшему сожалѣнію, въ настоящую минуту, не могу дать вамъ ни единой строчки; у меня даже всѣ дни распредѣлены..... .....Проѣздомъ въ Петербургъ, не смотря на то, что пробуду въ Москвѣ день, — явлюсь къ вамъ и потолкуемъ о томъ, что̀ бы вамъ написать такое въ *Москвитянинѣ*, для котораго готовъ я работать..... Прощайте, Михаилъ Петровичъ. 10 августа или около буду у васъ. Въ ожиданіи, заочно, жму вамъ руку и желаю отъ души быть здорову... Если Островскій въ Москвѣ, кланяйтесь ему отъ меня".

„Меня удивляетъ",—писалъ И. И. Давыдовъ Погодину,— отчего многіе Московскіе ученые избѣгаютъ *Москвитянина* и пишутъ здѣсь; безъ нихъ нашимъ (т.-е. Петербургскимъ) журналамъ было бы подчасъ плохо." Въ другомъ же письмѣ его читаемъ: „*Москвитянинъ* хорошъ и безукоризненъ. Мало вамъ помогаютъ Московскіе ученые. Видно, преферансъ и кулебяка лучше славы литературной" [275]).

LXV.

1-го сентября 1851 года, въ селѣ Мануиловѣ, Ямбургскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи, скончалась супруга Исторіографа, Екатерина Андреевна Карамзина.

11-го сентября того же года, Плетневъ писалъ Жуковскому: „Я спѣшу вамъ передать одно нерадостное извѣстіе, но тѣмъ не менѣе умилительное и, могу сказать, отрадное для насъ всѣхъ. Вчера всѣ мы, живущіе и случившіеся въ Петербургѣ, друзья Карамзина, друзья Жуковскаго и друзья Пушкина, подъ ту же надпись: *Блажени чистіи сердцемъ*, которая такъ мирила насъ съ волненіями жизни и ограждала отъ всего недостойнаго,—подъ ту же надпись положили тѣло прекрасно совершившей путь свой подруги нашего Карамзина, Катерины Андреевны... Въ эти минуты я не переставалъ думать о васъ и общей судьбѣ нашей, которая столько благородныхъ сердецъ въ одну эпоху соединяла на пути къ одной прекрасной цѣли... Мало осталось насъ—и тѣ раздѣлены пространствомъ“... На это Жуковскій отвѣчалъ: „Благодарю за то, что вы своимъ письмомъ мнѣ дали такъ живо присутствовать на этомъ торжествѣ погребенія... Какой новый ударъ для бѣднаго Вяземскаго! Надо благодарить Бога, что это случилось послѣ его отъѣзда; въ Петербургѣ ударъ этотъ слишкомъ бы сильно отозвался въ его разстроенномъ сердцѣ. Онъ теперь въ Парижѣ“ [276]).

Подробности объ этомъ событіи, Погодинъ узналъ отъ К. С. Сербиновича, который, 12 ноября того же года, писалъ ему: „Не повѣрите, какъ и мнѣ было грустно, что не могъ вполнѣ насладиться бесѣдою вашею. Срокъ моему отпуску истекалъ: надлежало спѣшить. Но къ печальной церемоніи я не поспѣлъ, и даже не подозрѣвалъ, что буду встрѣченъ такою горестною вѣстію — о кончинѣ супруги моего перваго благодѣтеля. Не засталъ уже никого изъ семейства ихъ. Теперь только всѣ опять съѣхались, и я узналъ, какъ тихо, какъ безбо-

лѣзненно кончила покойница свое прекрасное земное поприще. Она проводила лѣто у дочери своей, княгини Е. Н. Мещерской, въ деревнѣ Ямбургскаго уѣзда; съ нею и другія двѣ дочери, съ которыми почти не разлучалась въ жизни; въ послѣдніе же два дни ее особенно утѣшилъ пріѣздъ старшаго сына, Андрея Николаевича. 1 сентября, рано поутру, послѣ совершенно покойной ночи, горничная, спавшая въ ея комнатѣ, разбудила ее крикомъ во снѣ. Екатерина Андреевна, чтобъ ее успокоить, сѣла на кресло, вздремнула, и всѣ сначала думали, что она спитъ. Лицо ея было спокойно, свѣтло и прекрасно. Какая-то неземная торжественность изображалась на его правильныхъ чертахъ: оно даже помолодѣло. Такому явленію не подивится тотъ, кто зналъ ея жизнь, душу, правила. Супруга добрѣйшаго изъ людей, возвышеннѣйшаго по чувствамъ, сама одарена была тѣмъ, за что онъ желалъ ее имѣть другомъ сердца своего и находилъ съ нею счастіе. Уже и этого довольно, чтобъ оцѣнить ея свойства. Умъ, благородство духа, правдолюбіе, скромность, христіанское смиреніе, набожность, вѣра,—все это съ годами являлось въ ней еще въ болѣе священномъ видѣ. По мнѣ, въ эти годы нельзя было даже довольно насмотрѣться на нее, тѣмъ больше, что нельзя было и не понимать, что она уже гость въ этомъ мірѣ. Какъ велика эта потеря для дѣтей, ее обожавшихъ! Она же такъ прекрасно исполнила въ отношеніи къ нимъ весь долгъ, завѣщанный супругомъ: воспитала и почти всѣхъ пристроила, и влила въ сердца ихъ такую взаимную другъ къ другу любовь, которая составляетъ величайшее счастіе этого прекраснаго семейства. Теперь оказалось, что у нея много лѣтъ былъ аневризмъ, но доктора этого не объявляли.

Можете себѣ представить, сколько потерялъ и я, ровно тридцать три года имѣвъ счастіе пользоваться ея добрымъ и во множествѣ случаевъ жизни самымъ благодѣтельнымъ для меня расположеніемъ".

Осторожный Сербиновичъ къ этому письму прибавилъ слѣдующія строки: „Свѣдѣнія о послѣднихъ минутахъ жизни

Екатерины Андреевны сообщаю только къ *свѣдѣнію* вашему".

Остававшаяся въ живыхъ сестра друга Карамзина, И. И. Дмитріева, Наталія Ивановна, въ октябрѣ того же 1851 года, писала Погодину: „Въ память моего брата вы и ко мнѣ расположены, какъ будто достойной онаго, и почтили меня съ почтеннымъ молодымъ Карамзинымъ визитомъ въ Симбирскѣ; это пріятнѣйшее удовольствіе и до днесь у меня въ памяти. Я очень съ сожалѣніемъ читала въ газетахъ о кончинѣ почтеннѣйшей Екатерины Андреевны, на сей путь всѣмъ неизбѣжный. Буди Его Святая воля" [277]).

Одновременно съ кончиною супруги творца *Исторіи Государства Россійскаго*, вышелъ первый томъ *Исторіи Россіи* молодого профессора Московскаго Университета С. М. Соловьева. Въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* было объявлено: „Историческая жизнь нашего отечества имѣла своимъ великимъ результатомъ нынѣшнее Царство Русское, съ его незыблемыми началами, съ его могуществомъ, съ его прекрасными залогами для будущаго. Съ каждымъ днемъ растетъ интересъ къ этой богатой результатами прошедшей жизни Русскаго народа; съ каждымъ днемъ открываются новые источники для ея изученія, и даровитые дѣятели неутомимо и плодотворно работаютъ на этомъ поприщѣ.

Имя Соловьева извѣстно всякому интересующемуся Русскою Исторіею. Онъ по праву занимаетъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ у насъ между дѣятелями науки. Въ короткое время онъ успѣлъ уже ознаменовать себя столько же обильными, сколько даровитыми и плодотворными трудами. Съ особеннымъ удовольствіемъ спѣшимъ извѣстить читателей, что нашъ неутомимо дѣятельный ученый выпустилъ уже въ свѣтъ первый томъ этого труда: *Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ.*

Въ этомъ первомъ томѣ, Исторія доведена до кончины великаго князя Ярослава".

Колоссальный трудъ С. М. Соловьева, коего начало было

такъ доброжелательно встрѣчено *Московскими Вѣдомостями*, какъ извѣстно, прерванъ былъ лишь кончиною автора на двадцать девятомъ томѣ, и давно оцѣненъ всѣми по своему достоинству; а потому смѣемъ думать, что великая заслуга Соловьева нисколько не умалится, если, мы ради исторической правды, приводя благопріятныя о немъ сужденія нашихъ ученыхъ, не скроемъ и тѣ отзывы, которые въ свое время высказывались не въ пользу этого труда.

Мы уже знаемъ, что С. М. Соловьевъ съ первыхъ печатныхъ своихъ трудовъ разошелся во взглядахъ съ Погодинымъ, а потому со стороны Погодина и его друзей, *Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ* не могла встрѣтить сочувственнаго отношенія, подобно тому, какъ и труды Погодина въ лагерѣ западниковъ не находили справедливой оцѣнки.

„Давно, еще до полученія каѳедры",—повѣствуетъ С. М. Соловьевъ,—„у меня возникла мысль написать *Исторію Россіи*. Послѣ полученія каѳедры, дѣло представлялось возможнымъ и необходимымъ. Пособій не было. Карамзинъ устарѣлъ въ глазахъ всѣхъ; надобно было для составленія курса заниматься по источникамъ; но почему же этотъ самый курсъ, обработанный по источникамъ, не можетъ быть переданъ публикѣ, жаждущей имѣть Русскую Исторію полную и написанную, какъ писались исторіи государствъ въ Западной Европѣ..... Я рѣшился на такой трудъ и началъ съ начала, ибо предшествовавшіе труды не удовлетворяли"... Далѣе, С. М. Соловьевъ говоритъ: „Успѣхъ двухъ моихъ диссертацій смутилъ, покоробилъ; сильно обрадовались, когда Погодинъ началъ полемизировать противъ нихъ, но все не было дружнаго ожесточеннаго нападенія: молодой профессоръ написалъ двѣ диссертаціи, пописываетъ въ журналахъ—этимъ, пожалуй, все и кончится. И вдругъ, дерзкій издаетъ *Исторію Россіи*—первый томъ, значитъ будутъ и другіе тома! Дерзкій, которому исполнилось только тридцать лѣтъ, въ Карамзины лѣзетъ, хочетъ быть господствующимъ авторитетомъ! Этого

нельзя было перенести равнодушно. Но, разумѣется, прежде всѣхъ не могъ перенести этого равнодушно Погодинъ. Просидѣлъ двадцать слишкомъ лѣтъ на каѳедрѣ, пріобрѣлъ авторитетъ перваго знатока Русской Исторіи, а на повѣрку что сдѣлалъ? Написалъ двѣ диссертаціи о *Варягахъ* и *Несторѣ*. А этотъ молокососъ не только въ два года своего профессорства написалъ двѣ диссертаціи, но теперь приступилъ къ изданію обширной Исторіи, хочетъ быть Карамзинымъ. Что же ему, Погодину, въ гробъ что-ль ложиться? Лучше въ гробъ, чѣмъ стушеваться предъ какимъ нибудь Соловьевымъ. Одна надежда, что дерзкое предпріятіе рухнетъ, какъ рухнула *Исторія Русскаго Народа* Полевого; но надобно ускорить это паденіе, ополчиться и разнести по камешкамъ зданіе при самомъ его началѣ, разнести фундаментъ. Сотрудниковъ много. Съ шипѣніемъ, съ пѣною у рта собирается около почтеннѣйшаго Михаила Петровича, ставшимъ чрезвычайно популярнымъ, дружина—походъ объявленъ. *Москвитянинъ* открылъ свои страницы ругательнымъ статьямъ противъ меня“ [278]).

Теперь обратимся къ лагерю Погодинской „дружины“ и прислушаемся къ ея говору. „Видѣли *Исторію* Соловьева“?— спрашивалъ Погодина Н. Ф. Павловъ,—„говорятъ въ одинъ день разошлось 400 экземпляровъ. Такъ по крайней мѣрѣ проповѣдуютъ друзья“. Извѣстный оріенталистъ, П. С. Савельевъ, отнесся къ труду Соловьева съ меркантильной точки зрѣнія: его поразила цѣна перваго тома. Два рубля пятьдесятъ копѣекъ за пятнадцать печатныхъ листовъ! писалъ онъ Погодину. Въ другомъ же письмѣ своемъ, Савельевъ, не покидая своей прежней низменной точки зрѣнія, развиваетъ свою мысль подробнѣе: „Исторіи С. Соловьева досталось отъ всѣхъ журналовъ всѣхъ партій. Вотъ что значитъ желать угодить и нашимъ и вашимъ! Это кажется чистая спекуляція: пускай, молъ, бранятъ, а тысячи двѣ экземпляровъ, по два съ полтиною серебромъ, можетъ расходиться, да притомъ можно выпускать по тому или по два въ годъ. Я, съ своей стороны,

не вижу иной цѣли новой Исторіи Россіи: она ни ученая, ни учебная, ни художественная, ни популярная. Что же она такое? По поводу ея хотѣлъ-было написать нѣсколько замѣчаній: о восточныхъ источникахъ, о Массудѣ, о Хореѣ, о происхожденіи Венгровъ, о Черкесскихъ преданьяхъ и проч. Объ этомъ могу сказать кое-что новое и небезполезное. Жалѣю, что не могу заняться этимъ теперь, потому что заваленъ другою работой. Но обѣщаю это *Москвитянину*".

Еще болѣе несправедливые отзывы о первой книгѣ *Исторіи Россіи* мы встрѣчаемъ въ письмѣ къ Погодину будущаго министра Народнаго Просвѣщенія и оберъ-прокурора Св. Сѵнода, графа Д. А. Толстаго: „Что вы подѣлываете? Читаете Исторію Соловьева? Я по крайней мѣрѣ сижу теперь за ней, и убѣждаюсь, что еще не пришло время писать нашу Исторію такъ, какъ онъ было *замахнулся*; отъ васъ всѣ ожидаютъ критики обширной, основательной и безпристрастной, а есть надъ чѣмъ позаняться! Родовой бытъ плохо выдерживаетъ на себѣ зданіе нашей Исторіи, да и языкъ-то не совсѣмъ историческій. Помнится, что учитель Латинскаго языка въ Лицеѣ, когда пересматривалъ наши нескладныя на немъ писанія, говаривалъ: „Ежели бы Цицеронъ воскресъ и услышалъ эту латынь, побилъ бы васъ палкою"! Думаю, что Карамзинъ исполнилъ бы это надъ г. Соловьевымъ. А между тѣмъ, выходъ *Исторіи* Соловьева совпалъ со смертію всѣми сожалѣемой жены Карамзина, одного изъ обломковъ Александровскаго царствованія! Да не узритъ въ этомъ вашъ многоученый профессоръ какого либо гласа съ Неба, нарекающаго его преемникомъ Карамзина! Никогда не читалъ чего-либо нелѣпѣе, пошлѣе и натянутѣе какъ объясненіе вліянія нашей почвы на нашу исторію! Это просто уморительно. Извините, за выраженіе этихъ живыхъ впечатлѣній, которыя совсѣмъ некстати вырвались здѣсь сами собою".

Любопытно встрѣтить такое сужденіе со стороны ученаго, который въ то время самъ занимался географическими и статистическими изысканіями. Объясненіе этой странности

заключается, какъ намъ кажется, въ вышеприведенныхъ словахъ самого С. М. Соловьева: „Дерзкій, въ Карамзины лѣзетъ“!

LXVI.

Самъ Погодинъ на первыхъ порахъ отнесся къ труду своего противника весьма сдержанно. Онъ даже печатно заявилъ, что не читалъ перваго тома *Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ* „и читать ее не будетъ“. Но это заявленіе, какъ мы сейчасъ увидимъ, было несправедливо. Рецензію на первый томъ Погодинъ поручилъ написать И. Д. Бѣляеву. О своихъ отношеніяхъ къ этому критику самъ С. М. Соловьевъ писалъ въ своихъ *Запискахъ:* „Бѣляеву я до тѣхъ поръ доставлялъ уроки, но онъ теперь нашелъ гораздо пріятнѣе и выгоднѣе для себя примкнуть къ кружку, могшему много сдѣлать для него, благодаря покровительству Блудова. Бѣляевъ дѣйствительно награжденъ былъ щедро по Архиву Юстиціи, гдѣ служилъ, и потомъ, по настоянію Погодина и Шевырева предъ Назимовымъ, попалъ въ профессора Московскаго Университета, по каѳедрѣ Исторіи Русскаго Права. Бѣляевъ, по своей способности борзописанія, взялъ на себя задачу по косточкамъ разобрать *Исторію Россіи*, не оставить ни одной строчки безъ возраженія“.

Сохранилось весьма любопытное письмо И. Д. Бѣляева къ Погодину, изъ котораго, между прочимъ, мы и увидимъ, что Погодинъ, вопреки своему печатному заявленію, весьма внимательно прочиталъ первый томъ *Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ*. „Исторіи Россіи“, — писалъ Бѣляевъ Погодину, — „я никогда не обѣщалъ вамъ возвратить; а говорилъ, что она мнѣ нужна, и что вы можете имѣть другой экземпляръ. А безъ выраженія *удивительно* я опять не могу обойтись; неужели вы столько не увѣрены во мнѣ, что опасаетесь, что я во зло употреблю ваши отмѣтки на поляхъ. Во первыхъ, книгу эту у меня никто бы не увидалъ, и во

ошеломить Русскую публику, остановить успѣхъ книги, ходъ ея, раздражить и утомить автора, который, видя себя окруженнымъ врагами и не видя ни откуда помощи, откажется отъ безполезной борьбы. Дѣйствительно, я пережилъ тяжелое время зимою 1851—1852 года; я счелъ нужнымъ отписываться, трудъ страшно непріятный — трудъ защиты и трудъ одинокій. Но сила Божія въ немощи совершается; никогда не приходила мнѣ въ голову мысль отказаться отъ своего труда, и въ это печальное для меня время я приготовилъ второй томъ *Исторіи Россіи*"...

Но авторъ *Исторіи Россіи* не былъ „одинокъ" и въ то время, когда съ Погодинской стороны сыпались на твореніе его всевозможныя обвиненія. Въ это самое время, кромѣ его друга Кавелина, написавшаго блистательную и вполнѣ сочувственную рецензію, выступилъ въ защиту любимый ученикъ Погодина, Н. В. Калачовъ, который съ присущимъ ему безпристрастіемъ, изучивъ внимательно первый томъ *Исторіи Россіи*, пришелъ къ слѣдующему заключенію: „Читатели видѣли, что начиная съ предисловія до послѣдней главы его, мы во многомъ несогласны съ авторомъ... Г. Соловьевъ, спѣша изданіемъ въ свѣтъ перваго тома своего прекраснаго и обширнаго труда, не довольно глубоко вникалъ въ источники, которыми пользовался, не довольно тщательно перечитывалъ ихъ и часто даже оставлялъ безъ вниманія, какъ самые матеріалы, такъ и относящіяся къ нимъ изслѣдованія, которыя могли бы послужить ему главнымъ пособіемъ при разработкѣ основныхъ источниковъ его повѣствованія и выводовъ. Въ этомъ отношеніи Исторія его кажется несравненно ниже Исторіи Карамзина и ни въ какомъ случаѣ не можетъ для спеціальныхъ занятій замѣнить ее, а тѣмъ менѣе источники, на которыхъ основывается самъ авторъ. Но вмѣстѣ съ этимъ общимъ упрекомъ, мы были бы весьма несправедливы, если бы не отдали ему должной благодарности за несомнѣнную пользу, какую онъ принесъ всему ученому и читающему міру своимъ изданіемъ. Польза эта заключается не только въ томъ,

что онъ доставилъ случай любителямъ Отечественной Исторіи прочесть въ прекрасномъ, живомъ, часто даже увлекательномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ простомъ разсказѣ, событія глубокой старины... *), но, кажется намъ, въ томъ, что онъ предлагаетъ въ своемъ разсказѣ не отрывочныя, хотя бы болѣе или менѣе занимательныя картины, а Исторію въ полномъ значеніи этого слова, указывая всюду на связь событій, какъ ближайшихъ между собою, такъ и болѣе отдаленныхъ одно отъ другого, вникая въ ихъ значеніе и смыслъ и объясняя ихъ изъ духа понятій того времени, къ которымъ они относятся. Пусть нѣкоторые изъ его критиковъ вмѣняютъ ему въ явный недостатокъ такое стремленіе въ событіяхъ политическаго міра находить разумное начало, подъ вліяніемъ котораго они совершились, и такимъ началомъ объяснять то или другое событіе; но мы твердо увѣрены, что безъ этого основанія, безъ животворной идеи, которая въ самомъ повѣствованіи проникала бы изображаемыя въ немъ историческія данныя, они останутся лишь сухимъ, безсвязнымъ и скучнымъ перечнемъ событій, не дадутъ читателю яснаго, живого понятія объ эпохѣ, не заставятъ биться его сердце сочувствіемъ къ ея интересамъ и лишь составятъ матеріалъ, быть можетъ полезный, но не то, чѣмъ должна быть Исторія того или другого народа, или даже историческая картина того или другого времени. Вотъ почему мы думаемъ, что г. Соловьевъ, понявъ это назначеніе и обязанность своего труда, и умѣвъ, благодаря своему прекрасному таланту, въ значительной степени удовлетворить такому требованію, заслуживаетъ полную и искреннюю признательность многочисленныхъ его читателей. Вотъ почему—прибавимъ еще слово отъ себя — послѣ всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами достоинствъ новаго сочиненія г. Соловьева, намъ кажется весьма стран-

---

*) Любопытно сопоставить этотъ отзывъ объ языкѣ автора *Исторіи Россіи* съ приведеннымъ выше отзывомъ о томъ же предметѣ графа Д. А. Толстого.

нымъ отзывъ одного рецензента этого сочиненія, который, признавая его не заслуживающимъ никакого вниманія, вмѣстѣ съ тѣмъ откровенно сознается, что не читалъ и не намѣренъ читать трудовъ г. Соловьева. Полагаемъ, что потеря отъ того будетъ конечно не на сторонѣ г. Соловьева".

Къ разбору Калачова, С. М. Соловьевъ отнесся съ полнымъ вниманіемъ, призналъ его „добросовѣстнымъ" и заявилъ, что „съ такимъ рецензентомъ, какъ Калачовъ, пріятно и полезно вести ученый споръ". Но вмѣстѣ съ тѣмъ Соловьевъ счелъ необходимымъ замѣтить Калачову слѣдующее: „Г. Калачовъ не обратилъ вниманія, что наша книга есть Исторія Россіи, исторія политическая; слѣдовательно, Славянскія древности, миѳологія, исторія права, должны входить въ нее отчасти, а не вполнѣ... Если я иногда позволяю себѣ входить здѣсь въ подробности и изслѣдованія, то это вслѣдствіе недостатка и недостатковъ спеціальныхъ сочиненій, вслѣдствіе недостатка раздѣленія занятій; нельзя одному сдѣлать всего того, что въ другихъ странахъ дѣлается совокупными усиліями ученыхъ. Неужели г. Калачовъ думаетъ, что Нѣмецкій ученый, начавшій писать Исторію какого нибудь Германскаго народа, долженъ вполнѣ включить въ начальные томы своего труда Гриммовы — миѳологію, исторію языка и юридическія древности? Если же г. Калачовъ этого не думаетъ, то на какомъ основаніи онъ упрекаетъ меня за недостатокъ полноты и подробностей при описаніи языческаго быта Славянъ?... На какомъ основаніи онъ требуетъ, чтобъ я привелъ всѣ указанія на этотъ бытъ изъ церковныхъ уставовъ, изъ актовъ и юридическихъ сборниковъ западныхъ Славянъ, тогда какъ мнѣ должно было выставить только главныя черты быта восточныхъ Славянъ, а дѣло рецензента было обсудить, точно ли выставлены мною главныя черты и вѣрны ли выводы... Спеціалистъ забываетъ, что въ разбираемой книгѣ описаніе языческаго быта Славянъ должно занимать нѣсколько страницъ — не болѣе; онъ хочетъ найти въ ней подробности, мелочи, полное разрѣше-

ніе вопросовъ, которые его преимущественно занимаютъ, и если не находитъ въ политической исторіи того, что долженъ искать въ исторіи права, или въ древностяхъ, или въ миѳологіи, то спѣшитъ произнести приговоръ, что авторъ не довольно глубоко вникалъ въ источники, не довольно тщательно исчерпывалъ ихъ. Г. Калачовъ замѣчаетъ, что моя книга для спеціалистовъ не замѣнитъ источниковъ; но развѣ онъ не знаетъ, что историческое сочиненіе тогда только замѣняетъ источники, когда эти источники погибли. У насъ долгое время принуждены были пользоваться Исторіею Карамзина вмѣсто источниковъ, потому что послѣдніе не были изданы, мало доступны; но теперь, слава Богу, необходимость пользоваться примѣчаніями Карамзина, какъ источниками, день ото дня исчезаетъ, и надо надѣяться, скоро совсѣмъ исчезнетъ. Великая заслуга Карамзина относительно полноты примѣчаній условливалась недостаткомъ времени, въ которое появилась книга, но теперь историкъ не имѣетъ нужды выписывать вполнѣ всѣ акты и всѣ извѣстія, ибо они каждому доступны".

Съ своей стороны и Погодинъ, по поводу рецензіи Калачова, писалъ: „Въ послѣднихъ нумерахъ *Московскихъ Вѣдомостей* напечатана большая рецензія Калачова на *Исторію Россіи* Соловьева. Заключенія Калачова почти совершенно сходятся съ моими заключеніями, печатаемыми нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и въ послѣднее время. Рецензія Калачова, равно какъ и рецензія Кавелина, представляютъ даже доказательство моихъ наблюденій психологическихъ. Но неужели нѣтъ никакого различія между моими рецензіями и рецензіями Калачова? Есть—вотъ оно: его рецензіи пересыпаны розами (роза—слабый цвѣтъ!),—а мои полынью. Какъ нашлась у меня полынь для этого употребленія, толковать здѣсь не мѣсто, но я могу сказать только то, что эта полынь гораздо горче мнѣ самому, чѣмъ кому нибудь другому. Я не буду отвѣчать на послѣднюю статью *Московскихъ Вѣдомостей*, прошу извиненія даже у рецензента *Москвитянина*, что не напечатаю окончанія его статьи на тамошнюю антикритику,

надо же пожалѣть публику и прекратить этотъ шумъ *изъ пустяковъ*, какъ говоритъ Шекспиръ; — вотъ вдали грозятъ еще гг. Буслаевъ съ элементами всѣхъ языковъ, со всѣми этимологіями, со всѣми азбуками и лексиконами,—Аѳанасьевъ, въ сонмѣ духовъ добрыхъ и злыхъ, чистыхъ и нечистыхъ, со всѣми орудіями жертвоприношеній, со свитою всѣхъ животныхъ зооморфическихъ. Цѣлая экспедиція! Довольно, господа, пощадите"!

Погодинъ, съ своей стороны, не только желалъ прекращенія ученой полемики, онъ даже простиралъ руку примиренія своему врагу, о чемъ свидѣтельствуетъ нижеслѣдующее письмо С. М. Соловьева: „Вы, вѣроятно, очень хорошо помните, что два раза подавалъ я вамъ руку на миръ, и не я послѣ того начиналъ дѣло вражды; теперь въ третій разъ вы сами подаете мнѣ руку: будьте увѣрены, что съ радостію, отъ чистаго сердца принимаю ее и въ третій разъ, приму и седмерицею семьдесятъ, по извѣстной вамъ заповѣди".

„Изъ членовъ царской фамиліи",—повѣствуетъ С. М. Соловьевъ,—„въ 1851 году не было въ Москвѣ великаго князя Константина Николаевича. Вскорѣ послѣ отъѣзда царскаго изъ Москвы, я получилъ письмо отъ секретаря великаго князя, Головнина, въ которомъ онъ пишетъ, что генералъ Муравьевъ указалъ великому князю на мою книгу; великій князь прочелъ ее съ большимъ удовольствіемъ и проситъ присылать къ нему слѣдующіе томы, даже за границу, куда онъ отправляется" [283]).

LXVII.

Погодинъ, уклонясь отъ дальнѣйшей полемики съ Соловьевымъ по поводу перваго тома его *Исторіи Россіи*, тѣмъ не менѣе продолжалъ бороться съ проповѣдуемымъ Соловьевымъ *родовымъ бытомъ*. Такъ, по поводу рецензіи Мстиславскаго на сочиненіе Пахмана *О судебныхъ доказательствахъ по древнему праву*, Погодинъ замѣтилъ: „Намъ особенно

пріятно, что занимающіеся Русскою Исторіею начинаютъ наконецъ обнаруживать ясно свое мнѣніе о призракахъ *родоваго быта* и его насильственныхъ приложеніяхъ. До сихъ поръ мы слышали только гг. Аксакова, Бѣляева, Шепинга. Теперь подали голосъ Лешковъ и Мстиславскій. Катковъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* отозвался очень глухо. Будемъ надѣяться, что и всѣ скоро увидятъ въ такъ называемомъ *родовомъ бытѣ* одинъ только звукъ, пустое слово, а не историческій ключъ. Но жаль, что нѣсколько молодыхъ ученыхъ перепортили свои труды ни за что, ни про что".

Въ 1851 году, въ *Кометѣ*, учено-литературномъ альманахѣ, изданномъ Николаемъ Щепкинымъ, въ Москвѣ, было апечатано изслѣдованіе С. М. Соловьева *о Родовыхъ княжескихъ отношеніяхъ у Западныхъ Славянъ* [284]).

Противъ этой статьи Погодинъ въ *Москвитянинѣ* напечаталъ статью безъимянную и отъ себя замѣтилъ: „Мы выразили уже наше удовольствіе, что туманъ родовыхъ отношеній, пущенный неопытностію, а распространенный малосвѣдущею и своекорыстною журналистикою, давно разсѣянный въ глазахъ знающихъ людей,—нашелъ уже многихъ судей въ печати, изъ которыхъ иные зашли даже слишкомъ далеко, отвергая безусловно всякое родовое отношеніе. Нынѣ, помѣщая еще одну дѣльную статью, пожалѣемъ только, что она является безъ имени".

Появленіе въ *Владимірскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ* 1851 года отрывка изъ *Дозорной Писцовой книги города Галича 1609—1610 г.* дало поводъ Погодину еще разъ выразить свое неодобреніе исторической школѣ, къ которой принадлежалъ авторъ *Исторіи Россіи*. „У насъ", — писалъ Погодинъ,—„возникла школа, поставившая себѣ цѣлію доказывать, что Русская Исторія начинается съ Петра I-го, что до него не существовало ничего, кромѣ родового быта. Одинъ утверждалъ, что не было торговли, другой отрицалъ всякое образованіе, третій не допускалъ никакой личности. *Москвитянинъ* старался указывать постоянно на всѣ эти заблужде-

нія, но онъ не могъ спорить иногда, потому что не было въ печати тѣхъ свидѣтельствъ, кои должно бъ было привести въ улику. Такъ, одинъ изъ адептовъ школы силился доказать, что благотворительность если и была у насъ, то совершенно частная. Указываемъ ему теперь на отрывки изъ Дозорной писцовой книги города Галича, послѣ Литовскаго разоренія въ 1609 и 1610 г. Тамъ онъ увидитъ, до какихъ размѣровъ доходила эта частная благотворительность, даже въ такомъ незначущемъ (сравнительно съ другими) городѣ, какъ Галичъ. Затѣмъ Погодинъ приводитъ выписку изъ упомянутой Дозорной книги: „За острогомъ, межъ Шатины и Галибины улицъ, храмъ приходскій во имя Царь-Константинъ... Да у того-жъ храму..... семь избушекъ, а въ нихъ живутъ пономарь, да шесть человѣкъ нищихъ; питаются отъ церкви по приходнымъ людямъ... Да на посадѣ..... храмъ во имя Рождество Христово... у того храму..... шесть избушекъ; а въ нихъ живутъ пономарь, да проскурница, да четыре человѣка нищихъ, а кормятся по приходнымъ людямъ..... У Рыбнаго ряду приходскій храмъ во имя Богоявленіе Христово... да у того жъ храму пять избушекъ..... а живутъ въ нихъ нищіе, а питаются отъ церкви приходными людьми. Въ Рыбной же слободкѣ храмъ во имя святые нарицаемые Пятницы... да у того же храму пять избушекъ..... а въ нихъ живутъ нищіе, а питаются отъ церкви приходными людьми... Нищихъ въ кельяхъ около церквей на посадѣ, всего 68 келій. А Государева тягла и оброку тѣ нищіе съ тѣхъ келій, и съ посадскими людьми, не платятъ же“ [285]).

Лично, самъ Погодинъ, въ это время, былъ погруженъ въ Древнюю Русскую Исторію. Шевыревъ, желая навѣстить его, живущаго на Дѣвичьемъ полѣ, 13 апрѣля 1851 года, писалъ ему: „Что твои рѣки и потоки? Есть ли проѣздъ? Но боюсь и нарушить твое уединеніе, чтобы удѣльные князья не разсердились“.

Вслѣдъ за симъ, Шевыревъ извѣщаетъ Погодина: „Хоть ты и надоѣлъ мнѣ скучной перепиской и самыми гордыми

уроками смиренія, но все не могу не раздѣлить съ тобою первымъ радостной вѣсти, сейчасъ только полученной мною. Коссовичъ въ Лондонѣ въ Британскомъ музеѣ открылъ очень древній списокъ Несторовой лѣтописи, писанный уставомъ и съ юсами" [286]).

Съ своей стороны, Погодинъ не замедлилъ это сообщеніе довести до всеобщаго свѣдѣнія: „Извѣстный санскритологъ К. А. Коссовичъ, отправившійся въ Англію съ машиною А. С. Хомякова, нашелъ въ Британскомъ музеѣ списокъ Несторовой лѣтописи, очень древній. Любопытнѣе всего, какое у него продолженіе, т.-е., Кіевское, Волынское, Суздальское или иное. О, еслибъ продолженіе это было обширнѣе тѣхъ, кои дошли до насъ, въ *сокращенныхъ* спискахъ Ипатьевскомъ и Лаврентьевскомъ! Съ нетерпѣніемъ надо ожидать подробнѣйшихъ извѣстій,—и если окажется что-нибудь важное, тогда прощай *Москвитянинъ*".

Уже напечатавши это сообщеніе, Погодинъ обратился къ Шевыреву за подтвержденіемъ этого извѣстія; но послѣдній отвѣчалъ: „Коссовичъ ничего болѣе не пишетъ кромѣ того, что̀ я тебѣ передалъ. Обѣщаетъ дальнѣйшія подробности. Даже не пишетъ, пергаминный ли списокъ. Вѣдь у Татищева сказано, что долженъ быть списокъ въ Англіи". Но повидимому отъ Коссовича не послѣдовало никакихъ дальнѣйшихъ сообщеній и доселѣ подтвержденія его открытію не имѣется.

Въ то же время Погодинъ преподаетъ молодымъ изслѣдователямъ такое наставленіе: „Въ цитатахъ лѣтописей происходятъ у насъ безпрестанно смѣшныя явленія для знающихъ: одинъ ссылается на полное собраніе лѣтописей, какъ будто бъ можно было ссылаться, напримѣръ, на какую-нибудь цѣлую Литературу; другой на Нестора — о происшествіи XII вѣка; третій толкуетъ, что въ какой-то Ипатьевской лѣтописи сказано то-то, а въ Лаврентьевской—вотъ что. Чѣмъ дѣло проще, тѣмъ досаднѣе его искусственное, произвольное замѣшательство. Мнѣ случалось часто въ *Изслѣдованіяхъ*

объяснять всѣ эти недоразумѣнія, но повтореніе все-таки нужно.

Древнѣйшая, общая лѣтопись наша есть *Несторова*. Списки ея: Лаврентьевскій, Ипатьевскій, Кенигсбергскій.

Послѣ Нестора лѣтопись его была продолжаема въ Кіевѣ. Это *Кіевская* лѣтопись. А списокъ ея главный—Ипатьевскій (съ Хлѣбниковскимъ и Ермолаевскимъ).

Своя лѣтопись ведена была въ Новѣгородѣ—*Новгородская*. Списки академическій и проч.

На Волыни—*Волынская*. Списокъ тотъ же, Ипатьевскій.

Во Владимирѣ—*Суздальская*, а списки Лаврентьевскій и Кенигсбергскій. Вотъ и вся премудрость! Для чего бы казалось тутъ хитрить и умничать тѣмъ, которые понимаютъ дѣло, а мудрено ли узнать тѣмъ, которые не понимаютъ".

Занимаясь біографіями древнихъ удѣльныхъ князей, Погодинъ въ то же время продолжалъ печатать въ *Москвитянинѣ* обработанные отрывки изъ своей Древней Русской Исторіи. Такъ, въ теченіе 1851 года, въ *Москвитянинѣ* были напечатаны: *Князь Мстиславъ Галицкій* и *Владиміръ Мономахъ* [287]).

„Вашъ *Мстиславъ Галицкій* несравненно лучше Андрея Боголюбскаго", — писалъ Погодину М. А. Дмитріевъ, — „живѣе, картиннѣе и теплѣе. Только мнѣ жаль, извините откровенность профана, что вы безъ нужды употребляете слова и выраженія старины, которыя и не понятны обыкновеннымъ читателямъ, да и имѣютъ однозначущее на языкѣ новомъ [288]).

Среди своихъ занятій Древнею Русскою Исторіею, Погодину удалось въ Иностранныхъ газетахъ прочесть письмо маршала Бюжо о происшествіяхъ февральскихъ. Письмо это очень заняло Погодина, и онъ по поводу его, замѣтилъ: Бюжо „одно изъ первыхъ дѣйствующихъ лицъ въ центрѣ событій, человѣкъ правдивый (хоть и любилъ похвастаться), даетъ отчетъ о собственныхъ своихъ дѣйствіяхъ другу, не для печати,—казалось: письмо обладаетъ всѣми условіями достовѣрности. А нѣтъ! пятьдесятъ возраженій со всѣхъ сторонъ,

и то не-такъ, и это! ошибки, пропуски, излишки чуть ли не во всякой строкѣ. Извольте же вѣрить свидѣтельствамъ, а я именно теперь пишу изслѣдованіе о княженіи великаго князя Ярополка Володимировича, и добираюся, „про что заратишася Ольговичи“, въ 1135 году! Нѣтъ, частной истины въ исторіи искать нечего: тамъ истина только общая, понятая или непонятая. При этомъ нельзя не вспомнить о вопросѣ графа С. С. Уварова: достовѣрнѣе ли становится Исторія“? [289]).

2 февраля 1851 года, А. А. Куникъ писалъ Погодину: „По случаю приближенія тысячелѣтія существованія Россійской имперіи, настоитъ надобность отечественнымъ историкамъ опредѣлить, сколько возможно, эпоху, съ которой должно считать существованіе имперіи и которую Кругъ относитъ къ 852 году. Такъ какъ основаніе предположенія этого ученаго не признано вполнѣ достовѣрнымъ, то Куникъ, до объявленія своего мнѣнія объ этомъ предметѣ, счелъ полезнымъ перепечатать главу изъ нумизматическаго сочиненія и главу изъ Византійской Хронологіи Круга, заключающую въ себѣ изысканія о началѣ Русскаго лѣточисленія и присоединить къ этому многочисленныя прибавленія, сдѣланныя имъ въ экземплярѣ его сочиненія“ [290]).

Въ то время когда Куникъ дѣлалъ это воззваніе, „патентованный“ хронологъ П. В. Хавскій, „недовольный“,—по выраженію Погодина,—„опустошеніемъ Хронологіи, учинилъ нашествіе на Генеалогію“, въ *Сѣверной Пчелѣ:* уничтожилъ существованіе в. кн. Всеволода, называя св. князя Михаила Черниговскаго *правнукомъ* Олеговымъ, а не *праправнукомъ*. Въ то же время Хавскій спрашивалъ печатно: въ какомъ родствѣ находился Игорь Святославичъ (герой извѣстнаго *Слова*) къ св. князю Игорю Олеговичу? По поводу подобныхъ вопросовъ Погодинъ сдѣлалъ ѣдкое замѣчаніе: „Италіанскій статистикъ Джіойя по грамотности оффиціальныхъ бумагъ въ государствѣ, судитъ отчасти объ его степени образованія вообще; худо было бы намъ, еслибы по степени журнальныхъ познаній нашихъ объ отечественной Исторіи, стали судить

о нашемъ образованіи! Можно имѣть разныя системы, хотя бы и нелѣпыя, можно имѣть разные взгляды, положимъ, самые странные, — это встрѣчается въ Литературѣ всѣхъ исторій, но азбуки исторической нельзя не знать, нельзя предлагать торжественно вопросовъ, принадлежащихъ къ первымъ началамъ Исторіи... Можно спорить, напримѣръ: откуда пришелъ Рюрикъ, но нельзя не знать, что по лѣтописи ему наслѣдовалъ Олегъ. Нельзя спрашивать публично, въ газетѣ литературной, „въ какомъ родствѣ находился Игорь Святославичъ (герой извѣстнаго *Слова*) къ святому Игорю Олеговичу".

Одновременно съ этимъ „опустошеніемъ", производимымъ Хавскимъ въ Генеалогіи, Головинъ издалъ *Родословную роспись потомковъ Великаго Князя Рюрика*. „Какъ не радоваться и не благодарить",—восклицаетъ по этому поводу Погодинъ; но при этомъ говоритъ: „Напрасно только авторъ сравниваетъ свою роспись съ росписями Карамзина и Строева, и называетъ свою полнѣйшею. Карамзинъ и Строевъ представили росписи князей владѣтельныхъ, а онъ внесъ и служащихъ. Лишніе князья тѣ, которыхъ не имѣли въ виду Карамзинъ и Строевъ. Но что касается до владѣтельныхъ князей, то въ *Росписи* Головина они тѣ же, что у Карамзина и Строева". Вмѣстѣ съ тѣмъ, Погодинъ замѣчаетъ: „Гдѣ не найдется матеріаловъ для Исторіи! Въ военномъ приказѣ, отъ 21 февраля 1851 года, попалось мнѣ на глаза имя *князя Звенигородскаго*. И такъ, отрасль князей Звенигородскихъ здравствуетъ! Въ 1835 году, въ спискахъ одной Кіевской Гимназіи я видѣлъ имя *князя Шуйскаго*. Наконецъ, взглянувъ недавно на ворота одного дома на Басманной улицѣ, я прочелъ имя княгини Елецкой. Вотъ какъ отыскивается наша аристократія..."

Въ это время одинъ Швейцарецъ Блумеръ объявилъ, что онъ въ продолженіе шестнадцати лѣтъ трудился надъ родословнымъ деревомъ древней фамиліи *Чуди* изъ Гларуса, по достовѣрнѣйшимъ извѣстіямъ и оффиціальнымъ источникамъ. По словамъ Блумера, „ни одинъ изъ Швейцарскихъ родовъ, а еще менѣе княжескихъ домовъ, не въ состояніи

представить столь древнюю, такими достовѣрными и офиціальными документами доказанную и совершенно непрерывную родословную, какъ эта благородная фамилія. Члены ея идутъ съ 870 г., въ непрерывной послѣдовательности, а въ 960 г. одинъ получилъ отъ императора Людовика III грамоту на дворянство, сохранившуюся въ подлинникѣ. Фамилія Чуди, которая впродолженіе почти четырехъ столѣтій управляла (до 1256 г.) округомъ Гларусъ, считаетъ посреди себя столь многихъ отличныхъ мужей, храбрыхъ военачальниковъ, знаменитыхъ ученыхъ, помѣщиковъ, земскихъ начальниковъ, рыцарей орденовъ, генераловъ, посланниковъ, духовныхъ сановниковъ обоихъ исповѣданій, — что ея исторія имѣетъ полное право на участіе друзей исторіи".

Прочитавъ это заявленіе, Погодинъ замѣтилъ: „все это прекрасно, но меня интересуетъ больше всего самое имя Tchudi, Чуди, безъ сомнѣнія, не Швейцарское, не Нѣмецкое, ибо начинается звуками Tch, которыхъ нѣтъ въ Нѣмецкомъ языкѣ. Родоначальникъ вѣрно былъ выходцемъ изъ нашихъ странъ. Непремѣнно напишу къ Блумеру письмо, и спрошу у него, какія есть у нихъ догадки о происхожденіи фамиліи Чуди, и кстати увѣдомляю о Чудинѣ, который участвовалъ въ *Правдѣ* сыновъ Ярославовыхъ, и сталъ подлѣ Изяслава, во время Кіевскаго мятежа [291])".

LXVIII.

Судьбы Великаго Новгорода постоянно интересовала Погодина. Въ 1851 году, вышло замѣчательное сочиненіе Красова *О мѣстоположеніи Древняго Новгорода.*

Весьма естественно Погодинъ заинтересовался и сочиненіемъ, и авторомъ, и чрезъ И. К. Купріянова получаетъ о немъ слѣдующія свѣдѣнія: „Красовъ служитъ въ здѣшней (Новгородской) Гимназіи учителемъ Исторіи и сочиненіе свое написалъ для полученія степени магистра Русской Исторіи. Попечитель прочитъ его въ Петербургъ на первую вакансію

по классу Исторіи. У Красова заготовлено нѣсколько добросовѣстныхъ статей по Русской Исторіи, которыя онъ намѣренъ помѣстить въ *Отечественныхъ Запискахъ*, лишь только успѣетъ защитить свою диссертацію, для чего онъ и отправился на дняхъ въ Петербургъ". Препровождая же свою рецензію на сочиненіе Красова, Купріяновъ писалъ Погодину: „Эта статья противорѣчитъ нѣсколько помѣщенной въ *Москвитянинѣ* рецензіи на *Исторію* Соловьева, съ которымъ я невольно сошелся во мнѣніи о покореніи Новгорода, но я не думаю, чтобъ это обстоятельство послужило моей статьѣ въ вину, потому что я дошелъ до тѣхъ же результатовъ, какъ Соловьевъ, совершенно инымъ путемъ". Эта рецензія Купріянова была напечатана въ *Москвитянинѣ* [292]).

Въ то же время Красовъ напечаталъ въ *Новгородскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ* свое изслѣдованіе о числѣ концовъ въ древнемъ Новѣгородѣ. Статья эта тоже заинтересовала Погодина и онъ писалъ: „Подобными изслѣдованіями всего успѣшнѣе, разумѣется, могутъ заниматься мѣстные ученые и любители". Но мѣстный ученый и любитель, сличая разныя показанія о концахъ, говоритъ: „При сличеніи описи съ лѣтописями легко можно заключить, что тѣ улицы, которыя опись показываетъ въ Гончарскомъ концѣ, помѣщаются лѣтописцемъ въ Людинѣ. Слѣдовательно, должно заключать, что первоначально эти мѣста назывались или Людинымъ или Гончарскимъ концомъ, и что во всякомъ случаѣ мѣстность носила разное названіе. Въ Нарядной описи, Гончарскій конецъ называется древнимъ, тогда какъ Людинъ новымъ; принявъ это за истину, мы необходимо должны подорвать довѣренность лѣтописи, именно,—должны будемъ думать, что лѣтописцы говорили несправедливо, помѣщая какую-нибудь улицу въ такомъ концѣ, котораго названіе произошло впослѣдствіи времени".

Но это разсужденіе мѣстнаго ученаго и любителя не понравилось Погодину, и онъ прочелъ ему слѣдующую нотацію: „Вотъ то-то и есть, что мы, не уразумѣвая что-либо въ древнихъ свидѣтельствахъ, не должны, не должны,

не должны тотчасъ *усомниваться* въ ихъ достовѣрности, а искать средствъ *понять* оныя, потому что, понявши какъ слѣдуетъ, мы всегда почти убѣждаемся въ достовѣрности, а не наоборотъ. У насъ была цѣлая школа, приходившая къ заблужденіямъ именно этой ошибкой въ процессѣ разсужденія. Хорошо, что авторъ не подвергся этому грѣху, но лучше, еслибъ онъ не употреблялъ и выраженія „подорвать достовѣрность лѣтописей“ [293]).

Ревностный собиратель Нижегородскихъ древностей іеромонахъ Макарій, впослѣдствіи архіепископъ Донской, по смерти преосвященнаго Іакова былъ переведенъ изъ Нижняго въ Пермь, на должность инспектора тамошней Семинаріи; онъ и въ отдаленной Перми не оставилъ своихъ благородныхъ стремленій къ изученію Русскихъ древностей. 23 октября 1851 года, Макарій обратился къ Погодину съ слѣдующимъ офиціальнымъ представленіемъ: „Господину дѣйствительному члену императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Михаилу Петровичу Погодину. Отъ члена Общества инспектора Пермской Семинаріи профессора іеромонаха Макарія. Честь имѣю увѣдомить ваше высокородіе, что я, по случаю моего перемѣщенія, съ 18 августа живу уже не въ Нижнемъ, а въ Перми. Приступая къ занятію Исторіею и Древностями новаго края, я успѣлъ уже составить и препроводить въ Археологическое Общество двѣ записки: а) о древнемъ посохѣ, извѣстномъ подъ именемъ посоха св. Стефана Пермскаго, и б) о памятникахъ церковной древности въ Далматовскомъ Успенскомъ монастырѣ. А третью записку о замѣчательномъ лицѣ, по сопровождавшимъ его обстоятельствамъ, препровождаю къ вамъ. Если записка можетъ быть помѣщена во *Временникѣ*, то прошу передать ее въ Историческое Общество. Если же тамъ не можетъ, то распорядитесь ею, какъ знаете. Во всякомъ случаѣ, да не погибнетъ первый плодъ Пермскихъ трудовъ моихъ въ вашей столицѣ! Матеріалы для описанія Пермской епархіи въ историко-археологическомъ отношеніи по-немногу мною собираются.

Изъ печатныхъ пособій подъ руками у меня только давнишнее описаніе Пермской губерніи Попова. Прошу васъ помочь мнѣ, если можете, прислать на время или навсегда за деньги труды Берха по части Пермской губерніи: а) его путешествіе, б) грамоты и в) Соликамскій лѣтописецъ, еще сочиненіе Словцева о Сибири въ 1838 году и другія книги, какія вы сочтете нужными для описанія Пермскаго края. Особенно нѣтъ ли чего у васъ о распространеніи христіанской вѣры въ Пермской губерніи, о св. Стефанѣ и его преемникахъ. Здѣсь нѣтъ, ни рукописнаго житія Стефанова, составленнаго ученикомъ преп. Сергія Епифаніемъ, ни даже той книжки *Москвитянина* за 1847 годъ, гдѣ помѣщено посланіе св. Стефана Пермскаго къ Димитрію Іоанновичу Донскому" [294]).

Въ 1850 году, сопутникъ Погодина, П. И. Савваитовъ *), напечаталъ въ Петербургѣ *Грамматику Зырянскаго языка и Зырянско-Русской и Русско-Зырянской словарь*. „Какъ ботаникъ",—читаемъ мы въ *Москвитянинѣ*, — „съ одинаковымъ вниманіемъ наблюдаетъ развитіе дуба и гриба, съ равною любовію смотритъ на благоуханную розу и колючую крапиву,— такъ и филологъ съ одинаковою любознательностію изучаетъ языкъ богатый, мощный, который раздается въ устахъ нѣсколькихъ милліоновъ, и языкъ бѣдный, служащій для выраженія скудныхъ понятій какого нибудь племени, уменьшающагося съ каждымъ годомъ". Далѣе, рецензентъ говоритъ: „Зыряне живутъ въ смежныхъ уѣздахъ губерній Вологодской, Пермской и Архангельской. Святый Стефанъ считается просвѣтителемъ Перми. Онъ изобрѣлъ азбуку для Зырянъ,—а теперь, чрезъ пятьсотъ лѣтъ, Зыряне получаютъ грамматику и словарь... Савваитовъ, извѣстный въ нашей Литературѣ историческими трудами по части Іерархіи", своею *Грамматикою* и *Словаремъ* языка Зырянскаго, составленными „съ

*) Скончался 12 іюля 1895 года, въ монастырскомъ домѣ, близъ Александроневскія Лавры и погребенъ на Волковомъ кладбищѣ, 15 іюля.

чрезвычайною тщательностью и полнотою, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообразно современнымъ требованіямъ науки", положилъ „прочное основаніе лингвистической обработкѣ" языка Зырянскаго [295]).

Самъ же творецъ *Грамматики* и *Словаря* языка Зырянскаго, 5 марта 1851 года, писалъ Погодину: „Не забыли-ль вы меня такъ же, какъ забылъ меня *Москвитянинъ?* Очень жалѣю, если забыли. Чтобъ напомнить вамъ о своемъ существованіи на бѣломъ свѣтѣ, посылаю вамъ при семъ свои издѣлія, въ концѣ минувшаго года вышедшія изъ-подъ станковъ типографическихъ. Работалъ добросовѣстно; а достигъ ли той цѣли, какую имѣлъ въ виду — покажетъ время. Наконецъ-то мы можемъ разбирать и Зырянское древлеписаніе: я сдѣлалъ опытъ — потрудитесь сравнить двѣ нижнія строки того листка, на которомъ помѣщено Пермское или древнее Зырянское письмо, съ выноскою на VI страницѣ предисловія къ Грамматикѣ, и вы увидите, что первый опытъ мнѣ удался, какъ нельзя лучше. Судя по слухамъ, въ вашемъ Обществѣ Исторіи должны быть книги Зырянскія, или по крайней мѣрѣ книги съ Зырянскими приписками, которыя не разобраны за потерею Зырянской азбуки. Я нашелъ эту потерю и нынѣ же отправляю въ Общество свои издѣлія. Если въ Обществѣ найдутся Зырянофилы, то мнѣ хотѣлось бы, чтобъ они сравнили тѣ книги или приписки съ помѣщенными въ моей Грамматикѣ азбуками и съ моимъ Словаремъ—не откроютъ ли они такимъ образомъ чего нибудь добраго?" Въ томъ же письмѣ Савваитовъ спрашиваетъ Погодина: „...А что дѣлать мнѣ съ Вологодскою епархіею и губерніею? Пора бы пустить ихъ въ ходъ, да не умѣю приняться за это дѣло. Что вы скажете? Живу по прежнему и служу—увы! въ той же Семинаріи; сижу ex officio надъ священными глаголами и Эллинскою мудростію, а не надъ тѣмъ, чѣмъ бы хотѣлось заняться..."

Въ 1851 году, П. И. Мельниковъ рекомендовалъ Погодину Василія Павловича Васильева, какъ ученаго, у котораго

можно позаимствовать важныя свѣдѣнія для Исторіи Монгольскаго періода Русской Исторіи. При этомъ Мельниковъ проситъ „приголубить“ Васильева, „завербовать его въ свой приходъ, покуда онъ еще не попалъ ни къ кому“. „У него“,— пишетъ Мельниковъ,— „множество запасовъ, но не поповскихъ (разумѣю духовную миссію), а ученыхъ въ настоящемъ смыслѣ слова со взглядомъ разностороннимъ. Повѣрьте мнѣ, что этотъ новый синологъ не въ версту будетъ знаменитому Іакинѳу Бичурину. Что онъ говорилъ объ Амурѣ, о нашихъ отношеніяхъ, о Англійской войнѣ — все это садись да прямо въ книгу. Какъ историку, скажу вамъ одно: въ Китайскихъ лѣтописяхъ есть упоминаніе, что Батый двѣнадцать тысячъ Русскихъ семействъ выслалъ въ Китай. Въ одной изъ отдаленныхъ провинцій есть племя, совершено окитаившееся, но сохранившее одно отъ своихъ предковъ—это Русскую печь, совершенно какъ у нашихъ крестьянъ въ избѣ. Печь эта зовется пе-чи Въ горахъ близъ Тибета есть родоначальники Нѣмцевъ—множество Нѣмецкихъ словъ: der, die, das и пр. Самое презрѣнное племя Китая, по словамъ Васильева. Онъ получилъ каѳедру Китайскаго и Манджурскаго языковъ въ Казанскомъ Университетѣ. Если вы его о чемъ спросите, ручаюсь какъ за себя, онъ будетъ весь къ вашимъ услугамъ“.

LXIX.

9 февраля 1851 года, М. М. Стасюлевичъ писалъ Погодину: „Вчера въ нашемъ Университетѣ былъ актъ. Я васъ извѣщаю о немъ по случаю одной диссертаціи, интересной и для васъ. Тема для историко-филологическаго факультета на прошедшій годъ была изъ Русской Исторіи: о причинахъ возвышенія Московскаго Княжества. Диссертацій было подано четыре. Изъ нихъ одна получила золотую медаль и будетъ напечатана на счетъ Университета. Сколько я могъ судить по рецензіи Устрялова, читанной на актѣ, авторъ диссертаціи, разобравъ подробно мнѣнія Карамзина, Каченовскаго, Полевого, Со-

ловьева, остановился на вашемъ мнѣніи; а ваша статья *о приращеніи Москвы* по своей идеѣ служила ему главною опорою. По отзыву Устрялова, вся диссертація отличается критическимъ направленіемъ и при томъ добросовѣстнымъ; особенно замѣчательно изложеніе царствованія Даніила Александровича".

Диссертація эта принадлежитъ перу Владиміра Ивановича Вешнякова, нынѣ члена Государственнаго Совѣта.

Авторъ не замедлилъ представить свою диссертацію Погодину при слѣдующемъ письмѣ (2 іюня 1851 г.): „Позвольте мнѣ имѣть честь представить вамъ свое разсужденіе: *О причинахъ возвышенія Московскаго Княжества*. Для меня это долгъ тѣмъ болѣе пріятный, что я знаю, съ какимъ благосклоннымъ вниманіемъ вы смотрите на всякій трудъ по части Русской Исторіи студента, еще мало опытнаго въ этомъ дѣлѣ; знаю, что самыя интересныя свои изслѣдованія вы посвятили студентамъ. Это подаетъ мнѣ надежду, что мой опытъ найдетъ въ васъ судью, хотя и безпристрастнаго, но снисходительнаго къ неопытности юноши; ибо вотъ все, что я могу сказать въ защиту тѣхъ недостатковъ, которые вы замѣтите въ моей диссертаціи. Смѣю увѣрить васъ только въ одномъ, что она писана съ любовью къ предмету и съ полнымъ убѣжденіемъ, о правильности котораго предоставляю судить людямъ, болѣе знающимъ это дѣло, чѣмъ камералистъ 3-го курса".

Получивъ отъ Погодина ободрительное письмо, Вешняковъ писалъ ему: „На дняхъ только узналъ я отъ Стасюлевича, что вы возвратились въ Москву, и потому спѣшу поблагодарить васъ за ваше благосклонное ко мнѣ вниманіе. Я имѣлъ честь получить ваше письмо еще въ іюлѣ мѣсяцѣ чрезъ Стасюлевича, но не отвѣчалъ вамъ тотчасъ, зная о вашемъ отсутствіи изъ Москвы и не желая, чтобы письмо мое къ вамъ какъ нибудь затерялось. Благодарю васъ за ваше лестное поощреніе моего незрѣлаго и слабаго труда, равно какъ и за готовность вашу подкрѣплять меня вашими опытными совѣтами. Къ величайшей досадѣ моей, я не могу сообщить вамъ теперь ни о ка-

кихъ занятіяхъ по Русской Исторіи, потому что въ нынѣшнемъ году долженъ хлопотать единственно о выпускныхъ экзаменахъ, которые сравнительно съ предыдущими гораздо труднѣе; но какъ только я вырвусь на свободу, тотчасъ— за Русскую Исторію! И прежде всего я думаю заняться, по совѣту Устрялова, разработкой мѣстничества, какъ предмета наименѣе изслѣдованнаго и разъясненнаго. Трудность этого вопроса меня не такъ пугаетъ; ибо я знаю, что ни вы, ни Устряловъ не откажете мнѣ въ совѣтѣ.

Теперь я всегда съ любопытствомъ открываю каждый новый нумеръ *Москвитянина*, надѣясь найти въ немъ какую нибудь замѣтку о моей диссертаціи. Мнѣ чрезвычайно интересно знать, нашли ли вы въ ней тѣ качества, которыя думали открыть, перелистывая только ее, или окончательное мнѣніе ваше, по прочтеніи ея, менѣе благопріятно для меня. Въ томъ и другомъ случаѣ я готовъ выслушать вашъ приговоръ безпрекословно, и всякое замѣчаніе ваше, какъ бы оно ни было строго, будетъ принято мною съ благодарностью; ибо я очень хорошо знаю, что, только слѣдуя указаніямъ истинныхъ знатоковъ предмета, и можно освободиться отъ тѣхъ недостатковъ и промаховъ, которые всегда неразлучны съ первыми трудами неопытной юности" [296]).

Сколько намъ извѣстно, рецензіи на сочиненіе Вешнякова въ *Москвитянинѣ* не появлялось. По поводу замѣчаній объ этомъ сочиненіи, напечатанныхъ въ *Сѣверной Пчелѣ*, Погодинъ писалъ: „Въ *Сѣверной Пчелѣ*, среди замѣчаній о разсужденіи Вешнякова *(О причинахъ возвышенія Московскаго Княжества)*, Московскіе князья объявлены „старшинами въ родѣ потомства Рюрикова". Смѣю увѣрить достопочтеннѣйшаго Ѳаддѣя Венедиктовича, что Московскіе князья были не только не старшими, даже и не средними, а самыми младшими въ родѣ потомства Рюрикова. Еще болѣе: они были младшими не только въ потомствѣ Рюрика, но даже и въ потомствѣ втораго родоначальника ихъ, Ярослава Всеволодовича. А именно: отъ старшаго брата Ярославова—Констан-

тина происходятъ князья Ростовскіе, Углицкіе и проч. Отъ старшаго сына Ярославова—Андрея, произошли князья Суздальскіе и Нижегородскіе. Нечего говорить о старшинствѣ предъ ними князей Рязанскихъ, Смоленскихъ, Галицкихъ. И изъ сыновей Невскаго, Московскіе происходятъ отъ меньшаго, Даніила. И даже сыновья Даніиловы—Георгій и Іоаннъ Калита искали себѣ великаго княженія предъ старшимъ своимъ дядей, Михаиломъ Ярославичемъ Тверскимъ, вопреки понятію о старшинствѣ. Слѣдовательно, для исторіи первыхъ князей Московскихъ можно взять девизомъ Евангельское слово о послѣднихъ, которые будутъ первыми; а идея Булгарина, впрочемъ совершенно справедливая, не имѣетъ здѣсь приложенія".

Погодинъ всегда отдавалъ должную справедливость трудамъ князя М. А. Оболенскаго, который, по словамъ его, достойно шелъ по слѣдамъ своихъ знаменитыхъ предшественниковъ въ ученомъ управленіи Московскимъ Архивомъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ.

Въ 1851 году, вниманіе Погодина обратила, изданная княземъ Оболенскимъ *Соборная грамота Духовенства Православной Восточной Церкви, утверждающая санъ царя за великимъ княземъ Іоанномъ IV Васильевичемъ, 1561 года.* На это изданіе онъ предложилъ съ своей стороны нѣсколько замѣчаній.

„По свидѣтельству отечественныхъ источниковъ",—говоритъ издатель, — „Іоаннъ, достигнувъ семнадцатилѣтняго возраста, пожелалъ вѣнчаться на царство". Пора, пора намъ оставить эти формы лѣтописныхъ выраженій и отыскивать настоящій смыслъ: молодому Іоанну, безъ всякаго приготовительнаго воспитанія, проведшему свое время Богъ знаетъ какъ, не могла придти въ голову подобная мысль; мысль принадлежитъ, безъ сомнѣнія, митрополиту Макарію. Макарій, вѣнчавъ на царство Іоанна, сочелъ за нужное, заблагоразсудилъ, спросить благословенія и отъ Восточной Церкви. Отъ имени царя отправлялось къ патріархамъ по-

сольство, и привезло въ 1561 году грамоту, вслѣдствіе соборнаго опредѣленія. Грамота эта была извѣстна Карамзину и Строеву, но не вполнѣ. За изданіе ея, за приложеніе отрывковъ изъ статейнаго списка, за описаніе титулярниковъ, мы должны благодарить, но издатель входитъ въ новое изслѣдованіе о присылкѣ регалій Мономаху, о коихъ говорится де, одинаково въ Греческой грамотѣ и лѣтописи Русской. „Такое согласіе преданій, находимыхъ у двухъ народовъ, которые раздѣлены территоріею (!), не могло быть случайнымъ: оно должно основываться на дѣйствительномъ событіи. Соображеніе различныхъ обстоятельствъ... какъ нельзя болѣе подтверждаетъ наше положеніе". А мы думаемъ совсѣмъ напротивъ.

Сперва издатель разсуждаетъ, къ какому Владимиру присланы регаліи, и объясняетъ, что не къ Святославичу и не къ Ярославичу. Это пріемъ критики старой, вовсе лишній: въ документѣ, какомъ бы то нибыло, названъ Всеволодовичь,— такъ къ чему толковать тутъ о прочихъ Владимирахъ?

„Мы знаемъ",—говоритъ авторъ,—„годъ смерти Владимира Всеволодовича: онъ скончался 19 мая, 1125 года, семидесяти трехъ лѣтъ. Отсюда слѣдуетъ, что годомъ его рожденія былъ 1052 годъ".

Разсчета никакого дѣлать ненужно, ибо годъ рожденія Мономахова у Нестора положительно записанъ: въ лѣто 6561 — 1053: отъ Всеволода родися сынъ, и нарече имя ему Володимеръ, отъ царицѣ Грекынѣ.

„Весьма естественно, что императоръ (Константинъ Мономахъ † 1054), не оставляя послѣ себя потомства по мужескому колѣну, желалъ передать, и дѣйствительно передалъ царское достоинство, вмѣстѣ съ регаліями, своему малюткѣ внуку, какъ великое наслѣдіе въ своемъ родѣ. А потому нѣтъ никакого основанія сомнѣваться въ томъ, что въ послѣдніе годы своей жизни императоръ Константинъ нарочно отправлялъ въ Россію патріарха Антіохійскаго и митрополита Эфесскаго, которые вѣнчали царемъ его малолѣтняго внука

Владимира Всеволодовича и передали въ родъ этого князя царственныя регаліи".

Отвѣчаемъ: императоръ Константинъ могъ завѣщать новорожденному своему внуку Греческую имперію, а о Русскомъ царствѣ онъ и думать не могъ, всего менѣе распоряжаться: внукъ его былъ сынъ третьяго удѣльнаго князя, которому самому было очень далеко до Кіевскаго стола, отцу и двумъ старшимъ братьямъ со многими сыновьями живымъ сущимъ.

Согласіе Греческой грамоты съ Русскими извѣстіями ничего не значитъ по моему мнѣнію: въ грамотѣ Греческой вѣроятно были *прописаны* обстоятельства, указанныя въ Русской.

Что говоритъ еще въ примѣчаніяхъ авторъ о Мономахѣ, то принадлежитъ къ ложному роду изслѣдованій, противъ котораго говорено въ *Москвитянинѣ* часто: отъ чего не воспоминаетъ о регаліяхъ Мономахъ въ Духовной, отъ чего не описана присылка въ Греческихъ лѣтописяхъ — все это гаданія лишнія. Любопытнѣе было бы изслѣдовать, *когда* къ намъ попало извѣстіе о присылкѣ регалій: сочинилось ли оно при Грозномъ, или было прежде его? Мы находимъ оное въ спискѣ такъ называемомъ Воскресенскомъ—предметъ будущихъ изслѣдованій, по новымъ даннымъ.

Изданіе слишкомъ великолѣпно, и на пробѣлахъ можно бы помѣстить много добраго" [297]).

Собираніе Древлехранилища давало случай Погодину входить въ сношенія и съ простыми, ревнителями Отечественной старины, неимѣющими ученаго ценза. Къ ихъ историческому міросозерцанію онъ не относился съ высоты своей учености, а напротивъ, прислушивался къ нему внимательно и поучался.

4-е іюня 1851 года, Погодинъ получаетъ нижеслѣдующее соборное посланіе, подписанное Василіемъ Курсаковымъ и Иларіономъ Смирновымъ. Текстъ этого письма мы приводимъ съ дипломатическою точностью: „Ваше высокородіе, многоуважаемый нашъ Михаилъ Петровичъ. Простите наше неразуміе—съ какимъ мы осмѣливаемся къ вамъ

писать сіи строки. Хотя мы и неразумны, но и не прельщены философіею и тщетною лестію, по преданію человѣческому и по стихіямъ міра, но поучаемъ себя, самихъ во псалмѣхъ и пѣснехъ и пѣніяхъ духовныхъ, а потому то это самое и заставляетъ насъ и влагаетъ ревность къ славѣ Бога всемогущаго, и любовь къ отечеству, чтобъ утруждать васъ и зная при томъ что вы все и вся знаете, и имѣете у себя неоцѣненные сокровища, драгоцѣнные православному истинному Русскому сердцу. Какъ мы сказали что не иное что какъ ревность по Богѣ и любовь къ отечеству заставляетъ насъ утруждать васъ.

Вчера, то-есть, въ воскресеніе, 3-го сего іюня—истиннаго времени — православнаго счисленія, мы были въ дружеской бесѣдѣ, гдѣ говорено было, что будто поданъ проектъ къ его сіятельству Моск. военн. генер. губерн. графу Арсенію Андреевичу Закревскому, о приличномъ украшеніи священнаго Лобнаго мѣста, и о уничтоженіи около него нечистоты.

А о значеніи сего священнаго памятника въ религіозномъ и историческомъ отношеніяхъ утруждали будто бы ваше превосходительство, чтобъ вы изволили потрудиться сдѣлать описаніе. Есть ли то и другое (дай Господи! чтобъ было это такъ) справедливо, то просимъ васъ не оставить добраго сего начинанія усердствующихъ, и не замедлить вашею выпискою о этомъ важномъ предметѣ. Дѣлайте дондеже день есть говоритъ Спаситель, то есть пока продолжается наша жизнь, пріидетъ нощь еже никтоже можетъ дѣлати то есть смерть. Мы знаемъ, что вамъ все извѣстно, какъ мощи Св. Димитрія царевича стояли на Лобномъ мѣстѣ, въ Москву принесенныя изъ Углича.

И какъ, по освобожденіи Москвы отъ Поляковъ, 22 октября 1613, на Лобномъ мѣстѣ было молебствіе съ Казанскою иконою Пресв: Богородицы, и какъ по избраніи на царство Михаила Романова, на Лобномъ мѣстѣ, Авраамій Палицынъ возвѣстилъ народу о избраніи его, и множество другихъ событій совершившихся на Лобномъ мѣстѣ.

Ни въ одномъ описаніи мы не нашли важнаго обстоятельства того, отъ котораго можетъ быть послѣдовало и устроеніе Лобнаго мѣста, и во время крестныхъ хожденій молебное пѣніе на ономъ, а именно какъ пишется въ книгѣ *Степенной*, и въ описаніи *Троицкаго Сергіева Монастыря* что: „когда въ 1521 г. было нашествіе на Россію Керимъ Гирея, было видѣніе престарѣлой, благочестивой жизни и лишенной зрѣнія инокинѣ Вознесенскаго монастыря, со многими другими благочестивыми женами. Оглашенная необыкновеннымъ шумомъ, она увидѣла что во Фроловскія, нынѣ Спасскія, врата идетъ сонмъ святолѣпныхъ мужей, шествіе имѣло видъ крестнаго хода; между ними находились: св. Петръ, Алексій, Іона митр: Моск: и Леонтій Ростовскій чудот: съ чудотворною иконою Владимірскія Божія Матери. По выходѣ во Фроловскіе врата, встрѣчены были съ Ильинскаго торга двумя св: старцами; одинъ изъ нихъ былъ св. Сергій Рад: чюдот: а другой св: Варлаамъ Хутын: чудотворецъ. Святые подвижники стали умолять отходящихъ, зачѣмъ выходятъ и оставляютъ градъ? Тіи отвѣтствовали, что по волѣ Бога за нечестіе города. Потомъ Сергій и Варлаамъ съ святители стали совершать совокупленную молитву и оградивъ градъ крестомъ четверочастно съ кажденіемъ и окропленіемъ св: водою, всѣ возвратились во градъ. И Москва спасена! Инокиня во увѣреніе бывшаго чуднаго видѣнія прозрѣла. Не это ли самое чудо послужило къ основанію Лобнаго мѣста? и не съ того ли самаго времени изображены на Спасскихъ вратахъ на чудотворной иконѣ Спасителя, Сергій и Варлаамъ въ моленіи колѣнопреклонными? И не на томъ ли самомъ мѣстѣ великіе подвижники явились, гдѣ стоитъ Лобное мѣсто? Какъ сказано въ *Степенной книгѣ*, „съ Ильинскаго торга?“ Насъ заставляетъ все это думать такъ, какъ одно съ другимъ почти соединено вмѣстѣ. Хорошо, весьма хорошо это изображено въ церькви Владимірскія Богородицы что у Никольскихъ воротъ На западной стѣнѣ, шествіе этаго видѣнія. Мы же единеми усты и единѣмъ сердцемъ да славимъ св: вѣликолѣпое имя отца и сына

и св: духа. Даждь Господи, да совершится ето предпріятіе! Чего мы не терпѣливо желаемъ видѣть въ память грядущему помомству. При чемъ и остаемая вашего превосходительства покорнѣйшими слугами *Василій Курсановъ и Иларіонъ Смирнофъ*. Іюня 4-го дня 1851 (*Мартовскаго* года 4-го мѣсяца; *Сентябрьскаго* года 10-го мѣсяца; январскаго года 6-го мѣсяца) истиннаго православнаго, а не 16-го дня еретическаго Григоріанскаго, которыя празднуетъ Пасху вмѣстѣ съ жидами.

Михаилъ Петровичь! Вы принадлежите къ вышнему образованному сословію, а потому мы и утруждаемъ васъ, какъ близкаго къ сановникамъ и властямъ столицы, и просимъ васъ, какъ истиннаго сына церкви: внушить имъ и съ вашей стороны о украшеніи этого священнаго памятника, какъ недавно возобновленъ памятникъ и гражданина Минина и князя Пожарскаго и желательно бы видѣть на немъ, то-естъ, на наружности кругомъ написанныя масляными красками иконнымъ Греческимъ письмомъ событія вышеописанныя и прочія совершившіяся здѣсь съ подписями чудеса какія вы представить заблагоразсудите, чѣмъ современниковъ и потомство, облагодѣтельствовали бы и оставили въ душахъ ихъ вѣчную вамъ благодарность. Тогда всѣмъ и каждому извѣстно было бы что такое значитъ Лобное мѣсто, какъ въ религіозномъ такъ историческомъ его значеніи".

Приведенное посланіе показываетъ, на сколько былъ извѣстенъ Погодинъ въ Московскомъ народѣ и съ какимъ довѣріемъ относился онъ къ нему.

Изъ Варшавы, отъ П. А. Муханова, Погодинъ получаетъ любопытныя свѣдѣнія о Ростригѣ. „Въ Краковѣ",—писалъ онъ,— „отысканъ любопытный манускриптъ: Исторія Краковскихъ іезуитовъ 1579—1630 гг. Въ ономъ авторъ іезуитъ Ioielewicki разсказываетъ пребываніе въ Краковѣ Димитрія, по собраннымъ на мѣстѣ свѣдѣніямъ, а также пребываніе Димитрія самозванца въ Россіи по свѣдѣніямъ, полученнымъ авторомъ отъ іезуита Sawickiego, который былъ священникомъ капланомъ при Маринѣ Мнишекъ. Между прочимъ сказано: „Какой-то юноша Дмитрій,

выдающій себя за сына царя Ивана, прибылъ изъ Москвы въ Кіевъ, оттуда пробравшійся въ Краковъ и когда тамъ жилъ притянули его іезуиты на лоно Римско-Католической церкви и все по волѣ аллаха. Почеркъ рукописи современный, писано по-латыни; перевожу—и вѣроятно напечатаю".

А. А. Куникъ рекомендовалъ Погодину владѣльца альбома Олеарія Везенмейера. „Позвольте мнѣ",—писалъ Куникъ,—представить вашему дружескому вниманію доктора медицины, Везенмейера, который владѣетъ древнимъ альбомомъ Олеарія. Везенмейеръ вполнѣ заслуживающій уваженія человѣкъ" [298]). Познакомившись съ этимъ достопамятнымъ альбомомъ, Погодинъ писалъ: „Прежде всего я долженъ сказать читателямъ нѣсколько словъ объ альбомѣ Олеарія... Какъ! объ альбомѣ Олеарія? У Олеарія былъ альбомъ? Да, да, у Олеарія былъ альбомъ, у того Олеарія, который находился въ посольствѣ къ царю Михаилу Ѳеодоровичу, посѣтилъ Персію и оставилъ намъ любопытнѣйшее описаніе своего путешествія. Я видѣлъ самъ этотъ альбомъ. Докторъ Везенмейеръ, проѣзжавшій черезъ Москву въ Саратовъ, показалъ мнѣ его... Я задрожалъ, увидя драгоцѣнность, началъ перелистывать—и повѣяло на меня Русской стариною съ завѣтныхъ страницъ. Путешественникъ просилъ, видно, всѣхъ начальниковъ въ странахъ, чрезъ кои проѣзжалъ онъ, писать ему на память что-нибудь въ альбомѣ. Здѣсь встрѣчаются отрывки Нѣмецкіе, Шведскіе, Персидскіе, Турецкіе и Русскіе. Что же заключается въ Русскихъ? Стихи изъ псалмовъ и другія изреченія Священнаго Писанія. Я воображаю себѣ, что Русскій воевода или дьякъ, получивъ странное для него предложеніе, усомнился: на что Нѣмцу его рука или память, нѣтъ ли здѣсь подлогу какого, чтобъ не попасть подъ отвѣтственность, въ опалу! Подумалъ Русскій человѣкъ, да и подмахнулъ: Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ, и тому подобное,—и всетаки утаилъ свое имя, ибо гдѣ рука де, тамъ и голова. Только двое дьяковъ были по-бойчѣе, въ Казани и Астрахани, Кирилловъ и Осиповъ, которые подписались подъ те-

кстами. Вечеромъ, я не могъ никакъ утерпѣть и написалъ посланіе къ почтенному доктору, прося его уступить мнѣ эту примѣчательность, на какихъ угодно условіяхъ, но, увы, получилъ въ отвѣтъ, что онъ далъ слово привезть ее назадъ въ Отечество, на берега Некара, гдѣ получилъ ее въ наслѣдство отъ потомковъ Олеарія. Кстати, бесѣдуя съ проѣзжавшимъ докторомъ объ его ученыхъ занятіяхъ на берегахъ Волги, объ его знакомствахъ съ собратами по ремеслу, не могъ я не замѣтить различія между иностранными и нашими провинціальными врачами, которые, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, много еще должны уступать первымъ, касательно общаго образованія; а общее образованіе одно могло бы усладить много ихъ скучныхъ часовъ и въ семействѣ и въ обществѣ, и принести имъ даже вещественную пользу. Не говорю о распространеніи свѣдѣній о Россіи и проч.—Гдѣ же и какъ получать имъ общее образованіе, чтобъ выдерживать состязаніе вообще съ иностранцами? Объ этомъ поговоримъ когда-нибудь послѣ".

LXX.

Извѣстно, что Погодинъ благоговѣлъ передъ Петромъ Великимъ. Всякая черта изъ его жизни была для него драгоцѣнна. Въ *Москвитянинѣ* 1851 года, была напечатана статья о ботикѣ Петра Великаго [299]). По поводу этой статьи, Борисовъ изъ Переяславля Залѣсскаго писалъ Погодину. „Я очень сожалѣлъ, что въ той статьѣ не упомянуто было о томъ, что Лефортъ, участвовавшій въ построеніи первенца Русскаго флота, пожалованъ былъ генералъ-адмираломъ и въ тотъ же день, 1691 года, мая 1 дня, учрежденъ соборный крестный ходъ на Клещино озеро. При крестномъ ходѣ, Великій Петръ былъ на этомъ ботикѣ и производилъ пальбу изъ пушекъ, а Гордонъ, стоявши съ пѣхотою на берегу, стрѣлялъ изъ ружей. Крестный ходъ до сихъ поръ существуетъ въ шестое воскресеніе послѣ Пасхи. Есть однако преданіе, что крестный ходъ существовалъ и прежде, но только изъ тѣхъ цер-

квей, которыя стоятъ на берегахъ рѣки Трубежа. Петръ же Великій учредилъ соборное шествіе и по совершеніи Божественной Литургіи на набережной Четыредесятской церкви, все духовенство садится въ полномъ облаченіи въ лодки и, при достиженіи средины озера, служитъ молебенъ. На дняхъ я собираюсь въ городъ, въ Ѳедоровскій монастырь. Тамъ обѣщали мнѣ показать келью, въ которой жила будто бы нянюшка Петра I. Есть, говорятъ, въ монастырѣ объ этомъ и документы. Ежели я найду что-нибудь интересное, то не премину васъ увѣдомить".

Въ письмѣ, отъ 9 августа 1851 года, А. А. Куникъ, между прочимъ, сообщаетъ Погодину, что „отчасти для здоровья, отчасти исполняя дружеское приглашеніе, онъ ѣздилъ этимъ лѣтомъ два раза въ старую Финляндію (въ Выборгскую губ.), гдѣ, у пробста Гиппинга, нашелъ почти уже совсѣмъ обработанное имъ на Шведскомъ языкѣ сочиненіе о Шведскомъ городѣ и крѣпости Ньеншанцѣ. Сочиненіе это, по мнѣнію Куника, проливаетъ много свѣта на Шведскую политику, на Шведо-Русскую торговлю до Петра, на стремленіе Густава-Адольфа обращать Русскихъ въ протестантизмъ и т. п. Городъ Ньеншанцъ имѣлъ 1700 жителей, около 500 домовъ, въ немъ были: Шведская, Нѣмецкая и Русская церкви. Русскій священникъ зависилъ отъ протестантскаго суперинтендента въ Нарвѣ. Куникъ уговорилъ Гиппинга издать это сочиненіе на Русскомъ языкѣ, полагая, что оно имѣетъ большое значеніе и тѣсную связь съ исторіей основанія Петербурга, о которомъ у насъ существуютъ доселѣ только смутныя представленія" [300]).

Въ числѣ разныхъ бумагъ XVIII вѣка, И. Е. Забѣлину встрѣтился проектъ завоеванія Америки, поданный Петру Великому. „Къ сожалѣнію",—замѣчаетъ Забѣлинъ,—„имя автора неизвѣстно; но, вѣроятно, онъ былъ Голландецъ, потому что оригиналъ, съ котораго въ то время сдѣланъ переводъ, писанъ на Голландскомъ языкѣ. Времени, когда былъ поданъ переводъ, мы также на знаемъ; можно, впрочемъ, до-

гадываться, что это было незадолго до кончины Петра. Вмѣстѣ съ проектомъ представлена была карта, но она не сохранилась". И. Е. Забѣлинъ сообщилъ этотъ проектъ, переведенный на Русскій языкъ Петромъ Ларіоновымъ, Погодину, который и напечаталъ его въ *Москвитянинѣ*.

Почтенный начальникъ Московскаго Архива Министерства Юстиціи П. И. Ивановъ доставилъ Погодину, для напечатанія въ *Москвитянинѣ*, просьбу Тредьяковскаго въ Сенатъ. По этому поводу, Погодинъ высказалъ весьма замѣчательныя мысли объ этомъ писателѣ. „О Тредьяковскомъ",—писалъ онъ,—„собралось у меня теперь множество матеріаловъ,—на цѣлую книгу,—кои будутъ ожидать добросовѣстнаго дѣятеля. Пора реставрировать это лицо, изуродованное невѣжествомъ, легкомысліемъ, опрометчивостью. Тредьяковскій точно былъ страненъ, смѣшенъ, съ нѣкоторыхъ сторонъ, за то съ другихъ, опускаемыхъ совершенно изъ виду, онъ достоинъ нашего уваженія и благодарности, какъ первый труженикъ и страдалецъ Русской Литературы".

Въ любопытной статьѣ о Московскомъ Каменномъ мостѣ, И. М. Снегирева, помѣщенной въ *Полицейскихъ Вѣдомостяхъ*, сказано между прочимъ, что Москва обязана своимъ устроеніемъ графу Брюсу, преемнику графа Чернышова. Но Погодинъ съ этимъ не соглашается. „Едва ли это такъ",—замѣчаетъ онъ,—„Москва обязана своимъ устроеніемъ графу Захару Григорьевичу Чернышову, котораго общее преданіе почитаетъ знаменитѣйшимъ градоначальникомъ, и причисляетъ къ сонму государственныхъ первоклассныхъ людей Екатеринина вѣка. Отъ многихъ современниковъ слышалъ я слѣдующій анекдотъ, кажется, и напечатанный гдѣ-то: на одномъ почетномъ обѣдѣ, графъ Брюсъ отозвался какъ-то неуважительно о нѣкоторыхъ распоряженіяхъ своего предшественника. Митрополитъ Платонъ, тамъ присутствовавшій, прервалъ его тотчасъ съ свойственною ему откровенностью и живостью. „Я совѣтовалъ бы вамъ,—сказалъ онъ,—отзываться осторожнѣе о такихъ людяхъ, какъ графъ Захаръ Григорье-

вичъ. Они родятся вѣками. Вотъ мы съ вами, такъ родимся безпрестанно: то Платонъ, то Брюсъ, то Платонъ, то Брюсъ" [301]).

Съ 1851 года, графъ Д. А. Толстой началъ трудиться надъ Исторіею католичества въ Россіи. За источниками онъ обратился къ Погодину, и 7-го августа того же года, онъ писалъ ему: „Позвольте напомнить вамъ, многоуважаемый Михаилъ Петровичъ, ваше обѣщаніе: сообщить мнѣ, что вы знаете и имѣете свѣдѣній о католичествѣ въ Россіи; прошу васъ объ этомъ не для себя и не для ученыхъ только занятій, а потому что свѣдѣнія, ежели бы я могъ получить ихъ въ скоромъ времени, были бы полезны для самого дѣла. Это заставляетъ меня надѣяться, что вы не откажете мнѣ въ этой просьбѣ; ежели бы потребовалось что̀ переписать или выписать, то прошу заплатить за меня, повѣривши въ кредитъ. Въ настоящую минуту, мнѣ въ особенности нужно все, что только сколько-нибудь можетъ касаться до попытокъ введенія католичества *собственно въ Россіи;* западными губерніями я занимаюсь основательно и имѣю довольно матеріаловъ. Чувствую, что не имѣю никакого права просить васъ о томъ, что долженъ бы былъ сдѣлать самъ, но не могу теперь выѣхать изъ Петербурга ни на недѣлю; а между тѣмъ, самое малѣйшее свѣдѣніе, намекъ, мысль, которые вы мнѣ передали бы теперь по этому предмету, были бы чрезвычайно полезны, и въ особенности ежели бы это могло сдѣлаться поскорѣе. Ежели вы хотите быть любезнымъ до конца, какъ говорятъ Французы, то напомните, сдѣлайте одолженіе, Степану Петровичу Шевыреву, что онъ мнѣ обѣщался прислать, что̀ ему случиться найти о католичествѣ; теперь это было бы чрезвычайно кстати".

Въ другомъ письмѣ своемъ графъ Толстой настаиваетъ на своей просьбѣ. „Послѣ многократныхъ просьбъ моихъ",— писалъ онъ,—„выраженныхъ неопредѣленно, въ общихъ словахъ, позвольте принести частную, но положительную: не можете ли вы поручить кому-нибудь списать для меня находящееся въ рукописномъ *Патерикѣ* Царскаго, посланіе

Ѳеодосія къ великому князю Изяславу о Варяжской вѣрѣ, а также и изъ *Патерика*, который есть у васъ, повѣривши мнѣ въ кредитъ, что̀ будетъ стоить переписка. Искренно уважаю васъ и люблю, но не могу скрыть отъ васъ, не вижу, чтобы вы были слишкомъ сообщительны, когда дѣло коснется до вашей библіотеки. Увѣрьте, прошу, и удостовѣрьте въ противномъ". Наконецъ, выручивъ изъ неловкаго положенія одного изъ агентовъ Погодина, графъ Толстой писалъ послѣднему, что онъ это сдѣлалъ „какъ истый чиновникъ—не за даромъ, а за взятку, которая должна состоять въ исполненіи вашего обѣщанія: сообщить мнѣ все, что̀ есть у васъ въ библіотекѣ неизвѣстнаго еще по Исторіи католичества въ Россіи, или гдѣ подъ руку попадется посланія ли папскія, упоминанія о католическихъ церквахъ или священникахъ въ Россіи, попытки еще необнародованныя провести къ намъ католицизмъ и т. п. Не будьте егоистомъ, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, и не откажите содѣйствовать въ дѣлѣ, которое, увѣряю, клонится къ общей пользѣ, по мѣрѣ того, какъ я могу по моимъ способностямъ и способамъ".

Извѣстный юристъ П. Д. Калмыковъ, напечатавъ въ 1851 году свое сочиненіе о литературной собственности, отправилъ экземпляръ онаго къ Погодину, при слѣдующемъ письмѣ: „Честь имѣю представить вамъ мое разсужденіе о литературной собственности вообще и въ особенности объ исторіи правъ сочинителей въ Россіи. Если оно обратитъ на себя ваше благосклонное вниманіе, то вы, безъ сомнѣнія, не откажете удостоить меня вашими замѣчаніями, указаніями, наставленіями на счетъ предмета, такъ тѣсно связаннаго съ Древностями и Исторіею нашего Отечества. Я привыкъ уважать въ васъ ревностнаго, благороднаго ратоборца за истину историческую,—потому можете себѣ представить, какъ драгоцѣненъ будетъ для меня вашъ безпристрастный отзывъ о моемъ опытѣ. Представляемое вамъ произведеніе мое есть собственно отрывокъ изъ введенія историческаго къ составляемой мною монографіи о литературной собственности: не

смотря на малый свой объемъ, оно стоило мнѣ довольно значительной работы, и съ позволительною для всякаго труженика увѣренностью могу сказать, что я трудился ревностно и добросовѣстно".

Желаніе П. Д. Калмыкова было исполнено. Въ *Москвитянинѣ* появилась одобрительная рецензія на его трудъ; но, въ заключеніи оной, Погодинъ замѣтилъ, что авторъ „при своихъ познаніяхъ и талантахъ избралъ предметъ столь тощій и Нѣмецкій".

До Погодина дошелъ слухъ, что Плетневъ пишетъ Исторію Русской Литературы; и слухъ этотъ, къ сожалѣнію, оказался невѣрнымъ. „Вамъ насказали на меня,"—писалъ Плетневъ,—„будто я пишу характеристики знаменитыхъ современниковъ. Сами разсудите, въ такую ли эпоху мы живемъ, чтобы приниматься за столь щекотливый трудъ. Цензура не допускаетъ и самыхъ невинныхъ представленій воображенія. Чтожъ будетъ съ изображеніемъ дѣйствительности? Развѣ напечатать, какъ покойный Полевой,—формулярные списки современниковъ, обогативъ ихъ выписками изъ *Родословныхъ* Щербатова? Игра не стоитъ свѣчъ".

LXXI.

Въ концѣ 1851 года, великій князь Константинъ Николаевичъ, по поводу болѣзни великой княгини Александры Іосифовны, долженъ былъ, по предписанію врачей, ѣхать въ Венецію, и тамъ прожить зиму. Передъ отъѣздомъ, онъ писалъ Жуковскому: „Господь Богъ одарилъ насъ послѣднее время такимъ счастіемъ, что я чувствъ не найду, чтобъ выразить всю мою благодарность... Жена моя—сущій ангелъ... и въ этой ангельской семьѣ, далеко отъ большого свѣта и его козней, мирно текутъ дни наши въ безмятежномъ счастіи. Теперь все это должно прекратиться, и мы ѣдемъ на чужбину на долгое время. Это ужасно грустно!" Въ тоже время, не желая прерывать духовной связи съ Отечествомъ,

великій князь поручилъ своему секретарю, А. В. Головнину, написать Погодину слѣдующее письмо: „По приказанію государя великаго князя Константина Николаевича, имѣю честь препроводить къ вамъ экземпляръ составленныхъ особымъ Комитетомъ, подъ предсѣдательствомъ его императорскаго высочества, проектовъ III и IV раздѣловъ Морского устава. Изъ объяснительныхъ записокъ къ симъ проектамъ вы увидите цѣль учрежденія Комитета и степень участія въ трудахъ онаго его высочества. Прилагаемые проекты разосланы для разсмотрѣнія гг. адмираломъ и лучшимъ морскимъ офицерамъ и будутъ исправлены на основаніи ихъ замѣчаній. Его высочество приказалъ доставить вамъ экземпляръ оныхъ, въ доказательство своего уваженія къ постояннымъ трудамъ вашимъ для изученія Отечества. Отправляясь, въ половинѣ октября, по требованію врачей, въ Венецію, великій князь проситъ васъ увѣдомлять его высочество, по временамъ, подробно о вашихъ Московскихъ ученыхъ и литературныхъ новостяхъ и въ особенности по предмету изученія Русскихъ Древностей. Его высочество желалъ бы между прочимъ получить подробныя извѣстія объ открытыхъ въ послѣднее время древнѣйшихъ спискахъ Нестора. Сверхъ того, великій князь желалъ бы получить *Москвитянинъ* за весь нынѣшній годъ и получать этотъ журналъ въ теченіе всего будущаго года. Отдавая мнѣ изложенныя приказанія, его высочество изволилъ выразиться, что *всякое извѣстіе о томъ, что дѣлается для блага Россіи утѣшительно для Русскаго, и тѣмъ болѣе вдали отъ Отечества*. Пакеты на имя его высочества не угодно ли будетъ вамъ адресовать: „въ собственныя руки“, чрезъ Инспекторскій Департаментъ Морского Министерства. Исполнивъ приказаніе его высочества, я прошу васъ принять собственно отъ меня препровождаемый при семъ экземпляръ новаго изданія Записокъ покойнаго батюшки съ его портретомъ и біографіею. Сочиненіе это переведено на всѣ Европейскіе языки и имѣло въ одной Англіи двѣнадцать изданій“.

Погодинъ былъ весьма польщенъ этимъ порученіемъ и не замедлилъ исполнить волю великаго князя. „Порученіе вашего императорскаго высочества“,—писалъ онъ,—„обрадовало меня какъ нельзя болѣе, показывая ясно ваше живое участіе въ ходѣ отечественнаго образованія, столько любезнаго, дорогого для всякаго Русскаго, который преданъ своему Отечеству, ревнуетъ истинной его славѣ и желаетъ ему прочнаго блага. Спѣшу начать исполненіе вашей августѣйшей воли, по крайнему своему разумѣнію. Самымъ важнымъ явленіемъ въ области науки, въ послѣднее время, была *Исторія Русскихъ Гражданскихъ Законовъ*, Петербургскаго профессора *Неволина*, въ коей заключается полное, отчетливое, толковое *описаніе* законовъ, по ихъ предметамъ, въ хронологическомъ порядкѣ, со множествомъ объяснительныхъ примѣчаній. Если эту достойную книгу нельзя назвать въ высшемъ смыслѣ Исторіею, за отсутствіемъ внутренней органической связи между собранными ея бытями (я терпѣть не могу слово фактъ), то, по крайней мѣрѣ, она предлагаетъ прочный фундаментъ для будущей науки. Кромѣ историковъ, она должна принести еще болѣе пользы юристамъ и практикамъ. Вторая новость относится также къ Праву: это *Опытъ о церковномъ законовѣдѣніи* архимандрита *Іоанна*, отъ котораго не откажется, можетъ быть, не только наша наука, но и Европейская. Близкое знакомство съ источниками, многосторонній взглядъ и ясное изложеніе дѣла составляютъ достоинства этой замѣчательной книги, которой вышло теперь только начало. Подобныя сочиненія—общественное пріобрѣтеніе, народный капиталъ, коимъ можетъ безданно-безпошлинно пользоваться всякій желающій, находя въ нихъ, въ случаѣ нужды, замѣну цѣлаго университетскаго курса. Академикъ *Рихтеръ* началъ изданіе *Памятниковъ древней Русской архитектуры*, снятыхъ съ натуры самымъ тщательнымъ образомъ. Это изданіе должно составить эпоху въ лѣтописяхъ нашего Искусства, и будетъ принято съ благодарностію и удивленіемъ, вѣроятно, и въ Европѣ, представляя множество новыхъ подробностей, укра-

шеній, очертаній. Въ послѣднее время, у насъ было много говорено о созданіи своего стиля въ зодчествѣ. Стиля создать, сочинить, выдумать изъ головы нельзя, какъ нельзя выдумать исторіи, языка, общества, физіогноміи. Все это дается, происходитъ, изъ своихъ первобытныхъ элементовъ. Мы должны только разбирать ихъ, изучать, сознавать, и на основаніи такихъ данныхъ, усовершенствовать, возводить выше, сообразно съ требованіями времени. Мы имѣемъ элементы зодчества, какъ и музыки народной, и даже иконописи, но что же дѣлать, если до сихъ поръ не было обращаемо на нихъ вниманія, и живописцы наши хотѣли писать картины изъ Русской Исторіи, никогда не учась ей, и не имѣя объ ней никакого понятія. Чѣмъ болѣе будемъ мы узнавать Россію, тѣмъ болѣе будемъ находить въ ней непочатыхъ сокровищъ церкви, языка, исторіи, права, искусства, — сокровищъ, закрытыхъ теперь, подобно стѣнописи Кіевскаго Софійскаго собора, подъ десятью различными штукатурками. Изъ литературныхъ новостей,—первое мѣсто занимаетъ *Ипохондрикъ*, большая комедія *Писемскаго*, молодого автора, который недавно съ честію выступилъ на поприще. Характеры, выведенные имъ на сцену, сняты съ натуры и выдержаны вѣрно; въ явленіяхъ много истиннаго комизма, но они не слишкомъ строго устремлены къ центру, какъ требуетъ драматическое искусство. Направленіе Писемскаго—сатирическое, господствующее въ настоящей литературѣ. Дѣйствующія лица—изъ низшихъ слоевъ общества. Жаль,—потому что съ мелкопомѣстныхъ дворянъ, чиновниковъ XIV класса и купцовъ 3 гильдіи, Литература, со временъ Фон-Визина, собрала, кажется, достаточную подать, а къ высшему сословію никто не прикасался; между тѣмъ, какъ эти герои паркетныхъ гостиныхъ, благовоспитанные по-французски, по-нѣмецки и по-англійски, представятъ смѣшного матеріала еще больше; и совершенная противуположность ихъ дикой внутренности съ самою блистательной, изящной наружностью, отсутствіе всякаго понятія о Россіи, въ соединеніи съ общи-

ми мѣстами о всѣхъ островахъ Тихаго Океана, ожидаютъ еще Русскаго Мольера. Вышелъ романъ Евгеніи *Туръ* (урожденной Сухово-Кобылиной) *Племянница*, котораго я еще не читалъ. Прочитавшіе находятъ много чувства, наблюдательности, съ протестами противъ нелѣпаго женскаго воспитанія. Списокъ Нестора покрытъ мракомъ неизвѣстности. Я волочусь за нимъ два года. Слышно, что въ кодексѣ, за спискомъ Нестора, слѣдуетъ списокъ лѣтописи Кіевской и Волынской,—всѣ на пергаментѣ. Если это правда, историческая критика получитъ приращеніе драгоцѣнное. Впрочемъ, я былъ всегда увѣренъ, что не умру безъ того, чтобъ не найти Нестора, любимца моего съ молодыхъ лѣтъ, въ харатейномъ спискѣ, и чтобъ не издать его, какъ давно мечтаю,—и потому надѣюсь теперь. Изъ послѣднихъ пріобрѣтеній моихъ особенно важны: Требникъ XIII вѣка (или начала XII), на пергаментѣ. Филологія занималась у насъ до сихъ поръ по преимуществу Евангеліемъ, а богослужебныя книги оставляла безъ вниманія; между тѣмъ, какъ въ нихъ, начиная съ Литургіи, заключаются самые древніе остатки языка. Я собираю эти памятники для будущихъ дѣлателей, которые мнѣ скажутъ спасибо. Второе пріобрѣтеніе принадлежитъ къ числу Европейскихъ рѣдкостей—Славянское Евангеліе, печатанное въ началѣ XVI столѣтія, въ Руянскомъ монастырѣ, на Югѣ. Печатаніе моихъ изслѣдованій о древней Русской Исторіи, задержанное составленіемъ послужного списка всѣхъ удѣльныхъ князей, по лѣтописямъ, надъ которымъ просидѣлъ я весь нынѣшній годъ, приближается къ концу, и томы V и VI скоро выйдутъ изъ печати".

Письмо свое Погодинъ заключаетъ: „Желаю отъ души вашему императорскому высочеству, равно какъ и супругѣ вашей, возстановленія здоровья, столько для насъ драгоцѣннаго; желаю вамъ пріятнаго препровожденія времени, хотя вдали отъ Отечества, но вблизи отъ Славянъ, окружающихъ васъ со всѣхъ сторонъ, съ суши и моря".

Письмо это не осталось безотвѣтнымъ, и наканунѣ Рож-

дества 1851 года, великій князь писалъ Погодину: „Письмо ваше, отъ 4/16 декабря изъ Москвы, я получилъ въ Венеціи $\frac{\text{23-го декабря}}{\text{4 января}}$ съ большимъ удовольствіемъ, и благодарю васъ за сообщенныя мнѣ новости о Русской Литературѣ. Мнѣ будетъ весьма пріятно, еслибъ вы продолжали эти сообщенія и знакомили меня съ тѣмъ, что дѣлается у насъ на пользу Русскаго слова и Русскаго бытописанія. Душевно желаю успѣха полезнымъ трудамъ вашимъ, за которые каждый Русскій скажетъ вамъ *спасибо*, и пребываю навсегда доброжелательнымъ".

Въ Погодинскомъ Архивѣ сохранилось другое письмо Погодина къ великому князю Константину Николаевичу за это время. „Почитаю себя счастливымъ", — писалъ Погодинъ, — „что могъ угодить вашему императорскому высочеству своими извѣстіями... Перехожу къ Литературѣ исторической. Археологическое Общество въ Петербургѣ издало томъ своихъ записокъ, заключающій очень много любопытныхъ свѣдѣній. Въ Кіевѣ издано старинное описаніе Черниговскаго Намѣстничества, Шафонскаго (1786), — значительное пособіе для изученія того края. Въ Воронежѣ собраніе мѣстныхъ актовъ, не столько важное по себѣ, сколько по богатому, толковому, полезному указателю, котораго не достаетъ и въ большихъ столичныхъ изданіяхъ. Издатели — Александровъ-Дольникъ и Второвъ, воспитанники Казанскаго Университета. Въ Новгородѣ изслѣдованіе о древнихъ концахъ, Красова, очень дѣльное. По предмету Всеобщей Исторіи я получилъ недавно большое разсужденіе Волкова, бывшаго совѣтника при Константинопольскомъ Посольствѣ: *Папы и Востокъ въ XIII вѣкѣ*. Кажется, что наконецъ начинаютъ у насъ смотрѣть на Исторію своими глазами. Я всегда думалъ, что эта наука принадлежитъ именно Россіи, т.-е., Русскимъ ученымъ, которые имѣютъ множество преимуществъ предъ Европейскими своими собратами. Во 1-хъ, они свободны отъ предубѣжденій религіозныхъ, а ни одинъ католическій историкъ не можетъ быть безпристрастенъ къ

протестантамъ, точно какъ протестантскій—къ католикамъ, тѣ же и другіе—къ Грекамъ, къ православнымъ. Во 2-хъ, Богъ далъ намъ доброе сердце, и мы не питаемъ ненависти ни къ кому, между тѣмъ, какъ Французъ не можетъ избавиться отъ своихъ предразсудковъ въ отношеніи къ Англичанамъ; Шведъ не можетъ судить безпристрастно о Датчанахъ; Итальянецъ—о Нѣмцахъ и на-оборотъ. Въ 3-хъ, намъ доступны всѣ языки, не говоря уже о Славянскихъ съ ихъ важными источниками, до которыхъ никакъ не могутъ достичь Нѣмцы, хоть и изучаютъ нарѣчія луны и Сатурновыхъ спутниковъ. Слѣдовательно, о Всеобщей Исторіи и сомнѣваться нечего, но и на философію, на искусство, на литературу мы должны, современемъ, освободясь изъ-подъ школьнаго ига, посмотрѣть также не чрезъ чужіе очки. Но для этого намъ надо учиться, учиться и учиться. Молодой графъ Уваровъ издалъ любопытную свою поѣздку къ берегамъ Чернаго моря, съ описаніемъ Греческихъ Древностей и великолѣпными рисунками. При Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ напечатано руководство къ Древней Исторіи, очень полезное, по приложеннымъ рисункамъ. Изъ произведеній собственно Изящной Словесности, первое мѣсто занимаетъ переводъ славной поэмы Дантовой *Адъ*, который напечатается въ *Москвитянинѣ*, съ объяснительными примѣчаніями. Интересно слышать эти величавые, степенные звуки среди визготни, пискотни и пришепетыванія новой Европейской Литературы. Русская сцена получаетъ новую комедію: *Бѣдная Невѣста*, Островскаго, автора комедіи *Свои люди-сочтемся*. Талантъ молодого автора, видимо, зрѣетъ, и кажется, можно возложить на него надежду. Наконецъ, есть пріятныя новости изъ области Искусствъ: Мясоѣдовъ, Тульскій помѣщикъ, написалъ картину: Мамаево побоище. Всего болѣе мнѣ нравится въ ней движеніе Димитрія Донского перекреститься, въ первую минуту, какъ онъ пришелъ въ себя. Рамазановъ лѣпитъ статую Татьяны изъ Онѣгина. Въ заключеніе, спѣшу представить вашему императорскому высочеству конію съ купчей, сейчасъ мною полученной изъ Нижняго, изъ коей мы узнаемъ,

что безсмертнаго нашего Минина звали Козмой *Захаровичемъ*".

LXXII.

Взглянемъ теперь на отношенія Погодина къ Славянофиламъ. По имѣющимся у насъ свидѣтельствамъ, мы видимъ, что въ 1851 году, Погодинъ продолжалъ поддерживать свои дружелюбныя сношенія съ Хомяковымъ. Вмѣстѣ они празднуютъ имянины А. П. Елагиной, 1 марта. „Вечеръ у Елагиной",—читаемъ въ *Дневникѣ* Погодина,—„съ Грановскимъ и Кудрявцевымъ. Хомяковъ и Стасюлевичъ, наговорились съ Свербеевымъ. Скучновато". Наканунѣ 15 марта, дня кончины Д. В. Веневитинова, Шевыревъ извѣщаетъ Погодина: „Хомяковъ, Кошелевъ и я положили завтра, 15 марта, по обычаю, обѣдать вмѣстѣ въ Троицкомъ трактирѣ, куда и тебя приглашаемъ. Я надѣюсь, что ты съ Кошелевымъ не выйдешь на дуэль. Павлову о томъ же пишу записку". 20-го мая, Погодинъ ужиналъ у Хомякова, „очень любезнаго. Шутилъ съ Дмитріевымъ" и пр. 25 мая, Погодинъ бесѣдовалъ съ Хомяковымъ о раскольникахъ, журналѣ, о знакомыхъ, и по поводу этой бесѣды замѣчаетъ, что у Хомякова „великій умъ, а ничего не выходитъ". Написавъ письмо къ какой-то дамѣ, Погодинъ отправилъ его на просмотръ къ Хомякову, и послѣдній отвѣтилъ ему: „По моему мнѣнію, начало письма неудобно; какъ-то неловко объявлять человѣку, и подавно дамѣ, что объ ней *собиралъ справки*". Отказываясь отъ приглашенія Погодина къ нему на вечеръ, на которомъ должна быть графиня Е. П. Ростопчина, Хомяковъ писалъ: „Ты меня столько бы долженъ былъ знать, что могъ бы даже и не предполагать во мнѣ нетерпимости. Мнѣ Ростопчину иногда жаль; иногда она мнѣ противна; но это рѣже. Вообще же, я готовъ отдать ей справедливость уже за то, что она хоть какую-нибуть умственную жизнь любитъ. Я бы былъ у тебя нынѣ непремѣнно и съ удоволь-

ствіемъ, но нельзя, я долженъ быть вечеромъ у тебя въ сосѣдствѣ, у А. П. Елагиной. Чижовъ знакомитъ насъ всѣхъ съ Іорданомъ. Человѣкъ, говорятъ, славный, обиженный въ Петербургѣ и слѣдовательно, надобно приголубить. Извинишь ли мое отсутствіе? Знаешь ли, что Датскіе Варяги печатаютъ теперь Сагу, въ которой расказывается о дворѣ Св. Владиміра? Это дѣло важное".

Всемірная Выставка, бывшая, въ 1851 году, въ Лондонѣ, обратила на себя всеобщее вниманіе, и Хомяковъ задумалъ написать о ней. Предполагая напечатать свою статью въ *Москвитянинѣ*, Хомяковъ предлагалъ Погодину сдѣлать къ ней такое примѣчаніе: „Тогда-то была напечатана авторомъ статья объ Англіи. Многія черты сходства между этою землею и Россіею, замѣченныя имъ, дали автору поводъ къ другой статьѣ, которая однакоже не была напечатана, потому что общій интересъ публики былъ обращенъ на другіе предмѣты. Великолѣпіе Всемірной Выставки, возбудившей удивленіе и невольную зависть всѣхъ народовъ, снова призываетъ всѣхъ просвѣщенныхъ людей къ изученію Англіи и ея внутренней жизни. Читателю могутъ быть любопытны взглядъ автора на сходство, замѣченное имъ между нашимъ Отечествомъ и современною царицею промышленности, и *увлекательныя надежды*, выраженныя имъ въ концѣ статьи" [302]).

Эти *увлекательныя надежды* заключались въ слѣдующемъ: „Не мало людей",—писалъ Хомяковъ,—„которымъ страшенъ трудъ самобытный, всѣ они насмѣшливо радуются безплодности нашего протеста; но мнѣ кажется, что они ошибаются! Скорый успѣхъ не возможенъ въ борьбѣ съ полуторавѣковымъ обманомъ, съ полуторавѣковыми привычками.

Вопросъ положенъ: онъ существуетъ, онъ получилъ право гражданства. Много убыло въ насъ самодовольства, не смотря на значительную прибавку хвастливости, много потрясено старыхъ убѣжденій, много пріобрѣтено убѣжденій новыхъ въ пользу нашего роднаго быта. Пусть длится еще умственная борьба, пусть медленно зрѣютъ ея плоды, но

шагъ сдѣланный впередъ, какъ бы онъ малъ ни былъ, не останется безполезнымъ. То, что разумъ пріобрѣлъ, того онъ уже не утратитъ, и если намъ еще остается долго быть подражателями, намъ уже нельзя будетъ блаженствовать въ своей подражательности. Этому не бывать уже никогда, никогда"!

Статья эта, въ то время, по цензурнымъ условіямъ, не могла быть напечатана и появилась въ свѣтъ уже по смерти автора, т.-е., въ 1861 году, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Аристотель и Всемірная Выставка.*

„Хотѣлось бы и мнѣ взглянуть",—пишетъ между прочимъ Хомяковъ въ этой статьѣ,—„на это чудное зданіе изъ желѣза и хрусталя, посмотрѣть, какъ свѣтъ игралъ на этомъ странномъ хрусталѣ. Это желаніе не исполнилось. Что же дѣлать! Болѣе всего, признаюсь, хотѣлось мнѣ видѣть эти старыя вѣковыя деревья Гайдъ-Парка, которыхъ не смѣли срубить, которыя потребовали мѣста въ новомъ зданіи и для которыхъ зданіе поднялось на нѣсколько десятковъ аршинъ. Въ нихъ была бы для меня особенная прелесть, особенное наставленіе. Да, въ Англіи умѣютъ уважать дѣло времени. Выдумка нынѣшняго дня не ругается надъ тѣмъ, что́ создано долгими вѣками. Англичанинъ умѣетъ строить: но то, что строится, обязано имѣть почтеніе къ тому, что выросло. Вездѣ ли это такъ"? [303]).

На вопросъ М. А. Максимовича, сдѣланный Погодину, объ ихъ общихъ Московскихъ друзьяхъ и знакомыхъ, послѣдній, отъ 16 февраля 1851 года, отвѣчалъ: „Что́ и о комъ писать къ тебѣ: Шевыревъ подвергается жестокимъ нареканіямъ, часто несправедливымъ. Вельтманъ родила чудодѣйку. Хомяковъ послалъ машину въ Англію. Аксаковы были у меня на похоронахъ (матери); я послѣ поѣхалъ къ нимъ, и мы видаемся изрѣдка. Загоскинъ боленъ. Масловъ ѣдетъ на Выставку. Павловы удивляютъ своими талантами. И писать не хочется. Вотъ еслибы ты спросилъ о Мстиславѣ, Ярославѣ, Всеволодѣ"! [304]).

Въ маѣ 1851 года, Москву посѣтилъ Н. И. Надеждинъ. Не смотря на происходившія съ Погодинымъ столкновенія, они встрѣтились какъ старые друзья и бесѣдовали о Христіанствѣ, Исторіи, Этнографіи, Петербургѣ, раскольникахъ и о пр. Въ день имянинъ Константина Аксакова, 21 мая, Надеждинъ увлекъ Погодина къ имяниннику и объ этомъ мы находимъ въ *Дневникѣ* Погодина слѣдующую запись: „Надеждинъ увезъ меня къ Аксакову, по старой памяти, хотя мнѣ не хотѣлось, ибо онъ вчера не сказалъ мнѣ ни слова. Смѣялся за обѣдомъ надъ любезностями Хомякова. Вечеромъ опять къ Аксакову, по обѣщанію, но—нѣтъ, онѣ уже не тѣ, Богъ съ ними, желаю вамъ всякаго благополучія“ [305]).

LXXIII.

Мы уже знаемъ, что графъ С. С. Уваровъ, во время своего пребыванія въ Порѣчьѣ, лѣтомъ 1850 года, написалъ записку на Французскомъ языкѣ, которая была читана въ Императорской Академіи Наукъ, 25 октября 1850 года. Русскій переводъ этой записки, подъ различными заглавіями, одновременно былъ напечатанъ въ *Москвитянинѣ*, подъ заглавіемъ: *Достовѣрнѣе ли становится Исторія?* и въ *Современникѣ*, подъ заглавіемъ: *Подвигается ли впередъ историческая достовѣрность?* Переводъ для *Москвитянина* сдѣланъ С. П. Шевыревымъ.

Зимній сезонъ 1850 — 1851 г., графъ Уваровъ благополучно провелъ въ Петербургѣ. Онъ, какъ мы уже видѣли, принималъ живое участіе въ юбилеѣ своего стараго товарища по Арзамасу графа Д. Н. Блудова и усердно посѣщалъ Петербургскія гостинныя. 30 марта 1851 года, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Графъ С. С. Уваровъ чувствуетъ себя хорошо и бываетъ то въ Зимнемъ Дворцѣ, то во дворцахъ великихъ княгинь Елены Павловны и Маріи Николаевны. Въ маѣ 1851 г., онъ сталъ помышлять о своемъ любезномъ Порѣчьѣ, и уже 28 мая И. И. Давыдовъ писалъ Погодину:

„Завтра отправляется графъ Сергій Семеновичъ въ Москву, и, вѣроятно, 2 или 3 іюня будетъ уже на Тверской. Поэтому не замедлите встрѣтить его съ обычнымъ Московскимъ радушіемъ. Вамъ, какъ *Москвитянину*, преимущественно это подобаетъ. Онъ останется въ столицѣ нѣсколько дней, для обозрѣнія институтовъ, а потомъ въ Порѣчье".

Изъ *Дневника* Погодина мы узнаемъ, что во время пребыванія Уварова въ Москвѣ, онъ имѣлъ съ нимъ частыя свиданія.

Подъ *3 іюня:* „Вечеръ у Уварова. Радъ, и для себя, а не для меня. Разсказывалъ о Волконскомъ, Перовскомъ, Гоголѣ. Игралъ въ карты.

— *4* —: Обѣдалъ у Уварова. Все тотъ же, уменъ, но мелоченъ, тщеславенъ и не понимаетъ времени".

— *9* —: Къ Уварову, гдѣ и обѣдалъ.

— *11* іюня, самъ Уваровъ посѣтилъ Погодина; осматривалъ его Древлехранилище и въ тотъ же день пригласилъ его въ Порѣчье. Объ этомъ приглашеніи Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*, въ такихъ выраженіяхъ: „Пристаетъ о Порѣчьѣ. Дѣлать нечего, надо ѣхать, да и отдохнуть кстати". На другой день, Шевыревъ писалъ Погодину: „Напиши, когда ты собираешься въ Порѣчье"? Самъ же Шевыревъ въ это лѣто не воспользовался приглашеніемъ Уварова ѣхать въ Порѣчье.

Во время пребыванія Уварова въ Москвѣ, въ Петербургѣ, Академія Наукъ праздновала двадцатипятилѣтній юбилей своего непремѣннаго секретаря Павла Николаевича Фуса. Объ этомъ торжествѣ Плетневъ, 6 іюня 1851 г., писалъ Погодину: „Въ Петербургѣ нашемъ новаго ничего нѣтъ. Вы по газетамъ знаете, что академики и начальство наше почтило юбилеемъ двадцатипятилѣтнее секретарство Фуса. Не знаю, приличны ли подобныя празднества при всякомъ двадцатипятилѣтіи. Мнѣ однако же не удалось быть участникомъ въ празднованіи Академіи. Я заключенъ былъ въ этотъ день въ университетской аудиторіи на экзаменѣ. Только изъ газетъ же и узналъ я, что И. И. Давыдовъ былъ Демосѳеномъ юбиляра".

Въ Порѣчьѣ, по обычаю, проводили время и пріятно и полезно. Что же касается Погодина, то онъ „работалъ“ тамъ „усердно“ надъ біографическимъ словаремъ древнихъ Русскихъ князей, гулялъ, по вечерамъ игралъ въ карты, читалъ Казанову и „много думалъ“. Одновременно съ нимъ гостили въ Порѣчьѣ и Блудовы, съ которыми онъ „сблизился“. По порученію Уварова, Погодинъ вызывалъ въ Порѣчье Шевырева. „Графъ Сергій Семеновичъ“,—писалъ онъ,—„проситъ тебя забыть всѣ дрязги и всѣ непріятности и для него пріѣхать поскорѣе въ Порѣчье“. Но Шевыревъ просилъ только кланяться „хозяину Порѣчья“.

Изъ Порѣчья Погодинъ переписывался съ графомъ Д. А. Толстымъ, который, вспоминая свое прошлогоднее здѣсь пребываніе, писалъ ему: „Ваше посланіе, многоуважаемый Михаилъ Петровичъ, перенесло меня такъ сказать живьемъ въ Порѣчье, которое, къ сожалѣнію, не придется мнѣ видѣть нынѣшнее лѣто; но Порѣчье,—увы!—безъ Фроськи! Это не могу себѣ представить! А хладнокровіе, съ которымъ вы говорите объ этомъ, преступно для вашего чувствительнаго сердца. Отыщите ее, пожалуйста, и поцѣлуйте за меня; мнѣ, какъ дряхлому старику, пріятно смотрѣть на радость и любовные восторги другихъ, и даже заочно. Классическая фигура доктора осталась, какъ и подобаетъ ей, неизмѣнною въ своемъ Саксонскомъ величіи и однообразности; я такъ и вижу, и слышу его въ вашемъ письмѣ, это небрежно набросанный портретъ искусною рукою карикатуриста! Очень бы хотѣлось побраниться съ вами въ преферансѣ, посмотрѣть, какъ подсиживаетъ докторъ, какъ проигрываетъ графъ, какъ при окончаніи преферанса нѣжныя дѣвы трепетно идутъ сложить въ ближнемъ флигелѣ мученую красу дѣвы, — невинность! Но нынѣ все перемѣнилось, какъ говоритъ одна пѣсенка: мирно живу въ Лѣсномъ Институтѣ, но живу только по вечерамъ, ибо все утро провожу въ Министерствѣ, управляя Отдѣленіемъ и изучая Нѣмецкую породу, которая по духовнымъ дѣламъ подвѣдомственна этому Отдѣленію. Занятіе, если не

всегда пріятное, то въ высшей степени поучительное! Поговоримъ, когда увидимся. Вотъ ужъ третій разъ какъ перебиваютъ мнѣ это письмо разными подносимыми для чтенія бумаженками, и потому извините, если оно безсвязно. Хотѣлось только благодарить васъ отъ души за память и просить продолжать вашимъ расположеніемъ, которое очень цѣню. Будьте здоровы и пишите что-нибудь о вашихъ занятіяхъ, о предполагавшейся поѣздкѣ въ Петербургъ и т. д. Потрудитесь передать мое искреннее почтеніе графу Сергѣю Семеновичу".

Въ августѣ, въ виду царскаго прибытія въ Москву, гости стали разъѣзжаться изъ Порѣчья, и хозяинъ остался, по прежнему, одинокимъ. „Графъ Уваровъ пишетъ изъ Порѣчья, что былъ боленъ, а теперь остался совсѣмъ одинъ. Не правда ли, что жаль его"? Такъ писала графиня А. Д. Блудова Погодину [306]).

По возвращеніи въ Москву, Погодинъ счелъ нужнымъ извѣстить о своемъ пребываніи въ Порѣчьѣ своего друга М. А. Максимовича: „Лѣто провелъ я у Уварова, часть съ Блудовымъ" [307]). Максимовичъ же, возвратившись изъ Черниговскаго имѣнія своего дяди И. Ѳ. Тимковскаго, Турановки, на свою Михайлову Гору, отвѣчалъ Погодину: „Пріѣхалъ я сюда, чтобы выдать сестру за любимаго и любящаго ее человѣка: 22 ноября она стала невѣстою П. Я. Старосвѣтскаго, надворнаго совѣтника... Ты поймешь, сколько мнѣ теперь и заботъ и иждивенія... Но тѣмъ не менѣе, мнѣ хоть и трудно, а радостно теперь и заботиться, и тратить на *веселья* сестры, которую семнадцать лѣтъ лелѣялъ я, какъ дочь свою, и которой посылаетъ теперь Богъ достойнаго человѣка по сердцу ея и моему. Ты, имѣя дочь-невѣсту, поймешь веселіе души моей и безгнѣвно поздравишь меня и посочувствуешь и протянешь дружески руку въ привѣтъ съ новымъ годомъ, начинающимся для меня такъ хорошо. На святкахъ, я съ невѣстою выѣзжаю отсюда въ одну степную деревушку, гдѣ все дышетъ безпечьемъ, гдѣ я нынѣшнее лѣто проводилъ такіе

дни, какіе тебѣ и не снились подъ Уваровскою кровлею... Тамъ-то, гдѣ не было мнѣ и тѣни горя, я встрѣчу новый годъ и съиграю тихо-семейное *веселье* моей сестры, а не въ своемъ нагорномъ домишкѣ, гдѣ столько горя перевидѣла душа, откуда виднѣется изъ оконъ еще непокрашенная рѣшетка около могилы дѣдовской и отцовской. Прощай же, друже мой. Да принесетъ и тебѣ наступающій годъ новыя радости и успѣхи въ жизни и въ дѣлахъ, въ томъ числѣ и въ *Москвитянинѣ*. За присылку его на нынѣшній годъ обнимаю тебя: сколько наслажденія намъ обоимъ—подлинно цѣлая гора вдругъ — не читаемъ, а купаемся въ ней. Самыя картинки какъ кстати, для покроевъ невѣстѣ".

Въ октябрѣ 1851 года, мы видимъ Уварова снова въ Петербургѣ. 6-го, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Я видѣлся уже съ графомъ Уваровымъ, по пріѣздѣ его сюда изъ Порѣчья. Онъ съ большимъ удовольствіемъ вспоминаетъ о васъ". Но вскорѣ послѣ того Погодинъ получаетъ отъ графини А. Д. Блудовой печальное извѣстіе о состояніи здоровья Уварова. „Знаете ли",—писала она,—„что графъ Сергѣй Семеновичъ *очень* плохъ? Съ нимъ былъ еще ударъ нервическій, и когда онъ сталъ немножко поправляться, вдругъ что-то въ родѣ третьяго сдѣлалось. Сегодня ему какъ будто лучше, но докторъ не слишкомъ смѣетъ надѣяться. Вы можете вообразить, какъ батюшкѣ и мнѣ жаль его! Счастливо, по крайней мѣрѣ, что сынъ таки пріѣхалъ, а то, право, больно было подумать, что умиралъ онъ въ такомъ одиночествѣ! Помните ли наши разговоры въ саду въ Порѣчьѣ, и какъ даже тамъ мнѣ казалось грустно это положеніе (семейнаго однако человѣка). Слава Богу! теперь Алексѣй здѣсь, и отецъ успокоился совершенно въ моральномъ отношеніи—но въ физическомъ врядъ ли онъ оправится". Съ своей стороны, Плетневъ писалъ, отъ 19 ноября 1851 года, Погодину: „Больнаго Уварова никто изъ насъ не можетъ видѣть. По отзыву доктора, ему лучше; но Богъ знаетъ, чѣмъ все это можетъ кончиться". Но въ декабрѣ Погодинъ получаетъ отъ И. И. Давыдова бо-

лѣе утѣшительныя извѣстія: „Графъ Сергій Семеновичъ, слава Богу, оправился. Сегодня я былъ у него и говорилъ объ васъ. —Пусть пріѣзжаетъ самъ сюда,—сказалъ онъ,—и прямо ко мнѣ, послѣ новаго года. Онъ доставитъ мнѣ этимъ величайшее удовольствіе, Немедленно отпишите ему объ этомъ.— Исполняя это приказаніе, завтра донесу ему объ исполненіи". Въ томъ же письмѣ Давыдовъ сообщаетъ Погодину: „Н. И. Надеждинъ перегналъ васъ,—онъ уже генералъ".

Въ 1851 году, скончался предсѣдатель Отдѣленія Русскаго языка и Словесности Академіи Наукъ Василій Алексѣевичъ Полѣновъ. 29 іюля того же года, И. И. Давыдовъ, во время пребыванія своего въ Москвѣ, писалъ Погодину: „О В. А. Полѣновѣ, какъ о заслуженномъ сановникѣ и добромъ человѣкѣ, я сожалѣю. Любопытно, къ кому перейдетъ предсѣдательство". Любопытство Давыдова вскорѣ удовлетворилось. По избранію Президента Академіи Наукъ, графа С. С. Уварова, И. И. Давыдовъ 18 августа 1851 года, утвержденъ министромъ Народнаго Просвѣщенія на предстоящее двухлѣтіе въ званіи предсѣдательствующаго по Отдѣленію Русскаго языка и Словесности.

Предсѣдательство И. И. Давыдова во Второмъ Отдѣленіи Академіи Наукъ ознаменовалось изданіемъ *Извѣстій*. 4 декабря 1851 года, онъ писалъ Погодину: „*Извѣстія* Академическія необходимы. Пусть по крайней мѣрѣ узнаютъ о существованіи Отдѣленія. Но мнѣ это *нововведеніе* стоило и хлопотъ, и непріятностей. Бѣда быть преемникомъ сильнаго: невольно попадаешь въ столкновеніе и противорѣчіе. Впрочемъ, когда уже стоишь при концѣ поприща, перестанешь смотрѣть на личности, а желаешь на дѣлѣ показать, что magis amica est veritas" [308]).

LXXIV.

22 августа 1851 года, исполнилось двадцатипятилѣтіе царствованія императора Николая I. Желая въ этотъ день

помолиться въ Дому Пречистыя Богородицы, государь вмѣстѣ съ своимъ семействомъ предпринялъ путешествіе въ Москву, по открывшейся тогда Николаевской желѣзной дорогѣ. „Отправленіе ихъ величествъ въ Москву“,—писалъ Плетневъ Жуковскому, 22 августа 1851 г.,—„было эпизодомъ изъ *Лалла Рукъ*. 18-го числа императрица, въ 10 часовъ вечера, прибыла на желѣзную дорогу. Тамъ приготовлена была ея почивальня. На другой день, въ 3 часа и 36 мин. утромъ, поѣздъ тронулся и черезъ девятнадцать часовъ всѣ были въ Москвѣ. Пріѣхалъ бы въ шестнадцать часовъ, да государь останавливался благодарить строителей“ [309]). Но безпокойно, и этотъ день, и эту ночь провелъ Святитель Московскій въ своей Троицкой кельѣ. „По нездоровью, отказался я“,—писалъ онъ своему лаврскому намѣстнику Антонію,—„отъ праздника въ Донскомъ, и только у себя совершилъ священнослуженіе, думая о путешествующихъ; и послѣ того, какъ въ слѣдующую ночь провелъ нѣсколько тяжкихъ часовъ, долго послѣ предсказаннаго срока не слыша съ желѣзной дороги звука, возвѣщающаго прибытіе,—наконецъ получилъ извѣщеніе, что государь императоръ и его семейство прибыли благополучно, предъ полуночью, и прямо съ пути притекли на поклоненіе къ Божіей Матери въ Иверской часовнѣ, а потомъ къ Святителю Алексію въ Чудовѣ. Съ тѣхъ поръ до нынѣ время, милостію Божіею, благословенное“ [310]).

„*C'est de Moscou que nous vient maintenant la lumière*“, — писалъ графъ Д. А. Толстой Погодину,—„слѣдовательно, никакихъ новостей сообщить не имѣется, будемъ ихъ ожидать отъ васъ“ [311]).

„Царелюбивая Москва“,—повѣствуютъ Московскіе лѣтописцы,—„издревле встрѣчала и встрѣчаетъ своихъ царей, помазанниковъ съ любовью и радостію; прибытіе ихъ въ древнюю столицу составляетъ праздникъ для народа. Такъ она уже четверть столѣтія не одинъ разъ встрѣчала нынѣ славно царствующаго государя императора Николая I. Какъ скоро придетъ вѣсть, что онъ будетъ въ свою Москву, густыя

толпы народа ждутъ его на улицахъ, нерѣдко до поздней ночи; но появленіе его не утаится и во мракѣ ночномъ. Громкія восторженныя восклицанія привѣтствуютъ его и сопровождаютъ его шествіе, являетея ли онъ съ лаврами побѣдъ надъ врагами, или съ оливою славнаго мира, или съ фіаломъ утѣшенія и отрады въ часы бѣдствія, опасности и страха. Но нынѣ, еще за нѣсколько недѣль до прибытія государя императора въ Москву, замѣтно было въ ней какое-то необыкновенное движеніе, ожиданіе чего-то великаго, радостнаго и торжественнаго. Народъ самъ, безъ всякаго внѣшняго побужденія, придумываетъ празднество, онъ готовился поздравить въ Москвѣ возлюбленнаго своего царя съ окончаніемъ перваго двадцатипятилѣтія его царствованія и съ началомъ слѣдующаго: желалъ принести вмѣстѣ съ царемъ-помазанникомъ благодареніе Царю-Царей за протекшее двадцатипятилѣтіе и молить его о благословеніи въ грядущемъ всего августѣйшаго царственнаго дома миромъ и благоденствіемъ. Молитвенныя желанія народа исполнились. Государь императоръ съ императрицею, наслѣдникомъ престола и другими членами августѣйшаго дома является въ Москву, съ нетерпѣніемъ ожидавшую царственнаго своего хозяина. Путь его совершился по вновъ устроенной желѣзной дорогѣ, которая должна сблизить обѣ столицы для взаимной ихъ пользы. Безъ преувеличенія скажемъ, что и сама природа привѣтствовала Русскаго царя улыбкой своей; послѣ ненастныхъ дней, которые стояли въ началѣ августа, погода вдругъ перемѣнилась, настали дни ясные и теплые".

На другой день по прибытіи, 20 августа, въ полдень, царь, съ тремя поколѣніями августѣйшаго дома своего, въ сопровожденіи фельдмаршаловъ, министровъ и всего генералитета, при колокольномъ звонѣ, шествовалъ въ Успенскій соборъ, гдѣ, назадъ тому четверть вѣка, онъ принялъ священное помазаніе на царство" [312]).

„Мы обрадованы",—писалъ Филаретъ,—„благотворнымъ прибытіемъ государя императора съ семействомъ. И встрѣтили

его, слава Богу, благополучно. Изволилъ сказать мнѣ, что въ день коронованія будетъ слушать молебенъ въ Успенскомъ соборѣ: пріѣхать въ Москву для того, чтобы въ день коронованія, въ благодарность за двадцатипятилѣтіе, помолиться въ храмѣ коронованія,—вотъ христіанское царское торжество"! [313]).

Наканунѣ праздника коронаціи, т.-е., 21 августа 1851 года, Филаретъ обратился къ государю съ всеподданнѣйшимъ письмомъ, въ которомъ заявлялъ, что „вѣрноподданное духовенство Московской церкви, возъимѣло желаніе ознаменовать двадесятипятилѣтіе царствованія приношеніемъ въ храмъ царскаго вѣнчанія и священнаго помазанія златую дарохранительницу, устроенную въ образѣ голубя, каковая была и прежде, но утрачена въ бѣдственные дни, дабы она видима была въ алтарѣ надъ престоломъ, какъ знаменіе присутствія Святаго и освящающаго Духа. Качество же памятника сообщаетъ сей утвари императорскій вверху вѣнецъ и скипетръ, и на хартіи молитва: Господи, благословивый двадесятипятилѣтіе помазанника Твоего Николая перваго, благослови и грядущая лѣта его, къ миру Церкви Твоея, ко спасенію людей Твоихъ" [314]).

„Благодарю васъ",—писалъ Филаретъ къ своему лаврскому намѣстнику Антонію,—„что поддержали родившуюся у меня мысль о дарохранительницѣ и способствовали ея исполненію. 20 августа получилъ я оную; 21 дня представилъ о ней государю императору всеподданнѣйшее письмо; вечеромъ, находясь въ Успенскомъ соборѣ на всенощной, получилъ высочайшій рескриптъ и милость"; а въ самый день торжества (т.-е., 22 августа), „во время литургіи,—другой (рескриптъ), въ которомъ государь изъявляетъ свое благоволеніе Московскому духовенству" [315]).

Пребываніе въ Москвѣ царской фамиліи имѣло благодѣтельное вліяніе на судьбу Древлехранилища Погодина. Какъ только пріѣхалъ въ Москву В. Д. Олсуфьевъ, то тотчасъ же писалъ Погодину: „Пожалуйте ко мнѣ въ Кремль, въ Кава-

лерскій Корпусъ, завтра утромъ, часовъ въ 10-ть, въ *мундирѣ*. Я поведу васъ къ ихъ высочествамъ и надѣюсь доставить честь ихъ видѣть" [316]).

Какъ почитатель Русскихъ Древностей, В. Д. Олсуфьевъ былъ проводникомъ высочайшихъ особъ и въ Древлехранилище Погодина, которое, по свидѣтельству Московскихъ лѣтописцевъ, „осчастливленное въ прошломъ 1849 году посѣщеніемъ ихъ императорскихъ высочествъ, великаго князя, цесаревича Александра Николаевича, великой княгини цесаревны Маріи Александровны, великаго князя Константина Николаевича, великой княгини Ольги Николаевны и ея супруга наслѣднаго принца Виртембергскаго Карла, удостоилось посѣщенія и нынѣ, сего августа 25 числа, ея императорскаго высочества великой княгини Екатерины Михаиловны и ея супруга принца Мекленбургъ-Стрелецкаго, великой княгини Ольги Николаевны. За тѣмъ, 1-го сентября — наслѣдной принцессы Саксенъ - Веймарской Софіи (дочери королевы Нидерландской Анны Павловны) и ея супруга наслѣднаго принца Саксенъ - Веймарскаго, (сына великой княгини Маріи Павловны). Всѣ собранія, составляющія Древлехранилище, какъ-то: рукописей, старопечатныхъ книгъ, образовъ живописныхъ, шитыхъ, рѣзныхъ (на деревѣ, кости, камнѣ), литыхъ, крестовъ, утвари церковной, монетъ, печатей, грамотъ, бумагъ, царскихъ манифестовъ, памятниковъ перваго Русскаго гравированія, лубочныхъ картинокъ, портретовъ Русскихъ, вещей, принадлежащихъ къ одеждѣ, посуды, нарядовъ, подлинныхъ памятниковъ литературы и администраціи, автографовъ примѣчательныхъ Русскихъ людей и проч. и проч.,—были разсмотрѣны высокими посѣтителями съ глубочайшимъ вниманіемъ, свидѣтельствовавшимъ о любви къ отечественнымъ древностямъ, и ни одно посѣщеніе не продолжалось менѣе двухъ часовъ" [317]). На великую княгиню Екатерину Михаиловну это посѣщеніе произвело благопріятное впечатлѣніе. Возвратившись въ Петербургъ, графиня А. Д. Блудова писала Погодину: „Вы сами поймете, или

лучше сказать, догадаетесь, съ какимъ удовольствіемъ я читала, что пишете о *Екатеринѣ Михаиловнѣ* и хорошемъ впечатлѣніи, сдѣланномъ ею на вашей братьѣ *Сѣверныхъ медвѣдяхъ*, какъ вы называете". Въ то же время Погодинъ получаетъ слѣдующее письмо отъ одного придворнаго: „Государыня великая княгиня Екатерина Михаиловна изволила поручить мнѣ передать вамъ сердечную признательность ея высочества за доставленное чрезъ меня собраніе крестовъ, которое, какъ вообще все Русское, особенно древнее, обратило на себя особенное вниманіе великой княгини. Принцесса Веймарская хотѣла непремѣнно лично васъ благодарить за образъ, который ей чрезвычайно понравился. Зная, что время вамъ дорого, я взялся передать вамъ также истинную признательность ея высочества. Ящикъ для великой княгини Ольги Николаевны переданъ мною А. А. Окуловой" [318]).

Проводивши высочайшихъ особъ, Погодинъ писалъ своему другу М. А. Максимовичу (29 сентября 1851 г.): „У меня опять были всѣ великіе княжны и князья, разные графы, гранды,—хвалятъ, удивляются, и только... Всѣ обѣщаютъ ходатайствовать, но скоро ли будетъ конецъ,—Богъ знаетъ, я просто измучился" [319]).

Возвратившись въ Петербургъ, общій другъ и *Погодина* и Максимовича В. Д. Олсуфьевъ писалъ первому: „Въ Московскомъ Даниловомъ монастырѣ положены родитель мой Дмитрій Адамовичъ Олсуфьевъ и бабка моя Марья Васильевна Олсуфьева, изъ рода Салтыковыхъ; мнѣ желательно устроить въ сей монастырь, *имъ на поминокъ* священныя сосуды съ (вышивною) обѣтною надписью; затрудняясь въ правильномъ и приличномъ, сообразно древнимъ примѣрамъ, составленіи оной, я рѣшился обратиться къ вамъ съ покорнѣйшею просьбою потрудиться написать мнѣ таковую, которую можно бы было вырѣзать на поддонахъ потира и дискоса. Простите, что васъ безпокою, но, не полагаясь на себя, я не могу найти лучшаго совѣтника".

Желая исполнить просьбу В. Д. Олсуфьева, Погодинъ обра-

тился по этому предмету съ запросомъ къ спеціалисту по этому дѣлу И. Е. Забѣлину, и тотъ отвѣчалъ: Проектъ надписи для Олсуфьева можно написать просто: „Лѣта отъ Р. Х. 1851, ноября въ 18 день построены сіи священные сосуды въ храмъ святаго (такого-то и тамъ-то), усердіемъ (такого-то), въ память по отцѣ своемъ (такомъ-то) и по бабкѣ своей (такой-то). Витіеватыя надписи на подобныхъ вещахъ мнѣ ни разу не встрѣчались".

LXXV.

Ободренный посѣщеніемъ Древлехранилища „великими княжнами, князьями, графами, грандами", Погодинъ дерзнулъ писать къ самому государю; но предварительно, онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ* (22 апр. 1851) слѣдующее: „Мысль просить у Государя помощи. Это приходило въ голову и прежде. Подожду лучше—авось вывезетъ своя спина".

Написавши проектъ письма къ государю, Погодинъ обратился къ графу Д. Н. Блудову съ слѣдующимъ письмомъ: „Приношу вашему сіятельству усердное поздравленіе съ новымъ годомъ. Не присоединяю никакихъ письменныхъ желаній; вамъ извѣстно, какъ дороги всѣмъ намъ вы, другъ и преемникъ Карамзина, охранитель Русскаго просвѣщенія, по его заповѣди, по собственному, глубокому убѣжденію, — чье имя соединено давно со всѣми любезными для насъ именами. Живите долго, благоденствуйте, и добротворите... Сокровища историческія и литературныя льются ко мнѣ рѣкою, такъ что я изнемогаю подъ ихъ бременемъ, — и рѣшился написать письмо къ государю императору, изъ коего вы увидите о послѣднемъ моемъ удивительномъ пріобрѣтеніи. Прошу покорнѣйше, ваше сіятельство, подать мнѣ совѣтъ: не слѣдуетъ ли что измѣнить въ письмѣ или исключить. Лишь только написалъ я это письмо, ко мнѣ принесли живописныя Минеи, двѣнадцать мѣсяцевъ, точь въ точь Tabulae Capponianae, и я долженъ былъ купить ихъ. Просто у меня

не достаетъ силъ, и я начинаю разоряться. Еслибъ государь увидѣлъ мои собранія, онъ рѣшилъ бы дѣло въ одну минуту, какъ любитель и знатокъ, не только какъ царь. Къ графу Адлербергу, котораго я хочу просить о доставленіи письма, намѣренъ я написать особо, и попросить его, чтобъ онъ объяснилъ его императорскому величеству мои права на его довѣренность: за тѣ шестьсотъ собственноручныхъ писемъ всей царской фамиліи (Александровы съ тѣхъ поръ, какъ началъ онъ учиться грамотѣ), за письмо послѣднее я могъ получить огромнѣйшія суммы отъ Англійскихъ собирателей (не говорю о политической важности). Жизнь Потемкина, въ переводѣ на Англійскій, Французскій и Нѣмецкій языки, я могъ бы распродать въ Европѣ въ числѣ нѣсколькихъ сотъ тысячъ экземпляровъ. Но прочь отъ меня такія низкія мысли. Я не хочу чужихъ милліоновъ, и за свои *жертвы* прошу только довѣренности. Пусть государь скажетъ мнѣ: возьми, что надо, и сдѣлай, устрой, какъ знаешь. Тогда я головой отвѣчаю за свое дѣло. Откровенно признаюсь вашему сіятельству, что больше всего я опасаюсь какого-нибудь Московскаго посредничества изъ такъ называемыхъ знатоковъ, которые ничего не понимаютъ, какъ то случилось съ Музеемъ Карабанова. Послѣ моихъ собраній для меня дороже всего спокойствіе, нужное для окончанія историческихъ трудовъ, и я ничего въ мірѣ не возьму, чтобъ имѣть дѣло съ какимъ-нибудь N. N. или S. S. Простите меня, что я обременяю ваше вниманіе такимъ длиннымъ письмомъ: я высказалъ теперь все, что̀ было на душѣ, признаюсь, преогорченной, и буду ожидать вашего благосклоннаго совѣта. Разумѣется, я никакъ не осмѣлился бы просить его, еслибъ не былъ увѣренъ слишкомъ въ любви вашей къ самому дѣлу".

При этомъ письмѣ Погодинъ приложилъ нижеслѣдующій проектъ своего письма къ государю:

„Всемилостивѣйшій Государь! Осмѣливаюсь повергнуться къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества.

Сокровища историческія льются ко мнѣ рѣкою, какъ

будто по опредѣленію свыше. Изъ приношеній моихъ, въ 1844 году, чрезъ графа Уварова, и въ 1849 году, чрезъ графа Адлерберга, Вы изволили видѣть разительные примѣры удивительнаго стеченія обстоятельствъ, по которому попадаются въ руки мнѣ, частному человѣку, живущему почти въ пустынѣ, наисекретнѣйшіе документы изъ самыхъ внутреннихъ аппартаментовъ дворца. Нынѣ, точно также, я получилъ во владѣніе подробнѣйшее описаніе всѣхъ дѣйствій Потемкина, всѣхъ самыхъ тайныхъ отношеній его къ Императрицѣ Екатеринѣ, Великому Князю Павлу Петровичу,—ко всѣмъ фаворитамъ, правительству, политикѣ, — сочиненное какимъ-то приближеннымъ лицомъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла. Обмеръ я, читая страшную повѣсть во всѣхъ подробностяхъ, видя предъ собою всю сѣть закулисныхъ интригъ. Темнѣетъ все царствованіе; одно только лицо Великаго Князя получаетъ лучшій свѣтъ.

Оставаться въ рукахъ частныхъ такимъ государственнымъ тайнамъ, особенно въ наше время, никакъ не должно, не позволительно. Я могу умереть — что̀ станется съ ними, не смотря на всѣ мои мѣры предосторожности, тѣмъ болѣе, что въ нихъ все мое состояніе и состояніе всего многочисленнаго семейства, которое найдется въ необходимости продавать.

Съ другой стороны, ученыхъ сокровищъ, матеріаловъ для Исторіи церкви, Государства, права, языка, искусства, накопилось у меня столько, и всѣ они имѣютъ такое всероссійское значеніе, что должны быть, во-первыхъ, предохранены отъ гибели, возможной, коей легко подвергнуться, въ деревянномъ домѣ, подъ надзоромъ одного служителя; во-вторыхъ — открыты, подъ моимъ руководствомъ, для общаго употребленія, при такомъ стремленіи къ изученію отечества, которое обнаружилось въ послѣднія времена въ ваше царствованіе.

Поддержать же свои собранія, при распространившихся по всей Россіи моихъ связяхъ, никакъ не могу болѣе, употребивъ уже все свое состояніе, всѣ свои трудовые доходы,

и обременивъ себя долгами, безпрестанно наростающими. Въ самую сію минуту одинъ раскольникъ, которому я имѣлъ случай сдѣлать добро и воспринять потомъ въ Единовѣрческую церковь, предлагаетъ мнѣ купить свою молельню, древнѣйшую въ Москвѣ, съ богатѣйшимъ собраніемъ образовъ, книгъ и рукописей! Отказаться я не могу, а купить нѣтъ уже силы...

Повелите, Всемилостивѣйшій Государь, учредить въ Москвѣ въ память о вашемъ двадцатипятилѣтіи, Всероссійскій народный музей, повелите принять въ основаніе мои тридцатилѣтнія собранія, поручить ихъ моему завѣдыванію, и я въ скоромъ времени берусь привести его въ такое положеніе, что ему подобнаго въ Россіи не бывало, по разнообразію предметовъ, обнимающихъ всю Русскую жизнь, — музей, который, смѣю впередъ сказать, займетъ страницу въ Исторіи вашего царствованія.

Повѣрьте мнѣ, Всемилостивѣйшій Государь, и Вы будете довольны. Говорю какъ Русскій, какъ служитель Исторіи, какъ вѣрноподданный, имѣвшій счастіе представить вамъ хоть слабый знакъ своей преданности".

Прочитавъ этотъ проектъ, графъ Д. Н. Блудовъ поручилъ своей дочери графинѣ Антонинѣ Дмитріевнѣ написать Погодину слѣдующее: „Сегодня буду писать только два слова, да и тѣ не отъ себя, а отъ батюшки. Онъ получилъ сегодня письмо ваше и копію съ проекта письма къ государю. Самъ онъ не успѣетъ отвѣчать вамъ съ Ржевскимъ, а мнѣ поручаетъ благодарить васъ отъ его имени за вашу довѣренность къ нему, и сказать, что ему кажется, что лучше бы не писать прямо къ государю. Что ему кажется, что предложеніе на счетъ Музеума неловко частному лицу дѣлать прямо государю, а что лучше черезъ графа Адлерберга или кого другого, котораго выберете сдѣлать это предложеніе, въ видѣ изложенія мыслей только, тѣмъ болѣе, что о покупкѣ вашего собранія уже идетъ рѣчь. Что же касается до бумагъ, вновь доставшихся вамъ о Потемкинѣ,—то это вещь такая щекотливая, что ее и подавно легче черезъ третіе лице представить.

Такъ какъ авторъ этой исторіи или сплетней анонимъ, то нельзя еще совершенно вѣрить его сказанію, но, конечно, такія бумаги должны быть отданы государю, и батюшка совѣтуетъ вамъ послать ихъ при партикулярномъ письмѣ къ Адлербергу или другому приближенному человѣку, съ просьбою представить ихъ государю, но не писать прямо его величеству о бумагахъ, въ которыхъ вы находите такъ много *непріятнаго* фамильнаго. О такихъ сплетняхъ правдивыхъ или вымышленныхъ трудно упоминать внуку той великой государыни, которой слава государственная выкупаетъ ея частныя слабости, какія бъ ни были. — Такъ, по мнѣнію батюшки, лучше черезъ кого-нибудь изъ приближенныхъ поднести эти бумаги и къ тому же лицу и написать ваше предложеніе, или, лучше, сказать ваши мысли о Музеумѣ, во всѣхъ подробностяхъ.—Я знаю, что самому государю хочется пріобрѣсти ваше собраніе, и не знаю черезъ князя ли Волконскаго или черезъ барона Корфа, но должно вамъ быть сдѣлано предложеніе вскорѣ, если оно уже не сдѣлано теперь.—Тогда представится самъ собою случай объяснить вамъ планъ и предложить ваши условія, а бумаги о Потемкинѣ не мѣшаетъ представить черезъ графа Адлерберга и прежде".

Приводимъ здѣсь кстати мнѣніе С. А. Соболевскаго, высказанное Погодину объ упомянутой рукописи о Потемкинѣ: „Благодарю за манускриптъ; не худо бы его списать въ предосторожность могущему быть истребленію. Вы найдете на особомъ листкѣ анекдотъ о томъ, какъ Потемкина легко было озадачить тому, кто не поддавался его дерзостямъ... Что касается до самого сочиненія, то оно написано довольно дѣльно, человѣкомъ знакомымъ съ тогдашними обстоятельствами, а особенно съ внѣшними сношеніями Россіи.—Между тѣмъ, новаго я тутъ ничего не нашелъ, чего бы я не читалъ прежде въ Кастера и другихъ, такъ что это книга хорошая, но не *интересная*. О самой личности Потемкина, столь чрезвычайно замѣчательной, весьма мало. Это не исторія Потемкина, а исторія временъ Потемкина. Таковое отсутствіе

личныхъ замѣчаній мнѣ доказываетъ, что сочинителя не нужно искать между приближенными Таврическаго, а *во дѣльцахъ второстепенныхъ* того времени, жившихъ еще около 1807 года".

Въ тоже время Погодинъ писалъ и къ великому князю Константину Николаевичу: „Въ нынѣшнемъ донесеніи я представлю прежде всего краткое описаніе послѣднихъ моихъ пріобрѣтеній, кои имѣютъ общее историческое значеніе:

Екатерининская медаль. Она составляетъ величайшую рѣдкость, и до сихъ поръ извѣстенъ былъ только одинъ ея экземпляръ въ музеѣ Карабанова. Какъ бы я желалъ представить ее когда-нибудь по надписанію"! Сообщая великому князю о пріобрѣтеніи современнаго подробнаго описанія жизни Потемкина, Погодинъ замѣчаетъ: „Говорятъ, что у насъ нѣтъ записокъ (Mémoires), онѣ есть, — и во множествѣ: назову Желябужскаго, Нащокина, Ѳеофана, Шаховского, Лопухина, Данилова, Болотова, Храповицкаго, Рѣпнина, Порошина, Платона, князя Юрья Долгорукаго, Державина, Дмитріева, Грибовскаго, Ростопчина, Де-Санглена,—но ихъ надо отыскать, потому что легкомысленные потомки, оставивъ отеческіе родовые дома, покинули всѣ бумаги въ добычу мышамъ, погодѣ и невѣжеству. Записки князя Юрья Владиміровича Долгорукаго съ собственноручными поправками я купилъ у одного штукатура".

Далѣе, въ письмѣ своемъ къ великому князю, Погодинъ продолжаетъ сообщать о пріобрѣтеніяхъ своего Древлехранилища: „Двѣнадцатъ Миней, или святцы, на холстѣ, такой высокой, тонкой работы, какой ни я, ни художникъ Солнцевъ не видали до сихъ поръ. Онѣ должны принадлежать ко времени царя Алексѣя Михайловича.—Подробная *Разрядная Книга*, начинающаяся съ 1477 года. Извѣстныя до сихъ поръ Разрядныя начинаются обыкновенно съ послѣднихъ лѣтъ Іоанна Васильевича.

Попадалось еще нѣсколько примѣчательныхъ рукописей, отъ коихъ долженъ былъ отказаться, за истощеніемъ силъ. Особенно жаль мнѣ посланія патріарха Фотія къ Болгарскому

царю Михаилу. Если не найду его въ своихъ рукописяхъ (съ коими я разстаюсь на зиму, перебираясь въ сосѣднюю хижину, чтобъ не разводить подлѣ нихъ огня), то ввѣкъ не прощу себѣ этого упущенія. Сокровища льются ко мнѣ рѣкою и богатство приводитъ меня въ нищету, какъ древле сказалъ Овидій".

Въ отвѣтъ на это письмо, Погодинъ получаетъ изъ Венеціи, отъ А. В. Головнина, слѣдующія строки: „Государь великій князь, прочитавъ съ большимъ вниманіемъ письмо ваше, отъ 12 февраля, полученное его высочествомъ 4/16 марта, изволилъ приказать мнѣ: 1) увѣдомить васъ, что его высочество искренно признателенъ за сообщаемыя вами любопытныя свѣдѣнія и 2) проситъ васъ доставить его высочеству извлеченіе самыхъ любопытныхъ мѣстъ изъ описанія жизни Потемкина, о которомъ вы упоминаете. Его высочество полагаетъ пробыть въ Венеціи до конца апрѣля, а дальнѣйшее путешествіе будетъ зависѣть отъ требованія врачей. 3/15 марта, великій князь возвратился изъ плаванія по портамъ Адріатики, а именно: Тріеста, Анконы, Баръ, Бриндеци и Полы. Изъ Анконы великій князь ѣздилъ въ Лоретту. Впрочемъ, за исключеніемъ этого путешествія, его высочество оставался въ Венеціи, продолжая свои обычныя занятія".

Въ то время, когда Погодинъ, благодаря своей любви къ древностямъ, достигъ до полнаго истощанія, ему внезапно блеснулъ лучъ надежды. Въ его Архивѣ отыскался слѣдующій автографическій отрывокъ изъ *Дневника* барона (впослѣдствіи графа) М. А. Корфа: ...„20-го декабря 1851 года, я обѣдалъ у государя, съ цесаревичемъ и его супругой, моими учениками, великими князьями Николаемъ и Михаиломъ Николаевичами, генералъ-адъютантомъ графомъ Паленомъ и оберъ-шенкомъ графомъ Вьельгорскимъ, такъ что насъ (съ императрицею) было всего девять человѣкъ... Между множествомъ самыхъ разнообразныхъ предметовъ, бесѣда перешла къ извѣстной Московской коллекціи Карабанова, поступившей теперь, послѣ его смерти, въ руки правительства, и къ еще

болѣе извѣстному Древлехранилищу Погодина, о которомъ въ особенности цесаревна отозвалась съ чрезвычайнымъ уваженіемъ: *Уполномочиваю тебя*,—сказалъ мнѣ государь,—*если Погодинъ будетъ расположенъ продать свое собраніе, при жизни или послѣ смерти, войти съ нимъ въ переговоры объ условіяхъ уступки. Для самого сбереженія такихъ коллекцій всегда желательнѣе, чтобъ онѣ были въ рукахъ правительства, нежели частныхъ людей.* Далѣе, разговоръ продолжался по Французски. „Et pourtant—возразила цесаревна государю—si ce particulier n'avait pas songé à recueillir et à ramasser ces curiosités, elles auraient été perdues pour la science"—„C'est vrai,—отвѣчалъ государь,—mais quel est le sort ordinaire de pareilles collections? Après la mort de celui qui les a amassées à grands frais, des héritiers ignorants ou cupides cherchent à s'en défaire à tout prix: alors naturellement elles finissent par se disséminer et disparaître, s'il n'arrive pas encore pire, comme avec la célèbre collection du comte Pouchkine, brulée en 1812. Enfin (обращаясь ко мнѣ) vous verrez à quoi aboutira votre négociation et vous viendrez m'en faire votre rapport".... *)

LXXVI.

Январь, февраль, мартъ и часть апрѣля 1851 года, Гоголь провелъ въ Одессѣ. О пребываніи Гоголя въ этомъ городѣ мы находимъ живыя подробности въ воспоминаніяхъ

---

*) И однакоже,—возразила цесаревна государю,—если-бы этотъ частный человѣкъ не вздумалъ бы собирать и сохранять эти достопримѣчательности, то онѣ погибли бы для науки".—„Это правда,—отвѣчалъ государь,—но какова обычная судьба подобныхъ коллекцій? Послѣ смерти того, который собиралъ ихъ при помощи большихъ издержекъ, корыстолюбивые или невѣжественные наслѣдники во что бы то ни стало стараются отъ нихъ избавиться: понятно, что они по-немногу расходятся и исчезаютъ, если не еще хуже, какъ случилось съ знаменитымъ собраніемъ графа Пушкина, сгорѣвшимъ въ 1812 году. Однимъ словомъ (обращаясь ко мнѣ), вы увидите, къ чему приведутъ ваши переговоры, и мнѣ о томъ доложите".

А. С. Стурдзы. „Я уже потерялъ было надежду“,—писалъ онъ,—„на новую встрѣчу съ Гоголемъ, когда получилъ отъ него письмо изъ Москвы съ вѣстію, что онъ опять стремится къ югу, чтобы заняться умственною работою, подъ благопріятнымъ небомъ и въ безмятежной тишинѣ. Я поспѣшилъ отсовѣтовать ему новую разлуку съ родиною и всячески старался доказать, что Одесса пріютитъ его какъ нельзя лучше и доставитъ ему желанный досугъ. На это письмо Гоголь отвѣчалъ (15-го сентября 1851 г.) условнымъ согласіемъ, которое онъ высказалъ въ достопамятныхъ выраженіяхъ, проливающихъ яркій свѣтъ на неразгаданную многими личность его, и потому, какъ мнѣ кажется, достойныхъ извѣстности. Вотъ выписка изъ письма его: „Свиданье съ вами меня радуетъ много. Благословенны тѣ чистыя стремленія къ святому, вслѣдствіе которыхъ люди становятся родными и близкими другъ другу! Какъ надежны, какъ неразрывны становятся тогда наши связи! Не нужно и стараться тогда быть милымъ другому; самъ собою становится милъ человѣкъ человѣку. Душевно бы хотѣлъ прожить сколько можно долѣе въ Одессѣ и даже не выѣзжать за границу вовсе. Скажу вамъ откровенно, что мнѣ не хочется и на три мѣсяца оставлять Россію. Ни за что-бъ я не выѣхалъ изъ Москвы, которую такъ люблю. Да и вообще Россія все мнѣ становится ближе и ближе. Кромѣ свойства родины, есть въ ней что-то еще выше родины, точно какъ бы это та земля, откуда ближе къ родинѣ небесной. Но, на бѣду, пребыванье въ ней зимою вредоносно для моего здоровья. Не столько я хлопочу и грущу о здоровьѣ, сколько о томъ, что въ это время бываю неспособенъ къ работѣ. Послѣдняя зима въ Москвѣ у меня почти пропала вся даромъ. Между тѣмъ, вижу, что окончаніе сочиненія моего нужно и могло бы принести пользу. Много, много, какъ сами знаете, есть того, что̀ позабыто, но не должно позабываться, что̀ нужно выставить въ живыхъ говорящихъ примѣрахъ,—словомъ, много того, о чемъ нужно напомнить нынѣшнему современному человѣку, и что̀

принимается ушами многихъ только тогда, когда скажется въ высокомъ настроеніи поэтической силы. А сила эта не подымается, когда болѣзненна голова. Обыкновенно работается у меня тамъ, гдѣ находится не натопленное тепло, гдѣ я могу утреннее утружденье головы развѣять и разсѣять послѣобѣденнымъ пребываніемъ и прогулками на благорастворенномъ тепломъ воздухѣ; безъ того у меня голова на другой день не свѣжа и не годится къ дѣлу. Но вѣрю, что Богъ властенъ сдѣлать все, и Его милосердію нѣтъ границъ: можно и подъ суровымъ воздухомъ Чернаго моря, въ самой Одессѣ, все еще холодной для меня, найти свѣжее расположеніе духа— и тогда, разумѣется, я ни за что не выѣду за границу. Съ радостью проведу нѣсколько мѣсяцевъ съ вами". Послѣ этого письма, Гоголь прибылъ въ Одессу, и, какъ нарочно, умѣренная зима ласково встрѣтила и покоила невзыскательнаго любителя тишины, нешумныхъ бесѣдъ и уединенныхъ кабинетныхъ занятій. Сколько ни старались тогда заманить одинокаго мыслителя въ кругъ такъ называемаго большого свѣта,— онъ вѣжливо уклонялся, сколько могъ, отъ самыхъ лестныхъ приглашеній, довольствуясь прогулками и частымъ посѣщеніемъ весьма немногихъ, въ томъ числѣ и меня. Истощался ли дружескій разговоръ, Гоголь охотно принимался за чтеніе вслухъ, и читалъ, какъ говорилъ, т.-е., съ пріятною важностію. Когда я бывалъ у него, онъ съ удовольствіемъ увѣрялъ меня, что умственная работа подвигается у него впередъ и услаждаетъ для него часы уединенія. Даже въ домѣ князя Р. отвели для Гоголя особую комнату, гдѣ онъ занимался дѣломъ, а потомъ выходилъ въ гостинную, и тамъ отдыхалъ въ дружественномъ собесѣдованіи. Во всѣ воскресные и праздничные дни можно было встрѣтить Гоголя въ церкви, въ толпѣ молящихся. А во время великаго поста, Гоголь умѣлъ отторгаться безъ огласки отъ общества людей и посвящать по нѣскольку дней врачеванію души своей и богомыслію. Впрочемъ, сердце влекло его на родину къ милымъ роднымъ, которымъ онъ обѣщалъ провести съ ними Святую Пасху,

нѣкогда имъ такъ превосходно описанную въ *Перепискѣ съ Друзьями*. Говоря со мною о скоромъ отъѣздѣ своемъ въ Малороссію, Гоголь съ умиленіемъ приговаривалъ: „да знаете ли, что послѣ первыхъ лѣтъ молодости моей, я не имѣлъ счастія отпраздновать въ родной семьѣ Свѣтлое Воскресеніе Христово". И это чистое христіанское наслажденіе, котораго онъ жаждалъ, было и послѣднимъ свиданіемъ нѣжнаго сына и брата со своими присными".

Но Гоголь оставилъ Одессу послѣ Пасхи и въ родовомъ селѣ Васильевкѣ провелъ въ послѣдній разъ самую цвѣтущую часть весны, потомъ уѣхалъ въ Москву, гдѣ „ожидала его смерть" [320]).

По свидѣтельству *Дневника* Погодина, Гоголь пріѣхалъ въ Москву 5 іюня 1851 года. Вскорѣ по пріѣздѣ туда, онъ, 15 іюня, писалъ Плетневу: „Пишу къ тебѣ изъ Москвы, усталый, изнемогшій отъ жары и пыли. Поспѣшилъ сюда съ тѣмъ, чтобы заняться дѣломъ по части приготовленія къ печати *Мертвыхъ Душъ*, второго тома, и до того изнемогъ, что едва въ силахъ водить перомъ, чтобы написать нѣсколько строчекъ записки, а не то, что исправить или даже переписать то, что̀ нужно переписать. Гораздо лучше просидѣть было лѣто дома и не торопиться; но желаніе повидаться съ тобою и Жуковскимъ было тоже причиною моего нетерпѣнія" [321]).

Для своего освѣженія Гоголь отправился въ Абрамцево, къ Аксаковымъ [322]). Во время его отсутствія, Москву проѣзжала А. О. Смирнова, въ свое Спасское (Московской губерніи, Бронницкаго уѣзда) и оттуда, 9 іюня 1851 года, писала Гоголю: „Правда-ли, что васъ ежеминутно ждутъ въ Москву?— Я уже въ деревнѣ отдыхаю, но бѣдный Николай Михайловичъ отписывается въ Сенатѣ и скучаетъ въ Петербургѣ. Лѣтомъ же отъ Излеровъ ли, или Конкордіи, не знаю, но дѣла еще медленнѣе идутъ.... Напишите ко мнѣ, что вы намѣреваетесь дѣлать лѣтомъ и гдѣ намъ свидѣться, а свидѣться намъ необходимо" [323]).

Возвратившись изъ Абрамцова, Гоголь отправился въ Спасское, гдѣ онъ прожилъ цѣлый мѣсяцъ. По свидѣтельству очевидцевъ, ему отведены были во флигелѣ двѣ небольшія комнаты, обращенныя окнами въ садъ. Въ одной онъ спалъ, въ другой работалъ, стоя. Онъ вставалъ обыкновенно въ 5 часовъ утра, умывался и одѣвался безъ помощи слуги и выходилъ въ садъ съ молитвенникомъ въ рукѣ. Къ 8 часамъ, онъ возвращался, и тогда подавали ему кофе. Послѣ этого онъ работалъ часа два и потомъ приходилъ къ хозяйкѣ дома, или она къ нему приходила. Она видала передъ нимъ мелко исписанную тетрадь въ листъ, на которую онъ всякій разъ набрасывалъ платокъ; но однажды, ей удалось прочитать, что дѣло идетъ о генералъ-губернаторѣ и о Никитѣ. Гоголь каждый день читалъ изъ *Чети Минеи* житіе святого, который на тотъ день приходился, и предлагалъ это чтеніе хозяйкѣ. Но она страдала тогда разстройствомъ нервовъ и не могла читать ничего подобнаго. Тогда Гоголь хотѣлъ повеселить ее и предложилъ прочитать ей первую главу второго тома *Мертвыхъ Душъ*. Онъ думалъ, что Тентетниковъ живо займетъ ее. Но болѣзненное состояніе не позволило ей увлечься и этимъ чтеніемъ. Она почувствовала скуку и призналась въ этомъ автору *Мертвыхъ Душъ*.

— „Да, вы правы,“ — сказалъ онъ, — „это все-таки дребедень, а вашей душѣ не того нужно“.

Но послѣ этого онъ казался очень печальнымъ. Такъ какъ его комнатки были очень малы, то онъ, въ жары, любилъ приходить въ домъ и садился на диванѣ, въ глубинѣ гостинной. Однажды, хозяйка нашла его тамъ въ необыкновенномъ состояніи. Онъ держалъ въ рукѣ *Чети Минеи* и смотрѣлъ сквозь отворенное окно въ поле. Глаза его были какіе-то восторженные, лицо оживлено чувствомъ высокаго удовольствія: онъ какъ-будто видѣлъ передъ собой что-то восхитительное. Когда А. О. Смирнова заговорила съ нимъ, онъ какъ будто изумился, что слышитъ ея голосъ, и съ ка-

нѣкогда имъ такъ превосходно описанную въ *Перепискѣ съ Друзьями*. Говоря со мною о скоромъ отъѣздѣ своемъ въ Малороссію, Гоголь съ умиленіемъ приговаривалъ: „да знаете ли, что послѣ первыхъ лѣтъ молодости моей, я не имѣлъ счастія отпраздновать въ родной семьѣ Свѣтлое Воскресеніе Христово". И это чистое христіанское наслажденіе, котораго онъ жаждалъ, было и послѣднимъ свиданіемъ нѣжнаго сына и брата со своими присными".

Но Гоголь оставилъ Одессу послѣ Пасхи и въ родовомъ селѣ Васильевкѣ провелъ въ послѣдній разъ самую цвѣтущую часть весны, потомъ уѣхалъ въ Москву, гдѣ „ожидала его смерть" [320]).

По свидѣтельству *Дневника* Погодина, Гоголь пріѣхалъ въ Москву 5 іюня 1851 года. Вскорѣ по пріѣздѣ туда, онъ, 15 іюня, писалъ Плетневу: „Пишу къ тебѣ изъ Москвы, усталый, изнемогшій отъ жары и пыли. Поспѣшилъ сюда съ тѣмъ, чтобы заняться дѣломъ по части приготовленія къ печати *Мертвыхъ Душъ*, второго тома, и до того изнемогъ, что едва въ силахъ водить перомъ, чтобы написать нѣсколько строчекъ записки, а не то, что исправить или даже переписать то, что̀ нужно переписать. Гораздо лучше просидѣть было лѣто дома и не торопиться; но желаніе повидаться съ тобою и Жуковскимъ было тоже причиною моего нетерпѣнія" [321]).

Для своего освѣженія Гоголь отправился въ Абрамцево, къ Аксаковымъ [322]). Во время его отсутствія, Москву проѣзжала А. О. Смирнова, въ свое Спасское (Московской губерніи, Бронницкаго уѣзда) и оттуда, 9 іюня 1851 года, писала Гоголю: „Правда-ли, что васъ ежеминутно ждутъ въ Москву?— Я уже въ деревнѣ отдыхаю, но бѣдный Николай Михайловичъ отписывается въ Сенатѣ и скучаетъ въ Петербургѣ. Лѣтомъ же отъ Излеровъ ли, или Конкордіи, не знаю, но дѣла еще медленнѣе идутъ.... Напишите ко мнѣ, что вы намѣреваетесь дѣлать лѣтомъ и гдѣ намъ свидѣться, а свидѣться намъ необходимо" [323]).

Возвратившись изъ Абрамцова, Гоголь отправился въ Спасское, гдѣ онъ прожилъ цѣлый мѣсяцъ. По свидѣтельству очевидцевъ, ему отведены были во флигелѣ двѣ небольшія комнаты, обращенныя окнами въ садъ. Въ одной онъ спалъ, въ другой работалъ, стоя. Онъ вставалъ обыкновенно въ 5 часовъ утра, умывался и одѣвался безъ помощи слуги и выходилъ въ садъ съ молитвенникомъ въ рукѣ. Къ 8 часамъ, онъ возвращался, и тогда подавали ему кофе. Послѣ этого онъ работалъ часа два и потомъ приходилъ къ хозяйкѣ дома, или она къ нему приходила. Она видала передъ нимъ мелко исписанную тетрадь въ листъ, на которую онъ всякій разъ набрасывалъ платокъ; но однажды, ей удалось прочитать, что дѣло идетъ о генералъ-губернаторѣ и о Никитѣ. Гоголь каждый день читалъ изъ *Чети Минеи* житіе святого, который на тотъ день приходился, и предлагалъ это чтеніе хозяйкѣ. Но она страдала тогда разстройствомъ нервовъ и не могла читать ничего подобнаго. Тогда Гоголь хотѣлъ повеселить ее и предложилъ прочитать ей первую главу второго тома *Мертвыхъ Душъ*. Онъ думалъ, что Тентетниковъ живо займетъ ее. Но болѣзненное состояніе не позволило ей увлечься и этимъ чтеніемъ. Она почувствовала скуку и призналась въ этомъ автору *Мертвыхъ Душъ*.

— „Да, вы правы,“ — сказалъ онъ, — „это все-таки дребедень, а вашей душѣ не того нужно“.

Но послѣ этого онъ казался очень печальнымъ. Такъ какъ его комнатки были очень малы, то онъ, въ жары, любилъ приходить въ домъ и садился на диванѣ, въ глубинѣ гостинной. Однажды, хозяйка нашла его тамъ въ необыкновенномъ состояніи. Онъ держалъ въ рукѣ *Чети Минеи* и смотрѣлъ сквозь отворенное окно въ поле. Глаза его были какіе-то восторженные, лицо оживлено чувствомъ высокаго удовольствія: онъ какъ-будто видѣлъ передъ собой что-то восхитительное. Когда А. О. Смирнова заговорила съ нимъ, онъ какъ будто изумился, что слышитъ ея голосъ, и съ ка-

кимъ-то смущеніемъ отвѣчалъ ей, что читаетъ житіе такого-то святого.

По вечерамъ Гоголь купался въ рѣкѣ, пилъ воду съ краснымъ виномъ, бродилъ по берегу рѣки и всегда съ удовольствіемъ наблюдалъ, какъ возвращались стада съ поля въ деревню: это напоминало ему Малороссію. Онъ ужъ тогда былъ нездоровъ, жаловался на разстройство нервовъ, на медленность пульса, на недѣятельность желудка и не разговаривалъ ни съ домашними слугами, ни съ крестьянами. Шутливость его и затѣйливость въ словахъ исчезла. Онъ весь былъ погруженъ въ себя" [324]).

Въ августѣ, мы встрѣчаемъ Гоголя опять въ Москвѣ, гдѣ находился и Погодинъ, который отъ своего крестника, Сорокина, получилъ слѣдующее приглашеніе: „Сего 15-го августа, есть день ежегодно-открытаго торжества на Преображенскомъ кладбищѣ. Въ этотъ день открытъ для зрителей всякаго званія входъ въ ихъ молельни и часовни, которыя для таковаго торжества украшаются одинъ разъ въ годъ полнымъ великолѣпіемъ и драгоцѣнностями, какія только имѣются на кладбищѣ; въ этотъ же день бываетъ у нихъ, въ одной изъ молельней, общественная трапеза со всѣми обрядами ихъ къ оной. Во всемъ этомъ много есть любопытнаго и единственнаго въ своемъ родѣ. Если пожелаете вы оное все видѣть, то я, съ своей стороны, очень бы радъ былъ сопутствовать вамъ и показывать путь, какъ старожилъ здѣшняго края. Церемоніялъ трапезы начинается отъ 10 часовъ утра и оканчивается во 2-мъ, по полудни. Молельни бываютъ открыты въ 11 утра..... Вечерня начинается въ 4 часа и всегда бываетъ съ большими распѣвами славниковъ по хомовому. Очень я счастливъ буду, если вы посѣтите своего крестника, и если на это рѣшитесь, то покорнѣйше прошу васъ, извѣстите меня о времени вашего пріѣзда; я въ назначенное вами время буду васъ ожидать дома со всею моею готовностію къ вашимъ услугамъ" [325]). Погодинъ воспользовался этимъ приглашеніемъ и, вмѣстѣ съ Гоголемъ, отправился на торже-

ство, о чемъ и записалъ въ своемъ *Дневникѣ* слѣдующее: „На Преображенское кладбище съ Гоголемъ. Обѣдъ съ пѣніемъ и проч. Столъ покрытъ по древнему. У Сорокина“ [326]).

Въ сентябрѣ, Гоголь предпринялъ путешествіе на свадьбу сестры; но въ Оптиной пустынѣ онъ почувствовалъ себя дурно и, опасаясь расхвораться, пріѣхать на свадьбу больнымъ и всѣхъ разстроить, рѣшился воротиться въ Москву [327]). Здѣсь, онъ первый визитъ, по возвращеніи, сдѣлалъ своему земляку Бодянскому, и на вопросъ послѣдняго: „Зачѣмъ онъ воротился“? — отвѣчалъ: *Такъ! Мнѣ сдѣлалось какъ-то грустно*, и больше ни слова“ [328]).

Въ концѣ сентября, Гоголь отправился къ Аксаковымъ въ Абрамцово. По свидѣтельству С. Т. Аксакова, у нихъ онъ былъ постоянно грустенъ.... Очень было замѣтно, что его постоянно смущала мысль о томъ, что мать и сестры будутъ огорчены, обманувшись въ надеждѣ его увидѣть. Перваго октября, въ день рожденія своей матери, Гоголь ѣздилъ къ обѣднѣ въ Сергіеву Лавру и, на возвратномъ пути, заѣзжалъ въ Хотьковъ монастырь. За обѣдомъ, въ Абрамцовѣ, Гоголь поразвеселился и вечеромъ былъ очень веселъ. Пѣлись Малороссійскія пѣсни, и Гоголь самъ пѣлъ очень забавно. Это было его послѣднее посѣщеніе Абрамцова и послѣднее свиданіе съ С. Т. Аксаковымъ. 3-го октября 1851 года, онъ уѣхалъ въ Москву“.

Въ продолженіе октября и ноября, Гоголь, вѣроятно, чувствовалъ себя лучше и могъ успѣшно работать, что доказывается нѣсколькими его записками къ С. Т. Аксакову. Въ одной изъ нихъ, между прочимъ, онъ писалъ: „Слава Богу за все. Дѣло кое-какъ идетъ. Можетъ быть оно и лучше, если мы прочитаемъ другъ другу зимой, а не теперь. Теперь время еще какого-то безпорядка, какъ всегда бываетъ осенью, когда человѣкъ возится и выбираетъ мѣсто, какъ усѣсться, а еще не усѣлся“. Слѣдующія слова изъ другой записки къ С. Т. Аксакову показываютъ, что Гоголь былъ доволенъ своею работой: „Если Богъ будетъ милостивъ и пошлетъ нѣ-

кимъ-то смущеніемъ отвѣчалъ ей, что читаетъ житіе такого-то святого.

По вечерамъ Гоголь купался въ рѣкѣ, пилъ воду съ краснымъ виномъ, бродилъ по берегу рѣки и всегда съ удовольствіемъ наблюдалъ, какъ возвращались стада съ поля въ деревню: это напоминало ему Малороссію. Онъ ужъ тогда былъ нездоровъ, жаловался на разстройство нервовъ, на медленность пульса, на недѣятельность желудка и не разговаривалъ ни съ домашними слугами, ни съ крестьянами. Шутливость его и затѣйливость въ словахъ исчезла. Онъ весь былъ погруженъ въ себя" [324]).

Въ августѣ, мы встрѣчаемъ Гоголя опять въ Москвѣ, гдѣ находился и Погодинъ, который отъ своего крестника, Сорокина, получилъ слѣдующее приглашеніе: „Сего 15-го августа, есть день ежегодно-открытаго торжества на Преображенскомъ кладбищѣ. Въ этотъ день открытъ для зрителей всякаго званія входъ въ ихъ молельни и часовни, которыя для таковаго торжества украшаются одинъ разъ въ годъ полнымъ великолѣпіемъ и драгоцѣнностями, какія только имѣются на кладбищѣ; въ этотъ же день бываетъ у нихъ, въ одной изъ молельней, общественная трапеза со всѣми обрядами ихъ къ оной. Во всемъ этомъ много есть любопытнаго и единственнаго въ своемъ родѣ. Если пожелаете вы оное все видѣть, то я, съ своей стороны, очень бы радъ былъ сопутствовать вамъ и показывать путь, какъ старожилъ здѣшняго края. Церемоніялъ трапезы начинается отъ 10 часовъ утра и оканчивается во 2-мъ, по полудни. Молельни бываютъ открыты въ 11 утра..... Вечерня начинается въ 4 часа и всегда бываетъ съ большими распѣвами славниковъ по хомовому. Очень я счастливъ буду, если вы посѣтите своего крестника, и если на это рѣшитесь, то покорнѣйше прошу васъ, извѣстите меня о времени вашего пріѣзда; я въ назначенное вами время буду васъ ожидать дома со всею моею готовностію къ вашимъ услугамъ" [325]). Погодинъ воспользовался этимъ приглашеніемъ и, вмѣстѣ съ Гоголемъ, отправился на торже-

ство, о чемъ и записалъ въ своемъ *Дневникѣ* слѣдующее: „На Преображенское кладбище съ Гоголемъ. Обѣдъ съ пѣніемъ и проч. Столъ покрытъ по древнему. У Сорокина“ [326]).

Въ сентябрѣ, Гоголь предпринялъ путешествіе на свадьбу сестры; но въ Оптиной пустынѣ онъ почувствовалъ себя дурно и, опасаясь расхвораться, пріѣхать на свадьбу больнымъ и всѣхъ разстроить, рѣшился воротиться въ Москву [327]). Здѣсь, онъ первый визитъ, по возвращеніи, сдѣлалъ своему земляку Бодянскому, и на вопросъ послѣдняго: „Зачѣмъ онъ воротился“? — отвѣчалъ: *Такъ! Мнѣ сдѣлалось какъ-то грустно*, и больше ни слова“ [328]).

Въ концѣ сентября, Гоголь отправился къ Аксаковымъ въ Абрамцово. По свидѣтельству С. Т. Аксакова, у нихъ онъ былъ постоянно грустенъ.... Очень было замѣтно, что его постоянно смущала мысль о томъ, что мать и сестры будутъ огорчены, обманувшись въ надеждѣ его увидѣть. Перваго октября, въ день рожденія своей матери, Гоголь ѣздилъ къ обѣднѣ въ Сергіеву Лавру и, на возвратномъ пути, заѣзжалъ въ Хотьковъ монастырь. За обѣдомъ, въ Абрамцовѣ, Гоголь поразвеселился и вечеромъ былъ очень веселъ. Пѣлись Малороссійскія пѣсни, и Гоголь самъ пѣлъ очень забавно. Это было его послѣднее посѣщеніе Абрамцова и послѣднее свиданіе съ С. Т. Аксаковымъ. 3-го октября 1851 года, онъ уѣхалъ въ Москву“.

Въ продолженіе октября и ноября, Гоголь, вѣроятно, чувствовалъ себя лучше и могъ успѣшно работать, что доказывается нѣсколькими его записками къ С. Т. Аксакову. Въ одной изъ нихъ, между прочимъ, онъ писалъ: „Слава Богу за все. Дѣло кое-какъ идетъ. Можетъ быть оно и лучше, если мы прочитаемъ другъ другу зимой, а не теперь. Теперь время еще какого-то безпорядка, какъ всегда бываетъ осенью, когда человѣкъ возится и выбираетъ мѣсто, какъ усѣсться, а еще не усѣлся“. Слѣдующія слова изъ другой записки къ С. Т. Аксакову показываютъ, что Гоголь былъ доволенъ своею работой: „Если Богъ будетъ милостивъ и пошлетъ нѣ-

сколько деньковъ, подобныхъ тѣмъ, какія иногда удаются, то, можетъ быть, я какъ-нибудь управлюсь“ [329]).

Въ октябрѣ 1851 года, Гоголь даже вздумалъ устроить чтеніе своего *Ревизора* для актеровъ и при этомъ разсказалъ Бодянскому слѣдующее: „Первую идею къ *Ревизору* подалъ мнѣ Пушкинъ, разсказавъ о Павлѣ Свиньинѣ, какъ онъ въ Бессарабіи выдавалъ себя за какого-то Петербургскаго важнаго чиновника, и только, зашедши ужъ далеко, сталъ было брать прошенія отъ колодниковъ, былъ остановленъ“ [330]).

Изъ постороннихъ на чтеніи *Ревизора* были: Шевыревъ, Погодинъ, а также И. С. Тургеневъ. „Къ великому удивленію моему“,—повѣствуетъ послѣдній,— „далеко не всѣ актеры, учавствовавшіе въ *Ревизорѣ*, явились на приглашеніе Гоголя; имъ показалось обиднымъ, что ихъ словно хотятъ учить! Ни одной актрисы также не пріѣхало. Сколько я могъ замѣтить, Гоголя огорчилъ этотъ неохотный и слабый отзывъ на его предложеніе... Извѣстно, до какой степени онъ скупился на подобныя милости. Лицо его приняло угрюмое и холодное выраженіе; глаза подозрительно насторожились. Въ тотъ день онъ смотрѣлъ точно больнымъ человѣкомъ. Онъ принялся читать — и по-немногу оживился... Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и просвѣтлѣли“. О самомъ чтеніи Тургеневъ свидѣтельствуетъ: „Читалъ Гоголь превосходно... Я слушалъ его тогда въ первый разъ—и въ послѣдній разъ. Диккенсъ также превосходный чтецъ, можно сказать, разыгрываетъ свои романы, чтеніе—драматическое, почти театральное... Гоголь, напротивъ, поразилъ меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и въ то же время наивной искренностью, которой словно и дѣла нѣтъ— есть ли тутъ слушатели и что̀ они думаютъ. Казалось, Гоголь только и заботился о томъ, какъ бы вникнуть въ предметъ, для него самого новый, и какъ бы вѣрнѣе передать собственное впечатлѣніе. Эффектъ выходилъ необычайный—особенно въ комическихъ, юмористическихъ мѣстахъ; не было возможности не смѣяться... А виновникъ всей этой потѣхи продол-

жалъ, не смущаясь общей веселостью и какъ бы внутренно дивясь ей, все болѣе и болѣе погружаться въ самое дѣло— и лишь изрѣдка, на губахъ и около глазъ, чуть замѣтно трепетала лукавая усмѣшка мастера. Съ какимъ недоумѣніемъ, съ какимъ изумленіемъ Гоголь произнесъ знаменитую фразу городничаго о двухъ крысахъ, въ самомъ началѣ пьесы: *Пришли, понюхали и пошли прочь!* Онъ даже медленно оглянулъ насъ, какъ бы спрашивая объясненія такого удивительнаго происшествія. Я только тутъ понялъ, какъ вообще невѣрно, поверхостно, съ какимъ желаніемъ только поскорѣй насмѣшить — обыкновенно разыгрывается на сценѣ *Ревизоръ*. Я сидѣлъ, погруженный въ радостное умиленіе: это былъ для меня настоящій пиръ и праздникъ" [331]).

Въ тоже время, изъ Турановки (15 октября 1851 г.) М. А. Максимовичъ писалъ Погодину: „Извѣсти, пожалуйста, гдѣ теперь Гоголь, и дѣйствительно ли онъ пускаетъ уже въ свѣтъ вторую часть *Мертвыхъ Душъ*. Если онъ въ Москвѣ, то передай ему мой поклонъ". О томъ же писалъ изъ Петербурга (4 декабря 1851 г.), къ Погодину, и И. С. Тургеневъ: „Если вы увидите Гоголя, не забудьте поклониться ему отъ имени одного изъ самыхъ малыхъ учениковъ его.— Когда-то онъ подаритъ намъ продолженіе *Мертвыхъ Душъ*"? [332]) Плетневъ же писалъ Жуковскому: „Гоголь, наконецъ, по двухлѣтнемъ молчаніи написалъ ко мнѣ, и я изъ его письма узналъ съ восхищеніемъ, что онъ живетъ въ Москвѣ, на Никитскомъ бульварѣ, въ домѣ Талызина" [333]), въ настоящее время, принадлежащемъ Натальѣ Аѳанасьевнѣ Шереметевой.

Между тѣмъ, въ Абрамцово, до С. Т. Аксакова стали доходить тревожные слухи, что Гоголь „опять разстроился". Для своего успокоенія, Аксаковъ рѣшился написать къ нему и спросить: „какъ подвигается его трудъ"? Въ отвѣтъ получилъ отъ Гоголя слѣдующую печальную, послѣднюю записку: „Очень благодарю за ваши строчки. Дѣло мое идетъ крайне тупо. Время такъ быстро летитъ, что ничего почти не успѣваешь. Вся надежда моя на Бога, который одинъ можетъ

ускорить мое медленно-движущееся вдохновеніе. Вашъ весь. Обнимаю вмѣстѣ съ вами весь домъ вашъ".

LXXVII.

Наступилъ 1852-й годъ. Наступили послѣдніе дни жизни Гоголя.

„Послѣ половины января" (того же 1852 г.),—пишетъ Вѣра Сергѣевна Аксакова,—„я съ сестрою Надей поѣхала въ Москву (изъ Абрамцова). Какъ пріѣхали, дала знать Гоголю. Онъ навѣстилъ насъ, и мы нашли его довольно бодрымъ" [334]). О томъ же свидѣтельствуютъ и Погодинъ и Бодянскій. „За мѣсяцъ до кончины",—пишетъ Погодинъ,—„онъ былъ, по-видимому, здоровъ, принималъ еще живое участіе въ изданіи своихъ сочиненій, которыя печатались вдругъ въ трехъ типографіяхъ, занимался корректурами, заботился объ исправленіяхъ въ слогѣ, просилъ замѣчаній" [335]).

За девять дней до масляной, О. М. Бодянскій посѣтилъ Гоголя и „видѣлъ его еще полнымъ энергической дѣятельности". Онъ засталъ Гоголя за столомъ, который стоялъ почти посреди комнаты и за которымъ онъ обыкновенно работалъ сидя. Столъ былъ покрытъ зеленымъ сукномъ. На столѣ разложены были бумаги и корректурные листы. Бодянскій, обладая прекрасною памятью, помнитъ отъ слова до слова весь разговоръ свой съ Гоголемъ.

— Чѣмъ это вы занимаетесь, Николай Васильевичъ? спросилъ онъ, замѣтивъ, что передъ Гоголемъ лежала чистая бумага и два очиненныя пера, изъ которыхъ одно было въ чернильницѣ.

— „Да вотъ, мараю все свое,—отвѣчалъ Гоголь:—да просматриваю корректуру на-бѣло своихъ сочиненій, которыя издаю теперь вновь".

— Все ли будетъ издано?

— „Ну, нѣтъ; кое-что изъ своихъ юныхъ произведеній выпущу".

— Что же именно?

— „Да *Вечера*“!!

— Какъ! — вскричалъ гость, вскочивъ со стула.—Вы хотите посягнуть на одно изъ самыхъ свѣжихъ произведеній своихъ?

— „Много въ немъ незрѣлаго,—отвѣчалъ спокойно Гоголь.—Мнѣ бы хотѣлось дать публикѣ такое собраніе своихъ сочиненій, которымъ я былъ бы въ теперешнюю минуту больше всего доволенъ. А послѣ, пожалуй, кто хочетъ, можетъ изъ нихъ (т.-е., *Вечеровъ на хуторѣ*) составить еще новый томикъ“.

Бодянскій вооружился противъ Гоголя всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ, говоря, что еще не настало время разбирать его, какъ лицо мертвое для Русской Литературы, и что публикѣ хотѣлось бы имѣть все то, что онъ написалъ, и притомъ въ порядкѣ хронологическомъ, изъ рукъ самого сочинителя.

Но Гоголь на всѣ убѣжденія отвѣчалъ:

— „По смерти моей, какъ хотите, такъ и распоряжайтесь“.

Слово смерть послужило переходомъ къ разговору о Жуковскомъ. Гоголь призадумался на нѣсколько минутъ и вдругъ сказалъ:

— „Право, скучно, какъ посмотришь кругомъ, на этомъ свѣтѣ. Знаете ли вы? Жуковскій пишетъ ко мнѣ, что онъ ослѣпъ“?

— Какъ!—воскликнулъ Бодянскій—слѣпой пишетъ къ вамъ, что онъ ослѣпъ?

— „Да, Нѣмцы ухитрились устроить ему какую-то штучку... Семене!—закричалъ Гоголь своему слугѣ по Малороссійски: ходы сюды“.

Онъ велѣлъ спросить у графа А. П. Толстаго, въ квартирѣ котораго онъ жилъ, письмо Жуковскаго. Но графа не было дома.

— „Ну, да я вамъ послѣ письмо привезу и покажу, по-

тому что—знаете ли?—я распорядился безъ вашего вѣдома. Я въ слѣдующее воскресенье собираюсь угостить васъ двумя-тремя напѣвами нашей Малороссіи, которые очень мило Н. С. Аксакова положила на ноты съ моего козлинаго пѣнья; да при этомъ упьемся и прежними нашими пѣснями. Будете ли вы свободны вечеромъ"?

— Ну, не совсѣмъ—отвѣчалъ гость.

— „Какъ хотите, а я ужъ распорядился, и мы соберемся у О. Ѳ. Кошелевой, часовъ въ семь; а впрочемъ, для большей вѣрности, вы не уходите; я самъ къ вамъ заѣду, и мы вмѣстѣ отправимся въ Поварскую" [336]).

Между тѣмъ, въ это время занемогла жена Хомякова, сестра Языкова, съ которою Гоголь былъ такъ друженъ. Она занемогла тифомъ, осложненнымъ беременностію. Всѣхъ, въ томъ числѣ и Погодина, очень встревожила и огорчила болѣзнь этой чудной женщины. „Что у тебя?"—писалъ Хомякову Погодинъ,—„Шевыревъ сказалъ мнѣ вчера о болѣзни. Боюсь пріѣхать къ тебѣ, чтобъ не произвесть непріятнаго впечатлѣнія. Мнѣ кажется, что я страшенъ въ такомъ случаѣ. Храни тебя Богъ, сердечное участіе принимаю. Ахъ, знаю я эти минуты! Ввечеру я услышалъ, что, слава Богу, стало лучше, показался потъ. Это, кажется, главное. Сдѣлай милость,—вели черкнуть хоть одно слово". Въ отвѣтъ, Хомяковъ самъ написалъ: „Благодарю тебя душевно. Нынче по утру, кажется, получше: что Богъ дастъ впередъ? Извини нескладность отвѣта. Хомяковъ". Но 26 января, въ 11 ч. 30 м. вечера, Екатерина Михайловна скончалась; а 28-го, Шевыревъ писалъ Погодину: „Ты уже, конечно, слышалъ, любезный другъ, о несчастіи, постигшемъ Хомякова. Ты не хотѣлъ навѣщать его во время болѣзни его жены, чтобы не пугать его собою, а теперь, я боюсь, чтобъ ты его несчастіемъ самъ не растравилъ живыхъ ранъ своихъ. Очень, очень горько! Я самъ весь разстроенъ. Похороны Екатерины Михайловны будутъ завтра, во вторникъ, въ 9 часовъ утра. Я поѣду къ 9-ти, чтобы быть у нихъ дома. Вечеръ вторнич-

ный я отказываю любезнымъ гостямъ моимъ. Панихида сегодня будетъ и въ 12 и въ 7 часовъ".

„Въ нѣсколько дней",—пишетъ В. Н. Лясковскій,—„проведенныхъ у постели и гроба жены, Хомяковъ постарѣлъ и измѣнился до неузнаваемости, но мужественно переносилъ горе".

Всѣ знавшіе Хомякова приняли въ его горѣ живѣйшее участіе. „Благодарю васъ искренно",—писала графиня А. Д. Блудова Погодину,—„за ваше письмецо—хотя оно было такъ кратко и печально.—Я въ тотъ же день утромъ уже узнала печальную вѣсть, но въ вашемъ письмѣ было извѣстіе и о бѣдномъ Алексѣѣ Степановичѣ, о которомъ мы ничего не знали послѣ его несчастія. Это несчастіе ужасно насъ поразило—и глубоко сочувствую потерѣ Алексѣя Степановича. Напишите мнѣ о немъ, пожалуйста. Я сама больна и писать мнѣ трудно—а хотѣлось бы знать, что дѣлается съ семействомъ, которое, знаете, мы отъ души любимъ".

„Веневитиновъ былъ здѣсь",—писалъ Шевыревъ Погодину,—„пріѣзжалъ на шесть дней и поручилъ мнѣ извинить его передъ тобою, что онъ до тебя не доѣхалъ. Онъ пріѣзжалъ для Хомякова. Въ числѣ доказательствъ недостатка времени онъ поручилъ сказать, что не успѣлъ быть даже въ Симоновѣ" *).

Одновременно съ Хомяковымъ, постигло горе и другого представителя *науки, неоторвавшейся отъ неба*, это протоіерея Θеодора Александровича Голубинскаго. Онъ также внезапно лишился своего первенца Сергія, уже студента Московской Духовной Академіи.

13 марта 1852 г., митрополитъ Филаретъ писалъ ректору Академіи архимандриту Алексѣю: „Очень жалѣю, что не успѣлъ донынѣ писать къ опечаленному о. протоіерею Θеодору. Извѣстите меня, какъ несетъ крестъ свой его внутренній и внѣшній человѣкъ". На другой же день, митрополитъ

*) Гдѣ похороненъ его братъ—Дмитрій Владиміровичъ.

писалъ Голубинскому: „Съ соболѣзнованіемъ узналъ я о новомъ лишеніи, которымъ угодно Господу испытать ваше родительское сердце. Что сотворимъ? Что иное, какъ развѣ повинемся Отцу духовомъ, и живи будемъ (Евр. 12, 9)? Надѣюсь, что такъ и расположенъ духъ вашъ. Да укрѣпится онъ, и да сохранитъ въ скорби столько мира, чтобъ не слишкомъ потрясена была немощная плоть. *Нынѣ время показать плодъ любомудрія, много лѣтъ вами проповѣдуемаго*, и не поколебаться лишеніемъ видимаго и временнаго, въ созерцаніи невидимаго, во упованіи вѣчнаго. Усердно молю Господа, ниспослать вамъ свыше помощь, и утѣшеніе, и миръ".

Богомудрый философъ отвѣчалъ: „Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивѣйшій архипастырь и отецъ. Я имѣлъ счастіе получить драгоцѣнное утѣшеніе и наставленіе вашего высокопреосвященства. Что могу сказать на сіе? Стою ли я того! Стою ли я того! Вотъ искреннее чувство, возбужденное симъ утѣшительнымъ писаніемъ въ сердцѣ моемъ. Что есть сынъ человѣчь, яко посѣщаеши его? Вы знаете мое скудоуміе, разслабленіе погрѣшности и невѣрности: и снисходите къ такому неключимому! Приношу вамъ нижайшую благодарность и за тѣ отрадныя слова, кои удостоился я услышать изъ устъ вашихъ, похоронивъ перваго моего сына. Я принялъ ихъ съ вѣрою, и болѣе подкрѣплялся ими, нежели припоминаніемъ изреченій искателей мудрости, каково слово Епиктета: *умеръ у тебя сынъ? Не говори: я потерялъ его, но отдалъ*. Епиктетъ еще не зналъ Того, Кому отдаемъ то, съ чѣмъ разлучились. А вѣрующимъ возвѣщено: *Кто есть Отецъ духовъ, глаголющій: много тебѣ останетъ да можеши возлюбити сотвореніе Мое, паче Мене*. Съ глубочайшею благодарностію лобзаю архипастырскую десницу вашу, начертавшую драгія слова утѣшенія недостойному и имѣю счастіе быть вашего высокопреосвященства преданнѣйшимъ послушникомъ".

Также и для Хомякова настало время показать *плодъ*

любомудрія, имъ проповѣдуемаго. При первомъ свиданіи съ Ю. Ѳ. Самаринымъ, Хомяковъ сказалъ ему, что онъ принимаетъ смерть жены за наказаніе и испытаніе, ниспосланное ему свыше. Архіепископу же Казанскому Григорію, Хомяковъ писалъ: „На дняхъ, высокопреосвященнѣйшій владыко, по волѣ Божіей, похоронилъ я, на шестнадцатомъ году нашего брака, жену молодую, прекрасную, добрую, какъ кажется, только возможно человѣку быть добрымъ, единственную любовь моей жизни и величайшее счастіе, какое можетъ дать жизнь земная. Совѣстію свидѣтельствуюсь, что я не осмѣлюсь сравнить своей сердечной болѣзни, своей неисцѣлимой раны съ духовнымъ страданіемъ Пальмера".

Въ отвѣтномъ письмѣ своемъ (отъ 5 марта 1852 г.), высокопреосвященнѣйшій Григорій писалъ Хомякову: „Молю Господа Бога, чтобы онъ утѣшилъ васъ въ вашей семейной скорби для той любви, которую оказываете вашему ближнему, подъ бременемъ собственнаго горя".

Въ годъ кончины супруги своей, А. С. Хомяковъ посѣтилъ свое Смоленское село Липицы и оттуда, 6 августа 1852 года, писалъ Ю. Ѳ. Самарину: „Не знаю, слыхали ли вы, какое чудное мѣсто эти Липицы... Катя любила ихъ еще болѣе моего; она говаривала, что не отдала бы ихъ за Ричмондъ, который за-границею нравился ей болѣе всего. Много я тамъ сдѣлалъ посадокъ при ней, но еще болѣе въ послѣдніе три года, въ которые ей не удавалось тамъ быть, и всѣ удались, и я думалъ ее обрадовать ими неожиданно потому, что она обо многихъ не слыхала. И все принялось, и все разрастается! Невѣроятная тоска напала на меня. Я старался не поддаваться, работать усердно, упрямо, ничто не помогало. Сердце не хотѣло отъ нея отступаться и передать ее иной высшей жизни. Долго длилась эта борьба, наконецъ миновалась; но никогда я не испытывалъ такъ сильно того, что можно назвать ревнивымъ эгоизмомъ любви: ибо горе было на перекоръ разуму и всѣмъ его убѣжденіямъ. Слава Богу, прошло".

По свидѣтельству В. Н. Лясковскаго, „со дня кончины Екатерины Михайловны до своего конца, Хомяковъ постоянно о ней думалъ. Долго послѣ ея смерти онъ не могъ писать стиховъ. Наконецъ, въ сонномъ видѣніи является ему жена и говоритъ: „Не унывай“. Послѣ этого видѣнія онъ написалъ *Лазаря:*

О Царь и Богъ мой! Слово силы
Во время оно ты сказалъ.
И сокрушенъ былъ плѣнъ могилы,
И Лазарь ожилъ и возсталъ.

Молю да слово силы грянетъ,
Да скажешь: встань! душѣ моей.
И мертвая изъ гроба встанетъ
И выйдетъ въ свѣтъ Твоихъ лучей.

И оживетъ, и величавый
Ея хвалы раздастся гласъ—
Тебѣ сіянью Отчей славы,
Тебѣ умершему за насъ.

LXXVIII.

Въ условленное съ Гоголемъ воскресенье О. М. Бодянскій, ничего не зная о болѣзни и кончинѣ Е. М. Хомяковой, ждалъ Гоголя до 7 часовъ вечера, наконецъ подумавъ, что Гоголь забылъ о своемъ обѣщаніи заѣхать къ нему, отправился въ Поварскую одинъ; но никого не засталъ въ домѣ, гдѣ они условились быть, потому что въ это время умеръ одинъ общій другъ всѣхъ Московскихъ пріятелей Гоголя—именно жена Хомякова—и это печальное событіе разстроило послѣдній музыкальный вечеръ, о которомъ хлопоталъ Гоголь“ [337]).

Кончина Екатерины Михайловны Хомяковой, по свидѣтельству В. С. Аксаковой, „поразила и огорчила всѣхъ, но Гоголя она особенно разстроила. Онъ былъ на первой панихидѣ и на-силу могъ остаться до конца“. На другой день онъ посѣтилъ дочерей Аксакова. „*Вотъ какъ!*—сказалъ онъ, грустно здороваясь съ ними; говорилъ, что боялся въ тотъ

день посылать узнавать о ея здоровьѣ..... Спросилъ, гдѣ ее положатъ? Аксаковы сказали: въ Даниловомъ монастырѣ, возлѣ Языкова. Гоголь покачалъ головой, сказалъ что-то объ Языковѣ и задумался такъ, что Аксаковымъ страшно стало: Гоголь, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался въ томъ же положеніи такъ долго, что Аксаковы нарочно заговорили о другомъ, чтобъ прервать его мысли"... На похоронахъ Гоголь не былъ. На третій день похоронъ онъ посѣтилъ Аксаковыхъ и на вопросъ ихъ, „отчего онъ не былъ"? Гоголь отвѣчалъ, что „слишкомъ былъ разстроенъ, не могъ". Разговоръ, разумѣется, все былъ о томъ же. Гоголь сказалъ: „Я отслужилъ самъ одинъ панихиду по Екатеринѣ Михайловнѣ и помянулъ вмѣстѣ всѣхъ близкихъ, прежде отшедшихъ; и она, какъ будто въ благодарность, привела ихъ всѣхъ такъ живо передъ меня. Мнѣ стало легче. Но страшна минута смерти".—„Почему же страшна"?—спросила кто-то изъ Аксаковыхъ. — „Только бы быть увѣрену въ милости Божіей къ страждущему человѣку, и тогда отрадно думать о смерти". *Ну, объ этомъ надобно спросить тѣхъ, кто перешелъ черезъ эту минуту*", сказалъ Гоголь. Послѣ панихиды по Хомяковой, свидѣтельствуетъ В. С. Аксакова, Гоголь „сдѣлался спокоенъ, какъ-то свѣтелъ духомъ, почти веселъ"..... Въ 1852 году, поминальная суббота совпадала съ праздникомъ Срѣтенія, и потому поминальную субботнюю службу служили въ пятницу. Гоголь въ этотъ день молился въ своемъ приходѣ, у Симеона Столпника, гдѣ въ то время священствовалъ Алексѣй Ивановичъ Соколовъ, нынѣ протопресвитеръ храма Христа Спасителя. Въ тотъ же день, онъ посѣтилъ Аксаковыхъ и они замѣтили, что Гоголь „находился подъ впечатлѣніемъ этой службы; мысли его были обращены къ тому міру. Онъ былъ свѣтелъ, даже веселъ, говорилъ много и все объ одномъ и томъ же. Онъ говорилъ, что надобно посовѣтовать Хомякову читать самому *Псалтырь* по своей женѣ, что это для него и для нея будетъ утѣшеніе, и что тогда только имѣетъ смыслъ чтеніе

Псалтыря по умершимъ, когда читаютъ близкіе; говорилъ о впечатлѣніи смерти на людей, о томъ, возможно ли человѣка воспитать такъ съ малыхъ лѣтъ, чтобъ онъ понималъ значеніе жизни и смерти, чтобы смерть не поражала какъ будто нечаянность". Въ то же время Гоголь очень хвалилъ Аксаковымъ своего приходскаго священника А. И. Соколова „и всю службу въ его приходѣ". День былъ ясный и Аксаковы спросили Гоголя, „работалъ ли онъ сегодня?" Нѣтъ еще, сказалъ онъ, улыбаясь, вышелъ съ утра изъ дома. Надобно вамъ теперь позаняться, сказали они. Надобно, отвѣчалъ Гоголь, но не знаю, какъ пойдетъ". Въ воскресенье Гоголь опять посѣтилъ Аксаковыхъ. Пришелъ къ нимъ пѣшкомъ отъ обѣдни, нѣсколько усталый, и опять хвалилъ очень своего приходскаго священника и все служеніе; видно, что онъ былъ полонъ службой, говорилъ опять о Псалтырѣ. Сказалъ также: „Всякій разъ какъ я иду къ вамъ, прохожу мимо Хомякова дома и всякій разъ, и днемъ и вечеромъ, вижу въ окнѣ свѣчу, теплящуюся въ комнатѣ Екатерины Михайловны, тамъ читаютъ Псалтырь"... [338])

Начались страстные дни Гоголя... Погодинъ въ это время, по высочайшему повелѣнію, пребывалъ въ Суздалѣ и разыскивалъ тамъ гробъ Пожарскаго. Между тѣмъ, не смотря на свое отсутствіе, свидѣтельствуетъ: „По соображеніямъ, оказывается теперь, что въ послѣднее время Гоголь уклонялся подъ разными предлогами отъ употребленія пищи, въ чемъ однакожъ уличить было его невозможно. Во вторникъ, на масленицѣ, онъ пріѣзжалъ къ своему духовнику, священнику церкви Саввы Освященнаго (приходъ Погодина), извѣстить, что говѣетъ и спросить, когда можетъ пріобщиться. Тотъ посовѣтовалъ-было дождаться первой недѣли поста, а потомъ согласился и назначилъ четвергъ. Въ назначенный день, Гоголь явился въ церковь еще до заутрени, и исповѣдался. Передъ принятіемъ святыхъ даровъ, за обѣднею, палъ ницъ и много плакалъ. Былъ уже слабъ и почти шатался. Вечеромъ пріѣхалъ къ священнику и просилъ его отслужить

благодарственный молебенъ, упрекая себя, что забылъ исполнить то поутру. Изъ церкви заѣхалъ по сосѣдству къ одному знакомому, который, при первомъ взглядѣ на него, замѣтилъ въ лицѣ болѣзненное разстройство, и не могъ удержаться отъ вопроса: что̀ съ нимъ случилось? Ничего, отвѣчалъ онъ, я нехорошо себя чувствую. Просидѣвъ нѣсколько минутъ, онъ всталъ,—въ комнатѣ сидѣло двое постороннихъ,—и сказалъ, что сходитъ пока къ домашнимъ, но остался у нихъ еще менѣе. Въ субботу, на масленицѣ, онъ посѣтилъ также нѣкоторыхъ своихъ знакомыхъ. Никакой особенной болѣзни не было въ немъ замѣтно, не только опасности; а въ задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновеннаго. Въ воскресенье, передъ постомъ, онъ призвалъ къ себѣ одного изъ друзей своихъ, и, какъ бы готовясь къ смерти, поручалъ ему отдать нѣкоторыя свои сочиненія въ распоряженіе духовной особы, имъ уважаемой, а другія напечатать. Тотъ старался ободрить его упавшій духъ и отклонить отъ него всякую мысль о смерти. Ночью, на вторникъ, онъ долго молился одинъ въ своей комнатѣ. Въ три часа призвалъ своего мальчика и спросилъ его: тепло ли въ другой половинѣ его покоевъ. Свѣжо, отвѣчалъ тотъ. Дай мнѣ плащъ, пойдемъ: мнѣ нужно тамъ распорядиться. И онъ пошелъ, съ свѣчей въ рукахъ, крестясь во всякой комнатѣ, чрезъ которую проходилъ. Пришедъ, велѣлъ открыть трубу, какъ можно тише, чтобъ никого не разбудить, и потомъ подать изъ шкафа портфель. Когда портфель былъ принесенъ, онъ вынулъ оттуда связку тетрадей, перевязанныхъ тесемкой, положилъ ее въ печь и зажегъ свѣчей изъ своихъ рукъ. Мальчикъ, догадавшись, упалъ передъ нимъ на колѣни и сказалъ: баринъ, что вы это, перестаньте! Не твое дѣло, отвѣчалъ онъ, молись. Мальчикъ началъ плакать и просить его. Между тѣмъ, огонь погасалъ, послѣ того какъ обгорѣли углы у тетрадей. Гоголь замѣтилъ это, вынулъ связку изъ печки, развязалъ тесемку, и уложивъ листы такъ, чтобъ легче было приняться огню, зажегъ опять, и сѣлъ на стулѣ

передъ огнемъ, ожидая пока все сгоритъ и истлѣетъ. Тогда онъ, перекрестясь, воротился въ прежнюю свою комнату, поцѣловалъ мальчика, легъ на диванъ и заплакалъ. Иное надо было сжечь, сказалъ онъ, подумавъ, а за другое помолились бы за меня Богу; но, Богъ дастъ, выздоровѣю и все поправлю.

Поутру онъ сказалъ графу Александру Петровичу Толстому: вообразите, какъ силенъ злой духъ! Я хотѣлъ сжечь бумаги, давно уже на то опредѣленныя, а сжегъ главы *Мертвыхъ Душъ*, которыя хотѣлъ оставить друзьямъ на память послѣ своей смерти.

Вотъ что до сихъ поръ извѣстно о погибели неоцѣненнаго нашего сокровища!

Было-ль это дѣйствіе величайшимъ подвигомъ христіанскаго самоотверженія, самою трудною жертвою, какую можетъ только принесть наше самолюбіе, или таился въ немъ глубоко сокрытый плодъ тончайшаго самообольщенія, высшей духовной прелести, или, наконецъ, здѣсь дѣйствовала одна жестокая душевная болѣзнь?

Во всѣхъ трехъ возможныхъ и вѣроятныхъ случаяхъ, онъ имѣетъ равное право на наше человѣческое участіе, и всѣ они одинаково вызываютъ насъ къ размышленію, глубокому въ наше время, исполненное чудныхъ явленій и въ обществахъ и людяхъ".

Замѣтимъ здѣсь кстати, когда графъ А. П. Толстой прочелъ въ статьѣ Погодина о сожженіи Гоголемъ бумагъ, то писалъ ему: „Думаю, что послѣднія строки о дѣйствіи и участіи лукаваго въ сожженіи бумагъ можно и должно оставить. Это сказано было мнѣ одному безъ свидѣтелей: я могъ бы объ этомъ не говорить никому и вѣроятно самъ покойный не пожелалъ бы сказать это *всѣмъ*. Публика не духовникъ и что̀ пойметъ она о такой душѣ, которую и мы, близкіе, не разгадали. Вотъ и еще замѣчаніе: послѣднія строки портятъ всю трогательность разсказа о сожженіи бумагъ. Извините: пишу лежа и прошу во всякомъ случаѣ нисколько не

останавливаться, за моимъ мнѣніемъ, которое есть мнѣніе больнаго".

Сдѣлавъ это отступленіе, обратимся къ печальному повѣствованію Погодина о послѣднихъ дняхъ Гоголя.

Съ понедѣльника первой недѣли поста „только обнаружилось его совершенное изнеможеніе. Онъ не могъ уже ходить и слегъ въ постель. Призваны были доктора. Онъ отвергалъ всякое пособіе, ничего не говорилъ и почти не принималъ пищи. Просилъ только по временамъ пить, и глоталъ по нѣскольку капель воды съ краснымъ виномъ. Никакія убѣжденія не дѣйствовали. Такъ прошла вся первая недѣля. Въ четвергъ сказалъ: надо меня оставить, я знаю, что долженъ умереть.

Въ понедѣльникъ, на второй недѣли, духовникъ предложилъ ему пріобщиться и пособороваться масломъ, на что онъ согласился съ радостію, и выслушалъ всѣ евангелія въ полной памяти, держа въ рукахъ свѣчу, проливая слезы.

Вечеромъ уступилъ-было настояніямъ духовника принять медицинское пособіе, но лишь только прикоснулись къ нему, какъ закричалъ самымъ жалобнымъ, раздирающимъ голосомъ: оставьте меня, не мучьте меня!—Кто ни приходилъ къ нему, онъ не поднималъ глазъ, приказывалъ только по временамъ переворачивать себя, или подавать себѣ пить. Иногда показывалъ нетерпѣніе.

Во вторникъ, онъ выпилъ безъ прекословія чашку бульону, поднесенную ему служителемъ, чрезъ нѣсколько времени другую, и подалъ тѣмъ надежду къ перемѣнѣ въ своемъ положеніи, но эта надежда продолжалась недолго.

Въ среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были всѣ средства, коихъ онъ, кажется, уже не чувствовалъ, изрѣдка бредилъ, восклицая: поднимите, заложите, на мельницу, ну-же, подайте! Ночью дышалъ тяжело, но къ утру 21 февраля затихъ,—и скончался" [339]).

При кончинѣ Гоголя присутствовала теща Погодина и

въ тотъ же день написала послѣднему: „Спѣшу передать вамъ горестное извѣстіе: сего утра въ 8 часовъ нашъ добрый Николай Васильевичъ скончался, былъ все безъ памяти, немного бредилъ, по-видимому онъ не страдалъ, ночь всю былъ тихъ, только дышалъ тяжело; къ утру дыханіе сдѣлалось рѣже и рѣже и онъ какъ будто уснулъ, болезнь его обратилась въ тифусъ; я у него провела двѣ ночи и при мнѣ онъ скончался. Въ воскресенье будутъ похороны; и какъ жаль что васъ здѣсь нетъ, я поѣду на похороны. Наканунѣ смерти, у Н. В. Гоголя былъ консиліумъ; его сажали въ ванну, на голову лили холодную воду, облепили горчишниками, къ носу ставили піявки, на спину мушку и все было безъ пользы; очень жаль что васъ здѣсь нѣтъ.—Какъ то вы доѣхали? говорятъ, дороги очень дурны. Прощайте, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, писать болѣе не о чемъ и не могу, такъ меня это горе разстроило. Христосъ съ вами“ [340]).

Когда тѣло Гоголя не было еще погребено, Хомяковъ, подавленный личнымъ горемъ, писалъ А. Н. Попову: „только что ударъ палъ на мою голову,—новый.... послѣдовалъ за нимъ: Николинкинъ крестный отецъ, Гоголь нашъ умеръ“.

Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли: онъ говорилъ, что въ ней для него снова умираютъ многіе, которыхъ онъ любилъ всею душею, особенно же Н. М. Языковъ. На панихидѣ онъ сказалъ: все для меня кончено. Съ тѣхъ поръ онъ былъ въ какомъ-то нервномъ разстройствѣ, которое приняло характеръ религіознаго помѣшательства. Онъ говѣлъ и сталъ себя морить голодомъ, попрекая себя въ обжорствѣ. Иноземцевъ не понялъ его болѣзни и тѣмъ довелъ его до совершеннаго изнеможенія. Въ субботу, на масленицѣ, Гоголь былъ еще у меня и ласкалъ своего крестника... Ночью, съ понедѣльника на вторникъ первой недѣли, онъ сжегъ въ минуту безумія все, что написалъ... Очевидно судьба. Я бы могъ написать объ этомъ психологическую студію; да кто пойметъ, или кто захочетъ понять?... Послѣ смерти

его вышла распря. Друзья его хотѣли отпѣвать въ приходѣ, въ церкви, которую онъ очень любилъ и всегда посѣщалъ, Симеона Столпника. Университетъ же спохватился, что когда-то далъ ему дипломъ почетнаго члена и потребовалъ къ себѣ. Люди, которые во всю жизнь Гоголя знать не хотѣли, рѣшили участь его тѣла, противъ воли его друзей и духовныхъ братій, и приходъ общее, всѣхъ достояніе, долженъ былъ уступить домовой церкви, почти салону, куда не входятъ ни нищій, ни простолюдинъ.... Ляжетъ онъ все-таки рядомъ съ Валуевымъ, Языковымъ и Катенькой и современемъ со мною, въ Даниловомъ монастырѣ, подъ Словенскою колоною Венелина. Такъ и надобно было" [341]).

„Въ роковую недѣлю",—писалъ Погодинъ,—„меня не было въ Москвѣ, какъ будто въ наказаніе, что я въ послѣднее время позволялъ себѣ питать разныя подозрѣнія на счетъ Гоголя и не вѣрилъ вполнѣ его искренности. Шевырева также не было: тотъ самъ лежалъ больной въ постели.... Друзья и братья!... Оплачемъ горькими слезами то, что потеряли, и возблагодаримъ сторицею за то, что осталось! Будемъ удивляться великому художнику и молиться, кто можетъ, о слабомъ человѣкѣ" [342]).

Похороны Гоголя описалъ Н. Ф. Павловъ, въ слѣдующемъ письмѣ своемъ къ А. В. Веневитинову, отъ 1 марта 1852 года: „Любезный другъ Алексѣй Владиміровичъ, я долженъ бы самъ сейчасъ же ѣхать въ Петербургъ, но занемогъ и сижу дома больной, простудился на похоронахъ Гоголя. О смерти его вы вѣроятно уже знаете. Страшная потеря. Въ послѣднее время никто почти изъ Русскихъ писателей не умиралъ естественной смертью. Гоголь истощилъ себя постомъ; лѣкарства никакого не хотѣлъ принимать, даже не позволилъ поставить клистира, кажется отъ того, что думалъ, что прибѣгнувъ къ человѣческой помощи, оскорбитъ величіе Божіе. Истинная это вѣра или физическое разстройство мозга, не берусь рѣшить; только во всякомъ случаѣ вѣра не Христіанская, а Индѣйская. Дней за десять до смерти, ночью, часа въ три,

сжегъ всѣ бумаги, такъ что Хомяковъ ни въ одномъ ящикѣ не нашелъ ничего, нѣтъ и готовыхъ семи главъ второй части *Мертвыхъ Душъ*, которыя Гоголь читалъ Шевыреву. Не извѣстно, отыщется или нѣтъ. Говорятъ, что списокъ есть у великой княгини Ольги Николаевны. Похоронили его съ должнымъ уваженіемъ и со всѣми возможными почестями. Назимовъ принялъ сердечное участіе въ этой потерѣ. Тѣло покойника было перенесено въ университетскую церковь. Студенты дежурили день и ночь. Закревскій пріѣхалъ на отпѣваніе въ лентѣ. При прощаніи, лавровый вѣнокъ былъ растерзанъ на кусочки, всякому хотѣлось имѣть хоть листокъ на память. Хомяковъ и одномыслящіе съ нимъ недовольны и противились этому отпѣванію въ университетской церкви, утверждая, что она слишкомъ похожа на салонъ, что въ нее не придетъ тотъ классъ людей, которымъ болѣе дорожилъ Гоголь, что это отпѣваніе актъ, а не молитва. Всѣ другіе и я, мы были совершенно противнаго мнѣнія. Похороны Гоголя должны были имѣть общественный характеръ, какой и имѣли.—Нищіе, лакеи и мѣщане, которыхъ желали, не пришли бы и въ приходскую церковь, ибо чтобъ цѣнить писателя, надо знать грамотѣ, при томъ же этотъ классъ людей всегда предпочитаетъ жеманную литературу, литературѣ геніальной. Графъ Закревскій не читалъ Гоголя, но на похороны пріѣхалъ, а Московскіе купцы, которые также не читали и слѣдовательно имѣли одинакія права,—не пріѣхали. Ни одинъ не былъ, кромѣ Зѣвакина, да и тотъ явился, какъ бриллiантъ отъ того только, что торгуетъ бриллiантами. Всего любопытнѣе и поразительнѣе толки въ народѣ во время похоронъ; анекдотовъ тьма; всѣ добивались, какого чина. Жандармы предполагали, что какой-нибудь важный графъ или князь; никто не могъ представить себѣ, что хоронятъ писателя; одинъ только извощикъ увѣрялъ, что это умеръ главный писарь при университетѣ, т.-е., не тотъ, который переписываетъ, а который зналъ къ кому какъ писать, и къ государю, и къ генералу какому, ко всѣмъ" [343]).

„Смерть Гоголя“, — писалъ А. В. Головнинъ Погодину,— „очень огорчила великаго князя Константина Николаевича, который ожидалъ еще много прекраснаго отъ даровитаго писателя“.

Въ моей библіотекѣ хранятся подъ стекломъ цвѣты съ слѣдующею подъ ними собственноручною надписью Герасима Артемьевича Эзова: „Цвѣты изъ гроба Гоголя, мною лично взятые, переданы мною въ знакъ памяти и уваженія Николаю Платоновичу Барсукову. Другая половина этихъ цвѣтовъ въ самой церкви уступлена мною графинѣ Евдокіѣ Петровнѣ Ростопчиной, которая выпросила ихъ для В. А. Жуковскаго“.

LXXIX.

Несчастная мать, въ самый день рожденія умершаго сына, 19 марта 1852 года, писала Погодину: „Обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею моею просьбой передать все, что вы знаете о моемъ единственномъ сынѣ, сокровищѣ моемъ, бывшемъ на землѣ; я имъ только живу, покуда Богъ сжалится надо мной и потребуетъ и меня туда, гдѣ нѣтъ разлуки. Я ничего объ немъ не слышу; кромѣ изъ письма Ивана Васильевича Капниста къ его брату, съ первыхъ минутъ кончины моего сына, писалъ приготовить меня къ удару меня поразившему. Слышу о усердномъ попеченіи объ немъ добрѣйшаго графа Толстаго и его почтенной супруги, гдѣ онъ жилъ. Я увѣрена, что Богъ ихъ наградитъ за него. Но все я желала бы безпрестанно объ немъ слышать. Мнѣ жаль, что я не получила *Москвитянина* на этотъ годъ, гдѣ иногда писали объ немъ, увѣрена, что и теперь будутъ писать. Вы мнѣ всегда высылали его, я имѣю съ перваго года его изданія всѣ книги, потомъ сынъ мой выписывалъ мнѣ; но теперь ему не до того было; онъ—готовился къ лучшему міру; и потому посылаю слѣдуемые за этотъ журналъ пятнадцать рублей серебромъ и прошу васъ покорнѣйше выслать всѣ книги съ начала генваря. Я вамъ обя-

зана, что имѣю всѣ, и грустно мнѣ прервать теперь, когда читать о моемъ сынѣ есть потребность души моей. Теперь я бесѣдую съ послѣдней его книгой, и иногда благодѣтельныя слезы облегчаютъ горестную мою душу; до сего времени отказано мнѣ было въ нихъ, я не плакала, не спала, и не ѣла и осталась еще влачить жизнь покуда на землѣ; не могу себѣ представить, какъ я могла пережить такую потерю. О! какъ много могутъ переносить люди въ этомъ мірѣ".

Погодинъ, разумѣется, откликнулся на это трогательное письмо, что видно изъ другого къ нему письма (24 марта) М. И. Гоголь: „Благодарю васъ, почтенный Михаилъ Петровичъ, за принимаемое вами участіе въ нашемъ горѣ о неоцѣненной потерѣ нашей. Я увѣрена, что и вамъ, всѣмъ его друзьямъ, горестна съ нимъ разлука, и потому я васъ всѣхъ любящихъ моего ангела, люблю какъ своихъ дѣтей. Вся Москва теперь мнѣ родная, по чувствамъ, за ихъ большое усердіе къ моему сыну. Его духъ обитаетъ, или душа иногда лѣтаетъ между всѣми нами и ободряетъ насъ къ подвигамъ въ этомъ мірѣ для будущаго, гдѣ радость неизглаголанная, что видно было изъ его улыбающагося лица при оставленіи нашего міра, какъ пишутъ въ Петербургскихъ газетахъ, изъ полученной мною на дняхъ выписки.—Посылаю вамъ для прочету послѣднее мое отъ него письмо, которое доставлено мнѣ уже было по его кончинѣ, и стихи поданные мнѣ Алексѣемъ Васильевичемъ Капнистомъ, тогда какъ я узнала о вѣчной моей печали, которые прошу васъ возвратить мнѣ. У меня много есть его письмъ, только нужно строго пересмотрѣть, не увлекаться ни чѣмъ, если только они могутъ быть полезны вамъ. Я бы желала пересмотрѣть ихъ съ вами, еслибы здоровье ваше и силы вамъ позволили. Вы же когда то и желали пріѣхать въ Малоросію, и вамъ бы было полезно подышать ее воздухомъ полезнымъ для здоровья. Въ доказательство вамъ его цѣлительнаго свойства, мое здоровье. Какія ужасныя душевныя страданія я переношу, а здоровье мое мало измѣнилось.—По этой же почтѣ я напишу къ почтенному Степану

Петровичу Шевыреву. Не знаете ли вы: есть ли прощальная повѣсть, о которой онъ упоминаетъ въ своемъ завѣщаніи? Ее бы я желала теперь прочесть, прежде я желала прочесть ее въ рукописи; а когда она будитъ въ печати? Просила Бога, чтобъ прахъ мой преданъ былъ землѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ уже, и чтобъ сынъ меня похоронилъ; но Богъ не внялъ грѣшныхъ моихъ молитвъ и сдѣлалъ напротивъ.—Я разсудила не писать еще ни о чемъ къ Степану Петровичу Шевыреву. Пусть онъ дѣлаетъ, что хочетъ. Я такъ теперь пишу, что трудно и понять, а когда нужна довѣренность, пусть потрудится прислать, и мы подпишемъ; только я бы желала знать, какія сочиненія печатать, прежнія или новыя какія? Не *Мертвіе* ли *Души* 2-й томъ, изъ которыхъ первую главу онъ читалъ намъ въ Каторлыскѣ. Бѣдная я, мнѣ все приходитъ на мысль, не повредилъ ли ему бульенъ такое количество, такъ какъ желудокъ его отвыкъ отъ пищи; ему бы по ложечкѣ принимать его; покуда, мнѣ кажется я уже брежу—а какъ бы желала видѣть добрую Елизавету Фоминишну *). Да наградитъ ее Богъ за ее о немъ попеченіе. Она услаждала послѣдніе часы его жизни, замѣняя нещастную его мать. Благодарю васъ, почтенный и доброй Михаилъ Петровичъ, что вы входите въ наши нужды; мы привыкли отказывать себѣ во всемъ, безъ чего сколько-нибудь можно обходиться, только стараемся о казенной уплатѣ въ чемъ иногда помогаетъ доброй нашъ родственникъ А. А. Трощинскій“ [344]).

Когда пришло въ Абрамцово неожиданное извѣстіе о кончинѣ Гоголя, С. Т. Аксаковъ самъ хворалъ. Чувства свои онъ передалъ въ дружескомъ письмѣ къ сыновьямъ своимъ. Письмо это, отъ начала до конца, писано имъ собственноручно и имъ же помѣчено: *однимъ сыновьямъ*. Вотъ оно: „Ровно двое сутокъ, какъ Гоголя нѣтъ на свѣтѣ. Гоголь умеръ... Я не знаю, любилъ ли кто-нибудь Гоголя исключительно какъ человѣка. Я думаю, нѣтъ; да это и невозможно. У Гоголя

---

*) Теща Погодина.

было два состоянія: творчество и отдохновеніе. Первое давно уже, вѣроятно вскорѣ послѣ выхода *Мертвыхъ Душъ*, перешло въ мученичество, можетъ быть, сначала благотворное, но потомъ перешедшее въ безполезную пытку. Какъ можно было полюбить человѣка, тѣло и духъ котораго отдыхаютъ послѣ пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нѣтъ никакого дѣла... Я думаю, женщины любили его больше и особенно тѣ, въ которыхъ наименѣе было художественнаго чувства, какъ напримѣръ, Смирнова. Вотъ до какой степени Гоголь для меня не человѣкъ, что я, который въ молодости ужасно боялся мертвецовъ и который не видывалъ ихъ до смерти собственныхъ дѣтей, я, постоянно боявшійся до сихъ поръ—нѣсколько ночей послѣ смерти каждаго знакомаго человѣка, не могъ произвести въ себѣ этого чувства во всю послѣднюю ночь! Нѣсколько разъ просыпался, думалъ о Гоголѣ, воображалъ его трупъ, лежащій въ гробѣ со всѣмъ страшнымъ для меня окруженіемъ,—и, не чувствуя никакого страха, вскорѣ засыпалъ. Я признаю Гоголя святымъ, не опредѣляя значенія этого слова. Это истинный мученикъ высокой мысли, мученикъ нашего времени, и въ то же время мученикъ христіанства. Я это предчувствовалъ и еще въ 1844 году, когда онъ прислалъ намъ подарки *), написавъ прежде такое письмо, что я ждалъ второго тома *Мертвыхъ Душъ*, я писалъ къ обоимъ этимъ Петровичамъ о своемъ отчаяніи. Долго хохотали надо мною эти умные... прочитавъ въ моемъ письмѣ, что или художникъ погибъ и выйдетъ святой отшельникъ, или Гоголь умретъ въ сумасшедшемъ домѣ. Слава Богу, не сбылось послѣднее; но за то онъ ничего не произвелъ новаго и умеръ... Жалѣю, что я не въ Москвѣ. Меня не разстроили бы всѣ эти церемоніи. Напротивъ, мнѣ было бы весело увидѣть всѣ улицы около церкви, покрытыя толпами людей. Но едва ли это будетъ? **). Десять лѣтъ мол-

*) Аксакову, Погодину и Шевыреву—книжки *Подражаніе Христу* Ѳомы Кемпейскаго.

**) Было.

чанія, шесть лѣтъ пропаданія изъ Россіи, слухи объ отчаянной болѣзни и даже смерти, наконецъ похоронъ самого себя въ извѣстной книгѣ, ослабили общее участіе. Бѣдный, бѣдный Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладѣетъ; а при томъ это еще вопросъ: какъ то мы будемъ жить при мысли, что нѣтъ Гоголя? Прощайте, друзья мои. Крѣпко обнимаю и благословляю васъ. Отецъ и другъ С. Аксаковъ".

Въ тоже время, С. Т. Аксаковъ продиктовалъ некрологическую замѣтку по поводу кончины Гоголя, которая заключается такъ: „Не заводить новыя ссоры слѣдуетъ надъ прахомъ Гоголя, а прекратить прежнія, страстями возбужденныя несогласія, и въ этомъ искать утѣшенія въ нашемъ общемъ великомъ горѣ" [345]). Въ тотъ же день, т.-е., 6 марта, С. Т. Аксаковъ собственноручно, изъ своего Абрамцова, писалъ Погодину: „Я послалъ въ *Московскія Вѣдомости письмо къ друзьямъ Гоголя* (Михайлѣ Петровичу Погодину—Степану Петровичу Шевыреву отъ С. Аксакова). Послѣднія его строки вполнѣ понятны только вамъ и мнѣ. Я искренно протягиваю вамъ *прежнюю* руку и прошу васъ возобновить ко мнѣ прежнія чувства и отношенія. Забудьте навсегда все, въ чемъ я былъ неправъ передъ вами, точно такъ, какъ я забылъ все и помню только вашу дружбу. Когда мы увидимся—не знаю; но это все равно, лишь бы возстановились у насъ въ сердцѣ миръ и доброжелательство" [346].

Вмѣстѣ съ тѣмъ и Шевыревъ писалъ Погодину (8 марта): „Посылаю тебѣ письмо, написанное къ намъ обоимъ вмѣстѣ С. Т. Аксаковымъ. Отвѣчай ему черезъ Ольгу Семеновну, которая остановилась у Спаса на Пескахъ. У Хомякова назовутъ тебѣ или укажутъ домъ, потому что близехонько. Я самъ сейчасъ къ ней ѣду. Радуюсь тому и утѣшаюсь въ скорби, что хотя могила покойнаго и память о немъ насъ опять соединяютъ".

Кончина Гоголя примирила и Ю. Ѳ. Самарина съ Погодинымъ. Послѣдній, подъ 30 марта 1852 г., записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Самаринъ. Очень радъ. Обнялись и по-

цѣловались. Много переговорили". Первый шагъ къ примиренію сдѣланъ самимъ Самаринымъ, который писалъ Погодину: „Чрезвычайно тяготятъ меня отношенія, въ которыхъ мы находимся. Вы сдѣлали мнѣ много добра; будучи еще ребенкомъ, я полюбилъ васъ и съ тѣхъ поръ не переставалъ искренно васъ любить и вспоминать съ глубокою признательностью, что вамъ я обязанъ нѣкоторыми изъ коренныхъ моихъ убѣжденій. На-канунѣ и во имя Великаго праздника, прошу васъ отъ души забыть навсегда все, что разлучало насъ и позволить мнѣ дать вамъ братскій поцѣлуй. Я увѣренъ, что вы согласитесь; мнѣ кажется, что общая горесть, нами испытанная, должна васъ расположить къ миру. Впереди можетъ быть еще болѣе испытаній всякаго рода и мы должны ихъ встрѣтить дружно" [47]).

Прочитавъ это письмо, Погодинъ, подъ 29 марта 1852 г., записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Мировое письмо отъ Самарина, которое доставило большое удовольствіе. А есть, дѣйствительно, въ смерти Гоголя что-то примиряющее и любовное".

LXXX.

24 февраля 1852 года, утромъ, Плетневъ прочелъ въ *Академическихъ Вѣдомостяхъ* слѣдующую фразу: „Сію минуту получили мы изъ Москвы извѣстіе, глубокоприскорбное: 21 февраля скончался Николай Васильевичъ Гоголь". Прочитавъ это, Плетневу невольно пришли на память стихи Дельвига, которые твердилъ онъ весь тотъ день:

Ничто не безсмертно, ни прочно
Подъ вѣчно-измѣнной луной,
И все расцвѣтаетъ—и вянетъ
Рожденное бѣдной землей.

Первымъ движеніемъ Плетнева было ѣхать къ А. О. Смирновой. Тамъ встрѣтила его вторая дочь ея Софія и тотчасъ попросила Плетнева не говорить ея матери о смерти Гоголя. Сама Смирнова, не дождавшись вопроса своего гостя, начала

говорить о худыхъ вѣстяхъ о Гоголѣ. Впрочемъ, видно было, что она разумѣла только его болѣзнь. Услышанное отъ Смирновой, вмѣстѣ съ извѣстіемъ о кончинѣ Гоголя, Плетневъ сообщилъ Жуковскому. „Въ Москвѣ“,—писалъ онъ,—„былъ тифусъ, отъ котораго пострадалъ и Гоголь. Однако, врачи помогли ему. Затѣмъ, нашелся одинъ священникъ, который неизвѣстно чѣмъ поразилъ воображеніе Гоголя до того, что онъ на масленицѣ рѣшился говѣть. Онъ уже и прежде показывалъ упадокъ духа и воли, стараясь опираться на слова какого-нибудь духовнаго. Такъ, еще осенью, отправясь въ Малороссію на свадьбу сестры, онъ дорогою заѣхалъ къ одному монаху, чтобы тотъ далъ ему совѣтъ, въ Москвѣ ли ему остаться, или ѣхать къ своимъ. Монахъ, выслушавъ разсказъ его, присовѣтовалъ ему послѣднее. На другой день, Гоголь опять пришелъ къ нему съ новыми объясненіями, послѣ которыхъ монахъ сказалъ, что лучше рѣшиться на первое. На третій день Гоголь явился къ нему снова за совѣтомъ. Тогда монахъ велѣлъ ему взять образъ и исполнить то, что при этомъ придетъ ему на мысль. Случай благопріятствовалъ Москвѣ. Но Гоголь въ четвертый разъ пришелъ за новымъ совѣтомъ; тогда, вышедъ изъ терпѣнія, монахъ прогналъ его, сказавъ, что надобно остаться при внушеніи, посланномъ отъ Бога. Гоголемъ овладѣло малодушіе, или правильнѣе сказать—суевѣріе. И такъ, онъ началъ говѣть. Черезъ два дня слуга графа А. П. Толстого явился къ нему и говоритъ, что онъ боится за умъ и даже за жизнь Николая Васильевича, потому что онъ двое сутокъ провелъ на колѣнахъ передъ образами безъ питья и пищи. Какъ Толстой ни увѣщевалъ Гоголя подкрѣпиться—ничто не дѣйствовало. Графъ поѣхалъ къ митрополиту Филарету, чтобы словомъ архипастыря подѣйствовать на разстроенное воображеніе кающагося грѣшника. Филаретъ приказалъ сказать, что сама церковь повелѣваетъ въ недугахъ предаться волѣ земного врача. Но и это не произвело перемѣны въ мысляхъ больного. Пропуская лишь нѣсколько капель воды съ краснымъ виномъ, онъ продолжалъ стоять колѣнопреклоненный передъ

множествомъ поставленныхъ предъ нимъ образовъ и молиться. На всѣ увѣщанія онъ отвѣчалъ тихо и кротко: *оставьте меня, мнѣ хорошо.* Онъ забылъ обо всемъ: не умывался, не чесался, не одѣвался... „Вотъ милый другъ“,—заключаетъ свое письмо Плетневъ.—„какова натура человѣка: съ одной стороны, геній вдохновенія, а съ другой — слѣпота младенца. Смиримся передъ Господомъ и будемъ молиться, чтобы Онъ не покинулъ насъ, сохранивъ здравый умъ въ здравомъ тѣлѣ“.

Находясь самъ при дверяхъ гроба, Жуковскій, 5 марта 1852 г., отвѣчалъ Плетневу: „Теперь мой литературный міръ состоитъ изъ четырехъ лицъ: изъ двухъ мужскаго пола и изъ двухъ женскаго: къ первой половинѣ принадлежите вы и Вяземскій, къ послѣдней—двѣ старушки, Елагина и Зонтагъ. Какое пустое мѣсто оставилъ въ этомъ маленькомъ мірѣ мой добрый Гоголь!... Настоящее его призваніе было монашество... Его авторство, по особенному свойству его генія, въ которомъ глубокая меланхолія соединялась съ рѣзкостью ироніи, было въ противорѣчіи съ его монашескимъ призваніемъ и ссорила его съ самимъ собою.... Гоголь, стоящій четыре дня на колѣняхъ, не вставая, не ѣвши и не пивши, окруженный образами и говорящій кротко тѣмъ, которыя о немъ заботились: *оставьте меня, мнѣ хорошо,* — какъ это трогательно! Нѣтъ, тутъ я не вижу *суевѣрія*: это набожность человѣка, который съ покорностью держится установленій православной церкви. Что возмутило эту страждущую душу въ послѣднія минуты, я не знаю: но онъ молился, чтобы успокоить себя, какъ молились многіе Святые Отцы нашей церкви; и конечно ему было въ эти минуты хорошо, какъ онъ самъ говорилъ: и путь, которымъ онъ вышелъ изъ жизни, былъ самый успокоительный и утѣшительный для души его. *Оставьте меня, мнѣ хорошо.* Такъ никому нельзя осуждать по себѣ того, что другому хорошо по его свойству: и эта молитва на колѣняхъ, продолжавшаяся четверо сутокъ, есть нѣчто вселяющее глубокое благоговѣніе: такъ бы онъ умеръ, еслибъ, послушавшись своего естественнаго призванія, провелъ жизнь

въ монашеской кельѣ. Теперь конечно душа его нашла все, чего искала....“

А. О. Россетъ писалъ своей сестрѣ А. О. Смирновой: „Гоголь для меня совершенная загадка; видѣлъ его въ Москвѣ совершенно здоровымъ и бодрымъ, а изъ прочитанныхъ журнальныхъ статей не видѣлъ даже, былъ ли онъ наконецъ боленъ. Попроси Олю, чтобы она позаботилась отыскать и прислала мнѣ статьи Аксакова, Тургенева, Погодина и письмо Жуковскаго. Это сдѣлаетъ большое удовольствіе ея старому дядѣ... Всего болѣе мнѣ жаль Размышленія о литургіи; должно бы было быть прекрасно. Гоголь былъ одинъ изъ самыхъ неразгаданныхъ людей, и независимо отъ дружеской или пріятельской потери, мы лишились огромнаго интереса въ жизни“ [348]).

Князь П. А. Вяземскій почтилъ память Гоголя вдохновеннымъ словомъ:

Ты, загадкой своенравной
Промелькнувшій на землѣ,
Пересмѣшникъ нашъ забавный
Съ думой скорби на челѣ...

Гамлетъ нашъ! Смѣсь слезъ и смѣха,
Внѣшній смѣхъ и тайный плачъ,
Ты, несчастный отъ успѣха,
Какъ другой отъ неудачъ.

Обожатель и страдалецъ
Славы ласковой къ тебѣ,
Жизни труженикъ, скиталецъ,
Съ бурей внутренней въ борьбѣ!

Духомъ схимникъ сокрушенный,
А перомъ Аристофанъ,
Врачъ и бичъ ожесточенный
Нашихъ немощей и ранъ.

Но къ друзьямъ, но къ скорбнымъ братьямъ
Полный нѣжной теплоты!
Умъ, открытый всѣмъ понятьямъ,
Всѣмъ залетнымъ снамъ мечты.

Жрецъ искусству посвященный,
Жрецъ высокаго всего,

множествомъ поставленныхъ предъ нимъ образовъ и молиться. На всѣ увѣщанія онъ отвѣчалъ тихо и кротко: *оставьте меня, мнѣ хорошо*. Онъ забылъ обо всемъ: не умывался, не чесался, не одѣвался... „Вотъ милый другъ“,—заключаетъ свое письмо Плетневъ,—„какова натура человѣка: съ одной стороны, геній вдохновенія, а съ другой — слѣпота младенца. Смиримся передъ Господомъ и будемъ молиться, чтобы Онъ не покинулъ насъ, сохранивъ здравый умъ въ здравомъ тѣлѣ“.

Находясь самъ при дверяхъ гроба, Жуковскій, 5 марта 1852 г., отвѣчалъ Плетневу: „Теперь мой литературный міръ состоитъ изъ четырехъ лицъ: изъ двухъ мужскаго пола и изъ двухъ женскаго: къ первой половинѣ принадлежите вы и Вяземскій, къ послѣдней—двѣ старушки, Елагина и Зонтагъ. Какое пустое мѣсто оставилъ въ этомъ маленькомъ мірѣ мой добрый Гоголь!... Настоящее его призваніе было монашество... Его авторство, по особенному свойству его генія, въ которомъ глубокая меланхолія соединялась съ рѣзкостью ироніи, было въ противорѣчіи съ его монашескимъ призваніемъ и ссорила его съ самимъ собою.... Гоголь, стоящій четыре дня на колѣняхъ, не вставая, не ѣвши и не пивши, окруженный образами и говорящій кротко тѣмъ, которыя о немъ заботились: *оставьте меня, мнѣ хорошо*, — какъ это трогательно! Нѣтъ, тутъ я не вижу *суевѣрія*: это набожность человѣка, который съ покорностью держится установленій православной церкви. Что возмутило эту страждущую душу въ послѣднія минуты, я не знаю; но онъ молился, чтобы успокоить себя, какъ молились многіе Святые Отцы нашей церкви; и конечно ему было въ эти минуты хорошо, какъ онъ самъ говорилъ; и путь, которымъ онъ вышелъ изъ жизни, былъ самый успокоительный и утѣшительный для души его. *Оставьте меня, мнѣ хорошо*. Такъ никому нельзя осуждать по себѣ того, что другому хорошо по его свойству; и эта молитва на колѣняхъ, продолжавшаяся четверо сутокъ, есть нѣчто вселяющее глубокое благоговѣніе: такъ бы онъ умеръ, еслибъ, послушавшись своего естественнаго призванія, провелъ жизнь

въ монашеской кельѣ. Теперь конечно душа его нашла все, чего искала....“

А. О. Россетъ писалъ своей сестрѣ А. О. Смирновой: „Гоголь для меня совершенная загадка; видѣлъ его въ Москвѣ совершенно здоровымъ и бодрымъ, а изъ прочитанныхъ журнальныхъ статей не видѣлъ даже, былъ ли онъ наконецъ боленъ. Попроси Олю, чтобы она позаботилась отыскать и прислала мнѣ статьи Аксакова, Тургенева, Погодина и письмо Жуковскаго. Это сдѣлаетъ большое удовольствіе ея старому дядѣ... Всего болѣе мнѣ жаль Размышленія о литургіи; должно бы было быть прекрасно. Гоголь былъ одинъ изъ самыхъ неразгаданныхъ людей, и независимо отъ дружеской или пріятельской потери, мы лишились огромнаго интереса въ жизни“ [348]).

Князь П. А. Вяземскій почтилъ память Гоголя вдохновеннымъ словомъ:

Ты, загадкой своенравной
Промелькнувшій на землѣ,
Пересмѣшникъ нашъ забавный
Съ думой скорби на челѣ...

Гамлетъ нашъ! Смѣсь слезъ и смѣха,
Внѣшній смѣхъ и тайный плачъ,
Ты, несчастный отъ успѣха,
Какъ другой отъ неудачъ.

Обожатель и страдалецъ
Славы ласковой къ тебѣ,
Жизни труженикъ, скиталецъ,
Съ бурей внутренней въ борьбѣ!

Духомъ схимникъ сокрушенный,
А перомъ Аристофанъ,
Врачъ и бичъ ожесточенный
Нашихъ немощей и ранъ.

Но къ друзьямъ, но къ скорбнымъ братьямъ
Полный нѣжной теплоты!
Умъ, открытый всѣмъ понятьямъ,
Всѣмъ залетнымъ снамъ мечты.

Жрецъ искусству посвященный,
Жрецъ высокаго всего,

Такъ внезапно похищенный
Отъ служенья своего!

Въ немъ еще созданья зрѣли:
Смерть созрѣть имъ не дала!
Не достигнувшая цѣли
Пала смѣлая стрѣла.

Тѣнью смертнаго покрова
Думъ затмилась красота:
Окончательнаго слова
Не промолвили уста.

Жизнь твоя была загадкой,
Намъ загадкой смерть твоя.
Но успѣлъ ты, въ жизни краткой,
Даръ и подвигъ бытія

Оправдать трудомъ и жертвой,
Не щадя духовныхъ силъ.
Въ суетахъ, въ ихъ почвѣ мертвой
Ты таланты не зарылъ.

Не алкалъ ты славы ложной,
Не вымаливалъ похвалъ—
Думой скорбной и тревожной
Высшей цѣли ты искалъ.

И порокамъ и нечестью
Обличительнымъ перомъ
Былъ ты карой, грозной местью
Предъ общественнымъ судомъ.

Теплымъ словомъ убѣжденья
Пробуждалъ ты мудрый страхъ,
Святость слезъ и умиленье
Въ облѣнившихся душахъ.

Не погибнетъ—вѣрной мздою
Плодъ воздастъ въ урочный часъ,
Добрый сѣятель, тобою
Сѣмя брошенное въ насъ[349]).

LXXXI.

28 марта 1852 года, Шевыревъ писалъ Погодину: „Въ понедѣльникъ на Пасху будетъ *сороковой* день по кончинѣ Гоголя. Въ Даниловѣ заказана заупокойная обѣдня, пани-

хида и трапеза монахамъ, сорока бѣднымъ и намъ. Издержка каждаго десять рублей сер. Ты, конечно, будешь. Мы за трапезой прочтемъ его *Свѣтлое Воскресеніе*. Приходится помянуть его въ тотъ праздникъ, о которомъ онъ написалъ послѣднее что напечатано" [350]).

Въ назначенный день Погодинъ вмѣстѣ съ Хомяковымъ отправились въ Даниловъ монастырь, и первый, подъ 13 марта 1852 г., записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Хомякову, и съ нимъ въ Даниловъ. Тронутъ... Какъ уменъ и любезенъ Хомяковъ. Много толковъ".

Погодинъ мало того что былъ на этомъ поминаніи, но и трогательно описалъ его.

„Въ ожиданіи отвѣта",—писалъ Плетневъ Жуковскому,— „на мое письмо, въ которомъ отправилъ я къ вамъ статью Погодина о послѣднихъ дняхъ Гоголя, препровождаю тогоже автора описаніе поминовенія Московскихъ друзей нашихъ, совершенное надъ покойнымъ, по Русскому обычаю въ сороковой день. Это описаніе Погодинъ прислалъ къ А. О. Смирновой, а она мнѣ поручила отправить его къ вамъ" [351]).

Описаніе это Погодинъ сдѣлалъ въ формѣ письма къ А. О. Смирновой. „А вотъ я пишу къ вамъ и еще: отъ избытка сердца глаголютъ уста. Вчера, въ сороковой день, отслужили мы заупокойную обѣдню и панихиду на могилѣ Гоголя. Случалось ли когда нибудь вамъ слышать ихъ на Святой недѣлѣ? Выше, глубже, сильнѣе, умилительнѣе, торжественнѣе этого священослуженія я не знаю ничего. Молитвы объ усопшемъ смѣняются или лучше прерываются безпрестанно пѣснями воскресенія....

Воскресенія день, просвѣтимся людіе. Пасха, Господня Пасха: отъ смерти бо къ жизни, и отъ земли къ небеси, Христосъ Богъ насъ приведе, побѣдную поющыя.

Вчера спогребохся тебѣ Христе, совостаю днесь воскресшу Тебѣ, сраспинáхся тебѣ вчерà, сàмъ мя спрослàви Спасе во царствіи твоèмъ.

Предварі́вшыя у́тро я̀же о́ Маріи, и обрѣ́тшыя камень отвалѐнъ отъ гро́ба, слы̀шаху отъ ангела: во свѣтѣ присносущнѣмъ су́щаго, съ ме́ртвыми что́ и́щете яко человѣка; видите гро́бныя пелены̀: тецы̀те, и міру проповѣ́дите, яко воста̀ Господь, умертви́вый смерть, яко есть сынъ Бога, спасающаго ро́дъ человѣческій.

Аще и во гробъ снизшелъ еси безсмертне, но адову разрушилъ еси силу, и воскресилъ еси яко побѣдитель Христе Боже, женамъ мѵроносицамъ вѣщавый: радуйтеся, и твоимъ апостоламъ миръ даруяй, падшымъ подаяй воскресеніе.

Смерти празднуемъ умерщвленіе, адово разрушеніе, иного житія вѣчнаго начало, и играюше поемъ виновнаго, единаго благословеннаго отцевъ Бога, и препрославленнаго.

Плотію уснувъ яко мертвъ Царю и Господи, тридневенъ воскреслъ еси, Адама воздвигъ отъ тли, и упразднивъ смерть: пасха нетлѣнія, міра спасенія.

Воскресенія день, и просвѣтимся торжествомъ, и другъ друга обимемъ. Рцемъ, братіе, и ненавидящымъ насъ простимъ вся воскресеніемъ, и тако возопіемъ: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ.

Никакими словами нельзя передать ощущенія этихъ удивительныхъ славословій, полныхъ силы, восторга, увлеченія, звучащихъ изъ гроба, изъ ада, съ неба и всѣхъ концевъ земли. Но все-таки хочется подать хоть какое-нибудь понятіе, хоть самое слабое... Вѣрно вы слыхали въ дѣтствѣ: вотъ еслибъ пришелъ кто-нибудь съ того свѣта сказать... Представьте-жъ себѣ, что не кто-нибудь одинъ приходитъ къ вамъ съ того свѣта, а тысячи текутъ и проповѣдуютъ прямо предъ вашими глазами... больше ихъ и больше, несмѣтное множество... Воскресеніе, воскресеніе, воскресеніе... Звуки разливаются какъ будто всюду, охватываютъ васъ со всѣхъ сторонъ... вамъ укрыться некуда... дождь-ливень льется на васъ, бьетъ-бьетъ, хлещетъ, трубы трубятъ надъ вашими ушами, вамъ дохнуть некогда, нѣтъ минуты у васъ опомниться,

усомниться, вы покорены, вы забываетесь, одушевляетесь, и сами поете. Но нѣтъ, оставимъ, все это отзывается фразами и риторикою.

Ахъ, еслибъ можно было удержать въ себѣ, сохранить надолго это ощущеніе неизглаголанное!

Изъ церкви благоговѣйной толпою мы вышли на могилу — могила вся въ цвѣтахъ: яркіе, свѣжіе, веселые, прекрасные распустились они и благоухали среди молодой зелени, а вокругъ снѣгъ, ледъ и зима. Опять знаменія жизни, этой вѣчной побѣдительницы надъ временнымъ врагомъ своимъ — смертью.

Яко ты еси воскресеніе и животъ.... произнесъ священнослужитель *), заключая поминовеніе. *Христосъ Воскресе*, опять воскликнулъ ликъ.... *Вѣчная память...* тихо повторили мы. За послѣднимъ вознесеннымъ гласомъ, поклонились въ землю, улыбаясь и плача, скорбя и радуясь.

По окончаніи панихиды, началась трапеза. Внизу приготовленъ былъ столъ для нищей братіи.

Вверху сѣло насъ за другой столъ человѣкъ пятьдесятъ. Прежде всего прочтено было письмо Гоголя, послѣднее изъ всего того, что онъ напечаталъ, о праздникѣ Свѣтлаго Христова воскресенія въ Россіи. Можете себѣ представить, какую силу получило каждое его слово, само по себѣ сильное, теперь послышавшееся изъ могилы, запечатлѣнное великой печатью смерти и безсмертія, священный голосъ съ того свѣта.

Кто задумался, кто умилился, кто унесся мыслію въ прошедшее, кто въ настоящее, кто въ будущее, о себѣ, объ отечествѣ о человѣчествѣ..... Плакали....

Эти черты художника, комическаго писателя, эти судороги смѣха, которыя невольно, насильно, среди высокихъ и глубокихъ размышленій вырывались изъ его груди, стѣсненной даже до смерти, онѣ возбуждали грустное чувство другого рода.

---

*) Настоятелемъ Данилова монастыря въ то время былъ архимандритъ Парменъ.

Начали говорить о надгробномъ памятникѣ, о надписяхъ.... Одна получила полное одобреніе, возбудила даже восторгъ: до такой степени выражалась ею жизнь покойника! Изъ пророка Іереміи (20, 8): *Горькимъ словомъ моимъ посмѣюся.*

Послѣ трапезы, по обычаю, принесена была такъ называемая заупокойная чаша. Архимандритъ произнесъ молитву, взяли стаканы, гласы надгробные и воскресные раздались снова. По странному случаю, пѣвчіе ошибались безпрестанно: вмѣсто воскресной пѣсни заводили надгробную, потомъ вдругъ, вспомнивъ порядокъ, останавливались на срединѣ стиха, даже посрединѣ слога, начинали вновь другимъ напѣвомъ вопіять вмѣсто смерти о жизни, потомъ опять вмѣсто жизни о смерти, съ новыми ошибками. Эти ошибки и это смѣшеніе были лучше всякой правильности! Не жизнь ли есть смерть и не смерть ли есть жизнь!

Вотъ какъ помянули мы нашего Гоголя! Прибавлю еще, и можетъ быть здѣсь-то заключается самая лучшая, самая пріятная жертва его памяти,—какое-то расположеніе къ миру примѣчается у насъ вездѣ по его кончинѣ. Люди враждовавшіе, нерасположенные или недовольные между собою, между его знакомыми, подаютъ не другъ другу, а недругъ недругу руку, забываютъ взаимныя обиды. Доказательство, самое убѣдительное и сильное, что въ основаніи его сочиненій и дѣйствій была любовь, которая теперь магнитически разливается и сообщается. Дай Богъ, чтобъ это святое чувство сохранялось и умножалось во всѣхъ, вездѣ и всегда. Простимъ же, вмѣсто презрѣнія, и тѣхъ хульниковъ, которые, не смысля ни жизни, ни смерти, ни слова, ни безмолвія, дерзаютъ посягать на священнѣйшія человѣческія чувства, бросая камни въ непонятную для нихъ могилу.

И за мысль объ этомъ повиновеніи и за исполненіе ея мы обязаны Шевыреву“ [352]).

КОНЕЦЪ КНИГИ ОДИННАДЦАТОЙ.

15 октября, 1896 года.
Саранскъ.

1) *Москвитянинъ* 1850. I, Моск. Лѣт., стр. 39—49; II, стр. 50—57; IV, 52—54.

2) *Письма М. М. Филарета* къ *А. Н. М.* Кіевъ. 1869, стр. 325.

3) *Записки и Дневникъ А. В. Никитенко.* Спб. 1893. I, 561.

4) *Дневникъ* 1850, 27—31 іюля.

5) *Записки и Дневникъ,* I, 517.

6) *П. В. Анненковъ и его Друзья.* Спб. 1892, стр. 561.

7) *Русскій Вѣстникъ* 1896, май, стр. 116; *Русскій Архивъ* 1888, № 8, стр. 190—195.

8) *Русскій Вѣстникъ* 1896, май, стр. 119—120; *Записки и Дневникъ А. В. Никитенко.* I, 518—519; *Письма,* XX.

9) *Москвитянинъ* 1850. III. Смѣсь, стр. 88—90.

10) *Дневникъ* 1850, подъ 11 мая.

11) *Русскій Архивъ* 1887, № 7, стр. 367—368.

12) *Письма,* XIX.

13) *Русскій Архивъ* 1887, № 7, стр. 367—368; 1888, № 8, стр. 195.

14) *Москвитянинъ* 1851, кн. 1-я, Моск. Извѣстія, стр. 58—59; *П. В. Анненковъ и его Друзья,* стр. 562—563.

15) *Письма,* XIX.

16) *Сочиненія Т. Н. Грановскаго.* М. 1866. II, 164—165.

17) *Москвитянинъ* 1851, II, М. Изв., стр. 385; *Письма,* XX; *П. В. Анненковъ и его Друзья,* стр. 563—564.

18) *Письма,* XIX.

19) *Москвитянинъ* 1850, III. Критика и библіографія, стр. 67—96.

20) *Письма,* XIX.

21) *Москвитянинъ* 1850, III. Критика и библіографія, стр. 130—140; V. Антикритика, стр. 69—94, 175—186

22) *Отечественныя Записки* 1850, LXXI. Журн. Замѣтки, стр. 54—67.

23) *Москвитянинъ* 1850, V. Антикритика, 69—70.

24) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева.* Спб. 1885. III, 654. *Ученыя Записки Имп. Академіи Наукъ.* Спб. 1852. Т. I, вып. 1, стр. 50.

25) *Москвитянинъ* 1850. V, Моск. Лѣтоп., стр. 51—52.

26) *Пропилеи.* Изд. 2-е. М. 1856, Кн. I, 135—142.

27) *Дневникъ* 1850, подъ 1 сентября.

28) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева,* III, 224, 323—324; *Письма,* XIX.

29) *Москвитянинъ* 1850. III. Критика и библіогр., стр. 1—5; Антикритика, стр. 144—150.

30) *Сѣверная Пчела* 1850, №№ 165—166.

31) *Москвитянинъ* 1850, V. Антикритика, 35—40.

32) *Письма.* XIX. *Дневникъ* 1849. 26 дек. *Русскій Архивъ* 1884. II, 309. 1879. № 3, стр. 377. *Письма,* XIX. *Русскій Архивъ* 1879. № 4, стр. 525. *Пись-*

ма, XIX; *Сборникъ Т. И. Филиппова.* Спб. 1896, стр. 1—13; *Русская Старина* 1872. Янв., стр. 12; *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.* 1868. Январь; *Соврем. Лѣтоп.*, стр. 118—119; *Сочиненія Б. Н. Алмазова.* М. 1892. I, III—XII; Вѣстникъ Европы 1886, февраль, стр. 599—600.

33) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*, III, 622, 626.

34) *Письма*, XIX.

35) *Русская Старина* 1889, окт., стр. 126—127; *Письма*, XIX; *Дневникъ* 1850, 3 дек.; *П. В. Анненковъ и его Друзья*, стр. 562; *Дневникъ*; 1850, 9 декабря.

36) *И. С. Аксаковъ*, II, 275—276.

37) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.*

38) *Русскій Архивъ* 1884, II, 313.

39) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.*

40) *И. С. Аксаковъ*, II, 270—271, 303—305, 310.

41) *Русская Старина* 1890, дек., стр. 657.

42) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя.* С.-Пб. 1857. VI, 507.

43) *Кіевская Старина* 1883, апрѣль. стр, 834—835.

44) *Русскій Архивъ* 1884, II, 312.

45) *И. С. Аксаковъ*, II, 300—301, 307—309, 358, 298, 299, 324—325, 352, 284.

46) *Русскій Архивъ* 1879, № 3, стр. 376.

47) *И. С. Аксаковъ*, II, 332—333; *Русскій Архивъ* 1895, № 12, стр. 430—431; № 9, стр. 81—83.

48) *И. С. Аксаковъ*, II, 272—273, 271—272, 267. 280.

49) *Русская Старина* 1888, ноябрь, стр. 405; 1872, январь, стр. 122.

50) *Дневникъ* 1850, 9 мая.

51) *Письма*, XIX.

52) *Кіевская Старина* 1883, апр., стр. 833—834.

53) *Русская Мысль* 1892, январь.

54) *Кіевская Старина* 1883, апрѣль, стр. 850—851.

55) *Москвитянинъ* 1850, III. Критика и Библіограф., стр. 43—60.

56) *Письма*, XIX.

57) *Отечественныя Записки* 1850, LXX. Библ. Хрон., стр. 99—100.

58) *Москвитянинъ* 1850, III. Критика и Библіогр., стр. 53—54.

59) *Современникъ* 1850, *Библіогр.*, стр. 9

60) *Письма о Кіевѣ.* С.-Пб. 1871, стр. 8.

61) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, 509.

62) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 189.

63) *Записки о жизни Н. В. Гоголя.* С.-Пб. 1856, II, 231.

64) *Мои Письма, Замѣтки и Выписки*, № V.

65) *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, II, 231—235.

66) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя.* VI, 510.

67) *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, II, 231—238.

68) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, 509—510.

69) *Собраніе Сочиненій М. А. Максимовича.* Кіевъ 1877. II, 356—358.

70) *Русская Старина* 1890, декабрь, стр. 657—658.

71) *И. С. Аксаковъ*, II, 334—335.

72) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, 510—529.

73) *Письма*, XIX.

74) *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу.* С.-Пб. 1882, стр. 59; *Письма*, XIX—XX.

75) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*, III, 625—626, 402—404.

76) *Русская Старина* 1890, декабрь, стр. 657.

77) *Москвитянинъ* 1850, VI; Моск. Лѣтоп., стр. 33—46.

78) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго.* Изд. графа С. Д. Шереметева. С.-Пб. 1880. IV, 336; *Письма*, XIX.

79) *Изслѣдованія, Замѣчанія и Лек-*

ціи о Русской Исторіи. М. 1850, IV, III—VIII.

80) *Москвитянинъ* 1850, I, Наука и Худож., стр. 41—4[illegible].

81) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 130—135.

82) *Москвитянинъ* 1850, II, Критика и Библіографія, стр. 71—75.

83) *Письма*, XIX.

84) *Москвитянинъ* 1850, III, Критика и Библіографія, стр. 45—46; II, 78—79; III, 29—30; II, 80—82.

85) *Московскія Вѣдомости* 1850, № 97.

86) *Москвитянинъ* 1850, VI, Критика и Библіографія, стр. 148—150; II, 82—84.

87) *Кіевлянинъ на 1850 годъ*, издаваемый Михаиломъ Максимовичемъ М. 1850.

88) *Москвитянинъ* 1850, III. Критика и Библіографія, стр. 97—105.

89) *Очеркъ жизни и дѣятельности Д. В. Полѣнова.* Спб. 1879, стр. 26.

90) *Библіографическое Обозрѣніе Русскихъ Лѣтописей.* Спб. 1850, стр. 1.

91) *Москвитянинъ* 1850, VI. Критика и Библіографія, стр. 147—148.

92) *Списокъ книгъ Д. В. Полѣнова и Л. А. Воейкова.* Спб. 1893. стр. 3—4.

93) *Москвитянинъ* 1850, IV. Критика и Библіографія, стр. 55 — 57. Смѣсь I, 29—61; *Письма*, XIX.

94) *И. С. Аксаковъ*, II, 292—293.

95) *Москвитянинъ* 1850, V. Критика и Библіографія, стр. 1—8.

96) *Письма*, XIX.

97) *Русская мысль* 1892, январь.

98) *Москвитянинъ* 1850, Критика и Библіографія, II, 135, 117 — 135, III, 31—40.

99) *Отечественныя Записки* 1850, LXII. Критика, стр. 13—30.

100) *Москвитянинъ* 1850, Критика и Библіографія, V, 135—142, 164—171. VI, 31 — 40. III, 151 — 155; *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 313.

101) *Письма*, XIX.

102) *Москвитянинъ* 1850, Критика и Библіогр., I, 57—59.

103) *Письма*, XIX.

104) *Письма М. М. Филарета къ Архіеп. Алексѣю. М. 1883*, стр. 34.

105) *Письма Филарета, Архіеписк. Черниговскаго къ А. В. Горскому*, М. 1885, стр. 241—242.

106) *Москвитянинъ* 1850, I. Критика и Библіографія, стр. 16—18, 1—4, 90 — 110; Московская Лѣтопись, стр. 66, 122—125; 1850. III. Наук. Худож. стр. 32—34, V. Истор. матер. стр. 74—76; 1851. № 4, кн. 2, стр. 449—456.

107) *Письма*, XX.

108) *Современникъ* 1851, іюль, стр. 37—42.

109) *Сочиненіе и переписка П. А. Плетнева.* Спб. 1885. III, 224.

110) *Письма*, XX; *Русскій Архивъ* 1879. III. 338.

111) *Москвитянинъ* 1851, № 18, кн. 2, стр. 181—185.

112) *Письма*, XX.

113) *Сочиненіе Филарета, М. Московскаго.* М. 1885. V, 115—120.

114) *Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію.* М. 1883. III, 68.

115) *Русская Старина* 1890, декабрь, стр. 612.

116) *Письма*, XX.

117) *Московскія Вѣдомости* 1851, № 9, 12.

118) *Москвитянинъ* 1851, ч. II, Совр. изв., стр. 195.

119) *П. В. Анненковъ и его Друзья.* Спб. 1892, стр. 567—568.

120) *Москвитянинъ* 1851, III. Крит. и Библ., стр. 178—179.

121) *Т. Н. Грановскій.* М. 1869, стр. 248—249; *Русскій Вѣстникъ* 1896, май, стр. 120—121; *Записки и Дневникъ*, I. 523—524.

122) *Письма*, XX.

123) *Т. Н. Грановскій*, стр. 256—257.

124) *Москвитянинъ* 1851, II. Совр. Изв., стр. 197—199.

125) *Письма*, XX.

126) *П. В Анненковъ и его Друзья*, стр. 567—568.

127) *Москвитянинъ* 1851, II. Совр. Изв., стр. 81—82.

128) *Письма*, XX.

129) *Москвитянинъ* 1851, № 7, апрѣль.

130) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*. М. 1890, стр. 193.

131) *Москвитянинъ* 1851, № 7, апрѣль.

132) *Письма*, XX.

133) *Москвитянинъ* 1851, II. Совр. Изв., стр. 210.

134) *Письма*, XX.

135) *Москвитянинъ* 1851, II. Совр. Изв., стр. 211.

136) *Письма*, XX.

137) *Москвитянинъ* 1851, II. Моск. Изв., стр. 383; *Письма*, XX.

138) *Письма*, XX.

139) *Москвитянинъ* 1851, II. Моск. Изв., стр. 383—385.

140) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 314.

141) *Сѣверная Пчела* 1851, № 64; *Письма* XX.

142) *Москвитянинъ* 1851, II. Совр. Изв., стр. 82—84, № 1, кн. 1, стр. 59—60, II, 385, 195—197.

143) *П. В. Анненковъ и его Друзья*, стр. 568.

144) *Москвитянинъ* 1851, II. Моск. Изв., стр. 212—213, 389.

145) *Московскія Вѣдомости* 1851. № 40.

146) *Письма*, XX.

147) *Т. Н. Грановскій*. М. 1896, стр. 249—252.

148) *Москвитянинъ* 1851, V. Моск. Изв., стр. 208 - 209.

149) *Письма*, XX.

150) *Москвитянинъ* 1851, № 9—10, кн. 1—2, стр. 3 49.

151) *Московскія Вѣдомости* 1851, № 44—45, 49 -50.

152) *Письма*, XX.

153) *Москвитянинъ* 1851. III. Моск. Изв., стр. 47—50.

154) *Московскія Вѣдомости* 1851, №№ 47—49.

155) *Вѣстникъ Европы* 1891, ноябр. стр. 158.

156) *Москвитянинъ* 1851, II. Моск. Изв., стр. 389—390, III, 47—50.

157) *Письма*, XX.

158) *Московскія Вѣдомости* 1851, №№ 48, 50.

159) *Письма*, XX; *Московскія Вѣдомости* 1851, №№ 50 — 52, 67 — 68, 74; *Москвитянинъ* 1851, IV. 81 — 84; *Письма*, XX—XXI.

160) *Вѣстникъ Европы* 1891, ноябр., стр. 158—159.

161) *И. С. Аксаковъ въ его письмахъ*. М. 1888, II, 378.

162) *Нѣсколько припоминаній о научной дѣятельности А. Е. Викторова*. Спб. 1881, стр. 1.

163) *Вѣстникъ Европы* 1891, ноябр., стр. 151.

164) *Сборникъ* Отд. Русск. Яз. и Слов., Спб. 1884, XXXIII.

165) *Вѣстникъ Европы* 1891, ноябр., стр. 151—152.

166) *Письма*, XX.

167) *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*.

168) *Письма*, XX.

169) Венгеровъ. *Критико-Біографическій Словарь Русскихъ писателей и ученыхъ*. Спб. 1891. II, 194—197.

170) *Михайловскій Архивъ графа С. Д. Шереметева* (Собраніе автографовъ).

171) *Письма*. XX: *Девятнадцатый Вѣкъ*. М. 1872. I. 383.

172) *Письма*, XX. XXI; *Біографія А. И. Кошелева*. М. 1892. II, прил. X. 125—126.

173) *Письма*. XXI. XX: *Москвитянинъ* 1851. № 5, кн. 1-я. Совр. Изв., стр. 11; *Письма*. XXII.

174) *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*. 1894. январь.

175) *Письма*. XX.

176) *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*. 1894, январь.

177) *Московскія Вѣдомости* 1851, № 30.

178) *Письма*, XX.

179) *Москвитянинъ* 1851, II. Совр. Изв., стр. 193, I, 244 — 246, II, 195, 1—6.

180) *Письма*, XX.

181) *Москвитянинъ* 1851, № 5, кн. 1-я, стр. 7.

182) *Письма*, XX.

183) *Сочиненія К. Н. Батюшкова*, Спб. 1887. I, 153, 373.

184) *Москвитянинъ* 1851, I, 215—216.

185) *Московскія Вѣдомости* 1851, № 30; *Письма*, XX.

186) *Москвитянинъ* 1851, № 9—10, кн. 1—2, стр. 121—128. V. Совр. Изв., стр. 24—30; *Письма*, XX.

187) *Московскія Вѣдомости* 1851, №№ 90, 105, 138.

188) *Москвитянинъ* 1851, IV, 231—232.

189) *Письма*, XX.

190) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*. Спб. 1885. III, 691, 696—697.

191) *Письма*, XX.

192) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*. III, 697, 700, 711.

193) *Москвитянинъ* 1851, № 3, кн. 1-я, стр. 265—320.

194) *Письма*, XX.

195) *Москвитянинъ* 1851, Крит. и Библіогр. I, 556—562.

196) *С.-Петербургскія Вѣдомости* 1851, №№ 41—42.

197) *Москвитянинъ* 1851, II. Крит. и Библіогр., стр. 304—307.

198) *Письма*, XX.

199) *Москвитянинъ* 1851, I, 433—434.

200) *Раутъ*. М. 1851, стр. 110—114.

201) *Москвитянинъ* 1851, I, 433—434, II, 388—389.

202) *Письма*, XX.

203) *Москвитянинъ* 1851, № 11, кн. I-я, стр. 240—242.

204) *Письма*, XX.

205) *Письма*, XX; *Дневникъ* 1851 г. 12 мая; *Письма*, XX.

206) *Москвитянинъ* 1851 г., № 16, кн. 2, стр. 369—378, ч. VI, стр. 158—159.

207) *Письма*, XX.

208) *Москвитянинъ* 1851, № 17, кн. 1-я, стр. 11—52.

209) *Письма*, XX.

210) Брокгаузъ и Ефронъ. *Энциклопедическій Словарь*. Спб. 1892. VIII, 571.

211) *Письма*, XX.

212) *Библіотека для чтенія* 1851, CX, стр. 1—146.

213) *Письма*, XX.

214) *Москвитянинъ* 1851, № 23, кн. 1, стр. 381—432.

215) *Письма*, XX.

216) *Раутъ*. М. 1851. стр. 17—43.

217) *Москвитянинъ* 1851, Крит. и Библіогр. III, 153.

218) *Письма*, XX.

219) *Москвитянинъ* 1851, № 21. кн. 1-я.

220) *Письма*, XX

221) *Современникъ* 1851, XXVII, Совр. замѣтки. стр. 52.

222) *Письма*, XX.

223) *Москвитянинъ* 1851, II, 231—256.

224) *Письма*, XX.

225) *Москвитянинъ* 1851, II, 391—395.

226) *Письма*, XX.

227) *Москвитянинъ* 1851, III, 97—121.

228) *Письма*, XX.

229) *Москвитянинъ* 1851, II, 387—388, III, 377.

230) *Письма*, XX.

231) *Раутъ*. М. 1851, стр. 206—211.

232) *Москвитянинъ* 1851, III. Крит. и Библіогр., стр. 154—155.

233) *Письма*, XX.

234) *Москвитянинъ* 1851, III, 126—127.

235) *Письма*, XX.

236) *Современникъ* 1851, XXVII, Совр. замѣтки, стр. 52.

237) *Москвитянинъ* 1851, IV. Моск. Изв., стр. 39—63, 233—248; V, 124—140; VI, 44—52.

238) *Письма*, XX.

239) *Москвитянинъ* 1851, № 21, кн. 1-я, Моск. Изв., стр. 53—55.

240) *Письма*, XX.

241) *Историч. Вѣстникъ* 1893, мартъ, стр. 703.

242) *Письма*, XX.

243) *Современникъ* 1851.

244) *Письма*, XX.

245) *Русская Старина* 1889, октябрь, стр. 133—134.

246) *Сочиненія И. С. Тургенева*. М. 1880. I, 68—70.

247) *Письма*, XX.

248) *Современникъ* 1851, XXVII, *Совр. Замѣтки*, стр. 51.

249) *Письма*, XX; *Т. Н. Грановскій. Его Переписка*. М. 1897, II, 471—472; *Письма*, XX.

250) *А. Н. Майковъ*. Спб. 1888, стр. 10.

251) *Сочиненія и переписка П. А. Плетнева*, III, 706.

252) *Письма*, XX.

253) *Сочиненія и переписка П. А. Плетнева*, III, 716, 723, 725; *Записки и Дневникъ*, I, 522—523.

254) *Всемірная Иллюстрація* 1887, № 952.

255) *Новое Время* 1887, № 3992.

256) *Письма*, XX.

257) *Сочиненія И. С. Тургенева*. М. 1880. I, 2—3.

258) *Письма*, XX.

259) *Москвитянинъ* 1851, III. Крит. и Библіогр., стр. 329.

260) *Письма*, XX.

261) *Москвитянинъ* 1851, № 4, кн. 2-я, стр. 534—550, № 12, кн. 2. Крит. и Библіогр., стр. 450—487.

262) *Письма*, XX.

263) *Москвитянинъ* 1851, № 22, кн. 2-я, стр. 271—295; № 23, кн. 1-я, стр. 433—457.

264) *Письма*, XX.

265) *Письма Филарета Архіепископа Черниговскаго къ А. В. Горскому*. М. 1885, стр. 253.

266) *Москвитянинъ* 1851, № 8, кн. 2. Крит. и Библіогр., стр. 520—522.

267) *Письма*, XX.

268) *Московскія Вѣдомости* 1851, № 30.

269) *Москвитянинъ* 1851, № 1, кн. 1. Внутр. Изв., стр. 25—26.

270) *Письма*, XX.

271) *Москвитянинъ* 1851. Внутр. Изв., I, 203—206. II, 12—25, 314—315. IV, 101 и сл. VI, 15—19. III, 337 и сл. V, 100—110. VI, 245—270. II, 312—313, 301—311, 97—100. V, 172—200, 201—204. III, 235—237. II, 341—343. III, 1—12.

272) *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу*. Спб. 1882, стр. 59—60.

273) *Письма*, XX.

274) *Стихотворенія М. А. Дмитріева*, М. 1865. I, 220.

275) *Письма*, XX.

276) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*. III, 700—701, 709.

277) *Письма*, XX.

278) *Московскія Вѣдомости* 1851, № 105; *Русск. Вѣстникъ* 1896, май, стр. 121—122, 124.

279) *Письма*, XX; *Москвитянинъ* 1852. I. Смѣсь, стр. 106—107; *Русскій Вѣстникъ* 1896, май, стр. 124—125; *Письма*, XX.

280) *Москвитянинъ* 1851, №№ 18—20.

281) *Письма*, XX.

282) *Московскія Вѣдомости* 1851, №№ 146, 152.

283) *Москвитянинъ* 1851, VI, 76—77. IV, 42; *Русск. Вѣстн.* 1896, май, стр. 125; *Московскія Вѣдомости* 1852; № 36—38; *Москвитянинъ* 1852, II. Смѣсь. стр. 78; *Письма*, XXI; *Русскій Вѣстн.*, май, 1896, стр. 123—124.

284) *Комета*. М. 1851, стр. 323—355.

285) *Москвитянинъ* 1851, IV, 181—196, VI, 74.

286) *Письма*, XX.

287) *Москвитянинъ* 1851, II. Моск. Изв., стр. 387, № 1, кн. 1, стр. 1—38, № 8, кн. 2, стр. 453—489.

288) *Письма*, XX.

289) *Москвитянинъ* 1851, II. Моск. Изв., стр. 385.

290) *Письма*, XX.

291) *Москвитянинъ* 1851, V, 294. VI, 223. III, 449. 128.

292) *Письма*, XX.

293) *Москвитянинъ* 1851, VI, 152—154.

294) *Письма*, XX.

295) *Москвитянинъ* 1850, VI. Крит. и Библіогр., стр. 25—26.

296) *Письма*, XX.

297) *Москвитянинъ* 1851, I, 438—440.

298) *Письма*, XX.

299) *Москвитянинъ* 1851, № 1, кн. 1-я, стр. 121—124. № 11, кн. 1-я, стр. 227—236. V, 293—294.

300) *Письма*, XX.

301) *Москвитянинъ* 1851, V. Крит. и Библіогр., стр. 324—329.

302) *Письма*, XX; *Русск. Архивъ* 1895, № 10, стр. 146; *Письма*, XX.

303) *Собраніе отдѣльныхъ статей и замѣтокъ А. С. Хомякова*. М. 1861, стр. 134, 185—186.

304) *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу*. Спб. 1882, стр. 60.

305) *Дневникъ* 1851, 21—22 мая.

306) *Письма*, XX.

307) *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу*, стр. 61.

308) *Письма*, XX.

309) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*, III 697.

310) *Письма м.* Московскаго *Филарета къ Архимандриту Антонію*. М. 1883, III, 101.

311) *Письма*, XX.

312) *Москвитянинъ* 1851; № 17, кн. 1-я. Моск. Лѣтоп., стр. III, 59—60.

313) *Письма м. Московскаго Филарета къ Архим. Антонію*, стр. 100—101.

314) *Московскія Вѣдомости* 1851, № 103.

315) *Письма м. Московскаго Филарета къ Архимандр. Антонію*, III, 102.

316) *Письма*, XX.

317) *Москвитянинъ* 1851, Моск. Изв. № 61—62.

318) *Письма*, XX.

319) *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу*, стр. 61.

320) *Письма*, XX; *Москвитянинъ* 1852, V; Русск. Слов., стр. 225—227. Кулишъ. *Записки о жизни Н. В. Гоголя*. Спб. 1856. II, 248.

321) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. Спб. 1857. VI, 536.

322) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 194.

323) *Русская Старина* 1890, декабрь, стр. 663—664.

324) *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, II, 252—253.

325) *Письма*, XX.

326) *Дневникъ* 1851, подъ 15 августа.

327) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 194.

328) *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, II, 250—251.

329) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 194—196.

330) *Русская Старина* 1889, окт., стр. 133—134.

331) *Сочиненія И. С. Тургенева*. М. 1880. I, 68—69.

332) *Письма*, XX.

333) *Сочиненія и Письма П. А. Плетнева*, III, 726.

334) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 196.

335) *Москвитянинъ* 1852

336) *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, II, 258—259.

337) *Русскій Архивъ* 1896, № 11, стр. 387; *Письма митр. М. Филарета къ Архіепископу Тверскому Алексѣю* М. 1883, стр. 92; *Отчетъ И. П. Библіотеки за 1888*. Спб., 1891, прил. стр. 10—11;

Русскій Архивъ 1881, кн. II, стр. 36. 1879, III, 336; *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, II, 259.

338) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 197—198.

339) *Москвитянинъ* 1852.

340) *Письма*, XX.

341) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 316.

342) *Москвитянинъ* 1852.

343) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.*

344) *Письма*, XXI.

345) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 199—202.

346) *Михайловскій Архивъ графа С. Д. Шереметева.*

347) *Письма*, XXI.

348) *Сочиненія и Письма П. А. Плетнева*, III, 729—733; *Русскій Архивъ* 1896. № 3, стр. 377.

349) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго.* Изданіе графа С. Д. Шереметева. Спб. 1887. XI, 10—11.

350) *Письма*, XXI.

351) *Сочиненія и Письма П. А. Плетнева*, III, 738.

352) *Москвитянинъ*, 1852. II. Моск. Изв., стр. 139—140.

Русскій Архивъ 1881, кн. II, стр. 36. 1879, III, 336; *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, II, 259.

338) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 197—198.

339) *Москвитянинъ* 1852.

340) *Письма*, XX.

341) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 316.

342) *Москвитянинъ* 1852.

343) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.*

344) *Письма*, XXI.

345) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 199—202.

346) *Михайловскій Архивъ графа С. Д. Шереметева.*

347) *Письма*, XXI.

348) *Сочиненія и Письма П. А. Плетнева*, III, 729—733; *Русскій Архивъ* 1896. № 3, стр. 377.

349) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго.* Изданіе графа С. Д. Шереметева. Спб. 1887, XI, 10—11.

350) *Письма*, XXI.

351) *Сочиненія и Письма П. А. Плетнева*, III, 738.

352) *Москвитянинъ*, 1852. II. Моск. Изв., стр. 139—140.

Цѣна 2 руб. 50 коп.

Складъ изд. въ книж. магаз. типогр. М. М. Стасюлевича.
С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 лин., 28.

Stanford University Libraries
3 6105 013 551 325

DK
38.7
P56B3
v. 11

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUL - 1 1969